



Илья Эрэнбург

2

ИЛЛЯ
ЭРЕНБУРГ

ТОМ ВТОРОЙ

**Издательство
«Художественная
литература»
Москва 1964**

Собрание
сочинений
в девяти
томах



Издательство
«Художественная
литература»
Москва 1964

ТОМ ВТОРОЙ

ЭРЕНБУРГ

Рвач

Лето 1925 года

В Проточном переулке

Комментарии
А. УШАКОВА

Художник
Ф. ЗВАРСКИЙ

Рвач



Да будет воля твоя, чтобы этот год был росистым и дождливым, и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, который им помеха, в час, когда весь мир нуждается в дожде!

Молитва еврейского первосвященника в Судный день

Телескоп, папаша, портной Примятин и нежный возраст героя

Можно было бы начать историю нашего героя восклицанием: «Злоупотребления в «Югвошелке» наконец-то раскрыты!» Но добросовестность принуждает нас начать издалека, не с «Югвошелка», а с телескопа, с большого хвостатого телескопа, который задолго до образования различных трестов плавал в круглом аквариуме, среди прочих рыбешек и кудластых травинок.

В Киеве, в Пассаже, где прятались порой ревматические чиновницы от дождя, а незарегистрированные барышни от неожиданной облавы, в грязнящем Пассаже помещался зоологический магазин Абадии Ивенсона. Витрины его несколько утешали и чиновниц, и девок, и просто случайных зевак. В левом окне преобладали чучела, ибо сам Абадия Ивенсон умел артистически потрошить орлов, белок и незабвенных болонок. Мифологические совы напоминали глазевшим дуракам о вечности. Что касается кролика, то он щипал гофрированную капусту. Под стеклами линияли оранжевые крылышки бабочек, а на стеклах тучнела пыль. Левое окно могло легко сойти за музей. В правом торжествовала жизнь. Зеленая квакша неизменно заседала на верхней ступеньке игрушечной лестницы, даже в ливень щедро обещая всем ревматикам хорошую погоду. Белые мыши то сбивались в клубок, то, от кашля Ивенсона, растекались во все стороны, так что делалось их много-много. Рябило от них в глазах. Притом они ухитрялись даже сквозь стекла обдавать прохожих особым запахом уютца и мышинного бесхитростного благополучия. Над мышами возвышался аквариум, а в аквариуме плавал телескоп, с которого и следует начать нашу историю. Это был особенный телескоп, увечная рыба, подлинный инвалид подводной войны. Золотые рыбки не в счет: они плавали, жирели и дохли. Но по аквариуму сновала маленькая рыбешка с голубоватой чешуей. Породы ее не знал и Абадия Ивенсон, называя попросту «той самой рыбкой». Так вот «та самая рыбка» жесточайшим образом изуродовала телескоп.

Как? За что? — Дело рыбе. Она не тронула его прекрасного шлейфа, нет, она остановилась на глазах. Глаза у телескопов, надо сказать, замечательные: две горошинки на ниточках. Глаза как будто чужие, взятые напрокат из оптического магазина. Может быть, эту неестественность и почувствовала «та самая рыбка». Так или иначе, она оторвала оба глаза телескопа. Странное дело, но безглазый телескоп с двумя дырами нежно-абрикосового тона казался чудовищным. Он плавал по-прежнему, по-прежнему заметал шлейфом песок, глотал облаточную бумагу, пускал пузыри. Но это была уже не рыбка, а живые страхи, бред мрачного Пассажа. Трудно понять, почему Ивенсон не выкинул его. Прилипнет, бывало, к стеклу чиновница, все хорошо, даже пятнистое брюхо тритона и то похвалит, а как только проплывет безглазый телескоп, перекрестится и вон, толь под дождь.

Но была пара глаз, которой нравились эти дыры, нравились до блаженной идиотической улыбки, до слюней. Если стояла у окна старушка, мальчонок ее отталкивал. Он приходил к телескопу на свиданье. И, увидев розоватые впадины, живые добротные глазенки Мишеньки как бы уплотнились. Что ему понравилось в этакой пакости? Кто знает? Мало ли странностей у детей. Как-то раз Мишка, сжимая в кулачке тридцать копеек, полученные от крестного на карамель, храбро запросил самого Ивенсона, сколько стоит телескоп, не обыкновенный, глазастый, и вот «та самая рыбка». Стоили они вместе, даже с любительской скидкой, полтинник. Купить же одну из них Мишка не захотел. Мальчику тогда едва исполнилось восемь лет, но у него уже были и свои вкусы и, по всей вероятности, свои планы.

Во сне громадный слепой телескоп плавал по заплеванному, наслезенному, надышанному Пассажу. Он был завсегдаем этих теплых и душевных снов, наравне с курами-танцорками. Это, разумеется, не наседки, мирно клюющие просо, но безголовые куры, вырвавшиеся из рук кухарок, чтобы протанцевать среди крови и помета несколько трагических па. Во сне прыгающие куры достигали каланчи, порой даже звезд, но кровь скверно пахла, и пальцы от нее прилипали к подушке, так что приходилось со сна кричать. Подзатыльник оказывался заработанным. Кроме традиционных кур, мальчику снились и гусеницы. В мае месяце по Пушкинской или по Бибииковскому бульвару можно ходить только задрав вверх голову: внизу происходят переселения гусениц, фиолетовых, изумрудных, апельсиновых.

Прохожие безжалостно их дают, и зеленая каша достойным образом окаймляла Мишкины сны.

Думая о раннем детстве, Мишка, а впоследствии Михаил Лыков, прежде всего наталкивался на слепую рыбу. Потом уже показывалась аппетитная улыбка папаши, не улыбка, приличный намек на нее, улыбочка под мельхиоровым колпачком, как котлет де воляй,— можно приподнять, если только клиент захочет. Конечно, папаша умел улыбаться и по-другому, даже хохотать, но только при исключительных обстоятельствах, например в первый день пасхи, когда он пил из зеленого бокала для рейнвейна, с отбитой ножкой, «белоголовку», пил единым духом, объясняя это не порочной склонностью, а исключительно хромотой сосуды, не терпящей пауз. Выпив, он смеялся, хрюкал, как боров на «Контрактах», и в итоге методически избивал престарелого пойнера Трефа, ночевавшего у своей хозяйки, мадам Овчинниковой, и приходившего к Лыковым вроде как столоваться. Треф понимал, даже сострадательно подымал паралитическую губу, роняя на колено папаши пену, и пытался по-собачьи улыбаться, но, не выдерживая методичности побоев, начинал скулить. Это, видимо, папашу успокаивало. Что касается Мишки и Темы, то он никогда их, как лицо цивилизованное, без крайней надобности не бил.

Вокруг папаши лепились различные ритуалы детских лет. Одни названья чего стоили! Все непонятные и дикие, они заменяли и «иже на небесах», и сказки Гримма. Это была волшебная заумь, молитвы, поэзия. «Тимбаль а-ля миланез» не раз ластилось, миловало, почти заменяя мать и даже сливаясь со смутными приметамы мамы, которая умерла, когда Мишке было четыре года. От нее запомнились: коровьи ясные глаза, голубизна их, икота, нежная мелодичная икотушка, еще запах ношеного белья, родственный духу ивенсионовских мышек.

Что касается «шаториана-бэарнез», то он означал основу основ, один заменяя то вязкое и огромное, для чего в школьном катехизисе имеется «троица» с тремя ответами (это по части зубрил) и с ломкими березками в июне. Как нежно, как благоговейно произносил эти слова папаша, торжественно подкрепляя их скрипом манишки! Манишка... У других людей манишка — деталь, предположение, слуховое окошко, пестрый клочочек под галстук. У папаши манишка была всем, она раз и навсегда проглотила его щуплое тельце. Папаша был живой манишкой, произносившей поэтически названья нездешних

вещей. Когда утром он фыркал или плевался у рукомойника и, вместо горделивой белой пустыни, на впалой груди жалко болтались косички волос, Мише хотелось заплакать: папаша умирал на глазах. Старший брат, Темка, тот в нетерпении сдувал с манишки пылинки: скорей бы сделать папашу папашей!

Странное, однако, семейство. «Человек» и детишки — это как-то не вяжется. Кто же из посетителей ресторана «Континенталь» на Николаевской мог представить себе, слыша «буше-а-ля-рэн», кроватку с сеткой или лифчик, на котором, до известного совершеннолетия, держатся штанишки? Казалось, что не только семьи, даже имени не может быть у того, кто унижен или возвышен до обобщения, почти до абстракции: «человек». Однако у «человека», обслуживавшего столы двадцать два — двадцать восемь, направо от входа, было имя, притом самое обыкновенное: Яков Лыков. Были и дети, которые рождаются, очевидно не считаясь с профессиональными особенностями родителей. Вне этого недосмотра Яков был образцовым «человеком»: он разрезал пулярку, как виртуоз, безукоризненно угадывал соотношения специй в салатах и неприметно, грациозно, воздушно подсовывал счет именно тому, кому нужно. Если подрядчик угощал интенданта, то Яков, храня всю незамутненность государственной совести, тщательно скрывал от приглашенного ноли неприятных сложений. «Не извольте беспокоиться... уже-с!» «Ссс» долго, приятно свистело в ушах, как ветерок в приречной траве.

Утром, в засаленном номере газеты «Киевлянин», Мишка и Тема иногда находили необглоданную лапку фазана или ком слипшихся макарон. А папаша разглаживал газетный лист и читал, все больше о пожарах. Читал он вслух и крайне чувствительно — оплакивал какие-то сгоревшие «службы». Потом уходил в «Континенталь».

Братья играли в бабки. Братья росли.

Раз папашу вызвали гастрольно в кабачок «Босфор», что на острове. Он взял ребятишек с собой: пусть подышат свежим воздухом. Горели громадные буквы, но одна лампочка вскоре погасла, и ночь немедленно проглотила «р». «Босфо», однако, не унывало, веселье шло вовсю. Толстый господин разбил пустую бутылку, при этом он кричал на папашу. Он даже ударил его, хотя и небожно, — салфеткой по щеке. Папаша не заплакал. Чуть-чуть улыбаясь, он заботливо обнял господина, поддерживая ручками тучный живот. Тогда изо рта толстяка поли-

лась на манишку папаши красная кровь. Мишка визжал. Ему объяснили, что это не кровь, а вино. «Босфо», однако, осталось в памяти тем подлым местом, где салфеткой хлещут папашу, где люди плюются подозрительной краской, где, может быть, турок с вывески фруктов лавки ночью потрошит детей, как Ивенсон своих болонок.

Но было одно воспоминание, страшнее и кур и «Босфо», по назойливости равное только телескопу. Кто знает, не играй сопливый Мишка в то далекое летнее утро на углу Малой Подвальной, возле чайной Терентьева, может быть, вся жизнь Михаила Лыкова сложилась бы иначе. Детей воспитывают по разнообразным системам, изучают влияние на них различных цветов и звуков, годами осторожно натаскивают их на всяческие чувства, а здесь в две-три минуты маленький Мишка, игравший в бабки на углу Подвальной, познал существеннейшую науку. Было это так: портной Примятин, почтенный, очкастый мужчина, вышел из чайной. Шел он неестественно, как будто обе ноги тянули его в разные стороны, а раздираемое туловище все время трепетало на распутье. Проходя мимо Мишки, он откровенно грохнулся наземь, хотя вовсе и не было скользко. Мишка струсил: портной решит, что это он ему подставил ножку, и потаскает пребольно за ухо. Но Примятин, приподнявшись с натугой, даже улыбнулся Мишке:

— Иди, брат, к жидам Леви, в третий двор, там студень готовят, а бабок прямо тысячи.

Потом Примятин прошел к себе (жил он в том доме, где чайная, четвертый этаж, вход со двора). Мишка о нем успел забыть. Вдруг он видит: в окошке, важный, еще важнее, чем всегда, очки на месте, даже синий широкий картуз с пушком. Портной машет Мишке одним пальцем, острым и длинным, как игла.

— Эй, мальчик!.. Бабки считаешь? Смеешься? Думаешь, я — Примятин, портной военный и штатский, на вывеске покрой, а по совести, чтобы трухлявые задницы утюжить? Врешь! Я и не портной. Я — жаворонок. Я в небесах играю. Я безо всяких шаров обхожусь...

Мишка потом отчетливо помнил все эти несвязные слова и отчаянный голос, то хриплый, кипящий внутри — это пока портной бубнил о покрое, то неприлично для такого почтенного человека визгливый, когда он перешел на птиц. Засим наступило самое необычайное: Примятин вскочил на подоконник, помаhal фалдами своего перелицованного скюртука и взлетел вверх,

как был, то есть в очках и в широком картузе. Взлететь, конечно, не взлетел, чуть подрыгнул и свалился вниз, шагах в десяти от Мишки. Красная краска брызнула, как будто маляр уронил ведро с суриком. Теперь-то Мишка знал, что это не вино, как в подлом «Босфо». Из чайной выбежали люди: потные ломовики, халатники. Чей-то узел в сутолоке развязался, и наземь посыпалось вшивое тряпье. Тяжелозадая лошадь, стоявшая за углом, повела крупом и вдруг пронзительно, тонко заржала, рванулась вперед. Терентьев же, боязливо оглядываясь на чайную, где в курносых чайниках откровенно булькала водка, крестился:

— Перехватил, а от этого другим беспокойство... Вот меры не знал человек.

Потом все разошлись. Только мухи, докучные мухи облепили живым пластырем мостовую.

Папаша вернулся домой как всегда, то есть под утро. В комнате уже серело, и в рассветном чаду он сразу увидел перед окошком большие оттопыренные уши Мишки.

— Ты что не спишь?

Мишка молчал. Папаша пытался понять, разузнать, урезонить и, только увидав, что все деликатные способы исчерпаны, раздосадованный молчаньем, отстегал Мишку помочами. Мишка молчал. Мишка видел на углу Малой Подвальной, среди шелухи тыквенных семечек и конского навоза, расклеванного воробьями, широкий картуз портного, утюжившего трухлявые задницы, а на картузе краску, яркую, прекрасную краску. Не дотрагиваясь до своей спины, больно чесавшейся от помочей, он вдруг прокричал:

— Вы, папаша, сволочь! Все вы сволочи! А я вот... а я вот... жаворонком... И к чертям!..

Два брата. Злодеяние на Рейтерской. Первый кутеж

Тема был старше Мишки на два года. С лица они не походили друг на друга, никто не сказал бы, что это родные братья. Тема был сработан добросовестно, впрок, безо всяких любительских причуд. Ноги, хотя не длинные, но крепкие, как бревна, играли, пожалуй, первенствующую роль. Лицо же можно назвать

привлекательным. Что с мальчика требуется? У Темы были умные серые глаза, при встрече с другими глазами никогда не пятавшиеся под брови, высокий лоб, вроде вывески: «Мальчик не глуп, правильно решает задачи на проценты, выйдет в люди», светлые курчавые волосы на предмет грядущей лирики (ведь, судя по всем романам, русским и переводным, женщинам нравятся именно такие волосы). Словом, наружность Темы была хоть и лишенной для паспортиста особых примет, но приятной. Характер тоже: ровный, спокойный, легкий. Он не носился по двору, крича от восторга, как сосунок, чтобы пять минут спустя с угрюмо отвисшей губой бежать в отхожее место из ненависти к миру и там часами отсиживаться, проклиная товарищей, себя самого, все и всех. Нет, это проделывал Мишка, а Тема играл, думал, учился, рос и как-то всем существом — телом, головой, особенно ногами, — укрупнялся.

Папаша отдал обоих в прогимназию: пусть выйдут действительно в люди. Он был просто «человеком». Если приналець, эти могут взобраться выше, стать, например, метрдотелями. И, разглядывая по субботам балльник Темы с триумфальными шеренгами пятерок, папаша приговаривал:

— Выбьешься, Тема?

— Выбьюсь, папаша.

Не следует, однако, думать, что это прилежание означало тупость или хотя бы посредственность. Тема был, что называется, весьма и весьма способным. Пятерки он срывал легко и просто, как яблоки в саду купца Головченки. Забор у купца был с колючками, но Тема смастерил клещатые палки и вечером, без риска продрать штанишки, угощал всю ватагу головченковскими ранетами. Он вообще был изобретателен. На салазки с рулем, которые он соорудил, чтобы, слетая с Михайловского спуска, поворачивать налево, приходили глядеть взрослые. Один господин дал пятиалтынный:

— Что же, может быть, инженером будешь..

Тема дружелюбно улыбнулся:

— Может быть, инженером...

Инженером, или метрдотелем, или купцом, вроде Головченки — это еще неизвестно, выяснится впоследствии. Во всяком случае, не «человеком», как папаша: выше.

Папаша за Тему и не боялся. Вот Мишка — другое дело. Может из него выйти и нечто замечательное, гениальный метрдотель, которому место не в «Континентале», а в самом

Петербурге; сервировать какой-нибудь дипломатический банкет. А может и наоборот — свихнется. Мало ли мазуриков проводят по Львовской, голова бритая, халат, две пашки наголо — в Лукьяновку, а оттуда дальше, в Сибирь, где нет никаких банкетов, снег, камень, смерть. Что будет с Мишкой? Все в нем как-то ненадежно. Оставить на столе полтинник и то нельзя: стибрит. Потом или нажрется пирожных в самой шикарной кондитерской Жоржа, как будто он сын владельца «Континенталья», или, того глупее, отдаст целиком полтинник паршивым попрошайкам, которые шляются из Соловков в Лавру, растравливая солью гнойные язвы и выклячивая у честных людей «милостыньку».

Даже наружность Мишки казалась подозрительной: покойница была русой, папаша, прежде чем полысел, брюнетом, а Мишка шевелюрой всех озадачил. Жесткие волосы с неукротимым чубом и не золотистого цвета, не то чтобы рыжеватые, нет, откровенно рыжие, рыжее не бывает. Чуб издала казался язычком огня. Лицо капризное, подчас злое, но с большой оговоркой: глаза. Может быть, вводил в заблуждение пигмент: как бы опровергая волосы, глаза были темно-карие, глубокие, почти ангелические в их печальной доброте. Такие глаза бывают только у очень старых, замученных палкой погонщика ослов. Какой подлог совершила природа, снабдив Мишку долготерпеливыми, страдальческими глазами! Или, правда, были в нем лирические залежи, где-то далеко, под злостными проказами, в стороне от мертвой хватки, залежи, не известные ни папаше, ни Теме? Разве нет таких глаз среди тех, кого проводят по Львовской с бритой головой?

Встречные, впрочем, замечали прежде всего Мишкины руки. И глаза и чуб оставались на месте, а руки рвались вперед. Откуда они взялись? Ни Яков Лыков, ни покойница здесь как будто ни при чем. Такие руки нужно суметь придумать. Очень тонкие, белые с синью, не загоравшие даже на июльском припеке, они, упавшие, казались столь беспомощными, столь умильными, что можно было, глядя на них, даже забыть про чуб. Но потом руки взлетали, проступали жилы, оказывалось, что они — притворщицы: сильные, хваткие, отчаянные. Такие руки все могут. Главным образом — рвать. И не раз, случайно взглянув на уличного мальчишку, гоняющего собак, прохожий с некоторой нервичностью думал: «Странные руки... бумажник?.. Нет, цел... красивые руки... однако такие дети, предоставленные соблазнам улицы,— это серьезная социальная опас-

ность...» А мальчик, не видя ничего примечательного в своих руках, запачканных чернилами или вишневым соком — в зависимости от сезона, — продолжал гонять собак. Все кобели Еврейского базара его боялись.

Не только кобели. Здесь следует раскрыть одно злодеяние, имевшее место на Рейтерской улице глубокой ночью. В доме Неховецкой помещалась «венская булочная» госпожи Шандау, которая всем в околотке была известна медовыми пряниками с имбирем, а также желтоглазым сиамским котом Барсом. И пряники и Барс являлись гордостью владелицы булочной Минны Карловны Шандау, гордостью справедливой. Других таких пряников в Киеве не было: пахучая хрустящая корочка, а под ней не мякиш — золотой пух. Кот же походил на все что угодно, только не на кота: рысьи глаза, львиные повадки, а ум какого-нибудь сенбернара. Минна Карловна уверяла, что кот на выставке кролиководства (да, почему-то именно кролиководства) получил почетный отзыв и серебряный вазон. Это вполне возможно — ведь приходили же за ним как-то господа с Липок, просили отпустить на денек: на Банковской улице якобы существовала сиамская кошка с неразделенными чувствами. Минна Карловна хоть и была польщена, но кота не дала. Как же она могла расстаться с Барсом, с Барсиком, который спал под венской периной, а утром пил сливки (молоко, даже цельное, кот презирал, очевидно сознавая, что он не простой, но сиамский)? Мишка, кажется, был единственным посетителем булочной, не достаивавшим Барса вниманием. Кот его никак не интересовал. Нельзя этого сказать про имбирные пряники — на них шли различными путями добываемые гривенники. Но случилось несчастье: как-то Мишка пришел покупать для папаша франзоли. Запах медовой корки его особенно сильно потряс, а гривенника не оказалось. Он вышел, вернулся, понюхал, снова вышел. Запах из этой борьбы вышел победителем: Мишка попытался стянуть большущий пряник, но промахнулся, задел поднос, и поднос звякнул. Пойман с поличным! Если бы Минна Карловна его избила, избила до членовредительства, если бы она позвала городского и преступника повели бы в часть, Мишка знал бы: за дело, больно, но справедливо. Но то, что сделала Минна Карловна, возмутило его неожиданностью и обидностью. При всех — в булочной находились тогда и кухарка Неховецкой, и какой-то студентик, преглупо готовавший, и еще напуганные ребята — она закричала:

— Иди отсюда, ничтожный мальчик! Я плюю на твою душу!

Правда, Минна Карловна это только сказала. Она и не подумала плюнуть на Мишкину душу, но страшная обида была нанесена. За пряник, подлюга какая, посмела плюнуть на душу! Убить ее? Сжечь дом Неховецкой? Хорошо бы именно сжечь и с угла глядеть, как горит эта ведьма со всеми ее франзолями. Но как это «сжечь»? Дом каменный, если даже раздобыть бутылъ керосина, и то не выйдет. Сжечь булочницу Мишке так и не удалось. Но плакать ее он заставил. Перины оставались несмятыми, утренний кофе со сливками нетронутым. Никакие «кис-кисы», в трагической шепотности слышные даже на Подвальной, не помогли. Барс, гордость околотка, лауреат конкурса, духовный владелец серебряного вазона, идеал кошки с Липок, раритет, сиамец, Барс исчез.

Ночью по Рейторской Мишка волочил мешок. Дойдя до церковного дворика, он оглянулся — прохожих не было. Тогда он принялся кирпичом утрамбовывать прыгавший мешок. Оттуда шло томительное мяуканье: жаловался и умирал сиамский кот, как все коты мира, — раздирающе. Мишка улыбался. Ему казалось, что это отвратительно мяукает не какая-то хвостатая, хотя бы и сиамская тварь, а душа самой Минны Карловны, поганая душа, которая просит пардона, бьется и гибнет. Он же, Мишка, плюет на нее, вот так, сквозь зубы, тонким плевком.

Труп Барса утром нашли на паперти. Неделию спустя Абадия Ивенсон вручил безутешно рыдавшей Минне Карловне чучело, не чучело, — шедевр. Преступник обнаружен не был. Хотя имелись некоторые подозрения, прямых улик не оказалось. Както Неховецкая, стоя у окна булочной, сказала Минне Карловне:

— Миленький мальчик. Поглядите, какие у него изящные руки!

Это Мишка нагло разглядывал имбирные пряники в витрине. Минна Карловна только вздохнула. Не одни кобели боялись Мишки.

Можно сказать, что минутами его даже папаша побаивался. Только Тема, тихий Тема, отзывался о брате пренебрежительно: «Трус». Он знал некоторые особенности Мишки: дрожь, неожиданное заиканье, даже мельканье пяток. Напугать Мишку окриком или затрепичной было немисливо — он распался, чуб твердел, руки рвались в бой, начиналась наглость. Но стоило ему натолкнуться на нечто спокойное, на неморгающий взгляд

или на уверенную широту Темкиных плеч, как он сразу спадал с тона, смущался — девочка, и только, — причем изумительные руки приходили на выручку: так они — руки, ручки, бедные ручонки, смиренно складывались на груди: «я не играю», «я больше не буду», «прости». Это не было лицемерием: руки Мишки служили «за все». Очевидно, Мишкина субстанция, та самая душа, на которую хотела плюнуть Минна Карловна, далеко не отличалась твердостью и жесткостью его шевелюры.

Исторической датой его жизни можно назвать первый кутеж, кутеж поневоле в отдельном кабинете папашиного «Континенталя». Кутил приезжий, полтавский сахарозаводчик Гумилов с маклером по продаже домов Розенцвейгом и с думцем Ламановым. В блокноте папаши значилось: «Мадера-дри — 2, Мумм — 3, Шабли 1898 — 4» (это не считая двух графинчиков к закуске). Ассортимент напитков уже давал себя знать, когда Гумилов, которому надоели еврейские анекдоты Розенцвейга о «Балте-Балте» и похабщина Ламанова, клявшегося, что в Бухаресте «мальчики этак раза в четыре дороже девочек», решил вступить в беседу с плешивым официантом:

— «Человек», ты к б... ходишь?

«Человек», то есть папаша, сообразив, что от него требуется, почтительно улыбнулся:

— По слабости природы унижаю себя. Прикажете на сладкое парфе или куп-сен-жак?

— Нет, ты мне скажи, почему это такое, ты к б... ходишь?

— Виноват, — как на исповеди вздохнул папаша.

— Женатый?

— Восемь лет — овдовел. Детишек оставила покойница.

Последнее папаша добавил, полагая, что раз беседа принимает столь интимный характер, упоминание о детках может смягчить сердце подвыпившего сахарозаводчика и тем увеличить чаевые.

— Детишки? Ха, у тебя, «человек», детишки? А ну-ка, подай нам сюда своих детишек! Мы их молочком угостим.

Папаша твердо знал: гость спрашивает, «человек» подает. Отказа быть не могло. Но никогда никакой клиент не спрашивал у него детишек. Парфе, мадеру-дри, наконец, девочек — все это в порядке вещей. Но детишек?.. Неприличие было явным. И все же нужно было подать: гости высшего качества, из тех, что в карте напитков, не глядя, тычут пальцем пониже, где значится самое дорогое.

Когда папаша, полчаса спустя, ввел Мишку, лучше бы сказать «подавал», ибо чувствовал, что подает гостю с причудой блюдо, хоть и невкусное, но редкое, на особый вкус, Гумилов успел уже заесть, запить, даже заспать (чуть вздремнул) свой разговор с официантом.

— Это что же?

— Изволили спросить детишек. Это сын мой.

— Сын?

Гумилов, напрягаясь, хотел что-то вспомнить, но не смог, его голова окончательно замлела, он только приказал дать мальчику бокал шампанского. Мишка залпом выпил и, вспомнив домашние повадки отца, понюхал корочку хлеба. Ламанов захотел:

— Дурачок, это не водка! Это мумм. Экстра сэк. Хочешь еще?

Мишка выпил еще, и третий, четвертый. Глаза его остановились, стали круглыми, яркими, чрезвычайно похожими на стекляшки, которые употреблял для чучел Абадия Ивенсон. Лоб покрылся красной сыпью. Он был дик и достаточно страшен, но никто на него не глядел. Ламанов пил мараскин, рюмочку за рюмочкой, и, щелкая стеклянную пуговку на своем жилете, смеялся: видно, ему было весело с самим собой. Розенцвейг в этой переделке пострадал, он был патетически бледен, на кончике длинного носа накопились крупные капли пота. Время от времени он порывисто вскакивал и несся в угол, к плевательнице, но все же не поспевал. В кабинете начинало попахивать. А сахарозаводчик все пытался вспомнить: почему он затребовал детишек? О чем это он давеча говорил? Вспомнив наконец, как будто и не было часового перерыва, он тупо повторил все тот же вопрос:

— Почему ты к ним ходишь, человек?

Ответа не последовало. Как папаша теперь ни силился, он не мог ничего придумать и решил ограничиться улыбочкой. Гумилов, однако, не удовлетворился.

— А скажи мне, человек, какие они, жареные или маринованные?

Папаша явно плошал и терялся. Он не только молчал, его знаменитая улыбка становилась все более и более жалостливой. Хотя на нем имелась торжественная манишка, казалось, он с каждой минутой вянет.

Доконал его последний вопрос:

— А что ж, у тебя ребятишки тоже от б...?

Здесь из-под груди «человека», которая определенно существовала, хоть и блиндированная манишкой, из-под впалой груди, покрытой косицами волос, раздалось подозрительное хмыканье. Весьма возможно, что минуту спустя папаша и оправился бы, вспомнил свои профессиональные обязанности и предложил бы любознательному Гумилову — «еще кофейку-с». Но в дело вмешались, для всех совершенно неожиданно, Мишкины руки. Они рванулись вперед и, схватив с пирамидчатой вазы большую, сочную, изнемогавшую от спелости и от сладости грушу, швырнули ее в наивно ослабленную физиономию сахарозаводчика. Произошло общее смятение. Папашин визг, визг потерпевшего, который вскочил и, тотчас упав на задний диванчик, скатертью утирал щеки, залитые соком дюшеса, смех Ламанова и методические звуки несчастного Розенцвейга, в углу над плевательницей, — все это шло под аккомпанемент разбиваемых стаканов и падающих стульев. Только Мишка был спокоен, над катаклизмом высился его чуб. Он важно прошел к креслу, где до инцидента с грушей восседал Гумилов, небрежно развалился и гаркнул прямо в лицо смущенного кутилы:

— Эй, «человек», — теперь ты у меня «человеком» будешь! Подай «кофейку-с»! Понял? И еще отвечай, брехун цыплячий, у тебя, между прочим, супруга или сука? Скорей всего сука...

Дома папаша долго и нудно порол Мишку. Порка была обоснованной, и Мишка молчал. В этот день все ему казалось простым и серьезным: дожидаться «случая», спихнуть вот такого и самому сесть на его место, чтобы все «человеки», чтобы все метрдотели, чтобы все управляющие мира пели бы хором: «Кофейку-с». Папаша никак не подозревал об этих фантазиях. Он думал, что мальчишка вступился за честь покойницы. Поэтому ему было стыдно пороть Мишку. Но что же делать? Надо приучать мальчика быть почтительным с гостями, чувствовать дистанцию. И все же папаше было стыдно. Он порол молча. Молчал и Мишка, думая о своем, совсем не о матери с ее мелодичной икотушкой, но о коленопреклоненных управляющих. Потом оба легли. Но Мишка не мог уснуть. Под утро папаша проснулся от нежнейшего прикосновения: над ним стоял Мишка и слабенькой ручкой ласково гладил его тощие щеки.

— Папаша, какой же вы глупенький! Ведь у того, что блевал, из кармана торчал бумажник. Толстый. Наверное, все сотенные. Вот бы нам!.. Не им же оставлять. Свиным таким:

весь кабинет запаковали. А вы, папаша, как ребеночек, ничего не понимаете...

Папаша со сна долго не мог разобраться, что это вздумалось Мишке. Поняв же наконец суть его сетований, он сокрушенно вздохнул, не поленился, хоть и был смертельно усталый, встал. Мишка был выпорот вторично. Мишка молчал, злобно на этот раз молчал. Портной Примятин был прав: если не вверх, то лучше уж наземь...

«Кармен» в опере и «Кармен» в Дарнице

Всякое детство душно. Не в нежные ли годы плотнее всего облепляет слабое человеческое естество костенеющая скорлупа быта? Но есть духота теплая, духота материнского тела, телесной животной теплоты, идущей от свежеспелых огуречных грядок, духота кладовок со всяким занятным скарбом, буфетов с шепталой, духота саше в белье, дядюшкиных шуб, яичного мыла, левкоев, слез. Мишкино детство было душным по-иному: терпкой, жесткой духотой — детство многих, достаточно обычное детство, наперекор вывеске игрушечного магазина, отнюдь не «золотое», даже не золоченое, откровенно оловянное, «третий сорт».

В прогимназии, отзубрив проценты, перешли к учету векселей. «Случаев» же не было, и хоть странно это, но правда: необыкновеннейший случай, приключившийся в тот год со всем человечеством — война, — Мишке показался мелким, не достойным внимания, ничтожней любого уличного скандала. Война? Что она меняла в его жизни? В прогимназии отслужили молебн. Иные из сверстников Мишки, толкаясь у старенькой карты, висевшей в актовом зале, брали австрийские крепости. Это ли «случай»? Наводнение и то интересней. Жизнь оставалась неизменной, и быстро навстречу Мишке, вместо неслучающегося «случая», неслась третьесортная карьера мальчика на побегушках. Тема волнуется? Читает газеты? Но Тема — баран. Мишке плевать на войну.

В ту зиму, первую зиму войны, его взволновало совсем другое, с виду зауряднейшее событие: он раздобыл билет в оперу.

Давали «Кармен». Мишка сидел аккуратно, и, наблюдая за ним со стороны, можно было подумать, что он порядком скучает. Только в конце, когда раздались жиденькие хлопочки, приличия ради, тех, что боятся утрудить ладоши, но все же жалеют актеров, Мишкины руки перелетели через бархатный барьер. Они не аплодировали, нет, они рвались к сцене, где за линиями занавесом остался чудесный хлам, скалы, контрабандисты.

Ночью Тема проснулся от непонятных звуков. Как будто кто-то мычал по-телячьи. Звуки шли от Мишкиной кровати. Странно: Мишка не плакал никогда, он, кажется, и не умел плакать.

— Ты это что? Зубы болят?

— Ах, Тема!..

И Мишка выпростал тонкие руки. Нелепо стал он рассказывать заспанному брату о каких-то скалах, о темных страстях, где рядом роза в зубах и нож. Тема отчаянно зевал.

— Глулости это. И как тебя может интересовать подобная ерунда? Ты только подумай: война. Я вот весной обязательно убегу на фронт.

— Да нет же! Конечно, театр ерунда. Ты думаешь, я не вижу, что это все нарочно? Вот та, что Кармен представляла, совсем старуха. Морда у нее вся в краске. Разве в этом дело? Но папаша — «кофейку-с». Ты — в конторе. Я — через месяц в «Континенталь» — это же скучища! Зевай, дурак, мало зеваешь! А есть жизнь. Иначе нельзя такое придумать. Пусть в Испании. Тогда нужно туда бежать, а не на твой дурацкий фронт. Что я, солдат не видел? Портянок? Понимаешь, чтобы с розой в зубах и на смерть. Вот, как поет «а-а-я»...

И, вскочив на кровать, в больших латаных кальсонах, с хвостиками тесемок, Мишка все тщился передать своим ломающимся, то хриплым, то мяукающим, голоском какую-то одну ноту, из-за которой вот он, никогда не плакавший, взял и замычал в подушку. Ничего из этого, разумеется, не вышло.

— Да замолчи ты! Спать хочется.

Одиночество, Мишка уже знает тебя! Ты — тесный, стеклянный аквариум. От той ноты можно умереть. Где-то живут люди взаправду. Этого никто не поймет. Темка хочет спать, а потом на фронт. В газетах война. Испания далеко. Деньги... Кто же ему даст деньги? Вздор! А если стянуть — изобьют, и в Лукьяновку. Через два месяца «Континенталь» — на побегушках. Звуки выдуманы, Мишка несчастен. Мишка очень

страдает. Он даже поплакать не умеет, мычит, несносно, отвратительно мычит, а тонкие ручки рвут жесткий войлок одеяла.

Снова шли дни. Кончилось наконец образование. В прогимназии знали, как говорил папаша, «дистанцию». Учили настолько, чтобы уметь подсчитать «приход — расход» и без конфуза составить письмецо «М. Г., с совершенным почтением». Не переучивали, памятуя, что знание для многих поприщ только минус.

А «случая» все не было. Мишка перекочевал в «Континенталь» к телефону — соединял центральную с комнатами. Дышал он теперь вслух, причем эти вздохи принимали круглую форму: «алло». Особенно важным френчам, возвращавшимся под утро из бара с мигренью, приходилось передавать телефонogramмы. Часто от текста их мигрень возрастала, а руки смешно подпрыгивали, как безголовые куры. Например, приказ: на позиции. Это было единственной радостью Мишки. Он вдруг становился властителем важных и наглых людей, еще час тому назад ливших шампанское за корсаж певичек. Это он отдавал приказ. Разве не значилось внизу листка, к которому прилипали трезвеющие с перепугу зрочки: «принял Михаил Лыков»? Имя Мишки въедалось в рыхлый мозг френча, и Мишка торжествовал.

Потом появились некоторые новые развлечения: он стал с любопытством разглядывать фотографии голых дамочек, выставленные в витрине парфюмерного магазина на углу Александровской. Он начинал понимать, что эти мясистые шары живы какой-то второй жизнью. Сотни различных ругательств, знакомые ему с младенчества, зазвучали теперь по-другому, ожили, обросли теплым мясом. Все это было далеко не радостным, скорее напоминая назойливый экзамен; от которого нельзя улизнуть.

Особенно выразительно он почувствовал это в то утро, когда действительно просили кого-нибудь к аппарату из комнаты двести четыре. Двести четвертая не отвечала. Мишка пошел, постучался. Ему показалось, что ответили «войдите». Он приоткрыл ленивую мягкую дверь. Тогда он увидел впервые то весьма простое и все же потрясающее, что было нарисовано в уборной «Континенталь» с похабной припиской внизу. Конечно, он знал, что так, именно так и бывает. Но одно дело картинки или на переменах в прогимназии теоретические шепоты наиболее

предприимчивых второклассников, другое реальность: одышка, брянчащая глупо шпора и светло-розовая — цвета зари или ветчины — прогалина повыше чулка.

День прошел, огромный, тифозный день. Цифры плясали, липли друг к другу, слипались в одно. Это «одно» было противно-розовым, как резина, прекрасным, нет, не противным и не прекрасным: очень нужным, прямо необходимым. К вечеру Мишка понял, почему Кармен так пела. Теперь и у него в горле барахтались эти звуки: они шли снизу. Дело, оказывается, не в розе.

Начались сны, полусны, метания, переворачивания с боку на бок, фантазии, где соединялись различные «любия» — сластолюбие, честолюбие, самолюбие: как та из двести четвертой. Но не одну — всех, притом самых шикарных. Теперь он оставил френчи в покое, зато каждую даму, входившую в гостиницу, сопровождал глазами. Чем важней, чем дороже берет номер, — тем лучше. Не раздевать, не целовать. Ему нужен только факт. Сознание: и эта! Миллионы. Они лежат, он проходит мимо. Считает. Они просят: «Остановись!» Он хохочет. Он плюет, плюет по старому рецепту поганой булочкицы, «на душу».

Так вот о чем пела Кармен! Или нет? Не об этом? Должно быть, другое. Ведь это же гадость, это то, что рисуют в клозетах, об этом и рассказать по-хорошему нельзя, только выругаться. Слова как отрыжка. Но это нужно. Нужно, вроде как есть или спать. Есть и спать скучно. Тогда о чем же те ноты?

Мишка готов был направиться к девочкам. Имелся адрес, имелась и отложенная для этого трешница. Он не направился. Явиться мальчишкой с улицы, теряясь, торгуясь (еще, пожалуй, денег не хватит), нет, он должен быть повелителем. Лучше уж тогда в монахи или оскопить себя, как румын с Фундуклеевской, у которого Мишка покупает фиксауар для смягчения чуба. Лучше не жить. Жить можно только со шпорой, шпорой вшиваясь в душу, в розовый клоч. Для этого нужен «случай», все тот же проклятый «случай».

«Случай», о котором мечтал Мишка, не пришел. Ни одна из останавливавшихся в гостинице дам не упала перед ним на колени. Но в июльский душный день, когда от жестокого зноя шло жужжание в ушах и болели глаза, пришел к нему случай, не пришел — подвернулся, случай совсем другой породы, маленький, паршивый, случай, каких много везде и повсюду, не катастрофа, а оказия.

Случилось это под Киевом — в Дарнице, куда Мишка забрел (был у него выходной день) от зноя и скуки. Солдатка простая, хорошая, что называется, честная баба.

В те годы — шла ведь третий год война — произошло известное упрощение, оголение процессов. Нота из «Кармен», обычно необходимая в обиходе, как салфетка, стала явным излишеством. Мужчины и женщины оказались территориально разделенными. В итоге этого перемещения некоторые чувства, как, например, «любовь», остались вовсе без местожительства, если не считать за таковое бумажные и духовные оболочки писем с обещаниями «вечной верности». О выборе часто не могло быть речи, и разнообразие карточек, соответствующих «Континенталевской», заменилось однородностью, плотностью, эпичностью ржаного хлеба. Если все это верно даже по отношению к посетителям городской оперы, то тем паче применимо к крепкой телесной глыбе женского пола, лишенной необходимых ощущений вследствие, скажем по-плакатному, «хищничества империалистов», — к той глыбе, на которую натолкнулся наш герой.

В избе, среди картофельной кожуры и утиного помета, стояло множество кринок с молоком. Молоко в жару томилось и кисло, распространяя острый запах, — так пахнут новорожденные щенята. Так пахла и баба. Мишку мучило. Но он в ту минуту мало о чем думал. Все соображения о роли владельца спасовали перед клейкостью и близостью соответствующих форм. Его руки, толковые звериным чутьем, оказались превосходными проводниками. Что касается бабы, то отроческое волнение этого «случая», то есть с неба, с знойного белесого неба упавшего кавалера, даже льстило ей. Конечно, сама она, еще никак не раздраженная, сохраняла полное спокойствие и еле удерживала вызванную истомой и духотой зевоту. Дело кончилось бы, наверное, к общему удовольствию, если бы не произошел внезапный разряд. Руки Мишки резко рванулись вперед. Чуть позевывая, баба лениво спросила: «Сиськи хочешь?»

Так же, как говорила она, прикармливая грудью своего Гришку: «Сиську хочешь?» — просто, по-хозяйски. Эффект был необычаен. Мишка отдернул руку и вскочил. Это был явный подлог. Последняя его ставка, ставка на странные, утробные, до слез пронзительные звуки, ставка на розу в зубах Кармен оказалась битой какой-то «сиськой», похожей на соску, гнусней-

шей вещью из обихода. Снова его охватывал быт, ватный, между двумя рамами, засиженный быт. Мишка воспринимал это как заговор против него. Он вдруг возненавидел лениво усмехающуюся бабу. Он повалил ее на пол и стал бить, тупо, долго бить, топтать сапогами. Баба не отбивалась. Понимая совсем иначе язык побоев, она даже приятно раскраснелась.

— Молоденький, а как мужик...

Потом Мишке надоело. Перед застекленевшими в недоумении глазами бабы он метнулся к двери. Выходя, однако, он остановился: пожалуй, подумает, что он мальчишка и ни на что не способен. Нужно прикончить. И с этим «нужно» школьных уроков, он тяжело упал на истоптанное, никак не милое тело, чтобы пять минут спустя, задыхаясь от кислоты молочного духа, с тошнотой и тоской выбежать вон, чтобы бежать под ожесточенным солнцем, по пескам, увязая в них, в сухих, злых песках.

Что делать дальше? Мычать на манер слез? Глупо. «Алло»? Номера? Михаил, — да, Мишка уже Михаил, он не ребенок, он взрослый, — Михаил должен жить. В этот час на сухих, разожженных песках его карие глаза действительно печальны, их печаль не имеет выхода, она — мираж, она — просто красящий пигмент, руки же валяются вниз: бить или ластиться — дело другое, но жить они, кажется, вовсе не могут.

Революция вообще и революция применительно к Михаилу

Мы не станем перечислять ни тех борделей, куда ходил умеривший свою тоску Михаил, ни тех, растравлявших сны, книжек, мелких проигрышей, опрокинутых рюмок, понижений или повышений по службе, которые составляли его жизнь в течение двух последних лет. Он рос, но не определялся, ботанически не зацветал, так что не могло быть и намека на последующие плоды. Что бы стало с этим юношей из телефонной будки «Континенталь», порой замечаемым, вследствие музейности его рук, что бы с ним стало, не случись «того»? Выравнялся бы он, папаше на удовольствие, в тонного

метрдетеля или все завершилось бы первым, неосторожно торчащим из бокового кармана кожаным бумажником? Праздные вопросы. То, что случилось, разве могло оно не случиться?

Конечно, об этом никто не думал. Процесс размышлений при подобных обстоятельствах играет весьма малую роль. Разве думала баба, в хвосте у булочной, у обыкновенной булочной на Петроградской стороне, под золотым выборгским кренделем, разве она думала, первая баба, с досады завопившая: «Ироды, хлеба!», что «иродами» открывает величайшую эпоху? Конечно же нет, она вовсе не думала, она кричала, она не снисходила до раздумий, она и не смела думать, как тот солдат-волынец, первый солдат, который, переменив направление дула, как будто повернул ветер, выстрелил не в бабу, визжавшую под золотым кренделем «иродов», а в звезды погон. Он тоже не думал, он стрелял.

Она вышла из этих криков, визга, разрозненных залпов, из толкотни и прятанья в подворотни, из тысячи мелких нелепостей, достойных только хроники происшествий, вышла огромная и неожиданная, чтобы расти, чтобы перерасти нежность одних, ненависть других и стать достоверностью, сплошной, простейшей, как воздух, нас окружающий, или как смерть.

Она сразу стала личным, семейным, хозяйским делом всех и каждого. К этому оказались причастны все: и незволивший телефон «Континентала» — онемел, и пропавшее хотя бы на день «парфе», так как поваренок, которому надлежало вертеть мороженицу, демонстрировал «против аннексий и контрибуций», а френчи не то козыряли, не то отплевывались, и контора, где Артем Лыков вместо недельных счетов за электричество изучал Брокгауза на «п» — сразу проглатывая «прибавочную стоимость», «пролетариат» и «пропорциональное представительство». Михаил? Почему не Михаил герой ее? Разве он не шлялся по Крещатику, приятельски улыбаясь «ветеранам элторги» и возмущаясь знаменитым «ножом в спину» ценовых элементов? Можно сказать, что даже папаша, с опаской улыбнувшийся если не непосредственно демонстрантам, то воздуху, наполненному осколками песен и криков, даже этот «человек», битый не раз лакей, «якей», как говорили снобы, был в ней своим человеком.

Революция! Как не приветствовать всего ее милосердия, рассказывая историю жизни темной и тяжелой! Забудем на

час различные социальные проблемы, забудем о том, что полукрепостной мужичок, на радость нашим народолюбам, продолжавший и в студенческих песнях, и вне песен «стонать», должен был стать фермером, а трехполье смениться многопольем. Не станем сейчас измерять, какое политическое значение уже приобрел захват политической власти новым классом. Ограничимся восхвалением милосердия той, которую даже ее кровные дети (впрочем, не без ласковой усмешки) зовут «жестокой». На следующий день после происшедшего сдвига, не на определении сравнительной ценности различных пластов, ценности для хозяйственной или научной эксплуатации, хотим мы остановиться, но на благословении самому процессу. Страшен отстоявшийся быт, и, если бы не эти, время от времени находящиеся катаклизмы, человек давно превратился бы в свою собственную визитную карточку. Один воздух, тот, в котором «висел топор», воздух флигелей и казарм, замоскворецких покоев и петербургских канцелярий, сколько он весил, махорочный, портяночный, сивушный? А ризы? А блины? А тулупы и еноты шуб? А шуточки «Будильника» или «Стрекозы»? А доморощенная философия паразитического избранничества страны, весь пафос которой якобы состоял в умелом подставлении морды, лоснящейся от лампадного масла и от испарины ста самоваров, под кнутовище? Вентиляция являлась необходимостью. Конечно, скептики усмехнутся: надыхат. Но это ли довод против вентилятора? Вспомним: буря была живительной и прекрасной. Вместо подведения итогов лучше вновь переживем первый глоток весеннего воздуха, те времена, когда папаша, забыв о судках, младенчески улыбался, присоединяясь к Артему, еще раз заглянем в словарь, что это такое «пролетариат», и вместе с нашим героем, который уже бродит, смеется, негодует среди этого самого пролетариата, вместе с ним прокричим, как тогда: «Да здравствует революция!»

Впервые два брата, снятые великим переполохом со своих жизненных постов, сошлись, даже подружились. Это было прежде всего общностью занятий, если только можно назвать таковыми гудение на митингах, ночные дежурства у подъездов и даже организацию особой полумайнридовской дружины «защиты революции». Может быть, сближало их также ощущение, что на эти празднества они оба пришли из той же земли, тесной, как стеклянная банка, земли манишек и «кофейку-с».

Неунывавший папаша ежедневно напоминал им о реальности этой земли. Какие бы телеграммы ни слал «всем-всем» исполком Демиевского района, папаша неизменно сервировал свои «тимбали» спекулянтам, оправившимся после первого испуга.

Сближение братьев не было длительным. Шла дифференциация толп и людей. Надо было примкнуть к какой-либо партии. Артем нашел свою сразу, скорее чутьем, нежели разумом: никакими политическими познаниями он не обладал. Зато у него имелось шестое чувство: немедленная и точная отдача коллективных восприятий, как будто его сердце являлось не самостоятельным органом, но частицей огромного группового сердца, частицей, во всем подчиненной общему ритму. Он со всеми ошибался и со всеми торжествовал. За это его Михаил и прозвал «бараном». Не вмешиваясь в спор между братьями, заметим, однако, что шестое чувство Артема — завидное чувство: жизнь с ним ясна и действительна, смерть легка. Это чувство помогло Артему, еще в летние месяцы всеобщего разброда, когда, изнемогая от высот Реомюра и от высот слога, члены комитетов или съездов неуверенно подымали руки сразу за две, за три исключаящие одна другую резолюции, найти свою партию. Пусть Крещатик еще растерянно верещал, покупая открытки и Керенского и Ленина, восторженно приветствуя французского атташе, кончившего завтракать в «Континентале», пением «Интернационала». Печерск, Демиевка, Подол из подвалов, из коечных домов уже выделяли самых непримиримых: Артем стал, разумеется, большевиком. Он не был сколочен для митингов-концертов, где после душки, грациозно сочетавшего социализм (конечно, в грядущем) с платочком, обрызганным «Ориганом», выступала все та же оперная примадонна, поразившая как-то Мишку-меломана. Он искал дело и нашел его. В казармах, где маршевые роты перед отправкой на фронт смутно ворчали, в хвостах, где страстно обсуждали вопрос о подорожании на гривенник сахара, в трущобах Подола, где старики опасались погрома, а молодежь проводила дни исключительно в мировом масштабе, охраняя турок от хитрого Милюкова, всюду, где хотели, но еще не знали толком, чего именно хотят, появлялся Артем, с точным перечнем лозунгов, одобренных губкомом.

Михаила там не было, Михаил кочевал. Не узнав счастья подлинной и внезапной любви, он пережил всю мучитель-

ность мимолетных связей. Три года назад, прельщенный розой в зубах Кармен, он, понятное дело, теперь прежде всего прельстился эсерами. Ведь революция только встряхнула, проветрила его, переделать его нутро она не могла. Его прежние фантазии, очищенные от корысти, оставались фантазиями одинокого и обособленного юнца. Испания оставалась Испанией, хотя и подававшейся теперь под доморощенным псевдонимом «земли и воли». Эсеры красиво изъяснялись, и Мишка, когда-то молившийся на таинственный «шатобриан-бэарнез», замирал от политических трелей всех присяжных поверенных словоохотливого города. Кроме того, здесь были перспективы выделиться, добиться славы. Кокетливые барышни, покупавшие в магазине Альшванга красные банты и липнувшие взволнованными грудями к пыльной дверце автомобиля, в котором сидел один из присяжных поверенных, не лучше и не хуже других, просто человек, нашедший свой «случай», — это было улучшенной разновидностью старых снов Мишки в телефонной будке. Итак, Михаил стал эсером. Он вошел в эту партию, напоминавшую грандиозный митинг-концерт. Братья разделились. Происходили перебранки, ссоры, по программе, хорошо знакомой в то лето и в ту осень всем российским семьям. Усталые от собраний, дома они ограничивались несложной аргументацией «пломбированного вагона» и «наемников Антанты», подкрепляемой обидными словечками из семейного обихода.

Артем твердо стоял на своем. Нельзя того сказать о Михаиле. Ему нравился эсеровский тембр, слова же, поскольку он стал в них разбираться, скорее злили его. Это были зачастую пословицы, произносимые патетично, с дрожью, как прозрения. Его раздражало неизменное запаздывание. Еще барышни липли к автомобилю, но Михаил уже чувствовал вялость последних дней ярмарки. Центр, пока невидимый, явно переместился с Крещатика на окраины, и, думая об этом, Михаил чувствовал, что ненавидит брата. Неужели этот баран оказался находчивей его? Что теперь делать Михаилу? Отправиться на фронт, на старый, трехлетний фронт, противно ноющий, как запущенная опухоль? Нет, ни за что! Протест рождался не от страха, а от скуки: фронт лежал где-то вне революции. Никакие красные значки на штыхах «ударников» не могли этого изменить. Тогда оставалось стоять в стороне и ждать, ждать, что придумают другие, хотя бы тот же Артем.

Достаточно унижительное положение! «Вы — эсер» звучало так же, как «вы — тумба», или в лучшем случае «вы — житель». История с дарницкой бабой повторялась. Уйти к большевикам? Как будто нужно уйти именно к ним, жизнь там, ничего другого не остается. Но это невозможно. Прежде всего из-за Артема; он усмехнется: «А что же «пломбированный»?..» Но черт с ним, с Артемом! Можно окончательно разругаться. Можно наконец уехать куда-нибудь, хотя бы в Москву. Была другая остановка, серьезней Артема. Михаилу не раз приходилось сталкиваться на митингах с еще немногочисленными дооктябрьскими большевиками. Таким образом, он увидел эту партию в ее густом растворе первых лет революции. Он чувствовал, что большевизм требует большего, нежели принятия пунктов программы: люди были другими. И Михаил в душе побаивался большевиков. Он терялся перед их прямой и оголенностью, как терялся когда-то Мишка перед широкими плечами Темы. В их партию нельзя было заглянуть, зайти проходя, как на митинг. Самое понятие «дисциплины» оскорбляло его. Оно пахло масляной краской гимназических сборных, чадило, как душная лампа казармы. Михаил ходил потерянный. Если бы это практиковалось, он, пожалуй, снес бы в газету объявление: «Ищу партию по себе». Тщетно заходил он на последние митинги, где нехотя второстепенные ораторы еще повторяли опустылевшие всем помпезные фразы. Убеждения не находились.

Наконец он решился. Для объяснения был выбран некто «товарищ Егор», заходивший изредка к Артему, бывший наборщик, не только отравленный свинцом и задохнувшийся от приступов профессионального кашля, но как будто весь присыпанный металлической пудрой. Говорил он с исключительной методичностью, то набирая слова, то раскладывая их по отделениям кассы. Биография его, вне партийной работы, была абсолютно краткой: родился в таком-то году. Это порождало особую преданность, которую знало только большевистское подполье с его аскетическими нравами.

— Мне нужно поговорить с вами, товарищ.

Происходило это ночью на Безаковской, возле вокзала. Пустыри пропускали острый сквозняк, и дрожь Михаила, ребяческую экзаменационную дрожь, можно было отнести за счет температуры. Несмотря на поздний час, улица была наполнена топотом: шли солдаты с фронта. Эти знали дорогу;

на короткий срок их шкурное «домой» и героическое революции «вперед» указывали одно и то же направление.

— Что скажете?

Действительно, что скажет Михаил? Кратко: хочу к вам в партию? Пространно: о своей неудачной любви к эсерам? Нет, он выбрал самое неожиданное. Весь пропитавшийся декламацией ораторов, которую он сам так возненавидел, сконфуженный и от сконфуженности наглый, Михаил произнес митинговую речь. Он выбирал самые торжественные слова, как будто его слушал не товарищ Егор, но все эти солдаты, крихтя, с узелочками, спешившие домой. Припомнив выступления заезжих эсеров, он привел несколько наиболее театральных аргументов, обличавших, что ли, «материалистическую душу» большевизма. Это являлось введением. Но все же есть правда, вернее, доля правды и у большевиков. Словом, он согласен стать выше высказанных сомнений и примкнуть к ним. Последнее было сказано с такой торжественностью, как будто речь шла по меньшей мере о присоединении целого народа. Михаил сам чувствовал всю неуместность своих слов, неуместность, которую подчеркивали хлюпающие по лужам рваные калоши и его, Егора, спина, согнутая в виде вопросительного знака.

Свинцовый человек с трудом опомнился. Это ночное словозвержение, среди пустырей, показалось ему тяжелым сном, карикатурой на тот период революции, когда вся Россия говорила, говорила днем и ночью, мешая в одно восторженные слюнки о «святости бескровной» и матерщину, когда руки казались созданными исключительно для голосований, а городские тумбы поставленными для ораторов. Он с подлинным ужасом поглядывал на говорившего. Кто этот?.. Зачем?.. Но так как подобные вопросы казались Егору праздным занятием, он быстро перевел себя на практический путь. Болван? Что же, теперь, когда предстоит орудовать главным образом числом винтовок, и болваны пригодятся. Поэтому, не вступая в пререкания с Михаилом, товарищ Егор ответил кратко: пусть обратится в райком. Спросить такого-то. С пяти до семи. Михаил остановился у светлого выреза окошка, записал чье-то чужое жесткое имя, поблагодарил.

Михаил остался один. Он мог бы радоваться: так или иначе, экзамен сдан, вход в эту железную партию найден. Завтра с пяти до семи... Но не тут-то было. Товарищ Егор уже,

наверное, успел позабыть о неприятном болтуне, а Михаил, все еще стоя у светлого окошка, заново переживал свое объяснение. Его не поняли. Его боль, отчаяние, наконец, особые мысли спокойно зарегистрировали. Партия живет своей жизнью, жизнью хорошо налаженной. Можно войти, но обязательно через двери, подчиняясь распорядку, без сцен. Хотя товарищ Егор отвечал лаконично, Михаил хорошо понял язык его металлических глаз. Урок был дан. Самое большое, на что он может рассчитывать, это на безразличие: не будут замечать особенности и обособленности. То, что он — Михаил, непохожий на Тему, на всех Тем мира, до поры до времени ему прощают, и предложат скучнейшее дело: например, расклеивать на заборах возвания. Член номер такой-то. Здесь даже не могло быть «случая», эффектного жеста, подвига, героизма, автомобиля, кокетливых барышень — ничего. Сухая победа, похожая на топот вот этих солдатских сапог, когда лиц не видно, только ноги, сумма ног, масса...

Думая так, Михаил курил папиросу за папиросой, и раздумия его были прерваны одним из топотающих землячков с традиционным паролем тех бесплечных лет: «Прикурить разрешите». Михаил вдруг в бешенстве отвел руку с папиросой.

— А ты большевик?

— Если касательно замирения — оно конечно...

— «Оно конечно!» Шкура! Видишь, что это?

Михаил вертел перед глазами перепуганного «землячка» клочок бумажки, на котором было записано имя секретаря райкома.

— Думаешь, на сигарки? Здесь вся твоя партия. А я ее к черту!

В полном беспамятстве Михаил рвал бумажку на мельчайшие доли и клочочки швырял в лицо солдату:

— Нет твоей партии! Вышла! А мне.. А мне наплевать... Извозчик!..

В голосе Михаила уже звучали отчаянные ноты. Крик начинал сбиваться на знакомое Артему по одной ночи мычание. Все это было столь подлинно, столь томительно, среди пустырей и тьмы, сырой гуттаперчевой тьмы, что, когда товарищ окликнул солдата, каменевшего с нелепо вытянутой вперед, так и не закуренной, козьей ножкой: «Пьяный, что ли?» — тот угрюмо отозвался:

— Какое там!.. Просто осатанел человек.

А Михаил в это время уже трясся на паршивой пролетке, с клочками соломы, торчащими из сиденья. В паштетную! Имелись, на счастье, две керенки. Он хотел одного: напиться, напиться скорее, чтобы голова стала легкой, стеклянной, плавающей, как поплавок среди масляного дыма.

И Михаил напился. В мокром чаду, среди бугорчатых, прыщавых, поверх прыщей напудренных морд, среди холодных, сальных котлет, полный сивушного духа и горя, он сидел и ненавидел. Он ненавидел Тему, сразу пришедшегося к месту, как пуговица к пиджаку. Ведь это же «случай»! Ненавидел свинцового человека, для которого все просто и ясно: не жизнь, а набор. Но больше всего он ненавидел революцию. Разве он мало любил ее? Мало ей радовался? А она, проклятая, отталкивает его, берет Артема, тысячи Артемов, их голубит, его же, Михаила, отталкивает. За что? За то, что он не такой, как другие, козел, упрямый козел, среди стада баранов? Что же, тогда Михаил плюнет. Просто плюнет, как на эту котлету. Он пройдет мимо нее. Он станет путешественником. Уедет в Тибет. Он начнет писать романы, потрясающие романы, от которых заплачут все эти пудренные морды. Его все оценят. Тогда и революция пожалеет, поймет, кого она упустила. Тем хуже для нее. Он презирает революцию. Он не замечает ее. Еще бутылку!

— Долой революцию!

Это вопил Михаил. Официант осторожно отодвинул посуду. Сальные пятна котлет уплыли. Он поступил резонно — в углу уже шел гам: «провокаатор».

— Закрой глотку!

Михаил, войдя в раж, орал. Тогда какой-то субъект, с шелковистой, каракулевой шевелюрой, проведенный здесь также время не даром, хоть в трезвом виде считавший себя врагом насилия и толстовцем, все же приложился к Михаилу. Подоспели другие. Исключительные томления Михаила завершились жалкой потасовкой по пьяному делу, с неизбежной руганью и кровью из носу, одной из банальнейших потасовок, происходящих в нашей стране, независимо от запрещения крепких напитков или политических переворотов, когда кулаки обязательно выражают сложнейшие душевные переживания, а душа, согласно выражению «просясь вон из тела», предается физиологическим функциям.

Герой уходит от революции. Революция приходит к герою

Революция, разумеется, продолжалась, но наш герой делал вид, что не замечает ее. Он не читал газет. Завидев на углу улицы кучку встревоженно гудевших обывателей, он обходил ее, как лужу. Он брезгливо морщился, когда громадные буквы стенных воззваний врывались в его зрачки. Он убеждал себя, что жизнь прекрасна и вне революции. Разве не был прекрасен и в ту осень, как во все прочие осени, Киев, полный неожиданной голубизны в просветах горбатых улиц, а по ночам звездных плосек и теплого запаха гниющих листьев? Это было чудачеством, сентиментальным бредом: среди людей, оголтелых от ежечасного ожидания: «выступят?» или «выступим?» (смотря по кварталу), от очередей, забастовок, дежурств, слухов, любоваться небом или Днепром. Михаил был горд собой. Ему казалось, что он выше, умнее других. Изредка только прорывалась обида ребенка, не взятого на праздничные гулянья, но он быстро справлялся с ней.

Он даже направился к некоей Шурочке, с которой познакомился перед самой революцией. Тогда он не успел довести дело до конца: Шурочка была осмотровельной и, несмотря на задухшевность Мишкиных глаз, упорствовала, заводя разговоры о тяжести жизни, о преимуществах замужества и о прочем, скорее деловом, нежели романтическом. Среди вершин «земли и воли» шейка Шурочки была, понятно, забыта. Она нашлась теперь при перетряхивании воспоминаний, в жажде найти жизнь как таковую, помимо событий. Эта тоненькая шейка, чуть тронутая веснушками так, что они казались игрой солнца на пушке, великолепно гармонировала бы с изучением осеннего неба. Разыскав Шурочку, Михаил попытался убедить ее в этом. Он жаждал не столько припухлых губок, сколько понимания. Он сделал широкий жест, отгоняя Шурочкины вопросы: «вы какой партии?», «правда ли, что Керенский жид?», «скоро ли подпишут мир?» — никак не вязавшиеся с буколичностью шейки. Он попробовал передать ей радость отъединения, холодок ночных прогулок, постоянный язык дождя. Шурочка скромно зевала, угощала Михаила купленными по случаю помадками, сгоняла с шейки липких

сентябрьских мух и никак не подымалась на необходимые высоты. Михаил только через час (да, потеряв битый час среди приторных помадок и мух!) узнал причину ее холода. Оказалось, что Шурочку, пренебрегая проблемой брака, успел заговорить какой-то приказчик, брюнет и анархист, заняв, таким образом, место Михаила. Даже помадки предназначались для него и были выданы Михаилу исключительно в порядке гостеприимства. Оставалось саркастически усмехнуться и уйти.

Среди философских вопросов появились и житейские. В одно утро не оказалось ни денег, ни службы. Родительские чувства папаша и доверие приятелей были превзойдены дороговизной жизни. Дело, вернее, дельце подвернулось само собой, пожалуй, не вполне чистое, но обстоятельства исключали брезгливость. Товарищ Михаила по «Континенталю» Сладков привез из Крыма табак. Хотя в общей суматохе людям было не до акцизного инспектора, да и акцизному (если он тогда существовал еще по инерции) не до табаку, все же в магазинах товар взять отказались. Михаилу за комиссионные пришлось обходить различные труппы, где среди тряпья, оладьев, угара приготавливались так называемые «рассыпные». Эти прогулки никак не допускали раздумий. Из темных коробочек дворов, где легче погибнуть, нежели найти дверь, на которой намазан номер квартиры, из этих квартир, заполненных слезящимися котятами, сохнувшим бельем, пинками и подзатыльниками, подымалось на Михаила его собственное детство. Не нужно думать, что наш герой был бесчувственным. Напротив, его можно назвать скорее сентиментальным. Он был теперь недурно одет, обедал в паштетных (даже с пивом), комиссионные обещали месяц-другой безбедной жизни. Однако нищета папиросочных трупп воспринималась им как своя собственная. Предложи в такие минуты Михаилу весь «Континенталь», он с негодованием отказался бы. Здесь большевизм являлся не сложной проблемой, но такой же реальностью, как ближайшая получка. Революцию здесь нельзя было обойти. Впалость щек, рахит младенцев и постность борща, сапоги, просившие «каши», все здесь было мобилизовано для ее защиты. Несколько вечеров подряд в Михаиле боролось чувство, которое мы назовем скорее социальным инстинктом, нежели состраданием, и душевный комфорт одиночки. Победил последний.

Михаил снова очутился в паштетных, Он хотел уверить себя, что наслаждается. На самом деле он скучал. С поразительной настойчивостью ему кидалась навстречу мертвечина. Если он глядел на лица женщин — это были морщины, все разновидности морщин, от тончайших гусиных лапок до глубоких канав лба, вялые одутловатые щеки, носы, испещренные угрями, синяки под глазами, все жалко заштукатуренное пудрой. Если он принуждал себя вслушиваться в звуки танго, разыгрываемого худыми и длинными, как смычки, скрипачами, звуки были невеселыми, ноющими, истошными, — не танец, а панихида. Во рту после пьяных ночей он чувствовал подлинный привкус гнили. Он менял паштетные, но веселье не открывалось. Новизна ощущений первых дебошей исчезала при виде этих людей, уныло допивающих свои последние бутылки. Кабаки напоминали тогда вокзальные залы с томительными мухами и зевотой. Никто не смеялся. Когда же падал, задетый подвыпившим гостем, стул, все привскакивали: начинается! Случайные собутыльники говорили между собой о выгодной перепродаже мануфактуры, о грабежах в Липках, о том, когда же вернется «порядок». Михаил молча слушал их. В торговле все его познания ограничивались недавней операцией с табаком. Грабежей он не боялся. Что касается «порядка», то одно это слово вызывало в нем ужас и тревогу, как будто собеседник тащил его за шиворот к континентальной будке. Все эти люди и прежде ходили в паштетные, теперь, общипанные первыми же переменами, они спускались ниже, меняя разряд посещаемых заведений. Среди них Михаил чувствовал себя пришлым. Он боялся проговориться, выдать себя. Одновременно он презирал их. Скука все возрастала. Предстояло опуститься: предаться мелкой уличной спекуляции или запитать.

Здоровье, верный нюх, наконец, возраст (Михаилу тогда было всего девятнадцать лет) вывели. После одного из таких похоронных кутежей он, вместо дома, направился к вокзалу. Иной читатель, забывшись, дорисует картину: взял билет и сел в вагон. Он лишит то утро Михаила всей его живописности. Дощатый барачный вокзал был в действительности забит солдатами и мешочниками. Несколько часов Михаил локтями тупо пробивал сплошную человеческую толщу, которая в ответ обсыпала его руганью и вшами. После этого он вместе с другими штурмовал скрипящий вагон. Ему удалось влезть в

окошко. Внутри были свалены груды тел. Лежали на полу и на полках. Зады качались в сетках, ноги гроздьями свешивались с верхних полок, из-под скамеек торчали тыквы голов. Повернуться было немислимо: если у кого-нибудь замлевала нога, стонал и ругался весь вагон. Сверху сыпалась соль мешочницы, внизу тухли селедки другой. Люди пытались держаться за карманы, но не могли: приходилось чесаться. Мочились под себя. Кто-то все же ухитрился стибрить четыре чайные ложечки. По ошибке заподозрили другого и выкинули в окошко, мнимый вор расшибся. Ехали до Москвы шесть дней.

Уже в Брянске узнали: начинается. На этот раз слухи были такими настойчивыми, что поверили все, даже какая-то благодушная голова, торчавшая из-под мешков с сельдями и до Брянска заверявшая: «все обойдется». Среди сваленных тел имелись «за», имелись и «против». В Петрограде уже дрались. Здесь драться было невозможно, приходилось только злобно дышать друг другу в лицо и совместно трястись. Лишь выйдя на широкие платформы московского вокзала, неуклюже переступая разучившимися двигаться ногами, путники самоопределились. Совсем недалеко бухали пушки. Одни радовались успехам большевиков, другие уповали на какого-то генерала (кажется, Алексеева). Обладательница соли, впрочем, проклинала всех, признавая только Сухаревку, где за соль ей дадут фантастическое количество ситца, и еще святейшего патриарха — этого бескорыстно. Слово, все принимали чью-нибудь сторону, и если не действовали, то, во всяком случае, выражались.

Исключением являлся Михаил. Увиливать больше было немислимо. Революция, с которой он затеял игру в прятки, настигла его, совсем не играя, вплотную, всерьез. Нужно было действовать. Но как? Раздор летних месяцев перешел в апатию. Правда, он убежал в Москву, в живую Москву, от мертвых кувертов паштетных, чтобы как-нибудь жить. Но Москва его встретила слишком ошеломляюще. Это не митинг!

Беспомощно оглядывая вокзальные залы, в которых еще красовались архаические рекламы «Сенаторских» папирос и «Спотыкача», Михаил вдруг увидал большие инициалы, памятные до болезненности по увлечению весенних дней, почти что инициалы первого романа: «С.—Р.». Воззвание изобиловало славянизмами, в другое время оно могло бы сойти за

церковное, только с заменой «товарищей» «прихожанами». Чувствовалась редкостная поэтичность природы, например: «вольнлюбивый русский народ, огради от ледящего вихря насильников хрупкое древо свободы». Присутствовавший народ, в виде одного дорогомилковского бондаря, дойдя до «древа», разразился крепким словечком. Но Михаилу словарь попался понятным, даже родным. Адрес бюро на Арбате, где записывали добровольцев, он воспринял, как рекомендацию семейной гостиницы.

Уже точным шагом, среди первых перестроек, направился он туда. По дороге, возле Смоленского рынка, его несколько озадачил старый рабочий в картузе, чуть смахивавший на покойного Примягина, который, не укрываясь в подворотню от юнкерских пуль, сам не стреляя (у него и винтовки не было), стоял посредине улицы с большим лоскутом и кричал в сторону Арбата, где заседали защитники Керенского:

— Дудки!

Вот это слово и озадачило Михаила, столько в нем было возмущения и отчаяния. Михаил уже остановился. Но стоять было опасно: грозили не только пули, грозил душевный разлад. Надо было спешить в бюро.

Помещалось оно в маленьком «иллюзионе». Первое, что почувствовал Михаил,— дрожь. Нет, не свою, все вокруг дрожало. Дрожали от ветра (пули уже истолокли стекла) занавески, дрожали хриплые голоса старавшихся перекричать друг друга представителей партии, дрожал весь дом. Дрожь передалась и Михаилу, дрожь не страха, но неопределенности. Валявшиеся в углу винтовки казались декоративными, свезенными сюда скорее для подсчета инвентаря, нежели для практического употребления. Только один человек среди этих зыбких фигур сохранял твердый контур — это был полковник, с короткими, на английский манер подстриженными усами. Он заботливо берег все приметы своего достоинства от презрительной краткости в репликах представителю городской думы «к среде усмирим» до облачка тройного одеколona. Глаза у полковника были бульдожьи — круглые, выпуклые, боевые. Напав на них, Михаил отшатнулся: такой может взять и, здорово живешь, выпороть. Что касается других, то они напомнили Михаилу завсегдаев киевских «паштетных». Идеологию подавал представитель думы, с высот эстрады жа-

лостно кудахтавший: «Они могли бы, во всяком случае, подождать до выборов в Учредительное собрание...» В углах шло более жизненное: «третью ночь не спал», «из Минска четыре эшелона перешли к большевикам», «черт с ними, вопрос, как достать колбасы?». В ожидании своей очереди Михаил присел на ступеньку. Может быть, он задремал после шести утомительных ночей в вагоне, а может быть, только задумался. Но если это и было дремотой, то живой, благодетельной, когда, разрывая связь очередных жидких мыслей, человек проникает в свою вторую жизнь, плотную, органическую. Наконец-то черед дошел до Михаила. Он поднялся с тяжелой головой, но как бы протрезвевший. Чуждость окружающего в последний раз подчеркнули случайно дошедшие до него слова: «Советы, *mon view*, но это просто воняет...» Он стоял у стола, ручка гимназиста выжидательно заострилась. Но вместо имени и фамилии последовало совершенно нелепое слово — «дудки!», которое Михаил сказал самому себе, в виде резюме, сказал вслух, достаточно громко, чтобы его услышали все, вплоть до идеолога на эстраде. Сказав же это, он спокойно, безразлично, не проверяя эффекта, произведенного брошенным словечком, направился к выходу. Он даже не помнил, сказал ли он что-либо. Нужно признаться, что эффект был ничтожен. При всей его бессмысленности, поведение подозрительного добровольца никого не поразило: все эти люди, воспитанные на декадентских стихах, на понюшках кокаина, на диких годах, когда галицийская шинковка шла под бешеный танго танцулек, были ко всему привычными. Тот, что щеголял французскими словечками, впрочем, пожал плечами: «каналья», и все.

На Арбате проверяли документы. Тенькали пули. За углом, возле лавочки, наперекор событиям торговавшей макаронами и картошкой, толпились люди, у которых аппетит первенствовал и над политикой, и над инстинктом самосохранения.

Можно подробно рассказать о том, что делалось в этот день не только на Арбате, но и на других улицах, например на Плющихе, на Воздвиженке или на Басманных, добросовестно отметить, где еще торговали и чем именно, где были юнкера, а где большевики, перечислить особенно важные позиции, как-то: телефонную станцию, почтамт, Александровское училище, дать детальный отчет о переменчивых успехах сторон,

с жалостью или с презрением уделить место обывателям, нейтралитет которых диктовался отнюдь не солидарностью с бывшим тогда в роли арбитра «Викжелем», а только привязанностью к жизни, безотносительно от партий и строя. Принимая во внимание численное превосходство этих обывателей над двумя боровшимися сторонами, можно остановиться с глубоким вниманием на их занятиях, на набирании воды про запас в ванны, кадки и ведра, на приспособлении нужников, лишенных предательских окон, под жилые помещения, на дежурствах в подъездах. Можно, разумеется, и этот день принизить до прочих дней, взять его глазами обывателя, смотревшего на мир сквозь щелку деревянных щитов подъезда, или же покрыть его патиной историка. Но тогда сделается совершенно непонятным дальнейшее поведение Михаила, машинально повернувшего назад, к Смоленскому рынку.

Чтобы не попасть впросак, следует пойти за ним по пятам, следует в этом дне различить нечто, кроме достоверных фактов, кроме выстрелов и кроме приплюснутых носов членов домового комитета. Что он увидел? На углу бульвара рабочих, суетившихся возле пулемета? Раненую девочку? Осеннее небо? Да, конечно, все это было. На одном из рабочих зачем-то была уже зимняя шапка, с ушами, с жалкими, насквозь промокшими песьими ушами. Девочку пронесли в Смоленскую аптеку, причем аптекарь трусил и долго не хотел отпирать. А небо? Небо было только понятием — белесое и пустое. Конечно, он видел это. Но он увидел и другое: революцию, уже без улыбок барышень, без флагов, кокетливых, как бантики барышни, без чирикавших адвокатов, возмужалую и суровую революцию. Огромный день, проглотивший благополучие предшествующих лет, их бедствия, самое память! Среди рынков, церквушек, чайных, песьих шапок, среди декорации, созданной разве что для нудного, злого бунта, для одного из тех бунтов, который собирался к среде усмирить полковник с бульдожьими глазами, среди этой декорации, появилась она, редчайшая гостья, чтобы каждый выкрик мастерового в нелепой ушанке стал бы волнами радио. Только подумать: здесь, напротив трактира Семенова, «без права продажи», на мостовой, где в праздник шла торговля старыми, прелыми валенками, куда в прочие дни бабы сажали ребят, среди этой зевоты, припечатанной крестом, какой-нибудь Иван Беспалов (или, может быть, Федор Кубышкин) начал свой спор с веками. Здесь

каждый жест был историей, теплый и трогательный в своей человеческой неуклюжести. В тот день здесь был не только Беспалов или Кубышкин, здесь была революция. И Михаил увидел ее и вдруг понял, где его место. Он не думал, думала за него она. Начиненный обычно мелким самолюбием, он теперь легко подчинялся чужим приказам. С младенчества влюбленный в победу, он, как и многие из его товарищей, был убежден, что юнкера переселят, но это не уменьшало его радости. Привычным, банальнейшим движением кидался он не раз в течение этого дня, в течение последующих дней прямо под пулеметный огонь. Здесь были проявления подлинного героизма, которые мы не перечисляем лишь потому, что героизм в те дни, еще всем памятные, был воздухом, то есть и самым существенным, и самым неощутимым, что не поддается описаниям и не нуждается в них.

Так совершилась подлинная встреча Михаила с революцией. Мы не являемся теми народными заседателями, которым было поручено рассмотреть жизнь Михаила Лыкова с точки зрения его социальной пригодности или опасности. Мы только рассказываем историю этой жизни, год за годом, во всей ее непритязательной наготе. Но, дойдя до одного часа, до того часа, когда Михаил бежал по Никитскому бульвару, под огнем, увлекая за собой бородатых солдат, бежал оборванный, без шапки (обронил), с издали видневшимся пылающим чубом, дойдя до этого часа, мы должны остановиться. Мы не ждем от читателей особой любви к нашему герою. Наверное, не раз, с понятной нам гримасой раздражения или даже брезгливости, они отворачивались от его мелких чувствований и сомнительных похощений. Но в каждой жизни имеются часы, достойные любования и зависти. Мы хотели бы, чтобы читатели на Никитском бульваре столкнулись с Михаилом. В нем не чувствовалось никакой злобы. На этот раз фосфорическая нежность его глаз не являлась обманной. Глаза сохраняли ту же ясность, когда он упал. Само падение было легким, так падают детские змеи или листья. Острота физической боли не могла стереть с его лица улыбки. Его руки, как всегда, рвались вперед, расходуя последние силы.казалось, они продолжают прерванный бег по бульвару, к Арбатским воротам. Потом он потерял сознание. Улыбка, однако, длилась, являясь внешним выявлением изумительной радости, переполнявшей его.

Подходящая партия. Бунт. Впечатление от одной каски

Операция была произведена удачно, пуля извлечена. Однако общее истощение оттянуло на несколько месяцев возможность встать, ходить, думать — словом, снова занять в жизни некоторую позицию. Это было Михаилу на руку. Все, что предшествовало октябрьскому утру на Смоленском, казалось ему сугубо неприятным. А рассчитывать на самозабвение тех исключительных дней не приходилось. Он сознавал, что тогда был заряжен чужим током. Оставленный теперь на самого себя, он снова оказался у знаменитого «корыта».

Выздоровление все же завершилось, и маленькая комнатка в Левшинском переулке приняла шаги из угла в угол, стоянки у сахаренного окна, докучливое недоумение Михаила. Казалось, чего тут недоумевать? Он сражался на стороне большевиков. Большевики победили. Открыты тысячи возможностей искренней и плодотворной работы. Но беда была в том, что исконная неприязнь к большевистской спайке, смятая октябрьским штормом, оправилась одновременно с ним. Он сам с трудом понимал свою роль в те дни. Он не жалел о случившемся, трезво учитывая все превосходство Михаила, бежавшего по Никитскому бульвару, над теперешним, тупо поглядывающим в непрозрачное окошко. Но продолжения он не видел.

Выход нашелся случайно, в виде хлеба, как-то выданного из домового комитета завернутым в газету. Хлеб был давно до крошек поглощен, когда, обычно не читавший газет, Михаил, со скуки, расправил помятый лист. То, что он увидел, было настоящим сюрпризом. Оказывалось, можно пережить судьбу, совместить прошлогодною эсеровскую партию с жестким ригоризмом Октября. Так, по крайней мере, обещал Михаилу орган неизвестной ему доселе, совершенно особой партии. Проглотив статью о примате личности, Михаил от волнения даже привстал. Впервые комнатка в Левшинском услышала его воинственное посвистывание. Открывалась романтическая карьера. Если тот, с одутловатой заспанной физиономией, преждевременно улыбающийся в автомобиле, сдрейфил перед матросскими клешами, Михаил не сдрейфит. Он из другого теста. Следовательно, он может стать героем, меть выше! — вождем. Вся чу-

дотворно найденная партия левых эсеров казалась ему специально для этого устроенной. Было от чего насвистывать.

Месяца два спустя Михаил уже по-домашнему позевывал в особнячке Леонтьевского переулка, где помещались тогда левые эсеры. Правда, пока что он являлся не вождем, а всего-навсего помощником экспедитора газеты. Досуги перевешивали потребность в них, и целые дни Михаил слонялся по залам партийного клуба. Он обзривал самых ответственных работников. Имелись среди них даже наркомы. Михаилу они импонировали исключительно положением. Их умственного над собой превосходства он не ощущал. Конечно, они цитировали множество книжек, но Михаил это считал делом наживным. Наверно, существует пособие, где все такие цитаты подобраны по рубрикам. При случае, если дело станет за этим, можно приналечь и вызубрить. Зато с примерной тщательностью изучал он их манеру держаться, вплоть до закуривания папирос, все повадки, тон, реплики, будучи убежденным, что только благодаря этим внешним приметам они дорвались до своих мест.

Разговоры в клубе шли предпочтительно о нравственности. Посторонний, случайно заглянув туда «на огонек», решил бы, что это не политическая партия, а кружок чудакащих моралистов. Делалось это обычно так: брался какой-нибудь поступок, с точек зрения и церковной и обывательской предосудительный, например убийство. После чего все «ответственные», щеголяя цитатами, принимались доказывать, что нет ничего на свете нравственней, нежели убийство. Михаилу подобные занятия казались праздными. Вопрос о нравственности его никак не занимал. В своих понятиях он был, скорей всего, обывателем, считая не только убийство, но и вообще всякое нарушение общепринятых норм дурным. Но что из этого? Ведь только безнравственное и увлекательно, хотя бы то же убийство.

Не интересуясь дебатами, Михаил запоминал отдельные витиеватые словечки, заводил лестные, а подчас и полезные знакомства, старательно выполнял мелкие партийные поручения и ждал. Действительно, к весне разговоры приняли значительно более конкретный характер. Место нравственности занял «Брест». Наиболее горячие уже выволакивали грохочущее словечко «выступление». Казалось, что поддаться влево немислимо, вследствие предельного уплотнения. Однако все время «жали масло», споря, кто левее. Все члены клуба, включая Михаила (а было их свыше ста), охотно пошли бы на фронт

«против похабного мира». На основании этого и выносились ультиматумы. Соотношение между ста членами и ста пятьюдесятью миллионами здесь никого не интересовало. Романтизм исключал арифметику. Каждый судил по себе и думал за себя. Михаил, таким образом, пришлось вполне ко двору.

В наивности наш герой предчувствовал повторение Октября. Подошло Первое мая. Левые эсеры тогда еще входили в правительство, и Михаил встретил празднество в автомобиле, расписанном художником-«супрематистом». Роспись выражалась в красных квадратах, воюющих с черным ромбом, причем означало это сложную мысль, на всякий случай дополненную подписью (тоже неразборчивой, — буквы, как блохи, прыгали без определенных маршрутов): «Красная трудовая мечта победит черные будни мешанской Европы».

Весь романтизм первого года революции, включая сюда и футуристические плакаты, и кокетливые пулеметные ленты матросов, был налицо. Москва, сызмальства падкая на пестрядь, щеголяла новинками живописной моды. Пролетарии, освобождающие вселенную, почему-то были в кудрях юбочках, скорей приличествующих балеринам. Что касается их лиц, то, по словам людей компетентных, «разложенные на плоскости», для профанов они представляли рыбы глаза, круглые, как горошинки, изобилие щек квадратной формы, оранжевые треугольники вместо носов. Все это вертелось на фасадах ампириных особняков. Дома трясло от грузовиков, «бывших Ступина», до Октября перевозивших мебель, а теперь нагруженных безработными актерами, представлявшими аллегорические сцены — «Парижскую коммуну» или «Подвиг Степана Халтурина». Некоторые из актеров декламировали «Двенадцать» Блока, другие пели «Интернационал» и почему-то «Укажи мне такую обитель». Словом, это было решительным переселением карнавала со знойных площадей Апеннинского полуострова на улицы и переулки Москвы. Сознание, что он наравне с полоумными квадратиками представляет большую политическую партию, пьянило Михаила. Автомобиль давно закончил свой рейс. Теперь наш герой бродил по улицам. Он вышел к Иверской. Надо напомнить, что Первое мая в тот год совпадало со страстной пятницей. Это обстоятельство делало карнавал в глазах салопниц не чем иным, как игрой дьявола. Часовенка астматически дышала испускательными свечами. Михаил задумался: что бы выкинуть? Не скандал, но жест! Срочно требовался эффектный исто-

рический жест! На беду, его воображение работало слабо и ничего, кроме насвистывания, не подсказывало. К часовой подошел осанистый человек, с виду кучер, и, сняв картуз, принялся напряженно, как бы вдавливая в себя знамена, креститься. Это зрелище раздражило Михаила. Он с удовольствием арестовал бы степенного молельщика, но никаких оснований для этого не имелось. Тот, уже кончив креститься, направился к Охотному ряду, навстречу Михаилу, а наш герой все еще продолжал негодовать. Он воспринимал поведение этого человека не как суеверие, даже не как государственный проступок, а как акт, направленный непосредственно против него. Вот до какой степени подействовало на экспансивного юношу турне в супрематическом автомобиле. Михаил рвался в бой, помериться с широкогрудым ревнителем иверских свечек, — если не эрудицией, то хотя бы бицепсами. По Тверской спускались манифестанты, размахивая плакатом «Вечная память борцам за коммунизм». Михаила тогда осенило — он подскочил к степенно шагавшему человеку и крикнул:

— Товарищ, из уважения к павшим, предлагаю вам немедленно обнажить голову!

Человек не сразу понял, что именно от него требуется. Эта пауза переполнила Михаила радостью: молчание он учел, как сопротивление. Но не прошло и минуты, как человек, сообразив, что дело клонится к комиссариату, жалостливо осклабился и снял картуз. Михаил окончательно обозлился. Вдруг среди карнавала, квадратов, рифм, среди своего величия, потянуло папашей, миллионами «папаш». Отвернувшись, он буркнул что-то глубоко уничижительное, вроде «сопля». Давно прошли манифестанты. Однако человек с блестящей, маслом смоченной головой продолжал по-прежнему стоять. Мысли Михаила были уже далеко, они теперь догоняли другой автомобиль, примеривая осанку истинного вождя, когда раздался томительный басок:

— Разрешите надеть?

Вместо разрешения последовало новое ругательство и бегство Михаила. Мечты о грядущей карьере были нарушены этой собачьей покорностью. Он остановился на Красной площади. Что ему делать? Кремль? Хорошо. Во-первых, он построен. Во-вторых, уже взят. На Николаевском дворце — красный флаг. Причем по мелким хозяйственным деталям чувствуется, что эти люди перевозжать из Кремля не собираются. Остается, конечно,

в-третьих, то есть уничтожить, но процесс уничтожения никогда не привлекал Михаила. Не ценя людей, он умел ценить вещи. Пролететь самому? Но как? Те, из Леонтьевского, глупо проматывают месяцы на дискуссии о морали. А эти? Эти заперлись наглаголом. Вместо случайностей жизни — холодная, ровная неприятность. Впервые Михаил пожалел: зачем он тогда пошел с ними? Кто знает, не лучше ли было подохнуть с теми слюнявками?

В клубе, куда он направился, было пусто. Все знаменитые цитаторы не захотели пропустить okazji сорвать хлопки на первомайских митингах. Михаил с тоски читал «Пинкертона». Действенность книжки бесила его. Он не мог вынести чужой удачливости, даже вымышленной. В скучном клубе, где от предстоящего доклада «Этическое наследство Лаврова» зевали даже двери, толкаемые слоняющимися без цели товарищами, где томительно стыл разлитый по стаканам чай, читать о такой фантастической жизни. Книжка была злобно отброшена. Уж подступала крайняя безнадежность, когда к Михаилу неожиданно подошел товарищ Уваров, один из самых ответственных, чью привычку повторять через слово «понятно?» помощник экспедитора последнее время тщательно осваивал. Уваров не только дружественно поздоровался с Михаилом, он подсел, он (и это было уже удачей, — оглушительней, чем то, из «Пинкертона») заговорил, причем не об обязанностях экспедитора, даже не о первомайской демонстрации, а сразу «схватив быка за рога».

Словоохотливость — одна из самых неизлечимых болезней: кажется, легче бабнику пропустить пресловутую юбку, нежели вот такому говоруну, как Уваров, чужие подвернувшиеся уши. Интимные места, никогда не слыхавшие человеческой речи, заполнялись патетическими выступлениями Уварова, к вящему удивлению квартирных хозяек. Он часто думал вслух. Митинги, однако, он презирал, как гастроном презирает кашу. Ему были необходимы острота поставленного вопроса, специи реплик, азарт голосований с сомнительным исходом — словом, дискуссия. Поэтому скрепя душу он не пошел на праздничные собрания. В клубе он рассчитывал найти десяток-другой серьезных товарищей и обсудить с ними все вообще и нечто, называемое спорщиками по профессии «текущим моментом». Увидав же неразобранные стаканы чая и пустые стулья, он почувствовал такие позывы к словоизлиянию, что, подвернись ему даже не

симпатичный юноша, а манекен из конфекционного магазина, он и то заговорил бы.

Это был небольшой, но крайне категорический доклад, расшитый впрок полемическими блестками против воображаемых оппонентов. Сущность его сводилась к тому, что, подписав Брестский мир, большевики окончательно осквернили нравственный лик революции. Отвечая на зов всей России, единственная партия трудящихся должна наконец выступить. Прерывалось это регулярными «понятно?». Вначале Михаил попробовал отвечать «понятно», но, заметив, что это раздражает Уварова, перешел на деликатные кивки. Он пропустил мимо и «нравственный лик», и вопрос о мире, как несущественное, все это было, на его взгляд, мелкими придирками, зато «выступление» показалось ему и впрямь понятным, более того, необходимым. Выступить против большевиков слева, повторить Октябрь, конечно, — другого достойного выхода Михаил не видел, а если это совпадало с теориями самого Уварова, если к тому же это соответствовало зову всей России, можно было не только кивать головой, но и кричать от радости. Конечно, Михаил не закричал. Он лишь с краткостью и почтительностью ушей (не языка, одних ушей), когда Уваров кончил, ответил:

— Что касается меня, то я — в первых рядах...

Наконец наступил этот день, день летний, потный, припудренный пылью застав. Были относительно дешевы ягоды — клубника, земляника, красная смородина. Москвичи, уже успевшие на четвертушках и восьмушках основательно отощать, ходили с руками, замаранными розовым соком, и с резью в желудке. Михаил тоже за утренним чаем съел фунт ананасной клубники. Хотя, по некоторым признакам, он понимал, что выступление не за горами, дня ему не указали, и грохот в соседнем Денежном переулке, где для начала революционной войны кто-то укокошил германского посла, застал Михаила врасплох. Когда он выбежал из дому, квартал был оцеплен. Латышские стрелки молчаливо проверяли документы. Прохожие хмурились. Признаков революции нигде не имелось. Но Михаил, спешно направлявшийся к Большому театру, где заседал съезд Советов, мысленно видоизменял окружавший его ландшафт. Он верил, что в центре идут бои, что сейчас за углом заплечет флаг победителей. К театру его не пропустили. Он бросился в клуб, но те же латыши, неподвижно стоявшие у ворот, остановили его.

Он носился по городу, гремучему и сонному в своей повседневности, разыскивая товарищей из надежнейшего ядра. Их не было: одни спешно укатили в подмосковные затоны — подышать свежим воздухом Клязьмы или Быкова, другие, налаживая приятельские отношения с большевиками, разбрелись по различным клубам, разумеется, не своей скомпрометированной партии. Поздно вечером, на частной квартире, он разыскал экспедитора. Тот был угрюм и явно трусил.

— Ничего у них не выйдет. Нам-то что — мы люди мелкие. Подадим заявление: являлись техническими работниками и — айда к большевикам. Там будут люди посерьезней.

Михаил возмутился: перебежчик! Не этическая сторона дела оскорбляла его, но дряблость мелкотравчатого экспедитора. Как можно отойти от зеленого сукна, пока в кармане бренчит хотя бы молочек! Хорошо, пусть съездовские делегаты арестованы, но ведь несколько воинских частей высказались за левых эсеров. В резерве вся страна. Бои еще предстоят. И вот, в такую минуту, менять огромный куш победы, который может быть сорван, на жалкую службу в экспедиции большевистской газеты!

Ночью Михаил, преодолев немало препятствий, пробрался в Семеновские казармы, где сидели мятежники. То, что он нашел там, мало чем отличалось от настроений экспедитора. Поражала, прежде всего, помесь людских пород. Здесь были и «учредиловцы» втайне, и анархисты, и просто заправские виртуозы смуты. Храбрясь и отругиваясь, все, однако, искали приличной лазейки. Вопреки безупречным аргументам Уварова, страна явно в переделке не участвовала. Торговка огурцами на Зацепе, услышав привычный бас пушек, которыми большевики теперь уговаривали левых эсеров быть «легче на повороте», лениво забормотала:

— Белых побили, теперь серых бьют.

Это являлось, кажется, единственным откликом на инсценировку классической революции. Даже удивления не было. Обыватели еще помнили выстрелы, которыми как-то ночью большевики выселяли анархистов, квартировавших перед тем в перво-разрядных особняках, и применение в дискуссиях артиллерии казалось им естественным.

Наиболее нервные из числа тех, что сидели в Семеновских казармах, предлагали перейти в наступление. Михаил решил во что бы то ни стало повторить Октябрь. Он тщательно внушал

себе, что переживает подъем: это его бунт, бунт Михаила Лыкова!

С криком пробежал он несколько шагов, но быстро осекся. Мучительность стыда за плохой любительский спектакль судорогой прошла по лицу. После этого он уже сидел молча, не разделяя ни бравирования, ни паники, сидел, пока не настало так называемое «отступление», то есть бегство по шоссе, по жиденьким огородам, бегство, в котором преследователями являлись все: большевики, огородники, их собаки, едкое солнце, страх и стыд.

Беглецы, вначале сохранявшие видимость боевой части, быстро расплылись, каждый за свой страх искал спасения. Инерция бега сохранялась, и Михаил, проделывая сотни верст, меняя телегу на теплушку, ночуя то под мостом, то на залусканном перроне станции, подчинялся скорее инерции, нежели разумно избранному маршруту. Если он и переживал что-нибудь, то только полноту поражения, увеличенное во сто крат похмелье киевских паплетных, знакомую ему скуку дней, начинающихся бесцельной зевотой, со всей отчетливостью часов и даже получасов, с духотой засыпания. Именно это ощущение знакомости, а не осознанное желание перейти границу, и повернуло его на юг, к родным местам. Опоминания еще не было. Лица товарищей в казарме, мяукание снарядов, слова воззваний, смородина московских ягольников, лай натравленных на беглецов собак — все это являлось еще длящимся, живым унижением.

Опоминание началось только тогда, когда в черноте летней ночи, как будто созданной для вызревания хлебов и для любовных утех, показался тусклый блеск металлической каски. Блеск этот был чужд, нов и значителен, так что не только сердце Михаила, но и многие другие сердца людей, шедших с тюками или с корзинами, увидев его, дрогнули, забили чаще.

Политические дороги, как и обыкновенные, железные или посейские, чреватые неожиданностями, но на свой лад логичны. Уводя путника от чудных гор к скучной равнине, они знают, куда ведут. Бегство Михаила, начатое совместно с людьми более или менее ему родственными, среди которых имелись и спорщики особняка в Леонтьевском, закончилось переправой через границу, среди черноты ночи, переправой акций, закладных, семейных драгоценностей и просто всякой всячины, увязанной в нелепые узлы. В этой толпе Михаил был одинок. Узнай кто-нибудь о его поведении в Октябрьские дни, ему бы

пришлось плохо. Снова в поисках вернейшего для себя места он оказывался вне комплекта, где-то на отлете.

По так называемой «нейтральной полосе», прочерченной среди полей одной из центральных российских губерний, двигалась толпа беженцев. Обсуждались будничные проблемы: как куда добраться, посадят в карантин или не посадят, что лучше — «керенки» или «украинки». Но, как мы отметили, при первом соприкосновении с острой каской германского часового эти мышинные заботы на минуту сменились некоторым осознанием происходящего. Так начиналось то явление, которое, оставаясь лишь печальной сноской в истории России, все же оказалось способным и заставить досадливо поморщиться весь мир, и прикончить не одну человеческую жизнь. Так — со скромными узелочками, по-дачному, налегке, пешком начиналась эмиграция, чтобы выполоть наугад сотни тысяч существований, чтобы заставить серпуховского инспектора где-нибудь в римском Пинчио тосковать о белесоватости обшмыганных березок, чтобы привести сиятельного сибарита в швейцарскую одного из непотребнейших заведений Монмартра.

Среди этой толпы, пугливо галдевшей над своими тюками, среди черноты летней ночи, которая совместно с царскими десятками покрывала бегство, Михаил пережил опоминание. Металлическая каска завершила бунт, гордо поднятый «против постыдного мира с германцами». Теперь ему предстояло слиться с этими сомнительными попутчиками, с этими дамами, быстро меняющими бабьи платочки на примятые в чемоданах шляпки, у которых под юбками таятся вполне реальные сокровища, в виде различной, приятно шуршащей валюты, с этими потрепанными субъектами, под эгидой острой каски выволакивающими из недр карманов и совести все сразу: и титулы, и бриллиантовые запонки, и монархические убеждения. Октябрь был бесповоротно вычеркнут из его жизни.

Немцы выстроили беженцев для проверки бумаг. Михаил протянул свой паспорт и несколько вышел при этом из хвоста, а так как паспорт не сопровождался ни титулом, ни соответствующим аллюром его обладателя, ни хотя бы мелким подношением в виде цибика чая или куска туалетного мыла, Фельд-Фебель, презрительно блеснув кончиком каски, ударил Михаила в грудь:

— Стой в ряду!

Михаил ничего не ответил. Один из участников недавних событий, герой Октября, пусть взбалмошный, но отнюдь не трус, только поднял воротник, зарываясь головой в сукно и с отменной послушливостью наказанного школьника стал на указанное место. Он хотел познать унижение до конца.

Возвращение в отчий дом. Знакомство со славой

Нет, дым отечества не был сладок. Это был прежде всего дым кухни «литературно-художественного кружка» на Николаевской, где, не считаясь с традиционными катарами журналистов, изготавливались сомнительные «дежурные блюда», дым подгоревшего масла и лука. Возвращение потерпевшего жестокую аварию героя в родительский дом являлось продолжением больших и малых обид, испытанных им в пути. Жестокость мягкосердечного обычно папаши диктовалась обстоятельствами: «горе побежденным». Пятнадцать лет всевозможных обкарнываний папашиного бюджета были поставлены на карьеру сыновей. Если бы Михаил явился победителем, безразлично — белым или красным, если бы, не залезая в политические капканы, он предстал бы перед папашей устроенным, хотя бы носильщиком или даже золоторотцем, он мог бы рассчитывать, что знаменитая манишка будет подставлена для прикосновений его рыжей шевелюры, что растроганный папаша выставит бутылку хереса и начнет вспоминать о детских проказах милого Мишеньки. Но на лысую голову папаши свалился великовозрастный младенец с непонятными приключениями. Пренебрегая внушаемой ему с детских лет мудростью, Михаил рассорился со всеми. Его нигде не хотят, ни в красной Москве, ни в белом Киеве. Вместо багажа он привез из странствий подозрительные манеры гамлетизированного интеллигента и надоедливое однообразие партийного жаргона. Притом он ничего не умел делать, разве что мечтать о своем главенстве и участвовать в «выступлениях», но ни то, ни другое не сулило заработков. Притом, как и все смертные, он хотел есть, что окончательно выводило из себя папашу. Вместе с мелочью на обеды Михаил получал те оскорбительные

словечки, которые может выговорить человек, привыкший, чтобы его хронически оскорбляли, когда наконец нарвется на кого-нибудь рангом пониже.

Папаша чувствовал солидность своих позиций. Среди неимоверного кавардака бар «Континентала», куда его перевели из верхнего ресторана, казался эпическим образцом постоянства. Менялись не раз посетители, преследуемые очередными победителями, папаша же, как земля или как звезды, неуклонно продолжал сиять и, сияя, описывать орбиты. Погоны появлялись или исчезали, оставляя на плечах предательские рубцы. Проплывали переменчивыми спутниками голубоватые кепи французов и устрашающие усищи германских майоров, австрийская, чешская или румынская мелкота, но если это и отражалось на ком-нибудь, то исключительно на музыкантах, по утрам разучивавших различные гимны. Что касается папаши, то он спокойно сервировал свои космополитические и надпартийные крышоны. Против этого были бессильны и вся локальная живописность украинских чубов, и, страшно выговорить, сами большевики. Правда, при последних бар, подчиняясь веянию времени, спешно переменял паспорт. Он стал именоваться «Хламом». Там, отдыхая, военруки и политкомы поглощали пшницеля под патриотические стихи начинающих авторов (предпочтительно о вселенском сдвиге). Бар был недосыгаем для политических бурь, и папаша, в сознании этого, глядел на Михаила так, как глядят курганы на сусликов, то есть высокогоржественно, не смотря на свою плешивость и малый рост.

Итак, Михаилу пришлось вновь испытать хлесткость если не помочей, то ругательств, особенно разнообразных в Киеве, благодаря лингвистической пестроте его населения, где «пся крев» легко сменяется «ганефьом», а кацапская заезжая «мать» независимым «трясця твоей...». Он воспринимал это, как естественный аккомпанемент. Он бродил по улицам с опущенной головой и тяжелым дыханием отставшей от хозяина собаки. Человеческие чувства можно как угодно деформировать. Поэт, склонный к гиперболам, описывая Михаила, может быть, припомнил бы Наполеона после «ста дней» или декабриста, убежавшего с Сенатской площади, мы же предпочли заурядный образ бесхозяйной собаки, как наиболее соответствующий душевному состоянию Михаила. Неудачливый бунтарь теперь вовсе не думал о мировых событиях. Еще месяц назад судьбы революции уплотняли его сутки. Тогда он не отделял своих

будничных занятий от того громоздкого, о чем пишут, сначала в мотыльковых, марающих пальцы газетах, а потом и в солидных фолиантах историков. Эта карьера теперь казалась ему исключенной. Уроки папаши, естественно, возвращали его к прогимназии. Жизнь вторично требовала выбора профессии, знакомств, протекций, среды. А он был способен теперь на одно уклоняться. Если занятие и нашлось, в виде должности, раздобытой папашей, то это можно назвать не житейским поприщем, а первой подвернувшейся подворотней. Обстановка гетманского Киева, с олеографическими бликами беглых сановников, с одуряющим изобилием паштетных, как бы подкрепляла его в ощущении тошнотворной мути. Если и шла речь о чем-нибудь, то об удачно спекульнувшем на австрийских кронах Финкелевиче, но никак не об истории. Оказия казалась Михаилу безвозвратно упущенной. Как все юноши, не обладая масштабом, чтобы измерить пережитые злоключения, он свои двадцать лет почитал за старость и, дыша порой в тусклое зеркальце, служившее папаше для установки галстука, искренне удивлялся отсутствию у себя седин, приписывая это особенности рыжих волос.

Он даже не подумал огрызнуться на предложенную должность, хотя она была препротивной: в упомянутом нами учреждении на Николаевской принимать и подавать калоши, с которыми гардеробщик Григорий, вследствие исключительного выполнения бара, никак не управлялся, различные калоши: рваные с напиханной в них бумагой — кабаретной и газетной мелюзги, горделивые, твердые полуботики, снабженные блестящими инициалами, — солидных особ, издателей или же импресарио, дамские, кокетливо вилявшие меховыми челками, — словом, все разновидности калош, бот, полуботиков, незаметно, внизу дорисовывавших социальное положение человека.

Кто только той зимой не бывал в «литературно-художественном кружке»? Киев являлся тогда своеобразным климатическим курортом, переживавшим разгар сезона. Привлекая особо благоприятной атмосферой северных изгнанников, он не спешил их сдавать своим наследникам, то есть Одессе или Ростову. Подобно всякому курорту, он изобиловал эфемерными магазинами, начинавшими прямо с распродаж, в частности комиссионными, где продавались соболя и подержанные шприцы, пашлычными, открываемыми налегке, в кредит, чуть ли не без фунта баранины, театрами-миниатюр, театрами-гиньоль, клубами-лото, кабаре-артистик, с интимнейшим окружением

художественного мира, игрой в баккара, в шмэн-де-фер, танц-классами по-американски, банями с номерами, ресторанами с кабинетами, — словом, всеми аттракционами, предназначенными для людей, отлученных от налаженных занятий и перегруженных досугами.

Гости съехались, облепленные попутчиками в виде журналистов, сорокалетних девочек с кудряшками, румынских гитаристов, безангажементных инженю, поэтов, героически не пожелавших променять пастушек на коровниц, лекторов о любви со световыми проекциями. Все они быстро обжились, и не прошло месяца, как патриархальные туземцы были приобщены к столичной цивилизации. Они могли теперь читать десять газет, есть беф-строганов под сафические строфы и спать с омоложенными ветераншами московского «Омона».

Вся эта живописная свита и заполняла «кружок» на Николаевской, оставляя Михаилу грязные калоши и пронося во внутренние залы, вместе с хорошим аппетитом, с построчным или поночным гонораром, подлинное вдохновение, выражавшееся как в неожиданности скандалов, так и в сольных выступлениях: в ариях, в поэмах, в эстрадных анекдотах. Михаил мог воочию убедиться в экстерриториальности искусства. Трудно было определить, где обитает этот шумливый народец, в гетманском Киеве, в революционной России, в захудалой африканской колонии или же непосредственно в кандидовском, безо всяких кавычек, Эльдорадо, — до того мало занимали его грандиозные события. Эту экстерриториальность признавали все режимы, предшествующие и последующие, так что дом на Николаевской, в котором квартировали различные цеховые организации, напоминал консульство иностранной державы. Там выдавались справки, удостоверения, мандаты, освобождающие поэта пастушек или пышнозадую инженю абсолютно от всего — от воинской и трудовой повинностей, от реквизиций и мобилизаций, от уплотнения и даже от гражданской совести.

Прислушиваясь к беспечному говору в прихожей, Михаил начинал завидовать этим людям. Он ведь тоже очутился вне событий, но без соответствующих привилегий (понимая под этим не только грубые внешние блага, но действительно аполоническую ясность духа, с которой еженощно, что бы ни сулили вечерние выпуски газет, тучный трагик Лавров подносил к своему, далеко не трагическому, скорее индючьему, носу рюмку зубровки). Несколько излеченный однообразием дней от

московской встряски, Михаил стал внимательно присматриваться к быту нового для него племени. После театров, то есть за полночь, когда гардеробная почти бездействовала, Михаилу удавалось, отлучаясь от калош, заглядывать в зал. Как мы уже указывали, там поглощались не только подозрительные изделия чадной кухни, но и различные духовные восторги, не значившиеся в карточке кушаний. Здесь тоже были свои «ответственные». Звали их «знаменитостями». Столики, за которыми они ужинали, неизменно омывались почтительным прибоем поклонников, подражателей, интервьюеров. Слава здесь делалась на месте, не артиллерийской дуэлью, с ее всегда сомнительным исходом, не докучными баллотировками, но исключительно приятным гудом над остывшими дежурными блюдами: «Нет! Вы слышали, как он читает?..» Любое имя могло оторваться от паспортных низин, с жужжанием взмыться вверх, как самолет. Михаил оказался в стране «счастливых случаев». Что ни день он присутствовал при рождении чьей-нибудь славы. Паршивая служба превращалась в неожиданную удачу. Грязные калоши почти любовно переставлялись аристократическими ручками Михаила. Заглядывая в расширяющиеся зрачки прилипчивых поклонниц, хорошо знакомые ему еще по прошлому лету, когда имелись автомобиль и министр, он начинал оживать. Может быть, он и не так стар? Может быть, неудача объясняется неправильно взятым направлением? Высокой беззлостности искусства он предпочел злобу дня. Теперь следовало наверстать потерянное: усвоить язык и нравы, завязать знакомства, наконец главное, выбрать масть, с которой начать игру. Когда пианист кончал этюд, Михаил изучал все вариации аплодисментов. Не метя в парикмахеры, он детально обследовал сложные прически выступавших поэтов. Конечно, его руки были специально созданы для того, чтобы вдохновенно отрываться от клавиш. Но он ни минуты не подумал всерьез о музыке. Все, что явно требовало длительной выучки, отталкивало Михаила: занятие, достойное Темы. Где люди вкладывают в дело солидный капитал, то есть долгие годы работы, там нет места азарту. Другое дело театр или поэзия. Колебанию между ними было уделено немало ночей. Казалось, театр с ангажементом, рампой, париками, вызовами перевесит. Но имелся один серьезный довод против: трудность дебюта. Проспекты бесчисленных театральных студий, которыми в революционные годы обросли заборы всех русских городов, даже буколические плетни местечек, твердили

о какой-то темной учебе. Пойти в театр Соловцова и потребовать, чтобы его хоть разок выпустили, Михаил не решился. Таким образом, побеждала поэзия. Сколько и как готовится поэт, об этом никто не знает. Можно приналечь и в месяц одолеть всю науку. В какой редакции станут допытываться о стаже поэта? Наконец, можно, при случае, прочесть свои стихи вслух, соблюдая как интонации, доставленные сюда из петербургских кабае, так и соответствующую шевелюру. Михаил решил стать поэтом, притом в кратчайший срок.

С удвоенным вниманием он прислушивался теперь к выступающим. Были далеки те времена, когда его могла довести до ночного мычания оперная ария. Чуждый взволнованности, он трезво, как коммерсант товары, расценивал звуки. У любого профессионала, привыкшего к искусству, как стряпуха к стряпне, все же, бывает, прорвется: вместо делового поддакивания или конкурентской усмешечки он одарит чужое вдохновение благороднейшими слезами. Не таков был двадцатилетний Михаил: волнение и поэзия в его представлении никак не сочетались.

Анализируя ухом специалиста произведения различных поэтов, особенно того, что испугался пролетарской коровницы, Михаил все свои свободные часы отдавал соответствующим экспериментам. Это было напряженнейшей работой. Он даже стал подвергаться едким нападкам гардеробщика, так как; занятый аллитерациями, безжалостно путал калоши. Слова, которыми он оперировал, очищенные от обременяющих их обычно понятий, никогда не враждовали друг с другом, всецело подчиненные воле Михаила, они шли на самые непостижимые встречи. То, что в результате получалась бессмыслица, нисколько не смущало молодого автора. Разве понятны стихи других поэтов, хотя бы самого знаменитого? Нет, дело не в смысле, а в сложных рифменных комбинациях. Очень скоро Михаил в точности усвоил и версификационные приемы, и лексикон поэта, которому подражал. Он написал не менее двухсот стихотворений, хотя писать ему совсем не хотелось. Наконец он нашел подготовительный период законченным. Предстояло перейти к борьбе за славу. Его восприимчиком мог быть лишь первый из поэтов, следовательно, все тот же ревнитель пастушек. Препятствием являлось малозаметное для других обстоятельство: у знаменитого поэта не было калош. Его хоть и лакированные, но сильно поношенные ботинки бесцеремонно пачкали паркет

кружка. Это устраняло простейшую форму общения. Приходилось ждать оказии. Она представилась в виде виноватой улыбки поэта, прикатившего в кружок на извозчике с напрасной надеждой признаться у кого-либо из приятелей сотню карбованцев. Преследуемый красномордым извозчиком, который в негодовании дошел до передней кружка, поэт растерянно улыбался. Выручил его Михаил. Уже на правах кредитора несколько дней спустя он заговорил с поэтом, конечно, не о возвращении карбованцев, а о чистой поэзии. Свидание было назначено на одно из ближайших утр, причем Михаил должен был явиться к поэту со своими произведениями.

Поэт, рассмотренный теперь Михаилом вблизи, поражал нелепостью как своего вида, так и поведения. Могли ли сочетаться недавно приобретенный за солидную сумму муаровый серебристо-зеленоватый галстук с пальто, переделанным из солдатской шинели, извозчика, причем всегда лихачи, с хроническим отсутствием в его днях чего-либо, напоминающего обеды? Это был вымирающий ныне тип традиционного поэта, всю свою жизнь нищенствующий и бескорыстно влюбленный в былую помпезность, веселое дитя, надоедливая птица, словом, чужак, не раз описанный нашими предшественниками. Каморка, в которой он жил, озадачила Михаила: по сравнению с ней даже папашины закоулки казались хоромами. В чем же дело? Неужели слава столь существенна, столь весома, что может одна заменить все прочие приманки? Подобные предположения только усиливали волнение юноши, сжимающего в руках объемистую тетрадь.

Поэт принял Михаила ласково. Это было трогательной участливостью одного чужака, нашедшего другого, притом там, где он меньше всего ждал его; среди отсутствовавших и в обиходе поэта, и в сконструированном им Трианоне обыкновенных резиновых калош. Обитатель полуигрушечного мира был далек от бездушности. Нищенствуя, неизлечимым изъяном лишенный простого телесного счастья, он в свинцовые чернильные ночи одиночества, когда другие несчастливцы себялюбиво плачут, занимался легчайшими словами. Его стихи были формулами звукового блаженства. То, чего не слышал Михаил, учившийся лишь логическую бессвязность строф, доходило, однако, до других, создавших ему славу большого поэта. Это было лирическим акцентом, еле слышной горестью, чувствовавшейся среди манерных притяжений и отталкиваний звуков. Заговорив с

начинающим поэтом из гардеробной, он предугадывал душевные бессонницы, патетические темноты биографии, гордость слез, переработанных в рифмы, угрюмую страну, где родилась эта клеенчатая тетрадь. Он ждал неумелых признаний, гимназических виршей, часто в своей беспомощности более выразительных, нежели все достижения виртуозов. Сколько таких произведений, где ямб сбивался на анапест, где рифмовались «правда» и «года», были написаны в первые годы революции боролатыми школьниками пролеткультов, мечтательными рабфаковцами или красноармейцами, стосковавшимися по своим милым. Поэт приготовил себя к нежной, почти родительской, снисходительности. Но по мере того как Михаил читал, его лицо, обычно беспечное, становилось угрюмым. Начальную приветственную улыбку сменила гримаса недовольства, даже неприязни.

Зевака в зоологическом саду прощает мартышке многое, по существу оскорбительное, за ее хвост, являющийся даже более ощутимым разделом, нежели прутья клетки. Здесь хвоста не было, и никакие калоши не могли его заменить. Вся игра звуками, стоившая поэту немало ночей, полных грусти, была спародирована этим беззастенчивым фокусником. Искажающее зеркало паноптикума вызывало ненависть и к оригиналу. Чувство отвращения, заполнившее поэта, давно уже оставило толстую тетрадь, оно перешло на его собственные стихи. Он в отчаянии дергал серебристо-зеленоватые уши любимого галстука. Он чувствовал себя душевно разоренным.

Михаил трудился не впустую. Обладая даром переимчивости, он в точности усвоил все домыслы современной версификации. Он овладел сложнейшими формами, но трудно вообразить себе нечто более пошлое, более оскорбительное, нежели содержимое этой тетради. Кажется, впервые знаменитый поэт заговорил на простом языке, вместо обычных отзывов об инструментровке, он спросил Михаила:

— Скажите, зачем вы это делаете?..

Михаил счел вопрос глупым и, не ответив, стал допрашивать поэта, точно и настойчиво, о различных практических применениях своих трудов. Какой дебют предпочтительней: выступить с чтением или послать стихи в редакцию? Если в редакцию, то в какую? Наконец, может быть, издать сборник? Он ждал от своего сотоварища не психологической беседы, а полезных указаний. Ничего не добившись, он подумал, что

сглушил, обратившись к знаменитому поэту. Никто услужливо не уступает облюбванного им в жизни местечка. Поэт почувствовал в Михаиле опасного конкурента. Что же, Михаил обойдется без него!

Каллиграфически старательно были переписаны стихи и посланы во все десять газет. Ответа не последовало. Михаил объяснял это исключительно ревностью революции, напомиравшей о себе близившимся грохотом пушек и требовавшей все полосы газет. Однако он был уверен в близком признании. Почтальон каждый день мог перевернуть его судьбу.

Развязка действительно скоро подоспела, хотя и в несколько неожиданной форме. «Кружок» в ту ночь был особенно переполнен. Не хватало вешалок, так что шубы сваливали на скамьи. Днем артиллерия базила настойчивей обычного, и столики кружка не могли поместить всех бутылок. Это была многим памятная ночь, когда трагик Лавров, напившись, вскочил на стол и завизжал: «Где мой нос? Расскажите, пожалуйста, где мой нос?» — глупая, пьяная, бестолочная ночь, последняя перед очередной сменой правительств. Знаменитого поэта поили коньяком. Пить он не умел и после третьей рюмки впал в раздражительный сентиментализм. Когда музыкальные номера были койчены, а Лавров благополучно уведен восвоися, почитатели, выставившие бутылку коньяку, подступили к поэту с просьбой прочесть стихи. Поэт не соглашался: какие стихи? зачем стихи? Он требует для себя права быть просто пьяным нахлебником, никогда и в глаза не выдавшим пастушек. А если они хотят обязательно поэзии, то здесь имеется другой поэт. Где? В гардеробной...

Какие-то подвыпившие журналисты приволокли Михаила на эстраду. Он держался превосходно, как будто привык читать свои стихи. Час был достаточно поздним, да и выпито было достаточно, чтобы люди вслушивались в монотонное чтение. Однако все поняли: это всамделишные стихи, эстетические экзерсисы. Причем пишет их человек, обыкновенно подающий калоши. Оказывается, ему снятся нимфы! Это было экзотикой, подлинной сенсацией, и самая внушительная оварция, которую когда-либо видал «кружок», досталась Михаилу. Некто Шейфес (хотя по профессии и не критик, а биржевой обозреватель «Киевской мысли») не мог удержаться. Он произнес импровизированную речь, сочетавшую чувствительность глубоко растроганной души с гражданской непримиримостью.

— Господа, взясь с калошами, поэт не сел в калошу. В то время как в Совдепии вся поэзия сведена к печному горшку, здесь мы видим истинного пролетария, которому дорого чистое искусство...

Аплодисменты возобновились. Михаил сохранял спокойствие. Не было даже признаков улыбки. Слава лишь несколько побелила его лицо. Инженю бросила ему чуть порывевшую на морозе белую хризантему. Здесь руки неожиданно выдали волнение: они вьелись в цветок и мгновенно разодрали его. В зале стоял восторженный гул: «Каково!.. Калоши и нимфы!.. Поглядите на его руки!..» Только пьяный поэт не утерпел и в сердцах крикнул:

— Зачем ты это делаешь, мандрила?

Но поэта уняли. Михаил быстро прошел в гардеробную. За ним последовала какая-то компания. Его приглашали поужинать вместе. Одна дама особенно настойчиво подпевала:

— Ну, какой вы злой! Оставайтесь!

Он взглянул в ее зрачки и отвернулся: это было слишком потрясающим чтением. Слава, огромная слава отдавалась ему, самолюбивому фантазеру из телефонной будки, карикатурному бунтарю, гардеробщику-самоучке. Все остальное являлось незначительным. Рядом со зрачками пропадала даже дама, шикарная дама, готовая хоть сейчас подчиниться любой прихоти рыжего гордеца. Он мог слушать всю ночь это имя «Михаил Лыков», расширяющееся до определения из словаря, слушать похвалы, изумления, философствования. Он мог пить, на правах чествуемого, шампанское, милостиво одаривая чужие бокалы снисходительным позвякиванием. Он мог попросту лечь с этой, если считать на деньги, недоступной ему женщиной. Он мог все. Но, сухой, белый, он молчаливо рвался к выходу. Он попросил о единственной награде: отпустить его от калош. Он должен уйти. Куда, он не объяснил, предоставив обиженной даме дорисовывать пиньон соперницы, а сентиментальному Шейфесу уверять всех, что счастливый дебютант помчался к своей мамочке, чахоточной прачке, «делиться радостью».

Он бежал по пустой заснеженной улице, принимающей уроки забывчивости и немоты в виде пушистого крупного снега. Это снег отражал световые вылазки окон, опереточных штабов и трагических лазаретов. Он учил потере последующих ночей, лишенных света и ограды. Он падал также на

окрестные поля, где стояли крестьянские курни, наводя на барочные соборы панского Киева глотки пушек. Он глушил выстрелы. Он делал их похожими на зевоту. Меняя пропорции, снег превращал волновавшее всех огромное событие в мельчайший след, в шаг запоздавшего прохожего, в скрип обмерзшей двери, настолько он был не только довоенным, но и доисторическим, молчаливым снегом, легко, от дыхания ребенка тающим, умирающим каждую весну, но и самым постоянным из всего, что знает русская история и русская душа.

Михаил, однако, не видел снега. Тишина казалась ему насыщенной мириадами приветствий и виватов. Положив на мокрое, в снежинках, лицо ладонь, чтобы защитить это бедное, полудетское лицо от дышащей на него новой любовницы, он бежал мимо наросших сугробов и редких патрулей.

Герой становится героем

Куда спешил Михаил? Порадовать папашино сердце, дряхлое сердце, с каждым месяцем все слабее ударявшееся о древнюю твердыню манишки? Или просто в поле, экзотичным языком беседовать с традиционным «болваном» всех любовных и прочих игр, с молчаливой природой? Наконец, может быть, имелись у него на примете нам неизвестные зрчки, расширенные присутствием не славы, а простой человеческой страсти? Нет, все эти предположения ошибочны. Ни на минуту не останавливаясь, Михаил бежал на Малую Васильковскую, где жил человек, как будто позабытый и нашим героем, и рассеянными читателями.

Почему Михаил не зашел к Артему прежде, не попытался найти опору у родного брата, сверстника игр? Ведь одиночество его угнетало, он готов был заговорить с осенним дождем, пожаловаться любой лошади. Самолюбие, проклятое самолюбие закрывало самую простую возможность. Папаши, еще недавно задиравшего ему рубашонку, он не стыдился. Другое дело Тема — равный и в то же время злостный соперник. Перед ним Михаил мог предстать только с победными реляциями. Как-то, случайно встретив брата, он прикинулся заговорщиком. Со всей фантазией газетного репортера он нарисовал героическую

оборону Семеновских казарм, особенно останавливаясь на тех деталях, которые могли бы ожесточить Артема против него. Для этого он даже попытался восстановить в себе давно изжитую неприязнь к большевикам. Зато он утаил от брата единственную страницу своей биографии, равно понятную обоим: Октябрь. Он боялся, что, рассказав об этом, натолкнется на нежность серых глаз, более для него болезненную, нежели отчуждение. Он был рад, что положение Темы, занятого подпольной работой, устраняло возможность частых встреч. Не видя брата, Михаил, однако, напрасно пытался не думать о нем. Тема становился для Михаила чем-то нарицательным, за него по ночам говорили угрюмые орудия. Это о Теме, о его узком деле шумели полосы десяти газет, пренебрегая безупречной поэзией Михаила. Победенный, казалось, видимостью жизни, театрами-миниатюр, реставрированным распорядком будней, Артем вдруг напоминал о себе то патрулями, то вокзальной паникой и перестрелкой, то ознобом «экстренных выпусков» газет. Симптомы огромного исторического процесса в восприятии Михаила легко становились хитростями Артема.

Трудно в точности определить, как Михаил относился к брату. Пожалуй, это являлось единственным запутанным местом в его чувствах, обычно ясных и конкретных. Папаша вызывал в Михаиле лишь чисто утилитарные соображения. Папаша был для него предметом обихода, смотря по обстоятельствам, то полезным, то обременительным. Даже когда отец оскорблял Михаила, он испытывал умеренное раздражение, и только. Другое дело Артем: здесь можно было увидеть все градации человеческих чувств. Порой Михаил ненавидел брата, ненавидел до самозабвения. С какой радостью он бы его убил, но не исподтишка, нет, смакуя все торжество унижения, волоча за собой, как некогда кота булочкицы!.. Ненависть легко сменялась мучительным пристрастием. Откровенно говоря, только один человек на свете и занимал Михаила: брат. И удачи Артема, и его напасти отдавались в Михаиле, еще со времен первых игр, физиологически остро. Кто знает, как ему хотелось в часы тоски, сиротства, отчаяния побежать к Артему! Зачем? Этого он сам не понимал. Он презирал брата, и вместе с тем ему хотелось спрятаться за широкие плечи Темы. Возможно, что в этом были повинны подсознательные воспоминания самых ранних лет, когда Теме приходилось волей-неволей нянчиться с младшим братом. Таким

образом, слишком жидкий для того, чтобы быть осязаемым, образ матери заполнялся приметам старшего брата.

В последнее время, однако, главенствовала злоба, и отнюдь не идиллические мотивы ускоряли бег Михаила по Малой Васильковской. Герой, увенчанный Шейфесом с компанией, искал последней, наиболее сладостной награды — унижения брата. Наконец-то этот самонадеянный баран, способный лишь числиться мельчайшим колесиком организации, увидит всю незаурядность Михаила. Он нес ему хранившиеся еще в ушных раковинах ворохи аплодисментов и на кончиках пальцев парфюмерию дамских прикосновений, нес бюллетень славы.

Артем не спал. Все было исключительно буднично в этих комнатках, вплоть до оханья кухонных часов, вплоть до тараканов. После «кружка» с его люстрами и овациями, после триумфа, это показалось Михаилу прозябанием. Сам Артем в серости пиджака, щек, глаз являлся тоже частью обстановки, может быть, даже наиболее будничной. Ведь его страсти, хорошо камуфлированные, никогда не бросались в глаза. Пододвинув табурет ближе к лампе, он читал номер московской газеты, своей смятостью и зачитанностью говорившей о трудности проделанного пути, причем в статичности сцены, в антураже чашек и часов, в размещении медовых ковриг света было больше от жанровых картин старых голландцев, нежели от пестроты и быстроты событий, переполнявших смятый лист. Михаил, не будь он столь занят собой, наверное, одарил бы эту сцену презрительной улыбкой. Такой революционности, то есть кротовой, подрывательной, с чтением под лампой, революционности защитного цвета, он никак не мог признать. Если подполье, если нет мажорных боев, романтизм все же должен продиктовать пароли, двойные выходы, особую интонацию шепотов. Теперь он, однако, даже не мог оглядеть брата. Его трезвости хватило лишь на то, чтобы разыскать достаточно путано расположенный флигелек. Уже стук в дверь выдавал экзальтированность. Являясь, кроме того, и поздним (кухонные часы доковыляли до трех), этот стук несколько встревожил Артема. Ведь близость сроков сказывалась не только в количестве бутылок, распиваемых посетителями различных ночных заведений, но и в таких запоздалых посещениях, за которыми обычно следовали недолгие сборы, две-три пустые заснеженные улицы, стенка и короткий залп. Артем был

давно готов к подобному эпилогу и, услышав нетерпеливый стук, машинально оглядел висевшую у двери шапку, эту единственную подругу, сопровождающую несчастливца по окольным улицам и вместе с ним падающую на тихий снег.

Нет, это был Михаил, тяжело дышавший от быстроты ходьбы, еще больше от импозантности минуты и всей нерасторопности человеческого языка. Артем обрадовался неожиданному приходу брата. Их чувства состояли в некоем соответствии, одно формируя другое. Артем не мог освободиться от материнской заботливости да и снисходительности к своему младшему брату. Не будь этого, он, наверное, при виде сомнительно печалющихся глаз Михаила испытывал бы только отвращение. Артем принадлежал к тем людям, которым органически претит всякая театральность, начиная от наиболее оправданной, то есть от декламации профессиональных актеров и кончая аффектированными соболезнованиями или патетическими жестами обывателя. А жизнь Михаила разыгрывалась на ходулях. Занятый делом, Артем уделял мыслям о брате немного времени, но мысли эти были горькими и пропитанными жалостью.

Артем обрадовался Михаилу, почти забытому в кропотливой напряженности подпольной работы. Вид нахального чуба возрождал чехарду или бабки детских лет. Не желая вникать в значение прихода Михаила, в его бледность, волнение, он просто сказал:

— Ты?.. Вот хорошо! Хочешь чаю? Я поставлю самовар.

Нельзя было придумать ничего более кощунственного, нежели эти слова. Их действие на Михаила было катастрофическим. Сразу стали ощутительными и лампа, и часы, и тараканы. Они ползли на Михаила, со всеми манишками, со всеми калошами мира. Он делал глупейшие телодвижения, как бы отбиваясь от этого нашествия. Со стороны казалось, что он прыгает. Наконец он преодолел диссонанс встречи. Он стал говорить. Он говорил о своем триумфе, нет, он вслух восстанавливал его. Он переполошил тараканов люстрами и музыкой. Он заново повторял все стихи, и тысячи рук закидывали его звездобразными цветами. Его руки положительно сходили с ума, не зная, что им предпочесть: снисходительные пожатия или наполеоновский жест надменного одиночества. Кончался этот рассказ врачками, уже отделившимися от лица женщины, помноженными на его фантазию, бушующим множеством звезд-

ных зрачков. После этого последовала пауза, ибо люди еще не выдумали соответствующих слов, заполняя словари идиотическими тараканами, а за паузой один только вздох, подкрепленный неопределенным жестом и означавший «славу».

Участие и брезгливость боролись в Артеме. Заболевание требовало, конечно, жалости, но своими отвратительными выделениями оно делало эту жалость подвигом. Какой чистой казалась эта тихая комната с порогами тараканов до прихода Михаила! Теперь на стенах, как в кинематографе, шла проекция пошлейшей кабацкой истории. Речь Шейфеса заставила Артема, при всей его сдержанности, болезненно поморщиться. Это напоминало кислый запах блевотины. Потребовалось большое напряжение взрослой нежности и снисходительности, чтобы не выкинуть Михаила за дверь, чтобы вместо этого, со всей сосредоточенностью боли, проговорить:

— Жаль мне тебя, Михаил..

Слова эти были сказаны хоть и вслух, но никому. Михаил присутствовал в комнате, однако они до него не дошли. Они показались ему абсурдом, как стихи знаменитого поэта из «кружка». Михаила можно было жалеть, когда он бежал по подмосковным полям, его следовало жалеть, когда он метил мелком рыжие калоши. Сколько раз тогда втайне он помышлял о теплоте, о сладости этой Теминой осторожной, как бы вскользь, жалости. Но теперь, после ночи в «кружке», речь шла не о жалости, не о глупой и наглой жалости, но о преклонении.

Михаил был слишком счастлив, слишком отрешен от привычных душевных рефлексов, чтобы рассердиться. Он только замолк. Идти домой было поздно: Артем, ссылаясь на тревожное время, не хотел его отпустить. Ему предстояло провести здесь ночь. Он прошел в кухню. Он слушал, как в трубах пела вода, и это являлось стройным продолжением приветствий. От непрерывности подъема он задыхался. Приоткрыв дверь из сеней во двор, он натолкнулся на чье-то лицо. Белизна снега позволила ему различить усы и погоны. Несмотря на всю отдаленность от окружавших его вещей, Михаил сразу понял — за Темой!.. Язык этой снежной ночи, с ее тихостью, с безумствованием вокруг бутылок шампанского, со всей многозначительностью нестройных залпов, стал ему теперь внятен. Действительно великой была ночь его вознесения и счастья. Даже события подтягивались: вместо тараканов они за-

говорили кобурами револьверов. В центре неизбежно стоял он, Михаил.

Поэтому последующее, во всей его необъяснимости, было для Михаила вполне естественным. Когда раздался грубый, трафаретный, как погоны, голос: «Артем Лыков?» — Михаил, хорошо понимая, что это приглашение не на пир в честь новой знаменитости, а на смерть, на смерть всерьез, на лаконическую и скучную смерть, среди снежных пустырей, все же без запинки ответил:

— Да, это я.

Грубый голос был лишь видоизмененным голосом славы. Когда же Михаила вывели на улицу, он не думал ни об окружающих его людях, ни об Артеме, жизнь которого спас. Он даже не думал о славе. Он уже находился в той фазе счастья, когда место мыслей занимают светлые туманности, быстрый бег ассоциаций, подобных пронизываемым прожектором облакам. Он глядел на пуговицы офицера и видел зрочки. Он улыбался.

Сказалась ли в поведении офицеров их, по тем временам, исключительная гуманность или же только усталость от повторности každончных сцен, то есть метания, залпов и судорог, но они, вместо естественного исхода (именовавшегося тогда «убийством при попытке к бегству»), доставили Михаила в бывшие мебелированные комнаты «Скутари», приспособленные для содержания арестованных.

Испытания, однако, лишь начинались. Рослый субъект, с русской, тщательно выхоженной бородой, называвший себя «представителем астраханской армии», судя по гнилостной кислоте дыхания выпивший достаточно водки, почему-то, проходя по комнатам, заваленным телами арестованных, облюбовал именно Михаила. Был ли это чуб, хранивший свою демонстративную неуступчивость, или подвижность рук, или еще не разрядившаяся приподнятость общего состояния — неизвестно, но что-то определенно заставило офицера остановиться возле Михаила. Постояв с минуту молча, в той томительной напряженности, которая может разрешиться чем угодно — выстрелом, слезами или буйством, — человек этот придвинулся к Михаилу и начал его бить. Весь остаток неторопливой декабрьской ночи он уже провел здесь, неизменно повторяя те же короткие и тупые удары, сопровождаемые однообразной руганью. И в его голосе, и в его движениях было

улыние засыпающего человека, и если бы не кровь на костистой руке, можно было бы со стороны подумать, что он совершает какой-то непонятный обряд. Он бил по носу, по глазам, без охоты, как нанятый на поденную работу, он забил бы Михаила насмерть, если бы рассвет на час не опередил бы смерть.

О жестокости гражданской войны, с выпарыванием семитических и арийских кишок, с вырезыванием перочинными ножиками на плечах погон, а на лбу звезд, то есть с кропотливым вырезыванием кусочков теплого склизкого мяса, со всеми ухищрениями, на которые способны мастера-самоучки, написаны уже тома. Но как не отметить здесь, ведя рассказ об отвратительной ночи в бывших номерах «Скутари», одной черты, делающей жестокость глубоко традиционной? Не в самой жестокости суть. Достаточно вспомнить все историческое значение открытия доктора Гильотина или кайенские лихорадочные топи, где, привязанные к позорным столбам, гнили героические инсургенты, чтобы не говорить о мягкосердечии других народов. Но редко где люди бывают в своей жестокости такими скучными, редко где смерть граничит настолько вплотную с подступающей прямо к горлу тошнотой, как на земле, прославленной долготерпением. И кто знает, к кому относится это хваленое долготерпение, кого приходится больше жалеть — истязуемого или истязателя, — когда оба они изнывают, охваченные скукой, той великой скукой, которая выворачивает челюсти, выдумывает черта и делает весь мир похожим на пыльную уличку, залусканную подсолнухами?

Михаил продолжал пребывать далеко от клетушек «Скутари». Напряженность внутренней работы делала его нечувствительным к физической боли. Едва прикрываемая рукой бородача, качавшейся как маятник при каждом ударе, к Михаилу приближалась смерть. Она была здесь своей, хозяйкой, среди постояльцев этих бывших «номеров». Михаил, который обошел молчанием и расспросы сотоварищей, и брань стилизованного опричника, от объяснений с ней не мог увернуться. Она подступала во всей ее простоте, делая даже безразличной обстановку предстоящей встречи: еще несколько тяжелых ударов или же белесость зимнего рассвета с проходами по коридору и с предварительным снятием сапог. Это приближение было слишком ощутимым, чтобы гадать о характере последних минут.

При всей ее жестокости, эта ночь по отношению к Михаилу была известной заботливостью судьбы. Конечно, протрезвление наступило скорей обычного, подогнанное всей важностью часа. Водевильная слава не сочеталась с естественной торжественностью красного клейстера. Смерть требовала иной настроенности. Она превращала недавние голоса триумфа в отвратительное мяуканье вербных гармошек. Ее немота была настолько выразительной, что слух терялся среди беззвучности пространства. Протрезвление произошло внезапно, во всей его полноте. На Михаиле еще значились сапоги, но он был внутренне гол чудовищной голизной белого, комнатного, несчастного тела, среди сложности и нагроможденности вещей, мыслей, дел, которая пугает нас в операционном зале. Но ведь протрезвление все равно должно было прийти, раньше или позже, только измельченное, чтобы замучить этого самолюбивого человека всеми деталями глупейшего положения, стыдом перед собой, перед пьяными ценителями из «кружка», даже перед стоявшими на столиках бутылками. Оно все равно должно было завершиться встречей с серыми глазами брата, выдавшими и приход и нелепые прыжки, фансовый экстаз самодовольного наивца. Тогда мы вправе говорить о заботливости судьбы, сделавшей это протрезвление не провалом в слезливые трущобы раскаяния, но подъемом на еще неизвестные Михаилу высоты.

Одно мгновение он болезненно вздрогнул, припомнив эстраду «кружка» и себя на ней. Бородач, который принял эту дрожь за особенную меткость своего кулака, удовлетворенно ухмыльнулся. Но быстро мысли Михаила перешли к иному, большему. Его спасал масштаб состояния, спешка нескончаемых мыслей, импрессионистические наброски вместо вырисованной картины, а главное, неожиданный взрыв всех запасов человеческой нежности, никак не сумевшей проявиться в его жизни, если не считать нескольких заспанных снов, да еще, пожалуй, окраски глаз.

Эта нежность шла теперь к тому человеку, которого, как ему казалось прежде, он ненавидел: к Артему. Михаил в умилении вспомнил мохнатость ресниц, смягчающих металлическую волю глаз. Он вспомнил, как Тема когда-то клал ему на хлеб остатки сливового повидла, сам облизываясь и выдавая свое желание отведать лакомство только страстностью вопросов:

— Что, вкусно?

Михаил слышал слова, сказанные этой ночью: «Жаль мне тебя». Он отдавался этой жалости Артема, заполнявшей комнату присутствием той, которую зовут все смертники, будь то среди досок, шлюпок и арктических льдов или на заплыванных полах тюремных камер.

Он ощущал физически ее теплоту, мелодический трепет, соленость. Осознав наконец, что вне своего желанья, по одной инерции, он спас брата, что Артем избежал качания этой русой бороды, что он является его заместителем в боли и в смерти, Михаил улыбнулся. Истязатель заметил эту улыбку. Он задержал поднятую руку и задумался, Потом же отчаянно зевнул и вернулся к прерванной работе.

Нежность была столь велика, что ее хватило и на тощую грудь папаши, снявшего манишку, и на продранные ботинки знаменитого поэта, на всех. Она золотила теперь его детство. Впервые вечно ему сопутствующий образ портного Примятина предстал в ином окружении. Исчезли чайная, мухи, смешные шажки пьяного портняжки — словом, вся тошнота, вся унижающая душу протокольная точность быта. Примятин не произносил анекдотических фраз. Он был птицей, легким жаворонком в картузе. Он летел, героически и блаженно.

Это уже являлось полусном. Михаил, ослабев, потерял сознание. Астраханец все продолжал его бить: ведь он бил не Михаила Лыкова, даже не большевика, одного из тех, что сожгли его беленький хутор, нет, он бил свою дюжую живучую скуку. Он кончил бить только тогда, когда резкость рассвета и переполох в номерах «Скутари» напомнили ему, что время убегать, не то через несколько часов другой бородач будет тупо бить его по носу.

Таким образом, смерть на этот раз замешкалась, опоздала. К вечеру Артем уже стоял с компрессами над головой Михаила. Залечить следы ночи в «Скутари» было делом нескольких недель. Но благодетельность происшедшего внутреннего слома не подлежала зарубцеванию. Михаил, который месяца два спустя встречал на Крещатике шедшие из Броваров полки красных, был новым Михаилом, не кандидатом в вожди и не знаменитостью, нет, просто человеком в толпе, одним из тысяч, который разделял общее волнение «идут? не идут?», который улыбался, потому что в этот весенний день улыбались все.

Такова целительная сила героизма.

Мофективная секция Собеса

Правильное распределение рабочей силы — необходимое условие для государственного преуспевания, скажут нам рассудительные граждане. Мы не станем, разумеется, спорить с ними. Мы только скромно заметим, что если влюбленный и забывает иногда вовремя пообедать, нарушая таким образом методичность своего пищеварения, то это ничуть не умаляет патетичности его чувств.

Факт, взятый вне окружения той весны, может показаться неправдоподобным: в одном из особняков Липок, в салоне, где красовались три колченогие табуретки и ампирный секретер с наклеенным на него при описи инвентаря большим ярлыком, под малиновым плакатом, витиевато вещавшим, что «социальное обеспечение венец на челе пролетариата», среди безвозрастных фребеличек, от экзальтации теряющих жидкие хвостики наспех закрученных волос, среди оставшихся после поста красных партизан поломанных винтовок, а также среди по чьему-то недомыслию доставленных сюда двух пискливых подкидышей, сидел наш герой, один чуб которого достаточно предохранял его от возможности смешения с кем-либо. Причем по тому, как уверенно читал он упомянутым растрепанным особам нечто полное спецификации о «социальном воспитании мофективных детей», было ясно, что его пребывание на колченогом табурете не является случайным, но постоянным, скорее всего служебным. Чтобы устранить упреки в фантастичности биографии Михаила Лыкова, вскоре после вторичного прихода красных в Киев оказавшегося сотрудником мофективной секции подотдела защиты детства Наркомсобеса Украинской Советской Социалистической Республики, мы должны напомнить читателям о некоторых ненормальностях этого прекрасного времени, справедливо приравненного нами к эпохе влюбленности.

Чем занимались люди в течение первых трех-четырех лет революции? Если не брать в расчет некоторых занятий, равно обязательных для всех, как-то: бесчисленных заседаний, взаимного истребления на фронтах, голодания или стояния в очередях, — то окажется, что все занимались тогда неприсущими им делами. Диктовалось это не только, скажем, даже не столько привлекательностью пайков различных главков с наименованиями, малопонятными для большинства населения, но главным

образом общей сумятицей, в которой окончательно перепутались все идеи и все профессии. Замечательное время, когда поэту из «артистического кружка» была поручена статистика госконтроля, когда биржевой хроникер Шейфес занимался не чем иным, как охраной материнства, а гардеробщик Григорий организовывал ботанические экскурсии при всеобщем! Нас удивляет скорей папаша, не сделавшийся, вследствие своего крайнего консерватизма, инструктором какой-нибудь коллективно-мимической студии, нежели Михаил, покорившийся сумасшедшей логике событий и в ответ на предложение, сделанное ему одним из бывших посетителей кружка, согласившийся направиться в Собес. Ни паек, ни мандаты не играли в этом решении никакой роли. Михаил был одержим жаждой деятельности и, не обладая квалификацией, согласился работать над чем угодно, лишь бы работать. Лихорадочная активность тогда овладевала всеми, и экзальтация собесовских фребеличек отнюдь не была исключительной.

Киевляне встретили большевиков, как встречают на глухом полуостанке столичные газеты. Изнемогавшие от паштетных и от холостых переворотов, от гетманцев и от петлюровцев, с равным усердием насаждавших одни «твердый знак», другие «мягкий» и этим ограничивавших культурное строительство, они кинулись в гущу бесчисленных комитетов, комиссий и совещаний. Это было время проектов и смет, пусть потом безжалостно обкорнанных цензурой жизни, но от этого не ставших ни глупыми, ни праздными, какими хотят их представить теперь иные чересчур прозревшие мечтатели. Не пора ли нам перенести общительность наших усмешек с юноши, детально проектирующего установку всеобщего счастья, на его позднейшее перевоплощение, то есть на брюзжащего скептика, для которого ограниченность средств из беды превращается в некоторый пафос жизни, для которого отсутствие теорий — теория, а хозрасчет — единственное мерило человеческих идеалов?

К прискорбию, мало что сохранилось от того периода. Даже так называемые «материалы», то есть вагоны бумаги, исписанные благородными фантастами, были сожжены, частью перед приходом белых перепуганными домкомами, частью впоследствии для растопки «буржук», отличавшихся плохой тягой. Сколько высокого и завлекательного таили эти сгоревшие проекты! Жизнь, нарисованная в них, обладала притягательностью возвращенного рая. «Дворцы труда» и «дворцы искусства»

высились чуть ли не в каждом квартале, причем, названные, очевидно, в честь детских сказочных воспоминаний «дворцами», они оправдывали свое название. Сколько непонятных чертежей, сколько десятизначных цифр, сколько садов на крышах и электрических вентиляторов! Это все предназначалось для какой-нибудь Демиевки, где нет не только дворцов, но и порядочного дома с водопроводом и канализацией, где взор прохожего обнаруживает, вместо проектированных цветников, мальчугана, остановившегося в подозрительной позе у забора, под сакраментальной всероссийской мольбой: «Останавливаца воспрецаица». Архитекторы покрывали Киев скверами, отводя услужливо место скульптурам не только для десяти разновидностей Карла Маркса, но даже для памятника некоему борцу за освобождение картинских невольников. Музыканты обещали в ближайшем будущем исполнение на заводских гудках новых рапсодий. Педагоги уже видели всех детей ревящими во «дворце ребенка» (конечно же, во дворце!). Они спорили только о том, как должны выглядеть комнаты для отдыха чересчур впечатлительных к ярким тонам детей. Что касается врачей, то они заботливо отсылали всех киевлян в крымские «дома отдыха». Но разве мыслимо перечислить, хотя бы вкратце, содержание этих пудов бумаги, согревшей на месяц сердца людей, а потом, в тяжелую зиму, на час, их изыбшие тела? Если среди них имелся проект подачи сигналов красному Марсу и смета на всеобщее обязательное обучение пластике, дабы превратить корявую походку граждан в грациозное порхание, предпочтем все же взволнованное молчание невзыскательной насмешке.

Подобно прочим учреждениям, мофективная секция Собеса предавалась, конечно, проектам. Несоответствие между ними и действительностью было впрямь поэтическим. Секция обсуждала целесообразность для мофективных детей различных видов театральных зрелищ. Доводы сторонников музыки и мимики, вырываясь из салона, облетали большой барский сад с жасмином и белой акацией в цвету, граничивший с другим барским садом, где тоже цвели жасмины, и принадлежавшим дому бывшего генерал-губернатора, отведенному теперь под Губчека. Жестокость времени и отнюдь не идиллические нравы бывшего губернаторского дома никак не отражались ни на жасмине обоих садов, ни на нежности секции, ни на голубизне воздуха, хоть и прорезываемого часто страшными в своем лаконизме вы-

стрелами, но все же весеннего и революционного, вдохновившего людей где-то, очевидно, на границе между двумя садами, создать афоризм, долго красовавшийся на киевских стенах: «Будьте беспощадны, чтобы детям улыбнулось золотое солнце коммунизма».

Секция трудилась без устали. А на местах, в исправительных заведениях для малолетних преступников и проституток, именовавшихся по-новому «детскими домами», те же ремни полосовали спины. Что касается рук девочек, то они в своей пятнистости говорили о виртуозности щипков надзирательниц, этих старых дев, вымещавших на преждевременных грешницах одиночество и отверженность. «Центр» (то есть описанная нами секция) возмущался и посылал энергичнейшие инструкции. На местах досадливо читали параграфированные заверения об отсталости и непедagogичности щипков, а прочитав, пускали листки в несоответствующий оборот. На местах ждали хлеба и ситца, ждали напрасно. Ночью девчонки спускались по веревке вниз и бежали к военным с криком «дяденьки, мы могим!». «Дяденьки», в благодарность за необходимые, по обстоятельствам военного времени, услуги, награждали этих вундеркиндов щами, колбасой и сифилисом. Мальчишки же утекали предпочтительно к различным «батькам», к Стрюку или Тютюнику. Менее предприимчивые с голодухи обжирались кормовой свеклой и гибли от дизентерии.

Что касается секции, то она разрабатывала проект «опытно-показательной колонии с трудовыми процессами». В выработке проекта принимали участие все спецы. Дебаты шли с утра до ночи и отличались исключительным жаром. Контрастность проектируемого рая с отчетами вернувшихся из ревизионной поездки педагогов усугубляло рвение сотрудников секции. Опалевшая воспитательница, прибывшая из Новозыбокова или из Ромен чуть ли не пешком с твердым намерением либо раздобыть ситцу, сахару, керосина, либо, не возвращаясь в темный, голодный, бесштаный дом, умереть на глазах у начальства, прежде всего волей-неволей получала лошадиную дозу проекта. Увы, и сахар и ситец являлись для секции абстракцией. Делегатка сначала грозилась и бранилась, но вскоре привыкала к единственности проекта. Неделию спустя она, сама того не сознавая, вступала в какую-нибудь четвертую подкомиссию, обсуждавшую некоторые детали организации этой воистину титанической «опытно-показательной колонии».

(Было ли тогда что-нибудь в России не «опытно-показательным»? Быстро забылось это время, быстро сгорели проекты, и только поныне красующаяся в Москве, на Неглинном проезде, загадочная для детей вывеска «Показательное производство халвы» говорит о былом.)

Фребелички волновались, вводя в программу предполагаемой колонии гимнастику по Далькроу и многоголосую декламацию. Но что делал Михаил? Как мог он применить к такому достаточно специальному делу свой наивнейший пыл? На этот вопрос трудно ответить. Есть лихорадочная видимость работы, плетение из рогожи расплетаемых потом кулей, которым гуманные британцы исправляют каторжников, есть маршировка, даже бег на месте, утомляющий подвергнутого этому экзерсису не менее, нежели обыкновенный бег. В бывшем салоне, где помещалась секция, от непрерывных заседаний, от цокания «ремingtonа», от номеров исходящих, от количества и фасонистости секретарш у провинциала шла кругом голова: казалось, здесь не до него, здесь управляют по меньшей мере государством. Это было иллюзией, но иллюзией захватывавшей и самих сотрудников, промотавших и голос и голову на сотнях заседаний.

Михаилу казалось, что он работает не покладая рук, и, несмотря на это, мы все же затрудняемся определить характер его работы. Числился он по ведомости «делопроизводителем», но никакого отношения к делопроизводству не имел, так как сразу был привлечен заведующим секцией к обсуждению знаменитого проекта в качестве человека, знающего быт и психологию беспризорных детей. Вначале некоторая робость, усиливаемая сознанием своего невежества, обрекала Михаила на примитивные жесты статиста. Но, чуть освоившись с терминологией, он стал вмешиваться в дебаты. Он иллюстрировал предложения различными воспоминаниями из собственного детства, производившими на чинных подслеповатых фребеличек совершенно ошеломляющее действие. Он являлся местным Максимом Горьким. К его голосу прислушивались, как к «голосу социальных низов». Это был эксперт по части жестоких забав и безысходной сиротливости городского ребенка. Заведующий секцией гордо докладывал самому наркому о наличии пролетарских элементов в комиссии, разумея под ними, конечно же, нашего героя. Рассказ о покушении на телескопа (из стыдливости приписанный Михаилом другому мальчику) имел исключитель-

ный успех. Старый психиатр, от восторга в сотый раз роняя пенсне, пришептывал:

— Так вы говорите, он хотел ослепить? Интереснейший казус!

О телескопе должна была появиться статья в проектировавшемся «Вестнике социального воспитания Екатеринославщины». Таким образом, Михаил вновь подвергся испытанию славой, на этот раз замаскированной и потому сугубо опасной. Здесь не было ни шампанского, ни кабацкой дешевки восторгов. Лирически-деловая атмосфера располагала к доверчивости. Придя сюда с простым желанием работать, поборов все тщеславные побуждения, Михаил неожиданно оказался опять на положении героя, и, разумеется, его впечатлительная натура не могла отнестись к этому с должным безразличием. Все время он находился в приподнятом состоянии. Перед каждым заседанием он волновался, подобно молодому актеру перед поднятием занавеса, обдумывая, какой бы дикой и жестокой историей из своих детских лет ошеломить слушателей.

Увы, весь запас воспоминаний однажды оказался окончательно сношенным. Начались повторения со столь мучительными для рассказчика вставками теряющих терпение слушателей: «Да, да, об этом вы уже говорили нам». Михаил попробовал смириться и вновь перейти на первоначальное положение молчаливого ученика, но тогда весь знаменитый проект, еще недавно почитаемый им за прекраснейшее выражение человеческой воли и фантазии, стал казаться ему глушейшей дамской затеей. Быть в стороне он положительно не мог. Оставалось начать выдумывать всякую дичь поособенней и пострашней, выдавая ее за свои подлинные переживания или наблюдения. Михаил предался этому с усердием, ночью изобретая истории и потрясая ими днем наивных фребеличек. Благодаря своим способностям, ему удалось сохранить центральную роль. Однако тщеславию, раздраженное и благодарностями заведующего, и вниманием дам, и предполагаемой статейкой о телескопе, требовало дальнейшего продвижения. Мало-помалу Михаил стал вмешиваться в теоретические споры педагогов, даже психиатров. Ни деликатные намеки председательствующих, ни досадливый шепот экспертов не могли уже его остановить. Он расценивал это как интриги завистников. Сознавая все же свое невежество, он как-то раздобыл учебник психологии для средней школы и попытался одолеть его. Но не те были времена:

люди тогда с трудом дочитывали даже две полосы купчих газет. События происходили на улице, прямо под окнами, так что не требовалось и телеграмм. Учебник был отброшен. Выступления же продолжались. Восторг перед разговорчивым «представителем пролетариата» давно сменился общим возмущением. С ним еле здоровались; когда он подсаживался, все замолкали. Тяжесть этого молчания предсказывала близость грозы. Действительно, одно из заседаний, посвященное анализу сравнительного влияния на дефективных детей жиров, белков и углеводов, кончилось необычайно. Когда Михаил, взяв слово, авторитетно заявил, что полезнее всего белки, председатель прервал его и закрыл заседание, ввиду «невозможности при создавшемся положении продолжать спокойное обсуждение вопроса».

Михаил был взбешен. Он вновь пережил далекий час, когда Минна Карловна плюнула на душу Мишки. Его, обычно бледное до фисташковых тонов, лицо сделалось густо-красным. Кровь не отступала от головы, заменяя стройное чередование мыслей гулом, прыжками ассоциаций, приступом звериной злобы. Как он ненавидел этих шамкающих экспертов и приличных дам, которые, сами не сумев родить хотя бы одного ребенка и зазубрив сотню иностранных словечек, считают себя компетентными судить о всех детях мира! Михаил был Мишкой, он-то доподлинно знает, что такое детство на Еврейском базаре, он более вправе заседать здесь, чем все прославленные спецы. Если ему не дают говорить, если его оскорбляют, то это только потому, что революция в рассеянности победы проглядывает своих врагов. Разве ему не говорили, что он «представитель пролетариата»? И что же — десяток буржуев, запрятавшихся в секцию от трудовых повинностей, теперь изгоняет его. Стерпеть это невозможно. Нужно кричать караул, нужно разогнать псевдочученых обманщиков, восстановить авторитет Михаила. Все слышанное им прежде от делегатов с мест теперь вставало в памяти, помогало подвести итоги, требовало возмездия. «Там ребята свеклу жрут, а эти о музыке разговаривают...» Нет, медлить нельзя!

Михаил еще стоял, а руки его уже тронулись с места, укажу направление. Он еле помнил себя. Он не разбирался ни в разумности своих поступков, ни в нумерации домов. Но два слога, страшные и патетичные для любого гражданина, пережившего годы революции, два слога, предшествовавшие «маме»,

ибо ими пугали в колыбели, как некогда «букой», и сопровождавшие несчастливца даже после смерти, вплоть до выгребных ям, два простейших слога, которых запомнить не дано никому, оказались в сознании Михаила среди всей бесформенности, всей немоты его бешенства. Акация одного сада белыми пахучими кистями свешивалась в другой. Дежурному, выдававшему пропуска, Михаил, пугая все вместе — и свеклу на местах, и брюшко психпатра, и свое пролетарское происхождение, — тщился изложить преступные замыслы соседнего особняка. Звучало это неубедительно, и дежурный, лениво пожевывая, никак не хотел пропустить Михаила наверх. Фребеличкам повезло: этот дежурный, несмотря на молодость, обладал известной долей скептицизма. Он знал, что в легендарную Чека порой заявляются расхрабрившиеся от злобы обыватели (до революции прибегавшие к господу богу и к серной кислоте), чтобы покарать наставившую рога супругу или же утвердить первенство одного художественного таланта над другим. Дежурный чекист признавал реальность деникинцев и петлюровцев, эсеров и спекулянтов. Что касается педагогических разномыслий, то, находившиеся вне его профессионального применения, они казались ему литературой. Любительское кляузничество ему претило. Словом, это был весьма положительный и трезвый чекист, безо всякой достоевичины, из тех, что не раз воспевались нашими комсомольскими авторами. Он предложил защитнику детей обратиться с соответствующим докладом непосредственно к Наркомбесу.

Однако Михаил в беспамятстве продолжал негодовать. Он дошел до предположений, что чекист сам снюхался с саботажниками, после чего и был деловито вышвырнут на улицу.

Нужны были часы, часы сумасшедшей беготни по городу, лишенной всякой цели, нужен был поднявшийся к вечеру холодный ветер, стягивавший кожу и умерявший разгоряченность чувств, нужна была темная ночь, неизменно оголяющая и мир и человеческую совесть, чтобы Михаил опомнился. Но какой же большой и неприветной была эта ночь, с темнотой, с выстрелами и с оханьем нудного «яблочка», распеваемого призывниками, со всем осознанием своей мелкости и дрянности! Беспризорное детство не было одними рассказами на заседаниях секции, оно еще длилось. Ребячество и подлость сожительствовавали в этом неумном сердце. Только что желавший гибели своих воображаемых врагов, показавшийся дежурному в Губ-

чека не суровым спецом террора, а дилетантом анонимных ночных жестокостей, словом, мелкий, к тому же неудачливый злодей, как он был все же трогателен в своей непритыканности, в раскаянии, в теплоте паршивейших слез, которыми тщетно пытался умиловить неприязненную ночь!

Короткий срок отделил эту ночь от ночи в бывших номерах «Скутари»: три месяца, девяноста дней. Подчеркивая всю короткость этого срока, мы хотим лишь напомнить и критикам, готовым встретиться с недоверием нашу подлинную историю, и судьям, которым дано судить не книги, а людей, в какой тесной близости живут подвиги, прославляемые поэтами различных эпох, награждаемые всеми орденами, и пакость человеческой гли.

Шлем и партбилет. Стоимость улыбки

Разгримированный снова, осознав до конца комедийность трех пустых месяцев, Михаил принялся за тщетные поиски места, где бы он мог честно работать. Такого места не было, вернее, Михаил не обладал никакими знаниями, никакими выраженными пристрастиями, никаким опытом, ничем, что помогло бы предпочесть одно учреждение другому. Он еще долго носил бы по крутым, утомительным улицам Киева свою растерянность и тоску, если бы за его устройство не взялась судьба. Расклеенные по городу плакаты о мобилизации в четверть часа устранили необходимость чересчур трудного выбора. Профессия создавалась условиями, поколение Михаила должно было учиться всевать. Оно училось и научилось, научилось настолько, что для него день демобилизации явился столь же трагическим в своей неопределенности, как для бородатых запасных июльские дни четырнадцатого года.

Михаил наконец-то нашел свое место, кочующее, с чередованием побед и поражений, со всеми возможностями преданности, героизма и беззастенчивой жестокости, место по себе. Гражданская война стала его университетом, армия — семьей. Как нельзя быстро он привык к новой роли. Фронт, казавшийся ему прежде чем-то нудным и неподвижным, вроде ревматизма,

гнувшего ноги, тупой отсидкой в мокрых окопах, был живым, летучим, чудовищным и привлекательным, как бред тифозного, наконец-то вырвавшегося из лазарета. Впервые его авантюризм расценивался не как преступление, не как мальчишество, но как полезное свойство, вроде крепких рук или хорошего зрения.

Вскоре после мобилизации Михаил стал членом РКП. Это совершилось легко и просто, причем место прежних колебаний и раздора заняла естественная последовательность движений. Россия, Красная Армия и РКП в сознании Михаила, теперь совсем не склонного философствовать, увязывались в одно. Положение и упрощало и укрепляло его. Михаил воевал, и поэтому он мог не думать, — наш герой высоко ценил эту своеобразную привилегию. Он наслаждался своей внутренней неотвеченностью.

После первых же стычек с бандами возле Межигорья он почувствовал себя обновленным, как больной, проделавший курс кумысного лечения. Он нашел себя. В этом, как и во многом ином, он остался верен своему времени. Можем ли мы представить себе героя наших дней хоть год не носившим на голове высокого шлема с горделивой звездой, а в боковом кармане магического кусочка картона, именуемого партбилетом?

Войдя в партию после двух лет притяжений и отталкиваний, со стажем достаточно противоречивым, в котором при каждой очередной «чистке» приходилось номерами «Скутари» выкупать левозеровский клуб, Михаил принес с собой сохраненный от Октября энтузиазм и честность бродяги, польщенного окаванным ему доверием. В этот период своей жизни, после политического донжуанства, он предавался дозволенной чистоте семейного счастья, то есть естественному участию в государственной, монопольной и все же революционной, то есть живой, партии. Теоретическими или практическими вопросами он интересовался в меру, не более чем того требовали курсы политграммоты, но партию любил цепкой любовью моряка, гордого своим судном. Это чувство должны понять те, кто только недоуменно разводил руками перед исключительной дисциплиной и героической преданностью, неизменно выручавшими компартию в часы наибольших опасностей. Нет, не страх, не механическая муштра, но огромная органичная привязанность вела десятки тысяч ее членов на бесчисленные фронты, на «субботники», где люди руками проталкивали груженные вагоны или,

очищая город, охотились за тифозными вшами, на все виды жестокой и неприряженной работы, на ордера оперативных отделов Чека, на горе, на расстрелы, решительно на все.

Любовь Михаила к партии менее всего напоминала приверженность к идее, фанатизм сектанта, восторг мыслителя перед реальным воплощением своих теорий. Это была любовь не вождя, не вдохновителя, но обыкновенного рядового члена. Всего вернее будет сравнить ее с патриотизмом молодого и впервые берущегося за государственное строительство народа. Эта любовь питалась боевым юношеским задором и первым осознанием своей силы. Маршируя рядом с другими, Михаил хмелел от резонанса шагов, от одинакового наклона остроконечных шлемов, множа все это на грандиозность зеленого пятна географической карты, не перестающую волновать любого русского человека. Здесь был пафос множества. Поэтому другие партии он отвергал не за ошибочность идей, не за разность устремлений, но исключительно за их немощность. Критика меньшевиков ему была, прежде всего, смешна, как была бы смешна французскому шовинисту мобилизация Монако или Андоры. Не знавший большевистского подполья женевских или парижских времен, Каружа и Монружа, воли к победе крохотных кружков, он, сам того не понимая, ставил знак равенства между правотой и силой. Если такая арифметика и не отличалась углубленностью, в этом не было его, Михаила, вины: он рос в те годы, когда все человечество, исчерпав словесные запасы, от Евангелия до революционных энциклопедистов, перешло к артиллерийской аргументации.

Итак, Михаил был счастлив в своей новой роли, счастлив, несмотря на общую встревоженность, на сказывавшийся тогда ущерб дела, которому он посвятил себя. Его части приходилось, что ни день, выступать против различных банд, все ближе и ближе подходивших к Киеву. Две наиболее многочисленные из этих банд, имевшие даже некоторую видимость политической идеологии (скорей всего для облегчения работы иностранных корреспондентов), так называемые «деникинцы» и «петлюровцы», подходя с запада и с востока, клещами сжимали и без того расплющенный грозвым двухлетьем город. Хотя газеты писали, как пишут при подобных обстоятельствах все газеты мира, о мелких военных успехах и о революционном брожении в Скандинавии, кроме газет имелись нервозность членов колле-

гии, словоохотливость красноармейцев, грохот грузовиков, мчавшихся к вокзалу, и грохот поездов, мчавшихся на север,— словом, десятки примет, по которым обыватель определяет политическую ситуацию, как по форме облаков или по полету птиц предугадывает он погоду. Достаточно было взглянуть на два знакомых нам особняка, окруженных садами с уже отцветшей акацией, чтобы догадаться о сути происходящего. Один из них был теперь тих и пуст, напоминая дачу после окончания каникул. Отсутствие фребеличек с их майским прекраснодушием могло быть легко приравнено к осеннему отлету птиц. Зато в другом доме шла напоследок горячая работа. Отдыхка непрерывно подъезжавших к воротам автомобилей и ночные выстрелы являлись конкретным выражением того, что, перенесенное на язык газет, именуется «хлопаньем дверью» и что, вопреки лицемерным заверениям наших кобленцких моралистов, присуще всем партиям и всем классам, терпящим в жестокой борьбе неудачу.

Так подоспел день эвакуации, душноватый летний денек. Красные отходили на север, к Чернигову. По Крещатику шли один за другим полки, молча, хмуро, со сдержанностью игрока, решившего отыграться и пасующего в ожидании хорошей карты. Это был седьмой или восьмой переворот, и прошедший горькую учебу, драный город сохранял видимость будничного спокойствия. Впрочем, те, кому нужно было радоваться, разумеется, радовались. Еще Крещатик полнился топотом красных, а в укромности завешенных гардинами квартир уже выволакивались на свет божий хранимые пуще души офицерские погоны, послужные списки, различные займы, акции, купчие, закладные, иконы (уступившие было место всезащитительным лицам Карла Либкнехта или Розы Люксембург) и попросту бриллианты, долженствующие определять социальную значимость некоей мадам Горченко. Что касается окраин, то они умели разделять сдержанность отступающих. Окраины верили в обратное возвращение красных, как в обязательное климатическое явление. Угрюмость этих молчаливых и все же мучительных проводов, лишенных речей или знамен, несколько смягчалась той теплотой, которая, выражаясь в малозначащих словечках участия, в подносимых «землячку» ковше воды или пироге, все же выходит из подвалов сердец, становясь атмосферой и придавая даже тишине форму самого красноречивого сочувствия. Все это было в порядке вещей, то есть уже стояло в программах шести

или семи переворотов: и радостная суетливость одних, и ощеренное молчание других, при замечательном безразличии классического обывателя, озабоченного покупкой хлеба про запас (мало ли что будет впереди?) и твердо помнящего, что как ликование, так и возмущение — вещи для него недоступные, за которые приходится порой расплачиваться жизнью.

Среди красноармейцев, проходивших молча по Крещатику, находился и Михаил. Общая угрюмость сказывалась уже в походке. Он ступнями въедался в летний размягченный асфальт, как будто пытаясь оставить на нем отпечаток своего присутствия. Еще не приученный к переменчивости военных успехов, он воспринимал это отступление с наибольшей горестью. Ему казалось: командуй он Красной Армией, Киев не был бы сдан. Как можно подарить врагу город, хороший большой город, с не разрушенными еще домами, со всем его живым и мертвым инвентарем? Стратегия ничего не говорила Михаилу. Зато азарт был его родной стихией. Он подчинялся потому, что ничего другого ему не оставалось. Судьба Киева и судьба Михаила — все это находилось теперь не в его власти, за него решали другие. Но горечь от этого не уменьшалась. Лишенная действительного исхода, она заражала весь организм. Глаза, изменяя привычной пастелевой печальности, вызывающе посвечивали. Хлеб был не съеден. Что касается слов, то даже когда его товарищ, некто Башилин, шедший с ним рядом, в упор спрашивал у Михаила что-нибудь, слов все же не оказывалось. Молчаливость других, сгущаясь в Михаиле, доходила уже до патологической немoty.

Он шел, опустив голову вниз, глядя, таким образом, исключительно на свои ноги. Возле здания Совета пришлось задержаться. Обозные телеги, спускавшиеся из Старого города, забили площадь. Стоять было особенно невыносимо. Михаил поднял голову, оглядел улицы, памятник всеобучу из гипса, казавшийся особенно хрупким, как будто бы ощущавшим, что доживает он свои последние часы (на следующее утро белые действительно разбили его), торговок с пирогами и с фруктами, прохожих, дома. Будничность окружения еще более растревляла его. Люди шли навстречу, по делу, за припасами, домой, как будто ничего не приключилось. Фрукты торговли нагло хотели пережить историчность короткого дня. В фасадах домов, как и в сухости лиц, он читал нежелание разделить с ним горестность минуты. Вдруг он заметил улыбку, именно улыбку,

а не улыбающегося человека, так как черты лица не дошли до него. Улыбка, однако, была настолько выразительной, что одна заменяла и паспорт ее предъявителя, и справку о политических убеждениях, — преждевременная улыбка, приготовленная на завтрашнее утро, когда должна была, вместе с астрами сангвинических дам, полететь под копыта осетинских лошадок, нетерпеливая улыбка, вылетевшая из кокона этак за сутки до положенного срока. Ненависть Михаила только и жаждала конкретизации. Как мог он ненавидеть невидимых офицеров или тем паче «империалистов Антанты»? Теперь была найдена точка прицела. В одурманенной голове улыбке уже ничего не стоило разрастись до титанических размеров, стать не только натянутым символом, но и живой душой всех неудач революции.

— Куда ты? — спросил Башилин.

Но Михаил не мог ему ничего ответить. Повинуясь своим рвущимся к делу рукам, он побежал за угол. Ему пришлось подняться на третий этаж. Ничего не соображая, сбивая с ног людей, Михаил всецело отдался своей ненависти. Она нашла и подъезд и квартиру с балконом. Руки Михаила, эти тонкие, почти женские руки, наконец-то могли расквитаться за улыбку. Дело прошло молча, без крика, без метаний или погони, короткое мелкое дело. Мягкощекий человек, один из тех, что толкались возле кондитерской Семадени, неся в жилетке живот и «интересуясь с фунтами», лежал теперь на коврике передней. Удар прикладом стер наглую улыбку. Лицо убитого, утратив теперь и эту продиктованную политическими соображениями улыбку, и профессиональную настороженность, голое лицо сохранило лишь обиду, ребяческую трогательную обиду человека, которому не хотелось, как и всем людям, отдавать, пусть плохонькую, обывательскую, не отмеченную ни высокой идеей, ни подлинными страстями, но все же теплую, надышанную, уютную, бесконечно дорогую жизнь.

Сбежав вниз, Михаил почувствовал такое облегчение, как будто происшедшее только что на третьем этаже меняло весь характер эвакуации. Его шаги приобрели даже известную бодрость. О сожалении не могло быть речи. Беззаконность? Но какие же существуют судьи в арьергарде отстреливающейся армии, кроме винтовок и истории? Жестокость? Да, конечно. Однако жестокой была и улыбка, жестоком был этот темный угод, перед всполохнутыми радостью балконами спекулянтского Крещатика, жестокой была вся жизнь.

На углу Михаил остановился купить у бабы сливы — он выдвигался, он вдруг почувствовал, что со вчерашнего вечера ничего не брал в рот. Торговка, спешно прикрывая своим задом сливы, завизжала, как будто Михаил хотел убить ее. (Впрочем, тот, наверху, молчал, — очевидно, так визжат люди, цепляясь не за жизнь, а за содержимое кошелька.)

— Не дам! На что мне пятакочки твои!

Будь это пять минут назад, баба недешево заплатила бы за свою скаредность, по теперь Михаил, просветленный законченной операцией, только добродушно усмехнулся:

— Да не визжи ты. Я тебе керенку дам.

— Ты где был? — спросил Михаила Башилин, когда наш герой, догнав свою часть, как будто ничего не произошло, шагал дальше.

— Я? Покупал сливы.

Эпизоды гражданской войны

Где несутся, без интервалов, сменяющие друг друга кинофразы, не зная ни придаточных предложений, ни пауз, лаконичные картины преступления, погони, смерти, там нет места психологическому анализу. Углубление чувств, конечно же, роскошь, и не всегда человек может ее себе позволить. А приписывать Михаилу, гонящему белых или махновцев, как гонял Мишка аллегорических собак Еврейского базара, умиленные состояния толстовских героев или хотя бы перманентное сознание мировой значимости борьбы за коммунизм, мы не станем. Мы находим нашего героя достаточно живописным и без этого, с его загрубевшей, как кожа на ветру, душой, с поредением и слов и чувств, обременительных в походной жизни.

Не протоколируя по порядку событий тех месяцев, мы, вместо исторического перечисления боев и разведок, ограничимся лишь свидетельством, что орден Красного Знамени, столь удививший три года спустя некоторых москвичей, был Михаилом честно заработан. Рассказами о храбрости в обстановке военного времени трудно теперь кого-либо удивить. Долгие годы были не чем иным, как школой смелости, и, находясь безразлично где — в вагоне трамвая, на Сухаревке или же на театральной премьере, — можно быть уверенным, что окружающие

люди по меньшей мере раза три обретались на знаменитом и, очевидно, магическом в своей непереходимости «волоске» от смерти, умеют распознавать голоса всех дюймовок мира, сидели в Чека или в контрразведке, катались на буферах и на крышах,— словом, что место им не на базаре, не на галерке, а на страницах авантюрного романа. Кажется, что описанием рыбной ловли или токаниа глухарей, этими классическими длиннотами наших предшественников легче теперь и озадачить, и увлечь читателя, нежели самыми легендарными похождениями из недавнего времени гражданской войны.

Но не одну храбрость воспитало это время: оно явилось школой, где без помощи фребелечек человеческая личность буйно и достаточно неожиданно разрослась. Бои за Донбасс, захват Северного Кавказа, наконец, взятие Перекопа, все это было не только торжеством коллектива, но и ростом, упорством, силой скромнейших дотоле человеческих дробей. Армия побеждала без Наполеона, ибо «наполеонствование» являлось достоянием каждого, вплоть до плюгавого фельдшера из Кимр, гордого и своим новым наименованием «помлека», и своей классовой сознательностью, и своим правом на победу.

Таким образом, рядом с историей армий, бригад и полков существуют бесчисленные истории рядовых участников войны, причем жирные даты последних редко совпадают с датами общих побед или поражений. Возвращаясь к Михаилу, мы должны вкратце остановиться на некоторых, для него одного существенных, днях.

Первым из памятных ему был сырой и ветреный день, созданный для насморка или для флюса, когда Михаил очутился вновь в своем родном городе при довольно тяжелых обстоятельствах. Бои с белыми шли на улицах. Крепостик был линией фронта, по многу раз переходя из рук в руки. Казалось очевидным, что красным не удержаться. От сознания этого сочувственность своих осторожно пряталась, зато все враждебное нагло лезло в глаза. Конечно, здесь играла большую роль интуиция, нежели точные данные. Однако и Михаил и его товарищи были убеждены не только в подлом шушукании за иными щитами подъездов, не только в предательских выстрелах из умело камуфлированных окон, но даже в неприязненности воздуха. Все это усиливало озлобленность усталых, назябшихся, голодных людей, которые без надежды на успех защищали несколько домишек или пустую площадь. В таком состоянии находился и

Михаил, обводя глазами Житомирскую улицу, дома с дощечками зубных врачей и дамских мод, дома-тихони, откуда только что выскочила пуля, случайно вместо головы Михаила раздробившая фонарное стекло. Винтовка была наготове, выстрел, все равно по кому, просился на волю, когда рядом раздался детский голосок:

— Пожалуйста, не стреляйте пять минут, пока я не дойду до угла!

Это было сказано деловито, скорее повелительно, нежели жалостливо. Озадаченный Михаил опустил винтовку. Он потребовал подробностей, он даже пригрозил девочке, которой было на вид лет семь-восемь. Он узнал, что Таня (ибо его собеседница, привыкшая к тому, что взрослые, не зная, о чем говорить с детьми, обязательно спрашивают «как тебя зовут?») прежде всего отрекомендовалась, что застряла у тети Вари, что в это время пришли большевики, что эти большевики — «жиды» и «разбойники», что ей нужно пройти домой к мамочке, что ее не пускали и она выбежала тайком, что мамочка живет на углу Владимирской, наконец, что если он будет ее еще о чем-нибудь спрашивать, то она начнет плакать. Узнав все это, озлобленный Михаил, понимавший, что пуля, случайно его миновавшая, могла вылететь из квартиры «дорогой тети Вари» или не менее «дорогой мамочки», где большевиков зовут разбойниками, но не видя в эту минуту ничего на свете, кроме приветливой голубизны вверенных ему глаз, нежно взял руку девочки в свою. Если какой-нибудь храбрый наблюдатель стоял в это время у одного из окон, выходявших на Житомирскую улицу, он должен был немало изумиться: ведь рыжий красноармеец в роли заботливой нянюшки, да еще под обстрелом, встречается не каждый день. Михаил честно выполнял своеобразное поручение, возложенное на него если и не командармом, то все же кем-то достаточно для этого ответственным. Он решил, что всего вернее будет сдать девочку непосредственно в руки матери. Он постучался. Увидев свою дочку в сопровождении красноармейца, заплаканная женщина сразу догадалась, что этот человек спас ее ребенка. Захлебываясь слезами, она без конца повторяла несложные благодарствия. Михаил испытывал мучительный стыд. Ему казалось, что эта женщина, считающая большевиков разбойниками, должна в душе над ним смеяться. Он чувствовал нелепость сцены. Вместе с тем он не мог придумать ничего, что бы вернуло его поступку недавнюю естественность и простоту.

Он не отвечал на просьбы женщины зайти отдохнуть. Он и не уходил. Пытка усиливалась. Наконец он попытался к двери. Женщина, видя, что спаситель уходит, не зная, как выразить всю свою признательность, схватила его за руку. Это было красноречивей слов. Но, окончательно затравленный стыдом, Михаил вырвал руку и неожиданно, даже для себя, ударил большие стальные часы. Стекло, взвизгнув, изрезало его пальцы. Скверно выругавшись, он выбежал на лестницу. Испуганный крик, донесшийся сверху, окончательно успокоил его. Пусть думают, что он разбойник, что он зашел побуйнить, пусть думают все, что им угодно, лишь бы не стоять глупым добряком с винтовкой перед умиленной буржуйкой!

Этот противный день оказался весьма важным для Михаила: герой наш узнал, как трудно, как мучительно дается человеку доброта. Выучка сказывалась потом. Всякий раз, будь то нелепейшее спасенье какой-нибудь опалевшей бабки или самоотверженная экспедиция за раненым товарищем, — словом, все то, что выпадает на долю даже самых черствых людей, — Михаил неизменно уничтожал всякие приметы мягкосердечия, стараясь казаться иглистым, как еж, насвистывать, поплевывать и быстро убирать в сторону свои предательски ласковые глаза.

Вторым эпизодом был тоскливый и бессюжетный вечер в деревушке, недалеко от Изюма. Михаил сидел у огня. В котелок, за неимением чая, кинули сушеные яблоки. Дождь беседовал со стеклами о невыносимой сиротливости русских просторов. Докучная это была беседа. Рядом с Михаилом два бойца, лениво истребляя вшей, фантазировали:

— А если она комиссарская будет?

— Чего?..

— Комиссарская если?..

— Что у нее, ворота другие? Я хоть и царицу пуцу в ход. В бане я как-то был, в Воронеже, так мне один городской прямо сказал: у тебя, братец, целое состояние пропадает...

Михаил слушал их слова, слушал кропотливое резюме дождя, шум котелка, хруст вшей. Перед ним был черный ход мировой истории. Он тщетно пытался думать о другом: об Артеме, о революции, о жизни. Было ясно, что он сгниет, стухнет в один из таких вечеров от осколка снаряда или, еще проще, от крохотной вши. Тогда-то и родилось решение: бежать. Дверь из избы вела не к описанной дождем земле, но дальше: к морю, к городам, к границам, к завлекательной кинематографической жизни.

Михаил встал, вышел. Он прошел с версту под дождем, вытянув вперед руки, как лунатик. Вдруг он вскрикнул: гвоздь вцепился в его ступню. Только тогда он заметил, что вышел разутый. И первой мыслью было — бежать босиком глупо, нужно вернуться за сапогами. Когда он, промокший, вернулся, огня уже не было, спорщики спали, наполняя избу храпом, чмоканьем, теплом, тяжелым духом хлеба. Подумав, что ему нужно сейчас сесть, крихтя натягивать сапоги, Михаил визгливо зевнул. Колесование длилось недолго. Усталость пригнула голову к полу и в одно мгновение связала руки.

Два месяца спустя, за удачную разведку возле Никитовки, Михаил был награжден орденом. Самолюбивейший герой, однако, нашел в себе достаточно мудрости, чтобы, узнав об этой награде, прежде всего вспомнить промокшую, пахнущую собачиной рубаху и вязкую глину под Изюмом. Он знал, что от дезертирства отделили его не идеалы, а всего-навсего сапоги, и в душе он даже не стыдился этого.

Третий день — день энтузиазма. Ничего нет удивительного в том, что Михаил был приподнят Октябрем: в те дни даже львы на воротах дворянских особняков готовы были, изменив и классу и материалу, сорвавшись с места, ринуться в горящие джунгли. Но как, не зная всех возможностей нашего героя, понять, что он, на четвертый год революции, в буднее зимнее утро изголодавшегося Ростова, когда примерзшие мысли никак не могли подняться выше двадцатиградусного прозябанья, выше таранки или валенок, вдруг сошел с ума? О какой-либо общей взволнованности не могло быть и речи. Даже в героическом Темернике фантазия ограничивалась вагонами, груженными пшеницей, сгущенным молоком и кондитерскими изделиями, движение которых пока что выражалось лишь в трагическом сердцебиении измученных сотрудников губпродкома. Михаил шел по апатичной улице, лишенной магазинов, не знавшей даже, зачем ей существовать, так как школ или просветительных клубов на ней еще не было, а демонстрации происходили редко, не чаще раза в месяц, шел не менее апатичный, нежели она, с мороженой, с вяленой мечтой о десятке бывших «асмоловских» папирос. Он машинально остановился возле огромной витрины, когда-то обольщавшей ростовцев наивными мордами осетров или девическими тонами окороков, а теперь отведенной под различные плакаты, уговаривавшие редчайших прохожих давать хлеб городу, защищать революцию, баней победить вшей и показать

Вильсону, что такое пролеткультура. Под плакатами были фотографии: «бронепоезд имени Калинина», «дети — цветы жизни», и другие. Вдруг Михаил на одной из фотографий увидел себя. Это не было галлюцинацией. В группе, среди красноармейцев, значилось и его лицо. Подпись «Занятия политграмотой» напомнила Михаилу приезд какого-то иностранного коммуниста (кажется, ирландца), который, что ни шаг, звонко щелкал затвором под басистое приговаривание переводчика: «Товарищи, не двигайтесь, глядите натурально». Вспомнив заграничное пальто коммуниста, свидетельствовавшее о всей его нездесьности, Михаил взволновался. Он был видоизменен фотографией. Здесь-то и начиналось сумасшествие. Разве мало он снимался прежде? Дело не в восторге дикаря перед своим изображением, нет, на пустой слеповатой улице он как-то сразу почувствовал себя залитым тысячесильным светом мировой рампы. Несколько аршин, отделяющих сцену от зрителей, отделяли Михаила от любого ростовского обывателя, занятого таранью, но эти аршины намного превосходили все мыслимые дистанции. Присутствие, хоть и незримое, заграничного пальто с «паткой» являлось раздвижением события до действительно мирового. Как пописывали тогда провинциальные газеты «Красная заря Бобровской коммуны» или «Трудовой пахарь Башкирии», все шло в «планетарном масштабе», и если попытка Михаила дезертировать казалась ему жалким эпизодом, то теперь, возвращенный к свежести Октября, он и впрямь чувствовал, что он, Михаил Лыков, решает — быть человечеству или не быть. От сознания этого, принимая во внимание экспансивность героя, было уж недалеко до нелепого возгласа, все там же, у витрины с плакатами, без свидетелей, если не считать за таковых нарисованных капиталистов и живых галок, да патетического крика «даешь!». Это знаменитое словечко, из похабного прыгнувшее в героически, рожденное разбушевавшейся молодостью людей и чувственным лаконизмом революции, не сопровождалось никаким дополнением: Михаил требовал не Крыма, не Европы, но решительно всего. Он был без ума. Он знал, что это «все» должно ему даться. И как бы ни показалась такая минута чрезмерного накала смешной, для него она была великой.

Мы подходим к четвертому эпизоду, достаточно позорному. Взятый сам по себе, он один дал бы право презирать нашего героя, ибо как же совместить только что описанную нами глубину дыхания человека, взлетевшего на высоты истории, с под-

лежащей ведению нарсуда мелкой кражей серебряного молочника?

Михаил, в сопровождении товарища, зашел обыскать квартиру, оставленную удравшим с белыми владельцем (дело было в Бахмуте). Они искали оружия и, ничего не обнаружив, собрались было уходить, когда товарищ робко потрогал лежавшую на столе ложку, что свидетельствовало о переживаемой им драме. Потрогав, подумав, он засунул ее в карман. Хоть ложка была и серебряной, это все же не походило на кражу: у человека не было ложки. Притом война несколько отличается от мира, так что драму следует приписать чрезмерной цепетильности красноармейца, виноватого всего-навсего в скромнейшем желании есть суп ложкой. Другое дело Михаил: он спрятал в свой мешок вещь, ему вовсе ненужную, первое, что подвернулось под руку, проверив притом, есть ли на ней проба, — словом, Михаил украл молочник, и причину этого поступка никто, в том числе он сам, не мог бы толком объяснить, тем паче что в доме имелись более ценные вещи. Уйдя, он тотчас забыл о своем странном поступке и только на следующий день, обнаружив в мешке молочник, стал додумываться, зачем он, собственно говоря, унес его? Тогда ему вспомнились смутные мечтания, предшествовавшие обыску, о грузинском коньяке, которым бойко торговали в городе. Очевидно, руки оказались достаточно находчивыми и, увидев молочник, сами приступили к осуществлению. Дойдя до этого, Михаил почувствовал стыд. Может быть, если бы в мешке оказались бриллианты, он нашел бы смягчающие обстоятельства, но молочник вызывал прежде всего брезгливость. Он с удовольствием вернулся бы назад, чтобы поставить глупую вещицу на место, но это было невозможным. Оставалось раскаяние.

Вечером Михаил, впрочем, обрел достаточную жизнерадостность, чтобы отправиться, все с тем же товарищем, на любовную разведку. Без особого труда и не прибегая к дискредитирующей помощи колбасы или монпансье, исключительно благодаря своей молодцеватости, они нашли двух «съедобных» девочек. Остановка была за помещением, так как подруги жили в одной, к тому же крохотной, комнатушке. Пришлось установить две смены. Ждать Михаил не мог и прошел первым. Это диктовалось не эгоизмом, но предусмотрительностью: он знал свой темперамент.

Он был достаточно груб и циничен в своих ласках, если можно назвать «ласками» страсть, не процензурированную ни-

какими человеческими чувствами. Он всегда считал, что дарит женщине нечто очень важное, снисходительно унижая себя до нее. Женское тело вызывало в нем неразрывно с желанием отвлечение, а страсть обладать переходила в страсть уничтожить. Его объятия напоминали вражеское нашествие. На этот раз, однако, молодой женщине, советской барышне, товарищу Наде, спавшей с кем придется, ибо это ей казалось догматом современности, а в душе конспиративно хранившей мечту не только о муже, но даже о муже бесполом, производящем детей исключительно семейным уютом и поцелуями в лоб, — вот этой, на словах бесстыдной, девочке удалось чем-то тронуть Михаила, может быть, своей физической незаинтересованностью. Уходя, он не без ласковости сказал ей:

— А зовут меня Михаил, Мишка.

Это было лишено практической цели. Он знал, что завтра покинет Бахмут и никогда больше девицы не увидит. Это было всей мыслимой для него нежностью, для него, не знавшего ни трогательности простого бескорыстного поцелуя, ни многообразия слов, на которые способны даже самые неизобретательные влюбленные. Прощание происходило на лестнице, где покорно поджидала очереди вторая парочка. Тогда-то Михаил и вспомнил о своей не по весу обременительной поклаже. Украденная вещь была, без долгих размышлений, вручена партнерше товарища. Переведя в голове молочник на фунты масла или сахара, товарищ Надя, тощая, изголодавшаяся, жившая губной помадой и пшеном, робко спросила:

— Почему не мне? Ведь ты же не с ней?..

Негодование Михаила тщетно искало выразительных форм. Мысль о возможности награды в виде мерзкого молочника той, которую он только что наградил всем своим неистовством, наконец, более того, своей неуклюжей лаской, была на редкость оскорбительной. Ответил он кратко:

— Ты свое получила.

Но, оставшись один, он долго не мог успокоиться. Все происшествие, вместо обычной после таких развлечений приятной усталости, оставило в нем боль и ярость. Он жалел об одном: почему он ей сказал, что его зовут Мишкой? Лучше бы ударить ее с тоски, больно ударить по щеке!..

Вскоре после этого неприятного инцидента, но отнюдь не в связи с ним, Михаилу пришлось на некоторое время выбыть из игры.

Большой харьковский вокзал был круто нафарширован теплой вонючей мешаниной. Ехавшие с севера отличались портативностью. Слово «мешочник», применяемое к ним, являлось лишь предсказательным. Они кидались на пироги с морковью. Выделяемая в избытке слюна просачивалась изо рта наружу. Те же, что ехали на север, обнимались с мешками. Наевшись до отвала, с непривычки они отрыгивали и клевали носом. Опасаясь за свое достоиние, они со сна вскакивали, прорезая бормотание вокзала острыми воплями людей, которых режут. Страшный призрак «заградилки», обретавшейся, по словам одних, где-то не доезжая Курска, по заверениям других — возле самой Москвы, в Серпухове, может быть, вездесущий, витал над вокзалом, залезал за пазухи, вытаскивал из-под голов мешки и усиливал горячность ожидания. Среди мешочников были и красноармейцы, вышедшие из лазарета или туда направляемые, усталые, неподвижные, похожие на тяжелые, подкинутые кем-то мешки. Все эти люди, ожидая задыхавшихся среди снежных полей поездов, редких поездов, спешащих смешной жалостливой спешкой паралитика, как-то жили, но о жизни их трудно что-либо сказать, как о жизни в ямах, заменяющих китайцам тюрьмы, или о жизни в лепрозориях. Эта жизнь, то есть промышленение кипятка, бередение расчесанных до крови боков, кашель, харканье, храп были механическими сокращениями огромной косной материи. Поэтому человеческая масса только слегка раздалась, лишенная признаков изумления, когда какой-то красноармеец, подражая большой рыбине, поплыл по полу, отталкивая руками головы и мешки.

Это был Михаил. Предчувствие, как-то охватившее его, оказалось верным. Едва чувствительный укус, один из многих, стал катастрофой. Уже с утра предметы, утратив свои обычные пропорции и положение, стали требовать внимания, от мешков, раздувавшихся в горы, до вагонов, несчастных искалеченных вагонов, похожих на кляч и сдаваемых живодеру.

Сыпняк был одной из общих повинностей революционных лет, и говорить о его симптомах — это все равно что говорить о том, как идет дождь или как делают обыск: кто же этого не знает?

Из затворов Хитровок были посланы, на зависть всем генштабам мира, необычайные, белесые, крохотные, мириадные армии, быстро сделавшие горе самой что ни на есть повседневностью и доставившие столько работы трудолюбивым статисти-

кам. Но как бы ни была тривиальна эта болезнь, она допускает, подобно шахматной игре, тысячи вариантов. Здесь были и чудища, просившиеся в паноптикумы, чувствовавшие, что у них две головы или множество ног, были и буйные, требовавшие смирительной рубахи, были кротчайшие фантасты, при прикосновении шприца ощущавшие себя черемухой, посещаемой пчелами, здесь было, наконец, патетическое завершение легенды о Вечном жиде, в виде бритых, полуголых безумцев, рырывавшихся из лазаретов, проявлявших нечеловеческую выносливость, бежавших до последней минуты, с единственной целью: умереть на ходу.

Так было и с Михаилом. Когда сильный жар наполнял его зрачки огненной фейерверочной ночью, наш герой, жалостно выкрикивая «даешь!», расправил плавники и поплыл, то есть, отвратительно содрогаясь, пополз среди нечувствительных ни к чему мешочников. Где-то, вероятно на перроне под железными калеками, промелькнула «та самая рыбка» Абадии Ивенсона. Несмотря на все жалобы, глаза не возвращались.

Ни крик, ни красные печати на щеках не могли никого всполошить. На сыпняк люди тогда уже не оглядывались. Их волновала «заградилка». Только на следующее утро Михаила перетасили в казарму, приспособленную под лазарет. Он кричал и бился. Действие крохотного укола продолжалось, кривая температуры рвалась вверх, тиф вступал в силу, плотнел и рос. Из лазарета горячечные крики высыпались на улицу. Но люди не слышали их, как не слышат моряки голосов бури. Ведь на десятках фронтов, в городах и в теплушках, возле каждой «заградилки», тифозная страна жевала мокрую мякину, испражнялась и бесплатно обучала мир героизму. Как известно, она не умерла.

Ольга

Тиф — болезнь аккуратная, соблюдающая сроки. Кризис наступает на тринадцатый или четырнадцатый день, за ним следует либо смерть, либо долгие недели слабости, зачастую всяческих осложнений. Таким образом, мы обладаем достаточным запасом свободного времени, чтобы, покинув впервые Михаила, заполняющего угрюмый лазарет своим маловнятным

бредом, приступить к знакомству с Ольгой Владимировной Галиной или, для краткости, просто Ольгой, опередив нашего героя.

Начнем, разумеется, с наружности, столь важной для молодой женщины. Ольга же, хотя и была на шесть лет старше Михаила, должна быть названа молодой: к описываемому нами времени ей исполнилось двадцать семь лет, а на вид, несмотря на поношенность одежды, ей не давали больше двадцати трех. Наружность ее мы назвали бы привлекательной, если бы этот эпитет не вводил в обман. Ведь имеются и вправду «привлекательные» женщины, похожие на липкую бумагу для мух, в любой обстановке буквально облепленные поклонниками. Задумчивое, порой даже страдальческое лицо Ольги казалось анахронизмом, вроде трагедий Расина, почитаемых всеми и проходящих в пустом зале. Ее глаза своей требовательностью отпугивали людей, подходивших к женщинам, как к гостиницам, и пуще всего боявшихся психологического прикрепления. Что касается любителей на душевную недвижимость с обстановкой, то для них Ольга явилась бы чистым кладом. Но годы войны и революции почти повсеместно вывели из обращения людей такой породы. Они-то, эти сумасшедшие годы, сделали Ольгу в ее драматической несезонности праздною. Здесь были бессильны и все обаяние женственных, то есть чрезвычайно беспомощных и трогательных жестов, и натуральное золото волос, и способный довести иного чудака до слез счастливый тембр голоса. Ольге не хватало легкости. Она могла как угодно дурачиться, могла проводить ночи в кабачках Монмартра, могла разделять наирадикальнейшие идеи века, все же своею основательностью, существенностью вызывая в памяти тип «русской девушки» из учебника истории литературы, то есть преданной родным пенатам и полной беспримесной морали. Новые люди, будь то деловые бунтари или спортивные дельцы, явственно слышали за запахом духов Герлена, которыми до семнадцатого года душилась дочь владельца спичечной фабрики в Полесье Галина, плотный запах чернозема и, слыша его, ретировались.

В итоге девушка, обладавшая всеми физическими и душевными достоинствами, осталась девушкой не только по паспорту, так и не узнавшей ни любви, ни ее общедоступных суррогатов. Претендентов в свое время, то есть до национализации спичечной фабрики, было немало, но все они настолько откры-

венно, обходя голубые глаза Ольги, поглядывали на спичечные дивиденды, что даже инсценировка влюбленности становилась немислимой. В свою очередь, голубые глаза парализовали предприимчивые руки тех, которые пытались приступить к делу прямо с объятий.

Возможно, что оживленность, нервическая подвижность ее внешней жизни объяснялась именно отмеченной нами неудовлетворенностью. С восемнадцати лет начались ее житейские и духовные блуждания. Она прожила около двух лет в Париже среди модернизированной богемы, среди шведов или датчан, обладающих достаточным запасом как здоровья, так и крон, чтобы позволить себе роскошь быть экстравагантными во всем, от меню обеда до кубического изображения груди натурщицы, среди поэтов, занимавшихся, вследствие моды, педерастией (от которой их, откровенно говоря, подташнивало), наконец, среди стилизованных сутенеров, выдававших себя за «анархоиндивидуалистов» и сторонников «естественного воспитания». Ольга уехала из Парижа, не утратив ни на йоту своего опарашивающего целомудрия и тургеневской улыбки. Она объездила всю Италию, в итоге чего загорела и разлюбила искусство. Приехав в Ассизи, вместо того чтобы, спустившись в подземную церковь, наслаждаться бедностью духа и «госпожой бедностью», изображенной Джотто, она демонстрировала с какими-то двадцатью каменщиками против расстрела неведомого ей испанского анархиста Ферреро. В Риме, проглядев Форум, она заинтересовалась его обитательницами, то есть крикливыми одичавшими кошками. Она ела мороженое и любовалась в витринах Корсо кожаными чемоданами, которые могла бы найти в любом другом городе. Немало таких чудачковатых и бескорыстных путешественников, блуждая по свету, догоняют свое счастье, неизменно отбывающее с предыдущим поездом дальше.

Застигнутая революцией в Харькове, где она гостила у дядюшки, Ольга стала сотрудницей столовой при Доме Советов, отрывала талоны карточек. Внешняя убогость жизни, механичность всех процессов успокаивала ее, как вязание или раскладывание пасьянсов успокаивали когда-то ее бабушек. Дядя с большой печенью и пропавшим «займом свободы», в который он сдуру ровно за месяц до Октября вложил свое состояние, раздраженный не только вскрытием сейфов, но и переводом часовой стрелки на два часа вперед (что, по его мнению, являлось «иерусалимским временем»), умирающий от большевиков и от

разлива желчи, негодовал на беспечность Ольги, называя ее, не без заграничной элегантности, «большевизанкой». Пожалуй, до известной степени он был прав. Перетасовав все судьбы и кинув Ольгу в капустную атмосферу столовки, революция избавила ее от дальнейших метаний. Эстетизм, урбанизм, католичество, нищезанство, Монпарнас, Сицилия, полесские болота, Москва, все это было уже проделано хоть наспех, но с душой. Все оказалось равно неудовлетворяющим. Нужно было, что ни день, вытаскивать из редеющей колоды карту и, не веря в удачу, наигранным азартом прикрывать растущую апатию. Вот почему, ничего не смысля в политике, Ольга все же радовалась успехам большевиков, отнявшим у нее, вместе со спичками, возможность так называемого «беззаботного существования». Конечно, подобный образ мыслей, нежелание последовать за родственниками, при первой возможности перекочевавшими в Ниццу, казавшееся новым ниццарам унижительным продырявливание карточек в какой-то столовой,— все это являлось настоящим семейным скандалом. Никакие уговоры и пристыживания не могли переубедить Ольгу. После средневекового католицизма или кубизма сочувствие революции стало ее очередным привалом. Мы настаиваем на этом вульгарном определении «сочувствие», которое применялось обыкновенно при заполнении затруднительных анкет застенчивыми беспартийными, боявшимися одновременно и комячейки, и своей совести. Сочувствие Ольги было иным, оно не переходило в следующую фазу приверженности и активной борьбы только вследствие ее чрезмерной честности. Революция потому и привлекала Ольгу, что в революции для нее не было места. Богомольно она воспринимала процесс, который был назван одним из не лязгающих за словом в карман журналистов «организованным принижением культуры». Здесь все импонировало ей: и величаявая суровость «субботников», и повестка некоего заседания при Наркомпросе с ее бессмертным порядком дня: «установка официального советского стиля» (причем под стилем понимался не календарный, а художественный, вроде барокко или Людовика Пятнадцатого). Насмеяться Ольга предоставляла печеночному дядюшке, которого не успокоили даже ниццские пальмы. Она же хотела, заглянув лет на сто вперед, увидеть даже в упомянутой повестке симптомы грядущего ренессанса. Многодумание ведь являлось ее органической слабостью. Стать коммунисткой? Но это было бы жалкой попыткой разжижить густой раствор револю-

ции. Она предпочитала роль чернорабочего. Место в столовке вполне соответствовало допустимой степени ее участия в революции.

Такой мы застаем эту девушку, то есть поглощенной неблагодарной работой, как все — голодной и оборванной, но не разделяющей общих сетований, напротив, примиренной, с изыскшим сердцем, едва согретым хоть и мудрым, однако не жарким огнем «сочувствия». Мы застаем ее притом девушкой, так как вся легкость, вся упрощенность интимнейших связей в те годы никак на ней не отразились. Ее прежние знакомые, люди равного духовного уровня, казались ей теперь неживыми, чем-то вроде камней Форума, только без кошек и без благодатного римского солнца. Когда один из таких людей, еще недавно числившийся самым модным адвокатом Харькова, а теперь занятый разноской по лавочкам, торгующим «ненормированными» продуктами, ванильного порошка, заглянув с тоски и с голодухи к Ольге, несколько неожиданно закончил свои причитания поцелуем, Ольга от ужаса даже вскрикнула. Лишенные теплоты губы адвоката показались ей гуттаперчевыми. Она ответила не поцелуем, но и не словами возмущения; вспомнив, что у нее осталась от пайка четвертушка хлеба, она молча вскипятила чай. Адвокат удовлетворился по тем временам щедрым угощением. Впрочем, адвокатский поцелуй следует рассматривать как нечто исключительное. Вопреки заверениям иных из наших беллетристов, жизнь бывших буржуа или интеллигентов, словом всех, получавших паек по карточкам третьей, а где существовала четвертая, и четвертой категории, в те годы отличалась крайним аскетизмом. Не говоря уж о духовной пригнетенности, диетический режим, отсутствие мяса и возбуждающих напитков, общее ослабление организма — все это мало располагало к любви. Что касается «новых» людей, столь привлекавших Ольгу, то они сходились с женщинами наспех, так же как наспех ели, за кашей читая газету и догрызая сухарь на заседании. Новые люди не гнались за женщинами и не тратили времени на отбор. Нет, женщины должны были сами попадаться им на глаза. Вид чрезмерно сдержанной, молчаливой Ольги никого не привлекал, и новые люди, подобно старым, проходили мимо нее. Все запасы никем не востребованной нежности продолжали храниться в сердце девушки, отрывающей талоны на обеды.

Как же нам не порадоваться, увидав нашего героя, вознагражденного за тифозные месяцы, за всю свою тифозную жизнь дружественным взглядом этой анахронической женщины? Обстановка исключала романтичность встречи. Михаил, запоздавший для подкрепления, кроме красноармейского пайка, право обедать в столовке Дома Советов, предъявил карточку и получил ее обратно, но сопроводенную ласковым взглядом, который он, расположенный пережитой болезнью к лиричности, вполне оценил. Последовало несколько малосущественных фраз о положении на Крымском фронте и о меню столовки, все разнообразие которого заключалось в переходах от картошки с селедкой к каше с растительным маслом. Так произошло первое знакомство.

На второй день число фраз возросло, причем в итоге последовало приглашение прийти к Ольге вечером, — посидеть, поговорить. Михаил был взволнован до крайности. Остаток дня он провел в мучительных усилиях расшифровать значение этого приглашения. Женщина, на его взгляд, могла звать к себе исключительно с одной целью. Разве поза дамочки, которую он как-то обнаружил в номере «Континентала», при всей шикарности, отличалась от позы любой бабы? Эта — не хуже и не лучше других, нечего зря ломать голову. Думая так, Михаил все же, из уважения к интеллигентской внешности Ольги, подверг себя строгому осмотру, вымылся с головы до ног и, повозившись битый час, смирил даже свой, успевший уже отрасти после болезни, чуб. Его удивляла эта непонятная подготовка к самой что ни на есть заурядной вещи. Как будто мало женщин он поиспробовал на своем коротком веку? Однако все эти мысли остались где-то на лестнице, ни одна из них не перешагнула вместе с Михаилом порога Ольгиной комнаты, вернее, кухни, где Ольга поселилась поблизости печки (как селятся колонизаторы поблизости воды). Поздоровавшись, Михаил первым долгом сконфуженно взъерошил свой чуб, как будто прическа выдавала его дневные размышления. Он сразу почувствовал, что никогда не посмеет коснуться этой женщины, усидившей его гостеприимно возле печки и начавшей преспокойнейшую беседу о каких-то массовых зрелищах. От сочетания приниженности и злобы его лихорадило. То он чувствовал себя бесконечно счастливым, стараясь поддерживать разговор, злоупотребляя иностранными терминами и явно путаясь, то мрачно замолкал, обдумывая, как бы с достоинством выйти из позорного положе-

ния. Явно не за этим Ольга позвала его. Мужчина он или нет? Ему пришла в голову нелепая мысль прервать разговор, который теперь перешел на итальянских петрушек, каким-нибудь анекдотцем попохабней, чтобы показать свою независимость. Действительно, он начал что-то невнятное: «Вот в связи с театром, у нас был курсант...» — но дальше этой, вполне пристойной, справки не пошел. Привыкший к сознанию своего превосходства, он неожиданно был посажен на парту прогимназии. Недоставало только папашиних помочей. Он должен был слушать, как Ольга объясняла ему, что такое *commedia del'arte*. Это было свыше его сил. Даже кровать, скромно прикрытая одеялом, кровать, на которую он не посмел швырнуть эту особу, явно над ним издевалась. Михаил прервал Ольгу:

— Все это вздор и ликвидировано Октябрем!

После чего, топорно попрощавшись, он вышел. Всю ночь он ругал себя за проявленную слабость. К утру он решил плюнуть на Ольгу. Бессонница из-за какой-то бабы являлась апофеозом падения. В столовой он сухо поздоровается и, не говоря ни слова, пройдет дальше. Однако при виде Ольги вся решительность была немедленно позабыта. Михаил понял, что эта женщина, не в пример другим, занимает его.

Когда Ольга спросила, не зайдет ли он к ней вечером, Михаил превратился в патетическую благодарность. До вечера было много времени. На этот раз Михаил уделил больше внимания разработке плана действий, нежели прическе. Он твердо решил использовать предстоящий вечер целесообразней и догнаться минимум до губ Ольги. Но, учитывая ее отличие от прочих женщин, которых он попросту валил на пол, Михаил надумал предварить первые элементарные жесты объяснительным словом. Предполагаемая речь начиналась так: «Принимая во внимание общность и презрение к предрассудкам»... Речь так и не была произнесена. Руки Михаила не решились даже сойти с колен. Вместо задуманных объяснений, он скромно сидел на табуретке, отвечал на вопросы Ольги о боях с белыми и слушал ее рассказы о Париже. После этого он снова провел бессонную ночь, но уже без легкомысленных расчетов «плюнуть на Ольгу». Симптомы некоторого заболевания были налицо. Наш герой не сомневался в значении их: он влюбился.

Странная, однако, это была влюбленность. Михаил не мог ни о чем думать, кроме Ольги, но если б его спросили: «А какая

она с виду, Ольга?» — он бы не сумел ничего ответить. Встречаясь с ней по два раза в день, он, например, не заинтересовался тем, какие у нее глаза. Установив при первой же встрече, что Ольга женщина «очень ничего себе», он вполне этим удовлетворялся. Не следует думать, что подобное невнимание вытекало из особой духовности его чувств. Нет, Ольга привлекала Михаила исключительно потому, что была недоступной для него женщиной. Правда, каждый вечер он слушал, иногда с искренним вниманием, ее рассказы о путешествиях или о различных неизвестных ему книгах, но все это являлось в его глазах лишь украшающими элементами, чем-то вроде бриллиантов на коготке. Это только повышало расценку ее объятий.

Прошло две недели. В рассказах была, кажется, перерыва вся жизнь. Но на коротком пути к кровати не было проделано ни одного шага. Самочувствие Михаила с каждым днем ухудшалось. Еще не оправившийся после болезни, поражающей нервные центры, он как будто определился в школу умалишенных. Жить без апломба для него равнозначило смерти. Бывает, неврастеникам кажется среди ночи, что они онемели, и успокаиваются они, лишь выговорив что-нибудь вслух. Так и Михаилу необходимо было заполучить Ольгу для того, чтобы убедиться в том, что он жив. В течение дня он ее ненавидел. Припоминая все унижительные минуты, он тщательно натаскивал себя на ненависть. Им изобретались самые разнообразные способы мщения, от изнасилования до сложного дипломатического ареста. Явственное целомудрие девушки придавало его фантазии особенно ернический характер. Не веря в возможность ее любви, он в мечтах удовлетворялся ее страхом, мольбами о пощаде, если не поцелуем страсти, то хотя бы собачьим целованием его рук. Так проходили дни. Но между этими днями лежали неправдоподобные оазисы вечеров, освещенные крохотным светильником, сделанным из баночки, и еще ярче женской нежностью, — они превращали нашего пакостного мечтателя в самого смиренного из всех влюбленных, счастливого одним присутствием Ольги, ее улыбкой, ласковой снисходительностью к невежественным суждениям Михаила, а в минуты пауз эпической ровностью ее дыхания.

Что думала Ольга, видевшая и эпизодические извержения ярости в виде грубых реплик или внезапных уходов, и смиреннейшие ужимки, похожие на извинительные приседания хищника перед дрессировщиком, что думала эта девушка, немало в

своей жизни выдавшая и больше всего на свете любившая думать? Михаил был плохим психологом. Тщетно он пытался подыскать объяснение противоречивым, на его взгляд, поступкам Ольги, настойчиво приглашавшей его каждый вечер к себе и в то же время не подсказывавшей, хотя бы мельчайшим движением, возможности того, ради чего только и может женщина приглашать молодого мужчину. Иногда ему даже казалось, что Ольга больна, что у нее мозги не в порядке. Как же иначе понять ее поведение? Когда он однажды, стараясь взять ее же тон, стал распространяться о знаменитом «примате личности», Ольга резко его осадила:

— Вы как-то удивительно верно сказали: «Все это ликвидировано Октябрем».

Таким образом, его грубая выходка получила одобрение, а попытка заговорить по-хорошему, по-интеллигентски, наоборот, встретила отпор. Это было окончательно непонятным. Все мысли и чувства Ольги казались Михаилу простыми, но недоступными, как китайский букварь. Он играл втемную. Время шло. Он явно проигрывал. Он все сильнее ненавидел и свою партнершу, и далеко не легкую игру.

Наконец в его дневные шатанья, наполненные срамом и злобой, вошел новый фактор: через две недели он должен направиться в свою часть, значит, через две недели финал и так называемой влюбленности, и умилительным беседам при светильнике, и наглости несмятой кровати. Это несколько успокоило его. Он впервые почувствовал некоторую самостоятельность. Как о своем триумфе, сообщил он Ольге о близком отъезде, при этом его задорный чуб вполне заменял острие шлема, а походный облик окончательно скреплялся улыбкой снисхождения, которую швыряют путешественники из окон экспресса станционным будкам и подсолнечникам. Важную новость Михаил приберег под конец, сказал ее уходя, на лестнице, и поэтому не смог проверить, какое впечатление произвела она на Ольгу.

Весь последующий день Михаил бился над головоломкой этой темной лестницы и не менее темной для него души Ольги. То он видел девушку горько плачущей в подушку, и тогда жизнь становилась для него настолько приятной, что он жалел всех: и усталых комиссаров, отягченных государственной ответственностью плюс весом толстейших портфелей, и туберкулезное небо Харькова, и дохлую клячу, валящуюся второй день на площади Тевелева, и себя самого (последнее перед

зеркалом, вследствие послетифозной худобы, похожих на спицы ног и выпирающих ребер), жалел хорошей приветливой жалостью. Ольгу он не жалел, так как считал ее слезы возвышающими. То он представлял себе девушку весело болтающей с другим красноармейцем. В его упрощенном представлении возможный заместитель почему-то обязательно являлся красноармейцем. Причем наиболее бесил его предполагаемый эпизод: тот, другой, более решительный и находчивый, преспокойно проделывает с Ольгой именно то, что проделывал Михаил со всеми женщинами, со всеми, кроме этой проклятой недотроги. В такие минуты Михаил готов был на все: бежать в Чека, писать, тряхнув стариной, стихи, ругаться, плакать (то есть выразительно мычать), стрелять в соперника, стрелять в Ольгу, он даже был готов застрелиться. Последний план был, впрочем, быстро отстранен, как нелогичный. Если Ольга и целовалась с кем-нибудь, в этом меньше всего вины Михаила. Чередования приподнятости, блаженства с яростью ревнивого рогносца настолько замучили Михаила, что он даже не пошел в столовку. Он боялся установить состояние Ольги, предпочитая продлить до вечера неопределенность догадок. Вечер все же настал, и в нерешимости Михаил толкнул дверь Ольгиной комнаты. Он увидел только небольшое пятно светильника, дрожавшее на раскрытой книге. Это еще ничего не означало. Однако первые же слова Ольги явились ответом на все загадки как этого, так и многих предшествующих дней.

— Простите, но я занята. Я читаю...

Михаил отошел к двери. Он готов был убежать. Что ему делать здесь, где хронические оскорбления долгих вечеров привели к этой откровенной пощечине? Ольга, наверное, поджидала другого. Место Михаила, скромное место на табурете бессловесного поклонника и застенчивого слушателя, даже оно было занято. Вся ненависть Михаила сказалась в эту минуту. Он больше не испытывал ни стесненности, ни умилительного почтения. Молча подошел он к Ольге, сгреб ее, повалил на досрамленную наконец-то кровать и с деловитостью профессионального злодея приступил к давно предвкушаемому мщению. Всецело сосредоточенный на унижении гордячки, он даже не успел почувствовать никаких признаков страсти. Комната не услышала ни единого слова, ни вздоха, ни стона. Светлое пятно по-прежнему дрожало на неперевернутой странице книги.

Наконец Михаил решил проверить взором победителя взятую крепость. Он поднял голову. Впервые он заметил, что у Ольги голубые и нежные глаза. Он отвернулся, но и отвернувшись, услышал ее голос:

— Милый!..

Идиллическая ночь и ее обрамление

К подобным приемам прибегают некоторые, модные сейчас, американские беллетристы: неожиданность развязки заставляет даже сдержанного читателя, дойдя до последней страницы, говорить своей половине, а в случае холостяцкого положения и одиночества какой-нибудь семейной фотографии или же портретам вождей, имеющимся повсюду: «Что? Каково? все оказывается не так, а наоборот!..» В комнате Ольги не было ни семейных фотографий, ни портретов вождей. Ровный круг светильника спокойно освещал не сумасшедшую историю, выдуманную в углу на кровати, а популярное изложение теории сновидений доктора Фрейда. Соглядатаев не имелось. Ольга и та не могла догадаться о всей диковинности происшедшего. Ведь Михаил менее всего был склонен посвятить ее в свои недавние замыслы. Лежа на спине, он тяжело дышал. Вздувшиеся на висках жилы и бессмысленность зрачков свидетельствовали, с каким напряжением переживает он эту неожиданную развязку. Гнуснейшее покушение, помимо его воли, закончилось букволическим счастьем. Здесь действительно было над чем задуматься.

Возможно, что и некоторые читатели разделят озадаченность Михаила. Поведение Ольги Владимировны Галиной, этой пуританки и привередницы, еще недавно нашедшей для экс-адвоката всего-навсего чай с хлебом, а теперь повторяющей рыжему красноармейцу, бесцеремонно ею овладевшему, «милый», покажется им необъяснимым. Какой толк находила она в беседах с этим самонадеянным и невежественным субъектом? Неужели грубоватость Михаила могла польстить ей, как побои польстили когда-то Кармен из Дарницы? Таким читателям мы должны лишь напомнить, что четыре правила арифметики, которым обучали Михаила в прогимназии,

применяемые и к самой гениальной философской системе, и к мелкому счету за казанское мыло на постирушку, решительно бессильны там, где выступают человеческие чувства. Было бы тривиальным распространяться о слепоте любви. Гораздо полезнее восстановить, согласно всем литературным традициям, пейзаж, окружающий счастливых любовников, то есть в данном случае не столько комнату Ольги, ничем не примечательную, сколько эпоху, ее дух; он как бы обволакивал рассказанное нами псевдопреступление.

Ни Уэллс, ни какой-либо другой из известных нам авторов утопических романов не придумал ничего более ирреального, нежели жизнь обыкновенного города, хотя бы Харькова, в те памятные годы.

Фантастика начиналась с простейших астрономических явлений. Благодаря переводу стрелки, столь обидевшему дядюшку Ольги, белые ночи оказывались перенесенными с Невского на улицу Карла Либкнехта, бывшую Сумскую. Рождество праздновалось после Нового года. Празднование, впрочем, выражалось исключительно в выдачах азербайджанского изюма по карточкам «Красной звезды», а также щепного товара. Что касается будней, то в будни все граждане, запряженные в тележки или же в салазки, рысью мчались по мостовым: они то прикреплялись, то откреплялись. Это было хоть и бескорыстным, но полным высокой значимости занятием. Из города сотрудники Главмузо уезжали в теплушках за хлебом или на фронт. В город же приезжали предпочтительно делегаты на различные съезды и совещания: «по борьбе с чумой в Туркестане» или «по распространению красного эсперанто». Когда прибыл первый транспорт Внешторга, в нем оказались клочетная бумага и копировальные чернила, закупленные в Ревеле. Женщины ходили в военных шинелях и в элегантных супрематических шляпках, сделанных из ломберного сукна. Летом веяло античным духом, и сандалии, которые продавались на улице Артема, назывались «римками». Чай заваривали на сушеной моркови, на пастилках «Красный луч», на рябине, на бобах. Хлеб ели, как рыбу, сосредоточенно и не разговаривая, — хлеб был костлявым, застревал в горле. Приходя в гости, приносили с собой кусочки сахара в коробках от довоенного зубного порошка. Зато, если у хозяев функционировал клочет, гости не пропускали okazji, заходили туда — впрок. Продавали и покупали предпочтительно камни

для зажигалок, хотя не было ни табаку, ни керосина, ни дров. Это происходило от огнепоклонничества и от отсутствия других товаров. Когда в город привозили мороженое мясо, его выдавали во всех главках сотрудникам, и вечером Харьков предавался любви. Вследствие уплотнений жили тесно и любить приходилось на людях; выручала темнота. Все ходили в театры глядеть Шекспира, Кальдерона, Гоцци. Прикрепляясь или открепляясь, писали стихи, главным образом о космосе и без размера. На Московской улице, перед разрушенным домом висел плакат «Мы электрифицируем земной шар». Читая его, никто не усмехался. Всем было ясно, что это правда. Из-за коробки спичек возле Госоперы бывший инспектор реального училища Соловьев убил слесаря Семенко. Суд над ним устроили показательный в школе имени Бабефа. В этой же школе учащимися первой ступени была поставлена агитпьеса матроса Балтфлота Губова, где меньшевики фигурировали в виде посрамленных карасей. Зрителям особенно понравились меньшевистские плавники из серебряной бумаги. Курсанты военно-хозяйственной академии увлекались заумным языком, их литкружок примкнул к направлению, именовавшему себя «41°». Самоучка, машинист паровозных мастерских Яниченко, изобрел модель гигантского гидроплана, способного подымать триста пассажиров. Товарищ Шуснер, из Главстекла, изобрел музыкальную шкатулку для хранения карточек продовольственных или широкого потребления, исполнявшую «Варшавянку». Хотя денег печатали много и на всех языках, граждане успели позабыть, что такое деньги. Как в прекраснейшей утопии, все жили пайками и выносливостью. Письма опускались в почтовые ящики без марок, но бумагу раздобыть было трудно: она шла на протоколы главков. Поэтому почтальоны перестали интересоваться ящиками. Зато все читали бесплатно газеты, расклеенные на стенах. Иногда Чека арестовывала родившихся без рубашки за спекуляцию бензином или за свойство с левым эсером. В Чека расстреливали. В Чека, однако, арестованному говорили «товарищ». Тогда все были товарищами. Это было изумительное время, и отнюдь не посмеяться, нет, почтить его великоленною несурзанность хотим мы теперь, оглядываясь назад. Голодая и мытарствуя, каждый знал, что он разделяет общую участь. Каждый, кроме того, знал, что все эти муки не зря. Социальная революция была не абстрактным лозунгом, но делом завтрашнего дня, как объявленная выдача по талону такому-то. Земля

ходила под ногами, и жалеть о реквизированной кушетке не приходилось. Ничего никого не удивляло. Гибель Йокогамы определенно запоздала. Случись она на три года раньше, ее в Харькове встретили бы так же естественно, как перевод часовой стрелки или как сообщение о советской республике в Баварии. Любой обыватель, приглашенный на тютчевский «пир богов», был горд, хоть его и мutilо от крепости исторического напитка, принимаемого к тому же натоцак. Катастрофически жили и дышали все. Повторим еще раз: это было изумительное время!

Как бы ни была ничтожна по сравнению с ним ночь двух любовников, все же можно сказать, что она являлась крохотной частицей этого патетического пейзажа. Самодельное страдание, неожиданно, как лотерейный выигрыш, выпавшее счастье, все это было темным и замечательным вымыслом. Ольга больше не прятала своих чувств. Она раскрыла Михаилу содержание китайского букваря. Это был, конечно же, самый ошеломляющий из всех ее рассказов. От удивления нашего героя начало знобить. Он узнал, что Ольга все эти недели ждала его признаний. Он понял наконец язык сдержанности и стыдливого отталкивания. Переживший длительную стадию сомнений в себе, он в течение одного часа отыгрался. Он получил не только былой апломб, но и новые, ему дотоле неизвестные материалы для самовозвеличения. Так, например, ему было сообщено, что он действительно «новый человек», полный «варварской хватки» и «примитивной мощи». Весь восторг рафинированной и, по существу, глубоко несчастной Ольги перед этим грубоватым человеком, овладевшим ею, был ему передан, расширенный любовью и темнотой до бреда. Михаил чувствовал, как он сказочно растет. Комната, Харьков, мир стали ощутимыми, вроде одеяла: они давили. Причем это не были привычные экзерсисы на ломких ходулях. Нет, теперь величие создавалось помимо его воли, без потуг, без пота. Он познал величие легкое, дареное, сугубо дорогое в своей незаслуженности. Чувство это знакомо многим честолюбцам с помощью объятий, стремящихся перейти в следующий духовный или социальный класс, мнимое величие тех, которым мало подлинно бессюжетного блаженства, рождаемого музыкой и любовью. Михаил теперь измерял свое положение в мире Ольгой. Час тому назад она была недоступными Гималаями. Оказалось, что она ждала его ласки, ждала, как благословения, то есть что

внизу, ломая шею от заглядываний вверх, стояла она, а Гималаями был он, Михаил. Прыжок, превосходящий все дерзания портного Примятина, проделан успешно. Храня внешнее спокойствие, с признательностью сжимая руку Ольги, Михаил на самом деле безумствовал, плакал, кричал, брал мировые рекорды полетов.

Подобный ход мыслей, вероятно, привел бы Михаила к одной из достаточно для него будничных выходов: к какому-нибудь глупейшему выкрику или к мимической декларации, если бы случайно не оказался прерванным скромнейшим движением Ольги, после поцелуев и любовного шепота нежно погладившей нашего героя по его жесткой шевелюре. Ольга была движима признательностью за произведенное в ней опустошение, за потерю и девичества и свободы, за новую тяжесть, за второе рождение. Еще не узнав женской страстности, она уже предчувствовала все ее темноты. Она уже была, как ребенок, привязана к этому человеку, страшному ей чуждостью, рыжеватой волосатостью ног, мыслями, движениями, казарменными кальсонами, угрюмым детством, — словом, страшному всем и в то же время исключительно родному, физиологически неотрывному, чью зубную боль или неудачу она восприняла бы теперь, как свои. Не догадываясь, какими эксцентрическими полетами заполнена рыжая голова, Ольга заботливо погладила ее. Еле обрисованное губами слово «мальчик» все же дошло, если не до ушей, то до сознания Михаила.

Наш герой не отстранил своего рыжего чуба от этой почти материнской руки. Со всей подвижностью ночных бескостных эмоций он перелетел от глетчеровой температуры самолюбования к теплоте женской жалостливости, напомнившей ему ржавую детскую ванну с белесыми подтеками, в которую опускал его когда-то Тема. Он начал жалеть себя. С тоской припоминал он свое безлюбое и бессолнечное детство. Грудь Ольги приобрела всю защитность Теминых плеч. Почему ему прежде никто не говорил таких нежных слов? Почему это сладкое прикосновение к жесткой голове, обычное, необходимое, как хлеб, для других, является по отношению к нему чем-то исключительным? Ведь он же несчастен, бедный Мишка, до сих пор без толку гонящийся по миру собак. На его душу все, положительно все, плюют. Плевал Егор, плевал эсер Уваров, плевали посетители «кружка». Все! Как будто они сговорились. А его нужно жалеть. Он еще не окреп. Вот как Ольга говорит: он еще маль-

чик. Он мог, наконец, много раз умереть. Орден? Конечно, орден — это много. Но нужно, чтобы за храбрость не только хвалили, а еще и жалели. Сколько у него позорных минут, которые он вынужден прятать?.. Разве это легко? Вот скажи он Ольге про серебряный молочник, небось перестанет жалеть. Скажи ей, что он хотел ее изнасиловать, и не от страсти, а от злости, — вместо «мальчик» он, пожалуй, получит «подлеца». А ведь его за это не ругать следует, но жалеть. Он вовсе не подлец. Он может быть очень благородным. Разве он сдрейфил в Октябре? Он выдержал и ночь в «Скутари». Тема, тот знает, что он не подлец. Почему рядом с ним нет Темы, родного, строгого, милого Темы? С этими пашнями он снова запутался. Другие говорят, что все счастье в бабе. Вздор. Это пакость. Сначала четверть часа бешенства, голова кружится, как от вина. Мишка пропадает, зря пропадает. Ему жаль себя, очень жаль...

Скупые железы, обычно не сопровождавшие трагические излияния Михаила никакими признаками увлажнения глаз, на этот раз расщедрились. Слезы, настоящие слезы в избытке хлынули на плечо Ольги. Чем больше их было, тем легче и туманней становилась жалость Михаила. Сначала отдельные эпизоды, лица, фразы расплылись в широкие серые пятна. Все же он еще чувствовал, что жалеет себя. Но вскоре жалость распространилась, как пар, захватила Ольгу, Тему, всех, решительно всех. Где-то быстро прошмыгнуло свинцовое личико Егора, но Михаил все же успел пожалеть и его. Наконец и жалость потеряла отличительные контуры. Она перешла в умиленность. А слезы продолжали течь.

Ольга не испугалась, не удивилась. Как всякой женщине, ей было нетрудно понять язык этих мельчайших водяных частиц. То, что рядом с ней не ребенок и не подруга, а рослый, крепкий мужчина, что у него щетинистые волосы и казенное белье, — все это было немедленно забыто. Как на ласку лаской, она на слезы ответила слезами. Вследствие обостренной телесной близостью чуткости слезы эти, как и слезы Михаила, сначала разъедающе горестные, потом усладились, стали бессмысленными, физиологическим процессом, вроде зевоты при напряженном ожидании или смеха в минуту опасности. Они стали так называемыми «слезами радости».

— Мне хорошо с тобой.

Михаил ничего не ответил. Он только доверчиво и бережно поцеловал руку Ольги.

Разреженный, как бы нормированный свет утра застал двух любовников в дремоте обнимающими друг друга, с лицами, проясненными этой, благословляемой всеми лирическими поэтами мира, росой.

Потом дремота Михаила сменилась плотным сном. Проснулся он поздно. Ольга не спала. Беззвучность тщательно задерживаемого дыхания показывала, как бережет она сон своего любовника. Еще не стряхнув с себя дремы, Михаил улыбнулся. Эта улыбка была детской, в чистоте подлинно блаженной. Она вызвала ответную улыбку Ольги, гордой, как своим произведением, его счастьем. Но уже минуту спустя лицо Михаила сделалось озабоченным. Улыбка являлась еще частью одного из забытых сновидений. Теперь же, наконец проснувшись, он был не на шутку озабочен. Он сознавал необходимость срочно выяснить, какую роль в его жизни займет эта, лежащая рядом с ним, женщина. Не отвечая на смущенные вопросы Ольги, он предался размышлениям. Прежде всего он восстановил в памяти все события ночи. В его утреннем сознании они походили на похабный анекдот о курсанте, который он как-то порывался рассказать Ольге. Слезы он старательно обходил, чтобы не покраснеть за минуты подобной слабости. Что касается до всего остального, то, очищенное от придаточных, обесцененных дневным светом, чувств, оно предстало перед ним в виде скудной графической схемы. Давние предположения оказались правильными: между Ольгой и дарницкой бабой не было никакой разницы. До поры до времени задаваясь, она размякла, как только он, вместо бесед об Италии, швырнул ее на кровать.

Как бы ни были свежи события, подчиняясь человеческой воле, они легко деформируются. Михаил теперь не помнил о том, что в течение двух недель он униженно мечтал об Ольге. Нет, он и впрямь был убежден, что все это время горделиво проходил мимо нее, просящей и унижающейся. Он даже попрекнул себя за излишнюю уступчивость. Он молча оделся и собирался так же молча уйти, когда Ольга, еще не понимая, что этот человек в сапогах — не мальчик, плакавший ночью у нее на плече, руками оплела его шею.

— Ты уходишь?

Михаил наглядно разъяснил ей происшедшую перемену. Не выбирая ни слов, ни жестов, он раздраженно оттолкнул ее:

— Хватит с тебя ночи. А днем мне не до баб...

Дальнейшие фазы ИНТИМНОЙ СВЯЗИ

Выйдя на улицу, Михаил почувствовал назойливую, вроде тошноты после выпивки, непонятную ему самому тоску. Он долго бегал по городу — с вокзала на Чернышевскую и назад. Быстротой ходьбы он хотел ослабить интенсивность боли. Это ему не удавалось. Он чувствовал себя глубоко обиженным.

Он влюблен в Ольгу? Влюблен. Значит, сегодняшний день должен быть самым радостным в его жизни. Так, по крайней мере, заверяли все книги, все пьесы, все фильмы. Почему же ему не только не радостно, но попросту тошно? Даже физиономии прикреплявшихся или откреплявшихся граждан казались Михаилу вызывающе радостными. Женские улыбки провоцировали его на скандал. Пробегая мимо театра, он остановился. Там дежурил хорошо известный всем харьковцам бывший прокурор Феофилов с лысым паршивым пуделем Боем. Завидев гражданина с салазками или с сумкой, прокурор обыкновенно начинал пришептывать: «Товарищ, помогите обломку», а Бой безмолвно становился на задние лапы, передними помахивая в такт хозяйским мольбам. Картина эта умиляла даже ко всему привыкших людей того времени. Салазки иногда останавливались, и кусочек паечного хлеба перепалал злосчастному «обломку». Теперь, однако, прокурор, увидав шинель и злое лицо Михаила, не решился произнести sacramентальной формулы. Только пудель, нарушая все правила, начал самостоятельно служить. Его голая розовая морда со слезящимися глазами красноречивее прокурорских слов говорила о страшной участи «обломков», о пожираемой дохлятине, о холоде нетопленной комнаты, о старости, о собачьей старости и одинокой смерти. Но Михаила этот дрессированный зверь, как ни в чем не бывало помахивающий лапками, не растрогал, а обозлил. Он ударил его сапогом. Раздалось тьяканье, может быть и смешное у щенка, но подлинно трагическое у этого издыхающего пса, фокусами выработывающего хозяйский хлеб, у старого собачьего артиста. Прокурор прикрыл руками свои небритые щеки:

— Нехорошо, товарищ, животное обижать, негуманно!

Михаила еще попрекали.

— Молчать! Нищенствовать нехорошо. Идите на биржу труда. Идите, наконец, в Собес. Поняли?

Пудель перестал тявкать. Оправившись от пинка, он вспомнил о своих обязанностях и смешно закивал дрожащими от дряхлости лапами. Михаил поспешил прочь. Этой выходкой ему наконец удалось достичь какого-то бесчувствия. Он считал фонари. Он смаковал пустоту и спокойствие. От тоски оставалась лишь щемящая боль под ложечкой. Вдруг он увидел дверь столовой. Якобы забытая ночь сразу оказалась у него под носом. Зайти? Там Ольга... С изумлением он должен был констатировать, что боится увидеть Ольгу. Ему пришло в голову, что он сам во всем виноват. Сначала эта мысль показалась ему настолько нелепой, что он даже рассмеялся. Но через минуту он привык к ней. Он стал находить ее правдоподобной. Множество доводов пушистым роем облепили его. Ольга лучше его, умней. Она везде была, все знает и, однако, не погнушалась снизойти до него. Она, не скупясь, отдала ему свою нежность. Чем он ей ответил? Циничной фразой при расставании. Он сам во всем виноват, исключительно он. Дойдя до этого, Михаил инстинктивно поплелся назад к театру. Увидев «обломка» с собакой, он догадался, зачем его ноги проделали этот путь: необходимо подойти и просто, по-мальчишески попросить прощения. Однако он этого не смог выполнить. Как он ни принуждал себя, вместо слов получалось невыразительное мычание. Прокурор, увидев своего обидчика, решил, на всякий случай, ретироваться. Михаил втайне этому обрадовался. Он был освобожден от преротивнейшей обязанности. Он побежал в столовую. Он хотел как можно скорей увидеть Ольгу, сказать ей все. Да, он гадок, жалок, но пусть она не уходит. Он исправится. Ночные слезы были первым неуклюжим шагом. Только она должна быть с ним строгой, очень строгой. Снисходительность его вводит в соблазн. Он же будет тихим, послушным, нежным.

Все эти слова и множество других были им поспешно заготовлены: заплаканные глаза Ольги с достаточной точностью говорили о том, как нелегко ей сегодня отрывать талоны. Михаил, впрочем, не обратил на это внимания. Он был слишком поглощен всей новизной и остротой своего чувства. Он хотел сразу приступить к объяснению. Длинная очередь пришедших обедать оказалась, однако, непреодолимым барьером. Встав в хвост, Михаил стал поневоле разглядывать нелепо сгруппированные слои кожи на затылке человека, находившегося перед

ним. Кругом говорили: «Сегодня опять каша»... «Опаздываю на заседание»... «Несознательные уносят ложки»... «Нужно принять меры». Пахло льняным маслом. Будничность окружения в двадцать минут ухитрилась экзотичность заготовленного покаяния низвести до скромного намерения уладить дело как можно проще. Действительно, добравшись наконец до Ольги, он проявил спокойствие, как будто ничего не было: ни кровати, ни грубых слов, ни пуделя, ни повинной.

— Ты не сердись, если я нагрубил. Дело настроения. Это со мной после тифа случается. А я вечером приду к тебе.

Это, конечно, совсем не походило на мольбы, ворох которых был припасен при входе в столовку. Это было скорее апологией своей черствости. Но все-таки это заставило Ольгу проясниться. Ее судьба была решена ночью. Никакие гнусности Михаила не могли уже переродить ее чувств. Поздно поддавшись любви, она теперь была готова на любые пресмыкания ради счастья своего любовника. Знойное засушливое солнце, убивая хлеба Поволжья или Канады, дает изумительные урожаи винограда, так что черные даты голодных лет золотыми ярлычками красуются на бутылках наиболее лакомых вин. О благодетельности или губительности любви написано достаточно книг. Михаилу минувшая ночь, в зависимости от его настроения, казалась то приятной, то отвратительной. Для Ольги она была неизбежной, лежащей вне ее субъективных оценок, данной, как жизнь. Приход или уход Михаила, любой росчерк его свободных губ решали все. Она восприняла его обещание прийти к ней вечером, как разрешение видеть небо и дома, как разрешение быть.

Михаил не проглядел этой радости. Глотая наспех кашу, он и сам радовался своим возможностям то вызывать слезы, то осушать их. Это казалось ему замечательным фокусом, чем-то вроде писания стихов. Это возвышало его. Весь день прошел в уравновешенной радости человека, обладающего хорошенькой, умной, образованной, словом, всячески привлекательной любовницей. Самая банальная улыбка не сходила с его лица. Однако менее всего наш герой был способен удовлетвориться таким благоразумным состоянием. Подходя к дому, где жила Ольга, он замедлил шаги не от предвкушения каких-либо восторгов, но от внезапно нахлынувшей скуки. Он почувствовал, что никак не влюблен в Ольгу. Человеческому телу присущи свои вкусы, значительно более причудливые, нежели все

изощрения ума. Порой бюллетень, заключающий эти оценки, слишком поздно доходит до сознания. Не только ночью, но и днем, в столовке, Михаил не сомневался в своей влюбленности. Он только удивлялся, что отсутствует обычно сопровождающее ощущение счастья. А теперь, при виде скучной оконной шашечницы большого дома, предчувствуя медленную походку ночных часов, всю тяжесть и черноту воздуха, белесоватую тоскливость чужих плеч, он понял, что вовсе не влюблен в Ольгу, что ее тело вызывает в нем неприязнь своим бескровием, мелкой костью, угодливостью и холодом, предательским холодом по-человечески «пылающей» от муки рыбы, ударяющей хвостом сухой песок. Тело не хотело считаться с культурной орнаментацией Ольги. Считая, что ночью оно — хозяин, тело настойчиво протестовало. Михаил сейчас предпочел бы целовать любую девку, год не мывшуюся и с прошлого лета сохранявшую запах подмышников, кого угодно, только не Ольгу.

Казалось бы, после такого резюме Михаилу остается как можно скорее повернуть куда-нибудь подальше от шашечного дома. Но Михаил и не думал об этом. Как подвижник, перебивая все плотские позы, он решительно приблизился к светлому кругу в кухоньке. Он не мог просто бросить такую добычу. Стоило подняться наверх хотя бы для того, чтобы еще раз услышать от Ольги слова признательности или смирения. Это все же не дарницкая солдатка! С любой точки зрения Ольга заслуживала внимания. Правда, ее бывшее богатство, то есть сгоревшие спички, мало что говорило Михаилу. Он был достаточно предан идеям своей эпохи, чтобы презирать деньги, к тому же еще подвергшиеся девальвации. Булат в те годы торжествовал над золотом, и, опуская нехарактерный инцидент с молочником, можно сказать, что Михаил предпочитал винтовку всем сокровищам. Ольга импонировала ему другим: утонченностью, так называемой «культурностью», завидным умением из общедоступных вещей извлекать ассортимент неизвестных Михаилу состояний. Этого наш герой не мог простить женщине, место которой было под ним.

Подымаясь по лестнице, он твердо решил, не размякая, как вчера, поставить Ольгу на природой уготованное для нее место. Вид раскрытой книги взбесил его: буквы и те насмеялись над бессильной яростью человека, с грехом пополам окончившего прогимназию и еще недавно подававшего «господам» калоши.

Он прескверно выругался. Он был убежден, что оскорбленная Ольга либо выгонит его, либо начнет читать лекцию по морали. Тогда-то он покажет свои мужские права... Ольга, однако, молчала, и ему пришлось повторить номер. Подойдя к нему вплотную, не сводя с его обманно-мечтательных глаз своих, тревожных и пытливых, Ольга спросила:

— Что с тобой? Я ведь вижу, что ты от боли...

Михаил взревел. Это не образ, нет, раздался действительно звериный рев. Подобного оборота он никак не ожидал. Его лицо горело, как будто, чтобы заглянуть внутрь, с него содрали кожу. Конечно же, он выругался от боли, он теперь и сам это знал. Но как смеет Ольга подглядывать в щелку, рыться в чужой душе, как смеет она его разоблачать? Он бегал по комнате, преследуемый стыдом. Он задул светильник, больше всего на свете боясь сейчас встретиться с этой пронизывающей, как рентгеновские лучи, голубизной ее глаз. Он искал поступка, который замаскировал бы его стыд. Приходили в голову различные планы: сесть и завести спокойную беседу, хотя бы о Париже, сказать, что у него осложнение после тифа, и бежать, прикинуться пьяным, но все они, после краткой проверки, браковались. Наконец он устал и думать, и бегать из угла в угол. Он остановился на самом простом, диктовавшемся, по его мнению, временем и местом: кинув Ольгу на кровать, он повторил вчерашнее надругательство, только с еще большей злобой. Он подверг Ольгу всем унижительным положениям, какие только мог изобрести. Не испытывая никакой радости от физического обладания, он зато переживал душевное удовлетворение, унижая эту женщину, посмевающую при дневном свете быть выше его.

Двенадцать последующих ночей, все ночи до отъезда Михаила, были лишь различными вариациями этой. Истопя свою фантазию, Михаил старался инсценировать знакомые ему грязные анекдоты. Помимо этого, он непрестанно требовал подтверждения своих достоинств. Он смягчал для себя томительную черноту этих полных внешней дикости и все же подлинно бесчувственных ночей панегириками ему — «варвару», «новому человеку».

Раз, выдвинув ящик ее стола, он напал на чьи-то фотографии и письма. Он немедленно их разорвал. Ольга сочла это за приступ ревности. Однако это не было ревностью. С не меньшим удовольствием Михаил уничтожил бы все прошлое Ольги,

ежечасно угнетавшее его, хоть и не упоминаемым, но все же ощущаемым превосходством. Он дошел до того, что потребовал от Ольги прекратить чтение книг. Он запретил ей говорить о своих путешествиях. Если бы только это было осуществимым, он заразил бы ее своими воспоминаниями: Минной Карловной или пьяным сахарозаводчиком. Но, увы, две недели не могли скостить ее двадцати семи гигиенических, как больничные стены, лет. Понимая свое бессилие, Михаил становился еще грубее. Все это не имело бы выхода, если бы дата отъезда не прекратила самую непонятную из всех любовных связей, какие только можно себе представить.

Ее вполне выдержанным по стилю завершением явилось само прощание. Ольга долго готовилась к этой минуте, боясь слезами или жалобами раздражить своего любовника. Познавшая впервые любовь в образе Михаила, она жалко барахталась среди сомнений и догадок. Несмотря на возраст, на все увеселительные трущобы Парижа, она была невинна не менее своего прообраза, то есть пресловутой тургеневской героини. Она даже не знала, что следует отнести за счет естественной дикости человеческих чувств и что за счет грубости «нового человека». Она видела злобу и гнусность, но, в снисходительности любящей женщины, спешила объяснить это то неловкостью своих ласк, то тяжелым детством Михаила, то его глубоко скрытой нечеловеческой болью. Думая об этой боли, она не занималась собой. Только когда подошел день отъезда, она как-то сразу почувствовала, что с ней сделали эти недели. Простые формы вещей, человеческие голоса, даже свое собственное дыхание — все это причиняло ей беспричинные страдания. Она с трудом дышала. И все же она нашла достаточно сил, чтобы в последнюю минуту, когда руки Михаила, уже позабыв о существовании на свете рук, которые они не раз в досаде гнули и ломали, кинулись к дверям, в страшную минуту расставания сказать это самое нежное, самое невесомое слово с его полным самоотречением уже не любовницы, но матери:

— Мальчик!..

Две недели тому назад теплота и едкость слез явились ответом на это. Но теперь Михаил и не думал плакать. Жестокое испытание влюбленностью кончалось. Он уже дышал свежестью дороги. Он был слишком счастлив, чтобы целоваться или ругаться. Насмешливо косясь на остающуюся Ольгу, как летчик на жалкую недвижимость, он козырнул и весело крикнул:

— Наше вам с кисточкой!

Выйдя на улицу, он тотчас забыл об Ольге. Он больше не вспоминал о ней. Только раз, месяц или два спустя, ее голубые глаза неожиданно, можно сказать исподтишка, напали на него. Это было на пароходной палубе. Михаил ехал из Ростова в Мариуполь. Какой-то красноармеец жалостно играл на гармошке, нудно играл, как будто расчесывал искусанную вшами грудь. Михаил, не слушая музыки, резался в карты. Он бессмысленно приговаривал: «А мы ее тузом, вот как...» Рядом с Михаилом, на бочонке сельдей, сидел военный врач, плюгавый еврей с глазами, съеденными трахомой. Подслеповато поглядывая на темное беззвездное небо, дыша вонючей рыбой и гнилью водорослей, врач вдруг мечтательно сказал неизвестно кому:

— Странно вот, когда на гармонике играют, я такую красоту чувствую...

Скинув действительно оказавшегося у него туза, Михаил с ненавистью поглядел на мечтательного уродца. Отчего-то ему вспомнилась голубизна Ольгиных глаз в ту первую ночь, когда одним словом «милый» она довела его, никогда не плакавшего, до лившихся беззвучно едких и сладких слез. Это было, впрочем, весьма кратковременным налетом. Минуту спустя, тасуя колоду и отведя в сторону свои печальные глаза, Михаил с ленивой любознательностью обратился к врачу:

— Вот вы скажите лучше, товарищ, если человек ничего, абсолютно ничего не чувствует, разве он в этом виноват?..

Герой демобилизуется

В январе тысяча девятьсот двадцать первого года, то есть вскоре после официального завершения гражданской войны, мы застаем нашего героя блуждающим по одной из татарских деревушек Южного берега Крыма, с тщетной надеждой раздобыть бутылку вина. Как ни были плодоносны таврические лозы, они все же не смогли удовлетворить жажду враждующих армий, перенесших последнюю решительную партию с прямых проспектов Петербурга на этот благодатный приросток России. Жажда людей не уступала их озлобленности, и последним по счету победителям достались лишь опустошенные

подвалы. Зато они могли пьянеть победой, не эпизодическим исходом одного сражения, но концом тяжелого тома истории, бледнеющими в водной мути, как призраки, вымпелами угоняемых на невольничий рынок линейных кораблей. Это опьянение Михаил пережил сполна. Но теперь, в холодный октябрьский день, полный степного ветра, он искал другого хмеля, душевного и теплого, как овчина. Ветер измучил его, отвратительный ветер, зимой требующий присоединения этого беззащитного края к мертвой ледяной державе, снегом или пургой бомбардирующий зябкие бегонии, летом же тошный, как полустанок среди степи, превращающий даже приморские убежища в огромную духовку, северный насильник, пристающий со своими скулящими песнями к неженкам-розам. Кажется, если бы мог этот ветер, он заломил бы картуз набекрень и стал бы лускать семечки. К счастью, все это для ветра недоступные аттракционы. Что касается Михаила, то Михаил хотел вина. Ветер иссушил его душу. Татарские домики обдавали пришельца сложным запахом козлятины, шафрана и никогда до конца не разматываемых лоскутьев. Он попробовал прикрикнуть, но старые татарки, сидевшие на корточках, начали трястись, как безлистый кизил, обдаваемый описанным нами ветром. Вина у них и вправду не было, но они боялись за спрятанные подальше от рыжего шагуна не менее рыжие (вследствие хны) головки своих дочерей и невесток. От крика першило в горле, а ветер и тоска не утихали.

Наконец Михаил попал в дом, резко отличавшийся от других своей архитектурой, в нарядный коттедж, как бы перенесенный сюда с вересковых холмов Шотландии,— ведь чистота и комфорт, хотя бы примитивный, на юге всегда кажутся чем-то привозным. Увидев в первой же комнате, еще до встречи с хозяевами, большой портрет Льва Толстого, мудро занимающегося земледельческим трудом, Михаил понял, что ему предстоит объяснение с зазимовавшими — и не на одну зиму — дачниками. Тощая физиономия и веревочные туфли вышедшего на шум человека подтвердили эти догадки. Говорить о вине не приходилось, но, чтобы чем-нибудь мотивировать свой приход, Михаил произнес трафаретную фразу, являвшуюся тогда столь же распространенной, как в другое время «который час?» или «здравствуйте!»:

— Оружье имеется?

Человек усталым жестом предложил Михаилу обыскать дом, как уже обыскивали его много раз всяческие люди, обязательно заглядывавшие в погреб, где среди гнилой прошлогодней картошки попискивали крысы. Но Михаилу было не до обыска — в этот проклятый день он сделал не менее тридцати верст под жестоким ветром. Если нет вина, то остается сон, он один, как компресс, теплотой может смягчить режущую тоску. Лениво, для виду оглядев комнату, как будто в середине ее мог находиться припасенный пулемет, Михаил уже намеревался уйти. Но тепло помещения удержало его. А сонливость вполне заменила отсутствовавшее приглашение хозяев. Зачем ему идти в сырую школу, где товарищи спят вповалку, когда эта комната с кроватью кажется как бы нарочно созданной для ночевки? Остановившись, уже в дверях, он сообщил хозяину, что останется здесь до утра. Ни тощая физиономия, ни веревочные туфли не выразили, хотя бы малейшим движением, своего изумления или досады. Это тоже было в порядке вещей. Кто здесь только не ночевал: и врангелевцы, и буденновцы, и гвардейские офицеры, и политкомы.

Молчаливость этого философического хозяина плохо действовала на Михаила. Ничего нет тяжелее для человека, охваченного беспредметной тоской, чем непроницаемое нейтральное молчание. К молчанию хозяина успело присоединиться не менее угнетающее молчание вошедшей девушки, его дочери, светлой, безбровей и привлекательной той особой северной чистотой, которой был полон этот пуританский коттедж, брошенный во всю неразбериху гражданской войны. Михаил решил во что бы то ни стало разорвать чересчур плотное молчание.

— Что ж, вы недовольны таким гостем?

— Нет. Почему же... Места хватит.

— Однако когда офицеры приходили, вы их, вероятно, полюбезнее встречали?

— Как кого. Это от человека зависит.

— При чем тут человек? Вы, собственно говоря, кто с классовой точки?

— Я писатель.

— Вот что. Очень приятно. О чем же вы пишете? О розах?

— О розах и о шипах. Вы находитесь в доме Федора Васильевича Тумакова.

Михаил достиг своего. Последняя фраза была произнесена утратившим всю свою непроницаемость хозяином не без гор-

дости. Бедный Тумаков никак не мог свыкнуться с делом революционных лет, разрушивших, среди прочего, и его, хоть не бог весть какую, все же скромную и чистоплотную, вроде этого коттеджа, известность. Ему трудно было понять, что никто из этих молодых, чрезмерно самоуверенных людей, щеголяющих вчерашними погонами или же красными звездами, не читал, да и не мог читать, «Русского богатства» и «Вестника Европы», где лет этак двадцать тому назад печатались рассказы Федора Тумакова, полные передовых идей о тяжелом положении горничной, доведенной бесчестным бюрократам до детоубийства, или же о жажде знания у бедного незаконнорожденного юноши, повесившегося у запертых для него ворот московской альма-матер. Все это было так недавно! Идеи не могут устареть. Гуманные чувства бессмертны. Просто люди теперь сошли с ума. И, увидав на лице Михаила недоумение, Тумаков саркастически забормотал:

— Тумаков Федор. Не слышали? Рассказы пописывал. Да, занимаясь войной, то есть истреблением равных себе существ, трудно уделять время литературе.

Михаил мог торжествовать — ему не только отвечали, его вызывали на разговор, притом крупный. Он, конечно, и не думал увиливать.

— А на кой шут, спрашивается, ваша литература? Розы цветут? Я сам знаю. У меня, при всем моем пролетарском детстве, мать была... Я розу понюхаю с удовольствием и без вашего совета. А шипы?.. Так меня, извиняюсь за выражение, к такой матери засылали, что вы бы и придумать не смогли. Шипы ломать следует, а не рассказыки об этом сочинять. Я вот сам стихами баловался. Это не путь, а наследство умирающего класса. Бороться вы должны, если у вас сознание. С нами или против нас. А вот сидеть в домике и розы слюнками поливать, это, позвольте вам сказать, гражданин писатель, свинство, розовое свинство!

Начав говорить со скуки, Михаил быстро оживился. Сопротивление, в виде иронической физиономии Тумакова, подхлестывало его. Он говорил теперь с мрачным энтузиазмом алхимика или вещателя. Девушка, равнодушно слушающая спор, залюбовалась им. Под бушевавшим пожаром волос два угля жгли не шутя. Тумаков тоже разошелся. Он даже забыл, кто перед ним. Он спорил не с каким-то красноармейцем, реквизировавшим мимоходом удобную кровать, а с новым поколением,

с революцией, с жизнью, горько обидевшей старого честного писателя. Тумаков, веривший во взаимную любовь людей, а также в английский парламентаризм, как в таблицу умножения, сам теперь призывал к ответу беззаконное и безлюбное время.

— Насилием ничего нельзя достичь, молодой человек. Здесь начальные школы нужны, а не революция. Совершенствовать себя нужно. Ломать легко, а вот попробуйте построить что-нибудь. Я сам в свое время страдал за убеждения. В манеже сидел. Но мы о конституции мечтали, а не о Чека. Я гражданской войны не приемлю. Совершенно верно, я предпочитаю здесь, вот в этом доме, погибнуть от голода или от визитера, вроде вас, чем стрелять в своих же братьев.

— Ах вот как! Ну, такую услугу вам всегда можно оказать. Для подобного разочарования и пули не жалко. Но только, поверьте мне, в революции вы ни черта не смыслите. Можете хоть на меня посмотреть. Скажу вам прямо — я человек неважный... Хочется мне, конечно, очень многого, а пороху, откровенно говоря, разве что на скандальчик хватает. Я это великолепно сознаю. А кто меня в люди вывел? Революция. Я о чем думал прежде? Как бы дамочку пошикарнее употребить. В «коты» метил. Меня революция до крика, до счастья дотрясла. В Октябре ранили меня. Жаль, что вылечили. Во мне тогда героизм был. Да и потом: как в сторону отходишь, так начинается баловство и мразь. Вот стишки, вроде вас, пописывал. Или — недавно это — оказался у меня месяц свободный, после сыпняка. Что же — немедленно развел пакость. С девушкой одной спутался. Тут-то я себя в настоящем виде показал. Меня за это следовало бы утюгом, а она по головке гладила: «мальчик». Ну, а революция — это другое предприятие. Та по головке не погладит. Чуть оступился — и в расход. Правильно! От этого и в ногу идешь. Революция, она воодушевляет. Поняли? Это как барабан — под него хоть тысячу верст пройдешь. Михаил Лыков, сам по себе, сопля в шинели. Ничего я не знаю. Не то что ваших жалких рассказиков, я и Карла Маркса не читал. А с революцией я весь мир могу перевернуть!

Голос Михаила уже перешел в пронзительный рев. Это была сумасшедшая исповедь, где каждый грех увеличивал для исповедника шансы оказаться под конец заколотым штыком грешника. Самооценка, пусть лапидарная, но достаточно рез-

кая, шла не от сознания. Михаил не знал себя. За пять минут до этого он воспринял бы утверждение, что Михаил Лыков ничтожен, не только как оскорбление, но и как нелепость. Это было внезапным озарением. Короткие, жесткие, грубые фразы вылетали помимо его воли. Будь здесь вместо Тумакова какой-нибудь коммунист, дело могло бы для Михаила скверно кончиться: ведь он дошел и до истории с молочником. Не следует принимать это за наслаждение самобичеванием. Нет, различные унижительные детали были нужны Михаилу, как фон для выделения всего могущества революции. Он задышался от очевидности своей правоты. Как бы ни были горьки и страшны годы гражданской войны, они являлись жизнью, напоминая чудовищную шахту, где в тесных штреках, дыша едкими газами, теряя и зрение и радость, падая вниз, копошились сотни тысяч людей, добывая не нарядное золото, но черные неказистые глыбы, дающие тем, кто выше или моложе, свет и тепло. Правда, бессмысленная, нелепая правда войны, вечно осуждаемой и все же живучей, особенно наглядно ощущалась здесь, среди мертвечины этого коттеджа, рядом с физиономией Тумакова, своей желтизной напоминавшей старые страницы «Русского богатства». Физиономия эта теперь была покрыта рябью негодования.

— Ваши слова только подтверждают правильность моей позиции. Если революцию делают подобные вам мальчишки, не брезгающие при случае и молочником, ничего нет удивительного в том, что вместо Учредительного собрания мы получили Чека. Еще одна иллюстрация, и только...

— Стоп, гражданин! Может быть, я и сволочь. Это не вам судить. Если меня к стенке приставят, я первый скажу: «Подделом!» А революция тут ни при чем. Я на партийности моей только и держусь, как штаны на подтяжках. Почему я вам о молочнике рассказал? Потому что знаю — стыдно. А почему стыдно? Только из-за него, из-за билетика. Да, не будь партии, я бы направо и налево... И не молочник какой-нибудь... А с партией я вот на Перекоп лез — умирать. Да вы этого никогда не поймете! Вы думаете, раз я пришел сюда и кровать вашу забрал, значит, я разбойник. Плевать мне на ваш семейный уют. Я не удовольствия, я подвига хочу!

Дойдя до этого, хоть чрезмерно патетического, но, безусловно, в ту минуту искреннего восклицания, Михаил сразу осекся, как будто завод, двигавший его, кончился. Даже глаза

его потухли. Прежняя тоска, дополненная злобой на этого желтолицего умника, которому он столько выложил и который все же его никак не понял, сменили недлительное возбуждение. Он едва слушал Тумакова, защищавшего теперь духовные имущества своей нейтральной позиции. Начиная ненавидеть собеседника, он грубо оборвал его на какой-то особенно пышной сентенции.

— Вы мне скажите лучше, что это за штука ваш «нейтралитет»? Вот если к вам врангелевец заявится, вы его спрячете?

Тумаков ответил не сразу. Он понял, что теоретический спор становится опасным. Но, почитая больше всего на свете гражданское мужество старого народника, он ответил:

— Спрячу.

— А если это мерзавец какой-нибудь? Если он мосты взрывает или заговор устраивает, что же, вы и такого спрячете?

После новой паузы, тяжелой для обоих, а особенно для присутствовавшей при этом девушки, после паузы, напоминавшей часы в ожидании судебного приговора, последовало все то же:

— Спрячу.

Сознание Михаила ответило на это короткое слово столь же коротким: «В расход!» Его злоба по интенсивности далеко уступала былым дням, когда при эвакуации Киева он расквитался смертью за подсмотренную улыбку. Теперь это была лишь ленивая и усталая злоба. Однако она все же подсказывала Михаилу необходимость расправы. Наш герой дышал воздухом тех триумфальных, но и сугубо беспощадных дней. Конец гражданской войны превзошел ее самое жестокостью. Одни убегая, другие побеждая, напоследок спешили брать мрачные рекорды. Здесь было значительно больше от инерции движения, чем от подлинности несдерживаемых стихий.

Писатель Тумаков был спасен исключительно сонливостью Михаила, удержавшей его теперь от убийства, как она же удержала его от дезертирства. Не стащив даже сапог, он повалился на кровать. Засыпая, он успел лишь подумать: «Прикончу завтра». Гул ветра, проникшего в дом, залил его уши. Он уснул. Все это произошло на глазах у Тумаковых, ожидавших совсем иной развязки. Они ведь не догадывались о последней деловой мысли заснувшего Михаила. Они видели лишь трогательный, по-детски приоткрытый рот, всю беспомощность этого огромного ребенка, только что зло ругавшегося, теперь же помечен-

ного подлинно нежной улыбкой сна. Нервная депрессия привела девушку к слезам. Тумаков, забыв о всех недосказанных аргументах, вдруг по-бабьи засуетился, стащил со своей постели одеяло и заботливо покрыл им непрошеного гостя.

Когда Михаил уснул, было не позднее восьми. Он проснулся ночью и не без удивления оглядел комнату, захоленную лунной. Вчерашняя беседа и ее мрачное резюме им не были заспаны. Человека, который может, хотя бы и на словах, спрятать врангелевцев, следовало определенно ликвидировать. Здрavo, вне азарта подумав об этом, он одобрил свое решение. Но тогда тощая физиономия и веревочные туфли стали назойливо метаться в его голове. Какое-то новое чувство открылось в Михаиле, настолько новое, настолько непонятное ему самому, что он сначала отнес его за счет своего сонливого состояния. Действительно, ни тщедушные щеки Тумакова, ни его столь же тщедушные рассуждения не вызывали больше в нашем герое злости. Совершенно неожиданно для себя он подумал, что писатель стар и тощ, вероятно, скверно питается и скоро умрет. У Михаила все впереди. Он молод, он член РКП, следовательно, победитель. А у этого что? Комплекты старых журналов, на которых нельзя даже супа сварить, дряхлое брюзжание, какие-нибудь болезни и, наверное, тоска. Хоть у Тумакова была другая профессия, он чем-то напоминал папашу. Тут только Михаил догадался, что неизвестное ему чувство — это жалость, первый чахлый росток жалости, показавшийся на мертвом поле гражданской войны, самой безжалостной из всех войн. Догадавшись о характере своего нового чувства, Михаил не порадовался и не устыдился, он принял его за нечто естественное, вытекавшее из самого положения.

Наш герой был прав. Известно всем, сколь сложен для государственного организма процесс демобилизации. К размещению безработных или к переводу заводов, выпускавших снаряжение, на производство плугов готовятся с тревогой, как к перерождению сосудов. Но газеты, разумеется, не могут заниматься молчаливым и малоприметным ходом душевной демобилизации граждан, вчера еще согреваемых коллективной ненавистью, а сегодня очутившихся в мире без врагов (кажется, более нам необходимых, нежели друзья), принужденных менять храбрость на житейскую выдержку, боевой задор на терпение. Это трудный и мучительный переход. Неясные чувства проснувшегося среди ночи Михаила были лишь частичными

симптомами огромной психологической трансформации, охватившей страну. Статистика террора могла еще давать высокие цифры, но гражданская война, законченная официально, кончалась и в человеческих сердцах.

Михаил жил импульсивно, его чувства неизменно сопровождался какими-либо конкретными поступками. Еще не выработав никакого плана действий, он все же встал и направился в соседнюю комнату. Как всегда, его руки опережали мысли. Разбуженная топотом шагов, дочь Тумакова тихо вскрикнула. Последнее из ее сновидений было атавистическим: убегая от члена ревкома Гуссейна, она прыгала с ветки на ветку, пока не свалилась. Полет был бесконечно долгим, как будто под ней находились тысячи футов. Она хотела кричать — и не могла. Она вскрикнула, лишь проснувшись и увидав перед собой лицо фанатичного спорщика, которое, облитое лунной зеленью, казалось разложившимся лицом утопленника.

Испуганный вскрик обидел Михаила. Вечером он бы обрадовался ему, но теперь лирическая острота чувств жаждала иного. Сам того не понимая, он требовал от других людей аккомпанемента своим весьма изменчивым настроениям, и фальшивые ноты его оскорбляли. Он даже сам несколько сбился с тона и проявил раздражение.

— Напрасно вы испугались. Я не за вашими сокровищами пришел. Ко мне женщины сами липнут — чувствуют мою душу. А вы мне и не нравитесь вовсе. Запрели вы здесь с вашим нейтральным папашей. Рекомендую поступить на советскую службу. А брови отрастить тоже не мешает, говорят, имеется для этого какая-то притирка. Впрочем, мне наплевать. Я не за этим. Вот только вам придется сейчас захватить папашу и выйти погулять.

Девушка окончательно проснулась. Приглашение было отнюдь не двусмысленным. Расправа, предчувствуемая вечером, теперь становилась реальностью. Их вели на расстрел. Мало ли имелось в те годы для этой трагической прогулки галантных псевдонимов: «в расход», «в употребление», «в штаб Духонина», «к Николаю», «поддержать стенку», «выйти в тираж», «подлить свинцу», «крестить жида». Забыв о себе, она успела только подумать, как отец будет шагать по мокрой глине, и разрыдалась. Упав на колени, она тщетно пыталась поймать сумасшедшую неуловимую руку Михаила.

Наш герой ответил на это меланхолическим вздохом.

— Напрасно вы стараетесь. Меня разжалобить нельзя. Для этого у меня ни окон, ни дверей нет. Да только я не собираюсь вам ничего плохого сделать. Я даже спасти пришел вас. Сами знаете, время у нас еще жаркое. Папаша ваш, тот прямо мне сказал, что он любого мерзавца готов приютить. Ну, а такое, с позволения сказать, гостеприимство совсем не по сезону. Мне бы следовало его определенно устранить. Но только и я человек, черт вас всех возьми! Вы думаете, мне не скучно в расход людей пускать? Одним словом, сейчас же вылетайте отсюда, и куда-нибудь подальше! Голова у меня ненадежная. Кто еще знает, какое на меня утром настроение найдет? Сейчас мне вот жалко его. Худой он, подлец! Вас не жалко. Вы еще молодая. Можете оторваться от своего класса, стать партийной, жить можете. А ведь он со своими рассказиками чистая дохлятина. Ну и жалко. Марш отсюда. Раз-два-три!

Жалость была для Михаила столь затруднительным в своей новизне состоянием, что, произнеся эту речь, он почувствовал сильнейшее утомление. Не глядя на девушку, он прошел назад к своей кровати и немедленно уснул. Когда он вторично проснулся, было уже утро. Северный ветер сменился теплым, морским, и природа этого края, привыкшая быть цилиндром в руках опытного фокусника, засыпала нашего героя неожиданным солнцем, запахом мимоз и птичьим верещанием крохотных татарчат. Вечер и ночь с минуту повоевали в сознании Михаила, причем оставалось невыясненным, кто же победитель. Это было предоставлено простой случайности. Михаил обшел внимательно все комнаты, заглянув даже в погреб с картошкой. Тумаковых не было, они мудро последовали ночному совету гостя. Судьба писателя была, таким образом, решена помимо утренних настроений Михаила.

Он шагал по присыхающей глине. Солнце его не радовало. Да и ничто не могло бы сейчас его обрадовать. Он был пуст, как будто его выпотрошили, и эта пустота рождала неуверенность в слишком уж легких шагах, в слишком теплом для месяца ветре, во всем. Он переживал конец войны, не ее победный и, следовательно, радостный исход для своего дела, но томительность предстоящей свободы. Внешне, разумеется, партия найдет для него хорошее, трудное, исключаящее опасные досуги, занятие. Но откуда взять пафос, равный буре, повалившей перекопские стены, пафос для повседневной канцелярской суетни в каком-нибудь главке? У него отнимают

винтовку. Чем он ее заменит? Невежеством можно было, да и то до поры до времени, кокетничать перед собесовскими фребелечками. А для новой жизни нужны знания. Сейчас вот все газеты полны дискуссий о профсоюзах. Дискуссия — это слово бодрит, в нем температура боев. Но Михаил не может ринуться вперед, он даже не знает, что такое «демократический централизм». Он очутился в хвосте, ничтожным членишкой, при всей несправедливости этого, он, бывший на фронте почти два года, награжденный орденом Красного Знамени, окажется в бессловесном подчинении у такой дуры, как эта дочка писателя, если только ей вздумается войти в партию, у любого интеллигента. Вместо триумфальной арки его ждут прозябание и скука.

Сердце Михаила билось очень медленно, ничем не подхлестываемое, как бы сомневающееся в нужности этих редких, ленивых толчков. Ему предстояло просто жить, а это так же скучно, как просто гулять, без цели, без дела и без выпивки. Своими сомнениями и тоской он вторил всей стране, переживавшей эту нелегкую зиму, с ее нарушенным кровообращением, закончившимся кронштадтским нарывом. Желчность разблачаемых жизнью иллюзорных достижений, потребность в первичных удобствах (если удобством можно назвать фунт ржаного хлеба), строительный зуд в руках и одновременно послепраздничная тошнота, разгон последней Сухаревки для немедленного утверждения коммунизма и уже первые черновые мысли о напе, вся радость и вся тоска наступавшего успокоения в ту зиму прерывали дыхание и сводили судорогой Россию.

Михаил отчетливо зевнул и, увидев на крыше голубя, отправил пулю, не достигшую писателя Тумакова, в крохотное голубиное сердце.

Он был демобилизован.

Учение — свет

Среди «артемовцев», великолепно усвоивших эту на редкость благонамеренную из русских поговорок, Михаил все же умудрился стать первым по своему исключительному рвению. Прежде всего, однако, следует разъяснить тем из наших читателей, которые не имеют никакого отношения ни к городу Харькову, ни, в частности, к его просветительным начинаниям,

что такое «артемовцы». Конечно же, это не секта последователей брата нашего героя, Артема Лыкова. Нет, артемовцы — это то же, что в Москве свердловцы, то есть учащиеся комвуза имени видного большевистского деятеля Артема. Чтобы попасть в означенное заведение, нужно, кроме партийного стажа, обладать удачливостью, ибо сочетание коммунизма с высшими знаниями представляет немалую приманку. Что же, после стольких испытаний Михаилу повезло: он попал в светлые аудитории бывшего коммерческого училища. Он мог, таким образом, отдаться ковке нового оружия, взамен винтовки, из которой напоследок был убит ничтожный голубок, оружия достаточно боеспособного, чтобы, толкая вперед дело, и самому не застрять в обозе, но продолжать выдвижение, столь удачно начатое орденом Красного Знамени. Его двадцать два года позволяли на многое надеяться.

Как повстанцы с голыми руками кидаются на щетинистые подступы арсеналов, наша страна, едва кончив воевать, кинулась на библиотечные форты, на учебники политической экономии или электротехники, на начальную арифметику и на гегелевскую диалектику, на курсы агрономии и на третий том «Капитала» — на все эти Перекопы, обвитые проволокой непонятных терминов, минированные темнотами семи гимназических классов и тридцати веков культуры.

Пусть злопыхатели, любящие попрекать свой народ тем, что победоносным походам республиканских генералов французской революции он смог противопоставить лишь усмирение десятка доморощенных Вандей, подумают о величественности этого штурма. Народ, в раже садящийся за парту, — разве это зрелище не превосходит все Аустерлицы истории? Иностранцы ученые, пораженные трудам своих русских собратьев, совершенным в годы отороженных рук и тухлой конины, могли бы помножить это законное изумление на число жителей СССР, ибо между академиком Павловым, склоненным над рефлексами, и каким-нибудь отнюдь не нарицательным Ивановым, потрясенным чудом образования из таинственных значков реальных наименований, мы не видим существенной разницы.

Мы можем с гордостью подтвердить, что не витрины ювелиров, но публичные лекции, — безразлично о чем, о коллективном инстинкте муравьев, о проблеме любви с точки зрения научного марксизма, об австрийских социал-предателях, о меж-

планетном сообщении,— требовали удесyтеренных нарядов милиции. Вузы впитали в себя такое количество юношей, что их пришлось разгружать, как города. Книги библиотек стирались и разлетались серой пылью. Не доверяя больше ни попам, ни комиссарам, бородатые сельские хозяева налегали на философские проблемы. Учились сами, учили друг друга, учили своих детей, а также родителей, учили до отупения, заучиваясь и переставая понимать простейшие вещи. После разоблачения грозы, оказавшейся проделками не пророка Ильи, но какого-то электричества, ждали особого разъяснения дождя, наверное же происходящего не от чересчур примитивного накопления туч. Сколько рабфаковцев заболело от чрезмерных занятий, об этом знают наши психиатры. Героическая эпопея — и не походом на Варшаву займется российский Гомер, но исторической осадой знания, осадой, имевшей свои жертвы, свои подвиги и свои безумства.

Как бы ни относиться к нашему герою, нельзя отрицать одной присущей ему добродетели: редкостной рьяности. Попав в здание Коммунистического университета, он, конечно, не стал заполнять аудитории позевыванием. Нет, вцепившись в горло гордячки-науки, Михаил снова показал всю свою одержимость. Кажется, ни один влюбленный не мог бы дойти до ночных безумствований Михаила, кидающегося на теорию прибавочной стоимости. Программа занятий, при всей ее громоздкости и сложности, не удовлетворяла его. Прежде всего это была программа для всех — границы ее являлись установленными границами знаний, необходимых для добросовестного партийного работника. Наверное, вожди, чьи портреты красуются в аудиториях, знают много больше. Находясь весьма далеко от этих границ, ровно ничего не зная, Михаил уже их ненавидел. Они как бы являлись барьерами в его грядущей карьере. Он набирал груды книг из библиотеки, стараясь таким образом урвать нечто, превышающее общий паек. Заподозривший однажды чекиста в саботаже, он подозревал теперь всех профессоров (коммунистов чистой воды) в том, что они скрывают от слушателей какие-то важнейшие знания. Один из них дал общую, весьма нелестную характеристику идеализма. Михаил этим не удовлетворился. Он засел за «Историю философии» Куно Фишера. Это отнюдь не являлось попыткой усомниться в правильности узаконенного мировоззрения. Нет, Михаил сразу почувствовал, что идеализм устарел, не по времени, да

и не по нему. Но, жадничая, он хотел запастись всеми аргументами против идеалистов — пригодится! Прочитав тридцать страниц, он забросил идеализм, потому что необходимо было приняться за электротехнику. Разве Ленин не сказал: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация»? Будущность инженера, электрифицирующего страну, показалась ему наиболее обильной. Но здесь требовалась длительная выучка, а число часов в сутки, как бы ни переставлялись стрелки, оставалось неизменным в своем консерватизме. Электричество пришлось также оставить, тем нече что волнения в Германии и в некоторых других странах подсказывали всю важность изучения иностранных языков. На первом месте стоял, разумеется, немецкий. О событиях в Силезии и Вестфалии кричали все харьковские заборы. Но Михаил заметил, что его сотоварищи — по большей части евреи — как-то сразу понимают этот язык. Пока Михаил их догонит, успеет произойти не одна революция. Английский? Но из отчетов Коминтерна явствовало, что в англосаксонских странах капитализм отличается максимальной устойчивостью. Михаил вычитал где-то, что испанский язык, обыкновенно презираемый, как язык мертвых армад и «карменистых» брюнеток, на самом деле является языком перворазрядным, на котором говорит вся Южная Америка. Он стал докучать профессорам вопросами о мексиканской нефти и о сельском пролетариате Аргентины. Он решил заняться изучением испанского языка, но наткнулся на неожиданное препятствие: во всем Харькове не оказалось самоучителя. Михаилу предложили вместо грамматики сочинения святого Хуана дель Круза. Это никак не подходило. Мысль о коммунистической миссии в Южной Америке пришлось, без сожаления, отбросить, сохранив в памяти несколько туманных фраз о приисках Мексики и еще известное головокружение от одного упоминания о странах, остающихся обетованными для всех авантюристов и мечтателей мира.

Блуждая в поисках побочных знаний, Михаил все же успевал глотать, хоть часто и не прожевывая, курсы своего вуза. Учебное невоздержание сказало прежде всего на его здоровье. Гражданская война для его тела была благотворным курортом. За зиму, проведенную в Харькове, он успел потерять и загар и силы. Его прирожденная нервность очутилась теперь в благоприятной атмосфере. По ночам Михаила доводили до бешенства головные боли. Его верхняя губа вышла из подчинения,

время от времени начиная негодующе подпрыгивать. Этот тик со стороны казался не болезненным явлением, а эффектной гримасой. На заносчивом и без того лице Михаила он был курсивом вызова и презрения. Нервность и слабость пугали Михаила. Как очень многие, не боясь смерти в виде пули или осколка снаряда, он терялся перед хитроумными происками болезни. Ночная мнительность, напоминающая ему о возможности быстрого стгорания, наполняла и его дни особенной спешкой, лихорадочной жадностью. Кроме этих патологических отступлений, спешка диктовалась и всеми навыками поколения, у которого месяцы шли за годы. Пять лет, для дореволюционного студента одновременно и длительные и мимолетные, как летний день на даче, не для одного Михаила, но и для всех его сверстников казались эпохой, которую не каждому удастся пережить, эпохой, способной не только стереть какую-нибудь малюсенькую жизнь вузовца, но и заново перерисовать очертания материков.

Михаил минутами начинал сомневаться в осмысленности своих занятий. По пути к знанию им было пройдено ровно столько, сколько нужно для того, чтобы увидеть обманчивые размеры предмета и свою от него отдаленность. Он узнал теперь отчаяние путника, поднимающегося к неизвестному ему жилью, который, думая, что он уже подходит к цели, вдруг замечает высоко над собой бесконечные строчки все той же крутой тропинки. Однако он еще боролся с этим чувством, как с малодушием.

Все лекторы, наезжавшие той зимой в Харьков, получали записочки от Михаила. Он не пропустил ни одной лекции. Со скандалом пробирался он в первые ряды. Если милиция подкрепляла кулаками контроль, на требование билетов он отвечал возмущением: «Я на фронте кровь лил!», а если и это не действовало, начинал петь перед шалеющими от непонятности ситуации и на всякий случай козыряющими милиционерами «Интернационал». Сопровождала его повсюду самодельная тетрадка, сделанная из каких-то анкетных листов, подобранных в канцелярии. На правой стороне ее значилось: «Владели ли до 1917 года недвижимым имуществом?» или озадачивший бы даже самого Кандида вопрос: «Какой партии сочувствуете?», как будто анкеты предназначались специально для самоубийц. На левой стороне Михаил записывал конспекты лекций. Там можно было прочесть: «тяжелая индустрия Гер-

мании, незаинтересованная во внутреннем рынке, настроена непримиримо», «футуризм — фактически буржуазная вылазка против нового содержания», «ассоциация по смежности у собаки вызывает частую слюну», «тов. Коллонтай, говоря о любви, забывает, что центр тяжести в красной физкультуре», и тому подобные записи. К лекторам Михаил относился еще более подозрительно, нежели к своим вузовским профессорам. Он считал их всех оптом шарлатанами и идеалистами, то есть заядлыми контрреволюционерами. Он их обстреливал инквизиторскими вопросами: «Сколько вы, товарищ пролетарий, получаете за лекцию?», «Что вы фактически делали в Октябре?», и будь лекция посвящена эйнштейновской теории относительности, все равно: «Почему вы ничего не говорите о мировой революции? Не нравится?» Кроме этих биографических справок, он требовал полного удовлетворения своей любознательности. Лектора, читавшего об евгенике, он запрашивал, что такое омоложение, другого, посвятившего свою лекцию «загадке Атлантики», он закидал вопросами о матриархате. Что делать — он хотел все знать. Незвестное оскорбляло его, а времени было мало.

Одуревая от книг и конспектов, он изредка позволял себе роскошь читать, по его словам, «пустую брехню», то есть романы. Но даже над ними он не отдыхал. Восторженное мычание маленького Мишки, рожденное когда-то арией Кармен, не имело продолжения в дальнейшей его жизни. Поскольку наш герой показателен для своей эпохи, пессимисты, утверждающие, что искусство переживает теперь тяжелые, а может быть, и предсмертные часы, найдут в его чувствованиях новое подтверждение своей теории. Нельзя сказать, чтобы Михаил вовсе не любил искусства, нет, иные пьесы, иные книги, чаще всего фильмы, увлекали его своей находчивостью. Он преклонялся перед трюками в искусстве, как перед спортивным рекордом или перед остроумным мошенничеством. Это было, конечно же, чувством весьма далеким от лирического умиления. Романы вызывали в нем житейские соображения. Он презирал неверные шаги неудачников, а успехам героев, находившихся под покровительством фортуны и автора, откровенно завидовал. В этом отношении для него не было никакой разницы между Достоевским и Шерлок Холмсом. Кроме того, и книги и театр ему порой помогали разобраться в себе. Читая «Преступление и наказание», он немало издевался над Раскольниковым за мел-

кость его амбиции (очевидно, забывая об истории с молочником). Он ощущал все превосходство человека, желающего, как и Раскольников, взлететь высоко, но выбирающего для этого не детский шарик банального преступления, а безукоризненный мотор великого исторического события. «Саломея» напомнила ему историю с Ольгой. Хотя умом он и не понимал этой бессмысленно воюющей бабы, захотевшей если не живого любовника, то, по крайней мере, его ни на что не годную голову, но сердцем он чувствовал, что это темное хотение родственно ему, что, более того, он предпочел бы в своих любовных делах мертвые головы, то есть статистику побед, живым женщинам, с которыми приходится разговаривать и даже целовать их.

Вскоре после этого спектакля и вызванных им мыслей Михаил случайно на улице встретил Ольгу. Он не сразу узнал ее, в чем было повинно, гораздо более изменившегося от пережитой разлуки лица Ольги, его страстное отталкивание от своего прошлого. Он умел думать только о предстоящем. Военные похождения и те казались ему теперь достойными исключительно снисходительной улыбки, как детские проказы. Разумеется, Ольгу он помнил, как эпизод своей жизни, но голубизна ее глаз уже являлась незначительной и запаматованной деталью. Ольгу подобная встреча потрясла более, чем все его прежние выходы и оскорбления. То можно было, при желании, объяснить душевным изворотом. Вид Михаила, сначала не узнавшего ее, а потом безразлично с нею поздоровавшегося, не допускал никаких снисходительных толкований. Ольга почувствовала, что Михаилу нет, да и не было до нее никакого дела, что за жестокостью его ласк стояла не темная страсть, не ревность, но скука, изобретательная скука бесчувственного человека. Это открытие было страшным. Однако даже оно не смогло побороть любви. Поэтому, когда Михаил сказал: «Нам по дороге», — она безропотно наклонила голову и пошла рядом с ним. Михаил отправился проводить Ольгу, а затем и поднялся с ней в хорошо знакомую ему кухоньку, влекомый не лиричностью воспоминаний и не чувственной страстью, но исключительно самолюбием. Ему было совершенно необходимо рассказать Ольге о своей новой интеллектуальной карьере и, заняв место на знавшей его позор табуретке, уже не слушать, но рассказывать. При напряжении он мог теперь разговаривать по-интеллигентски, изредка только выдавая свои трудности чрезмерным употреблением словечек вроде «гипертрофия», «экспериментально» или «констатиро-

вать». Любуясь собой, он сообщил Ольге о перспективах революции в Персии и об опытах профессора Штейнаха. Он посвятил ее в свои надежды: он должен использовать передышку для приобретения знаний, чтобы стать потом партийным вождем или крупным спецом. Все это заняло не менее трех часов. Пропустив мимо ушей и омоложение и карьеру Михаила, Ольга всецело предалась бесплодным попыткам победить в себе ненавистную ей самой любовь. Она издевалась над своими чувствами: «Бабская блажь!» Она давала себе бессмысленные обещания немедленно порвать с ним.

Наконец Михаил почувствовал усталость, даже хрипоту. Он встал. Корректурa проделана. Образ нового, полного идей, Михаила поставлен на место грубо буйнившего Михаила-красноармейца. Прощаясь, он случайно оказался в тесном пространстве между двумя дверьми прижатый к Ольге. Нужно сказать, что, предаваясь до умоисступления учению, Михаил пренебрегал всем прочим. В то время как его товарищи «артемовцы» сходились и с «артемовками» (что еще могло сойти за общность идеологии) и с беспартийными мешаночками, кокетливо щебетавшими «ах, вы коммунист, какой ужас!» и получавшими за беспартийность своих чувств различные коммунистические услуги, как-то: рекомендации, пропуска и билеты, Михаил вел образ жизни аскетический. Тело его, однако, хоть и изнуренное, не могло удовольствоваться лекциями. Теперь, между двумя дверьми, почувствовав теплоту чужой жизни, оно неожиданно напомнило о себе. Не задумываясь, Михаил вернулся в кухню и прилежно обнял Ольгу. Он был на этот раз безупречно корректен, как английский лорд, имеющий дело со своей супругой. Ни одним жестом он не оскорбил Ольгу. Его ласки отличались непонятным лаконизмом, деловой фантастикой, напоминая советский укороченный лексикон. Это был ряд механических движений, почему-то необходимых, но ни в какой мере не затрагивающих человека. Кончив же, он встал, оправился перед зеркальцем и, желая до конца проявить свою воспитанность, перед тем как уйти, поцеловал руку Ольги.

До этого деликатного поцелуя роль Ольги, как и всегда, была пассивной. Она напрасно попыталась в минуту первого вступительного объятия вспомнить о своем недавнем решении порвать с Михаилом, чтобы тотчас предать себя всецело на милость его утонченных и вместе с тем обезьяноподобных рук. Она опомнилась лишь от этого последнего, столь изысканно

вежливого обряда, чтобы, вся дрожа от боли, броситься в угол. Не умея еще перевести на язык укуров свои чувства, она только бессмысленно бормотала:

— Ты что ж это... уходишь?..

Глупость вопроса, да и всего поведения Ольги, вызвала нотацию Михаила.

— Разумеется, ухожу, а не прихожу. Кажется, сама видишь. У меня в шесть практические занятия. Вообще, должен тебя поблагодарить за все, но в твердые отношения я сейчас вступить не могу. Половые эмоции — яд для человека, занятого умственной работой. Ты вот, прошлой зимой, мне часто говорила о своей любви. Очень хорошо! Если любишь, то ты должна избавить меня от подобных свиданий. Мне необходимо работать. Ясно?

— Ты... негодяй!

Наш герой не ответил руганью. Он не кинулся на Ольгу. Только тик, удачно придававший вящую презрительность его лицу, указывал на некоторое волнение.

— Ты так говоришь потому, что завидуешь мне. Ты путешествовала, читала — словом, в свое время ты жила. Теперь ты что? Старая самка. Вся твоя жизнь, извинаясь, у тебя под юбкой. А я живу. У меня теперь тысячи интересов. Вот и завидуешь... Впрочем, я только констатирую факты. Откровенно говоря, мне тебя жаль. Повалит ли тебя мужчина или не повалит, от этого вся твоя жизнь зависит. Желая привести чувства в порядок. А мне пора на практические. Пока!

Это «пока», в процессе американизации чувств и обкорнания языка ставшее тогда излюбленной формулой расставания, должным образом завершило речь Михаила. Он не прощался навеки, он и не напоминал о желательности нового свидания, он покидал Ольгу «пока», пока она ему снова не потребует. Ни «негодяй», ни «мальчик» теперь уже не могли на него подействовать. Двадцать минут спустя он сидел над статистикой.

Визита к Ольге он не повторил. Он по-прежнему отдавался занятиям. Но перебои все чаще прерывали ровный ход лекций и книг. Все чаще он стал задумываться, верный ли путь выбрал? Не залез ли он снова в сторону от живой жизни, как это было с левыми эсерами или со стихами о пастушках? Учение требовало определенно не недель, даже не месяцев, а длительных лет. А интенсивность жизни не ослабевала. Если другие кинулись на книги, это понятно. Что же им было делать? Но в про-

цессе накопления знаний, в этом систематическом и медленном процессе Михаил лишен возможности проявить всю исключительность своей натуры. Значит, он взялся за чужое дело. Все, что привлекало его прежде, будь то политическая борьба, искусство или фронт, было открытым для гениального налета. Здесь же что он мог урвать? Еще десять лекций или сто книг. Недостойная мелочь! Человек просит грушу, а ему предлагают крохотное зернышко: посадите и терпеливо дождитесь, пока вырастет дерево.

Такого рода соображения все чаще и чаще вырывались в уставшую голову Михаила. Вопрос стал ставиться во всей широте — не бросить ли нудную, бессмысленную учебу?

Еще одна кожа была сношена. Но так как вместо нее не имелось никакой другой, то до поры до времени она еще продолжала придавать Михаилу вид честного вузовца. От прежней ревностности не осталось и следа. Он дремал на лекциях. Если же он их посещал, то только ради отметок, предохранявших его от различных неприятностей, вплоть до снятия с довольствия и даже «вычистки» из партии.

Решающим явилось одно, само по себе малозначительное знакомство. Как-то, лениво позевывая в своей вузовской библиотеке, Михаил увидал весьма плюгавого человека, распекавшего библиотекаря:

— Это же, товарищ, даже неприлично. У вас комвуз — и вдруг нет такой важной книги. Я сообщу об этом в центр.

Последняя, чисто хлестаковская, фраза заставила заведующего библиотекой меланхолично вздохнуть. Плюгавый, видимо, знал, как с кем обращаться. Развязностью он великолепно искупал и свой низенький рост, и редкую невыразительность физиономии. Он продолжал скандалить, требуя книги о Персии. Наконец для него раздобыли толстющий том «Жизнь народов», оставшийся по наследству от библиотеки коммерческого училища (из тех, что «с многочисленными иллюстрациями»). Через пять минут негодование приездего, однако, снова вылилось в буйное обличение местных порядков.

— Удивительно! Я здесь проездом. Я не могу ждать. В партклубе нет. В публичной библиотеке нет. Прихожу в комвуз, мне дают книгу о каких-то свадьбах. «Шииты»! Я вас спрашиваю, какая численность индустриального пролетариата, а вы мне суете кишмиш! Это же черт знает что!

Михаилу стало прежде всего обидно, что какой-то чужой субъект позволяет себе шуметь в библиотеке его вуза.

— Товарищ, попрошу вас потише. Здесь, кажется, не улица. Ясно?

Жесткость тона, а может быть, и всего облика произвела на скандалиста должное впечатление. Он принес извинения, объяснив свою невоздержанность нервным переутомлением, и не без робости спросил Михаила, может быть, тот знает какой-нибудь справочник, заключающий хотя бы самые общие данные о перспективах коммунизма в Персии. Знаменитая самодельная тетрадка находилась при нашем герое, и, порывшись в каракулях, Михаил с явным удовольствием изложил приезжему, отрекомендовавшемуся товарищем Либкиндом, наиболее существенные места из лекции некоего московского профессора. Он говорил, а Либкинд записывал. Закончив перечисление всех грехов британского империализма, к которым для вящего эффекта даже припутал Месопотамию, Михаил решил полюбопытствовать, кто его слушатель и для какого именно уездного горклуба ему потребовались эти сведения? Может быть, на очереди «неделя пропаганды», посвященная нашей восточной политике? Но Либкинд конфиденциально, как только и может говорить один ответственный работник с другим, сообщил Михаилу, что назначение в тегеранское полпредство застало его врасплох. Бывает. Недочеты механизма. В общем, это не так уж плохо. Он кое-что почитает в дороге. На месте осмотрится. Главное — воля...

Рассказ Либкинда показался Михаилу и неправдоподобным и прекрасным, как сказки Шехерезады. Остатки трезвости родили последний вопрос:

— Вы что же, персидским языком владеете?

— Нет. Но что это такое, когда у нас замечательные переводчики. Я говорю вам, главное — не растеряться...

Кретин Михаил, разве он не потратил неделю на поиски испанского самоучителя! Разве не потратил семи месяцев на бесполезные лекции! Воля! Это воля вела его в Октябре. Она одна сорвала орден. Михаил с видимым волнением, прощаясь, пожал потную хилую руку товарища Либкинда. Этот мелкий пройдоха, смертельно надоевший всем сотрудникам Наркоминдела, от Чичерина до курьеров, одно появление которого рождало панические возгласы «спасайтесь! Либкинд идет!», в итоге выклянчивший местечко младшего делопроизводителя пол-

предства, показался нашему легковерному герою мудрейшим наставником.

Ночью он попробовал было раскрыть учебник русской истории. Лет тысячу тому назад удельные хамы ссорились друг с другом. Михаил впал в беспамяństwo. Он бросил книгу на пол и принялся топтать ее. К черту! В Москву! В Москву, где так называемые «недочеты механизма», на местах способные лишь калечить обывательские сутки, рожают великолепные нелепости, превращая товарища Либкинда в вождя иранского пролетариата! Они выдвинули и Михаила на вождьденный аванпост. В Москву!

Скорее в Москву!

Мы предостерегаем читателей, способных заподозрить Михаила в обычном карьеризме. Наш герой не искал ни спокойной жизни, ни довольства, ни даже склоненных почтительно голов. Он пошел бы на самую опасную работу. Если б его послали курьером Коминтерна в Бессарабию, мы убеждены в этом, он был бы счастлив. Схваченный румынской «сигуранцей», он скорей бы умер, чем выдал своих товарищей. Он стосковался не по уютной жизни (ее он и не знал), но по бенгальскому огню романтики, к которому, подобно многим, успел пристраститься за годы гражданской войны. Он топтал книги. Он презирал эту беспроегрышную лотерею. Он хотел идти на авось.

На следующее утро он направился к Ольге. Это не было потребностью в объятьях. Напротив, боясь разрядить чем-либо свое напряжение, он пошел в столовку, где обстановка исключала возможность перехода к поцелуям. Он пошел к Ольге, ибо с товарищами не дружил, Артема не было, а чувства во что бы то ни стало требовали выражения. Не здороваясь, не взглянув даже на нее, он угрюмо зашептал:

— Учиться — хлам! Для баранов. Разве твоя ученость чего-нибудь стоит? Мертвечина! Я жизни хочу! Понимаешь, умереть мне хочется. Уеду в Москву. Может быть, там выбьюсь в герои. А нет — к стенке. Это тоже мое место. Не университет... Я проститься пришел. Хорошо, что здесь люди, не то бы я, чего доброго, задушил тебя. Я вот все книги изорвал. Прямо с ума схожу. Дрожу даже... Это перед тем, как прыгнуть. На плакатах видала «из царства необходимости в царство свободы»? Ясно? Ну, мне пора...

Остальное, то есть обработка вузовского комиссара и секретаря парткома, принимая во внимание энергию Михаила,

было недлительным делом. Через три недели он шагал с Курского вокзала на Остоженку. Это было триумфальным шествием. Проходя мимо Красных ворот, он принял их за соответствующую арку. Но возле Кремлевской стены, где на солнце и под дождем линияют венки на могилах октябрьских героев, он остановился. Прерывистость его дыхания подчеркивала лирический характер этой остановки.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И БЫВШИЕ ЛЮДИ

Переход от всякой крайности, будь то Сицилия, где объем домов съеден светом, где мозг, размягченный зноем, как асфальт, болезненно воспринимает любое движение, где напрасно пытается человек дымчатыми очками и соком дряблых лимонов ослабить смертельные укусы древнего дракона, будь то тундры Лапландии с упрощением пяти человеческих чувств, с жизнью, сведенной к поддержанию скудного животного тепла и сжатой, подобно ртути градусника, — переход от этих, может быть, и увлекательных, но все же чрезвычайно мучительных крайностей к умеренному климату Центральной Европы неизменно радует нас. Наросты кактусов не раз прельщали художников. Наравне с песками Сахары, полярное сияние давно вошло в хрестоматию романтизма. Однако вызревание пшеницы и различные процессы, с ним связанные, являются надежнейшей базой для нашей, по существу умеренной, цивилизации.

Как бы мы в качестве поэта (то есть едва терпимого в организованном обществе существа, которое иные из особенно энергичных радетелей неоамериканизма предлагают теперь начисто ликвидировать) ни любовались различными живописными деталями Михаила Лыкова, со столь неимоверной легкостью меняющего героизм на подлость, все же не скроем, что, переходя сейчас к его более уравновешенному брату, мы испытываем известное облегчение. Мы достаточно тверды в азах политграммоты, чтобы понимать естественные интересы общества. Конечно, в некоторые кратковременные периоды энергия Михайлов, умело использованная, может содействовать

социальному прогрессу. Но не их порывистыми руками строится государство.

Если при одном упоминании об Артеме мы невольно переходим на язык передовиц, то исключительно потому, что богатство этого человека (как и многих его сверстников) состояло в открытом и потрясающем убожестве так называемой «личной жизни». Говоря о нем, приходится говорить о конференциях, о борьбе с бандитизмом, о восстановлении советской промышленности, обо всем, чем угодно, только не о тех живописных казусах, которые оживляют главы любого романа. Если даже указать, что Артем сперва был политкомом N-ского полка, проделавшего всю кампанию против белополяков, что затем он работал в Гувузе и, наконец, поступил в военно-химическую академию, вряд ли это удовлетворит любопытство читателей, напоминая скорее страницу истории революции, нежели биографию человека. Ничего не поделаешь — для того чтобы стать героем романа, Артему надлежало перестать быть просто героем и, последовав примеру младшего брата, оживить свои дни изнасилованиями, кражей, сентиментальными слезами или дебошами самодура.

Варьируя известное изречение, мы осмелимся сказать, что у хороших коммунистов нет биографии. Артем же был образцовым коммунистом. Его чувства и поступки диктовались не инструкциями, но коллективной волей, пусть бессловесной, однако осязаемой волей, строящей муравьиные кучи, треугольники журавлей, циклопические сооружения и новое общество. Нам достаточно знать факт и отношение к нему десяти коммунистов, чтобы безошибочно угадать, как был он воспринят одиннадцатым, то есть в данном случае Артемом Лыковым.

Устанавливая этот ущерб индивидуального начала в Артеме, во многих и многих Артемах, мы далеки от осуждения. Средневековым поэтам нравились женщины узкотазые и мелкогрудые. Люди Возрождения, наоборот, все свое предпочтение отдавали вполне развитым формам. Чтобы оценить силу и даже привлекательность Артема, надлежит прежде всего переменить свою позицию.

Мы все хорошо помним заповедь романтиков: делай лишь то, чего не могут сделать другие. Культ оригинального, жестокий культ, сколько пророков и захолустных телеграфистов испепелил он! Артем же делал только то, что делали все. Мысль

отличительная, другим неприсущая, казалась ему ничтожной и недостойной выражения. Стоя в ряду, он больше всего боялся одного шага, может быть и выделяющего как-нибудь человека, но зато уничтожающего стройность и точность фигуры. В минувшем столетии он был расценивался как существо отсталое. Автор той эпохи, пожалуй, спешно отослал бы такого героя в какую-нибудь заштатную канцелярию, украсив его ухо гусиным пером, а всю физиономию кретинической улыбкой. Мы же видим в Артеме превосходного и заслуживающего всяческого уважения представителя нового жизнестроительства. Конечно, многие критики не поверят нам. Для того чтобы Артем был живым, скажут они, необходимо показать его теневые стороны, одарить его присущими всем людям слабостью и страстишками, словом, необходимо сделать его хоть чем-нибудь похожим на самих критиков. Не спорим: Артем отнюдь не являлся... ангелом — хотели было мы сказать, забыв о ком и о чем говорим, — он отнюдь не являлся тем, «ночем», то есть «научно организованным человеком», о котором теперь мечтают пензенские комсомольцы. Мы охотно выдадим его пороки: он любил иногда выпить и Первого мая двадцать второго года, увлекшись кахетинским, дошел до бессмысленной декламации «Коммунары» в пустой кладовке. Он был вспыльчив и не только раз обругал товарища, запачкавшего его курс органической химии помадой «жиркости», но даже сгоряча запустил в него гнилым яблоком. Наконец, во время последней партдискуссии, доведенный сначала полемикой в «Правде» до бессонницы, он в итоге голосовал против «аппаратчиков» только потому, что так голосовала вся ячейка, не раскусив спорных тезисов. Список грехов можно было бы, конечно, продлить, но вряд ли это придало бы Артему ту живость, о которой пекутся критики. Ведь живость эта не что иное, как коллекция особых примет. Артем же был и природой и временем нарисован по-плакатному: крупные формы, отсутствие деталей, повторность линий.

Когда такой Артем пьет чай вприкуску, это никого не может заинтересовать. Когда же миллионы Артемов делают Октябрь, то об этом говорит потрясенный мир, забывая про все оригинальные и полные душевной значимости чаепития героев Достоевского.

Все чувства Артема, таким образом, следует множить на восьмизначные величины, в нем же самом видеть лишь показательную дробь. Учась, он не думал, подобно своему брату,

о карьере, хотя бы и в благороднейшем смысле этого слова. Он знал, что соответствующие органы найдут нужное применение его знаниям и энергии. Та жажда просвещения, эпидемия учебы, о которой мы говорили недавно, захватила, разумеется, и его. Он двигался медленно, по-битюжьи, но он двигался, и ясно было, что никакие трудности не остановят этого терпеливого продвижения. Его приезд в Москву, его первое появление в Савеловском переулке, точнее, в квартире гражданки Ксении Никифоровны Хоботовой, бывшей классной дамы Александро-Мариинского института, теперь занятой изготовлением ахалвы, появление с юношеским пылом, а также с ордером на комнату, было появлением действительно голого человека. Последнее, разумеется, следует понимать фигурально, ибо штаны и тужурка достаточно ограждали естественные чувства стыдливости Ксении Никифоровны от возможных потрясений. Этим, то есть примитивным костюмом, однако, ограничивалось богатство Артема, плюс уверенность в победе и партийная принадлежность. Его существо обладало притягательностью девственных земель, не испытавших каблука колонизатора. Проверая заново, не шарлатаны ли Ньютон или Галилей, он столь же критически относился ко всем деталям нашего заштатного европеизма, обычно даже незамечаемым, от религии до рукопожатий. Его рационализм не довольствовался простым видоизменением прежних форм. Октябрины или «Красный огонек» оскорбляли его пуританскую совесть. Попав случайно на балет в Большом Академическом театре, он был обижен классическими пуантами балерин, как явной бессмыслицей, и успокоился лишь под утро, решив, что это нужно для успешной деятельности Наркоминдела, наравне со знаменитым фраком Чичерина. Он был, понятно, одним из первых членов «Лиги времени», с фанатической верой тратя немало времени на пропаганду экономии времени. Но не следует принимать его за выверенный часовой механизм. Не раз ведь его отрывали от книги, доводя до непонятного волнения, бронхитные звуки уличной шарманки. Глядя возле памятника Гоголю на ребят, играющих в налеты и расстрелы, он неизменно испытывал сильнейшее желание подойти и потрепать их лохматые головки, но своей косолапой нежности стыдился. Он любил хорошую погоду, быструю езду верхом и запах полевых ромашек. Атавистические приступы были сильны в этом молодом и здоровом человеке. Что касается любви, то ее существование он считал мифом, не более реальным, нежели

непорочное зачатие или же платоновская космология, мифом, разоблаченным теперь, как мощи. Это не означало аскетизма. Умеренные, но вполне явно выраженные половые потребности человека средневропейского климата, не возбуждающего себя алкоголем или наркотиками, время от времени сводили Артема с женщинами. В такие минуты он был молчалив и серьезен. Он не терпел циничных шуток. Языка поцелуев он не знал. Можно сказать, что в страсти он тоже являлся первичным, голым человеком тех эпох, когда еще не было ни сонетов Петрарки, ни отдельных кабинетов «Эрмитажа». Своих случайных подруг он никогда не вспоминал. Зато он считался отменным товарищем. Как в полку, так и в академии он имел много преданных друзей, ради них не раз он рисковал жизнью так же просто, как отдавал им сахар и папиросы.

Таким образом, это был, что называется, «добрый малый», и страх, испытываемый перед ним Ксенией Никифоровной Хоботовой, следует отнести за счет ее душевной мнительности, принимавшей размеры настоящего заболевания. Мы бы никак не останавливались на второстепенной фигуре квартирной хозяйки Артема, тем паче что даже ответственным съемщиком являлась не она, а сотрудник Наркомфина Каплун, если бы не роль, сыгранная ею поневоле в жизни подлинного героя нашей истории. Сама по себе Ксения Никифоровна могла интересоваться лишь сластен особенностями своей ахалвы, да еще, пожалуй, психиатров актуальной разновидностью мании преследования.

Это была особа лет пятидесяти, седая, с презабавнейшей прической, в виде накрученных на макушке жидких косиц. Вместо обычной одежды она употребляла множество платков — оренбургских, шерстяных, клетчатых, ситцевых, в узорах, всяческих сортов, но одинаково драных и грязных. Ее тощее тельце, едва поддерживаемое булочкой или тарелкой творогу, исчезало под этой тряпичной броней. Бывшие ее сослуживцы по институту немало бы удивили того же Каплуна, заверив, что некогда она отличалась редкостной элегантностью. Создав себе, благодаря диетическому отказу от супа и питья, а также парижскому корсету мадам Бельвуа, тридцатисантиметровую талию, она в течение одиннадцати лет продержалась на этом уровне. Кроме талии, она обладала прекрасным французским прононсом и наличием высококультурных запросов, делавших ее приятнейшей собеседницей. К ее мнению в институте

прислушивались с опаской, особенно после злостной эпитафии на преподавателя рисования Равича, хвостуна и невежду:

Равич раз нарисовал
Аполлона молодого,
Репин в зависти сказал:
«Натуральная корова».

Во время известной войны между «шалапинистками» и «собикистками», взволновавшей Москву в начале нашего века, присоединение Ксении Никифоровны к «собикисткам» заставило весь институт признать превосходство сладкогласого тенора над грубостью, да, да, оскорбительной грубостью мужицкого, в лучшем случае — дьяконовского баса.

Все кончилось с революцией: институт, положение, довольство, молодость. Место культурных запросов заняли ахалва и страх, нечеловеческий страх. Халва лакомство всем известное, зато ахалва вещь экзотическая. Приготовлению ее научила Ксению Никифоровну некая караимка, в семье которой соответствующий рецепт передавался, наравне с религиозными традициями, из рода в род. Нам, к сожалению, он неизвестен. Видом эта ахалва напоминала ореховую нугу, но на вкус была много нежнее и маслянистей. Ксения Никифоровна изготовляла лакомство на заказ для любителей. Расширению производства препятствовал исключительно страх, ибо она была уверена, что рано или поздно ахалва доведет ее до Чека. Не говоря уже о годах военного коммунизма, даже при напе изготовление ахалвы без соответствующего патента казалось ей государственным преступлением. Поэтому, вручая пакетик клиенту, она шептала:

— Ради бога, спрячьте и никому не говорите!

Проявления ее страха были весьма разнообразны. Булочку Ксения Никифоровна покупала конспиративно и проносила к себе со всеми предосторожностями, боясь, что кто-либо из домкома сочтет ее за злостную спекулянтку золотом. Последние годы, на нервной почве, она стала плохо слышать, ей приходилось теперь, обнимая собеседника, подставлять к его губам свое ухо. Это рождало особые страхи, так как, принимая в объятия нового покупателя, пришедшего за ахалвой и готового произнести условленный пароль «у лукоморья барабан с хвостиком», Ксения Никифоровна всякий раз ожидала услышать вместо «лукоморья» страшное приглашение на Лубянку. То, что в мире стало тихо, беззвучно, еще сильнее пугало ее. По ночам она

никогда не раздевалась, чтобы быть готовой к последнему переезду. Каждый вечер, перерывая свое жалкое барахло, она выискивала, как арестант вшей, доказательства своей контрреволюционности. Этих доказательств было так много, что, несмотря на все усердие, она никак не могла уничтожить их. То находились ленточки от котильона, то французский роман с беззастенчиво титулованными персонажами, то, еще хуже, записочка Адольфа Людвиговича, бывшего преподавателя космографии (имя которого в институте подозрительно ассоциировалось с классной дамой Хоботовой), записочка, до крайности подозрительная: «Клянусь сохранить тайну и во всех испытаниях быть рядом с Вами, mon cherubin». Обнаруживая подобные улики, Ксения Никифоровна сама дивилась, как она до сих пор жива. Истребление злостных документов было делом нелегким, особенно в летние месяцы, когда горсточка золы красноречивее всех бумаг говорит о замыслах преступника. Раз, напад на карточку Собинова в офицерской форме, бедная женщина совсем обезумела. Безгласная темнота показалась ей наполненной чекистским топотом и присвистом (она была убеждена, что, ведя на казнь, чекисты обязательно присвистывают). Она попробовала было успокоить себя: ведь Собинов теперь ихний, «народный» артист. Но погоны от этого не теряли своей преступной выразительности. Вслед за фотографией были немедленно извлечены: бархатная полумаска, «Нива» (далеко еще не «красная»), со Столыпиным на отдыхе, огромная гравюра «Осени себя крестным знамением, русский народ», и, в довершение всего, эмалированная коронационная кружка. Ни один убийца не дрожал так над трупом своей жертвы, как Ксения Никифоровна над этой посудиною. Она еле уложила небольшие по размеру предметы в огромную корзину и с тяжелой ношей побежала на улицу. Путь был ясен — вниз по переулку к Москверке, скорее бросить в воду свое темное прошлое. Но по набережной шлялись подозрительные люди, не то комсомольцы, не то фининспекторы, не то просто чекисты. Тогда Ксения Никифоровна поплелась через весь огромный и страшный ей город, с его хищной фауной, на Покровку, где проживала ее единственная подруга Муся Жигулева. Она умоляла приютить корзину хоть на ночь. Ведь Муся служит в тресте, ей нечего бояться. Объяснить, что находится в корзине, она наотрез отказалась. Муся, решив, что ей подбрасывают бомбы или, по меньшей мере, портфель с экшпионажем, несмотря на всю дружбу, быстро

выставила и Хоботову, и ее сомнительный багаж. Тогда Ксения Никифоровна решилась: в каком-то пустом переулке она подкинула корзину, как младенца. Когда она бежала домой, ее глухота рождала топот преследователей, гудки автомобилей, даже выстрелы. Неделию после этой ночной экскурсии она пролежала без сил, отвечая любителям ахалвы:

— Я больна, только, ради бога, никому не говорите!..

Ясно, какое впечатление должен был произвести на Хоботову въезд Артема. Каплуна она не боялась. Да, как это ни странно, были люди, которых и она не боялась. Каплун ведь должен был сам всего бояться. Разве он не преступен с головы до ног? Он поглощал пирожные до всякого нэпа. После нэпа он увивался от налогов. Его сынок Мотя ухитрился обойти все мобилизации. Его дочь Раечка пудрилась пудрой «шипр». Они, конечно же, лишь по недосмотру не были расстреляны, и Ксения Никифоровна испытывала к ним нечто вроде профессиональной солидарности, удивляясь только их непонятной беспечности. Но молодой коммунист, сразу повесивший на стенку портрет Дзержинского, — это было явным внедрением Лубянки в ее последнее убежище. Сам Каплун вначале струсил и, боясь выселения в качестве «нетрудового элемента», запретил Раечке пахнуть по-французски в коридоре и в передней. Но Каплуны вскоре увидели, что Артем существо безобиднейшее. Занятый своей химией, он не выказывал к соседям никакого интереса. Что же, Каплуны, по мнению Ксении Никифоровны, всегда отличались легкомыслием. Она вдвойне стала бояться опаснейшего хитреца, который, не говоря ни слова, готовится накрыть ее на месте преступления. Опасаясь проникновения в коммунистическую комнату звуков и запахов, она ограничила изготовление ахалвы, требующей длительного кипения, часами занятий в военно-химической академии. Таким образом, вселение Артема отразилось и на качестве лакомства. Столкнувшись однажды с чекистом на лестнице, Ксения Никифоровна не выдержала и от страха заговорила:

— Вы, товарищ, не верьте! Насчет спекуляции золотом — это все интриги преддомкома. Они хотят мою комнату продать. А я ничем не питаюсь. У меня идей нет. Я просто инвалид труда. Я, товарищ, вероятно, скоро умру, вы уж пожалейте меня!

Артем только пожал плечами. Может быть, и наши читатели вздумают повторить этот жест. Хорошо, скажут они, вы нам рассказываете подлинную историю одного из печальных героев

«Югвошелка», имя которого упоминалось в газетах. Но зачем же вы вводите в нее явно карикатурные фигуры, лишённые всякого правдоподобия? Ах, читатели, вы, значит, еще верите в художественную фантазию, вы еще не поняли, что самый изобретательный карикатурист сконфуженно останавливается перед витриной любого провинциального фотографа. Мы же не только не преувеличиваем страхов Ксении Никифоровны, но, учитывая нервозность и стыдливость наших читателей, мы о многом умалчиваем.

На шпиге революционного небоскреба высится горделивый флаг, который и мы приветствуем, обнажая, по традиции, голову, но мы никак не можем, нахлобучив на уши шапку, спокойно миновать подвалы этого величественного сооружения, где живут неизбежные жертвы исторического сдвига, не те счастливые героические жертвы, которые заставили Михаила в воссторе остановиться перед Кремлевской стеной, но другие, вызывающие лишь недобрую жалость прохожих. Какой старьевщик подберет эти никому не нужные, поломанные жизни? Кто расскажет об их томительном прозябании? Они по большей части не испытали в годы революции ничего, кроме страха, зато это чувство они испытали до конца, узнав все его малоисследованные вариации. Наверху террор рождал ненависть и героизм, он кормился сопротивлением, дышал волей к победе. Здесь же, в подвале, он становился кухонным шушуканьем, мышинной пискотней, переодеваниями, прятанием в волосы гривенников, паникой перед кожаной курткой, перед портфелем, перед всем, он становился бессонницей, слезами, доносами, глухотой или слепотой, помешательством. Мы знаем немало историй, способных рассмешить любого иностранца: о девице Клавдии Шепеленко, ранившей себе руку при соскабливании с формочки для пасхи преступных инициалов «ХВ», о некоем Каганском, который, узнав, что его однофамилец привлечен за спекуляцию шнурками для ботинок, сам заявился в Чека, умоляя, чтобы его скорей ликвидировали, о купце Головизине, возле памятника Фердинанда Лассалля (принятого им за Лациса) публично покаявшемся в своем меньшевизме, то есть в увилывании от субботников с помощью медицинских свидетельств и в соблюдении различных религиозных обрядов, как-то: молитв, кутьи и суеверного страха при встрече с попом. Но вряд ли такими казусами можно позабавить русского человека — он давно пригляделся к страху, он сам может рассказать десяток историй, почище на-

пих. Он ведь только в книгах почитает Ксению Никифоровну за злостную фантазию известного своей неблагонамеренностью автора. В жизни он, по всей вероятности, сам бегал к ней за знаменитой ахалвой. Если же он не был с нею знаком, то уж наверное знал Мусю Жигулеву или ее свояченицу, словом, кого-либо из граждан, живущих от уплотнения до уплотнения, от высылки до высылки, чьи годы можно пометить следующими этапами: вселение — реквизиция швейных машин — Губчека — шитье кальсон для Красной Армии — утайка серебряных подстаканников — Вечека — покупка муки на Сухаревке — перепись — сокращение — фининспектор — жилтоварищество — анкеты — налоги — Гепеу — накипь нэпа — Нарым. Таков послужной список людей, в иное время проживших бы свой век счастливо, скучно и пошло, а теперь раздавленных событиями и вдвойне несчастных, ибо они даже не знают, почему на их плечи, на обывательские плечики, сотворенные лишь для фасона пиджака, взвален историей груз подневольного героизма. Мы тоже этого не знаем. Но мы испытываем при виде подвальных пискунов чувство, продиктованное нам и человеческой природой, и нашими учителями в литературе: жалость. Рассказав о встрече Ксении Никифоровны с Артемом на лестнице, мы предпочитаем теперь поговорить о другом, чтобы скрыть если не влажность глаз, то красноту щек.

Мы предпочитаем вернуться к нашему герою, в упоении поглядывающему на древний город, который ему предстояло завоевать. Путь с Каланчевской площади к Арбату, к Пречистенке или к Замоскворечью, — сколько юношей в эти годы, волнуясь, проделали его, предвидя жестокую борьбу и победу! Духовная централизация в административно децентрализованной стране вряд ли кем-нибудь будет оспариваться. Одессит, написавший три стихотворения с модными «имажами», томский рабфаковец, занятый изобретением безмоторного самолета, секретарь комячейки наробраза в Пензе, составивший небольшой трактат о литературном стиле Сталина, все они в некий чудеснейший день оказывались на площадях нашей столицы. В Москве ведь создавались литературные имена, делались дипломатические карьеры, подымались научные кафедры. Гигантский магнит притягивал с берегов Черного и Белого морей всех юношей, полных энергии, ревности или честолюбия, изобретателей, спорщиков, самоучек, беллетристов, кинокомиков, шарлатанов и претендентов в заграничные представительства

Внешторга. Таким образом, путь Михаила, казавшийся ему прокладываемой в девственных джунглях тропкою, был достаточно проторенным. Это, конечно, не могло уменьшить взволнованности нашего героя.

Он шел к Артему, у которого рассчитывал прожить некоторое время, пока не определится его будущее, обходя, таким образом, жилищную проблему. Общая приподнятость и желание скорее увидеть брата раздвигали его шаги почти до прыжков и заставляли руки вылетать разведчиками далеко вперед. Провинциальный энтузиаст, он был даже трогателен среди первых ларей трестов, среди явного скептицизма выдавшей виды Москвы. Подымаясь по лестнице, он пропускал ступеньки и улыбался. Кто-то открыл в это время дверь, так что ему не пришлось стучаться. Боясь оступиться, он только чиркнул спичкой. Увидав бешеные руки и огненный чуб, Ксения Никифоровна сразу поняла, что это пришла смерть. Пренебрегая всей своей мышинной мудростью, она пронзительно закричала.

Любовное объятие

Радость Артема, после длительной разлуки увидевшего брата, быстро сменилась тревогой. Он достаточно хорошо знал характер Михаила, чтобы не усомниться в мотивах, вызвавших его приезд в Москву, какими бы рассуждениями об активной работе они ни прикрывались. Вся сеть сложных комбинаций, благодаря которым Михаилу удалось перейти из харьковского вуза в московский, оскорбляла Артема. Но он знал также, с какой осторожностью следует подходить к брату, чтобы не задеть его самолюбия, и отодвигал решительный разговор.

Артема следует пожалеть: единственный человек, к которому он чувствовал подлинную нежность, заместитель несуществующей жены или подруги, являлся в то же время представителем чувств и свойств, наиболее ему антипатичных. Сколько раз глядя на руки Михаила, на эти нежные и в то же время дерзкие руки, он хотел крикнуть: «Работай, шалопай! Коли дрова, сгребай снег, таскай камни, но только оставь твои честолюбивые замыслы! Ты снова несешься к позорному триумфу в кабаке, но годы не проходят бесследно, они опустошают человека, они

же отрезвляют историю. Больше тебя не вывезут ни пафос революции, ни твой собственный юношеский героизм». Но Артем молчал. Он не умел говорить о чувствах. Любя брата, он не знал слов, которыми можно это выразить. Он только укоризненно на него поглядывал. Боясь, что Михаил может простудиться, он отдал ему свою теплую фуфайку.

Михаил, впрочем, мало интересовался мнением своего брата. От него он ожидал только конкретной помощи, в виде полезных рекомендаций и знакомств. Зная, что Артем еще в двадцатом году был политкомом, он рассчитывал найти его где-нибудь на партийной верхушке. Увидав вместо папок с докладами и секретарш скромный учебник химии, он презрительно поморщился: конечно, Тема симпатичный парень, но бараны звезд не хватают, на то они и бараны. Придется действовать самостоятельно.

Зарядки первых впечатлений — автомобильных гудков, афиш о диспутах, толкующихся взад и вперед по Кузнецкому молодых людей, убежденных, что они насаждают нравы Нью-Йорка, в действительности же перенесших на север агитацию Ланжероновской или Рিশельевской улиц, — всей этой суматошной суеты базарного дня двухмиллионной деревни, хватило ненадолго. Как только Михаил начал приглядываться к физиономиям, плакатам, вывескам с практической целью, то есть учитывая, какое место готовит Москва ему, первоначальная неподнятость перешла в утомление и досаду.

Гроза и восхищение пензенской комячейки здесь сразу превращался в скромненькую пешку. Ответственные товарищи, в Харькове доступные, как все прочие смертные, ужинавшие в партклубе и ходившие в кино, здесь становились мистическими подписями под декретами. Близость власти, на благотворность которой Михаил столь уповал, ощущалась лишь в квартирном кризисе и еще в количестве автомобилей, обдававших грязью неповоротливых пешеходов. О быстроте партийного восхождения смешно было думать. Ясно, что настроение нашего героя с каждым днем портилось.

Он валялся на кровати Артема, читая романы Джека Лондона, дразнившие его, как дразнит заключенного свист локомотива, или просто разглядывая фотографии вождей. Когда Артем бывал дома, Михаил всячески над ним подтрунивал. Он мечтал довести братца до иступления, но неизменно натыкался на вежливый ответ:

— Прости, мне надо заниматься.

Положительно никакие насмешки, от намеков на стадность до богохульных покушений на исторический материализм с помощью тридцати страниц все того же Куно Фишера, не могли пронять Артема. Он уходил в академию или на собрание. Недоброе предгрозовое молчание накоплялось в комнате.

Чувствовала ли Ксения Никифоровна, варившая рядом свою ахалву, чем чревата эта тишина, или для нее затихший навеки мир давно уже был заполнен дыханием смерти? Как жила она эти недели, сознавая, что рядом с ней копошится страшный рыжий человек, одно появление которого довело ее до обморока? Кто знает. По-прежнему она вручала покупателям аккуратно завернутые пакетики.

Так настал катастрофический день, с его невыразительным вступлением, с тем же романом Джека Лондона и позевыванием, с той же ахалвой за стеной, с кропотливым рабочим дождем, бившим в стекла. Отчаявшись чем-либо рассеять свою угрюмость, Михаил вышел в коридор. Он попробовал заглянуть к Каплунам, но час был деловой, и все Каплуны промышляли: сам на Ильинке приценивался к шведским кронам, Каплунаша в Охотном покупала телятину, Моня в правлении треста обсуждал вес различных кобыл (в связи с реставрацией так называемых «рысистых испытаний»), что касается Раечки, то ей приходилось теперь усиленно ухаживать за одним из режиссеров Пролеткино, обещавшим взять ее для съемок. Всем известна роль рака на безрыбье. Михаил постучался в дверь комичной старушонки, так своеобразно отметившей его первое появление в Савеловском переулке. Артем как-то сказал брату, что соседка у них глухая, но Михаил успел об этом забыть. Повторив настойчиво стук, он наконец приоткрыл дверь. Судьба бывшей классной дамы Хоботовой была решена: на столе лежала ахалва, в дверях стоял чекист. Как бывает это часто с очень трусливыми людьми, Ксения Никифоровна в час смертельной опасности проявила подлинное мужество. Она не пыталась прикрыть своим тряпьем ахалву, не завизжала, не упала без чувств. Воспитанная в атмосфере скорее вольтерьянской, нежели православной, она и не вздумала облегчить свои последние минуты молитвой. Философское спокойствие нашло на нее. Раскрыв объятия, она привлекла к себе на этот раз не покупателя ахалвы, но самое смерть.

— Вы меня на Лубянку поведете или здесь прикончите? — спросила она строго, даже бесстрашно.

Этот вопрос сразу восстановил в памяти Михаила все рассказы брата о соседке. Сумасшедшая! Ему стало несколько не по себе. Он впервые видел вблизи одно из странных существ, которых обыкновенно держат в загородных домах, где беленные стены и бритые головы. Почему-то мимо него отчетливо проплыл безглазый телескоп. Но через минуту он успокоился. Эта-то старушонка, во всяком случае, не опасна. Положение показалось ему даже забавным. Его приняди за чекиста. Он решил вознаградить себя за скуку бездельного и томительного дня, за химию Артема, за гаммы дождя веселенькой шуткой. Припав к женщине, он ласково, почти любовно прокричал ей в ухо:

— За приготовление подобной пакости вы, гражданка, приговорены к высшей мере наказания. Предлагаю вам явиться сегодня, к двенадцати часам ночи, в Особый Отдел Вечека со всем походным гардеробом.

Сказав это, он не выдержал и добродушно расхохотался, как рассказчик, довольный своим же анекдотом. Он представил себе эту ведьму с узлами в полночь у ворот Вечека. Он ждал, что она будет молить о пощаде, плакать, оправдываться. Но Ксения Никифоровна молчала. Она даже не глядела на него. Ее взгляд проходил мимо, разрезая стены с ключьями обоев. Это был взгляд путешественника, уезжающего в очень далекий и трудный путь, которого уже никак не могут интересовать ни ругань носильщиков, ни афиши вечерних спектаклей, ни будничная болтовня провожающих. Несколько разочарованный этим малоэффективным финалом, Михаил вернулся к Джеку Лондону.

Вскоре глаза его оторвались от книги. Он стал мечтать о том, как его пошлют в Индию. Слова «Бомбей» или «Калькутта» никак не помещались в комнате, рождая едкость белого пронзительного света и одурманивающие, незнакомые ему запахи. Они переводили мечтательность в сон.

Вечером пришел Артем, и братья мирно побеседовали о том о сем, о папаше, недавно закончившем свои земные труды, до последнего дня разносившем если и не «буше-а-ля рен», то морковные олады в артистической «столовке», о папаше с манишкой и без манишки, о манишке самой, о занятиях в академии, о последних нотах Чичерина, о перспективах мировой революции, о настойчивости дождя, обо всех сезонных делах Москвы, столь скоро вместившей и мировую революцию, и Чичерина в свой повседневный быт. Беседа, избавленная от обычных выходов Михаила, носила идиллический характер. Прервал ее крик

за стеной, где стояла всегда тишина. Михаил вышел посмотреть, что произошло. В коридоре его чуть не сшиб с ног один из покупателей ахалвы, визжавший: «Она... она...» Михаил хорошо помнил свою утреннюю шутку. Поэтому он сразу догадался о конце трагического восклицания. Приоткрыв дверь, он прежде всего увидел узлы, те самые узлы, мысль о которых заставила его утром рассмеяться, глупые узлы с жалким скарбом, готовые к переезду. Из одного, недовязанного, торчал рукав старомодного выходного платья с большим буфом. Слишком добротная для каких-нибудь трех пудов веревка поддерживала хиленькое тельце Ксении Никифоровны, в последнюю минуту вылетевшее из кокона платков. Глаза стеклянные, как в витрине Абадии Ивенсона, и крохотный кончик язычка удостоверили завершенность события.

— Жаль таких. Но что делать. Лес рубят — щепки летят, — сказал Артем.

Конечно, ничего другого он и не мог сказать. Он ведь не знал ни этой женщины, ни происшествия, вызвавшего самоубийство. Он был спокоен. Не то Михаил. Он в безумии носился по комнате. Это не было раскаянием — для раскаяния требовались хоть какие-нибудь мысли. Это было попросту страхом, как будто все маниакальные страхи покойной Ксении Никифоровны, соединившись в один, невероятный, лишенный причин, а следовательно, и выхода, смертельный страх, достались ему в наследство. Раскачиваясь на веревке, мертвая старуха мчалась навстречу, распахивала руки, заключала Михаила в объятия. Он не мог никуда от нее скрыться.

— Что с тобой? — спросил в недоумении Артем.

Тогда первая мысль, достаточно мелочная и гадкая, обозначилась в голове Михаила: только чтобы он не узнал!..

— Ничего. Нервничаяю. Последствия тифа.

И чувствуя, что все это звучит неубедительно, что погоня продолжается, что руки его тщетно борются с когтистыми объятиями, боясь, что Артем догадается о выходке, стыдясь, что, не догадавшись, он сочтет его поведение за глупую, даже неприличную сентиментальность, Михаил продолжал:

— Исключительно нервность. Никак не связано с этой старухой. Я не понимаю, почему ты ее жалеешь? Таких истреблять надо. Мне вот ее ничуть не жаль, слышишь ты, ничуть! Мне наплевать на нее!

И для подкрепления последнего, а может быть, вследствие

полной развинченности, Михаил действительно сплюнул на пол. Удивление Артема росло.

— Я тебя не понимаю. Чем она провинилась, бедная женщина? Больная. Жалеть следует, а не плевать.

— Что же, если тебе приказали бы расстрелять ее, ты не пошел бы?

— Это другая статья. Если приказали бы, значит, была бы и необходимость. Для удовольствия не расстреливают. Если мне плюнуть приказали бы, я бы плюнул. А вот твоего поплевывания я не могу понять.

Михаил знал, что спор невыносим. Стараясь сдержать себя, он разделся, лег, прикинулся спящим. Пошуршав еще «Органической химией», лег и Артем. За стенкой шумели, волновались. Впервые комната Ксении Никифоровны сделалась центром событий. Моня бегал за милицией. Составляли протокол, рылись в узелках. Потом ушли, уступив место необходимой тишине. Ксения Никифоровна лежала теперь аккуратно на кровати. Но Михаил не мог успокоиться. Голоса Каплунов и понятых были все же некоторым облегчением, мешая воздуху стать прозрачным, зеленоватым, как вода аквариума. Но тишины он не мог вынести. Он задыхался в объятиях сумасшедшей. Он бился, как червяк. Не выдержав пытки, он поднялся. Артем спал. Повинуясь чему-то постороннему, может быть любопытству, присущему некоторым преступникам, он направился в комнату Ксении Никифоровны. Свет уличного фонаря, процеживаясь сквозь шторы, давал возможность разглядеть лицо покойницы. В полусвете, а может быть, и в полубеспамятстве Михаила, это лицо казалось новым, значительным. Оно утратило выражение запуганной фабрикантши ахалвы, нелепой женщины, над которой смеялись все, кто еще не разучился в наши дни смеяться, бывшей классной дамы, предводительницы «собинисток», авторши эпитаграмм, жалкие приметы никчемной и скудной жизни. Зато оно обрело всю выразительность, весь пафос человеческих черт, вечно прекрасных и обыкновеннейших, голое лицо, обозначившееся впервые у мертвой, лицо, требовавшее мрамора и не в Савеловском переулке растущих цветов, требовавшее умиления, теплоты дыхания, благодетельных слез, облегчающих жизнь, как масло машину.

Над мертвым лицом колыхалось в муке живое лицо Михаила. Он понимал язык этой суровой тишины, этих рук, еще утром занятых какой-то ахалвой, а теперь готовых судить и

миловать. Он понимал язык смерти. Он готов был ответить теми слезами любовной жалости, которых ждала эта несчастная, одинокая, замученная женщина. Но вдруг он вспомнил утро, объятие, анекдотически веселое и несшее смерть. Он неожиданно понял до конца свою вину. Тогда ему показалось, что руки мертвой, благообразно прибранные, поднимаются, снова замыкают Михаила в объятие. Он хотел выбежать, но поскользнулся и упал рядом с покойницей. Он закричал, скажем лучше, завыл, ибо было нечто темное, звериное в этом внезапном ночном крике.

Артем со всей заботливостью уложил брата. Он всячески старался успокоить его. В душе он сам волновался. Его подозрения окрепли. Он не верил в последствия тифа и не удовлетворялся общей сентиментальностью. Для него было очевидно, что между самоубийством полоумной соседки и его братом существует какая-то связь. Но что могло произойти? Возраст и облик покойной исключали возможность романтической интриги. Тогда? Тогда оставалось одно: деньги. Могли же быть у этой сумасшедшей нищенки припрятанные ценности. Что, если Михаил украл их? Артем ждал всего от своего брата. Его растерянность в Москве, апатия, хорошее настроение этого вечера, наконец, впечатление, произведенное на него смертью, говорили за правдоподобность подобного предположения. Когда Михаил несколько успокоился, Артем в упор спросил его:

— Мишка, может, ты стянул у нее что-нибудь?

Вопрос этот застал нашего героя врасплох. Он понял, что нужно сейчас же ответить. И он нашелся:

— Молчи! Как ты не понимаешь... Я любил ее.

Произнеся эту нелепую фразу, Михаил весь просветлел от горя и нежности, как вымытое зеркало. Он решил вывернуться, солгать, а солгав, почувствовал, что сказал правду. Он верил теперь, что его боль и крик рождены любовью, подлинной человеческой любовью. Да, он любил, не ту с ахалвой, над которой он так гнусно пошутил, другую, строгую и прекрасную, глядевшую на него при смягчающем свете желтого фонаря. Он больше не убегал от ее объятий.

Артем, конечно, не поверил ему. Неправдоподобность заявления била в глаза. Едва превозмогая отвращение, он вышел из комнаты. Наш герой, оставленный теперь один с ночью и с памятью, плакал, пакостник, дорвавшийся до убийства, лгунишка и позер, он плакал высокими слезами любви, разлуки, последней человеческой разлуки — смерти.

Глава о фраках

Как бы ни было сильно потрясение описанной нами ночи, оно быстро уступило место мечтам о карьере и томительным поискам мало-мальски привлекательного занятия. Лекции для Михаила являлись лишь паспортом. Неопытность и неосведомленность препятствовали сколько-нибудь ответственной партийной работе.

Выросший в артиллерийско-пайковой атмосфере военного коммунизма, всемерно преданный его недвусмысленным навыкам, он никак не мог расшифровать путаного облика Москвы, переживавшей тогда первый год нэпа, всю разухабистость его отросческих фантазий, вперемежку с деловым иступлением безупречных работников. Прежнее можно было любить или ненавидеть: оно отличалось прямолинейностью, трогательной наивностью, совмещающая грубоватый азарт вояки с детскими играми. Новое прежде всего было непонятым. Наш герой растерянно оглядывался где-нибудь на Петровке, — ему казалось, что он обойден с тыла коварным противником. Боксера усадили за шахматную доску, предложив ему сложный гамбит с отдачей ферзя, ради выигрыша в положении, и боксер готов был заплакать.

Шло «сокращение»: сокращение штатов, сокращение планов, сокращение фантазии, сокращение всего. Сверху было мудро сказано «лучше меньше, но лучше». Мудрость всегда горька. В одну ночь воображаемые «дворцы искусства» или «дворцы ребенка» рассыпались, не оставив после себя даже поломанного корыта, которое могло бы своей реальностью как-нибудь утешить нашего фантаста. Сокращенные барышни, вчера еще переписывавшие проекты, полные стилистических и арифметических высот, частью выстроились у Мосторга, выкрикивая: «Пирог с вареньем!», «Чулки шелковые!», «Духи Убиган!», частью, обрызгав себя этими, весьма сомнительными духами, стали ночью зазывать прохожих. Слово «товарищ» исчезало из обихода. Бывшим «товарищам» дали белый хлеб, но их разжаловали в «граждан». Нищенка на углу Столешникова переулка, оперируя, как вывеской, гнойным младенцем, по-модному вопила: «Гражданинчик, явите милость!..» На углу помещалась кондитерская, где, компенсируя себя за былые карточки категорий «б» или «в», москвичи ели пирожные,

взбитые сливки в натуральном виде и бриоши с маслом. Люди толстели на глазах, и город казался успешно работавшей здравницей. Разумеется, толстели далеко не все — Волга и на московские улицы выплеснула своих голодающих. Они принесли с собой вшей, человеческую муку и темный доисторический дух, который прерывал первые программы вновь открытых кабае протокольными легендами о людоедстве. Как на вернисажи, граждане собирались созерцать витрины гастрономических лавок. Трудно описать трогательность физиономий всех этих вновь обретенных друзей: молочных поросят, сигов, лососей. Деньги перестали быть абстрактным наименованием. Они вспомнили свое исконное назначение и занялись распределением между гражданами молочных поросят и голодных слюнок. Даже милиционеры стали уважать этот, на плакатах давно уже побежденный и зарезанный, капитал. Они теперь ограждали вокзальные буфеты от явно деклассированных граждан. Что касается вагонов, то вагоны отличались деликатностью — они выбрали себе псевдонимы: «мягкий», «жесткий», «особого назначения». Со стороны вагонов это было даже трогательно. Рестораны и казино оказались откровенней: они не стали ни «столовыми особого назначения», ни «клубами для карточных испытаний». Посетители, впрочем, не интересовались вывесками. Дети своего времени, они презирали слова и заменяли поэзию хорошим нюхом. Поэзия действительно сразу пошла на убыль, и не менее половины членов «Всероссийского союза поэтов» занялись перепродажей галстуков, мест в спальнях вагонов и эстонского коньяка. Литературные критики преважно объявили, что «открывается эпоха прозы».

Иногда за изобилие денег расстреливали. Ведь неизвестно было, как смотреть на эти листочки, отпечатанные в экспедиции государственных бумаг: как на почетные дипломы или как на преступные прокламации? Руководились, главным образом, чутьем и настроением. Приходилось всюду идти ощупью.

Слово «восстановление» лишено внешней эффектности. Однако, вопреки утверждению литературных критиков, objavивших поэзию несвоевременной, мы почитаем восстановление хотя бы советского транспорта, все эти грандиозные и малоприметные подвиги соответствующих тружеников, достойным материалом для самой патетической поэмы. Право

же возобновления работ на любой фабрике «Жиркости» или «Анитреста» являлось событием, взволновавшим причастных к этому людей не меньше, чем взволновала Христофора Колумба первая птица. Не только ответственным работникам, но и рядовым было предложено в кратчайший срок пережить и изжить подлинную трагедию. Швейцары «Эрмитажа» и прочих увеселительных заведений, принимавшие в свои почти телесные объятия млеющих от неги новых клиентов, чье порхание по лестнице, несмотря на весомость комплекции, могло быть приравнено к порханию первых весенних мотыльков, вряд ли думали, что их вывески, их уютно завешенные окна, их люстры и реставрированные пальмы вызывают негодование, скорбь, даже отчаяние во многих и многих сердцах. Но переживать различные трагические чувства могли отдельные люди, а партия, быстро переменяв движение некоторых рычагов, должна была работать. Для трагедии не оказалось времени. Открывались новые пути и новые возможности. Нечеловеческая воля прозвучала в этом приглашении «учитесь торговать», брошенном бескорыстнейшим борцом своим товарищам, принужденным менять теперь диаграммы главков и карты генштаба на стук костяшек или на книги двойной бухгалтерии. Трезвость, эта самая требовательная и, скажем откровенно, наименее заманчивая из всех добродетелей, быстро вернула людям сознание времени и пространства. Она безжалостно вмешалась в высокое человеческое вдохновение, чтобы металлическим голосом напомнить людям о всей долоте времени. Время, жестокое время, оно слишком мучительно для нашего поколения, привыкшего жить не переводя дыхания, для детей Мазурских болот и Октября! Все знают, как трудно армии, выполняя, пусть гениальный, стратегический план, сдавать врагу за городом город. Но и нелегко дались нашей стране эти аппетитные булочки, эти чистенькие вагоны, эти серебряные гривенники, чей звон теперь прославляется добродушными поэтами. Нам понятны иные из так называемых «пролетарских писателей», которые вставили в мажорный грохот государственного мотора свои человеческие ноты скорби. Нам понятен и тот знаменитый бандит (кажется, его звали Ленькой), который три года был честным солдатом революции, а на четвертый, когда его поставили у дверей «Гриль-Рума» охранять ненавистных ему «буржуев», дрогнул, дезертировал и кончил свои дни у стенки.

Во избежание кривотолков, мы спешим отметить, что далеки от критики новой экономической политики. Мы принуждены лишь нарисовать бытовой и психологический фон, на котором разворачивалась жизнь нашего героя. Мы, разумеется, понимаем необходимость нэпа. Мы видим в нем не только «Гриль-Румы», но и живительный процесс экономического возрождения страны, разоренной войной, интервенцией и междоусобицей. Наконец, мы хорошо помним, что Марнская битва была выиграна в итоге отступления. Но эти различные соображения не мешают нам разделять недоумение, боль, а иногда и негодование, испытываемые Михаилом Лыковым, бродящим по улицам Москвы. Описывая дождь, автор не посылает на небо тучи, он только берет зонтик и говорит: «Подождем, выглетнет и солнце».

В тот день, скажем кстати, шел всамделишный, не аллегорический дождь. Он заставлял первых модниц и модников, прерывавших ровную шинельную повесть московских улиц справками о быте «разлагающейся» Европы, в виде заграничных пальто и шляп, то и дело прятаться в подъездах. Промокший Михаил (хотя ему вряд ли стоило оберегать свой весьма потрепанный костюм) тоже забрался в одну из подворотен Неглинного проезда. Там уже находился некий человек, достаточно забавно одетый: сочетание элегантнейшего пиджака в талию с латаными штiblетами и с военным шлемом свидетельствовало о «периоде начального накопления». Все это дополнялось портретом Маркса в петлице и рыжими лайковыми перчатками. Модный пиджак субъекта раздражил Михаила, как раздражали его магазины ювелиров или катание на «дутых», как раздражала его московская улица, откровенно наслаждающаяся примитивными благами жизни после четырех лет подневольного героизма. Слово «нэпман» тогда еще не выходило за пределы газет, поэтому Михаилу пришлось для выражения своих чувств воспользоваться несовременным оборотом:

— Хапун паршивый!

Субъект, столь неделикатно Михаилом определенный, испуганно оглянулся. Ведь никто не знал тогда в точности, что такое нэп. Толкование его некоторыми людьми, сохранившими от прежних лет не одни только кожаные куртки, было достаточно своеобразным. Таким образом, запутанностью политиче-

ской ситуации, а не природной пугливостью следует объяснить тревожный полуборот элегантного гражданина, готового уже предать свой пиджак немилосердному дождю. Но стоило ему повернуться, как волнение перешло на физиономию Михаила. Наш герой сразу признал в обиженном им человеке своего товарища по полку Арсения Вогау.

— Ты! Однако...

— Однако, и ты!..

Добродушнейший хохот и дружеское рукопожатие завершили эту живописную сцену в подворотне. Около года совместной боевой жизни, нудных стоянок и рискованных разведок достаточно весили, чтобы перетянуть и обидность словечка «хапу», и возмутительность явно нетрудового костюма. Вспомнили различные эпизоды того года. Потом перешли к настоящему. Михаил поделился с Вогау своими мечтами быть направленным куда-нибудь за границу на подпольную работу. Вогау едва сдержал презрительную усмешку:

— Это, брат, не по сезону. Прости меня, в Харькове ты, видно, отстал от событий. У нас теперь такая каша варится, почище твоей агитации. Знаешь что, пойдем-ка вместе поужинаем. Я тебе предложу кое-что действительно интересное.

Предложение заинтересовало Михаила. Кто знает, может быть, пиджак Вогау только описка? Ведь он был всегда хорошим товарищем. Не трус. Вместе под Перекопом дрались. Правда, в партии Вогау никогда не состоял, предпочитая «сочувствие», но это не помешало ему храбростью и преданностью превзойти многих партийных. Словом, Вогау, если снять с него столь возмутивший Михаила пиджак, если пропустить мимо ушей несколько странных реплик, заслуживал всяческого доверия. Наконец, Михаил слишком стосковался по активной работе, чтобы, даже не выслушав, отклонить таинственное предложение. Не задумываясь, куда именно они идут, Михаил опомнился, лишь когда услужливый швейцар распахнул перед ними дверь, на которой значилось «Артистик ресторан Лиссабон. Программа. Ужины а-ля-карт. Отдельные кабинеты». Вместо скромной столовой Вогау завел его в спекулянтский кабак. Нет, видно, пиджак не являлся случайностью! Михаил остановился. К моральным соображениям примешивались и материальные. Он мрачно заявил:

— Нет, я не пойду. Противно, да и денег у меня нет.

Вогау не смутился. Как опытный соблазнитель — девушку, он обнял за талию Михаила, подталкивая его вперед, на встречу носовым звукам, звону стаканов, пару.

— Ерунда! У меня от «лимонов» карманы рвутся. Даже хорошо, если здесь разгрузят, а то они мне весь фасон испортят. У меня, брат, пиджак берлинский. Один из Внешторга привез. Здорово спит?

Сколько раз она уже описана, эта тривиальная история падения юной скромницы! Право же, мы можем опустить все паузы и необходимые душевные колебания, отделявшие швейцарскую от круглого столика под искусственной пальмой, куда привел нашего героя новый его покровитель. Мы можем даже прослушать жизнерадостный басок Вогау, разрезавший пар буженины и дамских, усиленно потевших боков: «Эй, гражданин-услужающий»... Но мы не в силах обойти молчанием жесткой манишки и великолепного фрака этого самого гражданина, его традиционного облачения, сгиба в поясище и шепотка, которые не могли не остановить внимание сына киевского официанта.

Фраки! Задумались ли вы когда-нибудь, уважаемые читатели, соучастники грандиозной эпопеи, партийные и беспартийные читатели, уделяющие немало времени раздумьям над мировой революцией, над грядущей пролетарской культурой, над обитаемостью Марса и над другими великими проблемами, задумались ли вы когда-нибудь над судьбой этих маскарадных вериг, над птичьим костюмом, обязательным для дипломатов и лакеев, над таинственным языком нелепейших фалд? Они исчезли в семнадцатом году, наравне с другими вещами, большими и малыми, с «народолюбием» интеллигенции, с доморощенными файф-о-клоками у Трамбле, с фельетонами «Русского слова», с территориальным пафосом «единой и неделимой». Прошло четыре года, каких, читатели! Сколько проявлено было героизма, безумия, зверства и подлости! Сколько великих идей родилось и умерло! Были и незабываемые радио Чичерина, и бои за Перекоп, и сотни тысяч детских гробов, были вера, мука, смерть. Кто же помнил тогда о фраках? Казалось, все взрыто, до самого пупа земли, все заново перепахано, от старого не осталось и следа. Прошло четыре года. В один (как назвать его, прекрасным или мерзким? — назовем его лучше «будничным»), в один будничный день появился крохотный декретик, несколько строк под заго-

ловком «Действия и распоряжения правительства РСФСР», и тотчас чудодейственно из-под земли выскочили эти живые покойники, более долговечные, чем многие, большие и малые, вещи. Никто не знает, как провели они эти годы, как, спрятавшись от посторонних глаз, хитро выжидали своего дня, уверенные, что рано или поздно, но обязательно понадобятся. Они не превратились ни в пыльные тряпки, ни в вороньи пугала. Поджав осторожно свои фалды, они пересидели безумье и вдохновение. Они появились в тот самый день, когда несколько строчек милостиво амнистировали их. Читатели, вы ведь в детские годы учили, что круглую форму нашей планеты подтверждает один несколько утомительный эксперимент: если выйти из Калуги на восток, то в итоге, в последнем итоге придется вернуться все в ту же Калугу, только с запада. Неужели вы можете спокойно смотреть на ффраки? Неужели злость, которая взметала руки нашего героя в ресторане «Лисабон», не понятна вам?

Михаил в любом предмете этого банальнейшего учреждения, одушевленном или неодушевленном, мог прочесть все ту же таинственную историю, которая еще ждет своего поэта. Обливая суховатую буженину сентиментальным соусом, цыгане главным образом носами передавали исключительную страсть и ревность. «В Самарканд поеду я», — выползло томно из мясистого носа одной Вари или Шуры, особы лет пятидесяти, с темпераментом, не признающим никаких, ни бальзаковских, ни других ограничений. И посетители, для которых Самарканд обычно являлся лишь сухим наименованием, пунктом на карте, партией перепроданного хлопка или суммой за сбытые туда мешки, распускались, пофыркивая и румянясь, как масло на сковородке. Цыгане не отличались естественной немотой ффраков. Они могли бы за сотню «лимонов» изложить свою весьма поучительную историю. Когда были закрыты рестораны, цыгане попали под покровительство Музо в качестве исполнителей народных песен. Из Музо это кочующее издавна племя перешло в Тео, выделившее особую «секцию эстрады». Путь из Тео шел дальше, не в Самарканд, но в Наркомнац, где цыгане получали право жить, дышать и даже поглощать скромные пайки, как культурные деятели одного из национальных меньшинств. Путешествовали они в сопровождении кипы «исходящих». Потом? Но потом вышел крохотный декретик,

и толстоногая Шура (а может быть, Варя) вернулась в «Лиссабон», ибо не одним хлебом сыт человек: кроме буженины ему нужны искусство, страсть, ревность.

Михаилу показалось, что он никуда не уходил из «Континенталя». Не было ни прекрасной ночи в бывших номерах «Скутари», ни юношеского сумасшествия перед витриной с фотографиями на улице полумертвого Ростова, ничего! Он был настолько подвластен этой заколдованной атмосфере, отдававшей его ухо на милость буфетчика, придававшей манишке «гражданина-услужающего» тональность папашиной, что голос Вогау даже не доходил до него. Буженина с капустой и херес поглощались механически. Проникновение в детскую темень неизменно укрепляло жесткость и злобность Михаила, однако облагораживая эти чувства. Так было и теперь. Час тому назад, в подворотне, его можно было заподозрить в некоторой неискренности, можно было сказать: «Ну, ну, гражданин, без аранства, начистую, скажите нам, нет ли в вашем негодовании простой зависти? Модный пиджачок на чужих плечах кажется вам отвратительным. А если бы он оказался на ваших?..» Для подобных подозрений тогда могло найтись место. Другое дело теперь. Подышав «континенталевским» духом, Михаил набрался лучшего, что было в этом далеко не обворожительном человеке: непримиримости, той непримиримости, которая одна могла складывать его пролазливые руки в горделивый знак отказа. Ни пиджаком, ни «лимонами», ни всеми новорожденными витринами Кузнецкого или Петровки его теперь нельзя было подкупить. Но если бы сейчас, за стеклянными дверями с надписью «программа, а-ля-карт, отдельные кабинеты», среди сплошного, холодного дождя какой-нибудь сумасброд крикнул бы «смерть Лиссабону!», «смерть пиджакам!», «смерть всему!», если бы под этим ультратрезвым дождем и ему наперекор зажглись бы костры бесплодных самосжигателей, забыв сразу и о своем долге и о молодости, о партбилете в кармане, о честолюбии в сердце, полный одной великой непримиримости, Михаил нашел бы свое место, свое мнение, свой конец.

Конечно, знай Арсений Вогау об этих чувствах, он бы не трудился зря. Разве легко было изложить наивному провинциалу, профану, до сих пор хранящему ароматец воблы и пороха пережитой эпохи, все преимущества работы в деликатном и сложном учреждении, именуемом «Центропосторгом»? Вогау

принимал молчание Михаила за восторг перед щедростью, перед разнообразием культуры, совмещающей и носовые завывания цыганки, и subtilность хереса, и перспективы, раскрываемые его речами. Он чувствовал себя пророком, наставником, смазывая для успеха не только свой голос, но и фантазию испанско-московским напитком. Он не забывал подливать и Михаилу. Четвертая бутылка уже была прикончена. Вогау начинал переходить из мира метрической системы в иной, более высокий, — головокружительных цифр и поэтического тщеславия.

— Ты, Лыков, не понимаешь, где пульс! Мы вот вчера перепродали кооперативу «Электрик», он же единолично Оська Лямчик, бязь «Текстиля». А все счета — «Госторгу» в Баку. По четыреста «лимонов» за подпись, плюс ужин две тысячи. Значит, чистой двести сотен. Дели на три. По семидесяти тысяч на рыло. Съел? А если ты войдешь, мы весь мир перекувырнем. Нам партийный прямо-таки до зарезу нужен. Я, сам знаешь, не разиня. Ты тоже хвост сосать не станешь. Плюс партбилет. Да ведь мы всю Ресефсер купим. У меня есть овчины на примете. Значит, первым делом овчины обрабатываем... Потом заграничные мотоциклы. Шик пойдет. Сами в Берлин катнем. На самолете. Чтобы вниз поплевывать. Всех девчонок перепробуем. Шампанское с утра, вместо чая. Идет? Ну скажи — идет? Тряхнем, брат, стариной! Пиф-паф! Дашь такую-сякую!..

Вогау в экзальтации схватил Михаила за плечо, другой рукой, как боевым знаменем, помахивая пустой бутылкой. Так как «лимоны» выпирали не только из карманов Вогау, но также из всех его крайне неуравновешенных жестов, столик, за которым сидели наши собутыльники, стал притягивать к себе различные упования. «Гражданин-служающий» ловко менял пустую посудину на полную. Варя (скажем, что это была Варя, а не Шура) перенесла и путешествие в Самарканд, и более ощутимые телесные мячи своей соблазнительной комплекции поближе к центру событий. Наконец, неизвестный субъект, воспользовавшись минутой замешательства, слотнул два бокала хереса, один за «вечную молодость», другой за «цветание красного купечества». Словом, собеседники отнюдь не чувствовали себя одиноками. Несмотря на это, Михаил, когда Вогау, закончив свою речь, схватил его за плечо, поднял глаза, еще более обычного меланхоличны, и спокойно ответил:

— Хапун! Я тебя там в точности определил. И притом сволочь!

Вогау не смутился. Нет, они не отличаются обидчивостью, наши юные хапуны! Зная цену вещам, даже подержанным, они искренне презирают слова. В подворотне Вогау струсил. Теперь он не боялся Михаила. Во-первых, это был как-никак его товарищ, во-вторых, оба они находились в стадии пятой бутылки, то есть бесстрашия. Хапун? Пусть хапун. Между друзьями и не то говорится. Поэтому вместо оскорблений он приступил к деловой аргументации.

— Ругаться ты после успеешь. Лучше подумай. Что ты — на восемь рабфаковских рублей проживешь? Это, может, и хорошо голодать, когда все голодают. А теперь другая ориентация. В «Лиссабон» небось захочется. Пожалуйста! Мандатов не требуется. Только денежки. Я тебе предлагаю: сядем за овчины. Да с партийностью мы это в два счета прикончим. И кутнем же тогда...

Михаил уже не сдерживал своих чувств. Затравленный всем — светом, романсами, балалайкой, вином, апломбом Вогау, — он злобно щерился. Он попробовал было, хватаясь за логику прошлого, крикнуть этому нахальному предателю, еще не успевшему заменить модной каскеткой военного шлема:

— Что же, мы за это дрались?..

Но добродушнейшая улыбка показала ему, что логикой больше не проживешь. Для Вогау все было просто:

— Тогда одно, а теперь другое. Разве я против революции? Да она наша кормилица! Прежде здесь всякие ваши сиятельства зады полировали. А теперь сиятельства в Константинополе сапоги ваксят. Мы вот в «Лиссабончике» херес попиваем. Ты меня, Лыков, выражениями не проберешь. Я, брат, сам патриот. Кажется, не дезертировал. Воевать так воевать. Паек так паек. Я на все согласен. А если «Лиссабон» открывают, — пожалуйста, и для меня найдется местечко. Небольшое, я ведь худой: шесть пудов, не больше. Словом, Лыков, брось ломаться! Давай дело делать!..

— Врешь, сволочь! Тебя к стенке следует за подобные штуки.

Презирая пустые слова, Вогау, однако, уважал названия вполне реальных институтов, вроде «стенки», тем более произнесенные в публичном месте. В одну минуту его ноги, затекшие от хереса, прониклись сознанием долга и подняли груз-

ный корпус. За перегородкой был спешно оплачен счет с придаточными, и, превосходя все трюки фильма с погонями, единым духом Вогау пронесся от столика «Лиссабона», через две пустых улицы и проходной двор, в свою комнату. Михаил остался один, среди явного недоброжелательства отодвинутых стаканов, замолкшей Вари и напуганных, но в то же время наглых взглядов «граждан-услугающих». Он попробовал еще раз резюмировать свои чувства возгласом:

— Сволочи!..

Но тогда один из официантов подошел к нему и хоть вежливо, однако настойчиво, чувствуя за собой как строки декрета, так и кулаки коллег, заявил:

— Извольте, гражданин, не скандалить. Это вам не семнадцатый...

Знаменитое изречение, новая поговорка — при каких только случаях не употребляли ее! Ею пытались унять и пьяного буяна, и благородного мечтателя. Она клеймила и воровство, и беспорядок, и неутоленный голод справедливости. Михаил, растерянный от всей новизны и непонятности обстановки, может быть и от вина, воспринял ее по существу. Что ему делать? Пойти в милицию или в райком с сообщением о проделках Вогау? Но черт их всех поймет, что они придумали с этой новой политикой! Теперь действительно не семнадцатый. Откуда Михаил знает, где кончается узаконенная торговля и где начинаются злоупотребления. Его высмеют. Кричать? Буянить? Сорвать душу на этой кабацкой мелюзге?

Столь мало свойственный Михаилу такт удержал его на сей раз от скандала. Может быть, в этом сыграло роль пугливое поскрипывание манишки «гражданина-услугающего», сразу напомнившее нашему герою гнусный душок кабацкого донкихотства. Может быть, слишком целомудренна и горька была его скорбь. Так или иначе, он сдержался. Молча вышел он, жалкий, ободранный, под злое пришептывание всех — и хозяина, и официантов, и гостей. Спустившись вниз, он услышал, как прерванное его выкриками веселье возобновилось. Варя снова обещала любовь, и чокание сгущалось в ликующий набат.

Дождь все шел. Как хорошо теперь понимал его Михаил! Унылый дождь, один не разделяющий восторгов этой новой московской ночи с разухабистыми голосами, с торгующими

до трех часов ночи обжорными лавками, с лихачами, с нищенками, с пестротой и назойливостью восточного базара. Ночь, лишенная недавней молчаливости и сосредоточенности, пустячная, жалкая, дребеденная ночь. Дождь в ней был таким же чужаком, непрошеным пришельцем, как и Михаил. Наш герой долго бродил по улицам. Он не знал, куда ему деться. Пойти домой, рассказать обо всем Артему? Но Артем поморщится и с жестким шорохом газетного листа вытряхнет из себя сто раз читанные утешения: «Да, это тяжело, но необходимо; впрочем, скоро мы перейдем в наступление». Разве газета могла утешить взыскующее сердце? Он не мог сейчас думать. Он только болел этим жестоким и темным разуверением, как когда-то болел тифом. Его блуждание носило маниакальный характер, а отрывистый бессмысленный шепот о чем-то предательстве походил на бред. Причем не было ни единомышленника, ни просто сострадательной души, никого, кроме дождя. Дождь не только пропитывал насквозь одежду, он входил в Михаила. Вскоре глаза нашего героя стыдливо и не приметно присоединились к нему.

Почему этого никто не видел? Почему потом никто не кинул на чашу весьма нервных весов правосудия всей тяжести этих двух или трех, в отличие от дождевых, едко соленых капель, более убедительных, нежели все справки о классовом происхождении и все ордена?

Так называемое «разложение»

Размеров явлений не следует преувеличивать. Дождь, даже упорный дождь описанной нами ночи, еще не означает наводнения. Две-три слезинки, пророненные Михаилом, как бы искренни они ни были, являлись, увы, меньшей порукой его стойкости и выдержанности, нежели суховатое газетное молчание Артема. Есть множество неприятных подробностей, окружающих нас, от назойливого рисунка обоев до усмирения индусов рабочим правительством Великобритании. Однако они все же не мешают нам жить с большим или меньшим душевным комфортом, работать и, в положенные для этого часы,

веселиться. Артем даже не знал о существовании «Лиссабона», и это невежество было благодетельным. Конечно, он слышал о так называемых «гримасах нэпа». Но кто не слышал о чуме в Индии? Он дышал здоровым рабочим духом своей школы, жил партийными кампаниями, солнцем над Девичьим полем, ходьбой, смехом. Инфекционная болезнь поражает не всякого. Суровая и грубоватая честность, прирожденная скромность скрепляли тот, далеко не изысканный, материал, из которого был сделан Артем. Они вели его к коммунизму, к пробиркам химика или к циркулю инженера, к загару, к благотворному поту спорта. Закрывая для него лихорадочные тропики фантазии и искусства, они одновременно предохраняли его благородное плебейское сердце от расположенных по соседству с кактусами и пальмами заповедников преступления. Да об этом и говорить не стоит. На что у папаша был куцый умишко, но и он понимал иммунитет своего первенца.

Возможно, что, дойдя до двадцатой главы, читатели уже начнут разбираться в своеобразном расписании больших катастроф и малых скандалов, неизменно прерывающих жизнь нашего героя, ибо, при всей хаотичности, известная, пусть уродливая, логика руководила ими. Ясно, что Михаил должен был украсть серебряный молочник (на разумном выборе вещи мы, впрочем, не настаиваем), чтобы потом выкинуть его. Ясно, что «Лиссабон» довел его прежде всего до слез. Не менее ясно, что дня через три он свернул на Рождественку и совершенно бессмысленно простоял несколько минут у стеклянной двери ресторана, причем место злости заняла любознательность естествоиспытателя, ассимилирующего неизвестные ему дотолее явления. Ясно, наконец, что флора и фауна «Лиссабона» больше не выходили из его головы. Правда, он пытался жить вне этого. Он даже принялся за занятия. На всякий случай он приступил к изучению восточной политики Советской власти. Но все это оставалось придаточным. Смех Вогау не давал ему покоя. Почему он так смеялся? Очевидно, затоны Центропосторга отличались подлинно веселящими свойствами. Там шла игра, и крупная. Предприятие с бязью и с Оськой Лямчиком по отчаянности, по бесшабашности напоминало заговор. Конечно, Вогау негодяй. Но ему, по крайней мере, не скучно. Это уже много. Ведь Михаилу скучно в серых аудиториях, обсыпаящих и локти и душу едкой известкой, очень скучно, нестерпимо!

Прирожденная мнительность, заставлявшая его во всем, начиная от приветливости прохожего и кончая сообщениями о теории Эйнштейна, видеть ловкие трюки, подвохи, попытки обойти и надуть, эта нездоровая подозрительность теперь могла вволю разойтись. Экономический и психологический перелом, принесший вместо известного расположения вещей переполох, наталкивал любые руки на осторожное ощупывание окружающего мира. Снова вера из предмета широкого потребления стала прекрасным украшением мудрецов и слабоумных. Необходимые специи, в виде критицизма, даже скептицизма, начали многими употребляться в неограниченном количестве и без питательных блюд. Эти склонности являлись то благотельными, то пагубными. Несомненно, что, брошенные в иные, чересчур спокойные и доверчивые сердца, они сыграли роль дрожжей. Им мы будем обязаны появлением грядущих ученых, поэтов и бунтарей (если только таковые появятся у нас). Они перевели глаза не одной тысячи от примитивного катехизиса лозунгов к библиотечным полкам. Они окрестили блаженных или попросту душевноленивых, продолжавших по старинке на собраниях односложными «так» и «так» боготворить данного судьбой оратора, презрительной кличкой «такельщики». Но они же повысили статистику преступности, дезертирства, самоубийств, как сильно действующие медикаменты, взятые для чересчур слабого организма.

Мы останавливаемся на этом скептическом поветрии, желая тем самым облегчить работу наших критиков. Дело в том, что сами мы являемся тесно связанными с этой эпохой. Наши сатирические труды, в частности описание необычайных походов мексиканца Хулио Хуренито, встретили столь горячий прием исключительно благодаря отмеченному нами умонастроению. Появись они раньше или позже, ими заинтересовались бы редкие единомышленники или профессионалы. Но то были годы, когда еще не сошедшая с небес (и с уличных заборов) каноническая улыбка правоверия требовала злого, пусть поверхностного, однако едкого смеха.

Поэтому наши труды усиленно читаются и не менее усиленно поносятся наиболее благонамеренными критиками. «Смеяться легко», говорят они, «легко описывать теневые стороны современности. Но вы не видите всего величия нового класса. Поэтому вас не следует печатать. Это растление душ и недопустимое расходование бумаги, которая может быть с большей

пользой употреблена на наши высокооптимистические труды». Со всей скромностью, хорошо учитывая ограниченность нашего дарования и соблюдая пропорции, мы ответим, что подобные речи уже были известны русской литературе. Не они ли, произносимые тоже благонамеренным (хоть и духовным, по условиям того времени) лицом, довели великого сатирика до безумия, а рукопись его до надежнейшего из всех цензоров — огня? Мы ответим им, что смеяться очень трудно среди людей, привыкших сызмальства считать насмешливую улыбку за приметку неблагонадежности, даже преступности. Мы превосходно сознаем, что в СССР много высокого и героического, достойного подлинного вдохновения и высокого пафоса. Если в наших книгах так называемые «отрицательные типы» отличаются большей выразительностью, то в этом следует видеть отсутствие универсальности, ограниченность человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы мы хотели вместо обличений наших книг прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека! Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать нас.

Мы же предпочитаем отдаваться работе, к которой чувствуем прирожденную склонность. Не дожидаясь часа, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, мы хотим рассказать современникам историю его брата. Мы можем успокоить наших читателей: мы тщательно оберегаем наше жилище от духовных особ и, живя в двадцатом веке, мы не подвержены соблазну каминов. Таким образом, история Михаила Лыкова, тяжелая и горькая, будет доведена нами до конца.

Не теряя времени, мы должны теперь возвратиться к нашему герою. Подобно отмеченным критикам, он подозревал всех. В своих товарищах он видел неудачливых карьеристов. Когда кто-либо из них говорил: «Я — рабочий», — Михаил язвительно морщился. Хорош рабочий! Разве такой вернется когда-нибудь к станку? Вскочив на одну ступеньку выше, разве он спустится вниз? Никогда! «Рабочий» для него лишь почетный ярлык, звание, как прежде «дворянин». Подозрения его шли дальше. Любую шероховатость нового распорядка, сложного и мало кому понятного, он учитывал, как доказательство лицемерия. Все, начиная от Генуэзской конференции и кончая рекламами, которыми один кондитерский трест старался забить другой, казалось ему признанием краха, сконфуженно покрываемым старомодными фразами. Он жадно выслеживал широкие замашки и

не вполне доброкачественное жуирство каких-нибудь, хоть и второразрядных, однако достаточно для этого заметных партийных. Он расширял свою подозрительность до обвинения всей партии. Он был нафарширован злобными «почему?». Почему Чичерин дружелюбно беседовал с кардиналами? Почему спецы и просто хапуны, вроде Вогау, катаются в автомобилях? Почему школы стали снова платными? Почему спальные вагоны полны надушенными дамочками, едущими в Ялту? Ответы, как бы толковы они ни были, его не удовлетворяли. Проходя в полночь мимо магазина Моссельпрома, он остапавливался и подолгу разглядывал смакующие жизнь физиономии покупателей, парадные люстры, семгу и сигары, неведомый мир, Индию средневекового мореплавателя, разглядывал без досады, внимательно и подробно, как бы проверяя их реальность.

Подозрительность вызывала озлобленность. Привычка ставить себя в центре событий сказывалась и здесь: это его обманули, именно его, Михаила Лыкова! Его заставили сражаться, голодать, ходить в штаны, хворать сыпняком, и все ради того, чтобы одни покупатели семги сменились другими, ничем не отличающимися от прежних, то есть с такими же мутными глазами и розовым колером излюбленной ими рыбины. Мало занятый науками, он всецело был отдан уличным соблазнам: запахам английского «кепстена», который покуривали в коротеньких трубочках спецы, и «шипра» спецовских половин, витринам на Кузнецком, где под портретом Предреввоенсовета блистала полная обмундировка денди с Пикадилли, от замшевой шляпы до шелковых платков цвета «танго», великорусским хорам и ароматам почек в мадере, вылетавшим из пивных, балансированию задами воскресших кокоток, кондитерским, театральным разездам, огням казино. Каждый подъезд поучал его новой мудрости, в точности повторяя речи Вогау.

Этот хапун как-то прошел мимо Михаила под ручку с дамой, в спортивном костюме, весело пофыркивая, розовостью и жизнеобилием напоминая молодого англичанина. Но этим не ограничивались уроки. Михаилу пришлось встретиться и с Дышкиным, бывшим сослуживцем по киевскому собесу, тогда регистрировавшим бумаги, а теперь воротилой треста «Северопенька», обладающим автомобилем «ройлс» и породистой борзой, которая важно заседала рядом с шофером. Дышкин снисходительно одарил нашего героя рассказом о своей недавней поездке в Гур-

зуб, с пикантными дамочками, пикниками и вообще «недурственным сезоном». В студенческой столовой, где Михаил обедал, что ни день передавались, хоть и точные, то есть с фамилиями и учреждениями, но все же фантастические истории об очередном герое, променявшем честную выучку на неповский азарт. Говорили об этом не то как о несчастном случае, ожидая общего соболезнования: «Еще один свихнулся», не то как о счастливом выигрыше: «Повезло человеку!» Разве в морали было дело? Факты учили Михаила, учили до одурения, до тошноты. А ведь он был далеко не тупым учеником.

Кругом шла игра. Смелые и счастливые выигрывали. Ставкой (как, впрочем, и при всякой крупной игре) являлась жизнь, ибо нередко Чека, а впоследствии ее новое воплощение, то есть Гепеу, неожиданно прерывали повесть о счастливчике металлическим акцентом «высшей меры». Мог ли Михаил удержаться, не подойти к зеленому сукну? Если и были колебания, то это лишь показывает, что Октябрь и годы гражданской войны не случайно значились в биографии Михаила, что за свои последние грехи он расплатился не только судебной карой, но прежде всего неделями блужданий среди огней Неглинной и сырой мгlistой типины москворецких набережных, блужданий, мучительность которых трудно передать разумными словами, не прибегая к звериному вою или рыку.

На политическом жаргоне эти недели следовало бы назвать «разложением». Подобно мясу, в душный предгрозовой день разлагается, судя по отчетам газет, живой человек, сначала утрачивая идейность, потом различные гражданские признаки, наконец начальную человеческую честность, эту третьесортную добродетель, не обязательную ни для гениев, ни для истории, но строго необходимую для третьесортных граждан независимо от политического строя. Мы должны, однако, несколько усложнить понимание этого распространенного процесса, напомним о телескопе, который недаром услаждал детские глазенки, о коте Барсе, умершем далеко не естественной смертью, и о многом ином. При виде стойкости Артема, не довольствуясь легкими социальными обобщениями, мы должны углубиться в пущи евгеники, начать гадать, что бы такое могло занимать покойных Якова Лыкова и его супругу в ночь зачатия? В каком настроении находилась матушка, вынашивая такого сына? Пожалуй, кто-нибудь из киевских старожиллов напомнит нам, что в ту весну было сильное наводнение и четыре пожара на

Демиевке. И все же эти догадки мало помогут. Остается ограничиться утверждением, что характер Михаила сыграл в его судьбе роль не меньшую, нежели исторический антураж. Можно даже сказать, что герой наш начал разлагаться (если уж необходимо употребить этот сильно пахнувший термин) с младенческого возраста, причем годы подъема, опустошив душу, значительно облегчили дальнейшую работу соответствующих бактерий. Стреляя в крохотного голубка на крыше мазанки, Михаил уже был настолько легким и пустым, что остается только дивиться, как это он сразу не принял предложения Вогау.

Глаза, коричневые глаза, что они должны были выражать по замыслу художника? Какая человеческая тоска ютилась под жестким чубом? Нет, жизнь все же много сложнее, нежели говорят о ней газетные отчеты!

— Что ж ты, Бромберг, тоже спекульнул? — спросил как-то Михаил своего товарища, увидав на этом честном рабфаковце, золотушном и мечтательном бедняке, шикарный ульстер.

Бромберг обиделся.

— Ничего подобного! Я тебе не Рыдзвин. Жить как-нибудь нужно? Я сделал совершенно чистое дело. Знаешь Помжерин, — комитет помощи жертвам интервенции и контрреволюции? Так вот они посылают агентов с марками. Очень художественные марки. Прямо из Третьяковки. Смотреть и то удовольствие! Я съездил к себе в Витебск. Это даже с идейной стороны завоевание. Что мне осталось? Двадцать процентов, минус дорога и расходы. Почти что для комитета работал. Но зато какая же работа!..

Бромберг был много осторожнее и хитрее Вогау. Навоз, названный золотом, для поэтической души тем самым теряет часть своего неприятного аромата. Кроме того, между ночью в «Лиссабоне» и беседой с Бромбергом лежали три недели, горячие и сухие, как пески пустыни. Не удивительно, что Михаил, поговорив о зачете, о большом студенческом митинге, посвященном «смычке с деревней», в конце как бы невзначай спросил:

— А ты не знаешь, этот комитет еще набирает представителей? Здесь товарищ один, из Киева. Голодает, бедняга. Вот бы его туда...

Клеение марок

Пришлось, однако, в поисках рекомендации признаться Бромбергу. Более того, пришлось, отдавшись всецело под его покровительство, вместе с ним выехать с Виндавского, хотя это был явный крюк. (Ведь бесплатные билеты раздобыл все тот же Бромберг, у которого брат промышлял в Наркомпути.) Ехали они в жестком. Осторожный Бромберг, предвидя дорожную грязь и подозрительность провинции, оставил свой ульстер в Москве. Ели тухловатую колбасу, причем всю дорогу Бромберг жаловался на желудочные рези. Михаилу он успел порядком надоест, тем паче что приподнятое, даже лихорадочное состояние нашего героя, решившего наконец-то отыграться, требовало скорее уединения, нежели разговоров о пищеварении. Поэтому расставанию, достаточно сухому, имевшему место на хлопкой платформе Новых Сокольников, он в душе обрадовался. На прощание Бромберг, схватившись за живот, все же не обделил его товарищеским напутствием:

— Ты того... клей!

Михаил ничего не ответил: он знал, куда едет и зачем.

Оставшись один, он предался фантазиям. Кто это выдумал, что за деньги нельзя всего иметь? Вероятно, те слюнтя, как их, — да, «идеалисты», — словом, из сочинений Куно Фишера. В Одессе, кажется, тоже сезон, то есть дамочки, может быть и пикники, Михаил хотел бы сейчас сжимать ручку какой-нибудь попикантной. У моря. Больно сжимать. Чтобы скрипка при этом безумствовала. Песни — одно хамство. Для мужиков. Хорошо, когда — скрипка и без паскудных слов. Если душа зудит, какие тут могут быть слова? Вина бы при этом, да покрепче! И ручку сжимать, чтобы закричала... Впрочем, все это на сладкое. Потом. Раньше всего толкнусь в губполитпросвет. Комсомольцы. Славные ребята. На таких можно положиться. Скорей бы! До чего медленно тащится поезд. Кругом одна паршь. Болото. Спички здесь делают. Спички — тоже отсталость. Сразу бы электричеством чиркать. Да ползи ты, чугузная кляча!..

В интересах справедливости следует отметить, что ускоренный поезд 973 шел весьма корректно, запаздывая не более чем на час-полтора. Таким образом, хулы Михаила являлись следствием его нетерпеливости, доведшей руки нашего героя до

безобразия — они сорвали со стенки какое-то постановление, что обошлось Михаилу в рубль золотом, тотчас взысканный бдительным кондуктором.

Как бились у слезящихся стекол руки Михаила, как откликались огни его глаз на скудные огни семафоров редких станций Полесья, крупных, просеянных сквозе туман звезд! Нет, не нашей ломовой прозой описывать подобные грозовые красоты. Даже засыпая, он не разлучался ни с напряженностью своих мечтаний, ни с небольшим потертым саквояжем, купленным за весьма скромную сумму на Смоленском рынке, наполненным не бельем, но духовным, исключительно духовным багажом.

В Гомеле он вышел подышать приятной сыростью теплого вечерка, традиционной атмосферой узловых станций, с ее законченной лихорадкой, с эпической грустью и с нервирующей разноголосицей звонков, свистков, хриплых выкриков. Кажется, более созвучной ему обстановки нельзя было придумать. Он пошел в буфет, увлеченный и торопливой гурьбой пассажиров и соблазнительными запахами. Потные пирожки просились под поцелуи скромных советских служащих и мещаночек. Для аппетита и возможности граждан, хоть лишенных по Конституции СССР активного и пассивного избирательных прав (как прибегающие к эксплуатации чужого труда), но зато обладающих многими иными правами, имелись рассольник с потрохами, котлеты отбивные телячьи с гарниром и даже гусь с яблоками. На большом затуманенном зеркале рядом с рекламами старого литовского меда и папирос «Красный дипломат» красовался поучительный лозунг, очевидно написанный еще в то время, когда и буфет и гусь находились под запретом, в зале же помещался клуб, занятый бесплатной раздачей кипятка и литературы, а также инсценировками летучих продажиток. Этот лозунг своим настойчивым акцентом выдавал как особую энергию, так и плохое знание русского языка. Схватив пирожок с яблоками, Михаил вслух прочел: «Кто не трудится, тот пусть и не ест», — прочел спокойно и деловито. Форма, конечно же, его, чуждого всякого лингвистического пуризма, не могла рассмешить. Но и вся ироничность подобной сентенции, осеняющей отбивные котлеты и гуся, никак не дошла до него. Быстрая ассимиляция — одно из типичнейших свойств современности. Убедившись в телесности нэпа, он уже без малейшего удивления, как нечто должное, воспринимал все его наиболее фантастические детали. Мудрое изречение можно, разумеется, понимать по-разному.

Оно воодушевляло октябрьских революционеров, что не мешает ему быть любимой поговоркой французских консьержек. Очевидно, некоторый смысл вложил в него и Михаил, ибо, прикончив пирожок, начинка которого, естественно, наводила мысли на гуся, приветливо улыбнулся лакомой птице, как бы говоря «до скорого свиданья, на обратном пути я тебя не обойду». Даже последующая сцена никак не могла поколебать его душевного равновесия. Крохотная нищенка, лет восьми (для кушеров собесовские фребелочки так и не выстроили своего изумительного «дворца»), прошмыгнув в зал, гнусавыми воплями стала омрачать аппетит некоего гражданина, поглощавшего котлеты с гарниром. Этот подлинно сентиментальный путешественник не рассердился, он даже протянул тарелку нищенке:

— Жри!

Официант, бормотавший нечто о кражах посуды, тарелку из рук девочки быстро вырвал и вытряхнул, точнее, вылил ее содержимое, то есть картошку с подливкой, на тряпье, заменявшее собой платице. Всем этот жест показался вполне естественным, даже маленькой нищенке, которая, опасливо поглядывая на буфетчика, стала жадно слизывать с воюющих лоскутьев густой коричневый соус. В былое время Михаил вмешался бы. Не было более верного средства вызвать его на скандал, нежели обидеть ребенка. Теперь же он равнодушно поглядывал на энергично работавший язычок девочки. Может быть, борьба за счастье всех сделала его нечувствительным к горю каждого. Оставив в сердце героя некоторую склонность к мелодраме, она устранила неудобства примитивной человеческой жалости.

Поезд стоял долго. Михаил успел изучить и прејскурант вин, и расписание поездов, и юмористические журналы в киоске. Он даже успел познакомиться с газетчицей, толстой веснушчатой девицей, бюстом и меланхоличностью глаз бутылочного цвета привлекшей нашего героя. Девица, конечно, пожаловалась на провинциальную скуку, заявив, что ужасно любит читать романы, — потупление глаз, а также порывистое содрогание бюста добавляло, что она любит их не только читать. Михаил, однако, не поддался соблазну. Ревниво сжимая саквояж, в котором покоилось счастье, а следовательно и сердца многих веснушчатых или не веснушчатых, он взглянул на ее бюст хоть с аппетитом, но стойко, как на гуся, то есть откладывая все наслаждения до обратного пути.

Дорожные разговоры, столь же неизбежно оседающие в голове путешественника, как копоть в его носу, может быть, и приятны иным бездельникам. Но нет ничего мучительней для человека, одержимого идеей, для влюбленного, подыскивающего предпочтительную форму изъяснения, для заговорщика, обдумывающего различные детали своего темного дела, для спекулянта, оперирующего фантастическими коэффициентами червонцев, долларов, кроен, нежели эти прогорклые анекдоты, рассказы о странных болезнях свояченицы, вздохи по поводу цен на дрова, среди жестяных чайников и яичной скорлупы, среди попутчиков, тупо отряхивающих с себя сон, как мокрая собака дождевую влагу, среди фантастической нелепицы обыкновеннейшего вагона.

Болезненно напрягаясь, Михаил дорисовывал план действий. Все шло великолепно, один ход неизбежно вытекал из другого, обезоруживая невидимого противника, будь то древний рок или нескромные сотрудники вездесущего рабкрина. Но имелась небольшая деталь, трагическая деталь, заставлявшая торопливые руки Михаила в изнеможении падать на колени. Как быть с маленьким кусочком картона, бережно хранимым в боковом кармане?

С виду непонятный, даже неприличный вопрос являлся последствием одной весьма критической минуты, пережитой Михаилом в уютном кабинете заведующего издательской частью Помжерина. До этой минуты было ясно, что кусочек картона благоприятствует всегда и всему. Одно магическое появление его заменяло пропуска и мандаты, делало милиционеров сентиментальными, а контролеров рассеянными. Сколько дверей он раскрыл и сколько глаз закрыл, этот крохотный билет! Его присутствие придавало мускулам Михаила наполненность и гибкость, подкрепляло надменность волос и не давало глазам расплыться в виноватом тумане. Время от времени он в тревоге хватался за карман, проверяя, на месте ли этот крохотный покровитель (подозрительный жест, который присущ и простому обывателю, проверяющему, не украли ли у него бумажник), а обнаружив, что билет цел, он улыбался. Даже при нэпе, когда воскресли иные приметы избранничества, как-то: пачки «лимонов» или просто элегантный костюм, — все равно билет оставался палкой-застукалкой. Словом, для Михаила, считавшего идеи последним, плевым делом, чем-то вроде знаменитой «точ-

ки» в глазах, которую художник ставит, когда портрет уже закончен, партбилет был большей реальностью, нежели программа. Постепенно меняя свои мечты, вместо подпольной Индии склоняясь к ресторану «Лиссабон» с Варенькой, он, однако, и не думал по доброй воле уходить из партии. Он считал, что билет им заслужен, как орден. Скорей он усомнился бы, на радость всем кретинам из Куно Фишера, в действительности своего существования, нежели в партбилете.

Так было до той минуты, когда заведующий издательской частью Помжерина, деликатно улыбаясь, спросил Михаила:

— Вы, конечно, беспартийный?

Последовавшая за этим пауза объяснялась полной растерянностью Михаила, принужденного в течение одной минуты переменить свой взгляд на партбилет, а следовательно, и на весь космос. В характере вопроса он не мог усомниться. Сколько раз таким же доверчивым голосом спрашивали его «вы, конечно, партийный?». Это даже не нуждалось в ответе, как вопрос «вы, конечно, человек честный?», обращенный к обывателю. Вдруг Михаил понял, что партбилет может быть балластом, преградой, белыми ручками пришедшего наниматься на завод интеллигента, признаком верной неподходящести. Он, конечно же, напелся:

— Да, да, беспартийный. Разумеется, беспартийный.

Однако это внесло смятение в его душу. Пока трясся вагон и попутчики громыхали над еврейскими анекдотами, он тщетно пытался уразуметь это событие и сделать из него выводы. Ежели девица «с прошлым» выдает себя за невинную отроковицу, это понятно. Но оказывается, что порой подлинной девственнице, одержимой желанием как можно скорее пасть, приходится приписывать себе несуществующие грехи, чтобы этим обнадеть кавалеров, падких на легкое и пуце смерти боящихся скандалов. Сложность ситуации доводила нашего героя до головной боли.

Уж показалась героиня всех кабаре «Одесса-мама», встречающая приезжего вместо веселых куплетов угрюмыми предметьями, разрушенными взрывами, а Михаил еще томился над той же проклятой мыслью: как быть с партийностью?

Живительный воздух города, насыщенный морской влажностью, грязью, рыбьими отбросами и чесноком, воздух города авантюристов и мечтателей, несколько успокоил его. Вместо

разгадки он удовлетворился надеждой на свою находчивость, которая должна его вывезти.

Он решил ознакомиться с городом. Проглядев «Известия», утренние и вечерние, он начал бродить по улицам, рассматривая афиши на столбах и витрины магазинов. Впечатление было весьма заурадным. Вряд ли какой-нибудь другой город так изменился за годы революции, как эта беспечная и жизнерадостная хипесница. Дело не в мертвенности порта, не в разрушенных зданиях. Разве мало резали, полосовали, обливали серной кислотой другие города? Но здесь искалеченной оказалась не только каменная оболочка. Легкомысленная Одесса, эта Манон Леско с еврейским акцентом, по-женски обаятельно занятая спекуляцией, как модница папильотками, не выдержала аскетической атмосферы правых лет. На прощание она еще одарила хмурым север некоторыми (перворазрядными) писателями, а также преступниками (предпочтительно шулерами и пантажистами), внесла в блатной словарь московских притонов ряд выражений, способных вызвать нескрываемую зависть поэтов-имажинистов, и на жесткость нового распорядка ответила беззлобной песенкой о том, как «ужасно шумно в доме Шнеерсона». Песенка эта свидетельствует лишь о фантазии одесситов, ибо тихо стало и в доме Шнеерсона, и во всем городе, тихо, прилично, уныло.

Но как бы ни был сер облик города, по которому бродил Михаил, он все же подсказывал ему великолепные жесты, внушал бодрость и веселие. Очевидно, никакие ветры, никакие декреты не успели окончательно проветрить этот питомник франтов, хвастунов и жуликов, где можно пить черный кофе, наслаждаться иностранным «дюком» и не менее иностранным небом, печатать фальшивые ассигнации, влюбляться напропалую и спорить с неповоротливым Далем.

Прогулка, вернее, разведка длилась недолго, но была чрезвычайно благотворной. Появившись около двух часов в губполитпросвете, Михаил не только забыл свои сомнения касательно партийности, но тотчас сообщил обалдевшему от неожиданности замзаву, что тот уделяет недостаточно внимания работе среди молодняка, что необходимо вообще приналечь на политграмоту, о чем Михаил уже не раз указывал в Москве. На местах дело, очевидно, обстоит совсем плохо. Михаил будет рад совместить свою деловую командировку от Помжерина с некоторой общей ревизией. Замзав сначала пробовал спорить, но

Михаил обладал неисчерпаемым запасом слов, вполне столичных и сезонных. На «разграничение функций» он немедленно ответил «борьбой с узким делячеством», на соображения об автономности УССР — конфиденциальными намеками: «объединение в порядке дня предстоящей сессии ЦИКа», на ограничение деятельности агентов Помжерина рамками добровольных пожертвований — презрительным заявлением о важности выдвигания жертв интервенции, в предвидении переговоров касательно ликвидации международных обязательств, а также длиннущими мандатами со всей мыслимой пестротой различных наводящих трепет печатей. Словом, замзав был пристыжен; будучи скромным, он чувствовал себя чуть ли не секретарем Михаила. На восемь часов вечера было назначено междуведомственное совещание для выработки новой кампании: «Все на помощь жертвам интервенции и контрреволюции».

Объяснение легкости одержанной победы следует искать не только в природной наивности бедного замзава, но и в том престиже Москвы, который делает нравственно обязательным для всего нашего обширнейшего Союза даже суждение о пьесе Бернарда Шоу, высказанное театральным рецензентом столичной газеты. Любая обмолвка или опечатка, пришедшие из центра, рождают подлинные душевные драмы. Каждый писатель спешит подкрепить свои малоубедительные произведения авторитетом Сосновского. Красные профессора, проштудировав «Экономику переходного времени», доводят своих слушателей до душевных заболеваний, заставляя их чертить самые фантастические фигуры. Что касается до милых провинциальных барышень, то они теперь не играют в фанты, но инсценируют Синклера по Мейерхольду, портя для этого (правда, и без того не действовавшие) телефонные аппараты.

На междуведомственном совещании Михаил держался более осторожно — среди двадцати присутствовавших мог оказаться какой-нибудь скептик, склонный к разоблачениям. Он произнес весьма сжатую речь о задачах Помжерина. Вполне естественно, что одесситы были потрясены. Счастливая способность Михаила придавать цифрами реальность самой неправдоподобной чепухе дала наилучшие результаты. Только представитель губфина попробовал запротестовать, но и он на сострадательный вопрос Михаила «какое впечатление произведет отказ Одессы» ничего не смог ответить, кроме угрюмого

монолог об ущербе, который претерпят гербовые марки. Михаил снисходительно заметил, что ведомственный патриотизм представителя губфина делает его близоруким в вопросах общегосударственных. Губфин раздраженно высморкался. Спор был кончен не в его пользу. Михаилу не пришлось даже вносить предложений, это сделал за него пытавшийся загладить свою халатность по отношению к молодняку и многое иное замзав губполитпросвета. Нужно ли добавить, что предложения были приняты единогласно?

На следующий день Михаил развил предельную энергию. Прежде всего он направился в редакцию местной газеты. Это была замечательная газета, нашедшая счастливое сочетание туземных сплетен с модной деловитостью столичных передовиц, ухитрявшаяся говорить о посевной площади игриво, как о неприятзательной оперетке, а обыкновенный мордобой рассматривать с глубокомыслием, достойным мирового явления. Портреты приезжих членов Коминтерна, стихи местных пролетарских авторов, лозунги, набранные жирным шрифтом, исключительное изобилие «хроники происшествий» — все это придавало ей и внешне презабавнейший характер. Наш герой умело польстил редактору, сказав, что его газета может потягаться с московской «Правдой». Вечерний выпуск вышел с подзаголовком: «Все на новый фронт. Неделя Помжерина».

В том же номере газеты сообщалось о постановлениях, принятых на вчерашнем совещании: отныне все документы, выдаваемые загсом и милицией, как-то: свидетельства о рождении, о браке, о разводе и прочие, — должны оклеиваться марками Помжерина, каждое на пятьдесят золотых копеек. Кроме того, домкомам вежливо рекомендовалось при выдаче удостоверений следовать благородному жесту.

В течение дня Михаил успел наладить также организацию литературного вечера совместно с просветительной ячейкой Губчека, причем тридцать процентов чистого сбора должны были идти на агитпункт подшефной деревни Либкнехтдорф, а остальное Помжерину. Однородное соглашение, касавшееся лотереи, было заключено Михаилом с кооперативом гормилиции. Сотрудники Губчека и милиции сами разносили по квартирам обывателей билеты — лотерейные и на вечер. Отказов, конечно, не встречалось.

Потом Михаил отправился к комсомольцам. Зная, что этих декламацией не поберешь, он слов зря не тратил, а непосред-

ственно предложил мобилизовать комсомол для успешного проведения «недели». Он еле говорил от усталости. Но гордость проделанной работы поддерживала его. Будучи всего на несколько лет старше своих слушателей, он чувствовал себя искусственным маршалом, наставляющим молодую гвардию. Здесь он был вполне своим. Все выражения, жесты, интонации этой аудитории казались ему внятными и родными. Город разделили на участки. Последние запасы марок, изображавших красноармейца, отсекающего многочисленные головы гидре интервенции, были переданы комсомольцам. (Заветный саквояж Михаила, однако, не худел, он только менял начинку, вмещая теперь кипы дензнаков.)

Заседание кончилось поздно, около двенадцати. Три комсомольца пошли проводить Михаила до «Лондонской гостиницы», куда он был вселен по распоряжению замзава губполитпросвета. Теплая ночь с редкими брызгами дождя, казавшимися брызгами моря, с запахом акации и влажного асфальта, с близостью порта, заморских фелюг и легкого контрабандного счастья располагала к лирике. Усталость Михаила еще усиливала эту потребность. Он начал говорить, сначала о мечте всех, о Москве, о ее мировой лихорадке, о съездах Советов в Большом театре, о бодрости наркомов. Комсомольцы слушали его восторженно, с тем жадным молчанием, которое впитывает и слова и душу рассказчика. Они, конечно, не подозревали, что Михаил врет, что он, например, никогда не был на том съезде, все детали которого описывал. Для них он являлся работником из центра, опытным партийцем, старшим наставником. Но и сам Михаил не воспринимал своего рассказа как ложь. Он находился в той стадии вдохновения, когда уже не ставится вопрос о протокольной правдивости, когда реальность желаемого легко затмевает все убожество существующего.

Постепенно он перешел на себя. Они давно миновали цель, то есть подъезд гостиницы. Они теперь просто бродили по бульвару, дыша влажностью воздуха. Наш герой рассказывал комсомольцам историю своей жизни. Зная не только все факты его биографии, но и различные сопровождавшие их переживания, мы, конечно, не можем разделить доверчивость его юных слушателей. Михаил ничего не сказал им ни о Шейфесе, ни о молочнике. Но все же мы считаем необходимым передать хотя бы вкратце его рассказ, ибо, греша против истины, он выразительно

передает как лирическую настроенность той ночи, так и общий уклон мечтательности Михаила.

Сначала — кризис. Выполнив свой долг в Октябре, он не понял Бреста. Его ошибку разделяли тогда и многие партийные вожди. Хотя бы Бухарин. Это была трагедия. Он пошел с левыми эсерами. Невольный грех перед революцией. Он заглянул его последующей работой. Для партии он предал все. Он писал стихи. Его считали первоклассным поэтом. Он любил искусство до самозабвения. Но, поняв, что это буржуазные штучки (Михаил именно так и сказал: «штучки»), он бросил поэзию. (Следует отметить, что Михаил обошел молчанием ночь в «Скутари».) Ради революции он оставил девушку, которая любила его. Он? Он тоже любил. Это было в Харькове прошлой весной. Дождик, теплый дождик. Но девушка не была партийной. Буржуазное воспитание, буржуазные навыки. Она не могла стать его товарищем по борьбе. Сжав зубы, он расстался. Фронт. Слышали ли вы о Перекопе? (Эта часть рассказа напоминала «скажи-ка, дядя, ведь недаром...».) Комвуз. Партийная работа, Москва. Кстати, у него была тетка в Житомире. Бедная сумасшедшая женщина. Делала ахалву (это такое лакомство). Он ее любил. Она в детстве заменяла ему мать. Ее? Ее повесили поляки. Сейчас он ездит как представитель Помжерина. Неблагодарная, тусклая работа. Конечно, он предпочел бы поехать от Коминтерна в Индию. Но что делать? Партийная дисциплина, это выше всего.

Теплый дождик ласково трепал щеки. Ветер с моря сулил удачу. Как прекрасное созвездие, над тремя комсомольцами, над этими косолапыми, наивными и честными комсомольцами, стояла их высокая молодость. Михаил молчал. «Если бы сейчас умереть», — подумал он и блаженно улыбнулся. Он не сказал этого. Он только при расставании, сжимая три руки, передал им свою взволнованность и счастье.

Двадцать пять процентов с марок, проданных учреждениям или взятых на комиссию, составляли две тысячи восемьсот шестьдесят рублей золотом. Михаил записал эту цифру, тихо, во время заседания в комиссии, проделав ряд арифметических выкладок. Но если бы сейчас, у освещенной двери «Лондонской гостиницы», перед тремя парами светящихся глаз, кто-нибудь сказал бы ему о марках, о процентах, о рублях, он удивился бы, негодуя, он крикнул бы «ложь», он пошел бы на смерть, убежденный в своей невинности.

Одесские развлечения героя

Путаница, великолепная путаница, бережно выращиваемая в кабинетах авторов трагических новелл или игривых водевилей, сколько она требует натянутых встреч, перевранных адресов, переодеваний! А у нас, в нашей обильной решительно всем стране, путаница валяется под ногами, и какая же первосортная, волосатая, самая что ни на есть натуральная!

Конечно, чтобы ознакомиться с нею, лучше покинуть столицу. В Москве живут люди обтесанные. Они сразу находят свое место. Нэп так нэп. Их бы и землетрясение не удивило. В бывшей гостинице «Метрополь» помещается 2-й Дом Советов, там коммунистические идеи, скромные биточки, непрерывные телефонные разговоры. Этого не спутаешь с гостиницей «Эрмитаж», бывшей и сущей, где останавливаются нэпманы и где нет никаких идей, только продукты «винтреста» и расстегаи. Москвичи знают, кому сказать «товарищ», кому «гражданин», а кому еще что.

Чтобы отыскать путаницу, следует уехать куда-нибудь подальше, хотя бы в облюбованную нашим героем Одессу. Там этого товара сколько угодно. Сразу же на вокзале вы услышите нищенок, путающих упраздненного «господа» с «товарищем» и «гражданина» с «баринном». Улицы все переименованы, некоторые даже дважды, так что, разыскивая приятеля-одессита, вы проблуждаете немало. Где кончается общежитие и где начинается гостиница, этого уж никто вам не скажет. Окажется у вас мало денег, вы попадете в финотдел. С червонцами приедете, чего доброго, попадете в Гепеу. Совершенно неожиданно у вас спросят на улице, занимаетесь ли вы производительным трудом? Но это не мешает всем спекулянтам «Пале-Рояля» состоять в различных профсоюзах. Молодые поэты следят за тем, чтобы цензура была строже. В угрозыске сотрудничают некоторые граждане, разыскиваемые угрозыском. Если вы попросите в ресторане бифштекс, вам обязательно дадут кефаль погречески. Если же, показав на стилизованный славянский лик, украшающий собою одну из площадей, вы полюбопытствуете, что это за удельный князь, вам ответят: «Карл Маркс». Если... Однако довольно предупреждений. Мы пишем не руководство для любителей путаницы и не путеводитель по Одессе, а историю Михаила Лыкова. О некоторых особенностях южного горо-

да мы заговорили исключительно для того, чтобы объяснить читателям, как наш герой, после трудового дня и ночной экзальтации, расставшись в 12 часов 40 минут с тремя комсомольцами, мог очутиться в 12 часов 45 минут, то есть ровно через пять минут, в зале ресторана, отданный услужливому шепоту официанта: — Рислинг Армении замечательный будет...

Войдя в честнейшее советское учреждение, Михаил оказался в ночном ресторане с музыкой. Кто же станет отрицать после этого доброкачественность расхваливаемой нами путаницы?

Трудно человеку, любящему в понятиях ясность и порядок, объяснить, чем в точности была «Лондонская гостиница». С одной стороны, как будто Дом Советов. Там жили некоторые ответственные работники, даже семейные, портфели, «примусы» и детские горшочки в коридорах свидетельствовали о скромном, духовном характере места. Приезжие, вроде Михаила, получали комнаты по ордерам. Дух военного коммунизма еще стоял в этих давно не отремонтированных комнатах. Швейцар хранил военную осанку и часто вместо «счетец» произносил «пропуск». Мандаты и телефонограммы носились по лестницам. У входа висели грозные правила, подписанные комендантом. Не хватало только пайков, револьверов и некоторых житейских затруднений (водопровод и канализация работали исправно). Словом, входя туда (днем), близорукий человек мог поверить, что, отъехав от Москвы на тысячу верст, он вернулся к двадцатому году. Мы оговорили «близорукий», ибо, обладая хорошим зрением, легко было сразу заметить и кожаный чемоданчик с заграничной наклейкой «Отель Адлон», и чей-нибудь вполне современный галстук. Нэп проник и в «Лондонскую гостиницу», но он не разрушил ее былого устройства, он прилепился, поселился по соседству, предпочел путаницу. (Так некоторые соборы хранят следы архитектуры пяти-шести веков, от романской до барокко.)

За червонец в сутки любой иностранный или отечественный спекулянт мог получить номер, причем у военнообразного швейцара находились для него вполне гражданские интонации, вплоть до старорежимного «ссс». Столовая, выдававшая борщ и мясо, легко превращалась в питейное заведение со всеми изысканными яствами, с шампанским, даже с румынами, исполнявшими фокстрот. А наверху, в номерах «ответственных», шли важные совещания, и секретарши записывали, как Одесса

реагирует на очередную наглость Керзона. Причем самое удивительное в этом — находчивость и приспособляемость людей. Возьмем того же швейцара: он никогда не предложил бы завнаробраза, зимой бегавшему в легком сквозном пальтишке, страдающему одышкой от сердечной болезни, от количества закрываемых, вследствие перехода на хозрасчет, школ, от гололедицы, ветра и лестниц — зайти в номер шестнадцатый, где работавшая со швейцаром на паевых началах Хася Цвибель, именующая себя итальянской киноэтуалью Бичей Беличели и уверявшая, что она прибыла с мандатом «южкино» для съемок, принимала мужчин, нуждавшихся в нежности и в артистическом режиме. Швейцар знал, кого спросить о курсе червонца, кого о предстоящей конференции, кого о ценах на контрабандный коньяк. Не ошибались и посетители. Казалось, все было готово для водевиля. Но ни разу ни один спекулянт не попал на совещание об английской ноте и ни один коммунист не оказался с Бичей Беличели в ночном ресторане. Все находили свое место.

Михаил, однако, попал не на ночное заседание касательно Помжерина, а прямо к румынам и к хересу. Рассеянность? О нет, далеко не рассеянность, сложность, если угодно, двойное бытие, естественная галиматья наших дней. Читатели, конечно же, заметили многообразие интересов и наклонностей нашего героя. Марки имели различное применение, дензнаки также. Словом, вкатившись в темное чистилище вестибюля, полный еще морского ветра и настороженного целомудрия комсомольских глаз, Михаил выявил такую неопределенность состояния, что даже безошибочный в оценках швейцар и тот усомнился, как его приветствовать и что предложить. Направо белесой матовостью стекол, лязгом и отрывистыми вскриками гитар, этих чувственных подружек всех забулдыг, говорил о своих преимуществах обыкновеннейший ночной ресторан. Тихая лестница вела к сосредоточенности идей, то есть к «ответственным». Десять — двадцать секунд прошло среди топотания Михаила и растерянности швейцара. После чего Михаил решительно завернул направо. Час спустя он был уже пьян.

Пил он с каким-то субъектом, отрекомендовавшимся «красным купцом» из Николаева. Сперва разговор держался на высоком уровне статей из «Экономической жизни»: о преимуществах Николаевского порта, об экспорте зерна, о недоброкачественности итальянских фабрикатов. Но вскоре оба начали

распускаться. Субъект, участвуя в торгах на аренду пароходных буфетов, изложил Михаилу различные способы «смазывания». Каких только не было: помимо вульгарных червонцев, ужины а-ля-карт, пикники, изливания и возлияния, отдача напрокат своих жен, а в случае нужды и принятие на себя чужих, ряд психологических диагнозов и сложнейших, невесомых услуг. Таким образом, торги превращались в пустую формальность, вроде оклейки бумаг гербовыми марками. Ясно, что беседа с торгов перешла на марки. Успех налета на Одессу и крепость вин Армении доводили бахвальство Михаила до анекдотических пределов. Субъект, однако, не удивлялся. Он знал, что при таланте все возможно. Михаил клялся, что направится вскоре в Сибирь и выпустит там свои особые марки. Кроме того, он предлагал ехать совместно на Запад: заставить немецкие профсоюзы заняться также клеением марок из «международной солидарности». В ресторане, помимо них, никого не было, и как выразительное взвизгивание гитар, так и мимоластик официантов относились исключительно к ним. Они еще успели и прочесть и даже оценить висевший на стене плакат: «Граждане, дающие чаевые, — вы даете взятку!» Субъекту изречение настолько понравилось, что он преподобно выругался и, подозвав официанта, отвалил ему кину дензнаков:

— Стой на посту! Кто не берет, тот не ест. Притом, как говорит поп попадьё: тщетная предосторожность.

Еще позже Михаил, заставив собутыльника, в порядке медицинского освидетельствования, высунуть язык, смочил о него большую марку Помжерина и хотел наклеить ее на нос румына:

— Заграничный паспорт!..

Дальнейшего Михаил не помнил. Проснулся он днем в номере шестнадцатом, окруженный потным ароматом и кокетливым кружевцом киноэтуали Биче Беличели. Она лечила пациента от головной боли огуречным рассолом и подогретым пивом. Михаил послушливо исполнял все ее указания, а от разговоров уклонялся. Трудно сказать, что происходило в его душе. Скорей всего, душа отсутствовала, тактично предоставив голове и желудку залечивать изъяны затянувшегося ужина. Столь же тихо, невыразительно прошли вечер и последующая ночь. Если и была выпита бутылка красного, а Биче удостоена кой-каких, весьма апатичных, телодвижений, то это происходило не от чувств Михаила, но от известного распорядка комнаты номер шестнадцать, которому он, как гость, невольно подчинялся. Утром он

встал вполне бодрым и выздоровевшим. Ряд спешных посещений и телефонных звонков успокоил его. Компрометирующая ночь не вышла из полутьмы ресторана «Лондонской». Дело с марками двигалось без него. Одесса, не зря прожившая пять бурных лет, знала: сказано клеить. Слюнявя пальчики, Одесса клеила.

После обеда к Михаилу заглянули комсомольцы. Их отчет превосходил другие по рьяности, но Михаил его не слушал. Он был слишком взволнован самим приходом. Эта косолапая честность, прямота, грубость жестов и слов, которыми прикрывался юношеский идеализм, его и очаровывали и раздражали, как старика выцветшие фотографии его молодости. Он ведь еще недавно был таким же! (Он никогда не был таким же. Прошлое, впрочем, быстро забывается.) Он уже им завидовал. Он уже чувствовал, что они выиграли, они, с их жизнью впроголодь, с клеенчатыми тетрадками и горластым пением. Отчаявшись, он решил на героическое нападение. Выбрав одного, глаза которого своей потрясающей ясностью напоминали глаза средневековых богородиц или же влекомых на заклятие ягнят, Михаил прервал сообщения о сборе на заводах и неожиданно спросил:

— Простите, товарищ, я вот вам один интимный вопросец поставлю. Не хочется ли вам иногда, так сказать, разложиться?.. Ну, знаете, разное: то есть кутнуть в ресторане, что ли, или к девочкам?..

Ясные глаза выдержали наскоки глаз Михаила, разъедающих тревогой и фосфором, они не зажмурились, не вздумали отвернуться, улизнуть под веки. Только к их доисторической, догрехопаденческой успокоенности примешалась некоторая доля удивления:

— Нет.

Одно скупо уроненное слово прозвучало, пожалуй, убедительней речи о ничтожестве нэпа и прочем. Атака Михаила была отбита. Он ожидал другого, жалких в своей ханжеской напыщенности фраз или красноречивой, полной учащенного дыхания паузы. Только не этого. Он ждал подкрепления со стороны, оправдания своей двойной жизни, некоторой канонизации разбитых стаканов в ресторане, бравад и рулад, дезабилье Биче. Вместо этого он получил оглушительный удар. О невинности, об удивленности комсомольских глаз нельзя сказать иначе: они именно глушили. Огромное чувство одиночества и своей пропащести овладело Михаилом. Но лирика грозила мно-

гими неприятностями. Как бы ни было неподдельно отчаяние нашего героя, он все же успел подумать о подозрительности своего поведения. Он нашел в себе силы, чтобы с жаром схватить лапу мучителя, потрясти ее и воскликнуть:

— Вот это хорошо, товарищ! Молодая гвардия не выдаст. Я в «Правде» помещу статейку: комсомол — могильщик нэпа.

Этим были побеждены удивление и общая натянутость. Закончив отчеты, комсомолы ушли восвояси. Михаил, обрадованный падением занавеса, дал волю своим чувствам: головной боли, тике, ненависти к себе и ненависти ко всем. От недавних гостей в нем осталось отвращение к белизне, пресности, сладковатости. Подобно пьяному, легко жонглируя образами и понятиями, он видел их в виде пасхальных ягнят с открыток. Кроме того, он боялся разоблачений и контрольной комиссии. Наконец, авантюра начинала казаться ему, при всем ее размахе, тесной. Об этом ли мечтал Михаил? Обслуживаемые марки, обманутые наивцы и червонцы в карманах. Что дальше? Ночью залитые вином скатерти, а утром блевотина. Вздор! Пакость! Михаил бегал по комнате до одурения.

Удивительно, как не поняла состояния нашего героя Хаса Цвибель, она же Биче Беличели? Где же прославленная всеми профессиональная женская чуткость? Ей определенно следовало бы, услышав дробь его шагов, не прикасаться к двери. Однако она вошла. Хуже того, она с живостью кинулась к Михаилу, распахивая широко и руки, и полы фиолетового капота, и чрезмерно доверчивую душу. Она обдала нашего героя пудрой и воркованием. Все это было ею проделано со скромнейшим намерением получить от своего нового покровителя один червонец, необходимый для приобретения шелковых чулок змеиного колера, прибывших в Одессу прямо из Константинополя.

— Это последний крик моды,— наивно щебетала Биче.

Для ответа Михаил воспользовался совершенно иным словом. Он припечатал почтенную женщину весьма лаконичным словечком, хоть и выражающим в точности достаточно распространенную профессию, но, благодаря сложившимся традициям, недопустимым для воспроизведения. Биче, разумеется, обиделась. Как все люди, обычно крайне фамильярные, обидевшись, она стала церемонной и перешла на «вы».

— Вы не имеете права говорить такие выражения! Я — артистка. У меня из киноотдела мандат есть. Я могу даже вам скандал в газете устроить...

Конечно, это было наивностью, ибо никакие мандаты не могли изменить оценки Михаила, сделанной на основании опыта двух ночей. Но пафос Биче одновременно и взбесил и рассмешил обличителя, он привел его в довольно редкостное состояние добродушного бешенства. Повалив негодующую даму, он деловито, хоть и преобольно, однако не переходя границ, избега как увечий, так и вульгарных синяков, отшлепал ее. Признаться, бедная Хася, или Биче, играла глупейшую роль заместительницы: Михаил был зол на самого себя. Но всякий поймет, что не может же человек в трезвом состоянии, среди бела дня, агент Помжерина и прочее, начать тузить самого себя. Женские мягкости подвернулись под руку. Биче пыталась немилосердно визжать, но Михаил зажал ее ротик, причем жертва успела все же укусить мизинец своего обидчика. Закончив экзекуцию, Михаил препроводил женщину в идейный коридор, бесцеремонно ногой подталкивая некоторые из ее телесных отслоений. Он ненавидел всю одесскую эпопею. Он жаждал честной трудовой жизни. Отдышавшись, он вышел на улицу, захватив отягощенный дензнаками чемоданчик. Первым делом он направился в аптеку и, купив йоду, постарался смазать пострадавший мизинец. Далее, он занялся судьбами чемоданчика, точнее, его содержимого, для чего и свернул в темный проулок. Расталкивая толпу, он вошел в большой двор, хранивший пышное наименование «Пале-Рояля». К сведению читателей, знакомых с нашими южными красотами, мы должны заметить, что пышность этого места ограничивалась наименованием. Если в парижском «Пале-Рояле» еще имеются и фасады Ренессанса, и цветники и старинная кофейня, где не то Альфред Мюссе писал письма Жорж Санд, не то наоборот, то в одесском сохранилось всего-навсего одно кафе Печеского, абсолютно не связанное с историей отечественной литературы. Зато этнография этого двора заслуживает всяческого внимания. На современный форум выходили все одесские спекулянты, не расстрелянные, не вымершие естественной смертью и не перекочевавшие в Москву. Чистота породы встречавшихся здесь экземпляров была поразительной. Конечно, в Москве на Ильинке делались дела и покрупнее, но в цифрах ли дело, поскольку речь идет о высоком искусстве? Любая сделка здесь сопровождалась такими жестами, такими монологами, такими патетическими объятиями, а порой и затрещинами, что мы удивляемся, почему не выводили сюда адепты биомеханики своих нерасторопных студий-

цев? Двести — триста человек, ежедневно приходивших в «Пале-Рояль», гудом наполняли мертвый город, растекаясь по улицам, то в виде озабоченных тружеников, то притворяясь беспечными фланерами и бесстрастно пришептывая при приближении какой-нибудь вышедшей за покупками хозяйки: «беру — даю червонцы». Что они делают ныне, после введения твердой валюты? Перепродают польские злоты, спекулируют на мануфактуре или безропотно умирают, как их родная Одесса?

В кафе Печеского, куда вошел Михаил, покорно стыли на столиках стаканы неотпитого чая. Нужно сказать, что спекулянты всегда заказывают чай. Мы не знаем в точности, происходит ли это от безразличия или от профессиональной склонности к указанному напитку, так или иначе именно чай, не кофе и не лимонад, является необходимой частью спекулянтского антуража. Стаканы стыли, ибо за столиками никто не сидел. Все толпились в проходах. Общее оживление усиливалось от пущенного слуха, будто какой-то заезжий москвич скупает доллары. Михаил мог познакомиться со сложным толкованием американских ассигнаций, с целой наукой о долларах, созданной в одесском «Пале-Рояле» и неизвестной в Вашингтоне. Однородность материала не могла удовлетворить талантливых одесситов. Как женщин, они делили доллары на различные категории. Выше всего ценились «зеленые, с бабьей» (так неуважительно называли посетители кафе Печеского статуя Свободы), чуть отставали те, что «с быками», за ними следовали «портретники», в хвосте же шли «желтенькие». Говоря «в хвосте», мы не берем в расчет доморощенных долларов, одесского происхождения, рассчитанных на человеческую наивность или на подслеповатость. Михаил, впрочем, не проявил никакого интереса к долларам. Спросив себе, официанту на удивление, кофе и выпив поданный стакан, он стал прицениваться к червонцам, обрастая постепенно наиболее солидными представителями «пале-роялевской» расы. Путая все наречия, ссылаясь на бога и на гражданские добродетели, выдавая себя за агентов Госбанка или за доверенных иностранных фирм, различные усатые мужчины с трудом выдавливали мелкие надбавки, отталкивая друг друга, потея и ругаясь, пока наконец не покрыл всех один, с виду наиболее плюгавый, принявший кипы чемодана и вручивший вместо них триста двадцать шесть червонцев. Вспрыснуть сделку Михаил отказался, сославшись на дела, в душе же гнушаясь компанией. Даже кофе показался ему про-

тивным, жирным и прогорклым. Морщась, он вышел из кофейной.

Еще кто-то, догоняя его, шептал о партии румынских лей, а он уже шагал к вокзалу. Встреченному замзаву было сообщено, что работа в центре не ждет и что комитет требует его, Михаила, срочного возвращения.

Так было закончено клеенные марок, оставив, кроме трехсот двадцати шести червонцев, гнусный привкус, как будто Михаил непосредственно участвовал в смачивании слюной тысяч и тысяч значков. С этим весьма неприятным ощущением, пренебрегая триумфом, Михаил и вошел в спальный вагон скорого поезда на Москву.

— Вздор! Дрянь! — снова бормотал он. Тщетно было объяснять самому себе все трюки, вплоть до удачного размена в кафе Печеского, интересами Помжерина, то есть государственными, то есть революции. Михаил, однако, и за это ухватился. Он попробовал заявить себе, что семьдесят пять процентов, то есть двести сорок пять червонцев идут в комитет. Это что-нибудь да значит. Много ли таких полезных сотрудников? Он ведь представит честный отчет. Не надует. Но восемьдесят червонцев комиссионных, как бы пахнувших ночью в ресторане и «Пале-Роялем», даже капотом выпоротой Биче, чересчур отчетливо напоминали о себе. Михаил готов был впасть в угрюмое состояние, столь хорошо памятное теперь киноэтуали из шестнадцатого номера.

Но в дело с успехом вмешалось неодушевленное существо: спальный вагон. Как известно, вагоны эти, так называемые «международные», не ведают государственных границ, поэтому лирические, а подчас и эпические описания их мы находим в литературе всех народов. Боясь столь серьезного соревнования, мы ограничимся здесь указанием, что вагон, в котором ехал Михаил, был самым обыкновенным спальным вагоном, со всеми красотами и чарами, присущими этим волшебным сооружениям, хранящим и в Сибири и в Сахаре как теплоту подушек, так и прохладный блеск медных пепельниц. Выскажем лишь вновь удивление перед живучестью вещей. Михаилу старый проводник, бывший проводником и в довоенное время, с ласковым прищамкиванием подал чай. На стакане стояли инициалы «W. L.», подтверждавшие, что стакан оказался долговечнее Российской империи. Как он уцелел в годы атаманов и бронепоез-

дов? Спросите еще, как уцелела жизнь. Уцелела! Лучше, не спрашивая, пить чай с ванильным сухариком.

Со рвением неопита Михаил предался комфорту, дотоле известному ему лишь по старым романам (с ятями). Он испробовал все приспособления, вымылся, лег, снова встал, проделал на ремнях несколько гимнастических упражнений, даже плюнул в блестящую плевательницу. За низкими окнами ночь как бы символизировала отсутствие, скуку, смерть. Здесь же белели простыни, издавая приятный аромат свежего белья. Чисто физиологический восторг перед жизнью победил в Михаиле все сложные драматические столкновения. Нэп или не нэп, откуда восемьдесят червонцев, вопросы этики и идейности — все это было выкинуто в сыпучесть и черноту мира, караулившего человека за окном, но не смеющего пробить стенки чудесного вагона. Вися на ремне, Михаил улыбнулся своим набухшим мускулам. Отхлебнул чаю, обрадовался его аромату и теплу. Черт возьми, он жив! Он здоров. Он молод. Этим сказано все.

Достав из шкафчика ночную вазу, Михаил залюбовался. И на ней красовались вездесущие инициалы. Он проделал над ней то, что и требовалось, но не как унылую человеческую обязанность, не формально, а с душой. Прекрасная вещь! Прекрасная жизнь!

После чего он уснул.

Гражданин или муравей

Две ночи и день длилось это восторженное забвение в крохотной коробке, с легкостью меняющей губернии, среди кожи, меди и укачивающей дрожи. Еще поезд не замедлял своего хода, еще сон мог бы длиться, но уже сознание близости Москвы начало напоминать Михаилу то о Помжерине, то о партийной чистке, то о тоске. Как всякое обольщение, спальня вагона начал терять магичность, отдавать дымом и скудными аршинами вязать затекающие ноги.

Тупо вышел он на платформу столь памятного ему Брянского вокзала, купил газету «Вечерняя Москва», тотчас же отбросил ее, зевая и морщась, втесался в трамвай «Б» и начал московскую жизнь, двигая конечностями, произнося слова, но ничем, по существу, в этой жизни не участвуя. Ни партия, ни

революция не занимали его. Восемьдесят червонцев оказались невыразительными, как малоинтересное письмо. Они лежали непересчитанные в боковом кармане. Михаил не вздумал пойти хотя бы в тот же «Лиссабон», где мог теперь легко взять реванш за недавнее привижение. Он не останавливался перед витринами. Он даже перестал бриться, что быстро сделало его лицо смахивающим на площадь умирающего города. Сдав отчет и деньги в Помжерин, он этим ограничил свои обязанности. В нем даже отсутствовал страх, и на конфиденциальный шепоток заведующего издательской частью о том, что все предприятие с клеением может вскоре раскрыться, он никак не реагировал. Он возмутил собеседника невыразительностью своего ответного «да?». Он ел картофельное суфле в вегетарианской столовой и ни о чем не думал.

Впрочем, может быть, и не стоит столь настаивать на этом. Еще один припадок отчаяния современного романтика, жаждущего на черной бирже сорвать небесные звезды и умирающего от скуки при виде вполне доброкачественных ассигнаций. Притом припадок не длительный: в Москве Михаил пробыл дней десять. Как-то очутился он на Курском вокзале. Кто же не знает, что вокзалы, эти малоуютные сооружения, являются в нашей жизни дверьми? Удрать! Куда и зачем — не важно, восемьдесят столь презираемых червонцев превращали любой бред в достоверность. Следовало готовиться к переселению нашего героя на Южный берег Крыма или в один из кавказских курортов. Мы убеждены, что врачи, освидетельствовав его, нашли бы какую-нибудь презанятную болезнь, воды же в источниках никогда не иссякают. Но дальних поездов в этот день не оказалось. Михаил попробовал просидеть в буфете час, другой, лениво роняя на колени капусту щей. Потом он решительно встал.

Подольск? Что же, и Подольск место. Проезд туда длился немногим больше часа. Перед вокзалом свинья сосредоточенно чесала об изгородь свой неподтертый зад. Не хватало только почесывающих уши провинциалов. Они, вероятно, делали это за тусклыми стеклами своих домишек.

Михаил начинал понимать, что он приехал зачем-то в Подольск. Одесская путаница не улеглась. Он явственно увидел печатные буквы: «Переезд членов партии должен сопровождаться...» Он погибал. Конечно, можно бы оформить все. Но зачем? Подольск — что это? Город? Свинья у изгороди?

Выдумка? Нечто вроде фиолетового капота киноэтуали? Тьфу! И Михаил сплюнул. Подольск. Ну, конечно же, город. Местная парторганизация. Два завода. Откровенно говоря, вздор! Зачем он сюда залез? Чесать зад? Даже «Лиссабона» здесь нет. Можно с ума сойти. Если бы взять спальный вагон на год и кататься. Но ведь это же галиматья. Кончится тем, что его вычистят, обязательно вычистят. Еще, чего доброго, посадят. Что же теперь делать? В Москву? Трудиться? Да, кажется, нужно трудиться...

Но, вспомнив о Москве, Михаил никак не мог представить себе никакой работы. Москва вспоминалась только как головная боль, трамвай «Б», полный до отказа, и картофельное суфле. Он то отходил на сто шагов от вокзала, то возвращался назад, переживая скучнейший разлад, среди безлюдья, под крохотным и безучастным оком свиньи, настойчиво продолжавшей свое традиционное занятие. Он не мог раздумывать. Оформившись, колебание стало мелкими практическими вопросами: ехать с поездом два сорок в Москву или снять здесь комнату?

Отработав тучное облако, солнце с опарашивающей ревностью дворового пса выскочило на волю и начало метаться по Подольску. Мысли Михаила были прерваны теплыми лапами, ласково упавшими на малокровные городские щеки. Михаил улыбнулся. Он стал изворачиваться, на манер свиньи, подставляя то лицо, то плечи, то спину лучам. Это и решило его дальнейшую судьбу. Он никуда не поедет. Подольск так Подольск. Главное, жить. Дышать, жевать, ходить. Скорей всего, он болен. Тогда нужно выздороветь. Тогда Подольск должен стать «домом отдыха». Его работа, восемьдесят червонцев, идеи, амбиция — что это по сравнению с теплом на плече, с теплотой самого плеча, еще живого и крепкого? И когда второе облако снова загнало солнце в закуток, когда внезапный холодок и серость стираемых тенью теней обдали уличку, Михаил испытал физический ужас, как от смерти. Нервничая, он зашел в лавочку и, купив неизвестно зачем банку засахарившегося варенья, спросил, не сдают ли они комнату. Ему нужна комната, маленькая, плохонькая, какая ни на есть комната. Скажем, на месяц.

Комнату сдавала некая Лышкова, вдова почтового служащего, и комната была даже не плохонькая: рукомойник, комод, на комодe вазочки. Сама Лышкова весьма любопытство-

вала, кто ее новый квартирант. Из Москвы. Коммунист, что ли? (Подумав последнее, она с опаской поглядела на троеручицу, красовавшуюся в углу.) Но Михаила не занимали ни вазочки, ни икона. Наспех договорившись о цене, он вручил умиленной хозяйке четыре червонца и собрался было уже выходить, когда вспомнил о весьма существенном:

— Да, а комната у вас солнечная?

Лышкова просияла. Вопрос квартиранта внес спокойствие в ее несколько встревоженную душу, он как бы определял породу и занятие неизвестного приезжего. С предельной ласковостью она заворковала:

— Утречком. Утречком всегда солнце. Как проснетесь, так солнышко. Так то, значит, вы дачник будете? А я уже не знала, за кого вас почитать. У нас прежде всегда дачники жили.

Ее радости не мог омрачить даже хохот, громовые спазмы хохота, вылетевшие неожиданно из широкой груди Михаила и заставившие вазочки кокетливо взвизгнуть.

Ах, как смеялся Михаил! Дачник! Оказывается, он дачник. Это так. Ничего не ответишь. Совсем неожиданно. Катастрофически неожиданно. Дышать воздухом и лечиться молочными продуктами. Дачник, не что иное. Ярлык его положительно веселил. Он превращал молокососа в некий исторический тип. Конечно, эффект мог быть обратным. Кто поручится, как бы воспринял Михаил наивные пришамкивания вдовы Лышковой час тому назад, шмыгая у вокзала? Мирному исходу, то есть хохоту, немало способствовало солнце, теперь шалившее на крашенных половецах коридора. Удивительная вещь это солнце! О нем приходится поговорить особо.

Известны ли читателям открытия, совершаемые неожиданно, открытия благоуханности обыкновеннейшей летней ночи, увлекательности давно валявшейся на полке книги, трагичности, да, первичной мифической трагичности, какого-нибудь слова, обычно всучаемого и ненужного, вроде трамвайного билета, какого-нибудь слова, хотя бы слова «прощай»? Конечно, известны. Ведь читают нас такие же люди, как мы. Они знают, что эти открытия, не попадая на столбцы газет, являються более патетическими, чем открытие Америки неким генуэзцем. Так и с Михаилом. Он прожил на земле, то есть на планете, живущей за счет тепловой энергии солнца, почти четверть века исторического и полвека человеческого, не замечая

солнца. Солнце было для него радиатором или электрической лампочкой. Стоило ли его замечать? И вот в один, весьма притом будничныи день — открытие: Михаил открывает солнце. Открывает его бешенство и доброту, его сексуальные ласки и жестокость полководца, касания, отталкивания, мудрость, именно мудрость, сочетаемую с проказами твеновского школьника. Он переживает восторги предков, атавистические неистовства солнцепоклонников, слушатель вуза, в толстовке, он склонен к приседаниям, к кувырканию, к языку бессмысленных жестов и звериных прыжков. Если он не кувырдается и не кричит, то все его существо безумствует, загорается, подожженное лучами, так что по пыльной улице уездного городишка, взятого напрокат из посредственной повести беллетриста 80-х годов, среди палисадников с желтым цветом огурцов, среди пыли, мелочных лавок, танцулек, партчитален, где мухи и слюнявый малец, швейных машин и домовитых кур, несется менада, и рыжий чуб уже не обидная прихоть природы, не особая примета паспортиста, а торжественный факел.

Открыв солнце, Михаил открыл и многое иное. Обладая ключом шифра, он смог читать в этой огромной книге, знакомой многим из его современников лишь по затасканному переплету. Он вернулся к вокзалу на свидание с оставленной свиньей. Он нашел ее, разумеется, у той же изгороди и мог теперь душевно насладиться свиной мудростью. Лучи солнца, наравне с кольями изгороди, чесали ее спину, грязную жирную спину, родственную в черноте, хлюпкости и жадности земле. Он открыл и землю, миновав улицы города, блуждая вокруг огородов, землю чувственную и завлекательную в ее теплоте, в тысяче различных крепких и нежных запахов, от живительного, подобного голосу трубы или бокалу шампанского, настоя навоза, который щекочет нос и кружит голову, до тончайшего аромата простой травинки, растертой меж пальцами, неистребимого в его слабости и беспомощности, как дыхание брошенных перчаток. Дойдя до леса, он открыл новый континент: архитектуру стволов, сырость мха, листья, иглы, птиц и совершенно непонятные синие куски, безразлично называемые людьми «небом», как будто над Страстной площадью и над лесной поляной один и тот же свод. Удерживая собственные лирические восторги, передаваемые нам впечатлительным героем, мы скажем как можно суше: Михаил открыл природу.

Иные ошибочно думают, что горожане, для которых сочетание реверберов давно заменило звездное небо, а запах варящегося в котлах асфальта благовоние соснового леса, что эти люди, покрывающие волосатость тела сложными наслоениями рубашек, манишек, жилетов, пиджаков, пальто, не способны разделить восторги примитивного человека перед природой. Напротив, именно горожане подготовлены для таких восторгов. Природа для них не обычная обстановка, но ошарашивающая загадка. Лес или море они воспринимают не как средство пропитания, но как театр. Кроме того, они не требовательны, эти строители или обитатели грандиознейших небоскребов. Любая пригородная чащица с ее банками от консервов, клочками газет и яичной скорлупой мнится им загадочными джунглями. Не умея отличить липу от клена, они обобщают и торжественно говорят: «Мы сидели под деревом», — и право же, это синтетическое безыменное дерево грандиозней всех легендарных дубов, пальм, баобабов, хотя и является оно обшмыганной березкой в летнем увеселительном саду, где выступают куплетисты, и где дамы, потея, пьют сидро.

Лес под Подольском был вполне корректным лесом с папоротником, с ягодами, с различными ариями зябликов, иволг и синиц. В нем можно было аукать, пытаться по кукушке судьбу, подносить возлюбленной ромашки или колокольчики, искать, смотря по сезону, ягоды или сыроежки, — словом, пользоваться всеми традиционными атрибутами любого порядочного леса. Но это следовало бы заключить в скобки, ибо не в достоинствах окрестностей Подольска дело, а в экзальтации нашего героя, как известно, и свинью превратившего в персонаж лирической поэмы.

Михаил бежал по лесу, от ствола к стволу, вырывался на неожиданность полян, терялся в темнотах кустов, падал на кочки, обликая сухими листьями и муравьями, кричал, смеялся и, лежа на спине, огромными неморгающими глазами нырял в щедрую синь. Это был Михаил, все тот же Михаил, который в Октябре бежал по Никитскому бульвару. Какой непонятной нагрузкой корыстных чувств и измельченных мыслей наградила его судьба? Читатели ведь не забыли предшествующих глав. Они помнят противный клей марок. Пожалуй, они помнят и об обиженной Ольге и о многом другом. Но Михаил ни о чем не помнил. Факты своей биографии,

как и прочее, он выбросил где-то по дороге, возможно, что они остались у подольского вокзала, вспугнутые солнцем. Так или иначе, Михаил в лес пришел голым, вернее, в лесу не было Михаила Лыкова, а было существо, связанное с дятлами, с гниющей корой и с шорохом ветвей, безличное нарицательное существо, тот же дятел или муравей, только более крупной породы. Великая способность терять себя! Прекрасная рассеянность! Скажем, глядя на того же Михаила, окунувшего лицо в свежесть мха: вот она, грубая и темная свобода, верная порука неиссякающей жизни!

Бездумная нега Михаила была нарушена чуждым шорохом, посторонним лесу и даже звучащим диссонансом в стройной спевке его различных шумов. Это был человек, и, нехотя, недоуменно поглядев на него, Михаил мог убедиться: человек почтенного возраста, который, несмотря на лета и, следовательно, на трудно сгибающуюся поясницу, был поглощен сбором земляники. Разговор стал неизбежен, и вслед за возрастом Михаилу открылись как фамилия человека (Круглов), так и его социальное происхождение: бывший генерал. Удивляясь ходам муравьев, Михаил не мог удивляться хитрейшим извивам человеческих судеб: ведь он жил в наши годы. Генерал, собирающий ягоды для продажи на базаре, показался ему естественной и достаточно скучной деталью жизни. Что ж ему еще делать? Конечно, Михаил был прав: Круглов и до революции годился лишь на украшение мещанских свадеб, чтобы невпопад бормотать о какой-то доисторической Хиве. Ну, а теперь свадьбы украшались уж иными фигурами: предисполкома или, на худой конец — начальником милиции. Ягоды же всегда остаются ягодами. Круглов жаловался:

— Глаза ослабли. Проглядываю. Да и мало земляники в этом году. Пройдут дети — и чисто. Притом культурности в них никакой: зеленые обрывают. Чернику, конечно, легче, но черника не в цене...

Эти жалобы, как и вопрос о глазах или о болях в пояснице, также не могли подействовать на Михаила. Нет, не жалость, совершенно иные побуждения вызвали его весьма внезапный и с виду эффектный поступок. Слушая старческие сетования, эти человеческие обыденные, связанные с фунтом хлеба или с трамваем «Б» слова, столь чуждые лесному говору, он поневоле вспомнил о себе. Ему подкидывали удосто-

верение личности. Ему напоминали, что он не муравей, а Михаил Лыков, гражданин, член компартии, ездивший недавно в Одессу с весьма подозрительными марками. Рядом с партбилетом топорщились потрепанные червонцы. Он не хотел знать о них. Он хотел лежать в лесу. Только. Просто. Без всяких дальнейших планов и выводов. Он не удовлетворялся бы теперь и рассмеявшимся его званием «дачника». Он предпочел бы вправду быть муравьем. И вдруг червонцы...

Последнее, то есть червонцы, выступило особенно отчетливо после застенчивой, в сторону куда-то к безучастному глянцу листвы, обращенной, просьбы: не может ли Михаил ссудить Круглова небольшой суммой? То есть, попросту, Круглову хочется есть, а корзинка пустая. Еще раз: дети обирают ягоды. Во всем виноваты эти чересчур резвые дети. Здесь-то в голове Михаила со всей резкостью встал вопрос: что же дальше?..

«Лиссабон»? Девочки? Ульстер? Да нет же! Был слишком свеж и чуден этот лес. Ставшему немым, недвижным, бесчувственным, рот разинувшему от удивления Круглову Михаил всучил всю пачку, отягощающую и правый карман и душу. После чего он быстро нырнул в заросль орешника. Он слышал издали отчаянный крик несчастного генерала:

— Краденые? Я краденых не возьму. Я честный человек!

Крик сопровождался хрустом веток: Круглов пытался догнать Михаила. Но куда ему было с его генеральским проплым, с Хивой и отслужившими ногами! Михаил весело шел вперед. Он улыбался, может быть, солнцу, а может быть, улитке, кокетливо виляющей рожками на изощренном ковре кленового листа.

Овчины. Еще одна страсть

Конечно же, он не стал муравьем, не стал и дачником. Приподнятости хватило ровно на три дня, и когда прошли эти блаженные дни, Михаил заставил почтенную вдову Лышкову вторично пережить отмирание ног от исключительного изумления. Хотя Лышкова и была современницей введения нового «безбожного» календаря, изъятия церковных ценностей и многого иного, воистину изумительного, поведение ее нового квартиранта явилось

для нее столь непонятным, что реагировать на него иначе, то есть не всплеснуть руками, не взглянуть умоляюще на троеручицу, она не смогла. Пусть люди со стороны, незаинтересованные, сами рассудят. Прожив кое-как три дня (мы говорим «кое-как», потому что Лышкову немало смущал образ жизни Михаила, неизвестно где слонявшегося и приносившего среди ночи в пристойную вдовью квартиру сосновые иглы, крохи сухого хлеба и жеребчий топот), он на четвертый явился к хозяйке и, развязно зевая, потребовал денег, чтобы доехать до Москвы. Не в деньгах дело: ведь Михаил заплатил Лышковой за два месяца вперед, в приличии. Можно ли снимать комнату на лето и через три дня бросать ее? Хорош дачник! Это мазурик! Удивительно, как он ночью не прирезал беззащитную вдову. Второпях Лышкова убежала подымать в кухне половницу, под которой хранились ее сбережения: все бы, кажется, отдала, лишь бы поскорее выпроводить из дому подобного злодея.

Итак, Михаил оказался вновь в Москве, правда, немного загоревший, но зато с душой, вконец промотанной среди первобытных безумств, и без червонцев, которые, отсутствуя, теряли все свои неприятные психологические свойства и делались вновь заманчивыми, особенно натошак. А дни Михаила проходили почти регулярно натошак. Помог бы Артем, но брату Михаил говорил о важном назначении с высоким окладом, то, уж вовсе нескладно, о лотерейном выигрыше, — словом, держал перед ним фэсон.

Это давало нашему герою некоторое духовное удовлетворение, но это, конечно, не насыщало его. А он мало-помалу излечивался и от меланхолии, и от беспричинных восторгов своей одесской экскурсии. Проходя как-то мимо «Лиссабона», он даже вполне определенно вздохнул. Если бы сожаления производили червонцы, он, вероятно, пожалел бы о бумажках, сдуру подкинутых экс-генералу. Жалеть же зря не стоило. Картофельное суфле и то перешло в разряд мечтаний. Следовало серьезно подумать о каком-нибудь новом предприятии.

Ему повезло. В очень голодный, до сухости во рту, до ломоты в спине, вечер, проходя по обжорному Арбату, с его засадами колбасных, гастрономических и кондитерских, Михаил попал на знакомую физиономию. Она, право же, стояла всех яств витрин. Одно на мгновение удержало скачок рук Михаила, не выпустило радостного возгласа из горла: как-никак, он его изрядно обидел... А впрочем... Какой деловой человек станет

обращать внимание на едкость эпитетов? Ведь жизнь не литература.

Расчет Михаила оказался правильным. Арсений Вогау дружески потряс руку Михаила, хоть и был ему обязан бегством через проходной двор, отдышкой, даже бессонной ночью. Он сразу понял и оценил многообещающий язык этого рукопожатия: дело могло касаться только овчин.

Вогау, конечно, не ошибался. В сознании Михаила он был тесно связан именно с овчиной, с тепловатостью и уютом желтоватого меха, с легким трюком и с аккуратно отсчитываемыми червонцами. Увидев в зеленоватом отсвете аптечного окна физиономию приятеля, Михаил прежде всего произнес не «здорово!» и не «как живешь?», но «овчины».

— Что же, овчинка выделки стоит,— улыбаясь ответил Вогау.— Вот зайдем в Мосгико, потолкуем.

Ясно, что беседа была не абстрактным спором о порочности нэпа, омрачившим памятный вечер в «Лиссабоне», но деловым, дружественным сговором.

Если Вогау был все тем же, что в «Лиссабоне», успев за это время лишь приобрести рыжие модные полуботинки с носками вверх и тришер, то Михаил проделал сложнейший путь. Потребовались месяцы искуса, метания и перебоев, чтобы, начав с негодующих слез, закончить подготовительную школу простым рукопожатием. После Одессы ему нечего было бояться. Для Вогау нашлись и внятные тому интонации, и соответствующий бодрый подсчет предстоящих прибылей, и деловитое хамство в разговорах с официантом.

Пили они пиво и портвейн. Это сочетание, на вид эксцентричное, было для обоих простейшим: водки здесь не промыслить, а за свои деньги нужно получить максимум эффекта. Портвейн пили, как водку, закусывая селедочкой, пиво же утоляло жажду. В манере пить они не были одинокими, и, как лоск щек, так и забубенность дискантных разговоров, методически дополняемых органами басами отрыжки, подтверждали действительность подобного союза напитков.

Туберкулезный скрипач, года два тому назад, наверное, занимавшийся музыкальным образованием масс в каком-нибудь губнаробразе, теперь злобно резал скрипку смычком, а скрипка, живучая скрипка, отвечала мотивом лондонского фокстрота, который, однако, звучал как визг избиваемой хитровской девки. Ассимиляция — хитрая штука. Тот же фокстрот где-нибудь на

Пикадилли, в «Савое» отдает экзотикой колоний, ходит в смокинге и дышит сложными ароматами коктейлей, духов Аткинсона, плотных исторических туманов. Здесь же его напоили черносливным портвейном, смешанным с пивом, дали заесть мелкими кусочками воблы или моченым горохом, и ничего, фокстрот не умер, он только стал зудящей бранью, истерическими воплями героинь Достоевского, напоминая о предсмертной пене повесившихся квартирантов или о сапожном запахе милицейских протоколов. И, слушая надрывы скрипки, какая-то девка из ресторанных, из тех, что даже почитывают переводные романы модных авторов, выпускаемые Госиздатом (с целью найти в них новинки для разборчивых клиентов), бойко крикнула:

— Да что ты ко мне с заграницей своей лезешь! Будто я сама не могу фокстротой пройтись!..

Могла бы, прошлась бы, ей-ей, сочетая наивные ужимки холмогорских дойных хороводов с тряской американской заводной игрушки, портвейн с пивом, навалившись мясом и молоком на партнера, требуя душевного участия и червонцев, плача от тоски и матерщину прерывая иностранными словечками. Впрочем, танцевать в Мосгико не танцевали — места не было. Если подымались, то либо по домам, либо бить друг друга. В углах духовные соратники Вогау шептались о пеньке, о скобяном товаре, о червонцах, о чулках. Один из наших духовных соратников, так называемый «брат писатель», щипал под столом колено немолодой, но экспансивной особы, преданной до самоотверженности отечественной литературе и автографам, а щипая, задумчиво приговаривал:

— Прежде всего, фформальный метод..

Таким образом, в Мосгико все были заняты делом, обновлялись бутылки, марались скатерти. Воздух все сильнее насыщался дымом популярных папирос «Червонец» и кислотами газов. Заключались сделки, кровоточил подбитый нос, и скрипка, паскудная скрипка, не погибала: у нее были действительно воловьи нервы. А очкастый гражданин, представляющий здесь иной мир, с талончиками обходил лоснящиеся пары и взывал:

— Граждане, после двенадцати: пятьдесят золотом на беспризорных детей.

— Да что ты с заграницей своей!..

— Ленька, ты ее штопором!..

— Нам малаги три бутылки и огурчиков.

— Я уже с Мосхозторгом наладил. Проволока по шестнадцать триста...

— Ах ты хам собачий, да я тебя!..

— Пососи!.. Пососи!..

Среди этого своеобразного уютца, попутных возгласов и летающих бутылок, приятели могли свободно обмозговать овчинное дело. С виду оно казалось несложным. «Сельсбыт» предлагал четыре тысячи двести овчин по пятьдесят за штуку. «Вохз» давал сто десять. По пятьдесят это уже составляло ровным счетом двадцать одну тысячу — стоило потрудиться: сто семьдесят червонцев. Затруднение для Вогау было в том, что и «Сельсбыт» и «Вохз» не желали иметь дела с посредниками. На счастье, они друг друга не знали, то есть различные «исходящие» о спросе и о предложении, носясь по бесчисленным канцеляриям, как идеальные прямые нигде не скрещивались. Нужно было купить овчины у «Сельсбыта» по пятьдесят, купить от имени какого-нибудь госучреждения и тотчас перепродать их «Вохзу». Даже денег не приходится выкладывать. Две бумажки с подписями завоёв. Последних либо уговорить в бескорыстности предприятия, либо сделать соучастниками. Вогау это не по силам, а Михаил — коммунист, притом с девственной репутацией. Где бы он ни служил, ему ничего не стоит это склеить. Дело почти что для питомцев яслей. С последним Михаилу трудно было согласиться: предприятие представлялось сложным и опасным. Но пустые бутылки, пары пивной, наконец, азартность собственной природы требовали согласия, и, для бодрости взвизгнув в такт скрипке, Михаил согласился.

Началась новая лихорадочная жизнь: розыски, шмыготня по коридорам учреждений, шепоты, надежды и разочарования, уголовщина защитного цвета, ежедневная погоня не на автомобилях, не на благородных конях, как в американских фильмах, а бумажная погоня в огромном канцелярском лабиринте, где рабкрин, Гепеу, угрозыск охотились за тысячами Вогау и Лыковых. Несмотря на внешнюю беззвучность, бескрасочность, графичность этой борьбы, на изобилие цифр и специальных терминов, она, право же, полна драматизма, театральных эмоций и завлекательности. Пусть недоверчивые читатели прослушают судебное разбирательство по обвинению каких-нибудь третьесортных «хозяйственников», они убедятся, что пыльные залы губсуда вполне заменяют (будучи к тому же бесплатными) кинотеатр.

Дебют Михаила был не из легких. Приходилось торопиться: ведь «Сельсбыт» мог ежедневно продать овчины если и не «Вохзу», то другому учреждению. Втереться в «Сельсбыт» оказалось делом трудным, для этого прежде всего требовалось время. К тому же, не освоившись с нравами места, с порядком местного бумагообращения, со слабостями зава, со страстишками замава, со степенью зоркости местного рабринина — словом, с климатом и этнографией, — трудно было подстроить фиктивную продажу. Оставалось найти третье место, которое согласилось бы выполнить роль посредника. Зря потолкавшись среди товарищей Артема, Михаил вспомнил о Дышкине из «Северопеньки», как-то взволновавшем нашего героя и запахом бензина, и чудесами гурзуфских пикников. Он согласен был предоставить Дышкину две трети заработка: сто десять червонцев. А ведь это деньги, способные соблазнить даже обладателя автомобиля, тем паче что дело для человека оседлого, то есть чувствующего себя в тресте, как дома, пустынное. Купил. Продал. Как провести в отчетах? Ну, на это у Дышкина хватит ума: ведь тот же автомобиль — аттестация некоторых, чисто духовных способностей.

Дышкин принял Михаила в столовой, в умильной столовой, сохранившей все очарование доисторических лет, от фикусов в зеленых кадках и картин с большущими рыбинами до хрустальных подставочек для вилок и ножей. Нет, Дышкин не был заурядным гражданином! Помилуйте, московские газеты только и говорили что о квартирном кризисе, а у Дышкина были и столовая, и кабинет с английскими клубными креслами. Дав маху в начале революции, сбежав в Киев и дойдя там до драматических низин, то есть до регистрации фребелических проектов в Собесе, Дышкин быстро наверстал потерянное. Он вскоре оказался и в «Главльне» и в «Северопеньке», попутно перепродавая вагоны мыла и партии крон, спекулируя на лодзинском сукне и на посылках «Ары», участвуя в изготовлении пива и в ремонте шести домов на улице Краноткина, задуманном простодушными жилтовариществами, подрабатывая то на конских состязаниях, то в казино, — словом, как человек современный, универсальный, внося во все области человеческой жизни свой сблснюявленный карандашик, жирные студенистые пальцы и свободный от предрассудков интеллект. Начал он карьеру до революции, но тогда его тормозили и общая вялость, и различные страхи, и даже этика. За годы террора он разу-

чился бояться, он свыкся с близостью смерти, и это придало ему, как горькие капли, необыкновенный аппетит к жизни. А вскрытие сейфов вконец разрушило его моральные устои. Он больше ни во что не верил и ничего не боялся. Он любил хорошо поесть и поспать с дорогими дамами (причем в последних ценил гораздо больше рыночную стоимость белья, нежели их прелести). Говоря с коммунистами, он искренне радовался: «аппарат налаживается». Когда же те вдохновлялись: «Вот, в Саксонии начинается, скоро мы им покажем», — он сиял без лицемерия, он ничего не имел против вскрытия сейфов дрезденских дураков. Ведь он был застрахован от этого и не малонадежной полицией, нет, Красной Армией, историей, Октябрем, ставшим для него уже воспоминанием. Он был убежден, что два раза такие вещи не случаются. Он переболел корью, и слава богу. Богатство дореволюционное ему казалось мифом, детской глупостью. А час спустя, беседа уже в своем кругу без посторонних» (то есть коммунистов), он столь же естественно восторгался: «Разве они без нас могут существовать? «Американку» разрешили. Все разрешат. Мы их пересидим, ей-богу, пересидим!..» Автомобиль сопел, как преданный пес. Борзая на козлах превращала Тверскую в парижские бульвары. Дамочки угодливо щеголяли настоящими алансонскими кружевами, а на обеденном столе блистали не одни только подставки, но и индюшка с каштанами, икорка, волаваны.

Ясно, что Михаил, войдя в эту столовую, почувствовал трепет, благоговение, робость ученика. Не богатство импонировало ему, но та воистину гениальная легкость, с которой Дышкин вытаскивал из касс учреждений, из карманов простоватых жуликов, отовсюду, происхождением не интересуясь, равно приятные червонцы. Михаил уважал только свежее, недавнее, чуть ли не в один день созданное, богатство. Он мог смеяться над прихотью какого-нибудь старорежимного купца, издававшего «Золотое руно» с импортированными французами и построившего в Петровском парке виллу «Черный лебедь», но он богомольно поглядывал на обстановку гражданина Дышкина. Слушая его полные подлинной фантастики рассказы о скупке еще в паечные времена карточек мертвых граждан, о переправе коньяка в полую животе статуи Августа Бебеля, о председателе жилтоварищества, который приобрел у Дышкина трубы, находившиеся в его же собственном доме, он готов был воскликнуть: «Учитель, я буду твоим смиренным и понятливым учеником!»

Он, конечно, не сделал этого, ибо деловитость беседы и трезвость Дышкина менее всего располагали к подобным стилистическим анахронизмам. Он только коротко и разумно изложил Дышкину все возможности, рождаемые овчинами. Две бумажки «Северопеньки» устроят дело в 24 часа. Из ста семидесяти червонцев сто десять — Дышкину. Вот только как оформить заявку, то есть как, в случае недоразумения, объяснить, зачем «Северопеньке» понадобились овчины?

Дышкин не брезгал ничем, он хорошо знал, что десятки создаются из единиц. Кроме того, он испытывал как раз в то время (проворонив торги в таможне) некоторые денежные затруднения. Поэтому он сразу согласился. Озабоченность Михаила, недоумевающего, как оформить дело, вызвала в нем взрыв хохота, загадочного для собеседника. (Дышкин смеялся, сохраняя полную серьезность физиономии, как будто полоскал горло.) Да это же щенячья проблема! Как будто «Северопеньке» не могут понадобиться овчины для рабочих? Словом, Михаила это не касается. Но так как вся работа падает на трест, то и распределение выигрыша (Дышкин выражался спортивно, не «прибыли», не «барыши», а «выигрыши») должно быть изменено. С Михаилом, так сказать, за идею, хватит и двадцати пяти червонцев.

Почтение перед Дышкиным никак не могло уничтожить в Михаиле других чувств, прежде всего самолюбия. Отнюдь не жадность, но обида заставила его при попытке снижения суммы болезненно вздрогнуть. Он не мог допустить, чтобы с ним обращались, как с мальчишкой на побегушках, как с жалким уличным маклером. Он понимал, что начать торговаться это значит получить с надбавкой в пять червонцев ассортимент оскорблений. Он уже готов был, изобразив негодование по поводу внезапно открывшегося для него противозаконного и гнусного характера сделки, уйти, отравив на миг благодушие столовой, с остатками недоеденного сливочного крема, упоминанием о рабкрине. Но тогда-то он вспомнил о своем козыре. Это было скорее интуитивной находкой, нежели логическим выводом. Не вступая в пререкания с Дышкиным, он, как бы вскользь, невзначай, напомнил о своей партийности. Действие оказалось радикальным. Не сразу, прослоив разговор двумя-тремя ничего не значащими фразами, Дышкин дружески заявил, что все же, помня приятельские еще по Киеву отношения, он набавит Михаилу даже не шестьдесят, как он хотел, а семьдесят, а себе за всю работу оставит только сотню.

Дней десять спустя (задержка вышла из-за отсутствия свободных денег в «Вохзе») Михаил вынес из кабинета Дышкина семьдесят червонцев. В наивности он подумал, что проживет на них спокойно месяца три-четыре, предаваясь чтению и работе. Представить себе жизнь вне партийных нагрузок он еще не умел. Все это было, однако, лишь рассуждениями, одно начисто исключало другое. Он не раскрывал книг и не ходил на собрания. Зато были осчастливлены его посещением и «Лиссабон» и «Ливорно» и десятки разнокалиберных пивных, с цыганами, с великорусским хором, с фокстротами, с балалайками и просто с мордобоем. Деньги, пройдя через пухленькие ручки Дышкина, многому научились — у них были свои вкусы и склонности. Они вели Михаила к ресторанам, обходя библиотеку или партклуб, заставляли губы присасываться к вину, а руки к выпуклостям случайных собутыльниц. Это они (видно, Михаил порядком успел надоесть им), в жажде новых впечатлений и кочевой жизни, привели его как-то к залитому газовым, театральным светом подъезду казино.

По длинному столу ерзали различные червонцы (то есть червонцы были все добротные, если не считать презрительно встречаемых «пяточков» или «сертификатов», различались же они лишь по месту своего последнего жительства). Предприятия с пенькой, овчинами, домами, трубами, подшипниками, мазутом, горючим получали здесь последнее, по большей части весьма неожиданное, завершение. Здесь проматывались зарегистрированные в загсе жены, приобретались артистки передвижных трупп, рушились дачи в Быкове или в Малаховке, менялось решительно все. Жизнь, то становясь компактной пачкой, умещалась в кармане счастливого, то вылетала, как пар, смешивалась с дымом и испарениями толпы, оставляла неудачливому напману или подотчетному сотруднику трестика мелочь на чайные швейцару и короткую ночь для какого-нибудь из тривиальнейших способов самоубийства. Все это происходило отнюдь не безмолвно, но с той яростной, хоть и абстрагированной, руганью, которая появляется, как пена на губах, когда душа кипит и выкипает, с ургзами и слезами, с античными молитвами и со злобными ссылками на разоблачения, на газеты, даже на Гепеу.

Михаил познал все это. Он познал одушевленность и в то же время бесчувственность крохотного шарика, способного противопоставить трепету человеческого сердца свои злостные ка-

верзы. Он боролся с судьбой и ненавидел крупье. Не раз он переходил от блаженства, столь сильного и чистого, что, радуясь выигрышу, как школьник неожиданному празднику, забывал о деньгах, до еле удерживаемого желания придушить нахального крупье, чья сущность, чей прыщик на носу, чья безразличная хрипота казались ему вызывающими, требующими немедленного возмездия.

Это длилось не один вечер. Все остальное было забыто. Он не встречался с Артемом, не разворачивал газет, не заходил к себе. Он только играл. Выиграв, он поил в шашлычной каких-то случайных людей, актеров, сокращенных служащих, карточных шулеров, проституток, заставляя их допиваться до тошноты и скандалов, а проигрывая, одиноко бродил по переулкам Хамовников или по пустым набережным Москвы-реки, бессмысленно шевеля губами, складывая навязчивые цифры и злобно выплевывая, как ему казалось, особенно горькую, едкую слюну. Это кончилось лишь тогда, когда последний червонец, слабо пометавшись, как осенний лист, перейдя несколько раз от крупье к Михаилу и обратно, наконец решительно залег в чужой стопке. Опомнившись, Михаил вышел на улицу. Он заметил, что уже подошла осень: в листьях вязли ноги и за ворот залезал холодный ветерок.

Он не засовывал дула в рот и не выискивал крючка покрепче. Он спокойно шагал к себе, освобожденный от какой-то трудовой обязанности. Он знал, что теперь засядет за книги, пожалуй даже исправится, станет хорошим, честным партийцем. Может быть, и в Индию попадет. Он заканчивал одну из своих многообразных страстей сухо и деловито, без угрызений, но и без радости, как мы заканчиваем эту главу.

Об одном отлучении

Ведя жизнь несчастного самодура, примеряя то примятую шляпу дельца, то парусиновый пиджак дачника, то пестрый галстук вкушающего плоды своей деятельности маклера, жуира, игрока, Михаил забывал об одном: как-никак он еще числится членом партии, потеряв былой порыв, он не потерял партбилета (да он и берег его много ревнивей, нежели червонцы).

Вспоминая изредка, в пробелах сумасбродства, что есть партия, он то радовался, как бы обретая уютный дом, где можно отдохнуть от безумств, то начинал пугливо вздрагивать, проявлять во всех жестах мнительность, предчувствуя чистку, нечто слепое и неизбежное, как сыпняк.

Впрочем, последние недели он совсем не думал об этом. Пот игры истощал его, цифры, как мухи, облипали мозг, не оставляя просветов. Осенней ночью, как известно, он сразу вспомнил о своей жизни, о толстых конспектах лекций, об общественной работе. Он сладостно ослабил, он склонен был улыбаться милым и ласковым старикам. Он возвращался на родину. И, как всегда бывает, несчастье пришло неожиданно, сыпняк напал, когда его не ждали, перестали ждать.

Михаила приглашали для объяснений. Нужно ли говорить о естественности этого? Порезвившись добрых шесть месяцев, он наконец-то был накрыт. Где? На чем? Этого он не знал. Прежде всего он почувствовал страх, не смешанный ни с раскаянием, ни с горестью, страх как таковой. Он готов был визжать. Вызов мог означать если не смерть, то тюрьму, жесткость камерных стен, переплет оконца, дурноту и сердцебиение допросов, пот, знакомый ему по казино, недобрый пот, без надежды отыгаться, без двери на пахнущую мокрыми листьями добренькую улочку. Он даже лишен был возможности подготовиться, выдумать оправдательное неведение, подыскать смягчающих души свидетелей: ведь лаконическая бумажка не заключала пунктов обвинения. Марки? Овчины? Может быть, все вместе. Он хотел было побежать в Помжерин и к Дышкину, чтобы проверить, кого еще накрыли. Но не пошел — там могла быть засада. Он не хотел ускорять хотя бы на час свою гибель. Страх не только подрубал его ноги, но и разрезал мысли, как лапшу, обращая голову в кучу назойливо кишаших муравьев. Он заставил Михаила, обычно находчивого, делать за одной глупостью другую. Прежде всего Михаил решил не являться на вызов, то есть он, собственно говоря, ничего не решил, ежеминутно колеблясь, готовясь то смиренно направиться непосредственно в тюрьму, минуя и контрольную комиссию и камеру следователя, то задумывая фантастическое бегство в Мурманск. В итоге он ничего не предпринимал. Лихорадочно метался он на кровати, пугаясь каждого дверного скрипа, голоса за стеной, сумерек, рассвета — решительно всего.

Так прошли две недели. Его сил хватало лишь на то, чтобы изредка прокрадываться к Артему и, раздобыв у брата толику денег, закупать еду. Иногда это был хлеб, каравай ржаного хлеба, который он жевал тупо и бесчувственно, до одурения. Иногда же он покупал в гастрономической лавке какие-нибудь деликатесы: балык, сардинки, швейцарский сыр — и в умилении поглощал это, думая — напоследок, потом тюрьма и смерть.

Вызов повторился, удвоив все отвратительные приступы страха, Михаил снова ответил на него молчанием.

Наконец развязка настала. Минута, которая должна была убить Михаила, явилась радостью. Исключение он воспринял как спасение, более того, — как чудо. Он забыл о пролежанной кровати, он бегал по улицам, чувствуя острый аппетит, любовь к миру, веселье, приятную слабость выздоравливающего. Да, это не рулетка! Здесь ему выпала удача, решительная и полная удача. Не марки и не овчины. Вместо смерти, вместо сырых пятен на тюремной стене какая-то смешная формальность. Его исключили из партии за «неподобающий для коммуниста образ жизни». В ответ он душевно благодарил, жал невидимые руки, кланялся. Ну, его заметили в казино или в одном из кабачков. Исключили. Велика важность! Как будто Дышкину мешает, что он не в партии. Хуже дела от этого? Индюшатина жестче? Или, может быть, дамочки становятся скуперее на фокусы? Вздор! Михаилу нужно лезть в гору, чтобы дойти до того же Дышкина. Дышкин — это идеал. При чем тут партбилет? Китайские церемонии наивных людей, верящих во всеисильность бумаги. Есть такие, что и в иконы верят. В ад. Он их презирает. Он, Михаил Лыков!

Вдоволь наравдавшись, Михаил стал налаживать новую жизнь. Он прекратил всякие встречи как с Артемом, так и с бывшими товарищами. При помощи Вогау он устроился в Центропосторге. Казалось, все шло как по маслу. Правда, о «Лиссабоне» нечего было и помышлять. Зато стали возможными регулярные обеды, и не вегетарианские, а мясные, из трех блюд. Михаил, однако, скучал. Вогау теперь не давал ему ходу, он, пожалуй, его затирал. Михаилу, мнившему себя гениальным, он поручал только мелкие делишки, причем пресные, то есть законные, безо всяких комиссионных. Месячный оклад, в его тупой неподвижности, казался нашему герою аттестатом приращенной посредственности, могильной плитой над всеми возможно-

стями и порывами. Он толкнулся было к Дышкину, но тот принял его в передней, сухо заявив, что дел никаких нет. Может быть, Дышкин был просто в скверном настроении, расстроен невыгодной продажей хлопка, а может быть, дошли до него слухи о вычистке Михаила,— словом, ничего из этого не вышло. Служить же в Центропосторге, поглядывая, как Вогау хапает червонцы и перегоняет их то в новый костюмчик, то в часы «Лонжин», то в каких-то певичек, было скучно, откровенно говоря, скучнее, чем вузовские лекции. Там хоть имелась перспектива повышения, крупной работы, государственного яркого оперения, а здесь ничего: машинки, счета и обед из трех блюд.

Самолюбие Михаила страдало. Страдала его романтическая душа, жаждавшая маскарадов, подмостков, игры, хлопков. Больше всего страдали руки, привыкшие к необузданным жестам и вынужденные теперь на бесчувственных костяшках проверять точность поставок или размеры чужих коммиссионных. Конечно, так живут многие, так живут миллионы, такая жизнь, по всей вероятности, вернейшая порука правильного развития человеческого общества. В архитектурные замыслы природы не входит скука или даже отчаяние моллюска. Десятки ежедневных самоубийств не могут потрясти громадного организма. Все это так. Но следует подумать об особых обстоятельствах, придававших скуке Михаила столь исключительный, даже социально опасный характер. Конечно, нет ничего увеселяющего душу в конторах лондонского Сити. Если «ундервуды» и сменили описанные Диккенсом, элегично поскрипывавшие перышки, то этим ограничивается перемена: те же туманы, та же пыль, та же чудовищная, добросовестная (как и все, что выделяется на гордом острове) скука. Но любой клерк приучен к этому кровью десяти поколений клерков, молоком жены и дочери клерка, воздухом, едой, играми, языком, абсолютно всем. Не переживший ничего постороннего в жизни, кроме сентиментальных фильмов, нокаута любимиго боксера и несварения желудка от слишком удачного лудинга, он воспринимает скуку Сити, как свою стихию. Нельзя же возмущаться воздухом за то, что он лишен острых запахов или яркой окраски. Другое дело Михаил. Восставать, воевать, кичиться орденами, мечтать о мировой переделке, с легкостью, будто это лютики, срывать и швырять червонцы, реветь от восторга при виде солнца, жить щедрой на все высоты и низины жизнью, чтобы потом попасть за залитый чернилами, обсижен-

ный мухами конторский столик,— нет, это даже флегматику показалось бы чрезмерным испытанием. При порывистости же нашего героя быстро укрупнявшаяся скука ежечасно грозила взрывом. Задержка произошла от физического и душевного ослабления, порожденного неделями страха. Только задержка. Взрыв был неминуем.

Рассказчику приходится всегда настаивать на искре, спичке, окурке, ибо люди любят наглядность и плохо верят в горючесть тех или иных складов. Спичкой на этот раз явилась небольшая демонстрация комсомольцев, двпгавшаяся по Садовой, сама по себе никак не примечательная, обычная демонстрация с опубликованным в газетной хронике маршрутом и одобренными лозунгами.

Представляется несущественным, демонстрировали ли комсомольцы против «пауков — лондонских банкиров» или в честь третьего просветительного фронта, скорей всего они демонстрировали потому, что были комсомольцами, как гром гремит потому, что он гром, а не солнце и не дождь. Михаил, возвращаясь со службы, в синеватом свете зимнего переходного часа, столкнулся с этой весьма будничной демонстрацией. Остальное доделали лица, повадки, смех, шепот, голоса демонстрантов.

Мы не впервые видим, сколь сильное впечатление производили на нашего героя комсомольцы, это пугало честных профессоров, ревнителей порядка и моралистов из эмиграции. Старая партийная интеллигенция была ему глубоко чуждой, как были чужды не только все люди, жившие в зрелом возрасте до войны и до революции, невольно вобравшие в себя теплоту и нервозность прошлого века, но даже изданные тогда книги, выстроенные тогда дома. Он боялся их ригоризма, скромных жестов и близоруких глаз, аскетической морали, неумения веселиться, наследственной честности и не вытравленных до конца традиций. Узнав раньше их, а потом книги, он с недоумением увидал, что ни материалистическое мировоззрение, ни революционный опыт не выжгли дотла толстовской этичности одних, чеховской тоски других (так что речи о революции звучали, как знаменитое «мы увидим небо в алмазах»), наконец, присущего третьим надрыва героев Достоевского, писателя, который для нового поколения стал чужестранцем, директором паноптикума ужасов, перекочевавшим из России в Германию, чтобы растравливать там души немецких интеллигентов, войной и кар-

тошкой доведенных до идеализма. «Старая гвардия» мало что говорила Михаилу. Зато комсомол был его родиной. Здесь каждое острое словечко, каждый жест являлись ему внятными. Михаил лелеял к комсомолу подлинную любовь. Мы разрешим себе добавить, что разделяем это чувство. Мы не знаем, что выйдет из этой молодежи — строители коммунизма или американизированные специалисты; но мы любим это новое племя, героическое и озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а всерьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно, племя, гогочущее в цирке и грозное в скорби, бесслезное, заскорузлое, чуждое влюбленности и искусства, преданное точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготовлять мифы взаправду, серийно, — на заводах; такой романтизм оправдан Октябрем и скреплен кровью семи революционных лет.

Увидев теперь на Садовой эти папахи и шапки, эти каракули улыбок, Михаил остановился. Он не смел присоединиться к ним. Он не мог и продолжать свой путь, проклятый путь от костяшек счетов к обеду из трех блюд, к нудным заигрываниям с веснушчатой мастерицей, ко сну без снов. Он понял, что продулся, продулся в прах, что этот проигрыш страшнее всех неудачных восстаний и всех рулеточных козней. Ведь на некоем зеленом сукне осталась его молодость, горячая и прекрасная, родственная смеху этих юношей, этой «братвы» (так он подумал — «братвы»). Ему же ничего не оставили, кроме скуки, кроме битков или зраз, кроме одури Центропосторга, ничего, даже горя. Скука, прозорливая, тощая, острозубая скука, исподтишка обслюнявила, пережевала, проглотила все: и воспоминания, и дерзость, и тоску. Остается одно, понятное всем проигравшимся: смерть.

Так была поднесена к резервам прошедших месяцев крохотная спичка. Демонстранты могли идти дальше по пушистому кольцу Садовых. Михаил мог стоять, обсыпаемый снегом, как будто желавшим сострадательно затушевать нестерпимую четкость его отчаяния. Все было сделано и решено. Хоть и с запозданием, но до его существования дошло небольшое постановление, казавшееся прежде радостью и теперь расшифрованное. Оно означало смерть. И больше мысли Михаила не могли оторваться от этого постановления, как от приговора, прислушиваясь к звучанию слогов, ползая по неразборчивым извилинам подписей,

припоминая роковые даты. Он уже не стоял на углу Садовой. Как обычно, волнение заставило его ноги быстро, не сгибаясь, выводить по прямым улицам торопливые шаги. Не думая конкретно о самоубийстве, он нес его в себе, настолько он тяготился своим здоровьем, ходом ног, дыханием, настолько обрадовался бы каждой вздорной идиотской случайности, которая бы стерла его, Михаила, как резинка досадную кляксу.

Отъединение навалилось на Михаила, отверженность лепрозория, стыд сифилитика, замечающего, что от него брезгливо отодвигаются, пустота. Как описать нам, рожденным в ином веке, привыкшим к сладости уединения, к гордости неразделенных помыслов, вот это сиротство человека, отрешенного от своей среды? То, что мнилось еще недавно доблестным, хоть и горестным уделом, новое поколение расценивает, как вырванные палачом ноздри или как провалившийся нос. По безапелляционности, по исключительности этого нельзя сравнивать даже с горем любовника, жадными руками обнимающего холодную подушку, ищущего следов отошедших форм, выемок, теплоты, или же стоящего у закрытых ворот под освещенным окном, традиционного любовника, Пьерро в плаще из габардина, на залитом ацетиленом лице которого уже проступает смерть. Нет, это чувство и гуще и темнее. Оно лишает не радости, но воздуха, и далеко назад должны мы оглянуться, чтобы в наивных и старательных писаниях средневековых монахов найти ему нечто родственное. Только там, среди желтизны восковых свечей, пергамента лиц, среди духоты и плотности воздуха, среди живой его черноты, мы найдем подлинный ужас, срам, отчаяние, задыхания, которые переживал ныне, бродя по снегам советской Москвы, наш жестоко наказанный герой. И как бы ни был различен социальный и идеологический характер сопоставляемых нами веков, мы все же не уступим этого сравнения, мы скажем, что и для психолога и для неизменно младенческого человеческого сердца мука является той же мукой, зовут ли ее «отлучением от единой и апостольской» или, короче, жестче, «партчисткой».

Отчаяние являлось огромной формой, быстро наполнявшейся различными мыслями. Прежде всего эти мысли были ревнивыми и злобными. Михаил перечислял свои заслуги перед партией, переживал свою ей преданность. Он отдал все, решительно все! Разве он любил кого-нибудь, кроме нее? Хорошо, пусть он заглядываясь, оступись, в рассеянности на минуту забыл о ней. Его

следовало окликнуть, дружески напомнив ему: «Ты — Лыков, ты — коммунист». Вместо этого, его попросту вычистили, не раздумывая, как будто его ум, руки, сердце не в счет, как будто он сухая ветка на дереве или куча мусора во дворе. Злые, жестокие люди! Думая так, Михаил, конечно, не вспоминал о длительности своей «рассеянности», о марках, об овчине, о «Лиссабоне» и казино. Он опускал первый вызов. Месяцы преступлений сливались в один туманный, бредовый денек, невесомый, призрачный, рядом с четким шрифтом предшествующих лет, с кровавой чернью Перекопа, со вшами на привалах, с грохотом, рыком, титанической суетой любой атаки, с голодом и мучительной дробью терминов, цифр, часов в вузе, честностью прежнего Михаила. Ревнуя, он помышлял о мести. Он искал в тишине безлюдных улочек этой окраины, как и в своей памяти, примет новой любовницы, не для любви, для ущерба, для ущемления отвергнутой его партии. Направо дорога для него была закрыта, не только внешне: дни в Киеве все же даром не прошли. Даже в беспамятстве мысли его не кидались туда, они шарахались от одного приближения к прошлому, к презрительным господам из «кружка», даже к запаху пустых флаконов и философских книжек на столике Ольги. Но, вспомнив глухое урчание своего желудка перед первыми витринами гастрономических магазинов, перед этими подснежниками неповской весны, глухое урчание рабочих окраин, слезы после ночи в «Лиссабоне», чьи-то шепоты и проклятия, лиловые туманные листки (на гектографе), огромное недоумение, болезненно расширившее столько наивных зрачков, вспомнив это, он как будто обрадовался. Затормозив свой бег, он попытался придать мыслям четкость некоторого плана. Он войдет в один из нелегальных кружков, он будет бороться с компартией слева, требуя восстановления Октября, обличая вождей, которые, отпустив стране Кронштадт, разрешили и «Лиссабоны» и казино, а Михаилу не захотели простить пустой обмолвки.

Однако не прошло и десяти минут, как бег возобновился, а решение войти в группу «Рабочей силы» утонуло среди глушивших и звуки и страсти сугробов. Произошло это не вследствие страха перед мыслимой расплатой, нет, поэтизированной смерти Михаил никогда не боялся. Но на одну минуту столь редко посещавшая его трезвость, сознание пропорций, ощущение реальности осветили взбудораженную голову. Конечно, это не было результатом логических выкладок: бегая в бешенстве, ища со-

чувствия у пустырей, грозясь редким фонариком, где тут было до выкладок, до счетов и мер. Озарение было внезапным, стихийным. В нем играли главные роли тишина снега, усталость ног и теплый оранжевый пар, пропитанный отсветами огней, исходивший от города. Михаил неожиданно почувствовал свою малость, беспомощность, ничтожество. Он дрожал, как зажженная спичка, теряясь и погибая среди множества, среди плотного, близкого, темного множества, окружавшего его. Так, наперекор балладам из хрестоматии, наперекор и нашим отроческим снам, восстание частицы против целого в Москве двадцать третьего года не только не мнилось романтическим, требующим кисти, резца, гексаметров, но попросту граничило с клиникой, с бромом или душами. Ну хорошо, допустим, что его пальто и сойдет за плащ, а плеск далеких огней всех этих наркоматов, трестов, главков покажется океаном. Но сердце? Но пот в морозный вечер? Но готовые выскочить наружу слезы? Несчастное сердце, сердце современника героической эпопеи, песчинка, пигмей — вот подул ветер, отнес его в сторону — на что оно способно? Оно ведь не может даже отсчитывать секунды, сокращаться и шириться, чистить кровь, оно ничего не может. Но ей-ей (не вы ли тому свидетели?), оно же, теплое, человеческое, отчаянное, создает пафос, историю.

Так наконец Михаил дошел до раскаяния. Мы не скрыли, что этому способствовали страх, ощущение своего бессилия. Можно сказать, что, дубася, нещадно дубася, довели его до животного покаяния, до униженности, ползания, лизания сапог нашкодившего барбоса. Зато покаяние было полным. Впервые оно объединило годы и поступки Михаила в одно, что зовем мы с птичьего полета «жизнью такого-то». Оно шло от кота госпожи Шандау до недавних замыслов войти в подпольную организацию, вменяя и молочник, и даже невместимую голубизну неких женских глаз. Ощущение своего ничтожества было осмыслено, определено: мелкий, жалкий, гаденький человек. Так думал Михаил. Он походил на верующего, который бежит среди ночи к духовнику, на бритого фанатика иных лет, ощущающего в жесткости власяницы, в чрезмерной горячности щек тот запах серы и бесцельной муки, которым пропитан ад. Унижаясь, он не только не умирал, но, напротив, заполнялся некоторой жизнеспособностью, жаждой искупления, рядом новых для него чувств. В этом была вся традиционная правда раскаяния, хорошо обследованная мировой литературой. И нам ничуть не

кажется удивительным, что этот бег, вначале бесцельный, привел его к определенному дому, к известному подъезду, в комнату такую-то. Того требовало сердце.

Таким образом, были достойно завершены все нелепости нашего героя, составляющие содержание настоящей главы. Начав с трусливого молчания, которым он ответил на приглашение райкома явиться тогда-то, Михаил кончил лихорадочным стуком в дверь, неурочным визитом к одному из членов контрольной комиссии, к видному работнику, визитом абсурдным. Трезво рассуждая, он топил себя. Но что же делать? Трезвости в нем не было. Все эти поступки являлись по-своему логичными, необходимыми. Товарищ Тверцов увидел назойливые и нежные руки, раньше голоса ворвавшиеся в щель приоткрытой двери.

В небольшой комнатке 1-го Дома Советов произошло это недлительное, но страшное объяснение. Товарищ Тверцов редко бывал дома. Комната принимала лишь его занятия и сон, то есть цифры отчетов, духоту пересиливаемой усталости и быстрое чистое замирание большого тела, без сновидений, жизнь, скорей схематическую, условную, только теплотой дыхания и животным запахом белья отличавшуюся от листов бумаги или от фотографий. Менее всего эта комната, голая вплоть до отсутствия в ней портретов на стенке или какой-нибудь индивидуальной вещицы, хотя бы своей чернильницы, была подготовлена к подобной сцене, полной даже внешней выразительности. Лицо Тверцова являло жесткость и подобранность костей, не обросших мясом, чертеж идей и чувств. За двадцать лет подполья, тюрем и ссылок глаза его сгустились, они отдавали тяжелым блеском безусловной преданности, веры. Если прибавить высокий рост, длину и заостренность конечностей, то получится не частое среди славян перевоплощение моделей Эль Греко.

Вот к этому фанатизму принесли рыжий чуб, неугомонные руки, бредовая голова. Здесь произошла исповедь, полная и беспощадная, так что тщетно пытался Тверцов устранить некоторые детали, касавшиеся Ольги. Впрочем, он не настаивал. Как ни тяжело ему было слушать, он понимал, что пришедшему необходимо говорить (необходимо вроде срочной операции). И он выслушал все. Он оказался на высоте положения. Рассказ не возмутил и не разжалобил его. Он нашел нужные слова. Таких людей, как Тверцов, многие не раз обличали за их схематичность, ачеловечность. Обличения, конечно, справедливые.

Тверцов в роли мужа, отца, любовника может вызвать лишь сострадательную улыбку. Что понимал он в искусстве или психологии? Но оставим это и признаем, что бывают у таких людей патетические минуты озарения, вполне человеческой снисходительности, благороднейших чувств. Их отрешенность от общих страстей дает им возможность нелицеприятия, мудрого диагноза. Отвечая Михаилу, Тверцов был суров, крайне суров, но не вследствие бесчувственности. Он видел, что за суровостью и пришел к нему этот беспутный фантазер. Он напомнил ему о попранном долге. Он подтвердил справедливость постигшей кары. Но здесь же, как опытейший духовник, он указал Михаилу со всей мыслимой точностью дорогу раскаяния, очищения. Когда Михаил поведением своим загладит прошлое, партия снова примет его. Все это было сделано с такой умелостью, с таким чувством меры, с такими нудными поддакиваниями и угрюмыми паузами, что диву даешься: будто Тверцов всю свою жизнь штудировал не политическую экономию, а богословские трактаты. Беседа длилась менее часа, но Михаил вышел из этой комнаты ободренным, очищенным, ликующим. Еще никак не помышляя о практическом применении преподанных ему назиданий, он верил в свое исправление, он готов был сейчас же начать трудную жизнь, чем труднее, тем лучше, ломовую жизнь, радуясь ее поту, бессловесности, короткому сну. Его руки чинно висели по швам. Он хотел кому-нибудь улыбнуться, но на улице было пусто, и, помимо снега, он нашел только сонного милиционера. Что же, он улыбнулся ему, наш наивный герой, Михаил, нет, Мишка. Милиционер, однако, недоверчиво взглянув на него, окруженный ночью и снегом, тоскливо зевнул.

А Тверцов лег спать. Беседа с Михаилом настолько утомила его, что он не смог работать. Но и уснуть он не смог. Приподнятость, созданная положением, исчезла. Вспоминая теперь сбивчивые фразы исповеди, он испытывал брезгливость и ужас. Вместе с пиджаком спали и другие, нажитые годами приметы, хотя бы железный фанатизм. На кровати ворочался не суровый духовник, а обыкновенный человек, близорукий и малокровный. Даже лицо, распустившись, лишилось сходства с портретами Эль-Греко, напоминая теперь скорее мягкостью и беспомощностью наших отечественных донкихотов (из бывших дворян). Он невольно вспоминал свою юность, уютную, несмотря на тюрьмы и гонения. Разве не было в студенческих кружках

тех лет тургеневской белизны? Разговоры порой походили на крахмальные занавески прибранных комнатух. Тверцов вспомнил и покойную жену, тоже большевичку, их идейную близость, целомудрие скупых ласк, совместную работу. Как все это не походило на рассказ Михаила! А карты, кутежи? Кому же, кроме белоподкладочников, могли тогда прийти в голову подобные забавы? Странное время! Оно должно быть прекрасным. И все же оно странное, даже страшное. Кто идет на смену Тверцову, Тверцовым?.. Бессонница длилась. Непонятное томление большого, сильного, умного человека услышала эта комната, тихая, деловая, за стенами которой, не допущенная внутрь, густела ночь, с ее непосильной темнотой, с немотой снега, неизвестная, еще никем не названная ночь.

Исповедь на другой лад. Герой недоволен родиной

Государство не монастырь и не исправительная колония. Михаилу, конечно, в ту ночь повезло. Но больше ни на Тверцова, ни на подобных Тверцову он не нападал. Таким образом, исповедь осталась без продолжения, если не считать некоторых, вполне искренних поисков подходящей работы, да, пожалуй, известной скромности, сохраняемой в течение двух-трех ближайших недель. Остальное?.. Но ведь ломовой пот, о котором он мечтал, выйдя от Тверцова, был великолепным алмазным потом, сиянием, романтикой. Его не выдавали на бирже труда. Там пот сбивался на портянки, свидетельствовал о нудности и тяготе. Раскаяние, правда, длилось, как и мечты об искуплении. Но раскаяние было громким, эффективным, парадным, способным на улыбку милиционеру, на публичное унижение, на героическую смерть, только не на скромненькое чиновничье перышко с его мышиным попискиванием. Притом наш герой был уверен в своем исправлении. Ночное блуждание по сугробам и час у Тверцова он засчитывал себе за многие годы. Нужно ли подтверждать мелочным прилежанием героизм минуты, когда он, любя партию, не побоялся отступить от себя? Какой тупой контролер сможет, послушав

пальцы, сосчитать теплые, вертлявые человеческие дни? Формальность! Михаилу нужен не карцер, не отсиживание, но живая, вдохновляющая работа. Вновь в его голове подымались душные наименования далеких городов, пряность географии, невзыскательная экзотика.

Не удивительно, что из всех наркоматов, отделов, подразделов, трестов, союзов и прочих учреждений, от которых тщетно пытается разгрузиться наша столица, Михаил облюбовал Наркоминдел, с его парадным лифтом, автомобилями у подъездов, с соблазнительным обликом влетающих и вылетающих дипкурьеров, которые, как перелетные птицы, вечно волнуют поэтов и просто непоседливых людей. Прочитав в «Правде» о курсах красных дипломатов, Михаил стал мечтать пробраться туда, ликвидировав «вычистку». Он принохивался, осматривался, проводил дни в обследовании мест и в зазывании скромных знакомств. Дело оказалось, однако, значительно более сложным, нежели он предполагал. Не одно помещение успели отремонтировать за истекший год. Люди тоже стали серьезней, суше, осмотрительней. Прошмыгнуть, заговорив секретаршу, или влезть с нахрапу к наркому было теперь невысказано. Всюду, интересуясь прошлым, вытаскивали проклятую «вычистку». Михаил попробовал было нагло сослаться на Тверцова. Что же, эти недоверчивые сердца потребовали подтверждения. Михаил дошел до подъезда Дома Советов, готовый уже подняться к своему недавнему духовнику и вместо лирических глубин попросить у него на этот раз поручительства. Но, вспомнив глаза Тверцова с их холодным огнем, он потолкался в подъезде и вышел на улицу; струсил.

Он предпочел возобновить прежние окольные рекогносцировки. Они-то привели нашего героя в кабинет товарища Кротя, куда без доклада вход запрещался. Огрызок красного карандаша, лежавший на столе, обладал многими магическими свойствами, и, заметив его, зеленоватые призрачные щеки Михаила гармонично зардели. Скрыть от Кротя историю с «вычисткой» он не смог. Пришлось в оправдание изложить всю свою биографию, то есть вновь заняться исповедью, как будто это его профессия. Но, сравнивая этот его рассказ с услышанным Тверцовым, мы видим не только различность фактов, а и несовместимость стилей. Это были произведения двух враждующих авторов. У Тверцова Михаил усердствовал в самоого-

лении, здесь же он умело маскировал все свои природные дефекты то идеологическими отталкиваниями, то романтическими уклонами. Он не скрывал грехов, но грехи эти он подавал столь аппетитно, с таким гарниром, с такими поэтическими наименованиями, что казалось, никакой постник не смог бы попрекнуть за них застенчивого краснеющего юношу. На что Тверцов был неприступен, и тот, может быть, услышав такую версию этой жизни, пожалел бы много испытавшего, несмотря на нежный возраст, товарища. Право же, красный карандашик, по всем расчетам Михаила, мог участливо наклониться и выронить бесценное «принять». И что же?.. В самом возвышенном, в самом трогательном месте рассказ Михаила был прерван неожиданным грубым, обескураживающим хохотом.

Да, товарищ Кроль от смеха даже вытер пестрым платком свой испещренный красными метками лоб. Чтобы стало понятным столь странное для ответственного работника поведение, следует объяснить, кто он, этот товарищ Кроль. На кого напал наш герой в поисках красного карандашика? Мы бы так его определили: несколько анахроническая фигура, ожившее воспоминание Первого Интернационала в эпоху трестов, этих государственных кулебяк, запоздавшие специи для закуски, для солений, для маринадов: уксус, перец, горчица, заставившие не один лоб морщиться, завсегдаятай венских или берлинских кофеен, где над пеной смятых газет высятся пенсне, пепел изжеванной сигареты, брызги слюны и сарказм, конечно, первосортный, всеевропейский. Было время, когда Кроль вдруг оказался в России своим, человеком на месте. Его усмешка тогда чувствовалась и в едкости гари, и в остроте оттепелей, и в первых декретах, и в нотах Чичерина, полемизировавшего с «цивилизованной Антантой», и в веселых глазенках любого школьника, разоблачившего учителя. Время то прошло. Остро словие товарища Кроля, вновь сгустившись, заняло небольшой кабинетик, куда нахально и проник Михаил. Прodelки продолжались: то на дипломатическом банкете он заговаривал с англичанином об Индии (хоть Индия не соя, на что крепок желудок бритта, и тот не может переварить нечто подобное), то в идиллическое интервью об экспорте зерна он подкидывал горсточку кайенского перца, принуждая многих злиться, откашливаться, даже сморкаться. Впрочем, все это было безобидным озорством, чудачеством.

Теперь, мы полагаем, ясно, что в ответ на высокопатетические рассуждения Михаила мог последовать лишь смех, этот оглушающий смех, по неожиданности и громкости схожий с лаем большого простуженного пса. Особенно развеселили Кротя намеки на Ольгу, то есть упоминание о некоей, положенной на алтарь революции нежной привязанности. Ни дрожь голоса, ни румянец, ни главный козырь, знаменитый пигмент глаз, неизменно выручавший нашего героя, не произвели на Кротя никакого впечатления. Он отнесся к этим приметам, как к нехитрым трюкам местечкового фокусника, как к цвету лица венских красоток, который измеряется не их возрастом, но исключительно маркой пудры. Это было, конечно, несколько примитивным способом воспринимать мир. Но иногда лучше бывает снаивничать, нежели перемудрить. Выражаясь вульгарно, он Михаила «раскусил», раскусил немедленно, после первых же слов о «жажде работать». Досыта насмеявшись, он даже залюбовался этим прохвостом: эстетические восприятия не были ему чужды. Ханжество юноши, возвышаясь над средним уровнем, требовало любования. Кроть так и выразился, откровенно:

— Жаль, что вам здесь простора нет. В Америку бы... Там бы вы такую панаму развели...

Михаил растерялся. Не поняв смеха, он решил обойти его, как латинскую поговорку в газете. Последнее восклицание было, однако, еще загадочней смеха. Добродушие голоса и одобрительность слов как будто указывали на удачу: здесь наконец-то его поняли! Но «панамы»? Как это понять? и может ли коммунист, не иронизируя, в чем-нибудь предпочесть Америку Советской России? Значит, это издевка. Не только откажет, но выгонит, пожалуй, сообщит в Гепеу. Что же делать? Михаил рад был бы уйти, пропасть, отменить все им сказанное. Но это было труднее, чем войти. А Кроть продолжал свои непонятные философствования:

— И насчет Одессы вы наврали... Я вас сразу понял... Нахапали. Талантливый вы человек, очень талантливый. Теперь вы, следовательно, в дипломаты метите?..

— Я вам сказал. Я ищу трудной работы. Я хочу отдать все свои силы.

— Так-с. А по-моему, вам бы вернее всего втереться во Внешторг. И за границу...

Михаил был уничтожен. Только его смятением и взволнованностью можно объяснить, что на явно провокационные наставления Кроля он кротко, по-детски ответил:

— Что же, если нужно, я и во Внешторг готов.

— Готовы? Вот это великолепно. Только словят вас. Увидите, что словят. Ну, будет, посмеялись, теперь ступайте.

Михаил встал, сел, въедаясь глазами то в хитрое обезьянье лицо Кроля, то в его руку, по-прежнему далекую от карандаша. Наконец он решился спросить:

— Куда? Во Внешторг?

— Я уж не знаю. Куда хотите. Я бы вас направил к одному знакомому писателю, чтобы он с вами побеседовал. Замечательный роман может выйти. Да зарежет, пожалуй, главлит. Ну, до свиданья: мне некогда.

Рука Кроля наконец снялась с места. Но она не взяла карандашика, она и не потянулась к руке Михаила. Деловито она указала на дверь. Так кончилась вторая исповедь. Так кончился и период раскаяния, ибо, выйдя на Кузнецкий, справившись несколько от первого стыда, Михаил почувствовал всю живучесть воскресшей злобы. На этот раз она не ширилась, не вела его к обобщению, не нашептывала о подпольных организациях. Нарядная публика и витрины возвращали его к прежним замыслам. Бромберг, овчины, Вогау — он снова жил этими внятыми образами. Но нужных дверей не значилось. С чего начать? К кому кинуться? Кроль его выставил. Что же, можно примириться со стороны моральной, можно самому плюнуть на всю их хваленую чистоплотность. Однако остается факт: с Наркоминделом не выгорело. Позорно, что такой ум, такие руки, такое сердце, да, сердце Михаила, горячее, ревнивое, золотое, остаются без применения!

Он дошел до Сретенки. Мороз крепчал, и перспектива идти по светлым пустым бульварам, застывая и задыхаясь, испугала его. Тяжело дыша и нездоровым светом освещая синь снега, подполз засахаренный трамвай. Михаил вошел, подталкиваемый другими людьми, несгибающимися, мертвенными, похожими на мороженые туши. Какая нищета была в этом, в плотности застывающего дыхания, в густоте запахов, в силлом выкрике кондукторши, у которой изморозь выела ресницы: «Граждáне, уплотняйтесь!» В этом ударении «граждáне» — какая фантастика векового юродства! Или только казалось это взволнованному нелюбезной беседой герою? Он

вглядывался в лица с изъятием мыслей, он как бы изучал согласованность зевоты, массовость движений, которыми пассажиры утирали оттепель носов, эту глянцеvitость указательных пальцев в коже или же в шерсти, сонливость, замедленное движение статьи из «Известий» по головам, шей, жирных или постных, по желудкам, медлительность грызущего лед трамвая, медлительность породы, ледяное небытие.

Он ощущал всем своим существом ужас климата. Если бы он родился в Италии или хотя бы в Германии! Тот же снег там редкость, выпадет — быстро сvezут за город, как нечистоты. Асфальт. Шины и отсветы фонарей. Там бы его не отталкивали, не боялись бы его поспешности, горячности, разгона рук. Все дело в климате. Для других стран это абстракция, слово из учебника географии. Там погода, хорошая или плохая, и все. Здесь же климат. Он важнее, патетичнее идей, строя, законов. Здесь он — тяжесть дыхания и мощь, гранитная всепокрывающая мощь вшивых шкур на вялом, начесанном, заспанном теле. Овчины. Почему овчины? Дышкин, алло! Дышкин — нарыв, Михаил — случайность. А овчины навек...

Почему он родился в этой страшной стране? Кроль неплохо сказал: почему он не американец? Брать только весом, пудами, заваливая чуть ли не полушарие той же овчиной. Трамвай полз, как нансеновский «Фрам» среди льдов и смерти. Это не жизнь. Это из «библиотеки для юношества», лекция с туманными картинками. Редко глаза наталкивались на извозчика, на это диковинное существо, на чудовище, обмотанное рыжим тряпьем, под которым булькала ругань и холодеющий чай, на припудренную холодом морду полярной красавицы — убойной клячи, или на берлогу пивной, выдыхавшую клуб пара, отрыжку шарманки и двух весельчаков, готовых не то подражаться, не то заплакать.

Михаил понял, что он ненавидит эту землю, ненавидит тупо, зло, с одним желанием отхлестать вожжами, бить обледеневшими копытами ее тучные груди, эти валдайские возвышенности, бить их, топтать, не столько уничтожить (как без нее прожить?), сколько унизить. Некоторые из наших соотечественников хоть однажды испытали подобное чувство. Его связывали с политическими протестами против различных режимов или со страхом перед сжиманием ртути в градуснике, с сетованиями на скудость истории, на блудливое ерзание

четырех толстозадых императриц, с сивушным ароматцем бунтов, с чем угодно, в зависимости от характера и обстоятельств, но рождалось оно всегда из тех же глубин самообличения.

Особенно остро дано было почувствовать подобную травму многим молодым людям, начавшим дышать, думать, действовать в те годы, когда снег если и не свозили за город, то покрывали кубистическими холстинами, когда рождались замыслы переукрасить в одну ночь всю Свердловскую площадь или сделать, этак в один год страну высокограмотной, устроить на площадях, обходя мороз, тулупы и харканье, карнавальные забавы,— словом, когда Россия примеряла немало платьев и травести. В этом чувстве страха перед косностью материала был и подлинный трагизм слишком горячих энтузиастов, была в нем и мелкая досадливость резвых юношей, осаживаемых не только бдительным оком властей, но и климатом, нравами, этнографией. За что Михаил, покачиваясь в проходе трамвая, ненавидел Россию? Она его вязала. Он ненавидел терпение, сугубую тишину зимы. Говорят, огонь! И что же, он обливает мертвым светом, этим коллодием, снег площадей, не прорезая толщу овчин, бесстрастно сверкает электрическими лозунгами. Замороженный огонь! Михаил брезгливо вздрагивал от прикосновений скрипучих тел. Он весь горит. Он — человек, герой, поэт, романтик, среди скифов! Нет, проще, среди баранов! Трагедия Наполеона!

Да, Михаил, отнюдь не иронизируя (он и вообще был мало склонен к иронии), всерьез чувствовал себя Наполеоном. Он ведь не мог поглядеть на себя со стороны. Он не мог оценить своего сходства, потрясающего тождества со столь презируемыми им попутчиками. Рыжий чуб отсутствовал, проглоченный меховой шапкой. Все же остальное, то есть полушубок, грубость дыхания, промерзлость ног, являлось частицей трамвая «А», всей Москвы. Что касается мыслей, бестолково барахтавшихся на поверхности его обледеневшей головы, как рыбы у проруби, то и они вряд ли носили столь исключительный характер. Кто знает, сколько Наполеонов ежедневно ездили в трамвае «А» или шли по улицам, от холода притопывая и хлопая деревянными ручищами? В тихие, как бы неживые ночи они примеряли если не плащ, то какое-то забавное тряпье из героического реквизита, и над тулупами пылали призрачные звезды северной романтики.

Герой находит достойную его героиню

Несколько недель спустя, с душой значительно более уравновешенной, Михаил шел в Полуэктово переулок к некоему Глотову на вечеринку. Кроме выпивки, танцев и прочих аттракционов, к которым наш герой был далеко не равнодушен, Глотов обещал познакомить его с одной дамой, знающей ходы в Донторг, а Вогау недавно поручил Михаилу дельце, связанное (хоть и деликатно) именно с этим учреждением. Сам Глотов служил в Иноделе, Михаил с ним познакомился в период мечтаний о красной дипломатии. Но, войдя в нагретую комнату, полную непонятных звуков, световых пятен, запахов, Михаил сразу забыл о деловой стороне визита. Он попал в мир экрана, у которого были объем, реальность жизни. Это было шикарнее «Лиссабона», отличаясь интимностью, замкнутостью, притягательностью простого номера квартиры вместо оскорбительной вывески, это было и важнее, нежели обладание дочерью бывшего владельца спичечной фабрики. («Бывшего!» — вспоминая теперь Ольгу, Михаил презрительно морщился: много ли стоят рассказы о бывших путешествиях?) Здесь его принимали просто, как равного. Он сразу стал живой частью волшебного мира. Он даже не мог говорить, он только улыбался, задевая чрезмерно впечатлительными руками чужие руки, плечи дам, бутылки. Впрочем, общество, собиравшееся у Глотова, отличалось терпимостью, широтой суждений и любовью к неожиданным жестам. Это была весьма своеобразная полусветская-полуартистическая богема Москвы двадцать третьего года, и поведение Михаила никого не шокировало.

Кроме того, все были заняты делом. Молодежь, включая Глотова, танцевала с трогательной старательностью, которая, несмотря на новизну па, придавала этим танцам стиль дворянской усадьбы тридцатых годов прошлого века. Ездившие в командировки привозили новое откровение Европы: фокстрот. Все знали — есть нечто, мания, безумие, чудеснейшее безумие «дряхлого Запада». Знали даже названия. Иные видели и фотографии в заграничных иллюстрированных журналах. Но только редкие счастливицы обладали секретом самого фокстрота, ибо па, в отличие от идей, не передаются ни газетами,

ни письмами, ни молвой. Некий ученый секретарь Наркомпроса, ездивший в Лейпциг за школьными пособиями, по дороге остановился в Берлине и, преодолев застенчивость, несмотря на свой почтенный возраст, записался в танцкласс. Зато он стал Моисеем, пусть косноязычным, плешивым, плюгавым, однако принесшим в Москву скрижали завета. Кичась и ломаясь, он заставлял дам долго улещивать и упранивать его, прежде нежели встать, вытянуть голову и начать. Таких Моисеев было немного: семь или восемь на всю Москву. Вечера, на которых они присутствовали, превращались в экзотические уроки, в проповеди, сопровождаемые необходимой тряской. Отсталые, носившие под пиджаком, как запах нафталина, прежний идейный дух, всячески протестовали: политики ополчались на явно буржуазный характер забавы, моралисты на опасность некоторых прикосновений, наконец, эстеты на механические, безобразные, бесстильные, не в пример народным, па. Им отвечали: американизм, здоровый спорт, новая урбанистическая эстетика и т. д. Им отвечали не столько словами, сколько нетерпеливым подрагиванием и переходом к делу, то есть к старательному изучению фокстрота. Как чума, занесенная двумя-тремя матросами, эпидемия фокстрота, несмотря на осуждение, ширилась. Избранные обладали патефонами, и тот или иной модный мотив («Бананы» или «Титина») просачивались сквозь границы, как контрабандные ликеры. На счастье прочих, неизбранных, но музыкальных натур один агиттеатр показывал публично фокстроты, как демонстрацию гниения, позорного гниения якобы культурных наций. Аншлаги свидетельствовали о любознательности и прилежании москвичей.

У Глотова не было ни одного Моисея, но сам Глотов мог сойти за такового. Как-то в Иноделе он словил дипкурьера, только что приехавшего из Лондона, и заставил его здесь же, в коридоре, продемонстрировать несколько элементарных па. Глотов показывал. Ученики проявляли изрядные способности, и к моменту прихода Михаила все уже напоминало «разлагающуюся Европу». Вот только в костюмах чувствовался местный экзотизм. Правда, дамы щеголяли модными талиями (примерно на коленях) и декольтированными плечами. Но кавалеры были в чем попало: кто в толстовке, кто в вязаной кофте. Причем, по случаю жестокого мороза, многие явились в валенках, что придавало грациозным па некоторую отече-

ственную тяжеловесность. Впрочем, все были довольны, и только один из мужей, несмотря на стойкость мировоззрения грешивший чувством собственности, глядя на свою супругу, подхваченную молодым киноактером, ворчал: он не верил Глотову, наверно, полагается, чтобы между кавалером и дамой сохранялось некоторое расстояние, хотя бы в три сантиметра! Его, однако, обозвали «консерватором». Оставалось искать утешения в вине.

Пили главным образом нетанцующие: слишком принципиальные, страдавшие физическими недостатками или деловые люди, пришедшие сюда, как Михаил, не для забавы. Ведь общество было чрезвычайно пестрым: ревнивый муж, то есть сотрудник МОНО, цирковая наездница, киноактеры, театральный рецензент «Известий», художник, изготавливающий рекламы для табачных трестов, коммунист из Моссельпрома (не педант), агент МУРа, студенты-гигевцы, три спекулянта с Ильинки, инженер Октябрьской сети железных дорог, заведующий гостиницей «Красное подворье», подруга члена коллегии Наркомздрава, просто девицы, директор Центроцемента и с пяток других неопределенных субъектов. В соседнюю комнату, где жил писатель Плоткин, уходили отдыхать или побеседовать, а в кухню по крайне важным делам: целоваться после фокстрота или заканчивать особо секретные сделки. В кухне было темно, и только по звукам можно было определить, что там происходит: спекулянт обделывает гражданина из Моссельпрома насчет партии подтяжек или киноактер усугубляет муки ревнивого сотрудника МОНО.

Михаил не сразу огляделся. Долго он бродил от танцующих к бутылкам, в кухню (один, без цели), к Плоткину, бродил, как пьяный, хотя выпил всего стакан мадеры, — для приличия. Он был до крайности взволнован. Если бы так жить! Если бы эта ночь могла продлиться, стать буднями, чтобы глядеть на странные прыжки, на припудренные плечи, на этикетки вин, долго глядеть, до смерти! Восторг был столь велик, что Михаилу не хотелось большего: ни пить, ни танцевать, ни врезаться сухими от экстаза губами в матовость плеч. Только бескорыстно ощущать, что это правда, не фильм, что он, Михаил Яковлевич Лыков, здесь присутствует.

Вероятно, это состояние продлилось бы до утра, если бы Глотов не напомнил ему о реальности иного мира, находившегося за дверью сказочной квартиры, где, кроме ночи и сне-

га, были Вогау, Донторг, вагон американской бумазеи. Хозяин даже фокстротируя не забывал о святом гостеприимстве. Он твердо помнил, кто и за чем пришел. Это на его совести — мука сотрудника МОНО. Он также свел подругу члена коллегии с поэтом: нажать на Госиздат. Голова Глотова была нафарширована, вперемешку с увлекательными мотивами фокстротов, альтруистическими мыслями о благе множества людей. Прижавшись к цирковой наезднице и втайне подумав о часе, когда гости разойдутся, а наездница (Плоткину на зависть) останется, он вспомнил: рыжий ищет ходов в Донторг. Дружественно обняв Михаила, он шепнул:

— Сонечка-то наша запоздала. Но вы не беспокойтесь, она обязательно придет. Я ведь для нее инженера приготовили! бесплатный билет. Вы пока потанцуйте...

Михаил поблагодарил, но от фокстрота отказался. Он не стеснялся, но обращение Глотова сразу перевело его мысли на иной путь. Он отделился от веселящихся, задумался, его руки, выступая вперед, теперь только иллюстрировали различные арифметические операции. Они искали не плечо, а бумазею. Этой даме следует предложить не более пятнадцати процентов. Поторговаться. А Вогау сказать, что меньше, чем за двадцать пять, не соглашалась. Тогда, кроме десяти официальных, десять этих, — двадцать. Выйдет около восьмидесяти червонцев. Недурственно! Вот только толковая ли баба? Может, Гловов врет? Представитель Донторга сухарь. К такому не подойдешь. А сразу предложить проценты опасно. Ведь он коммунист. Нужно с нею взять серьезный тон. О процентах вскользь. Налегать на качество бумазеи и на необходимость укоротить бумажную волокиту.

Михаил был настолько поглощен этими мыслями, что пропустил ряд происшествий, взволновавших прочих гостей: внезапный увоз сотрудником МОНО своей супруги (пока не поздно), падение, отнюдь не фигуральное, толстейшей подружки члена коллегии, вследствие образцово наводненного паркета и крепости малаги, наконец появление новой гостьи, черненькой, смазливой барышни, весьма затейливо одетой, встреченной общим восторженным щебетом: «Сонечка! Сонечка!» Он вздрогнул от неожиданности, когда Гловов подвел к нему девицу, фамильярно приговаривая:

— А вот и мы... А вот и мы пришли...

Девушка, которая не могла быть никем иным, как Сонечкой, той самой, у которой ходы в Донторг, села рядом с Михаилом, вынула из сумки крохотное зеркальце, пудреницу, пуховку и, с ужимками холеной мартышки, стала сосредоточенно пудриться. Но Михаил молчал. Тогда в недоумении она спросила:

— Итак? В чем дело?

Но и это не прервало молчание нашего героя. Напротив, с каждой секундой немота его становилась плотнее, весомей, безысходней. «В чем дело?» Разве мог он ответить на этот вопрос? Конечно же, не в Донторге. Дело в болезни, в сумасшествии, в катастрофе. Как мы сказали, Михаил был вполне настроен для делового разговора о бумазее. Он думал только о процентах. Он даже не заметил прихода Сонечки. Но вот случилось нечто непредвиденное, странное, скажем даже, страшное. Трудно это объяснить. Конечно, Михаил ждал объяснения с какой-нибудь эппманшей, у которой от жадности вырываются наружу зубы гиены, а глазки тонут среди текучей желтизны залежавшегося жира. Но разве не бывает хорошеньких девиц? Мало ли он их видел? Наконец, мало ли испробовал? Ведь это не Мишка из прогимназии, взбесившийся при виде круглых форм солдатки. Правда, он был человеком горячим, игроком, задирой, всем кем угодно, но не бабником. Его любовные похождения напоминали классные работы на три с минусом, скорее этикет, обязанность, трудовая повинность, нежели страсть. В чем же дело? Сонечка была ли столь необычайной?

Мы затрудняемся ответить на эти вопросы, мы, право, предпочли бы промолчать, воспользовавшись примером онемевшего Михаила.

Мы вспоминаем черные глазки, стриженные волосы, курносость, бойкость чуть приоткрытых и сильно накрашенных губок, приятную припухлость оголенных рук, общий облик развязной парижанки или, если угодно, пажы эпохи Ренессанса, приобщенного к фокстроту и к тайнам Донторга, мы повторяем: да, конечно, хорошенькая, слов нет. Но не в этом суть. Как бы мы ни любили отеческой любовью нашего героя (пожалуй, никакой любви не заслуживающего), мы не можем разделять всех его безумств. Нам остается вместо лирических восторгов перед Сонечкой, которая, оставив пуховку, перешла теперь к карминному карандашику, деловито отметить, что в

три четверти двенадцатого, находясь у Глотова на вечеринке, Михаил потерял голову, впервые почувствовав весь разор, всю болезненность, безрассудность, даже гибельность обыкновенной человеческой любви. Как часто бывает, эта любовь родилась внезапно, без предварительных трогательных бесед, без общения умов и справок о социальном положении. Она в две-три минуты трезвого и делового спекулянтства, который подсчитывал проценты, заменила глупым школьником, наивнейшим вздыхателем, достойным улыбки сострадания. Достойным и восхищения, ибо рядом с Сонечкой сидел не мелкий делец из Центропосторга, но Ромео. От волнения его глаза еще потемнели, они казались глубочайшими дырами на очень белом, известковом лице. Дыхания не было. Интервалы между двумя ударами пораженного заразой сердца казались заполненными смертью. Он страдал. Еще ничего не сознавая, не успев даже подумать, что с ним, он все же был счастлив. Он ни за что не уступил бы этого страдания. Ноги его дрожали. Он явно переступал в иной, высший мир.

Сонечке его молчание надоело. Не задумываясь над причинами, презирая вообще всякие непонятные чувства, она заговорила:

— Что же вы молчите? Испугались, что я чересчур молоденькая? Не бойтесь. Это не мешает. Это даже в делах полезно. А я могу быть очень деловой. Меня пол-Москвы знает. Я могла бы засесть в Деловом клубе, только скучно: все доклады, а танцуют мало. Знаете, еще год тому назад меня так представляли: «Сонечка, дочка профессора Петрякова, знаете, тот, знаменитый, с радио...» Ну вот, а теперь о папе говорят: «отец той самой Сонечки...» Честное слово! К делу...

И Сонечка вынула из сумки уже не пудреницу, но крохотное самопишущее перо и блокнот.

— Я завтра увижу представителя Донторга. Что вы им предлагаете?

Михаил все еще молчал. Сонечка, ее рука, даже перо настаивали. Но он не помнил о бумазее. Он ни о чем не помнил. Он дал волю сердцу. Резко вскочив с места, он наклонился к девушке и угрюмо, отчаянно прошептал:

— Я от вас с ума сошел. Хочу тебя! Не понимаешь?..

Сонечка не удивилась, только в раздражении переместила свои сильно подрисованные брови:

— Нахал! И притом мальчишка!

После чего ушла танцевать с инженером. А Михаил продолжал стоять в углу. Он не решался взглянуть на нее. Он хотел уйти, но не мог. Он даже не испытывал обиды. Несмотря на свое самолюбие, он не думал об унижении, о том, что Сонечка, может быть, уже рассказала инженеру про его поведение, что на него начинают с любопытством поглядывать. Все это было безразличным. Он ждал приговора: жизни или смерти. Увидит ли еще ее? Подойдет ли она к нему? Простит ли? Он поступил с ней грубо, по-хамски, как с девкой в пивной. Она же с головы до этого маленького перышка вся нежность, вся хрупкость. Если судьба над ним смиростивится, если Сонечка его простит, он будет с ней кротчайшим, он забудет не только о таких словах, о самом чувстве. Он не хочет ее. Не смеет хотеть. Он просит только о праве изредка встречаться, видеть эти губы, следить за их насмешкой, задыхаясь, глупея, погибая. Ведь это счастье!..

Сонечка, покончив в кухне с вопросом о бесплатном билете, занялась другими делами: пофлиртowała с агентом МУРа, предоставив ему несколько раз присосаться большими резиновыми губами к ее нервно подрагивавшему плечу, уделила четверть часа серьезной беседе с одним из спекулянтов о закупке (якобы для Госбанка) необходимых какому-то приезжему поляку долларов. Наконец, она решила заняться Михаилом. Как будто ничего между ними не произошло, игриво улыбаясь, она подошла к своему недисциплинированному читателю.

— Опомнились? Вот это хорошо. Теперь займемся делом.

Михаил понял, что любовь требует от него большего, нежели обычные жертвы, большего даже, нежели тривиальная смерть, что он должен говорить о проклятых цифрах, вместо нежности и боли вытащить на свет чудовищную бумагу. Он не смел возражать, отказываться, он не смел и молчать: ведь это раздражило бы Сонечку. Он заговорил. Сентиментальность теперь не в почете. Бюстгигиены узаконенного строя жизни, некоей общественной моды, деспотичной, как и всякая мода, заявляют, что материалистическое миросозерцание, а также устав «Лиги времени», противоречат анахроническому чувству. Мы позволим себе с ними не согласиться и заметить, что ни привязанность к цветам, ни заболевания, хотя бы корью, не зависят от программы и резолюций. На что уж Михаил был деловит, а вот и с ним случилось... Каждое сло-

во, будь то «вагон», «расписка», «себестоимость», «проценты» — причиняло ему муку. Он исполнял сладчайшую арию, предназначенную для тенора, но вместо любви пел о бумазее. Это должно было растрогать всех. Кажется, даже вагон, обыкновенный, вполне бесчувственный вагон, в котором лежала бумазая, и тот сострадательно вздрогнул бы, заскрипел бы, услышав тембр голоса, эти слезы, с трудом сдерживаемые и превращаемые в деловые термины. Но Сонечка была правоверней самих блюстителей нового стиля. Занимаясь делами, она не признавала никаких чувств. Ее плечико, подрагивая при прикосновении губ агента МУРа, повиновалось не влечению и не брезгливости, но только сухим велениям рассудка. Оно просто выполняло задание: Сонечке агент был нужен. Это, конечно, не означает, что она не знала прочих чувств. Нет, она умела и танцевать фокстрот, и отдаваться, точнее, брать приятных ей любовников, крепких, широкоплечих, напоминающих героев американских фильмов, пахнущих тройным одеколоном. Но это вне дел, после дел. Сейчас же, договариваясь о Донторге, она не вслушивалась в интонации Михаила. Ее интересовали исключительно цифры. Поэтому, когда Михаил, доведя свой подвиг до конца, изложив всю сущность дела, робко добавил: «Вы меня простили?» — она лишь рассеянно взглянула на его наивно торчащий чуб.

— Вздор! Но проценты маленькие. Мне не стоит ради этого возиться. Минимум тридцать, или я отказываюсь.

Михаил поспешил согласиться. Он, конечно, не думал о том, что работает впустую. Он даже не подумал о том, что скажет ему Вогау. Если она откажется от бумазая, он ее никогда больше не увидит. Потребуй она все сто, он бы и то согласился. Цифры для него теперь так же мало значили, как для нее взволнованность дыхания, грузность пауз, весь доисторический, косноязычный язык любви.

Сонечка довольно усмехнулась, за тридцать процентов подарив Михаилу высокое наслаждение узреть ее мельчайшие, как бусинки ожерелья, зубки, записала в блокнот цифры и номера, потом ушла. Было уже поздно. Приближался для Глотова столь желанный час, когда он сможет остаться вдвоем с наездницей, которую многие неudelикатно спрашивали: «Нам, кажется, по дороге?» — неизменно получая в ответ: «Нет, я еще немного посижу». Михаил в душе надеялся, что Сонечка выйдет одна. Ведь она пришла без спутников. Но не

тут-то было! Она громко заявила, что едет с инженером. Конечно, билет в вагоне особого назначения чего-нибудь да стоил. Притом плечи у инженера были широкие. Вполне возможно, что он натирался одеколоном. Но, уходя, Сонечка вдруг сказала Михаилу:

— Да, я ведь забыла вас спросить...

Она увлекла его в темную кухню. Она была уже в шубе, и Михаил явственно чувствовал милый звериный запах меха. Несмотря на загадочность увода, на темноту и близость Сонечки, на всю свою страсть, он сдержался. Он послушливо ждал какого-нибудь нового вопроса о бумазее. Последовавшее окончательно сбило его с толку:

— Вам сколько лет?

Он преглупо ответил:

— Не помню.

Это было правдой. Он больше ни о чем не помнил. Тогда Сонечка снова презрительно фыркнула:

— Мальчишка! Завтра в Донторге все устрою. Пока.

И, говоря это, она теплыми сухими губами прижалась к губам Михаила. Когда же губы нашего героя поняли, что это значит, когда они, безумствуя, хотели ответить, Сонечки уже не было. В передней, смеясь, она шептала инженеру:

— Ну, не сердитесь! Я уже готова!..

Михаил шел по снежному пустому переулку. Он стонал и бредил. Слова его ничего не выражали, как те слова о бумазее, хотя теперь они были словами горя и ласки. Какое бессилие в словах! Они похожи на тепличные розы, с трудом выгоняемые садовником, на те розы, которые подносят дамам в ночных кабаках, где нет ни любования, ни простой жалости, где запах, созданный с таким трудом, даже не чувствуется среди табачного дыма и пота, где короткие мокрые пальцы мимоходом давят лепестки, как крошки хлеба, как женское тело, как всю нашу жизнь. Бедные человеческие слова! Мы ведь хорошо знаем их нищету, их беспомощность. Стоит ли годами бредить, забывая о своей жизни, о весеннем утре, о смехе подруги, стоит ли болеть всеми напастями наших героев, идти по этому переулку рядом с Михаилом, немея от его скорби, стоит ли писать, по многу раз перечеркивая фразы, маниакально лоя в крикливой тишине отсутствующие слова и проверяя их страдальческой гимнастикой губ, стоит ли быть писателем, автором книги о Михаиле, других книг, чтобы в

ответ получать исконное молчание читателей и несколько рецензий, написанных руками, вполне родственными тем, что скатывают лепестки роз в шарики? Нет, не будем преувеличивать значения слов, не будем вслушиваться в жалобы Михаила. С признательностью упомянем лишь о подлинной сострадательности снега. Как промокательная бумага — чернила, он жадно впитывает в себя звуки. Он восстанавливает потревоженную тишину. А это немалое облегчение для одиноких чудаков, хорошо знающих и напряженность горя, и трагические лабиринты московских переулков.

Не то бескрылый, не то крылатый

Когда человеческие чувства находятся в зените, они охотней всего прибегают к молчанию. Эту истину узнал Михаил, и молчание было ему во сто раз легче, нежели все слова, будь то о любви или о бумазее. Соблюдаем же должную паузу. На следующий день герой и героиня должны встретиться, чтобы обсудить ответ Донторга. Продлим эту ночь, огрызок ночи, блуждание Михаила и бесчувственный смешок далекой от него Сонечки, уехавшей с инженером. Пауза в романе, однако, трудная вещь, она не может быть белой страницей. Белые страницы ведь быстро переворачиваются, много быстрее, чем проходят бессонные ночи. Поэтому предпочтем возвратиться на время к некоторым, нами покинутым, персонажам, тем более что жизни их неразрывно связаны с жизнью Михаила Лыкова.

Прошло восемь месяцев с того дня, когда Артем, колеблясь между нежностью и брезгливостью, ухаживал за братом, потрясенным внезапной кончиной Ксении Никифоровны. Описание жизни нашего героя за этот период заняло более восьми глав. Сколько событий! Он успел и поспекулировать и покаяться. Он успел познать природу и любовь, дрожь азарта и дрожь страха. Он многое успел. Какой же тихой и невыразительной кажется по сравнению с этими главами жизнь Артема! Та же комната, в которую въехали еще два рабфаковца, те же лекции, только более усложненные, те же собрания с новыми

вариациями дискуссий. Но жизнь — не театр. Ее волнения и страсти не всегда выражаются в быстроте действия или в необузданности жестов. Гениальнейшие мысли рождаются порой в незначительных, стриженных машинкой головах, а биение сердца не чувствуется под однообразием жилетов. Скупой север не знает ни ботанического мотовства, ни колесниц карнавала, ни живописности ежеминутных безобидных скандалов, что не мешает, конечно, страстям испепелять и северные сердца. Шхеры? Да, шхеры унылы и скудны. Но ведь и каросский мрамор, нагретый до тридцати градусов по Цельсию, не перестает быть камнем. Ах, эти слезы Михаила! Они так горячи. Почему же, глядя на них, никто не плачет, все только угрюмо морщатся?

За эти восемь месяцев Артем успел пережить высокую болезнь, подлинную трагедию, которая одна могла бы составить содержание прекрасной и трудной книги, тем паче что вместе с Артемом ее пережили тысячи других Артемов, наше юношество, наша надежда, этот спешенный, брошенный в аудитории и опешивший перед медлительностью времени, сумасшедший разведочный пикет. Традиционные болезни, которыми награждают обыкновенно авторы своих героев, изучены до мельчайших проявлений, будь то сомнения в божестве, несчастная страсть или губительное тщеславие. Не ими болел Артем. Одно определение этой болезни прозвучит психологическим неологизмом, непривычные глаза споткнутся о него. Однако, не смущаясь, скажем: Артем был болен надеждами и неудачами германской революции. Если газета здесь врывается в роман, заменяя лирические пейзажи брожением в Руре, или хитроумным обходом, в виде установки золотой зарплаты, не мы в этом виноваты. Кто же не разворачивал в течение последних десяти лет газетных листов с той дрожью волнения, упований, страха, которые прежде допускались только при распечатывании любовных записок или неоплаченных счетов? Пусть Артем был крив на один глаз, пусть он был однодумом, однолюбом, зато это «одно» он видел, знал, любил.

Трагедия, пережитая рабочим классом Германии, известна всем. Это исконная трагедия проигранной битвы, со всеми ее деталями — от троянского коня (в деревянном нутре которого, на этот раз, сидели почтенные воротилы тяжелой индустрии) до абстрагированного героизма гамбургских подростков. Но вряд ли так называемая «широкая публика» не только далекой Европы, а и России, догадывается о том, с какой мукой ноябрь-

ские неудачи Саксонии или Тюрингии воспринимались комсомольцами, вузовцами, всей боевой молодежью нашей страны. На жидкие залпы стычек в Моабите отвечали болезненные содрогания десятков тысяч сердец. Сколько здесь было воспаленных глаз, отчаянных споров, бессонных ночей! Связанность судеб русской революции с мировой не осталась газетной фразой, она вошла в кровь, в кости этих людей. Германская революция стала их делом, их собственной жизнью. От исхода борьбы, которая велась в Дрездене или в Эрфурте, зависела живучесть нэпа, война или мир, личная судьба каждого комсомольца. И так как политические страсти не менее других срачиваются с подсознательными движениями организма, мы вправе сказать, что Артем даже физиологически воспринимал противоречивые, разрозненные, как перестрелка, телеграммы, заполнявшие тогда первые страницы газет. Будет или не будет? Комната, лица товарищей, лекции, химические формулы ежедневно менялись в зависимости от того, врывался ли северный Берлин в западные зтоны, заставляя жалюзи опускаться и биржевые курсы дрожать, или, напротив, жуирская толпа этих парадных артерий праздновала новую победу хорошо вышколенного рейхсвера. Но как мы уже сказали, трагедия переживалась Артемом молча, неприметно, с должной стыдливостью чувств, с дисциплинированностью поступков. Будь на его месте Михаил, он, наверное, отметил бы первые известия о близости германской революции ликованием, требованием немедленной ликвидации нэпа, пожалуй, чего доброго, бегством в Берлин, а неудачи быстро привели бы его, хоть и другой, идейной дорогой, туда же, куда он пришел, не интересуясь германской революцией, то есть к незавидной карьере мелкого нэпмана. Другое дело Артем. Он не знал, что с ним будет завтра, но он твердо знал: будет то, чего потребует партия.

Таким образом, за восемь месяцев многое пережив и многому научившись, он не переменился, оставался все тем же Артемом, прекрасным в жизни, хоть и скучным на страницах романа, от которого читатели всегда требуют исключительности, не желая примириться с величием «одного из многих».

В январский вечер мы видим Артема, как и двух его сожителей, склоненным над книгами. Приход чужой женщины, спросившей, где здесь живет Лыков, немало озадачил их. К Артему приходила лишь одна неказистая вузовка, с которой он занимался совместно немецким языком. Как это ни странно, лири-

ческая наружность Артема, мягкость глаз, шелковистость кудрей, предвещавшие ему жизнь, полную девических ласк, до сих пор не увлекли ни одной женщины. Вероятно, в этом он сам был повинен, каждым словом, каждым жестом напоминая, что его голова занята отнюдь не любовными помыслами. Несколькими, притом кратковременными, часовыми связями с женщинами, ни имен, ни даже лиц которых он не запомнил, романтическая сторона его жизни ограничивалась. Кто же мог прийти к нему поздно вечером? Миловидное лицо, голубые глаза, женственность движений усугубляли смущение.

— Здесь живет Михаил Лыков?

Ах, вот что, Михаил!.. Если Артем не знал этой гостии, мы-то с нею хорошо знакомы. Мы только недоумеваем, почему вздумалось Ольге приехать в Москву? Ведь менее всего присущ ей действенный авантюризм. Плакать же можно и в Харькове. Тем более что давно уже, после достопамятного поцелуя руки, осознав до конца подлость Михаила, она решила порвать с ним. Что могла сулить ей новая встреча с нашим героем, кроме очередных унижений? Да, но ведь не одни здравые мысли руководят поступками людей. Нужно учесть и тоскливость кухоньки со светильником, и несдержанность женского сердца, и тяжесть одиночества, и темную животную грусть по теплу, пусть скупой, пусть на коленях выклянченной, ласки. В один из особенно тоскливых вечеров победило безрассудство, спешка укладывания жалкого скарба в роскошный, оставшийся еще от прежних, «спичечных», времен, кожаный чемодан и лихорадочное подталкивание замухрышки «Ванько», безучастного как к расписанию поездов, так и к чувствам Ольги.

Артем с жалостью оглядывал посетительницу. Она как бы составляла часть непонятого, подпольного, страшного мира, связанного с братом, мира глупых стихов, кабацкого дурмана, языка повесившейся Хоботовой, наконец, темных проделок, слухи о которых успели дойти до Артема. Невольно покровительственная нежность, хранившаяся в его сердце для недостойного брата, распростирилась на эти голубые глаза, измученные ожиданием. Он выказал подлинную участливость. Не допытываясь, для чего понадобился Ольге Михаил, с горечью думая, что и здесь дело не обошлось без обворожительных карих глазенок, он обещал помочь разыскать его. (Адреса он не знал, так как Михаил, после вычистки, прекратил с братом всякие сношения.) Ольга хотела уйти. На вопрос Артема, куда она на-

правляется, последовало сконфуженное молчание. Она и сама не знала, куда ей идти. В Москве у нее не было ни родных, ни друзей. Впервые она поняла все безрассудство своего поступка. Она готова была направиться обратно на Курский вокзал, купить билет до Харькова и в омуте вагона утопить отчаяние.

Артем, однако, не пустил ее. Строго и вместе с тем ласково он заявил, что она должна переночевать здесь, с ними. Он уступит ей свою кровать, а сам устроится на полу. Целомудренно погасив свет, три товарища разделись, легли и быстро уснули. Ольга не спала. Ее ночь напоминала назойливостью образов, непонятностью ассоциаций, резкой физиологичностью мыслей ночь тифозного. Зачем она приехала?.. Кинет на кровать... Торчат пружины и больно... «Люблю мужчин я рыжих...» Какая гадость!.. Песенки Майоля... Поцелует руку... Устрицы — говорят, что это вкусно. Плевков с мокротой... Утром уехать... Орел, Курск, Белгород... У этого мягкие волосы, если их тронуть — заплачешь... Умереть бы!.. Заказ — срочно, через час умереть...

Она, конечно, не умерла, но под самое утро забылась. Рабфаковцы встали, тихо оделись, ушли. Артем ждал, когда проснется эта странная гостья. При дневном свете тепличная белизна ее щек, не тронутых даже жаром сновидений, казалась ему особенно трогательной. Заметив, что Ольга начинает шевелиться, он вышел в коридор, сопровождаемый ироническими взорами всей каплуновской семейки. Пробуждение Ольги было нелегким. Если сон является частью небытия, бесчувственным отходом, уклонением от часов, то возвращение к жизни способно вызывать и восторженное ржание и ужас: снова!.. Вкус к смерти, ночью осознанный Ольгой, не удовлетворился тремя или четырьмя часами забытья. Что же ей оставалось? Веревка? Сажени, отделяющие окно от мостовой? Но даже для этого требовалась воля. А ее не было. Казалось трудным шевельнуть рукой. Когда Артем вернулся, полагая, что туалет Ольги закончен, она по-прежнему лежала, бессмысленно хороня свои глаза в широчайшей физиономии висевшего над кроватью Зиновьева.

— Вы больны?

— Нет.

Артем недоумевал. Он чувствовал отчаяние, тяжесть, безжизненность этой женщины, но не знал, как их побороть. Напрягаясь, ибо мысль о брате была ему сейчас сугубо неприятной, он решил утешить Ольгу предложением немедленно начать

розыски Михаила. Последовало вторичное «нет», окончательно сбившее его с толку. Он не мог понять, что происходит в голове Ольги. Впрочем, если бы он даже ознакомился с ее мыслями, он все равно ничего не понял бы. Ольга и та не понимала себя. Что ей делать? Поезд, Харьков, «Ванько»? Для этого возвращенная в уже скинутое, немилое форменное платье у нее не было ни сил, ни прежнего истерического упрямства. Вчера она знала, зачем приехала. Она готова была ползать на коленях, юлить и пугливо жаться, как старая паршивая дворняжка, лишь бы увидеть над собой сумасшедшие руки Михаила, проделывающие привычные пируэты порока и злобствований. Со вчерашнего вечера как будто ничего не изменилось. Она не узнала ничего нового о своем возлюбленном. Почему же сейчас мысль встать, побежать по улицам, разыскать в какой-то комнате Михаила и обжечься губами о его пламенную вихрастость казалась ей отвратительной? Слабостью ли это было? Силой ли? Кто знает? Между вечером и утром лежала ночь с ее разрозненными абсурдными мыслями, с убедительностью образов, с тошнотой от устриц, с подлостью выпирающей пружины, с рукой, навек обещенной «рыцарским лобзанием». Любовь пасовала, терялась. То, что, может быть, и являлось гражданской общечеловеческой силой, сознанием своего достоинства, наконец, не в пример оголтелому приезду, просто разумностью, все же было минутным креном любви, ее затмением, ущербом, немощью.

Так, молча, они находились друг против друга, разные, чужие, равно недоуменные. Снисходительность, ласковость глаз Артема трогали Ольгу почти до слез. Не избалованная Михаилом, она была особенно падка на простую человеческую участливость. Одна из коротких мыслей, ночью заставлявших ее биться в лихорадке, мысль самая легкая, почти житейская, ожила теперь: какие у него мягкие волосы!.. Вероятно, в этом немалую роль играло противопоставление, страсть к другим, жестчайшим волосам, животный страх перед ними. Не задумываясь, поймет ли ее Артем, она слабо, болезненно попросила его сесть рядом и, высвободив из-под одеяла безжизненную кисть, начала бережно гладить действительно мягкие волосы. Она, конечно же, не догадывалась, сколь значительным окажется для ее судьбы этот неприятный жест, в котором сочетались наивность ребенка с экспансивностью покинутой любовницы.

Простота являлась основной чертой организма, называвшегося Артемом Лыковым. Если его мысли покорялись извест-

ной дисциплине, то в физической жизни он был непосредствен и прост, как первобытный человек. Курьезнейшее сочетание, типичное для целого поколения: марксизма, американизма, расписания жизни по графам, лозунгов с десятком элементарных эмоций прапрародителей. Если для предшественников сердцевина чувств, хотя бы любви, была скрыта наслоениями веков, психологическими, этическими, эстетическими наростами, то теперь многие, оборвав лепестки, получили наглядную школьную схему: пестик, тычинки, завязь, — схему вполне достаточную для продолжения рода, однако лишенную и цвета и запаха. Стихи о любви казались Артему написанными на чужом и притом мертвом языке, на какой-то сердечной латыни. Он реагировал на определенные возбуждающие моменты точно, безошибочно, не зная отклонений. Видя женщину за работой, он не мог почувствовать к ней никакого влечения. Она являлась для него тогда товарищем, и только. Раздевать мысленно, то есть лишать женщину (не говоря уж о платье) покрывающих пол мыслей, жестов, маскировки, он не мог. Зато вид оголенности, буквальной или переносной, будь то купающаяся в речке молодуха или вечером, после чаепития, нежно улыбающаяся вузовка, действовал на него неизменно, как кислота на лакмусовую бумагу. Эта непонятная женщина, ласкающая его волосы, с близостью ее теплого от дремоты плеча, со всей темной и сонной бессмысленностью зрачков, пробудила в молодом Артеме вполне ясные чувства.

Ольга не сопротивлялась. Она испытывала безразличие, механичность передвигаемой вещи, может быть даже известную сладость самоуничтожения, приближения, вследствие своей подчиненности и пассивности, к прерванному утренним пробуждением забытию. Целомудренность примитивных ласк Артема предохраняла ее от преждевременного опоминания, от обиды или страха. Что касается Артема, то, оглушенный коротким и жестоким приступом страсти, он был далек от раздумий, оценок, выводов. Он даже не мог заметить безответности близкого тела, своим жаром он как бы нагревал его, создавая иллюзию разделенных чувств.

Так прошли эти четверть часа, в старину именовавшиеся «любовью», теперь окрещенные одной писательницей «бескрылым Эросом», а в общежитии называемые «халтурой»; Каплуны за стенкой пили кофе со сливками. Часовая стрелка напомнила: в десять лекция. Наконец настала та минута, когда

необходимо что-либо сказать или, по крайней мере, приоткрыв глаза, взглянуть друг на друга, тяжелая минута резюме, оправданий, объяснений, обещаний, минута традиционных страховок и ликвидаций. Взглянула первой Ольга, и взгляд ее мог бы ошеломить любого, как будто ничего не произошло в течение этой четверти часа, глаза ее были залиты все тем же недоумением. Более того, рукой она по-прежнему гладила кудри теперь лежавшего рядом с ней Артема.

Он знал: нужно встать, пора на лекции. Но он боялся обидеть хрупкость, беспомощность застывшей на его голове руки. Он чувствовал, что голубая недоуменность близких глаз ждет каких-то иных жестов, может быть, слов. Осторожно высвободив свою голову, он со всей мыслимой мягкостью произнес: — Я сегодня на лекции не пойду. Надо ведь вас устроить...

Ольга пропустила смысл этих слов, но нежность голоса дошла до нее. Разрядив настороженность ожидания, она позволила, долго, всю ночь, все утро стучавшимся в глаза слезам выйти наружу. Артема слезы эти напугали. Он не знал, что ему делать, то пробуя закутать потеплее Ольгу, то поднося ей стакан воды.

— Что же вы, товарищ? Ведь ничего плохого здесь нет... Дело простое...

Последние два слова проникли в бесформенное сознание Ольги. Они заставили ее, интеллигентку, начиненную достоинством и «кризисами культуры», от неожиданности улыбнуться. Нет, здесь не было темнот ночей с Михаилом. «Лекции» здесь звучали не злой издевкой, не надрывом, а естественным будничным занятием. Жизнь представлялась решительно, запросто, не стесняясь ни своего кухонного запаха, ни угрей на носу. Оставалось либо помпезно умереть «по заказу», либо подчиниться. Ольга выбрала последнее. Полчаса спустя она пила чай с ситным хлебом, потом говорила с Артемом о занятиях химией, о событиях в Германии. К вечеру он устроил ее в комнате той вазовки, с которой изучал немецкий язык.

Шли дни. Считая неудобным, после происшедшего, заговаривать о Михаиле, Артем делал вид, будто Ольга приехала в Москву просто — работать, может быть, учиться чему-нибудь, хотя бы стенографии. Ольга сама была признательна за эту деликатность. Нет, она не забыла своего первого, подлинного любовника. Она и не разлюбила его. Наоборот, только теперь, познав иное, более чистое и человеческое, обладая шкалой

для сопоставлений, она поняла, насколько органично, жизненно, неизбежно ее чувство к нашему рыжему герою. Но мысли о встрече с Михаилом больше не оживляли ее. Она знала, что ему нет до нее никакого дела, он давно нашел десяток других, живых и теплых, манекенов. И все же ее связь с Артемом, навязанная судьбой, казалась ей преступлением против Михаила. Как могла она теперь отдать на суд его опечаленных, даже оскорбленных глаз целованное другим плечо, то плечо, у которого однажды наш герой плакал неподдельными слезами жалости и умиления? Вспоминая эти слезы и не думая об обидах других, сухих, бесслезных, душных до задыхания ночей, Ольга чувствовала себя разоренной, нищей, недостойной даже грубого отталкивания любимой руки.

Она нашла при помощи Артема заработок. Она наладила жизнь, создав известный распорядок, заполненность часов, быт, который помогает человеку вынести любое горе. Чувства свои она тщательно скрывала, и Артем, не склонный к психологическим наблюдениям, думал, что она довольна жизнью, как он, как его товарищи, как все живые и активные люди. Вот только бы в Германии!.. Остальное приложится. Как-то Ольга пришла к нему. Было это вечером. Они беседовали о разном, о посетителях харьковской столовой, о стихах Маяковского, даже о театрах Парижа. Ольга сидела на кровати Артема, на той самой, где провела памятную ночь. Ряд быстрых ассоциаций, дополненных слабой улыбкой Ольги, заполнил Артема. Он ощутил несколько толчков сердца и, не ломаясь, запросто сказал своим сожителем:

— Ребята, выйдите-ка погулять. Мне вот нужно с товарищем наедине поговорить.

Неделю спустя повторилось то же самое. Связь приняла аккуратный характер. Артем был счастлив. Он привязался к теплоте определенного тела, оценил радость привычности, некоторую повторность жестов, лишенных неприятных развязок его прежних случайных встреч. Трудно определить состояние Ольги. Вернее всего его назвать длившимся с той ночи забытьем, омертвлением, сведением жизни к цепи простых житейских отправлений, среди которых значились и ласки Артема, воспринимаемые ею тупо, но без брезгливости, родственные службе или дождю. Она даже забыла о том, что известные телесные сочетания могут требовать каких-то чувств. «Дело простое»... Вся романтика была оставлена на долю одиноких часов, когда Ольга думала о Михаиле. Она как бы вторично, заново влюбля-

лась в нашего отсутствовавшего героя, страшась его вспоминать, чтобы не повторить безрассудства харьковского отъезда, которое теперь могло бы стать для нее смертью. Весь цинизм, вся грубость Михаила, освещаемые тоской, оправдываемые вежливой чувственностью ее нового любовника, становились грустными, даже прекрасными, как стихи Лермонтова. Разве мог Артем так плакать, так буйствовать, так метаться из угла в угол? Артем работал. Артем ждал революции в Германии. Артем здраво беседовал с ней и столь же здраво, крепко, честно, всерьез обнимал ее.

Как-то один из сотоварищей, не желая в условленный вечер выйти на подневольную прогулку, проворчал:

— И чего ты с этой буржуйкой путаешься? Мало, что ли, девчонок?

Артем не на шутку обиделся. Он понял вдруг, что привязался к Ольге, что одно приравнивание ее к прежним его встречам оскорбляет, хоть и не сентиментальное, однако далеко не бесчувственное сердце. Сурово осадив товарища, он не забыл этой минуты. Полночи он не спал, впервые обдумывая создавшееся положение, ища естественного оформления, нужных слов и достойных жестов. Порыв требовал известной традиционной обрядности, все эти костенеющие привычки ласк, встреч, близости настаивали на философском или хотя бы на житейском, то есть паспортном утверждении. Конечно, прежде всего он стал искать в памяти указаний извне, соответствующих директив или резолюций. С ужасом он заметил, что никаких партийных директив в этом вопросе нет, что он, таким образом, оставлен на самого себя, должен решать сам. Это могло довести до бессонницы даже невпечатлительного Артема.

Страшный пробел! Ясно, что религия — опиум для народа. Ясно, пожалуй, что некоторые писатели из так называемых «попутчиков», если не опиум, то столовое вино. Все это написано, одно на стенах, другое на страницах толстых журналов. Мы первые, вместе с Артемом, готовы приветствовать эту ясность и быстроту классификации, хоть и немало страдаем от нее. Мы понимаем, что гораздо важнее разгрузить мозги многих Артемов от мыслей, непроизводительно отнимающих время, чем щадить индивидуальные особенности десятка-другого литераторов. Все это так. Но сейчас от Артема требовалось иное: как ему быть с этой женщиной? Он перебирал различные, более или менее авторитетные суждения. Некий товарищ в журнале

«У станка» заверял, что любовь — явно буржуазный пережиток, достойный феодалов, вроде покойного А. С. Пушкина. Другой, однако, притом много более авторитетный, не стыдился, откровенно любил и Пушкина и свою супругу. Третий доказывал, что все дело в потомстве и что вопрос о любви следует обследовать спецами из Наркомздрава. Артем, принимая во внимание восемь рублей и квартирный кризис, не мог с этим согласиться. Он также не удовлетворился мнением товарища, склонного к футуризму, уверявшего, что пассеистическую любовь следует заменить «красным спортом» и «механическими телодвижениями». Трудность этого, чисто эстетического, задания отталкивала его. Наконец статьи уже упомянутой нами писательницы тоже не пристраивали растерянного юношу. Как он ни старался, ему так и не удалось определить, «крылатый» или «бескрылый» Эрос осенял его встречи с Ольгой. Личные наблюдения не способствовали ясности. Действительно, скажем со всей откровенностью, никакой программы в данной области не существовало. Иные, презирая инстинкты собственничества и институт брака, предавались, по мере сил и возможности, так называемой «свободной любви». Другие, изучив биографию Карла Маркса, утверждали, что свободная любовь является симптомом разложения буржуазии и что честный марксист обязан быть верен своей не менее честной половине. Нам известны общежития, где для предотвращения прочных и, следовательно, обременительных чувств каждый чуть ли не ежемесячно менял партнершу. Но нам также известен забавнейший казус, приключившийся, правда, в провинциальном захолустье, с одним коммунистом, который был исключен из парторганизации только за то, что развелся с третьей женой. Мы утешаем себя мыслью, что это соломоново решение было продиктовано не догматической привязанностью к браку, но вполне трезвыми соображениями: человек, в течение двух лет три раза сходявшийся и расходившийся, слишком много думает о своей личной жизни, манкируя общественными обязанностями. Последнее было бы понято и Артему, который упрекал себя за то, что голова его занята столь неподобающими мыслями.

«Проще!» — подумал он. И тогда действительно простейшее решение далось ему. Если советское государство установило запись браков, значит, оно за брак, и нечего выдумывать какие-то «механические телодвижения». Кроме того, став мужем и женой, они, может быть, добьются ордера на отдельную ком-

нату, что и приятней и удобней, нежели путь с Якиманки до Покровки или выпроваживание товарищей на мороз. Дойдя до этого, Артем безмятежно уснул. Утром он направился к Ольге и безо всяких предисловий объявил ей:

— Знаешь что, нужно оформить. Если ты свободна, мы сейчас в загс сходим...

Ольга подчинилась этому, как подчинялась она ласкам Артема. Будничным ускоренным шагом направились они в учреждение, где барышня с кудряшками трогательно прижимала промокательную бумагу к различным событиям человеческой жизни. Были хвосты и на брак, и на развод. В обоих ни улыбки, ни слезы не выдавали чувств. Воздух разрезала лишь зевота, эпическая зевота всех канцелярий мира. Ей было равно подвержены и брачащиеся, и разводящиеся, и барышня с кудряшками. Когда Ольга и Артем наконец дошли до стола, снабженные документами и взаимными согласиями, Артем, голова которого была уже занята мыслями об очередном докладе в партклубе, вдруг вздрогнул:

— Да, я ведь забыл спросить, как тебя зовут? Ольга Галина, а отчество?..

Проделав все формальности, они разошлись, каждый по своим делам. Дня три спустя они встретились. Все было традиционным, и товарищи Артема предусмотрительно отсутствовали. Но тоска Ольги в этот вечер никак не хотела смириться, она прорывалась то в беспричинных слезах, то в резких жестах отталкивания мягких до приторности волос Артема, то в страдальческой напряженности глаз, обычно убираемых прочь. Артему было больно видеть это. Он тщетно пытался утешить Ольгу обычной ласковостью, дойдя даже до несвойственного ему лирического абстрагирования и глухо проворчал:

— Ну, чего ты? Ведь я же... как это? Ну, словом, люблю тебя...

Ничего не помогало. Несомненно, в этот вечер перед голубизной глаз Ольги светились меланхоличные и наглые зрачки Михаила, своим жаром, пафосом, сугубой подлостью твердить о мыслимости подлинной, сладкой и темной любви, разоблачая ласковость, трезвость, душевную незаинтересованность ее запясанного в загсе мужа. Но, как часто это бывает, Ольга не говорила о главном, ее томившем. Волнение выражалось во множестве несущественных упреков, в споре о каком-то неправильно понятом слове, в мелких придириках, в необъяснимости

слез. «Проще!» — говорил себе Артем, на которого навалилась истерическая неразбериха женской тоски.

— Ну, зачем тебе твоя химия? — неожиданно, с явным раздражением спросила Ольга.

— Пригодится. Вредителей буду убивать. Сусликов.— Подумав, он добавил: — А нужно будет людей, буду и людей убивать...

Но, не слушая его, кусая подушку, чтобы не крикнуть, Ольга ей, этой жесткой студенческой подушке, никогда не знавшей ни едкости слез, ни горячности бессонного дыхания, шептала:

— Мишка!.. Мишка!..

Новая разновидность ангела

Мы предлагаем принять поведение Артема Лыкова за образцовое. Он не был ни сухарем, ни вымышленным человеком-машиной, созданным необузданной фантазией утописта. Он умел вовремя любить, быть нежным и участливым, он умел даже страдать от слез Ольги. Но все эти чувства резонно отодвигались им на задний план. Не в пример подозрительным героям других наших книг, как-то: Николаю Курбову или Андрею Лобову, прельстившему Жанну Ней, справедливо осужденным критиками, он знал место любви и предавался ей лишь в часы, свободные от работы, не пытаясь мистикой прикрывать физиологические эмоции. Встретил, одобрил, сошелся и, уважая существующий распорядок, запротоколировал все в загсе. Как это просто и мудро в своей простоте! Как недоступно нашему герою, проявившему свои чувства к Сонечке хамоватой выходкой и запоздалым раскаянием среди снегов Полуэктова переулка!

Вместо естественной связи, вместо монументального хвоста в загсе его ждали еще многие выходки, покаяния, бессонные ночи, бездельные дни, грубая, лишенная какой-либо формы, любовь. На этот раз Михаил не ошибся: он был действительно влюблен. Вопросы амбиции не играли никакой роли. Конечно, Сонечка ему импонировала шиком, разнообразием и элегантностью туалетов, запахом духов, самостоятельностью,

независимой деловитостью маленького блокнота, где часы любовных свиданий чередовались с цифрами сделок. Но все же не в этом лежала суть дела. Какое-то колесико зацепилось. После многих иных страстей пришла эта. Остальное, то есть напряженность, исключительность чувства, вытекало из природы Михаила. Кто же не любит поехать за город, подышать свежим воздухом, но ведь не всякому придет в голову после первого живительного глотка озона возомнить себя муравьем. Как прав был покойный папаша, опасаясь за своего младшего сына! Именно таких водили, водят и будут водить по Львовской в Лукьяновку с парашами, ибо здесь талантливость, лавровые веночки, тосты на юбилеях, но и тюрьма, да, тюрьма здесь же, она рядом (по-современному «изолятор») — тюрьма или стенка. Вместо нормального флирта Сонечке пришлось наскочить на нечто дикое, чрезвычайно неудобное, устарелое, на любви, если и не с большой буквы, то в кавычках, на страсти героев дешевого романа, кричащего в киоске красочной обложкой. Когда Михаил в условленный час явился к ней за ответом Донторга, она успела позабыть о некоторых дополнительных обстоятельствах минувшей ночи: о наглости рыжего маклера и о поцелуе в кухоньке. Мало ли наглости на свете? Мало ли таких взбалмошных, ни к чему не обязывающих поцелуев? Мало ли, наконец, маклеров, хотя бы и рыжих? Она приготовила удовлетворительный ответ: бумазею, разумеется, взяли. На свои комиссионные она собиралась заказать норковую муфту и красивые плетеные туфельки для фокстротирования. Она была в хорошем настроении. Вид Михаила, явно неудовлетворенного ее словами, вызвал в ней недоумение, даже досаду.

— В чем дело? Все устроено. В среду вы получите бумагу.

Михаил молча вышел. Он решил не говорить о своих чувствах. Их величина, а также скудость слов диктовали молчание. Пусть Сонечка думает, что он недоволен процентами. Михаил ведь знает, в чем дело. Он знает, как прекрасна, поэтична, как достойна умиления и даже прославления его скорбь. Не понятый миром, он ходил взад и вперед по Тверскому бульвару. Взглянув на заснеженный памятник Пушкину, он почувствовал, что слова все же необходимы, хотя бы тайные, обращенные к бронзе и к снегу, слова, разумеется, особенные, необычайные. «Сонечка, ты — любовь» или «ты —

звезда» показались ему столь пошлыми, что он от смущения закрыл глаза. Ничего лучше он выдумать не мог, но на счастье вспомнил разрозненные строчки сочиненных им некогда стихов и стал тихо их повторять. Бессвязность слов великолепно передавала страсть, лежащую за пределами разума. Он наполнял слова горячностью дыхания, настоящей, почти телесной, болью, и, вылетая на волю, становясь хрупчайшими клубами пара, они были воистину прекрасны, достойны большого поэта из «кружка», достойны даже бронзовой статуи, эти слова любви.

Но вскоре Михаил устал от бессцельности объяснения впустую. Прошел уже час, и запасы героизма иссякали. Руки, сердце, все в нем требовало действия, возмущаясь бесплодностью шагов и непрактичностью декламаций. Предрешая вопрос о дальнейшем его поведении, походка из меланхолической сразу стала деловой. Он свернул на Малую Никитскую, где жила Сонечка. Он сначала напугал, потом рассмешил ее обвалом объяснения с его различными стилистическими пластами, где детские непритязательные слова подлинного чувства терялись среди поэтических «пастушек» и даже «звезды Кассиопеи», среди «примата личности», «констатирования» и прочих отслоений последующих интеллектуальных лет. Сонечка смеялась весело, заразительно, в смехе ее участвовали и шапочка стриженных волос, и супрематическая вышивка на животе, и кончик туфельки. Но, будучи женщиной деловой, она быстро переборола естественную веселость: нужно решить, что делать с этим вакхическим маклером, ловкпм, по всей видимости, в перепродаже бумазее и другого, но весьма наивным в сердечных спекуляциях? В жизни Сонечки имелись две графы, вмещавшие ее обширные связи. Целоваться и прочее приходилось часто, но по мотивам самым различным. Агент МУРа, представитель Донторга (тот, что, не задумываясь, приобрел знаменитую бумазею), Кравчик из Внешторга и многие другие значились в первой, чисто материалистической графе. Любитель-статистик, какой-нибудь обозреватель из «Экономической жизни», со скуки занявшись этой графой, смог бы легко перевести поцелуи Сонечки, ее часы и ночи на подписи, рекомендации, более того, на цифры червонцев. Сонечка любила независимость, платья от театральных портных (фотографии которых потом попадали даже в «Красную ниву»), пышные кутежи. Кроме того, несмотря на свои два-

дцать три года, она была уже достаточно опытна, чтобы не бояться нескольких лишних любовников. Когда возмущенный отец, благороднейший и бескорыстнейший профессор Петряков, случайно узнав об одной из подобных сделок, в сердцах обозвал свою дочь «проституткой», Сонечка пренебрежительно зевнула:

— Устарело, папа. Просто я теперь на хозрасчете.

Заботы о деньгах, однако, не исчерпывали ее богатой натуре. Боксер Шурка Жаров, контрабандно под видом красной физкультуры проламывающий любителям носы, не обладал ни червонцами, ни полезными связями. Но сколько раз Сонечка, направляясь после театра в его бедненькую комнату на Самотеке, возвращалась домой лишь утром, с лицом явно тронутым тушью бессонной ночи и с умилением перед великолепием жизни. Что же, у Шурки Жарова были широкие плечи. У него было не мало других интимных достоинств. С ним Сонечка отдыхала после Кравчика, после этого слюнявого карлика, который, вынь у него бумажник, смог бы поместиться в обыкновенном ночном столике. Шурка Жаров был бесполезен, но ведь он значился в другой, во второй графе — он содержался для души Сонечки.

Новый знакомый, рассмешивший Сонечку своим лексиконном, необычайным смешением ультрасовременного словаря с помпезностью провинциального стихотворца, забавный чудак, шептавший, что он теперь «экспериментально на Тверском бульваре познал роковой свет Артемиды» (которую, очевидно, путал с Афродитой), никак не подходил ни для первой, ни для второй графы. Он был беден и дальше передней трестов не вхож. Деловая Сонечка могла им воспользоваться только для мелких комбинаций. Платить поцелуями было не за что. Что касается Сонечки «духовной», то он не пришелся ей по вкусу. Особенно ее отталкивала окраска: зеленоватость щек и вызывающий цвет шевелюры. Не всякой нравятся рыжие мужчины. Словом, ни с Шуркой Жаровым, ни даже с дублером Шурки, инженером Сахаровым, Михаил равняться не мог. Вторичный его приход, конфузливая дерзость признаний, наконец, истеричность рук, которые, пока губы бубнили нечто об Артемиде, раза три порывались смять новое платье Сонечки, — все это подсказывало радикальнейшее решение: выгнать. И все же Сонечка его не выгнала. Здесь было смешение и деловых соображений, и капризности молоденькой

женщины. Михаил мог пригодиться: такие пронырливые провинциалы быстро выходят в люди. Для дебюта история с бумазеей проделана не плохо. С другой стороны, богомольное почитание, страстность глаз, даже выходки рук приятно щекотали тщеславие Сонечки. Ничего подобного до Михаила она не знала. Шурка, при всех своих достоинствах, страдал лаконизмом, предельной для него любезностью являлось похлопывание Сонечки по спине, сопровождаемое ворчанием: «Ты того!..» А этот рыжий дошел до Кассиопеи. Итак, Михаил не был изгнан. Правда, ничего из просимого он не получил. Его руки были с позором удалены, признания осмеяны. Все же одно присутствие Сонечки вдохновляло и поддерживало его. Засидевшийся до чьего-то настойчивого звонка и наконец (не без кокетства) выпровоженный, он унес тепло надежды, бодрость и решимость взять эту крепость длительной осадой.

Считая, что он выполняет хитроумный стратегический план, Михаил стал попросту вернейшим, хоть минутами строптивым, рабом Сонечки. С помощью его она обделала несколько рискованных делишек. Как-то незаметно Центропосторг превратился в ее штаб. Запротестовавший было Вогау получил немедленно в подарок две ночи и числился теперь «добрым другом» Сонечки. Михаил, однако, несмотря на всю свою преданность, не добился того, что так легко и просто далось Вогау. Он не мог добиться даже повторения поцелуя, перепавшего ему в первую ночь. Сонечка находила, что его «нельзя баловать». Зачем ей было утруждать себя обременительными объятьями, когда Михаил и без того служил за совесть? Кроме того, ощеренная, неудовлетворенная страсть Михаила правилась ей, включая страх, когда порой, не выдержав своего послушничества, наш герой больно, до синяков сжимал ее пухленькие ручки.

Эта игра длилась долго, без каких-либо существенных изменений. Дни Михаила напоминали горячку с чередованием романтической меланхолии, когда даже галстук или котлета казались ему призрачными элементами некоего потустороннего мира и приступов бешенства, сжимаемых кулаков, солдатской ругани, летящих на пол флаконов или книжек. Он перепродавал чулки, подшивники, червонцы, трубочный табак с хладнокровием приговоренного к смерти. Его финансовые дела быстро поправились. Не только «Лиссабон», но и «Эрмитаж» теперь зазывали его к себе, чтобы в чаду «распошела»

и кахетинского растворить архаизм неразделенной привязанности. Но крупные барыши он тратил на Сонечку, на ее платья, меха, духи. Столь деловитый в беседах с другими маклерами, с ней он становился карикатурно наивным. Что стоило ему, держа в одной руке оплаченный счетец за манто, другой привлечь к себе стриженую головку этого взбалмошного пажа Ренессанса и шепнуть: «за это — то», или «за то — это», — словом, перевести на язык цифр сентиментальные повести своих одиноких ночей? Но он не делал этого. Он забрасывал свою богиню подарками, а после робко и в то же время нагло, как трусливый хищник, пытался обнять ее. Сонечка отгоняла его руки и, негодуя, требовала разрыва. Через час она, невзначай, говорила, как бы ей хотелось получить испанскую шаль. Может быть, попросить инженера Сахарова?.. На следующий день происходило примирение, и Михаил смиренно целовал розовые пальчики, грациозно порхающие над смуглым шелком шали.

Как-то в недобрую минуту, когда Михаил от злости сухо плевался (в пересохшем рту слюны не было), он вбежал в комнату Сонечки с решением ликвидировать дело, безразлично как — червонцами или кулаками. Сонечка спала. Ее лицо, свободное от обычной косметики, поразило Михаила. Где же блокнот, Шурка Жаров, инженер, проценты? Перед ним лежала маленькая девочка, школьница, улыбавшаяся какому-то сентиментальному сновидению: материнской ласке, гаданию по одуванчикам (облетит? — не облетит?), может быть, первому вальсу. Умиляясь, Михаил вспомнил почему-то себя, маленького Мишку: какой он был невинный и розовый, когда Тема сажал его в детскую ванну! Все грозные намерения, разумеется, отпали. Он только нежно поцеловал ее ногу, белую, с легкой просинью жилоч, выглядывавшую из-под дорогого кимоно (тоже подарок Михаила). Этот поцелуй был столь бескорыстен, столь легок, столь далек и от первой и от второй графы, что, не разбудив Сонечку, заставил сердце нашего героя томительно екнуть, сделать вид, будто оно не может больше биться, это сердце гнусного субъекта, вместившее на минуту редкостную чистоту.

Другой раз решительность Михаила спасовала перед несколькими иными обстоятельствами. Он снова негодовал и снова плевался. Он уже ощущал приятность заломленных рук, унятого углом подушки крика, синяков, слез, достойной мести за

два месяца. Не здороваясь с Сонечкой, он кинулся к ее недоступным плечам, но был осажен странным топотом. То, что он увидел, могло вывести из себя даже спокойного человека, а ведь Михаил и без того сходил с ума. Какой-то огромный детина, голый, повязанный лишь полотенцем, прыгал на одном месте через веревочку. Его физиономия была настолько идеально идиотична, что приветственная улыбка являлась лишь загадочным сокращением мускулов между сломанным носом и опухолью подбородка. Улыбнувшись, он со старательностью принялся за прерванное на секунду занятие. Сонечка даже покраснелась от удовольствия: она-то хорошо понимала, что переживает Михаил. Но, делая вид, будто это — ничего не значащая встреча, она защебетала:

— Ах, вы ведь не знакомы! Это Шура Жаров, мой лучший друг. Я с ним, право же, отдыхаю душой...

«Лучший друг», бесстрастно глядя вдаль, продолжал свои непонятные прыжки. Сонечка, впрочем, сжалилась и пояснила. Это упражнение для дыхания. Что произошло? Михаил, готовый уже броситься на боксера, струсил, да, откровенно, самым постыднейшим образом струсил. Его чуб как-то сразу завял, а руки бессознательно искали дверную ручку. Но тут-то и ждало его самое страшное испытание: Сонечка, желая хоть несколько расшевелить Шурку, занятого куда больше регулярностью дыхания, нежели прелестями своей любовницы, удержала Михаила и вторично, как тогда в кухоньке, его поцеловала. Поцелуй, столь желанный, который мог бы стать залогом триумфа, сигналом к финальному штурму, наконец просто блаженством, вызвал в Михаиле лишь дрожь страха. Он оттолкнул Сонечку и, ничего не чувствуя, кроме ужаса перед медленно передвигающимися бицепсами боксера, бросился бежать. Когда он опомнился, страх сменился столь же стихийным стыдом, и на следующий день язвительность Сонечки породила уже не бешенство, а только откровенный румянец. Все осталось по-прежнему. Прогресс касался не сентиментальной, но исключительно деловой жизни Михаила, перецеголявшего теперь изысками самого Вогау. Набожно помывшись (с патриархальной мочалкой), он впервые надел на свою волосатую грудь розовую шелковую рубашку. Хоть в чем-нибудь да Сонечка пошла ему впрок.

Дела наворачивались и покрупнее. В очаровательной головке, требовавшей кисти флорентийского живописца, зарож-

дались самые рискованные планы. Как-то вечером, прервав лирическое бормотание Михаила, Сонечка шепотом (от сознания всей важности вопроса, ведь в комнате никого не было) сказала:

— Есть возможности в Наркомпочтеле... Командировка за границу. Поедете вы. Кроме того, вам — половина. Другая мне. Но дело сложное. Необходимо войти в доверие папы. Вы не знаете, какой это тупой человек! Радио, и только. Меня он считает воровкой и распутной. Честное слово! Вы должны начать к нему ходить, ругать меня за беспринципность, слушать, только попочтительней, как он шамкает о святости науки. Ну и так далее. Скучно? Зато, если выгорит: Берлин — раз, двести червонцев минимум — два. А три? А три... Может быть, и другое. Например, я к вам приеду вечером. А уеду... Ну, Лыков?.. Когда я уеду?.. Может быть... Я ничего не обещаю. Есть шансы. Пока обращайтесь папу. Ах, он такой дурак!..

И Михаил, очарованными глазами глядя на Сонечку, не находя других достойных слов, глупо, по старинке воскликнул:

— Вы... вы ангел!

Профессор Петряков. Квартирный кризис. Неудачная любовь

— Я стар и слаб. Когда я поднимаюсь на пятый этаж, сердце уж буйнит и замирает. Оно, кажется, репетирует близкую агонию. Но не в этом дело. Дело и не в лифте. Постарайтесь понять меня. Мы умираем. Мы сгорели раньше положенного. От пафоса и еще от пшена. Скоро останетесь только вы, молодые. Не думайте, что я протестую. Но я дитя прошлого, девятнадцатого века: я верю в прогресс, как бабы в угодников, то есть крепко и глупо. И вот из цепи вынули одно звено. Кто? Война? Революция? Этого я не знаю. Моя специальность физика, а не политика. Я только вижу, что происходит, и ворчу. Ворчать у себя на дому — это ведь не бог весть какой грех. Мне хочется, чтобы книги теперь не печатались на древесной бумаге, а вырезывались бы на камне,

чтобы открытия, трактаты, стихи, даже газетное описание игры старушки Дуээ (помню — глядел и плакал) — чтобы все это спрятали в гигантский несгораемый шкаф. Я принял все. Я презираю эмигрантов, трусливых и блудливых зайцев, которые дрожат на бульварах Парижа в тигровых шкурах (и символ и мода — дочка говорила). Но пусть скорее устроят такой шкаф. Вы молоды, самонадеянны, сильны. Я готов любить вас. Но зачем вам философия, зачем вам стихи? Зачем? Скажите? Вам?.. Нет, даже не вам. Губерниям, волостям, деревне. Что скажут крестьяне, когда наконец догадаются, что можно заговорить? Им — математика? Да, конечно, четыре правила, сосчитать на базаре. Был такой крестьянский министр в Болгарии. Вы — человек политический, наверное, знаете лучше меня. Ну вот, так он причислил зубную щетку к предметам роскоши и обложил ее высоким налогом. Что же, он прав. Все правы. Значит, в Болгарии нужно поскорее положить модель зубной щетки в несгораемый шкаф. Мне один из ваших сверстников сказал: «Телеграммы по беспроволоке это дело, а абстракцию вы, гражданин, — откровенно говоря, бросьте». Я не обиделся. У меня одно оправдание: я человек старого закала, скоро умру. С новым я не боролся. Сразу в Октябре принял. Спец. И теперь принимаю — в душе — не только по-анкетному. А все-таки кольца этим не вставишь. Нас тысячи, десятки тысяч, да куда тут... Горько, молодой человек, умирать так, зная, что и ты, и твои мысли и сердце ни к чему, что новые, вроде вас, посмеиваются, неодобрительно косятся, а главное, плюют, плюют на тебя, что вот эти формулы через сто лет будут трухой, а через двести их начнут заново выдумывать... Ну, к чему это, скажите, к чему?..

Закончив патетическую речь, профессор Петряков снял роговые очки, причем глаза его проявили всю свою беспомощность, и подозрительно высморкался. Его собеседник, сидевший в темном углу, совершенно неожиданно скопировал жест профессора. Он даже задел платком свои глаза. Видимо, несмотря на хаотичность речи, несмотря на свою молодость, он понял боль Петрякова, и он заслужил дружеское рукопожатие.

Читатели, по всей вероятности, недоумевают. Что может быть общего между возвышенной, хоть и наивной трагедией старого выкорымыша гуманистов и нашим героем, даже в лучшие свои минуты смотревшим на науку как на винтовку, дающую все — от реквизиции до хмеля победы? Он должен

был бы посмеяться над простофилей, а не вытирать шелковым платочком глаза. Да, конечно. Но ведь не первой была эта беседа. Уже две недели почтительно приучал к себе профессора сочувствием по поводу житейских неурядиц, жаждой знаний, трепетом перед наследием прошлого (включая труды самого Петрякова, висевшую в его кабинете репродукцию Паллады и даже роговые очки) наш далеко не бездарный комедиант. Он успел войти в свою новую роль, потерять ощущение рампы, перестать чувствовать и вяжущий кожу грим, и неправдоподобность тона. Если Дузэ могла, умирая на сцене, доходить до потери пульса, если Бальзак, отрываясь от рукописи, подбегал к зеркалу и охорашивался, в ожидании визита трагической героини «Шагреновой кожи», то что же удивительного в платочке, вполне натурально поднесенном к глазам? Михаил вправду соболезновал по поводу выпадения не совсем ему понятного «звена», разделял, насколько мог, скорбь ученого, тем паче что продолжающаяся неприступность Сонечки располагала его к печали. Наконец, эти беседы льстили его самолюбию, он становился чуть ли не поверенным ученого с громким европейским именем, почтительно повторяемым всеми, за исключением разве Сонечки. Это компенсировало его за любовную неудачу. Пусть вздорная женщина находит прелесть в идиотских прыжках Жарова, зато с ним, с Михаилом, беседует профессор Петряков, который не пустил бы боксера за порог кабинета!

Петряков действительно ласково обходился с юным романтиком, можно даже сказать, привязался к нему. Он не умел распознавать людей: ведь это, как и многое иное, не являлось его специальностью. Сухие отчетливые дни и бредовая судорожная напряженность бессонных ночей шли только на одно — на изучение возможности направлять хаотичность электрических бурь, как снаряды, с безупречной точностью. Что будут при этом сообщать радиостанции: приказы об умерщвлении, дипломатические кляузы или благородные призывы любви, клич умирающих Роландов, слезы Ярославны, инструкции для комиссионеров: скупить, повысить, понизить акции, — это не занимало Петрякова. Его недаром звали узким спецом. Но кто знает, какие кипы невостребованной нежности находились в этом сердце, не выносящем больше крутых лестниц? Кого он видел в жизни? Других ученых, занятых формулами и книгами, Покойную жену, которая интересовалась бла-

готворительными лотереями, хищениями кухарок и галстуками любовников. Но книги и формулы были у него самого. А жену он терпел, как посланное судьбой неудобство, как терпел полотеров, мешающих раз в неделю работать, или мух с их эпической назойливостью. Больше у него никого не было. Сонечка? Да, конечно. Прежде ему казалось, что он ее любит, что она будет теплом, его связью с жизнью. Но теперь, думая о ней, он только жалко пришептывал: «Не удалась». Какой она была милой, когда прибегала девочкой в кабинет отца, чтобы рассказать ему о катанье с горок или попросить пятиалтынный на фисташковую халву! Как случилось все последующее? Этого Петряков не мог понять. Процесс превращения невинной девочки в накрашенную особу, способную ради денег сходить с мужчинами, не читающую никаких книг, кроме «Тарзана», презирающую работы отца, занятую странами, может быть и противозаконными делами, казался ему загадочным. Он ведь не знал, какими глазами глядела невинная девочка на ценные подношения, получаемые мамой от своих покровителей. Он не знал и годов искуса, когда, оставшаяся после смерти матери без присмотра, семнадцатилетняя Сонечка приобщалась к житейской мудрости, кокетничая напропалую, а ночью, горько плача, спеша скорее потерять невинность, боясь мужских прикосновений, одновременно мечтая о героической любви и о модном коротком платье. Он не знал этого. Открытие, то есть визгливый выпад соседки Швейге: «За дочкой бы лучше смотрели! Какую сволочь она только к себе не водит», — застало его врасплох. Услышав же пренебрежительное объяснение Сонечки о «хозрасчете», профессорское сердце замерло, как будто оно одолело сто этажей. Значит, и дочери у него нет, никого...

Одиночество, и само по себе не легкое, для человека, перевалившего за шестьдесят, осложнялось двумя обстоятельствами: мыслями о явной бесплодности своей работы и тяжелыми нравами квартиры № 32. Первые были изложены Петряковым в его речи, обращенной к Михаилу, которую мы воспроизвели. Он не кривил душой, говоря, что принял революцию. Причем это не было простым приятием явления, а известным сочувствием: Но сведения его в этой области поражали примитивностью. Он твердо усвоил, что национализация заводов соответствует чувству естественной справедливости, и еще, что Луначарский весьма симпатичный и весьма культурный чело-

век. Дальше дело не шло. Дальше он видел только хаос, невежественность того или другого вузовца, тупость переданного ему крохотного распоряжения и свою страшную отъединенность. Воспитанный на книгах, которые теперь изымались из общественных библиотек, как вредоносные, он не мог понять ни этого изъятия, ни прочитанной где-то сентенции о классовой природе математики, ни пафоса единомыслия, ни воздуха, которым дышало новое поколение, воздуха, насыщенного махоркой и строительной известкой, цифрами, дисциплиной, бранью, суровым добродушием, воздуха пустырей, где наспех, запоем строится какой-нибудь новый Нью-Йорк, поньюйоркистее существующего. Ему казалось, что он в безвоздушном пространстве. И мудрено ли, что он часто сбивался с тона, переходя от высоких опасений за будущее культуры к брюзгливым жалобам на отсутствие примитивного комфорта, соединяя то и другое в одно, вознося вопрос о квартире № 32 на неподобающие высоты?

Любой писатель, занятый своими героями, обитающими в нашей столице, вынужден учитывать значение квартирного кризиса, который является не только проблемой хозяйственного восстановления, но и психологическим фактором, зачастую определяющим чувствования и поступки сотен тысяч людей. Стоит лишь сравнить спокойствие, уравновешенность жителей Ленинграда, где в любой квартире две-три комнаты заколочены, как ненужные (для экономии топлива), с нервичностью, даже озлобленностью москвичей, чтобы понять все значение квартирного кризиса. Может быть, Петряков, живи он в другом месте, не жаловался бы Михаилу на слепоту истории. Ведь квартира № 32, эта рядовая московская квартира, являлась поэтическим вымыслом жесточайшего человеконенавистника. На входной ее двери красовался длиннейший список фамилий с пометками: «звонить три раза» или «стучать раз, но сильно», «два долгих звонка, один короткий». Все двадцать семь обитателей квартиры должны были, прислушиваясь, считать звонки или удары, отличая долгие от коротких. Многие ютились в проходных комнатах. Можно хранить стыд день, месяц, но не годы. Раздевались, не обращая внимания, — пусть проходят. Но иногда находила злорада, и тогда, запирая дверь, принуждали соседа топотать в морозной передней. Жили, вопреки поговорке, и в тесноте и в обиде, оживляя будни сплетнями, ссорами, скандалами. Каждый досконально знал жизнь другого, знал ее во всех деталях, знал белье соседа, его любовниц, его обеды, его

долги и болезни. Поражение частицы заставляло содрогаться весь организм. Обыск у одного, понос у другого создавали бессонницу двадцати семи душ. Кухня была общей, и меню каждого оценивалось с точки зрения этики, эстетики, а также возможности вынужденного переселения в Нарым. Все двадцать семь искренне ненавидели друг друга. Швейге, наблюдая вялость уходящего утром от Сонечки Шурки Жарова, негодующе шептала на кухне: «Она же его погубит, эта дрянь! Вы только посмотрите, он даже с лестницы сойти не может». Служащего Госбанка Данилова попрекали тем, что его жена изводит полфунта масла на обед: «Сразу видно, взяточник». Когда умер год тому назад муж Швейге, жена Данилова объяснила, что он умер от супружеской требовательности старой ведьмы. Коммуниста Чижевского долго побаивались, но как только выяснилась принадлежность его к оппозиции, Швейге немедленно дошла до колкого замечания: «Кофейник нельзя в раковину выпораживать, засоряется, некультурно это...» История всех стычек могла бы составить увлекательный роман с выразительным названием «Квартира № 32», и нечего удивляться, если хоть в мудрой, но наивной голове профессора Петрякова эта история часто заслоняла историю великой революции.

Его не любили, несмотря на кротчайший характер, не любили за уединенность, за нежелание снизойти до общих страстей. Поэтому, хоть он и не раз публично отрекался от дочери («прошу не смешивать»), хоть он и довел свою щепетильность до того, что часто, подголаживая, отказывался взять у Сонечки даже кусочек хлеба («я честный человек, а не альфонс и не сводник»), его все же травили именно поведением Сонечки, этим козырем всех кухонных пересудов. Его новые штиблеты встречались шепотом: «Ага! барышня наработала». Данилов бормотал прямо ему в нос: «Такую давно посадили бы, да вот папаша нужен большевикам, поэтому и терпят...» Уехать профессор не мог. Выселить Сонечку тоже не было в его власти. Он только по ночам грузно ворочался и пил воду.

Михаил был, пожалуй, первым человеком за все эти годы, не заявившим снисходительно Петрякову, что он устарел, и не попрекнутым его Сонечкой, и Михаилу досталось множество ласковых интонаций, незнакомых ни слушателям профессора в вузе, ни жильцам квартиры № 32. Наш герой мог радоваться. Ведь среди лирической растроганности иных вечеров он не забывал и о своем основном задании: при помощи Петрякова по-

лучить лакомую командировку. Через месяц-два профессор должен был направиться в Берлин с двойной целью: проверить последние труды германских ученых, искавших, как и он, возможности регулировать направление электрических волн, а также приобрести усовершенствованные аппараты для новой радиостанции. Сопровождать Петрякова предполагал некто Ивалов из Наркомпочтеля («для политического выпрямления линии»). Но требовался третий — деловой человек. Вот на это место и метил Михаил. Его сближение с профессором уже достигло такой прочности, что он решился высказать ему свои надежды. Петряков отнесся сочувственно («вот там, молодой человек, увидите, что такое культура...»). Оставалось, чтобы втереться в Наркомпочтель, заручиться некоторыми рекомендациями. Для этого Михаил рассчитывал на Артеминового товарища Бландова. Все шло как по-писаному. Михаил мог бы радоваться. К тому же Сонечка, выводя нашего героя в люди, натолкнула его еще на одно добротное дело: она познакомила его с директором «Югвошелка» Шестаковым, который был очарован плечиком Сонечки, этим, по его словам, «аппетитным кусочком Тициана». Деньги имелись. Предстоял Берлин с культурой, понимаемой Михаилом на свой лад, то есть с автомобилями, ресторанами и заграничными девочками. Чего же больше?

Но Сонечка... Душевные беседы — беседами, деньги — деньгами, сердце же Михаила продолжало оставаться сердцем глупого романтика, влюбленного молокососа. Здесь руки его не продвигались. Хоть вялого боксера сменил теперь Лукин, боевой статист из театра Мейерхольда, применявший на Сонечке все заветы биомеханики, Михаилу ничего не перепало. На прямой вопрос, чем он хуже прыщавого и плюгавого Лукина, у которого не было даже пугавших нашего героя бицепсов Жарова, Сонечка усмехнулась:

— Не знаю. Прихоть организма. Хочется, и все тут... А с вами нет... Вот вы, например, рыжий...

Беспощадно разоблачая жизнь Михаила, мы вынуждены теперь упомянуть, как он робко вошел в парикмахерскую «бывших мастеров Леопа», что на Петровке, и попытался приобрести там приворотный камень, то есть усовершенствованную краску для волос. Какое это расхолаживающее зрелище! Любовная трагедия легко могла перейти в сомнительный фарс, тем более опасный, что покрасить волосы дело десяти минут, а вернуть им природную окраску не так-то легко. Поэтому мы иск-

ренне благодарны судьбе (или, точнее, самонадеянности Михаила), в последнюю минуту удержавшей его от непоправимого шага. Нам ведь предстоит рассказать о многих подлинных страданиях неумного сумасброда, и перекрашенные волосы помешали бы должной серьезности тона. Рыжесть чуба навсегда неотъемлема от Михаила Лыкова. Итак, нам первым на радость, он не использовал приобретенную им в парикмахерской заграничную краску. Вертясь перед зеркалом, он вдруг улыбнулся, почувствовав, что он хорош, чертовски хорош, что именно пламенность шевелюры, в сочетании с минералогической безжизненностью кожи, придает ему загадочный и героический облик, что женщины должны лететь на него, как на лампу мошकारа. Он с презрением откинул жалкую банку. Он даже нежно погладил свой чуб, как бы благодаря его за живописную удачливость. Сонечка?.. Но это вопрос не цвета волос, а количества червонцев. Разве она не обещала ему вознаграждения за берлинское предприятие? Ждать Михаил все же не хотел. Он решил потребовать аванса.

С этим он и направился к Сонечке. В комнате было полутемно. Сонечка попросила электричества не зажигать. Михаил не спорил, он и сам, готовясь к натиску, предпочитал отсутствие света, способного разоблачить его неуверенность, волнение, пожалуй, страх. Подсев поближе к Сонечке, он начал с поцелуя. Он был прежде всего удивлен: Сонечка не оттолкнула его, даже не обругала. Наоборот, она сама с явной охотой принялась его целовать. «Может быть, это от темноты, от того, что она не видит теперь моих волос?» — успел подумать наш герой, теряя способность трезво расценивать события. Вскочив, он поспешил скинуть пиджак. Он довел Сонечку до кровати. Там, однако, вместо предвкушаемого и заслуженного торжества его ждало вящее унижение. Он сначала нащупал, а потом разглядел мелкое личико Лукина, который лежал мирно, по-семейному, в ночной рубашке, и, видимо наслаждаясь происходящим, поджидал Сонечку, поджидал не зря, так как она немедленно легла рядом. Михаил повернул выключатель. Он был вправду страшен, так что Лукин, увидев красноту щек, вычерчиваемые руками дуги, натянул одеяло на голову. Сонечка же, убежденная в кротости вполне прирученного ею поклонника, улыбалась: она радовалась пикантной закуске перед пресностью обычных ночей. Развязки драм, последние итоги ярости всегда бывали неожиданными для самого Михаила, эти пятые акты не им сочиняемых пьес. Здесь могло быть все: слезы, побои, убийство. Если

отсутствовал револьвер, то ведь на столе соблазнительно посвечивала медная ступка, в которой Сонечка толкла грецкие орехи. Слабейшие чувства не раз заставляли Михаила кидаться на людей. Наконец, плюгавость Лукина исключала страх. Ясно было, что одним ударом Михаил прикончит его. Содрать одеяло и найти испещренный красными бугорками лоб труда не составляло. Прерванные поцелуи требовали продолжения. Казалось, он должен убить соперника и взыскать возделенный аванс, за которым он пришел. Однако гнусность инсценировки парализовала его чувства. Он не раздавил Лукина, он спешно увел свои руки от соблазнительной ступки, повинувшись чувству брезгливости. Так обходят гусеницу, страшась ее раздавить. Даже губы Сонечки не притягивали его больше, они теперь сливались с прыщами Лукина, с его ночной рубашкой не первой свежести. Изобразив сарказм шаблонного театрального хохота, Михаил крайне неправдоподобно воскликнул:

— Спокойной ночи!

И выбежал на лестницу. Там холод и пустота сразу отрезвили его. Погасив гнев и столь несвойственную ему брезгливость, они оставили в силе страсть. «Дурак! — кричал теперь сам себе Михаил. — Не все ли равно, кто рядом с ней? Там нашлось бы место и для тебя. Долой предрассудки!» Он бросился к двери, он стучал, звонил, не забывая при этом о сложной сигнализации, установленной в квартире № 32. Так как было уже поздно, ему открыли не сразу. Наконец раздался испуганный голос Швейге:

— Кто там?

Дрожь этого вопроса передалась и Михаилу, вдруг почувствовавшему себя вором, ночным грабителем, рвущимся не к губам Сонечки, а к милиции и к протоколу. Вместо ответа он предпочел кинуться вниз. Он столкнулся с профессором, который, задыхаясь от этажей и от философических сомнений, связанных с преемственностью культуры, вызванных в нем очередным заседанием научного общества, тяжело подымался вверх.

— Как дела, молодой человек? — дружелюбно спросил Петряков.

— Дрянь. Фактически погибаю.

Не понимая да и не стараясь понять слов Михаила, занятый своими унылыми мыслями профессор все же сочувственно хмыкнул:

— Вот как...

— У меня, знаете, папаша был. Ваших лет. С манишкой,— уже вовсе бессмысленно пробормотал Михаил, потрясенный, после всего происшедшего, уютom, теплотой профессорского голоса.

Слово «папаша» дошло до Петрякова, оно что-то пробудило в нем, заставило прислониться к стенке, даже снять очки.

— Вы говорите «папаша»? Да, это очень хорошо. Когда-то Сонечка милой такой была. Играла в серсо... А не удалась. Вышла прямо беспутной, как и все эти молодые... без чувств, деньги и деньги...

Странная была эта беседа на темной морозной лестнице, классическая беседа из старого русского романа. В голосе профессора уже слышалась не только теплота, но нежность, человеческая боль. Он был пропитан шершавой влажностью готовых хлынуть слез. Но Михаил не дал им пролиться, облегчив хоть несколько стариковское одиночество. Забыв о всех требованиях тактики, забыв о налаживаемой день за днем командировке, он воскликнул:

— Не смейте так говорить о ней! Она абсолютно чистая! Она прекрасная! А вот мне каюк!..

Дверь и ночь проглотили его дальнейшие признания.

Работа, сопровождаемая лирикой

Одна минута может, конечно, разрушить сложное построение долгих месяцев, лет, веков. Но чем бы она ни была заполнена — гневом, самоотверженностью, подвигом, — все равно на следующее утро память о ней, этот звон убираемых бутылок, смятость постели или линялость флагов, чад расстрелянных ракет фейерверка или артиллерийской дуэли, сдается в архив, кладется в сентиментальную шкатулку, кидается профессиональным мусорщиком: историкам, психологам и поэтам. Начинается знаменитое становление, то есть комичное в своей торжественности напяливание честного костюма, обязательно состоящего из пиджака, жилета и брюк, на человека, возмнившего себя античным фавном или хотя бы экзальтированным босяком. О том, как это проделывается, сколько слез и недоброго смеха стоит, говорить нам не приходится: читатели это знают сами.

Михаил после ночных безумствований утром вернулся к деловой жизни. Он прежде всего пожалел о происшедшем на лестнице. Не оттолкнули ли его глухие слова о святости Сонечки щепетильного профессора? Сонечка тоже проснулась в дурном настроении. Что значил саркастический смех Михаила? Вдруг он бросит ее, не доведя до конца ни «Югвошелка», ни, главное, Берлина? Командировка требовала от обоих жертв, трезвого восстановления. Что же, Михаил поступил достаточно остроумно: принесся извинения за ночную невоздержанность, он окончательно завоевал сердце Петрякова чистотой, наивной ребячливостью своих чувств к Сонечке. Профессор только счел долгом прочесть отеческую нотацію:

— Жаль мне вас, молодой человек. Право же, она не достойна подобного отношения. Обещайте мне забыть о ней, вычеркните ее из памяти.

Михаил тотчас с готовностью ответил:

— Вычеркну!

Роль Сонечки была много проще. Стоило ей ласково потрепать непокрашенный чуб и напомнить о том, что будет после Берлина, как Михаил уже позабыл о ночной рубашке Лукина. Все снова вошло в колею. Наш герой вел серьезные переговоры с Шестаковым о принятии для окраски большой партии шелка, принадлежавшей некоему Зайцеву. Дело хоть и подвигалось медленно, но сулило солидный заработок. Что касается Наркомпочтеля, то остановка была только за партийной рекомендацией. Михаил решил приняться за Артема и, пробудив родственные чувства, добиться записочки к Бландову.

Он знал со слов одного товарища, что Артем переехал на Большую Якиманку и как будто женился. Все это, по существу, его никак не интересовало. Лиричность сердца, так безрассудно расходимая теперь на Сонечку, при мыслях об Артеме отсутствовала. Занятия, даже женитьба скромного вузовца не могли занимать Михаила, поглощенного чуть ли не государственными делами. Идя к Артему, он с досадой подумал, что придется, приличия ради, вопрос о Бландове предварить скучными разговорами о том, как живет брату, что слышно о Германии и тому подобными.

Вместо скуки, однако, его ожидало нечто иное, а именно неподдельное изумление: в указанной комнате он нашел Ольгу. Ее вид, это театральное напоминание о старательно забываемом прошлом, о проделках красноармейца и о клеенчатой тетрадке

вузовца, прежде всего оскорбил Михаила. Зрелище показалось ему нарочитым, постановкой морализирующего режиссера. Отталкивая руками неприязненность воздуха, он как бы барахтался в дверях.

Ольга сидела на кровати. Увидев Михаила, она не вскочила, не вскрикнула. Легкий подъем плеч, наклон головы, эти едва заметные движения, напоминавшие смиренную агонию затравленного собакой зайца, одни говорили о ее состоянии. Молчание длилось долго. Наконец Михаил пришел в себя. Он решил обойти неприятную случайность, сделать вид, будто ее вовсе и нет.

— Ты здесь? Вот что... А где же Артем?

Ольга отвечала быстро, коротко, не задумываясь, как на допросе. Узнав, что это и есть жена Артема, Михаил не выдержал, расхохотался:

— Так! Здорово! Значит, по наследству? Что же, с Темки хватит. Он вообще подержанный товар любит. А у меня теперь такая особа... Шик! Дочь знаменитости. Красавица, ее вот один фотограф на Петровке даром снимал, для удовольствия, и еще карточки в витрине выставил. Можешь посмотреть. И любит же она меня...

Сам не зная зачем, Михаил с жаром принялся рассказывать о всех достоинствах Сонечки, он не только приукрашивал ее (что могло быть объяснено традиционной слепотой любви), но и сильно искажал характер отношений, переносил все чувства ветреной особы к Жарову, к Сахарову, к Лукину на себя. Эта ложь радовала его, придавала ему бодрость и уверенность. Он даже забыл, кто перед ним. Он вдохновенно импровизировал. Немота, сутулость, слезы Ольги не доходили до него. Кончив же свою романтическую поэму, он другим, вполне деловым голосом заявил:

— Ну будет. Я ведь к Артему по делу пришел. Когда он дома бывает?

Не дождавшись ответа на этот, казалось бы, простой вопрос, Михаил наконец решил посмотреть: что же с Ольгой? А взглядев, не раздумывая, твердой походкой хозяина, вернувшегося после долгой отлучки в покинутый дом, Михаил подошел к Ольге, обнял ее и дал волю инерции движений. Минут десять спустя, приводя себя в порядок у крохотного зеркала, он задумался не на шутку, так что рука с хвостиком ярко-зеленого галстука, кокетливо подобранного под природные тона, застыла. Любопытство естествоиспытателя овладело им: зачем он, собственно говоря, все это проделал? О какой-либо страсти

смешно было подумать. Серафическая голубизна глаз Ольги вызывала в нем досаду. Деловая настроенность требовала Бландова, а не бессмысленного в первобытной настойчивости чужого задыхания. В чем же дело? При чем тут Ольга? Рука с галстуком начинала походить на руку манекена. В конце концов он понял: жадность, эта добродетель авантюристов и романтиков, только жадность! Стол был накрыт, и хоть голода не было, хоть блюдо было не по вкусу, он снизошел, не прошел мимо. Ольга ведь казалась ему при любых обстоятельствах специально созданной для него, физиологическим резервом.

Эта догадка успокоила, но не обрадовала его. Явились опасения: так можно разозлить Артема и упустить Бландова. К тому же противно... Чувства Михаила успели рафинироваться. Он мечтал о Сонечке, только о Сонечке, совсем как в возвышенных книгах! Подобные объятия оставляли после себя тяжелый привкус обеда в дешевой столовке. Наконец, чего доброго, эта дура начнет проникновенно общаться, примет случайность, оплошность за лирический рецидив. Раздраженно смяв зелененький галстук, Михаил несколько раз прошелся из угла в угол. Это успокоило его. Поступок сам по себе не плох, даже хорош, альтруистичен. Для него — одни неприятности. Но для Ольги это — радость, праздник. Что же, он порадовал эту, в общем, несчастную женщину. Насчет дальнейшего можно застраховать себя. Сказать просто, без китайских церемоний: баста! Да и с Артемом еще неизвестно что выйдет. Может, это к лучшему. Наверное, дурак влюблен в нее. Значит, если поговорить серьезно с Ольгой, она подготовит мужа. Последнее его развеселило. Он даже улыбнулся. Он даже назвал неподвижно лежащую Ольгу «миленькой». А после этого лирического предисловия перешел непосредственно к делу:

— Слушай, Ольга, у меня к тебе просьба. Поговори с Артемом. Я, видишь ли, прямо с голоду дохну. Неприятности, ерунда, кто-то напакостил. В итоге я буквально на улице. Два месяца службу искал. Вот теперь подвернулось в Наркомпочтеле. Все хорошо, но нужна рекомендация. Вот у Артема есть товарищ — Бландов. Ты уж по старой памяти выручи. Состряпай...

Ольга все так же неподвижно лежала. Лицо ее было закрыто руками. Отсутствие слов, отсутствие даже глаз, отсутствие ее оценки и объятий и просьбы томило нашего героя. Эту немоту можно было толковать по-разному. Вдруг неблагодарная женщина обиделась на него? Ведь ни одним словом, ни одним поце-

луем она не выказала своих чувств. Что, если в ее голове теперь вырабатываются хитрейшие козни? Что, если она пожалуется Артему, загубит все дело?

Михаил испробовал все: кричал, ругал Ольгу «изменницей», даже «блудливой кошкой», упрекал ее и за измену ему, так ее в душе любившему, и за измену Артему, он повторял все нежные слова, какие только знал, от «деточки» до применяемой им обычно к Сонечке «богини». Все было напрасно. Немота сгущалась, становилась катастрофичной. Тогда Михаил прибег к последнему радикальному средству:

— Что же, молчи, только я тебе одно скажу. Если ты с Артемом не поговоришь, мне конец: застрелюсь. Нет больше сил голодать. Я и револьвером запасся. Лучше уж сразу кончить...

Михаил добился своего: заглушенный подушкой, а также слабостью, раздался голос Ольги.

— Хорошо, я поговорю.

Тогда, деловито добавив, что ждет ее завтра с результатами, и для бодрости засунув два пальца в жилетный карман, он вышел. Он испытывал знакомое ему чувство удовлетворения после удачной, но нелегко давшейся сделки. Ольга для него теперь была бумазеей или шелком. Кто скажет, что он не честно зарабатывает свой хлеб?

Теперь мы позволим себе, расставшись с жизнерадостным героем, заглянуть в глаза Ольги, которых он так и не увидел, добиться от нее чего-либо более внятного, нежели молчание и добытое шантажом обещание посредничества. Описываемая нами женщина может во многих вызвать невольное раздражение. С пассивностью скорее мирятся в жизни, нежели в книгах. Вещность Ольги, передвигаемой другими, зависящей от любого случая, от любой прихоти, кажется неубедительной на страницах современного романа, где нужно жить, действовать, махать руками, топиться или топить других. В жизни, однако, подобных женщин немало. К ним привыкают, как к вещам. Их раздевают, иногда ласкают, иногда бранят. Они штопают носки, рожают детей, ходят на базар. Кроме того, они читают романы, мечтают о жизни иной и прекрасной, безнадежно любят, втихомолку плачут и умирают, только в порывистой теплоте материнских поцелуев передавая своим детям тоску тридцати или сорока положенных лет. Обыкновенные женщины! Ольга? Она, как другие, не лучше, не хуже. Рядом с ней находился честный хороший человек, а она снова отдала свое тело

и сердце нашему рыжему пакостнику. Что это? Глупость? Или неистребимое томление, жажда, пусть старомодная, но живая романтика, бегство от душевного уюта в классический притон, приятие дыбы, судьба многих и многих?

Она не ждала Михаила. Она не пошла бы к нему. Но все эти месяцы она ему принадлежала, как оставленный на хранение багаж. Когда же он случайно натолкнулся на нее, мог ли у нее быть выбор? Мысль об Артеме никак не останавливала ее. Следует сказать, что семейная жизнь этой пары не налаживалась. Брак принес лишь комнату на Якиманке, но не счастье. Комната являлась единственной связью. Столь ангелическая с Михаилом, Ольга оказалась способной на злобу, на сварливость, на повседневные пререкания и стычки, которые можно сравнить только с ноющим дулом зуба. Это была, пожалуй, месть за свою беспомощность, глупая и жалкая месть. Сколько раз Артем тихо уходил из комнаты, только чтобы не слышать больше бабских нелепых упреков. Он чувствовал себя сдавленным, вытесненным из своей собственной жизни бытовой фантастикой, нелепицей физиологического отталкивания, когда тело, беснуясь, покорно молчит, но в отместку заставляет язык выкидывать множество загадочных и тупых упреков. Он не поддавался. Бесшумность уходов или недоумение («да что с тобой?») являлись его единственным участием в этих сценах. Сдержанность мужа только усугубляла раздражение Ольги. Иногда Артем решал порвать с ней, переехать к товарищу на Спиридоновку. Мысль о втором хвосте в затсе (о том, что на развод) заставляла его тогда меланхолично улыбаться. Но злобные выпады Ольги неизменно заканчивались слезами, и жалость, нежность, привязанность побеждали в Артеме все остальное. Он оставался. Он страдал, упрекая себя за недостойность этого страдания. Личная жизнь должна быть на заднем плане. Какой позор! Он, Артем, коммунист, может мучиться из-за каких-то бабьих чудачеств! Он шагал по улицам, судил себя, осуждал, осуждал за все, за радость того утра, за затс, за привязанность к этой женщине, за неумение наладить с ней честную рабочую жизнь. А подходя к домику, издали разбирая сквозь белесость снега теплую желтину окошка, сливающейся в его сознании с волосами Ольги, он терялся, чувствовал, что слабеет, плошает. «Проще. Только проще!» — повторял он сам себе.

Но этот прекраснейший дар, простота, столь легкая в книгах или в статьях компетентных товарищей, требовала в жизни

героизма, большой любви и большой воли. Особенно тяжелы были последние недели. Отвращение Ольги к мужу дошло до Артема.

— Ты, может, кого-нибудь другого хочешь?

Не задумываясь, она солгала:

— Нет.

Она солгала не от страха и не от стыда. Ее чувства, болезненные и острые, не выносили дневного света. Для признания требовались экзальтация, исключительность одной минуты. На простой же вопрос, поставленный трезво, деловито, за ужином, вроде как «может быть, ты колбасы хочешь?», она могла ответить только ложью. Артему эти дела казались и вправду простыми, житейскими. То, что он страдает именно из-за бессмысленности своего чувства, не доходило до его сознания. Мысли были ясными: другого — иди к другому, меня — оставься, и хватит, нужно работать, а не беситься с жиру. Поэтому ответу Ольги он поверил. Отношение к своим ласкам он отнес за счет нервности жены, и решил на время от них воздержаться. Он был молод, спал рядом с Ольгой, все это ему давалось не легко. Приходилось порой и ночью мысленно повторять магическое «проще!».

Так они жили. Утром Артем ушел в вуз. Ольга чинила белье. Явился Михаил. Налаженное равновесие было опрокинуто одним движением руки нашего героя. Как бы ни были жестоки хвостовские рассказы Михаила о Сонечке, как бы ни были дичинно конспективны его ласки, все это после пережитых месяцев, после ночей с нелюбимым мужем, показалось Ольге исходом, спасением, радостью, сказали бы мы, если бы не боялись вызвать смех читателей: «Хороша радость!» Да, хороша! Разбирайтесь сами в болоте, где всего вдоволь — и сентиментальных незабудок (для героев баллад), и откровенной вони, и тумана, столь увлекающего импрессионистических живописцев и жаб, жирнящих, едва передвигающихся, наподобие дам, важных жаб, от которых, по поверию, остаются на руках противные бородавки, где вдоволь всего, в болоте, называемом для краткости, а также для непонятности, «любовью», как назывались в средние века «Индией» все еще неоткрытые страны. Разбирайтесь, если вам охота. Мы же пасуем. Мы пасуем перед тихой и ласковой улыбкой, которой встретила Ольга в тот вечер мужа. Это не описка: улыбку, а не слезы, застал Артем. Он сперва удивился, потом обрадовался. Не думая допытываться,

чем эта улыбка вызвана, он и сам улыбнулся: Ольга успокоится, наладится совместная жизнь, учение, работа, борьба.

Ольга не сразу заговорила о Михаиле. Она долго и тщательно проверяла, достаточно ли прочна улыбка мужа. Зная, что просьба возмутит Артема, она старалась создать атмосферу беззаботности, уюта, некоторой душевной лени, в которой даже самое рискованное слово «Бландов», утратив резкость контура, станет терпимым. Ее поведение, выбор слов, паузы — все было обдуманно, и превращение сентиментальной мямли, тургеневской героини в ловкую особу, в героиню совсем иной литературы, в любовницу, занятую карьерой своего друга, сочетающую пыл адюльтера с трезвым расчетом, может быть объяснено лишь силой все той же «любви». «Застрелится!» — эта неотступная мысль делала из Ольги Сонечку, принуждала ее каждым жестом, каждой улыбочкой лгать, лгать гадко и зло человеку, в своей наивности равному ребенку. Она все сделала. И все оказалось тщетным. Как только дошло до Бландова, Артем насторожился. Он почувствовал, что это новая Мишкина проделка. Он уперся. Нет, ни за что! У него нет работы? Артем подыщет ему, но такую, чтобы не было простора его непоседливым рукам. «Мишка — пропащий» (это Артем сказал с горечью, но твердо, как Петряков говорил о Сонечке «не удалась»). Брат? Конечно. Но можно ли говорить о чувствах? Кому какое дело до боли Темы, нянчившегося когда-то с маленьким Мишкой? Сюсюкать не приходится. Речь идет о работе, то есть о партии. Мишек нужно выкорчевывать. Сразу. А боль — это дело частное. Так думал, так и говорил Артем. Большого Ольга от него не добила. Ей пришлось замолчать. Ей пришлось лечь рядом с этим чужим и жестким человеком, который являлся судьбой, палачом ее рыжего идола. Артем спал. Ровность его дыхания оскорбляла Ольгу, она казалась ей ходом часов, живых часов в рубахе, отсчитывающих радости и муки людей, жизнь Михаила, жизнь Ольги: еще, еще. Как она скажет завтра о неудаче? Нужно, прежде всего, отобрать револьвер...

Некоторое чувство справедливости проявила судьба: далеко не веселый вечер провел и Михаил у своей Артемиды. От бодрости засунутых в карманы пальцев не осталось и следа. Шло обычное унижение, то есть кокетливые приготовления к визиту нового избранника, американского журналиста Саймсона: фабриковались губы и ресницы, обдуманно надвигался на лам-

пу абажур, выбиралась пижама, наиболее гармонирующая с освещением. Присутствие раздраженного Михаила оживляло Сонечку. Она дурачилась. Она даже прогулялась тушью по оранжевым бровям своего поклонника. Михаил выходил из себя. Он было попытался воздействовать на Сонечку реляцией о своем утреннем налете. Но, проявив подлинную широту взглядов, Сонечка добродушно посоветовала нашему герою:

— Вот вы и ступайте к ней. Пора. Сейчас Саймсон придет.

Звонок (два коротких, один долгий), не разрешив сомнений Михаила, заставил его, однако, покинуть малогостеприимный уголок. Как и Ольга, он провел дурную ночь, пил из рукомытника воду, плевался, злобно ворчал и шлепал босыми ногами по холодным половицам.

День для него начался с мысли о Бландове: выйдет? нет? В одиннадцать, как было условлено, явилась Ольга. Не здороваясь, он метнулся к ней:

— Ну?

В первый раз Ольге пришлось, хоть косвенно, за другого, отказать Михаилу. Она долго колебалась. Нелегко ей было выговорить:

— Не хочет.

Руки Михаила упали, как в обмороке. Расстроенный; он отошел к окошку. Кто же, если не Бландов? Темка — сволочь! Налечь на Петрякова...

Ольга, жадно следя за мельчайшими движениями рук Михаила, думала только об одном: помешать, спасти! Виновато подойдя к нему, она шепнула:

— Я, может быть, другое надумаю. Только обещай, что ты не умрешь...

Эти слова заставили Михаила врасплох: он обмозговывал, как бы заставить профессора найти соответствующие рекомендации. «Умереть?» Михаил расхохотался. Он забыл о своей вчерашней угрозе. Мысль о смерти показалась ему исключительно глупой, как выходка клоуна.

— Нет, тегушка, мы еще поживем. От таких вещей люди не умирают.

Ольга гадала, что это: нервический смех самоубийцы или действительно перелом к жизни? А Михаил, глядя на нее, забыл о Петрякове. Почему вот эта здесь, рядом, готовая всегда и на все, эта, а не Сонечка? Где же смысл? А Сонечка пускает к себе паскудного американца, каждый вечер меняющего

девочек, не его, нежного, симпатичного, преданного ей навек. Чепуха! Чьи-то дрянные выходки. Злоба нарастала. Он кинулся на Ольгу. Он мстил ей за ту, другую, с припухлыми, тщательно изготовленными, недоступными для него губками, этой бледной, чересчур натуральной, послушной, мстил за страх перед Шуркой Жаровым, за ворот ночной рубашки биомеханика, за бумажник Саймсона, беременный долларами, за широкие плечи и черные волосы многих других, за мороз и одиночество лестницы проклятого дома на Малой Никитской. Наконец-то он отвел свою душу. Его больше не тормозили мысли о Бландове или об Артеме. Дело перешло на чистые чувства. Здесь он показал себя. Он превзошел все харьковские ночи. Он узнал скверную радость мучительства, все ее градации от огромного желания, обладая, уничтожить, от страсти к пустоте, которую оставляет после себя кочевник, до подлых забав развратного старикашки. Все это сопровождалось таким напряжением, таким подлинным отчаянием, что бедной Ольге, не понимавшей цепи, которая вязала мускулы боксера и ее заламываемые руки, показалось даже, что Михаил ее любит. Иллюзия, впрочем, была недолгой. Удовлетворенный, но не успокоенный, Михаил ревел теперь от боли и злобы:

— Ты — паскуда. Со всяким согласна. Темка или я — тебе все равно. А Сонечка, та святая...

Неуместности последнего выражения на устах Михаила хоть и вычищенного из партии, но все же сдавшего экзамен по политграмоте, не почувствовали ни он сам, ни Ольга, как не чувствовали они противоположности, враждебной отчужденности дневного рабочего света, обыкновенного света среды или четверга, когда миллионы трудятся, то есть поддерживают густым дыханием налаженный распорядок, а два, три или десять погибают,

Жизнеспособность гнили

Михаил налегал на Петрякова. Старик медлил: не то он вправду забывал, не то колебался. Несколько утешило Михаила удачное завершение первой сделки с Шестаковым. Кроме полученных червонцев, он учитывал и солидность предприятия. Это не случайный трюк, вроде бумазеи. Здесь можно осесть, пустить

корни, сделать из окрашивания частного шелка на госфабриках высоко расцениваемую специальность. Берлин, однако, продолжал манить его и приятностью самой поездки, и возвращением. С Сонечкой ведь все обстояло по-прежнему. Пожалуй, разряжаемый свиданиями с Ольгой, он вел себя несколько спокойней, больше предвкушая грядущий триумф, нежели добываясь непосредственных подачек. Ольга, таким образом, в конце концов оказалась ему полезной, даже без Бландова. Думая о ней, Михаил испытывал известную признательность. Он решил до отъезда держать ее при себе. Потом будет Сонечка, и заместительница станет излишней. Комбинация не шла вразрез с романтикой, оставаясь законной, даже моральной.

Расчеты были разрушены одним вечерним, не в назначенный час, посещением Ольги. Своевольность прихода, решительность движений, наконец, первые же слова («мне с тобой нужно поговорить») указывали, что это не обычное любовное свидание. Михаил приготовился к упрекам, к ревности, может быть, и к слезам.

— В чем дело? Чего ты пришла? Я занят.

— Прости. Четверть часа. Мне необходимо тебя предупредить. Во-первых, я к тебе больше приходить не буду. Во-вторых, мне придется обо всем рассказать Артему.

Михаил вскочил. Он готов был терпеть неизбежность своей боли, надменность Сонечки, одиночество. Все это было хоть и горькие, но возвышающие чувства. Слова Ольги сулили иное. Пусть не приходит. Черт с ней! Только не Артему!.. Вместо трагедии — тысяча неприятностей. Ни за что! Он ясно представил себе, как Темка взглянет на него. Он негодовал. По всей вероятности, он и трусил, хоть не сознавал этого. Ведь он всегда побаивался брата. Вдруг Артем убьет его? Или излупит? Он кричал на Ольгу. Он запрещал ей. Он грозил, что сейчас же убьет и ее и себя. Видя, что ничего на нее не действует, он даже прибег к лирике: как можно интимное счастье делать общим достоянием? Но Ольга оставалась непреклонной: она должна сказать. Тогда в изнеможении Михаил свалился на кровать. Бледные щеки теребила конвульсия. Ольга села рядом. Нежность к этому сумасшедшему ребенку заставила ее наконец заговорить.

— Ты пойми меня. Я ведь тебя во всем слушалась. Но теперь нельзя иначе. Дело в том, что я...

Михаил поднял голову, он оживился, даже просветлел. Загадочность упорства уничтожала его. Теперь он понял, в чем

дело. С конкретной бедой он умел бороться. Им овладела деловитость.

— Это чепуха. Ты бы так сразу сказала. Мы это в два счета устроим.

Он задумался. Ольга ждала вспышки гнева: она боялась признаться ему, боялась его на все способных рук. Кроме страха, в ней, правда, прозябала и глупая надежда: вдруг Михаил обрадуется, улыбнется, ласково погладит ее. Ведь бывает же это с другими. Стоит прочесть любой роман. Понятно, Михаил не такой, как все. Но кто знает? Если она скажет, он может ее убить, но может и приласкать, может одарить не ее, а эту новую жизнь любовью, может в одну минуту сделать Ольгу счастливой, самой счастливой на всем свете. И вот ни ярости, ни ласки. Озабоченный голос. Шаги из угла в угол, назойливые и сухие, как счет костяшек. О чем он думает?

— Пустяки. Просто ты Темке скажешь, что это его ребенок.

Вот о чем думал Михаил! Только зависимостью от него Ольги, приспособлением этой, скорее идеалистической, природы к трезвой гнусности нашего героя можно объяснить последовавший ответ: не слезы, не более соответствующую положению пощечину или возмущенный уход, но ответ в тон:

— Нельзя. По времени не выходит. Я ведь с ним теперь не живу...

На этот раз Михаил действительно разозлился. Поведение Ольги он нашел как бы нарочно рассчитанным на причинение ему, Михаилу, всяческих неудобств. Что за фантазия? Почему это она не живет? Как будто одно мешает другому! Пусть сегодня же бросит эти повадки. Тогда все остальное приложится. Две-три недели — пустяки. Артем не такой человек, чтобы с карандашом в руке высчитывать, когда он последний раз целовался. Словом, ерунда! Итак, он благословляет Ольгу на тщательное выполнение супружеского долга. А через две недели она сможет порадовать мужа и результатами...

Ольга, однако, не разделяла легкомыслия Михаила. От предложенного выхода она решительно отказалась. Она и не искала другого, готовая принять всю надвигающуюся тяжесть на себя. Занятость чем-то новым давала ей известную устойчивость. Центр жизненной энергии, до сих пор находившийся извне, в руках или в чубе Михаила, переместился. Мысль о физической близости с Артемом теперь казалась ей особенно оскорбительной. Не найдя в Михаиле нужного, она готова была по-

прежнему служить ему, как вещь, но непримиримость уже накапливалась. Глядя в ее глаза, легко было прощупать завязь зрелых чувств. Не все ей можно было теперь продиктовать. На этот неожиданный отпор и натолкнулся Михаил, совсем сбитый с толку кратким отказом Ольги. Тогда она преподнес ей новое, радикальнейшее решение. Изложил он его просто, без прикрас, употребив для этого страшное словечко, указывающее, что недавнее преступление, «смертный» грех, стали бытом, — словом, хорошо знакомым, по своей горькой колючести, и вузовкам, и работницам, и совбарышням (безразлично — от «крылатости», или «бескрылости» ночей, оплачиваемых их кровью, безразлично — и от промокашки загса), простенькое, чудовищное слово: — Что ж, тогда «скребку».

Ольга ощерилась. Ее лицо, неизменно приветливое до хронической улыбки, приняло звериный оскал. Она готова была скорее умереть, нежели выдать свою, воистину окаянную, радость выносить дитя бредовых ночей, лишенных нежности и воздуха, дитя Михаила, может быть, с таким же чубом, с такими же хваткими руками душителя или самоубийцы. На приглашение Михаила ответило прежде всего ее тело, обычно мягкое, как тесто в руках кондитера, теперь подобранное, готовое к защите, к животной борьбе. Право, даже ногти ее как-то заострились, не говоря уже о глазах, легко перешедших от тургеневской элегичности к тусклому посвечиванию разъяренной кошки. Как будто Михаил являлся хирургом, то есть непосредственно врагом, похитителем. Нет, этого не будет! Ясно? Можно было у Ольги отнять книги или совесть, можно было вместо оперной или библиотечной любви преподнести ей сальные шуточки буяна или его же ремень, заставить уверовать в пафос хамства, заставить лгать, гаденько лгать, с расчетом, все это было в пределах возможности. Человеческая душа послушливо сжималась или растягивалась, как резина, приучилась к строго нормированному дыханию, вмещала чужие миры, темные, жестокие, пещерные, сочетание незабвенных стишков капитана Лебядкина с ароматом освежаванной туши. Однако, с радостью заметим мы, и здесь имелись пределы, не условные, но глубоко органические пределы. Это выражение лица, твердость губ, отталкивающую сухость зрачков понял бы Артем. Не на такой ли отпор нарвалась Ольга, упрасивая мужа дать записочку к Бландову? Конечно, причины были разные: партия, революция, история, здесь же почти воображаемая плот-

ность еще неопутимого зародыша. Но мы радуемся самой непримиримости, возникновению отказа там, где, казалось бы, уже нет ни воли, ни сил, а только всепокрывающая инерция, тряска, прием и отдача бессмысленных толчков автобуса, в который свалены двадцать или тридцать человеческих жизней.

Михаил почувствовал перелом. Ему стало неуютно с этой женщиной, доसेле безропотной. Он все же пытался переубедить ее. Он вооружился логикой. Ну, что в этом плохого? Даже государство терпит. Все делают. Пусть Ольга спросит товаров. Плевое дело! Каждой приходилось. И не раз. Опасности никакой. Нужно решиться. Не рожать же ребенка без денег, даже без квартиры, еще одного злосчастного соплика, Мишку, с его играми на базаре, побегушками и прочими прелестями.

Ольга не спорила, но лицо ее, сохраняя все ту же подобранность, ясно говорило, что ни логика, ни красноречие не властны над ней. Доводы Михаила казались ей вздорными, ребяческими. Как будто она сама этого не знает? Шла невыгодная для Михаила игра. Карт он не видел и крыл не ту масть. Она ведь не рассказала ему, что два месяца тому назад сама прибегла к столь расхваливаемому им способу. Тогда ее ничего не остановило: ни страх, ни этика. Как тысячи, как десятки, сотни тысяч других, она, не задумываясь, погасила бессмысленность первого утра в Москве болью, калечением, уничтожением. Это было в порядке вещей. Это было жизнью. Рядом с ней кричали, плакали, бредили другие, случайно сошедшиеся, порой не знающие даже имен своих любовников, хоть и презирающие предрасудки, но теплые древней кровью и бабскими слезами, честные жены, регулярно идущие на эту работу, как мужья их ходят на службу, жертвы проходных комнат, мужского безразличия и косности природы, отстающей от передовых идей нашего века. Тогда... Но тогда ведь был Артем, чужой, нелюбимый, отталкивающий ее каждым поворотом грубых рабочих рук. Тогда было нечто навязанное, не любовное письмо, а безразличный счет. Такому и дорога в корзинку. Не то теперь. Михаил, патетически защищая свои интересы, не подозревал, что все дело в нем, что только чувство физической спайки, продлеваемой любви, преданности заставляет эту женщину быть столь непримиримой.

Наконец он устал говорить. Все было испробовано. Как и час тому назад, перед ним встали широкие плечи брата, суровость голоса, тяжесть обычно ласковых глаз. Скандал неми-

нуем. При всей своей идейности Артем, наверное, в семейных делах весьма традиционен. Взять того же Михаила: да если бы Сонечка была его женой, разве он позволил бы!.. Он убил бы Артема. Не обращая больше внимания на Ольгу, Михаил всецело предался страху. Это напоминало памятные минуты, когда пришло приглашение из районной комиссии. Руки его юлили на коленях. Лицо выдавало ужас, попытку бежать, надежду, цепкость хватки, затихание и отдачу прошлой жизни, приступа последней судороги. Ольга видела это, и любовь ее требовала снисхождения, участия, уступки. Но наличие иного не допускало послабления, оно не допускало даже опасной ноты жалости, простой ласки, прикосновения к этому сырому от пота лбу.

Заметив, что Ольга надела шляпу и готовится уйти, Михаил как бы очнулся. Последние резервы жизнеспособности заставили его закричать:

— Он же убьет меня!..

Не слова — голос, подлинный звериный крик, заставляющий вздрогнуть даже привычного охотника, потряс Ольгу. Ее душу, ее тело делили теперь на две части, не гнушаясь кровью и мукой. Казалось, здесь должны присутствовать фартук мясника, клеенчатый фартук, испещренный коричневыми сгустками, и сальность ржавых подвесков. Оба требовали героизма и оба были одним: все той же любовью, этой недоброкачественной выдумкой досужего черта, этим элементарным сокращением мускулов, любовью, обнимающей игривые куплеты в «Лиссабоне» и метания Ольги. Что же ей делать? Как спасти обоих? Новым предательством, новой ложью, глупой, беспечной ложью, гибелью своей, да, хотя бы этим, только бы спасти. Так родился внешне спокойный ответ, с его смещением подлости и подвига:

— Хорошо. Я попытаюсь обмануть Артема. Так или иначе, тебя я не назову.

Выздоровление Михаила было чудодейственным, оно совершилось в одно мгновение. Ольга уходила:

— Прощай.

Но Михаил удержал ее. Он был признателен. Он поцеловал ее в лоб. Это явилось лишь началом. Увлекаемый спазмами жизнерадостности, охватившими его после пережитого только что ужаса, он не выпустил Ольгу. Он не послушался ее отталкиваний. Заканчивая наспех финальные объятия, он с усмешкой пришептывал:

— Чего там!.. Семь бед — один ответ...

Потом он подобрал помятую шляпку Ольги, расправил ее и вежливо подал. Выжидая, пока Ольга уйдет, он невольно задумался. Это вытекало из законченности положения, а также из вынужденной бездейственности. Пережитая глава требовала какого-то резюме. Мелькали отдельные строки: несовершенство покаяние в столовке, пудель «обломка», слезы на плече Ольги, записочка к Бландову, вопрос о датах, наконец — эта старая смятая шляпа. Тяжелая глава! Нелегко ее было перелистывать даже наспех, пропуская особенно темные места. Что это значит? Правда ли он так гадок? Но ведь он же любит Сонечку. Ради нее он и на смерть пойдет. Сонечка, однако, даже в его сознании не покрывала Ольги. Он испытывал не раскаяние, а недоумение. Он ведь любил себя, сильно любил, сильнее, чем Сонечку, и любовь к себе неизменно оправдывала все его поступки, если не оправдывала, то, давая снисхождение, сводила дело к обличению других, к обстоятельствам судьбы. А теперь он недоумевал: как эта история, начатая наивным восторгом перед светлостью, перед ученостью Ольги, освещенная редким даром слез умиления, привела к шантажу, к торгу, к последним, цинично вырванным ласкам? Как?.. Кого тут винить? Вопросы требовали времени. Его не было: рука Ольги уже лежала на дверной ручке. Тогда подоспел ответ, нечаянный, рожденный не сознанием, а, скорей всего, тошнотой, нытьем под ложечкой, спешный, короткий, энергичный. Подбежав к Ольге, Михаил быстро проговорил:

— Скажи, я ведь подлец, ужасный подлец, правда?

Не глядя на него, уже приоткрыв дверь, Ольга сказала:

— Нет. Только жалкий ты...

Жалкий? Михаил замер. Его как бы ударили. Нет, все, что угодно, только не это! Скажи Ольга, что он действительно подлец, пришлось бы согласиться. Шантажист? Хапун? Негодяй? Все это, вероятно, правильно. Но жалкий?.. Он, Михаил, жалкий, то есть паршивый, дрянь, достойная брезгливой жалости? Позвольте, это не так! Это ложь! Он жив. Он живет всех. Следовательно, он счастлив. Вы еще увидите его в Берлине, когда он будет кататься с немецкой примадонной и нюхать туберозы, когда он вернется, когда та, богиня, Сонечка, нежно попросит его: «Ну, поцелуй!» Сама она жалкая! Пигалица, к тому же раздавленная. Брюхатая мышь в мышеловке. Оскорбить его таким словом! Михаил выбежал на лестницу. Он крикнул вслед Ольге:

— Сама ты!..

Но голос его заблудился в пустом тумане площадок и переходов. Ольги уже не было. Несмотря на столь удачно ликвидированные неприятности, настроение Михаила было препротивнейшим. Он собирался идти к Сонечке, но не пошел. Он не знал, куда ему пойти. Оставаться в комнате, где все казалось пропитанным обидной жалостью, отвратительной снисходительностью, он не мог. Он вышел, и гниль оттепели, разложение зимы, которая одна поддерживает некоторую дисциплину в природе и в душах, дыры лужиц, больничная влажность испорченного воздуха немедленно слились с копошением, удушьем, жизнью посмертной, то есть паразитической, самого Михаила.

Быстро сгнил наш герой! Трудно теперь найти в нем частицы, еще не тронутые процессом. Родился ли он с червоточиной? Или просто, рано созрев, среди библейского зноя тех нелегких лет, свалился? Его ли судить? Якова Лыкова? Общество? Это дело судейское. Мы судить не умеем. Мы готовы с ним брезгливо отряхиваться, помахивать руками, как бы ища в подъездах бесчувственных домов некую сострадательную самаритянку, несмотря на промозглость и холод потеть, мы готовы даже мычать, глупо по-балаганному мычать. Ведь не всем и не всегда даются благодатные слезы.

Почувствовав наконец изнеможение, Михаил зашел в пивную, в маленькую воющую пивную Смоленского рынка, где потность шей, аромат воблы, кислая муть пива и все звуки: сморкание (пальцами), вечная агония шарманки, икота, брань говорили об устойчивости скуки. Здесь взыскующая душа Михаила очутилась в родственной ей атмосфере. Такие утреждения впитывают всех несчастливцев, душегубов или же пачкунов, людей жадных до чужой судьбы, слютяев, романтических «котов», пьяных метафизиков, трогательную сволочь, которой немало в нашей столице. Другая здесь Москва, не та, что ходит на митинги и к Мейерхольду, не та, что поглощает бефстроганов в «Лиссабоне», не та, что с портфелями трусит по улицам и значится в фельетонах иностранных корреспондентов, другая, более традиционная, переменявшая паспорта на трудовые книжки, жаждущая уже не «красненьких», а червонцев, но этим и ограничившая свои уступки новой жизни. Шарлатанство здесь доходит до чудотворчества, а в домостроевской грубости, среди тухлых сельдей и казанского мыла, любой мордобой принимает видимость сложнейшего психологического акта. Здесь, что ни хам, что ни плаксивая шлюха, — то Достоев-

ский в переплете, уникамы, герои, кипящие как сметки. Рас-
травленная, расчесанная душа подается и просто, и с закуской,
с гарниром, под пиво или под самогон. Вошел Михаил — что
же, одним больше, и только.

Спросил он экзотичное: бутылочку мадеры и пирожных. Очевидно, сладостью подсахаренного винца и жирною притор-
ностью крема он надеялся несколько себя ублажить. Он знал,
что с Ольгой поступил подло. Нехотение жить, подлинный
страх перед продолжением опостылевшего процесса, перед за-
сыпаниями и пробуждениями, известными жестами, словами,
даже перед комбинацией из бумаг, рукопожатий, свистков, чав-
кания вагонных колес, называемой «поездкой в Берлин», даже
перед Сонечкой охватывал его. Раскаяние, слабость, неврасте-
ния — можно определить это по-разному. Но бдительный медик
сидел в Михаиле. Живучесть неизменно выручала его. Вместо
того чтобы углублять подобные состояния, доведя их до розы-
сков проруби, до налаживания петли, он старался сам себя
утешить, если не разубедить, то хотя бы развлечь, — пивной,
мადерой, пирожными, разглядыванием журнала «Красный пе-
рец», посвистыванием в лад шарманки «полюбила ты, шельма,
меня!..». Все это им проделывалось столь добросовестно, что он
успел даже подумать: «Шельма — это не Ольга, это Сонечка,
она еще меня полюбит», — и этой своей мысли улыбнуться.
От сладкого захотелось пить. Он спросил пива и, выпив еди-
ным духом бутылку, почувствовал, кроме цекотания в носу,
некоторое смещение образов. Он хмелел. К нему подошел плю-
гавый субъект в бесцветном пальто, чрезвычайно напоминав-
шем дамский капот, и в лысой котиковой шапочке, виновато
улыбаясь улыбкой напроказившего ребенка или кокетливой
женщины, рассчитывающей на незаслуженный подарок.

— Разрешите присесть?

Михаил к непрошеному собутыльнику отнесся угрюмо.

— Садитесь. Стулья не мои. А разговаривать с вами я не
стану.

— Благодарствую. Я вот только посижу. Вы, может, ду-
маете, что я насчет пива или пирожных? Ни-ни. Посижу, и
только, никакого вам от этого вреда не будет.

Наступило молчание. Искоса Михаил оглядел соседа. Не-
бритая физиономия, глаза пивного цвета, бегающие, как два
клопа по стенке, землистый воротничок, — зауряднейший
облик. Такие продают на Смоленском нюхательный с мятой или

старые валики для фонографа. Ничего интересного. Молчание, однако, становилось грузным, выразительным. Трудно молчать, когда два человека, озлобленные, замученные тоской и зевотой, одинокие от злых игр ребячества до гроба, сталкиваются друг с другом вплотную, чуть ли не носами. (Собакам, тем легко — они обнюхивают.) Субъект попытался заговорить:

— Позвольте представиться: Иван Харитонович Галкин. Служил курьером в нарсуде Хамовнического района, но сокращен.

Михаил молчал. Через минуту Галкин возобновил наступление:

— Без патента, но продаю валенки. Продавал. С переменной сезона тоже, простите за оборот, сокращение. Скорей всего, околею. Говорят, что суть вопроса в «ножницах». Вот, как вы полагаете, гражданин, не имею честь знать имени-отчества?

Снова последовало злобное молчание Михаила. И снова Галкин, отдышавшись, начал:

— Удивительные курьезы бывают на свете... Вы, может быть, в газетах пишете, вид у вас такой пронизательный, вам небезынтересно ознакомиться. Хотя бы факт с Машей. Можно сказать, на моей же постели соединилась с Шумовым. А все из-за манто. Обязательно, говорит, каракулевое. Так и ушла. Удивительно? Надобно вам разъяснить, что Машенька — это моя супруга. Как вы такое понимаете?..

Мало было Михаилу своих курьезов — Ольга, Сонечка, вычистка, тошнота? На него наваливали еще какую-то пакость, пивные глазки с их трогательным морганием, беспатентные валенки, каракулевое манто. К черту! Так он и вслух пробормотал:

— К черту!

Ничего не могло смутить Галкина. Видно, к курьезам он в жизни привык, а общение являлось для него необходимостью.

— Черт? Нет, это, гражданин, суеверие. От попов. По-моему, вся сущность в гипнотизме и в электричестве. Если бы ток пустить! А то жить — сил нет. В нарсуд какая только сволочь не приходит. Один, знаете, ребенку на голову сел, череп проломил, а говорит «я по недоразумению»... Я скажу вам прямо — я людей ненавижу. Вот вы в газетах, наверно, читали — извозчика одного судили: двадцать девять душ прикончил. А я его понимаю. Прямо сочувствую. Я бы котлету из человечины съел бы. Честное слово! И не с голоду, а от возмущения..

Говорил все это Галкин тихо, скромненько, добродушно посмеиваясь, как будто читал «Красный перец», Заметив же,

что взбешенный Михаил отвернулся, он подхватил с тарелки пирожное и быстро засунул его в рот, но крем выполз, покрыл подбородок и воротничок жирной коричневой слизью. Галкин растерянно приговаривал:

— Вы меня простите, гражданин. Без намерения, исключительно пакость рук. При случае я возьму вам.

Но Михаил уже не слушал его. Он кричал:

— Что мне — двадцати копеек жалко? Противно, вот что! Сказали бы просто: хочу пирожное. Я бы дал. А может быть, и не дал. Не знаю. Но зачем вы ко мне с философией лезете? Какое мне дело до вас? Я сам повеситься могу. Кто меня понимает? Вот вы что-то насчет баб распространялись. Бабы просто дрянь. Им что нужно? Раз-два, под юбку — и только. А меня от этого тошнит. Пусть они с вами спят. Котлетку из человечины? К стенке вас следует! Я от голой мысли страдаю. Как бы это все взять в кулак, абсолютно все. И не бабу, а совершенство. Я вас сейчас ударить могу. Чем я лучше вас? Да ничем. Разве что деньги есть. А я ведь коммунистом был. Бей меня. Слышишь, сукин сын, жарь по глазам! Ну!.. Раскачивайся!..

Испуганно Галкин приговаривал:

— Смягчитесь, гражданин. Это я после Машеньки: смущение души и еще я сегодня не ел, это конечно..

Михаил, вырвавшись на улицу, залпом глотая гниль оттепели, шептал:

— Хоть бы скорей меня накрыли!.. Раз-два. Миша, Машенька, тю-тю! Весь вышел! Ничегошеньки от тебя не осталось.

Вопрос о рваче, о рвачестве

Они встретились на Пречистенском бульваре. Оба не ждали этой встречи и только от неожиданности, вконец растерявшись, вместо того чтобы броситься прочь, подали друг другу руки. Глаза же, столкнувшись, разошлись. Что могло последовать за этим вынужденным рукопожатием — быстрый уход, укоры, примирение? Михаил особенно волновался. Рука его судуру ввелась в рукав брата, что отнюдь не вытекало из желания

продлить встречу. Он попросту трусил. Прошло уже два месяца с последнего посещения Ольги. Значит, Артем что-то знает. Вдруг Ольга не сдержала обещания? Как полагаться на бабу? Пошумела, поплакала и выложила все. Наконец и Артем мог ей не поверить, подумать, привыкнуть, почувствовать Мишкин дух. Тогда здесь же, среди беззаботно гуляющей публики произойдет катастрофа. Стыд какой! Михаил уже готов был расплатиться жизнью, погнаться от побоев Темки, только не здесь, где-нибудь в стороне, в подворотне поглуше, потемнее.

Артем молчал. Ему тоже было не по себе. Жизнь, как будто на пари, занялась последнее время изводом этого терпеливейшего сердца. Простые явления распадались на множество частиц, требуя сложных, непредвиденных формул. Хорошо было переживать те из них, которые мучили всех, обсуждались на собраниях и, подобно эпидемии или погоде, превращались в универсальность воздуха. Бесплодность Рура, «ножницы», обнажение нэпа — он был статистом этих массовых трагедий, статистом исполнительным, рьяным, даже восторженным, но чей поворот плеча или наклон головы является не только выражением чувств, а и отдачей других однородных движений, статистом, знающим, что за ним зоркий, хоть воспаленный от бессонных ночей, глаз постановщика. Другое дело — маленькие, назойливые драмы из устарелого и, казалось бы, упраздненного репертуара, которые разыгрывались на Большой Якиманке и в сердце Артема. Откуда они взялись? Неужто он, новый, здоровый человек, подвержен им? Что за напасть? Стыдно было признаться товарищам. (Артем и не подозревал, что среди его товарищей вдоволь таких же, затравленных непонятностью страстей, цепкостью диковинных сочетаний и огромным человеческим злом, настагающим даже людей коллективистического образа мыслей — одиночеством.) Он искал ответа в журналах или в книгах и не находил его. Писали о новой этике, скромно поясняя, что это дело будущее. А пока как быть? С той же Ольгой? Тщетные вопросы! Он ни разу не подумал, что любит Ольгу, хоть и любил ее. Стыдливость, а также пристрастие к жесткости терминов, присущее поколению, мешали ему дойти до этого слова. Да и не в словах суть. Насморк или чума, — что меняют названия? Это неопределенное и неопределимое способно поразить современного человека, химика, члена РКП, как будто он первобытное существо, комок инстинктов в пещере. Он не хочет думать об этом. Он, прежде всего, не при-

надлежит себе. И все же он думал об этом. Он болел за Ольгу, за тусклость ее глаз, за унылость, за пронзительную немоту, которая была ему во сто крат горше зимних сцен. Что с нею? Ведь не в беременности дело. Она говорила, что рада этому. Но почему он не видит радости? Ей противен Артем? Но он ее не держит силой. Понять он так и не смог. Оставалось молча болеть. К этому прибавлялась тревога за брата. Родственные чувства тоже атавизм, но опять-таки Артем чувствовал бессилие перед собой. Как он ни убеждал себя: забудь о нем, это гнилая душонка, лебеда, которую нужно безжалостно выплотить,—мысли не могли разжигить всей плотности образа, печальных глазенок маленького Мишки, побитого сверстниками за кражу бабок, глазенок, отличных от тысячи других и почему-то особенно дорогих. Телесность, подсознательность чувств оскорбляли Артема: как папаша — брат, кум, свекор. Нечего сказать, занятие, достойное коммуниста! И все-таки он томился: что с ним? Помочь? Но как такому поможешь? Ему и руки подать нельзя — откусит. Вот Бландова хотел припутать... Отказ, потрясший Ольгу, звучал сухо, твердо, чуть ли не поканцелярски. Сколько муки он стоил Артему, она и не подозревала. Братья не встречались, но жадно прислушивался Артем к любому слуху о Михаиле, нападая на все то же, обескураживающее: «Кажется, спекулирует». Последние недели, впрочем, и слухов не было. Михаил сгинул, чтобы очутиться здесь, на бульваре, глупо сжимающим рукав Артема и прячущим свои глаза, блеклые от страха.

Хоть Михаил был хорошо, даже по-щегоольски, одет, сыт, за минуту до встречи весел и беспечен, вид его, эта растерянность, дрожь рук, отвислость нижней губы, сумасшедшее топотание на месте показались Артему приметам нужды или большого горя. Жалость пересилила остальное:

— Ты что же?.. Плохо живется?

Не знает! Михаил ожил. Он осмелился взглянуть на Артема. Увидав теплоту его глаз, ласково обволакиваемых ресницами, как лампа абажуром, он даже улыбнулся доброй приветливой улыбкой. Ведь это Тема, черт возьми! Как-никак брат. Не чужой. И доверчиво он ответил:

— Ужасно!

— А я слышал, будто ты спекулируешь. Значит, врал? Ольга говорила, что ты голодаешь. А костюм на тебе нэповский... Михаил вздохнул.

— Разве в costume дело? Я, Тема, от скуки погибаю. Делать мне нечего. Из партии меня выставили. А другого, как ни бьюсь, не могу выдумать. Хоть бы война была, что ли... Ты говоришь, «спекулирую». Ерунда! Та же служба. Купил — продал, вроде шурумбурумщика. Если бы всю Сибирь, например, продать, это дело стоящее. А разве я такой человек, чтобы с шелком возиться? Скучно стало в Москве. Да и на всем свете. Знаю, ты пойдешь свое долбить: «восстанавливаем», «хозяйственный фронт». Ну и долби! Вместо бала — мыть посуду на кухне. И зачем нам только семнадцатый год показали? Расстравили, а потом, милости просим, на работу. Что же, работаем. Кто честно, а кто не совсем. Ты — государству польза, а я Со-нечке (это у меня цыпка такая) чулочки. Какая разница? Только сил нет, так скучно... Кажется, зевни я — вся Москва полетит. Рукам моим тесно. Руки мои, Тема, рвутся...

Кажется, никогда в жизни Михаил не говорил так искренне, так просто, счастливо удерживаясь на должных высотах, спуски с которых нам хорошо известны, эти театральные самоуничтожения, или ложь, бахвальство, работа под не понятого толпой героя. В эту минуту он был свободен от всяких корыстных помыслов, обычно придававших даже его покаянию характер дипломатического акта. Он ничего не ждал от Артема: дело обошлось без скандала, и на том спасибо. Он и не думал заметить следов: брат достаточно знал все его интонации, мимику, язык тех же рвущихся к делу рук, чтобы не поверить объяснениям «вычистки» злостными интригами. Словом, Михаил мог себе позволить редкую роскошь правдивости, лишенной истерических вышлесков. И спокойствие, простота его слов подействовали на Артема больше, нежели все традиционные фокусы. Он вдруг почувствовал, что биография Михаила не случай, не срыв, не проделки мальчишки, которого можно выправить ремнем, отлучением, суровостью, но нечто органическое, вязкое, большое, что здесь остаются лишь слезы да та «стенка», к которой ведут осужденных. Привычный апломб нотаций, добродушная строгость старшего оставили его. В последовавшем ответе Артема унылое раздумье впервые перевесило прозелитизм, пафос обличения или уверенность напутствий.

— Руки, говоришь, у тебя рвутся? Такие руки рубить следует. Как все это вышло?.. Брат... В Киеве молодцом был... Недавно еще числился партийным. А теперь... «Скучаю»... Ты думаешь, я не понимаю, чем это пахнет? Прежде держали вас

в ежовых рукавицах, и все шло хорошо. Никто даже не знал, из какого ты теста сделан. А вот пришла эта самая проклятая передышка, замешкались на Западе, отпустили чуть вожжи, вот вы и разошлись. «Скучно!»... «Ах, изнываю! Дайте мне октябрьские баррикады!» А между прочим, руки у тебя работают. Денежки, оказывается, скуке не мешают. Руки-то твои рвутся не куда-нибудь, а к червонцам. Это ведь не случайно. Это — явление. Да ты знаешь, кто ты? Ты — рвач.

Артем был обрадован удачно найденным словом, обрадован тем, что под темноту его чувств, под бессмысленность и мелкость личной боли был подведен теперь твердый фундамент социального обобщения. Вопрос о неудачном брате принимал, таким образом, общественный характер, впадал в трудную проблему совмещения пролетарской диктатуры и нэпа. Слезы превращались в тезисы. Артем облегченно вздохнул. Но и Михайлу определение поправилось. В нем не было ни лжеромантического, рампового освещения, искажающего черты лица, ни грубоети, пыхания, животика и тупой отрыжки, как в «хапуне»...

— Верно! Рвач. Хоть раз ты себя умником показал. Именно рвач. Только знаешь, что я тебе скажу? Все мы — рвачи. Такое уж наше поколение, рваческое. В Октябре хотели звезды с неба сорвать, разное там «счастье человечества». А не вышло, пришлось и на червонцы согласиться. Главное, чтобы не сидеть на месте, чтобы рвать, налево, направо. Берегите карманы! А те, что в вузах потеют, они что же, не рвачи? Такие же. Я сам сколько книг истребал, на ученую карьеру метил. Те же червонцы. Только медленнее, значит, глупее. В комсомоле — не рвачи? Самые первоклассные. Схватит «Азбуку коммунизма», кое-как осилит — и уже кандидат в вожжи. Орет «Долой старую гвардию! Нам место!». И прав. Долой! Они хоть и спали на Марксе, вместо подушки, самые что ни на есть идеалисты. Интеллигенция гнилая! Поковыряй такого, там тебе и совесть, и честность, и прочее, а движения нет. Не спорю, конечно, герои, полжизни в тюрьмах просидели. Только не по времени. Памятник им надо поставить и в дома отдыха. А на смену нас, рвачей. Вот, говорят, писатели прежде прямо монахами жили. Сидит у себя, скрипит перышком, с голоду пухнет. А наша-то братва? Сочинил стишок и заливается: «Я пролетарский Александр Сергеевич. Мне, такому-сякому гению, пять командировок для вдохновенности!» Правильно — век у нас рваческий. Торговать? Что же, я за прилавок стану, преть

с аршином? Утром купил за сто, к вечеру за пятьсот продал. Я в «Лиссабоне» всех девочек перепробовал. Вот как! Герой нашего времени, что называется, Михаил Лыков, он же сознательный рвач!

Здесь уже философическое спокойствие оставило Михаила. Он был полон лирических восторгов. Он объяснялся в любви и себе и своему времени. Он был оправдан, понят, увековечен, превращаясь в главу истории, в камень монумента, в чистоту символа, и он торжествовал. Артема слова его возмутили кощунственным сочетанием комсомола и «Лиссабона», хитрой поmessью правильных замечаний и лживых обобщений, наглой хромотой, старческими и в то же время ребяческими ужимками, зачатками золотушной идеологии, впервые осознающей себя новой советской буржуазии, которую неизвестно даже, как рассматривать: преступные это элементы, нарушающие декреты, или враждебный класс?

— Врешь! Может быть, мы и рвачи, да не такие. Если мы учимся до сумасшествия, если работаем до чахотки, так не ради твоих червонцев. Мы этот американизм хваленый только как средство берем. У нас идеал есть, и как ты ни пыжись, ты этого не вычеркнешь. Тресты — трестами, а когда «Интернационал» поют, у меня все вон рвется. Я в тот же трест, как на баррикады, пойду. Я...

Но Михаил его больше не слушал. Рассеянно он пробормотал:

— Что же, «Интернационал» и я люблю. Песня хорошая...

Он был занят другим. Гордо изложив свое кредо, он вернулся к житейским размышлениям. Спорить с Темкой он считал унижительным. Что тот поймет? Тоска для него мелкобуржуазный пережиток. Не философствовать с баранами, стричь их следует. Так всплыл Бландов. Тема ведь ничего не знает об Ольге. Его можно растрогать, разжалобить, и тогда командировка окажется в кармане. Михаил заговорил. Он не спорил. Он внимательно выслушал длительные рассуждения Артема о необходимости сочетать деловитость с революционным пылом. Он даже поддакивал ему. Потом он осторожно перевел разговор на другие, более лирические темы — о Киеве, о папаше, о детстве. Он знал, как взять это с виду неприступное сердце. Умело прикидываясь младшим, слабейшим, он апеллировал к Теме, как к защите, как к матери. И по смущенной доброте глаз Артема, по улыбке, вызываемой напоминаниями о детских

проказах, по размяклости щек, становившихся в такие минуты чрезвычайно похожими на щеки папаши, Михаил видел, что не зря старается. Он заставил Артема забыть начало беседы, разность пород, нахальную иллюстрацию в виде ушка платочка, франтовато выглядывавшего из кармана Михаила, он заставил его дойти до дружеского похлопывания:

— Так-то, Мишка! Старое вспомнили...

Тогда он решил. Старательно осмотревшись, нет ли кого поблизости, он быстро вспомнил...

— Тема, устрой с Бландовым. Мне это абсолютно необходимо. Гарантирую полную безопасность. Дай записочку! Хочешь, я поделюсь... Двадцать процентов...

Артем приподнялся и, не успев даже подумать, что случилось, повинувшись только жару, охватившему голову, мстя за минуту доверия, за прилипчивость унижительной жалости, за каждое слово об общем детстве, за спайку крови, за близость туловищ на этой зеленой скамье, он грузно, расправленной широко ладонью, ударил щеку брата. Михаил жалко взвизгнул и бросился прочь. Через минуту, однако, он вернулся. Он не побоялся приблизиться к Артему. Страх, как, впрочем, и все остальные чувства, за исключением одной злобы, исчезли. Он готов был умереть, лишь бы сделать больно Артему, тупому, грубому Артему, способному брать только силой: широтой плеч, мощностью государственного аппарата, моралью, милицией. Что все мечтания, вся тоска, вся высокая порывистость Михаила рядом с этим кулаком? В Артеме он ненавидел здоровье, норму, добродетель, партию, государство, все человечество. Он вернулся, чтобы отомстить. Он был гнусен и смешон, прикрывая одной рукой красноту щеки, не то от стыда, не то от боли, а другой, ее указательным пальцем, как бы просверливая Артема. Он не кинулся на сторбленный, тяжело дышащий от гнева и обиды, массив. Он нашел иное, более действенное средство. Обратив в лживое хихиканье готовые выскочить из горла спазмы плача, он прокричал:

— А ты знаешь, я недавно твою Ольгу... Брюхо это я наработал!..

Сказав, он не убежал. Он стоял рядом, ожидая финала — решительного движения руки, которое завершит скуку, боль, злобу, столько-то лет, хоть и живописной, но не стоящей сожаления жизни. Если бы Артем кинулся на него, он бы не защищался. Бросив эти слова, он знал, на что идет. Он и не пытался

бы руками дополнить действие языка. Ужалив, он охотно отдавал свою жизнь. Он только думал это, как ему казалось, последнее наслаждение все тем же визгливым, отвратительным хихиканьем.

Но Артем не бросился на него, не ударил. Нет, молча глядя на ровную серость песка, он повернулся и пошел прочь. Гнев, спав, родил слабость, апатию, раздраженность сердечных ударов и мыслей. Появились тошнота, гадливость. Что это?.. Откуда?.. Как мог он, Артем, залезть в такую мразь? Он жил, работал, боролся. Кажется, он не делал никому ничего дурного. А его исподтишка покрыли зарослью пошлости и подлости, интрижек, обманов, подвохов. Ольга... Разве он насильно взял ее? Разве он мешал ей уйти к другому, хотя бы к этому?.. Почему же она лгала? Так вот что значили ее просьбы за Михаила! В сознании Артема голое плечо умывающейся Ольги сливалось теперь с графическим начертанием «20%». Он ежился от обиды и горя, как бы вбирая частицы тела в скорлупу одежды, дальше от света и от людей. Он шел, не останавливаясь, шел по набережной, не понимая маршрута, одинокий, пуще всего боясь остановки, подгоняемый словами, ассоциациями, сумбурностью мыслей. Что будет с ребенком? От такого!.. Следовало бы устранить. И все-таки жалко. Почему она солгала? Ей, наверное, страшно с Мишкой. С ним ведь всякому страшно. Как он хихикал! Страшно и одной. С Артемом легче, уютнее. Бедная женщина! Слабость. Привычка жить только сердцем. Неумение мыслить. Одиночество, самое горькое, стеклянное, без товарищей, без партии, без теплоты и бодрости, которая дается «целью жизни». Ее дни — вот как это бегание по набережной. Куда?.. Зачем?..

Так чувства Артема стали складываться, оформляться. Он, сам сейчас одинокий и униженный, сумел ответить на обиду жалостью. Это происходило от полной бескорыстности, от той прекрасной неуклюжести, которая, редко давая сердцу исход, в виде неожиданной, до слез, ласки, показывает, какая нежность, какая истинно человеческая любовь живет в будничных, якобы холодных, в так называемых «обыкновенных» людях, в этих каменщиках или шахтерах нашей жизни. Да, именно здесь, вдали от будничной одури, от поэтических натур, букетов, значительных недомолвок, намеков на самоубийство и откровений о «религиозной природе страсти», в серости, в скудности, в неприятельности коротких, после рабочего дня, ве-

черов, следует искать всепрощающих мужей и жертвенных отцов. Жалость и нежность к Ольге несколько успокоили Артема. Они позволили ему вспомнить наконец, кто он, отодвинуть все события этого нелегкого дня назад, на скромное, положенное им место, позволили прошептать любимое «проще», позволили даже купить у газетчика «Вечернюю Москву». Решение созрело: если Ольге лучше рядом с ним, с Артемом, что же, пусть остается. Он ей ничего не скажет. Кто знает, чего было больше в этом решении — заботливости об Ольге, снисходительности к ней или самосохранения, нежелания забираться дальше в темные страны, где, что ни шаг, то страсти, ложь, предательство? Он ничего не скажет. Он будет работать. Он будет жить. Остальное? Остальное приложится. Главное, проще! Он уже подходил к дому, и свет окошка, еще бледный, болезненный, среди общей белесоватости сумерек, никак не взволновал его. Глаза спокойно встретились с голубыми глазами Ольги, в то время как руки разворачивали «Вечернюю Москву». В Болгарии снова назревают серьезные события...

Не так легко было успокоиться нашему герою. Давно уже щека его приняла обычную окраску. Но успокоения не было. Если брать обычную человеческую меру, следует предположить, что Михаил переживал триумф или раскаяние, что мысли его гнались вслед за угрюмым узлом сгорбленных плеч Артема, продлевая оскорбление, наслаждаясь пришибленностью этой походки, всей явной разбитостью брата или же, юля в ногах, изнывая от стыда и вымаливая немыслимое прощение. Но мы должны констатировать, что мысли нашего героя были весьма далеки от указанного направления. Не об Артеме он думал, исключительно о себе. Несмотря на всю нелепость этого, он чувствовал себя не обидчиком, а обиженным, и он жалел себя, страстно, до задыхания, до слепоты, натываясь на прохожих, то и дело роняя на скамьи груз своего тела. Не за пощечину. Это доказал Артем — превосходство мускулов, и только. Шурка Жаров еще сильней, тот может раздавить и Артема. Конечно, спорт хорошая штука. Но ум, но талант Михаила поважнее. Позор? Это предрассудки. Горение щеки и нудный зуд злобы длятся недолго. Мало ли оскорблений пережил он в жизни? Взять ту же знаменитую «душу» — кто только не следовал примеру Минны Карловны (наверное, уже давно перешедшей, вслед за Барсом, в мир потусторонний)? Патлатые фребелочки, гражданин Кроль, певицы из «Лиссабона», все. А ночная

рубашка Лукина? А это слово «жалкий» (пострашнее Темкиной лапы), кинутое на прощанье взбунтовавшейся овечкой? Что же, высокие мысли, сопровождаемые перебоями, тоской, известными телодвижениями, дабы сохранить, скользя, равновесие, скажем определеннее, сопровождаемые подлостью (ведь сам он недавно так определил себя), всегда наталкиваются на осуждение, на трудные барьеры, в виде горделивых усмешек или даже оплеух. Нет, не за это жалел себя Михаил. Тем более что с Темкой он расквитался. Много легче запомнить неприятную скамью бульвара (вот уже не только щека, но и сердце о ней забыло), чем жить, сознавая, что жена, то есть твоя, собственная, тобой облюбленная, тобой и подобранная на панели баба, врет, спит с другим и еще готовится поднести тебе подарочек сомнительного происхождения. Пока Михаил разгуливает по бульварам, на Якиманке, наверное, происходят достаточно курьезные сцены: Артем кричит, лупит Ольгу, грозит, плачет, молит: «Скажи, чей?» Михаил может успокоиться: двойной счет и за выходку на бульваре, и за нахальное резюме Ольги оплачен сполна. Но Михаил далеко не был спокоен. Он жалел себя, жалел за то, что ему вот ничуть, ни-ни, ни на копейку не жалко Артема. «Выдумщик», проворчат читатели, одаряя этим малолестным эпитетом не то нашего героя, не то нас самих. Может быть, они и правы. Искалеченная жалость. Точнее, не жалость, ужас перед безлюбовью комедиантских глаз, случайно выступивших из уличного зеркала, непонимание своей природы, этого огромного одиночества, идеальной пустоты. «Что со мной сделали? — растерянно думал он. — Ведь я любил Тему, любил вправду, по-хорошему, только его и любил. Куда это делось? Кто меня обокрал?» Думая, он шел по бульвару, с его весенним кишением франтиков, воробьев, проституток, папиросников, красноармейцев, мушек, первых беспорядочных огоньков, с жизнью толпы неорганизованной, лишенной делового хребта и поэтому мяклой, душной, готовой облапить, засосать. Ни одной высокой страсти, ни одного подвига окрест! Сластолюбивый зуд воображения, теплота соседних асфальтов, фосфор и до колена задираемые юбочки, ленивый вымысел шатающегося беллетриста, халтура, подряды, контракты, ерзанье, юление; благословляемая на все, согреваемая и прощаемая весной великая человеческая мелюзга. Михаил, ты можешь протянуть руку каждому. Ты можешь зайти в пивную. Можешь взять барышню. За тебя другие напишут соот-

ветствующие стихи. Мы напишем о тебе роман. Ну, а договор ты сам сумеешь составить. И вот здесь, среди потного кружения Тверского бульвара, среди мления расчлененных особей, представляющих скорее зады, бумажники, раздражение мозговых центров, нагрузку портфелей, ноли цифр, желудочные газы, запах духов «Орхидея», «Жиркости», нежели людей, среди этого хорошо смонтированного парадиза, Михаил вдруг увидел заплеванность комнатки, русую бороду «представителя астраханской армии», сгущенность пульсирования, ясность чувствований, строгость, плотность подходящей смерти. Как он любил тогда Тему! Каким простым, плевым делом являлось умереть за него! Тот ли Михаил Лыков был в номерах «Скутари»?.. Подмена? Годы? Или пришедшая, только иначе, ползком, с хитрецей, слизистая, гадкая, пресмыкающаяся смерть?

Так жалость к себе, обокраденному временем, не любящему брата, не любящему никого, важная жалость, кажется, единственное живое, среди Бландовых, червонцев и губ Сонечки, давила виски, валила с ног этого человека, фланера, гуляющего по бульвару, рядом с другими фланерами, тоже нарядными, развязными, но, по всей вероятности, тоже не живыми. Разве даются даром такие годы? И не уместнее ли здесь сулема, чем перо романиста?

Заграничное образование. Язык себежских ворот

Фортуна улыбнулась. В кожаную книжечку с меняющимися листиками, только что приобретенную не без волнений (поми-луйте, записная книжечка и та конструктивная), вносил Михаил названия магазинов по специальностям и особо примечательных злачных мест. Нам, конечно, памяти те времена, когда он мечтал о подпольной работе за границей: ячейки, шпики, тюрьмы, смерть. Что же, в старом, вонючем остроге Моабита сидели десятка два коммунистов. Газеты сообщали о стачках и близком правительственном кризисе. Михаил, однако, был занят другим: значит, костюм у Адама, а сигары у Бэнеке? Великолепно! Обозрение в «Альгамбре»... Нужно только разумно распределить время, чтобы в две недели выполнить все прямые

и косвенные обязанности, все закупки, от радиоаппаратов до чулок Сонечке по длинному списку, различных тонов: «табачные», «голова негра», «кротовые», «серые змеиные» и прочие. Сонечка за все отблагодарит. Жизнь же, если не углубляться, прекрасна. Обошлось без Бландова. Петряков — чудеснейший человек, сам все устроил. Если бы Михаил не был так стар, если б он мог еще любить, пожалуй, он полюбил бы этого старикашку. Впрочем, описка: Михаил способен любить, он ведь любит Сонечку. Двенадцать пар чулок всех тонов... Пока же следует испробовать заграничный товар, актерку поинтересней: как это выглядит при высокой культуре?.. Книжечка и та особенная, чего же можно ждать от женщины? Всего!

Остановились они все трое в гостинице «Дэнишер хоф», в дешевой, замызанной гостинице, где комнаты сдавались почасно. Никто другому не мешал. Каждый был занят своими делами. Профессор ходил к каким-то высокопочитаемым и высохшим от хронического недоедания коллегам, слушал доклады в научных обществах и закупал книги. В первой же книжной лавке, еще не успев близорукими глазами обежать цветник обложек, он почувствовал сильное сердцебиение. Он даже смутил молодого приказчика, попросив стул и стакан воды. Может быть, он ошибался? Может быть, здесь, где столько желтых, серых и синих книжек, еще живо прошлое, жив чудесный девятнадцатый век, с его важностью седых волос, сосредоточенностью аудиторий, тишиной лабораторий, с его гуманными идеями и честными правами? Может быть, и не нужно никакого несогромаемого шкафа? Но вскоре Петряков увидел другое, знакомое ему. Недалеко от гостиницы громили булочную. Крики газетчиков, треск разворачиваемых биржевых листков, хруст пальцев, ажитация локтей, истеричность улицы твердили о новых навыках. А коллеги, эти худые и желтолицые старики, скромно волочившие, среди штинесовских акций, фокстротов и забастовок, свои зачесанные плечи, древние стоячие воротнички с углами и веймарские идеи, в перерывах между двумя докладами жаловались Петрякову на скудность окладов, на дороговизну угля, на беспринципность и наглость молодежи, на одиночество. Это были слова Петрякова, только добросовестно переведенные на другой язык. И сердце больше не торопилось биться. Географическое расширение далеко не веселых наблюдений придавало отчаянию солидность. Он еще с жаром говорил о направлении электрических волн, но, оставаясь ночью один в комнате «Дэ-

нишер хоф», невольно прислушиваясь к блудливому копошению за стенками смеявшихся парочек, он громко жалостливо звал и поджидал последнюю свою надежду — смерть, которая, стирая века, идеи, души, восстанавливает великолепное равновесие безразличных ко всему молекул.

Несколько иначе провонял дни и ночи Ивалов, тот, что должен был «выпрямлять политическую линию» старого профессора. «Выпрямление» это выразилось лишь в дружеском совете, поданном еще при переезде границы:

— Вы, профессор, там того, держите ухо востро. Главное, с эмигрантами ни-ни... А то, знаете, сфотографируют вас с каким-нибудь Даном, потом хлопот не оберешься...

Петряков только спросил:

— А кто это Дан? Ученый?

И, улыбаясь наивностью, Ивалов махнул рукой: ну что с такого взыщешь? В Берлине вместо «выпрямления» он занялся другим. В первый же вечер Михаил позвал его в кафе «Альказар» с джазом и танцами. Ивалов, вздохнув, согласился. («Нужно посмотреть, до чего дошла вырождающаяся Европа».) Сначала он сохранял саркастическую улыбку и даже высказался по поводу официанта, недовольного чаевыми соседей: «Какая эксплуатация труда!» Танцы оскорбили его нравственное начало: «Пакошь! буржуазное свинство, и только!» Но, выпив (не без смакования) два бокала поддельного шампанского и осмолвевшись, он стал выказывать явную взволнованность. Рядом с ним заседала проститутка, уже немолодая, следовательно, на глаз знатока (подобно старому вину), ценная, а для профана скорее уродливая, оперировавшая кармином губ и колыханием очень жирных плеч, густо припудренных. Вот эти губы, эти плечи и прикончили Ивалова. Он только конфузливо спросил Михаила:

— Как вы думаете, если к такой подсесть, ничего не будет?

Михаил презрительно поморщился:

— Вопрос валюты и предохранительных средств.

Тогда Ивалов, помявшись и разъярив Михаилу, что это, мол, только так, не для чего-нибудь, а исключительно с целью информации, переселился к столику сорокалетней Эммочки или Эрночки. Труден лишь дебют. Больше Ивалов не советовался с Михаилом. Редко он навещал свою комнату в «Дэнишер хоф», днем скупая на падающие марки все: самопишущие перья, дамские кофточки, галстуки, портсигары, ботинки, пре-

зервативы, термосы, а ночью продолжая наблюдения над живописной гибелью буржуазной цивилизации. К попутчикам он явился часа за два до отъезда без виз, но зато с солидными приобретениями в виде двух сундуков, некоторого количества немецких зазорных словечек и гонорей. Так кончилось «выпрямление линии». Честно повествуя о трудах Ивалова, мы отнюдь не хотим расширять его до «типа» командированного. Мы встречали за границей немало граждан, своим поведением, более нежели патетическими суждениями, доказывавших, что демократизм Советской России не ограничивается серпом и молотом на паспорте, инженеров, ездивших в третьем классе и наспех закусывавших в плохоньких кухмистерских. Но, увы, человеческий глаз, опуская скромность и честность, обязательно останавливается на развязной физиономии такого Ивалова, который ругает Европу сперва за работой, то есть в «Альказаре», а потом, отдыхая от трудов, на столбцах «Красной газеты».

Михаил не отставал от Ивалова, но «информацией» не прикрывался, напрямик заявляя смущенному Петрякову (за которым больше не стоило ухаживать): «Я, видите ли, к девочкам». Ивалова он презирал за трусливость, за неожиданный стакан чая, который в «Альказаре» перебивал две бутылочки «сэкта», за идейность бородки, казавшейся на фоне плеч той же Эрны или Эммы чем-то национально умилительным вроде левитановских березок. Ему не приходилось и философствовать о Европе. «Вычищенный», он, как разведенная жена, мало заботился о репутации. Девочки — так девочки.

Смущенности он не испытывал никакой. Повези его, кажется, в Сенегал, он и там бы чувствовал себя на месте. Годы революции и гражданской войны лепили и таких людей: раз-два. Где уж тут было думать о некоторых мелких деталях? Уверенность жестов, слов, мыслей. Незнание языка мало его останавливало: он умел говорить руками, даже кричать, смягчая жесткость подобных объяснений зеленым пластырем долларов. При малейшем сопротивлении он начинал скандалить: «У нас в России!..» Он дошел до того, что обругал кельнера, ошибившегося в марке ликера, «идиотом» — «Разве у нас, в России, так подают?» Тень Якова Лыкова, вопреки традициям чувствительных романов, не предстала перед ним. Это, разумеется, не мешало ему с жадностью кидаться именно на то, чего он был лишен в России: на дешевку товаров, на коньяк, на шик кокоток, на груди женских бедер и задов, различно группируемых, то как политиче-

ское «обозрение», то в виде «танцев Востока». Он посещал ночные притоны, где, среди семейных фотографий и ракушек с цветными видами Баден-Бадена, таксоногие немочки, пахнувшие кислой капустой и потом, в панталончиках или без таковых, нудно исполняли «танец живота». Он посещал и светские «дансинги». Там он впервые понял сомнительность, второсортность Сонечки. Сколько богинь! И все они с такой несравненной грацией фокстротировали, что даже нетанцевавший Михаил и тот чувствовал (духовно) сладкое прикосновение к своим коленям дамских, теплых и эфирных. Да, это не Артемида с Малой Никитской! Открытие сильно огорчило нашего героя. Впрочем, он утешился мыслью, что в Москве и Сонечка товар. Кроме того, он же ее любит. Сонечка, милая Сонечка!.. Повторяя про себя лакомое имя, он, однако, времени не терял. Ведь в конструктивной книжечке значилось: «С актеркой». Он нашел требуемое: некую даму. Продлив наблюдения, даже наведя у швейцара соответствующие справки, он убедился — именно то, что нужно: не привычное ей занятие, но исключение ради рыжести чуба и зелени долларов. Последовавшее, увы, разочаровало его. Отличие от Москвы выражалось лишь в румянах, платье, прическе, белье. Под руками и губами Михаила это различие постепенно деградировало, сходило на нет. В итоге он получил обыкновеннейшую особу, только с усложнением многого, вследствие непонимания ею хорошего русского языка. Особа выклянчивала набавки, и это выводило Михаила из себя. Под утро он хоть набавил (боясь швейцара гостиницы), но зато избил, крепко, по-русски, с сердцем. Вещь оказалась недоброкачественной. Никаких высококультурных сантиментов, даже никаких трюков. За что же доллары?.. Померкший было образ Сонечки, реставрированный, сиял двойным светом.

Не следует думать, что этим ограничивались занятия Михаила. Нет, он находил время и для работы. Выбирал аппараты Петряков, но финансовые дела лежали на Михаиле. Он провел их блестяще. Осмотревшись и смекнув, он заменил первоначальный план, выработанный еще с Сонечкой и состоявший в подмене счетов, то есть в опаснейшем подлоге, другим, значительно более хитроумным и чистым. Биржевая горячка, хвосты у лавок менял, денежная дизентерия, наводившая на профессора уныние, для нашего героя явилась стимулом вдохновения, яблоком Ньютона. За аппараты расплачиваться нужно было марками, проделавшими в течение двух недель дистанцию, на которую

даже Михаил положил два года своего нисхождения от героизма до подобных операций. Доллар с восьмисот марок вскочил до семнадцати тысяч. Расплачивался Михаил накануне отъезда. И разве можно назвать грубым словом «подлог» воздушнейшую недомолвку, пустое место в правом углу счета, где должна была значиться дата? Обошлось недорого: бухгалтеру, помощнику, еще кой-кому. Михаил роздал десяток-другой долларов, вложенных, для ограждения глупой щепетильности этих недорослей, в сигарные коробки (сигары не в счет — Михаил выбрал самые дешевые). Проставить нужные числа было младенческим делом. Тысяча восемьсот долларов, не считая суточных, явились гонораром за находчивость нашего, подававшего надежды, финансиста. К чулочкам Сонечки присоединилось многое иное: туфельки, сумочки, шелковые пижамы, туалетная вода и прочее, еще более интимное.

Научился ли чему-нибудь Михаил на Западе? Познал ли он другие восторги, кроме горячки универсальных магазинов или шикарных танцулек? Как будто, просмотрев его дни, следует на этот вопрос ответить отрицательно. Он видел не больше, чем провинциал, приехавший покутить и перемещающийся непосредственно из гостиницы в ресторан, а из ресторана в публичный дом. Научные открытия или рабочее движение его столь же мало интересовали, как такого туриста музеи. Он считал, что этого и в России достаточно. Однако заграница не прошла для него даром. Живя больше носом, нежели разумом, Михаил пополнял скудность впечатлений их остротой. Он многое понял. Увиденное наполнило его еще большей уверенностью в себе, как будто эти кафе, магазины, даже механические блокноты, не говоря уж об эlegantных субъектах из бухгалтерии или о несправедливо побитой актрисе, подтверждали право его, Михаила, на существование, на процветание, на торжество. Интернационализм, еще недавно бывший лишь передовой идеей, достоянием немногих благородных мечтателей, стал в наши дни общедоступным. Если бы Артем приехал в Берлин, он пошел бы на протертые улицы Нордена, где среди перелицованных пиджаков и дешевого маргарина юные читатели «Роте Фане» бредят мировой бурей. Он нашел бы там тех же героев, в тюрьме изучающих грядущее столкновение нефтяных трестов, а на воле сколачивающих крохотные ячейки, тех же храбрых и простодушных Артемов, ту же непримиримость и хрипоту споров. Он легко бы сговорился с этими чужестранцами, не зная общего

языка, кроме мотива «Интернационала», имен Ленина или Либкнехта и грузного биения рабочего сердца. И как бы ни были численно щедедушны эти ячейки, эти полутайные сборища, эти листовки — они вызвали бы в Артеме удовлетворенную улыбку: «И здесь! Наше дело клеится. Наша сторона возьмет». Но в Берлин приехал не Артем — Михаил. Он увидел то, что ему нужно было увидеть. Жизнь — достаточно содержательная книга, даже наспех ее перелистывая, нетрудно набрать сотню-другую цитат на любой вкус. С отчаянием произносимые во время бессонницы слова профессора: «И здесь!» — в устах Михаила являлись самоутверждением. Там, у себя дома, он был только пионером, преследуемым новатором, первой ласточкой проблематичной весны. А здесь вся жизнь делалась такими и для таких. Как затравленный сыщиками немецкий коммунист, приезжая в Москву, не может без волнения глядеть на красные флаги, украшающие правительственные здания, так Михаил упивался безнаказанностью спекуляции, торжеством делячества, солидностью и независимостью своих берлинских единоверцев. Это не были древние наследственные буржуа, с их предрассудками, мещанским этикетом, чванством, ограниченностью фантазии, телесным и душевным геморроем, буржуа-либералы, лечащие минеральной водой желудки и печень, обожающие сентиментальное искусство и семейный уют, буржуа, обреченные историей и способные вызвать в Михаиле лишь улыбку снисхождения: падаль! Проходя по улице, он как бы приветствовал четкостью тела, взлетами хватких рук новую породу, детей войны, бунтов, голода, нищеты, минутных богатств, инфляций, виз, ненависти, хамства, своих братьев рвачей. Что же, он был прав, как прав был и наивный профессор, как прав был и бодрый Артем: в сложном клубке, именуемом «современностью», каждый из них мог найти подходящую нить. Рвач нашел европейское рвачество. В политике очень левые или очень правые, но равно уважающие только силу, то есть оружие и войну, в жизни преданные спорту и фокстроту, ловкие в делах, презирующие все предрассудки и искусство, любящие здоровье, воспринимающие влюбленность, как хороший аппетит, американизированные пуще самих американцев, эти романтические спекулянты и конструктивные Ромео незаметно заменили своих старших братьев, частью оставшихся у Вердена или в Галиции, частью преждевременно устаревших и беспощадно кудахчущих о свободе слова или о честной торговле. Их зовут на разных

языках по-разному, но, работая над историей жизни Михаила Лыкова, мы надеемся сделать книгу, наравне с другими — немецкими, французскими, английскими романами показывающую одну из разновидностей этой, еще литературой не оформленной, породы. Много раз описаны события и вещи, война и революция, самолеты и радиостанции, век переворотов и век машины. Не время ли заняться обитателями, теми, что совершают эти перевороты и пользуются этими машинами?

Итак, образование Михаила было завершено, достопримечательности осмотрены, покупки сделаны. Мы можем вместе с ним сесть в поезд, чтобы через рытвины латвийских и литовских границ проехать в Москву к Сонечке, поджидающей если не чуб, то чулки. Но перед этим следует рассказать об одной встрече нашего героя с соотечественниками, находящимися в бегах, которая покажет его с некоторой, еще мало обследованной нами стороны.

Как-то в кафе на Курфюрстендаме к Михаилу подсел весьма подержанный человек с глазами и наглыми, и горестными, тоже рвач, только неудачливый, торговавший чем угодно — сначала в розницу Россией (преподнося польской разведке различные пикантные фактики), потом «романовками», вывезенными из Крыма, соболями, аннулированными закладными, чаем, даже кустарными солонками, но всем равно неудачно. Он ненавидел большевиков исключительно за ценность их недоступных ему товаров, он худел и злился, вел переговоры со сменовеховцами и одновременно налаживал бюро экономического шпионажа. Михаил щегольнул перед ним своим обликом, описанием поезда в спальном вагоне, червонцами, щегольнул также некоторыми довольно циничными афоризмами, вызвавшими в сердце организатора «бюро» надежду: авось этот клюнет. Свидание было назначено на следующий вечер в отдельном кабинете, точнее, в стойле ресторана, куда немцы ходят, чтобы улащать тушеную говядину поцелуями. Кроме Ржевского (таков был один из далеко не литературных псевдонимов нового приятеля Михаила), присутствовали Голубев, бывший директор «Промышленного банка», и редактор белой газеты Шнельдрек. Пришедших доводил до слюнок, конечно, не посредственный рейнвейн и не рагу из зайца, но рыжий прохвост, по словам Ржевского, способный и на откровенность и на откровения. За Михаилом ухаживали нарасхват, как за примадонной. Он же, проявляя редкую неблагодарность, лакал вино, улыбался и рас-

хваливал Москву. Вот дом на Тверском бульваре отстроили. Здорово! Через год такая горячка пойдет, только держись. Метрополитен будет, и почище берлинского. Он даже не понимал, как ранят его слова три отзывчивых сердца. Голубев не знал, радоваться ему или нет? Дом выстроили. Биржа функционирует. Люди делают дела. Как будто следует радоваться: вместо принудительных работ и бесплатных билетов (последнее казалось Голубеву глубоко антиморальным), некоторые зачатки культурной жизни. Да, конечно. Но не для него. Для этого рыжего, для других, молодых, бойких, не польстившихся на заграничный уют. (Кстати, хорош уют: Голубев должен жить с семьей в двух комнатках мелкоразрядного пансиона и ездить в автобусе.) И Голубев ненавидел нэп. Он патетически рычал:

— Я понимаю рабочую оппозицию. Безумцы, но честные люди. Я им готов даже руку пожать. А нэп — это ведь черт знает что!..

Шнельдрек просто злился: какой дом? Вранье! Подкупили! А если выстроили, то гнилой. Или вниз крышей. Разве они могут строить! Голод. Нет голода? Басни! Золото Коминтерна. Вывозят последний каравай. Честные люди здесь, в Берлине. Или в Болгарии. А там — негодяи. Балерины и те приезжают подкупленные, для агитации. Ржевский снова напутал. Не подходит. И Шнельдрек собирался уже уходить. Он спешил: нужно написать еще одно «письмо из Москвы». Конечно, не о доме на Тверском бульваре. О голоде. Это вернее всего: испытанная масть. Но Ржевский его удерживал. Ржевский был спокойней всех. Во-первых, его политика интересовала «постольку-поскольку». Дадут в «Накануне» сто долларов, он будет разблачать эмиграцию. Проблема исключительно цифровая. Дом построили? Неплохо. Может быть, и Ржевскому еще удастся пожить в этом домике. Червонцы стоят крепко — пять зеленых за штуку. Во-вторых, он помнил беседу в кафе. Рыжий субъект, может быть, коммунист, даже чекист, а может быть, нэпман. Во всяком случае, он любит деньги. А с человеком, который любит не абстрактные разговоры, но зелененькие или белевские ассигнации, всегда можно столковаться. Здесь не «пролетарии всех стран», а «деньги на бочку и не валяй арапа». Так Ржевский и поступил, конечно, обходительно, деликатно, сообразуясь с тонкостью места, даже с «букетом» рейнвейна. Он перевел спор с советских порядков на близость общего признания «де-юре» и конференции по погашению взаимных обязательств. Голубев

тесно связан с одной бельгийской компанией, работавшей в Донецком бассейне. Интересно получить бы некоторые сведения. А награда изрядная: три тысячи фунтов. Ради пустяков Ржевский никогда бы не побеспокоил такого занятого человека, как Михаил. Здесь все люди свои. Голубев непосредственно заинтересован. Ржевский рад услужить друзьям. Что касается Шнельдрекса, тот — литератор. Идеалистические побуждения. Но и он не чужд делам. Словом, работа на угле не останется. Если, например, разнюхать о нефти, можно еще больше сорвать. Идет?

Ржевский приветливо светился. Голубев от волнения выпил залпом бутылку рейнвейна (платит не он — Шнельдрекс). Даже редактор теперь сменил политический сарказм на благодушие, выражавшееся в катании шариков из мякиша, в приятной отрывке после рагу и в улыбках, обнажавших гнилые клыки шакала. А Михаил...

Конечно, Михаил должен был согласиться. Что ему терять? Под вонючими овчинами и под легчайшим шелком давно погребена его совесть. А сумма изрядная, с тенденцией к повышению. Да и дело пустяковое. Собрать сведения — почти прогулка в лес за ягодами. Переправить пакетик? Но ведь Ржевский шептал нечто весьма успокоительное о симпатичном диктаторе одного из лимитрофных государств. То ли переправляют. Наконец, приятный дух авантюризма должен был пробудить в нашем герое знакомые страсти. В фильме, именуемом его биографией, предлагали добавить завлекательный эпизод с гениальностью трюков, с прятанием, с условными телеграммами, с шифром записочек и с сургучными печатями дипломатической вализы. Конечно же, он должен был восторженно чокнуться со своей новой музой, с Ржевским, таившим под жидкими волосами, изобилующими грязью и перхотью, подлинное вдохновение.

Однако вместо этого он поднялся и, скорей задумчиво, нежели страстно, ударил Ржевского по лицу. Вероятно, и Шнельдрексу, сидевшему рядом с Михаилом, пришлось бы плохо, но находчивый редактор, достаточно наспециализировавшийся по части бегов, опрокинув бутылку и отдавив неудачнику Ржевскому мозоли, метнулся к выходу. За ним последовал Голубев. Михаил стоял спокойный, даже необычно для него грузный, угрюмо поглядывая сквозь отдернутую беглецами занавеску на вооруженную бутылками стойку, и дальше на ацетиленовую

ночь. Он походил в эту минуту не на скандалиста в средней руки кабаке, но на судью, глухо и важно прочитавшего: «По совокупности присуждается»... Темные чувства бродили в нем, не доходя еще до сознания. Смесь пафоса и презрения делали его глаза фарфоровыми, глазами библейского пророка, подкинутого в берлинский паноптикум. Оглядевшись наконец, он увидел Ржевского. Побитый импресарио столь печально кончившегося ужина не уходил. Нужно думать, затрещина была не из сильных: ведь руки Михаила умели лучше рвать или душить, чем наказывать. Да и Ржевский был приучен к подобным казусам. Кто только не заносил на эти оливковые небритые щеки, как в жалобную книгу, негодующих чувств? Помогая Михаилу влезть в рукава пальто, незлопамятный Ржевский нежно прищипывал:

— В таком случае, может быть, вы устроите меня во Внешторге? Я ведь с «накануновцами» уже снохался...

Вторичного удара не последовало, ответа также. Брезгливо отряхнув пальто, Михаил смешался с копошением электрических светляков и бензинной духотой, образующими столичную ночь. Много спустя, уже лежа у себя в номере, он задумался: что произошло? Тотчас негодование ожило, и руки грубо сжали клок перины. Как видно, и в подлости много градаций. Пишется вор — так вор, в действительности все обстоит много сложнее. Михаил (не будем вдаваться в прошлое) только что украл у государства порядочный кусочек, свыше трехсот пятидесяти червонцев. Он хорошо помнил об этой цифре, приятно ширившей и бумажник и фантазию. Но это казалось ему чем-то семейным, мелкой пакостью, и только. Господа в ресторане предлагали не кражу, а измену. Никогда, повторял оскорбленный герой, Советской России он не предаст! За все проделки его поставят к стенке? Что же, в тот день ему не повезет. Зато повезет сотрудникам Гепеу. Просто. А изменников, караулящих под окном, где плохо лежит, следует бить. Не их ли он бил в Крыму? Все те же. Заносчивость накрытых шулеров, вместо физиономий поэтические гербы, а руки времени не теряют. В оба смотри! Иностранцев науськивают. Перед каждым немецким швейцаром лебезят: ах, мол, у вас порядок и прочее, наша-то сволочь накуролесила. Бить их! Михаил не мог уснуть, и весь остаток этой ночи прошел в сумбурных думах о России, в своеобразной патриотической лихорадке, посещающей сердца даже космополитических рвачей.

Он понял, что любит Россию, и в этом чувстве было вдоволь всего: благодарности, привязанности, отслоения юношеских снов, самолюбования. Вот та же Сонечка — разве она не лучше всех здешних дам? Презирая идеи, как воробей из пословицы мякину, он и теперь уважал родину за ее пуританский идеализм. Пусть читатели недоверчиво улыбнутся, решимся, скажем: он уважал Россию за то, что там его накроют, поведут «к стенке». Да, да, и за это! За честность, за грубоватую сухость газет, полных «ножницами», где что ни строка — то цифра, за отсутствие декламации у ораторов, за всю взволнованность дыхания, которой не скроет наигранное делячество «хозяйственников». Повторяем, здесь было все, рядом с бескорыстностью пробивалась усмешка: еще люблю за то, что там раздолье, ничего не отстоялось, за то, что революция привела меня из каморки лакея в шикарные дансинги. За то, что я могу послать к черту хотя бы Голубева. За удачу: коротко и просто. (Так удача народа; в отличие от других показавшего, что революцию можно делать не только с дипломатической целью, но и всерьез, сливалась в его представлении с удачей Михаила Лыкова, представившего на счетах не вполне точные даты.) Чувство было отнюдь не чистым, оно отдавало патриотизмом нэпманов; которые после удачной сделки готовы иллюминировать дома, отремонтированные в честь Октября, но ведь каждый любит, как может. Притом в силе этого чувства не приходилось сомневаться. Он пошел бы воевать за Советскую Россию, пошел бы на смерть. Чувство недостаточно чистоплотное? Может быть. Однако крепкое.

Установим: Михаил любил Россию. Мишка мог с радостью вспоминать обжигающую сухость снежков, отрыжку после пасхальных яиц, скользких пескарей в Днепре. Михаил Октября знал прежде всего захват дыхания, широту крика, выворачивающего челюсти, и широту чувств, хоть и приведших валюту к девальвации, а обывателей к пше, даже к отсутствию пши, но создавших вдохновеннейшую поэму о борьбе нищего и неграмотного народа за счастье человечества. Михаил последней эпохи склонялся к буйству пивных, к необузданности азарта, к толстой коже кустарных бумажников и к не менее толстой коже их обладателей, к первичности накопления, ко всяческим прыжкам (вчера еще висели на трамваях, как птицы на дереве, а сегодня войди на ходу — рубль золотом, вчера семечки, наравне с Керенским вошедшие в историю, сегодня — у каждого

подъезда урны и ни-ни), ко всем возможностям Америки, опозитивированной скифской душой. Смешение различных образов рождало, хоть и пегую, далеко не породистую, но все же любовь. Он видел свое, видел то, что хотел: страну, где романтизм легко сбивается на подлость и где любая завалиющая подлость жаждет романтического освещения, где мог родиться, жить, буйствовать и унижаться Михаил Яковлевич Лыков.

Ночь, отданная столь высоким раздумьям, была одной из последних в Берлине. Таким образом, ностальгии не было суждено окрепнуть. Вскоре зоркий глаз Михаила уже увидел себежские ворота, обозначающие государственную границу СССР. Тогда взволнованность охватила нашего героя. Он как бы физически ощутил значительность минуты, реальность этого порога. Конечно, он не был одинок: его попугачики, русские или чужестранцы, испытывали тоже нечто однородное. Мы знаем это волнение. Образ ворот (трогательный в своей наивности, ибо только крестьянский, мужицкий народ, представляющий себе государство, как двор, мог додуматься до поезда, въезжающего в деревянные ворота), этот образ жив в нас и теперь, когда далеко от отчизны, среди бабьего лета, среди первых ноябрьских туманов Парижа, составляя историю Михаила Лыкова, мы ежечасно возвращаемся сердцем и памятью к патетическим событиям и незабвенным местам. Мало ли в Европе других границ? Но как они докучливы и ничтожны, ничего не разделяя, напоминая о себе только таможенными чиновниками, перетряхивающими чемоданы, и обменом монет!.. Не то себежские ворота. Это вправду граница, раздел двух миров, граница скорее эпох, нежели пространств. Угрюмы и насторожены лица двух часовых. Один из них погибнет, и как может сердце — своего ли, врага ли, — глядя на невыразительный ландшафт нейтральной полосы, на латвийские галуны и на звезду красноармейца, на ребяческие ворота, не участить ударов? Но взволнованность Михаила шла не от радости, не от страха. Вторая душа, казалось уже побежденная, ничем не проявлявшая себя после ночного визита к товарищу Тверцову, воскресла и возмутилась. Ворота гласили: «Привет, товарищ!» Могли ли они, радостно улыбавшиеся узникам Хорти или реэмигрантам, возвращающимся из не вполне медоносной Америки, приветствовать Михаила с его надеждами на «Югвошелк» и с багажом в виде накраденных долларов? Для таких ли дел они раскрыты настужь? Михаил привстал, Он говорил себе: опомнись, остано-

вись! Он глазами беседовал с кожаным шлемом: меня следует арестовать. Да, да, меня, именно меня. Он беседовал только глазами. Его юношеский порох был давно расстрелян и в подлинных боях гражданской войны, и в мелких кабацких скандалах. Раскаянье уже ограничивалось тошнотой и ни к чему не обязывающими мыслями о смерти. Куда тут!.. Скептическая усмешка, вероятно, предназначалась все для того же безразлично высящегося шлема. Он начинал узнавать себя. Он жил полюсами: или — или. Подойти к шлему, протянуть деньги, расписаться под протоколом и неделю-другую, глядя сквозь решетку на квадрат белесого неба, ждать смерти. Не может? Что же, тогда «Югвошелк». Тогда еще несколько лет, а может быть, только недель нелепой, бестолочной, прекрасной жизни. Тогда Сонечка... Тогда фланирование по Кузнецкому в новом берлинском костюме. Тогда...

Стоит ли перечислять? Борщ со сметаной себежского буфета после границы показался Михаилу особенно вкусным.

Шелк. Шелк

Сонечка встретила его сразу нежным словом!

— Шелк!..

Причем относилось оно не к действительно шелковым, высшего сорта, белью или чулочкам, привезенным Михаилом в качестве подарков своей недоступной Артемиде, но к перспективам. Вместо благодарности за подарки, за всю удачно завершенную операцию, принесшую Сонечке сто семьдесят пять червонцев чистоганом, вместо ласкового щебетания, столь естественного после разлуки, он сразу должен был выслушать обстоятельный отчет о положении в «Югвошелке». Дело не терпело оттяжки. Московский представитель треста, известный уже Михаилу Шестаков, предлагал купить не товар, а нечто более лакомое: свою должность. Заполучив командировку в Ригу, он собирался (это, конечно, конфиденциально) назад не возвращаться. Жизнь в Москве его сильно утомила. Статейки в газетах, доказывавшие необходимость сократить зарвавшихся нэпманов, болезненно отражались на аппетите и сне. Ко всему камни в печени срочно требовали карлсбадских вод. Ему

удалось переправить за границу пять тысячонок долларов. Он шел на скромную, но спокойную жизнь: сказывались годы. Как полагается, он занимался, хоть и под сурдинку, ликвидацией имущества. Продавалась если не мебель (увидят — донесут), то ковры, столовое серебро, картины. Продавалось и менее обычное: должностные. Шестакову в правлении треста всемерно доверяли и соглашались поставить заместителем (временным, ведь официально он должен через шесть недель вернуться) любого по его указанию. Оклад, правда, небольшой — двенадцать червонцев. Но разве в окладе дело? Прodelав сложные вычисления, Шестаков установил, что в среднем место приносит от двухсот пятидесяти до трехсот червонцев ежемесячно. Доходы значились по трем рубрикам: принятие частного шелка для окраски, продажа по якобы низким ценам (непосредственно спекулянтам), наконец, «стихийные бедствия»: то наводнение, то пожар, в отчетности ликвидирующие запасы, плюс естественная утечка товара. Место Шестаков уступал всего-навсего за двести червонцев. Дешевка! Очевидно, кроме камней в печени, у него был и хороший нюх, настаивавший на незамедлительном отъезде. Он должен был уехать в субботу, а Михаил приехал в четверг. Бедная Сонечка немало наволновалась: разминутся. Изложив сущность дела, она стала настаивать, чтобы Михаил немедленно поехал к Шестакову. У него нет двухсот червонцев? Сколько? Пятидесяти не хватает? Что же, Сонечка ему одолжит, выложит из своих (портнихи подождут). Ведь дело верное, капитал мигом вернется. Шестаков оставляет в наследство некоего Лазарева, который берет для Баку всю партию, значащуюся подмоченной, за шестьсот червонцев. Бракованный же товар можно продать за триста — триста пятьдесят червонцев самое большее, получив еще благодарность от правления. Таким образом, сразу — двести пятьдесят червонцев. Если б не срочность отъезда, Шестаков сам кончил бы это дельце... Словом, ждать нечего. Сейчас же к Шестакову!

Пересказанное нами, все это может показаться скучным и будничным. Но Сонечка была замечательной женщиной, если и не Артемидой, то, во всяком случае, достойной обожествления. Внося деловитость в любовные похождения, она умела опoэтизировать весьма трезвую аферу. Стоило послушать, с какими придыханиями произносила она слова: «подмоченный» или «бракованный». Михаил не мог отвести глаз от ее пухленьких губ. Он попробовал было разгрузить густоту цифр и терминов

лирическими вздохами. Он так соскучился! Право же, он заслужил иного приема. Ведь в Берлине приходилось все время работать. Аппараты, счета, мультипликаторы, переводы марок на доллары, смазывание честных немецких сердец — тоска! (Об актрисе он, разумеется, умолчал.) Но Сонечка гнала его к Шестакову. Тогда, обиженный, он решил прибегнуть к весьма прозаическому намерению:

— Ведь ты же сама сказала: если с Берлином выгорит... (Последнее время в патетические минуты он говорил ей «ты».)

Сонечка возмутилась:

— Я вам не проститутка. Меня нельзя купить, даже за сто семьдесят пять червонцев. Поняли?

Она знала, как с кем разговаривать. Наш герой, пристыженный и укрощенный, пошел к Шестакову. Дело было слажено. В субботу Шестаков, как и предполагалось, отбыл на пресную жизнь рантье, связанного диетой и экономией, наш же герой, возведенный в звание московского представителя «Югвошелка», с горделивой осанкой осматривал небольшое помещение треста. Право, он чувствовал себя по меньшей мере посланцем. Он одаривал улыбками веснушчатую секретаршу, курьера, портреты вождей, диаграммы добычи и обработки шелка, все и всех. Самая нежная улыбка досталась армянину Лазареву, круглому, красному, с маленькими черными глазками, напоминавшему арбуз. Лазарев, привыкший рассматривать все события, от весны до «испанки» в соседней квартире, от звонка на парадном до революции, как источник возможных доходов, хотел najиться и на отъезде Шестакова. Вместо шестисот он давал теперь только пятьсот, хотя смена представителей никак не отражалась на мягкости и безупречности шелка. Понижение суммы он думал смягчить прирожденной сладостью, но Михаил не поддавался. Так оба, улыбаясь, они просидели добрый час безрезультатно. На следующий день повторилось то же самое. Дней десять длилось это состязание улыбок, вздохов и сетований на отсутствие дензнаков. Победил хоть молодой, но уже привыкший ко всечелескому триумфу, представитель «Югвошелка». Лазарев прозительно вздохнул и вытащил из кармана перевязанную голубой ленточкой пачку:

— Считайте.

Руки Михаила быстро порвали ленточку и, раскидав бумажки (которые аскетическая фантазия нам, к сожалению, неизвестного гражданина украсила церковнославянскими бук-

вами), не захотели, вернее, не смогли заняться проверкой. Ком ассигнаций был засунут в брючный карман. Лазареву досталась записка на получение со склада шелка. Секретарша пометила в книге, что бракованная партия 18 августа отпущена Пепо за триста десять червонцев. Шестаков не надул: шелк оказался питательным продуктом.

Следует полагать, зная привычки Лазарева, что дело не так скоро кончилось бы, не будь здесь некоторых посторонних обстоятельств. Наверное, этот прохвост протянул бы еще неделю-другую, пытаясь скостить хоть пятьдесят червонцев. Но недаром мы упомянули о хорошем нюхе гражданина Шестакова. Ильинка вместо повышательной или понижительной тенденции указывала, что ли, туристическую. Подлинное томление, ностальгия, розыски иных горизонтов сказывались на физиономиях обычных завсегдатаев пивных и кофеен Варварки, Театрального проезда, Маросейки и других центральных артерий.

В некоторых государствах Центральной Америки, где почва вулканическая и землетрясения столь же часты, как у нас грозы, дома строятся чуть ли не из папье-маше, недвижимое ни во что не ценится, а люди ведут полукочевой образ жизни. Нечто подобное замечаем мы в истории нашего нэпа. Где тут до мебели ампир! Чуть что — приходится перекочевывать. Сегодня — суконное дельце в Москве, а завтра он — «безработный педагог» в Воронеже. Капитал его в червонцах или же в фунтах, то есть в самом что ни на есть портативном, почти от человека неотделимом, как штаны или душа. Походная жизнь. По сравнению с ней даже приключения искателей золота, где-нибудь в Калифорнии, кажутся семейным уютом. Место сейсмографов занимают носы, различные: индюшачьи с наростом, горбатые, картошкой, кнопочкой, всех фасонов, но равно впечатлительные. А землетрясения, при всей их катастрофичности, происходят методично, как по программе. Стоит всем этим носам раздобреть, размякнуть от вбирания исключительно приятных запахов гуся с яблоками или духов «Убиган», подаренных дамочкам, как рабкоры начинают ругаться. В «Правде» появляется ехидный фельетон. Известное боевое оживление, как ветерок, пробирает ремингтоны и лица сотрудников ГПУ. Носы тоже не клюют носами: одни направляются в идиллические захолустья — «переждать», другие запасаются различными удостоверениями. Валютчики оказываются агентами Госбанка,

а маклера — служащими солиднейших учреждений. Какой-нибудь нос, решающий в тоске пойти в оперетку, шепчет недогадливой кассирше: «Хорошо, я вам заплачу за первый ряд, но вы меня посадите подальше, чтобы не бросаться в глаза, максимум в восемнадцатый».

Наконец — наступает. В наших газетах эта операция называется образно «снятием накипи нэпа». (Очевидно, жирность и смачность улова придают мыслям кулинарный оттенок.) Все невнимательные и нерасторопные носы отбывают. Окошко в вестибюле ГПУ, где выдают справки, облипает взволнованными шляпками. Нэп, являя образец чисто христианского долготерпения, уходит в катакомбы. Балы отменяются. Закрываются рестораны. Ощущение великого поста сказывается даже на терках и семге Охотного ряда. Потом самый предприимчивый нос решает выглянуть: что слышно? Не имея конкурентов, он быстро растет и пухнет. Молва о носе-умнике ширится. Мало-помалу возвращаются провинциалы. Ильинка снова гудит.

У Лазарева тоже был нос. И в ресторане «Бар», и в кафе Мосторга, и в прочих местах он встречал немало приятелей, одаренных интуицией. Стрелка указывала на близость землетрясения, и Лазарев спешил покинуть хоть лакомую, но опасную столицу. В три дня он закончил тянувшиеся около месяца переговоры, в том числе и шелковое дельце. Он собирался уехать на следующий день. Михаилу везло: даже стихийные явления и те работали на него.

Часов в десять вечера, услышав условный звонок, Сонечка нехотя открыла дверь. Наш герой вошел в комнату, молча сел на софу, с видом человека, пришедшего к себе домой, и даже не удостоил Сонечку объяснений. Он был не на шутку утомлен. Сразу после одной трудной главы, не переводя дыхания, он должен был перейти к другой. Радиоаппараты сменились шелком. В согласии с библейским проклятьем, червонцы не давались даром. В течение последней недели он пробовал раза два-три заглянуть на Малую Никитскую, мечтая о лирической паузе. Но Сонечка встречала его холодно: она терпеть не могла промедлений. Нерешительность Лазарева она относила за счет халатности нашего героя, требовала энергичных поступков, беспрепятственными упоминаниями о шелке как бы подхлестывая Михаила. Ни одного поцелуя! Зато все время она просила: ей, видите ли, хочется манто, ей хочется браслет с опалом, ей хочется платье, парижская модель без талии,— прямая линия,

всего сто червонцев, ей хочется... Ей действительно многого хотелось. Михаилу следовало бы скорей вытянуть деньги у Лазарева. А того, чего хотелось ему, он не получал и даже не рассчитывал получить когда-либо. Но что тут делать? Любовь не сделка с Лазаревым. Здесь даже Михаил и тот способен был прогадать.

Теперь с кипой червонцев он тупо сидел на софе, ничего не ожидая. Он просто чувствовал изнеможение. Сонечка, растравленная молчанием, теребила его за рукав:

— Лазарев?.. Шелк?.. На когда?.. Сколько?..

Наконец он собрался с силами и, опорожнив карман, кинул бумажки на стол:

— Бери.

Сонечка не понимала:

— Сделал? Молодец! А на чем кончили? Ты деньги возьми. Мне ведь только пятьдесят следует.

Но Михаил уныло зевал:

— Бери все. Я знаю: там опалы разные и модель с прямой линией. Покупай сама, я в этом ничего не понимаю.

Сонечка попробовала отказываться, щедрость поклонника смущала ее, но Михаил настаивал: «Все бери!» Тогда она, расправив ассигнации, аккуратно сосчитала их:

— Здесь пятьсот восемьдесят.

Михаил на минуту оживился:

— Не может быть. Он ведь завязанными дал. Должно быть шестьсот.

Пересчитали еще раз: пятьсот восемьдесят. Михаил был возмущен: какая, однако, каналья этот Лазарев! Ну, ничего: он завтра утром пойдет к нему, взыщет. Он знает, где Лазарев остановился. «Варварьинское подворье». А если тот недодаст, плохо ему придется. Руки Михаила в предчувствии мыслимой расправы уже терзали воздух. Потом он снова впал в апатию. Даже поцелуй Сонечки не смог оживить его. Нехорошая сонливость оттягивала щеки и крыла мутью перегоревшие глаза. По узлу бровей Сонечки можно было догадаться, что она занята серьезными раздумьями. Новая операция с шелком? Или уже не шелк, а табак? Вата? Нет, на этот раз она думала о Михаиле: его общее состояние, несурзанность пусть и щедрого, пусть и приятного жеста требовали радикальных мер. Нужен Сонечке Михаил? Конечно, нужен, более того, — необходим. Он один, ничего при этом не требуя, заменяет всех нахальных,

желающих на свои деньги взыскать побольше, всех значившихся в рубрике «для тела», оставляя Сонечке возможность жить «для души». Если он необходим, нужно его беречь. Сидит и молчит. Может, чего доброго, в Москву-реку кинуться или найти другую. Взвесив все, Сонечка направилась за ширму.

Михаил не обращал на нее никакого внимания. Он громко дышал и указательным пальцем постукивал о портсигар. Наконец Сонечка окликнула его. Он не двинулся с места. Она показала, и вид ее должен был произвести на нашего героя сильное впечатление. Розовость плеч и бедер, в сочетании с черным бельем, привезенным из Берлина, говорила о трагической нежности. Но Михаил все еще ничего не соображал.

— Что? Недурна? Это ведь твой комбинезон, шелковый...

Он был так мало подготовлен к ожидавшему его счастью, что откликнулся мысленно лишь на слово «шелковый», напомнившее ему о недавних трудах. Подлец Лазарев! Следует обязательно дополнить двадцать.

— Ну, дурачок! Иди сюда.

Сонечка начинала сердиться. Что с ним? Оглух? Болен? Розовое и черное приблизилось, стало теплотой, реальностью, жизнью. Раздалось глухое мычание, Сонечке вовсе не понятное. Его слышал когда-то, это было давно, Артем (Кармен с розой в зубах и нота). В этом утробном животном мычании сказались сухость двадцати пяти лет, запас неизрасходованной нежности, унаследованной не от Якова Лыкова, не от матушки, бог знает от кого, фосфорической нежности, тщета слов и плотность любви, которая, не родив ни гениальных творений, ни благородных поступков, все же проникла в кровь, стала тяжелыми известковыми сгустками.

Неравная борьба началась: беспомощности человеческого сердца с трезвым решением, родственным блокноту и шелку, с обдуманностью всех поз и интонаций. Можно ли сомневаться в ее исходе? Конечно же, победила Сонечка, все произошло как она и предполагала, если не считать некоторой замедленности дебюта, раздражавшего ее мямления Михаила и разорванного комбинезона (пусть! он ей новый купит). Куда девался весь цинизм Михаила, сводивший прежде его любовные авантюры к двум-трем поговоркам? Неужели эти руки и впрямь тосковали по ласке? Он вел себя как школьник, он вполне заслужил пренебрежительный отзыв Сонечки:

— Ты не мужчина, а кролик.

Взять хотя бы робость рук, еще недавно душивших воображаемого Лазарева, а теперь не решавшихся коснуться выхолощенного плечика. Где их хваленая расторопность?

Неуклюжие жесты, обозначившие нежность, неожиданное девичество развратника и грубияна, влили Сонечку.

— Дурака валяешь! Ложись!..

Нет, он был вполне искренен. Отнюдь не притворство, подлинность чувств тормозила его руки. Он ждал от десяти — двадцати подступающих минут переворота, такой встряски, чтобы с души спала шелковая или овчинная одурь, он ждал оплаты всех прежних лет, вплоть до последней проделки с Ольгой, ждал топлива, замерзая среди скрипучей сухости своих безлюбных дней. Он ждал решительно всего. Мог ли он пойти на явную подделку? Все, что угодно! Лучше трусить сейчас по сырым, дождливым, керосиновым улицам окраин, лучше действительно с Каменного моста броситься в чернильную гуцу реки, расширенную фонарными отсветами, лучше смерть! Если и это окажется сродни привычному — дарницкой бабе, Ольге, той же заграничной актрисе, что тогда делать, как вернуться к шелку, к червонцам, к окаянной жизни?..

Так произошло на первый взгляд непонятное: Михаил упирался. Но мы ведь знаем, кто одержал верх. Сонечка поставила на своем. Была минута, одна, короткая, но грузная, минута, когда звериный оскал обозначился на лице нежного и застенчивого мальчика, боявшегося учащающихся поцелуев. «Расквитались!» — облегченно подумала Сонечка и зевнула:

— А теперь спать. Завтра с утра портнихи, примерки. Ты знаешь, почему крендешин?..

Михаил ничего не ответил. Задушить Сонечку он не мог: руки на это не шли. А говорить было не о чем. Он подумал, что углубляться нельзя, все может кончиться дикой выходкой, даже преступлением. Он решил утешить себя. Сонечка рядом. Он получил все. Другое? Другого не бывает. Другое — выдумки. Михаил не слюняй. Он знает цену шелку. Он знает и цену любви. Лучше просто глядеть на плечико Сонечки. Или гладить его, только тихо, чтобы она не проснулась (Сонечка засыпала сразу, как дети или как люди с безупречно чистой совестью). Этой близости розовой нежной кожи у него нельзя отнять. Это лучше самой Сонечки. Плечо — это вещь. Как шелк. Мягкое, как шелк. Нежное, как шелк. Дорогое, как шелк. Рука его вскоре замерла на розоватом холмике: усталый, он задремал.

Пробуждение совпало с рассветом, смешалось с ним. Проступали различные формы: округлость комода, массив шкафа, светлая прорубь зеркала, а с ними и первые мысли: что произошло? Где он? Кровать не так стоит, Сонечка... В серости, в злокачественности переходного часа вещи и мысли барахтались, копошились, ерзали. Наконец и свет и отрезвление позволили разобрать оставленные на столе червонцы. Тогда Михаил от остроты боли вскрикнул. Отмычка лежала перед ним: деньги за шелк. Червонцы и розовое плечико вязались в одно. Соленый вкус поцелуев, потеря дыхания, беспамятство — все это разлагалось на цифры. В голове Михаила шуршали слова газет: «денежная единица», «товарный рубль»... Вот именно, товарный рубль! Разве он вырос за прилавком? Руки, что ли, приучены к костяшкам? Страсть, он знал ее, когда от горечи спаленной травы кровенеют белки и каблук, как копыто, гвоздит землю. Там, в Берлине, под газовым солнцем, глотая пенную горечь пива и смерти, один, среди пьяниц, — «Сонечка!» Значит, вас это выдумки? Последние кулисы обследованы. Фикция! За шелк — шелком. Любовь — для стишков, при этом со скудностью рифм: ну «кровь» или «вновь». Еще «морковь». Но это не подходит! Морковь только для Кармен из Дарницы. Лучше бы шелк. Если ассонансы (как тот, из «кружка») — «тубо». Непонятно, но выразительно. «Любовь... червонцы «Югвошелка»... тубо... ацетиленовое солнце...» Дрянь! Сонька — дрянь!

— Слышишь? Дрянь!

Не находя больше сил, чтобы сдерживаться, чтобы глаз на глаз воевать с резкостью утреннего света и с подытоживанием чувств, он тряс теперь это розовое, обожествленное и вправду божественное плечико. Сонечка, проснувшись, сердито зевнула в локоть и скосила один, лучше раскрывшийся глаз на чашки: семь.

— Ты с ума сошел? Будить меня! Я встаю в десять.

— Встанешь и в семь. Без оговорок. Скажи мне лучше: в чем дело? Я совсем с ума схожу. Следовательно, ты за червонцы?..

— Я спать хочу, а не философствовать. А денег жалко, бери назад и убирайся. Только не мешай мне спать.

— Жалко? Ничуть не жалко! Обидно сочетанье. Ясно? Я вот, признаюсь тебе, в Берлине актерку одну подрядил. Шик исключительный. На подвязках японские птицы вышиты, честное слово! И что же? Дрянь! Как все! И ты, как все! Ведь

не в штучках дело. Я от чувства погибаю. Я любви от тебя хотел...

Сонечка, привстав, тряслась от злобы. Ей мешают спать! Это подлее всего. Каждый человек имеет право на отдых. А так хочется спать! И вот, мало вечерних забот, глупости, грубости этого хамоватого щенка, нужно еще, вместо сна, беседовать с ним...

— Я, миленький, тебе ничего не обещала. Хотел со мной спать, клянчил полгода, ну и получил. Не нравится, убирайся к другой! Денег жалко — забирай. А нежничать я с тобой не собираюсь. Нравится мне Петька Верещук из футбольной команды, так и говорю: Петька — для души. Завтра он здесь будет вместо тебя. Я тогда, может быть, и вовсе спать не стану. А теперь — к черту! Молчи или выкидывайся!

Разве не так беседовал Михаил с голубоглазой Ольгой? Почему же он удивился? Почему счел себя снова непонятым, одиноким, исключительной натурой, трагическим Мишкой? Нет, чувства нельзя сравнивать, нельзя измерить их ни «товарным рублем», ни другими мерами. Он оставил Сонечку спать. Он не забрал червонцев. Сидя возле окна, он долго глядел на улицу, на метлу дворничихи, на лоток со сливами, на серость пыли, асфальта, неба, лиц, на всепримиряющую однородность мира. Он больше не думал. Приняв общую окраску этого заурядного утра, он был тих и безличен. Неудачливый маленький человек сидел у окошка, чиркая ногтем по подоконнику (получались палочки, елочки, кривульки, кресты). Два часа прошли так. Они сделали свое. Столь патетично умершая, последняя надежда на нечто необычайное, на Артемиду, на любовь, должна была разложиться, смешаться со всеми отбросами чувств и лет. Он освобождался от последней нелогичности, от последней зацепки, и, возвращенный к подозрительной свободе воздуха, лишённого запаха и окраски, к свободе внутреннего перемещения, он уже не хотел перемещаться, в свободе он соприкасался со смертью. Сколько бы ни предстояло ему еще ходить, даже волноваться или радоваться, сидя у этого окошка, глядя на метлу, чиркая ногтем, он умирал, без выстрела, без монолога, без слез.

Бой часов («девять»), однако, прервал этот процесс. Эпилот был, таким образом, отложен. На сколько глав? Пока что он тихонько мылся, завязал галстук. Он задумался: куда ему идти? Снова шелк? Но зачем?.. Уже давно не было азарта первых дней, озноба, пробиравшего новичка, который с чемоданом «пом-

жериновских» марок отпралялся в Одессу-маму. «Лиссабон» теперь чадил скукой, зевал двойными дверьми, наводил тошноту и бужениной, и полипом цыганки Вари. Вчера еще имелась Сонечка, придававшая даже шелку теплоту, чувственность, клейкость человеческого тела. Но вот и это кончилось. Он, рыжий и юркий, никогда не будет «для души». Там Петька из футбольной команды. Это его вина, он сам все меняет, одним прикосновением обезьяней руки превращает Сонечку в берлинскую актерку. Куда же ему деться? Уже галстук завязан, уже кепка венчает чуб, а идти некуда, незачем.

Михаил подошел к спящей Сонечке. Ладонь под щекой, поджатые ножки, свежесть и слабость маленького тельца вызвали в нем знакомое умиление. Это, конечно, остается загадочным — почему Сонечка, столь деловитая, удачливая, как никто обдeldывавшая свои делишки, вызывала в нашем герое подобное чувство? Он даже попытался пожалеть ее, забыв о Петьке-футболисте: нелегко ей одной, такой молодой, может, например, напасть тоска, могут и накрыть ее (вот эта ладонь, розовая раковина — в тюрьме!) А то еще подберет какую-нибудь болезнь. С кем она только не спит? Бедная Сонечка! Как это еще выразить? Маленькая! Девочка! (Он бессознательно копировал Ольгу.) Спит? Пусть спит. Но куда же ему идти? На одну минуту он поддался легчайшему соблазну. Он помечтал о хорошей, честной, простенькой жизни. Взять Сонечку и уехать — куда-нибудь в глушь, где о них никто ничего не знает. Он будет служить в Наробразе или в губфине. А Сонечка?.. Она может давать уроки. Легко. Хорошо. Ни раскаяния, ни стыда, ни расплаты. Приехали. Молодожены. Флигелек. Вечером на крыльце звезды, за рекой собачий лай... К чести нашего героя следует сказать, что мечты эти длились не дольше минуты. Представив себе Сонечку скромной учительницей с тетрадами, он еле сдержал резкий приступ смеха, который мог бы разбудить гневную богиню. Чего тут кривляться? Он — служить? Четыре червонца в месяц и государственные интересы? Нет, увольте! Крыльцо и покой — это очень хорошо, слов нет, это лучше валандания и шелковой эпопеи. Но для этого нужно обратиться счастливым болваном. Поздно! Себя не переделаешь. Ему конец один — не ворковать на крыльчке, а в серое утро, как это, когда небо и сердце — одно, теряя калоши, мокрому от дождя и от пота, пройти к стенке, взвизгнув, метнуться, застыть, руку — под щеку, поджав ноги. Это тоже счастье. Это как сон Сонечки. А пока нужно

жить. Раз-два. И без арапской идиллии! Куда? А шелк? Ведь его ждет шелк. Лазарев — какой мерзавец! К нему! Двадцать червонцев на улице не валяются. Если не отдаст, Михаил ему съездит по рожу, да покрепче, чтобы из арбуза сок брызнул...

Уходя, Михаил оставил Сонечке записку:

«Пошел к Лазареву дополучить 20. Зайду вечером пораньше, до твоего Петьки. Несмотря на все — богиня».

Богиня? Их делали, кажется, из мрамора. Почему Сонечка не мраморная? Хотя мраморная — это холодно. Сонечка — шелковая. Вдруг Лазарев успел перевести из склада? Тогда не отдаст. Придется зубы вышибить. Это ему не шелк! А дальше?..

Что дальше? Скажите, граждане, что же дальше? У Никитских ворот стоял некий гражданин, выпивший, вероятно, дюжину «Горшанова» или «Старой Боварии», серый, как улица, серый, как небо, стоял и задумчиво гнусавил:

«— Ламса-дрица-гоп-ца-ца!..»

Гоп — ца — ца, Ца — ца. Ца. (Это уже шаги Михаила.)

А дальше? Граждане, почему же вы молчите?..

Егохватило на это

Как просто все разрешилось! Как мудро устроена жизнь! Сложнейшие психологические узлы, над которыми тщетно пыhtят года, разрубаются короткой минутой. Одно только остается невыясненным: надул ли Лазарев Михаила, не добав ему двадцати червонцев? Легко это допустить: за Лазаревым ведь и не то водилось. А может быть, и не надул. Он клялся, что не надул, хотя в дальнейшем это для него не играло существенной роли. Он ведь сказал Михаилу «сосчитайте». Михаил сам не захотел считать, быстро засунув бумажки в брючный карман. Нервность Михаила всем известна. Он мог обронить две бумажки по десяти. Обронил? Или Лазарев плут? Повторяем, это так и остается невыясненным. Михаилу не удалось побеседовать по душам. Он быстро вбежал в контору гостиницы, где заспанная барышня пила с блюдечка чай. Он успел произнести имя Лазарева, но не больше. Две руки сжали его руки. Наш герой вырвался, кинулся вниз, сделал несколько прыжков. Перед ним была река, трамвай «А», голуби, свобода,

Жалкая попытка! Хваткие руки настигли его, к ним присоединились и другие. Тогда, покорно вытянувшись в струнку, выдавая победителям свои руки, не угнавшиеся за трамваем и голубями, он жалостливо забормотал:

— В чем дело?.. Ничего не понимаю... Ничего...

Его отвезли в тюрьму. Держал он себя глупо и непристойно, как мальчонок, пойманный на краже яблока с лотка, мычал, ругался, молил о пощаде. Он беспрестанно выражал недоумение, хотя еще в конторе «Варваринского подворья» круглое словечко «шелк» покатилося перед ним.

Он бился головой об стену и требовал врача. Ему казалось, что он действительно болен: ломило в висках и ноги не сгибались. Он кричал:

— Я ведь никакого Лазарева не знаю!..

Когда в оконце оказался кипяток, он яростно выплеснул его и обжег себе руку. Потом, обессилев, свалился на койку. Тогда решетка, дверь, чайник, еще недавно метавшиеся, менявшие очертание и сущность, бывшие какими-то клубами удушливого дыма, стали постепенно оседать, определяться. Страх и злоба, остывая, принимали формы. Наконец-то он понял: шелк, тюрьма, смерть. Утром в комнате Сонечки, у памятного окошка он был наполнен смертью, казалось, он готов к ней. Даже известная сладость (как будто предвкушение мягкости постели, свежести простынь) сопровождала тогда мысли о стенке. Но вот стоило этой стенке перейти из разряда понятий в мир вещественный, стать близкой, может быть — соседней, может быть — стенкой этой самой тюрьмы, как необычайная, всепоглощающая жадность к жизни проснулась в Михаиле, все равно к какой, честной или нечестной, без Сонечки, впроголодь, на краю света, здесь в тюрьме, с решеткой и чайником, лишь бы жизни! Арест сделал то, чего не могли сделать ни трогательная суровость товарища Тверцова, ни убудочная любовь с ее помесью боксера, крепдешина, червонцев и сентиментальных вздохов. Арест взболтнул, оживил Михаила, показал, что он все-таки жив. Для чего? Чтобы сделать трагичнее и назидательнее такое-то количество дней и часов, отделяющих его от смерти? Возмущаясь этим, руки царапали дверь. Жить! Исключительно! Физиологическое торжество, взрыв животной энергии должны были вылиться в прекрасный аппетит, в быструю ходьбу, в раскатистость хохота. Они никак не сочетались с мыслями о близком конце.

Когда Михаил дошел до этого, то есть когда он понял, что существует связь между шелком, червонцами, Сонечкой, решеткой и что все завершится пулей, где-то слева (уже сейчас болит), что это неизбежно и, однако, невозможно, когда он подумал о своей молодости, о трамвае «А», о дуге улетевшего голубя, о жизни, оставшейся по ту сторону ворот, конторы, сборной, — началось настоящее помешательство, конвульсии вместо мыслей, агония. Это объясняет и все его дальнейшее поведение, нагромождение глупостей, приниженности и наглости, столь неприятно удивившее сначала следователя, а потом членов губсуда. Здесь не было ни плана, ни логики. Казалось, приоткрывается дверца, Михаил кидался туда, нет, он просто бегал, выл или валялся в ногах. Иногда он вбирал в себя руки, деревенел и ругался, как мог, темными подлыми словами.

Прежде всего с несуразностью поведения этого арестованного пришлось ознакомиться следователю Маркову. Допрошенный раньше Лазарев выложил начисто все. Что же, Лазарев был трусом, но у него имелся «план». Он ставил на чистосердечное раскаяние. Конечно, и он сглушил. Проследили человека в казино (такое стояло время, носы не ошибались), пришли пощупать: откуда? в чем дело? Пригрозили. Ну и не выдержал, сам объяснил содержание записочки касательно шелка: так и так. Услужливо назвал Михаила, дал приметы — рыжий, руки особенные. Старался вообще всячески услужить. Каково же было изумление Маркова, когда Михаил сначала заявил, что он с Лазаревым познакомился только вчера в пивной, сдуру одолжил ему двадцать червонцев, за которыми и пришел, а пять минут спустя, узнав, что следователю известна вся операция с шелком, стал кричать:

— Вы мне его сюда дайте, сукина сына! Мало что двадцать червонцев зажулил, он еще доносит! Да я искрошу его!..

Допрос пришлось прервать. Но и успокоившись, Михаил продолжал говорить исключительно о двадцати червонцах. Он должен был получить шестьсот, а получил пятьсот восемьдесят. Мошенничество! Следователь решительно прервал его:

— Это мы потом выясним. Теперь объясните-ка, где находятся полученные вами деньги?

Михаил увидел в серости рассвета пачку ассигнаций. Сказать? А Сонечка? Тогда и ее в тюрьму. Ладонь как раковина... Решетка. Кипяток. Стенка. Нет! Ни за что!.. Оказы-

вається, загадочна нелогічність, називається в общезитті «любовью», не була изжита этой ночью. С некоторой гадливостью погружаясь в рыхлость Михаила, рука следователя натолкнулась на что-то твердое. Сердце не поддавалось. Хотя чем-нибудь, хоть одной чертой, да этот трусливо ерзающий ворюшка напомнил героя зимней ночи в бывших номерах «Скутари».

— Деньги? Потерял.

Следователь настаивал. Но слова его, просьбы, угрозы, разъяснения, что Михаил упорством отягощает свою участь, обычная артиллерийская подготовка, все падало на бетон. К стенке? Что же, он будет визжать и кусаться. Ни красоты героизма, ни мудрой покорности. Но этого он не скажет. Только этого. Жизнь — велика, кажется, все в ней и продано и предано: Октябрь, молодость, Ольга, Артем. Только вот Сонечка, Сонечка, сейчас поджидающая Петьку-футболиста, одна уцелела...

— Сказал, потеряны...

В поединке, происходившем между следователем и преступником, первый защищал закон, интересы государства, честность, второй — гаденькую, крепдешиновую душонку, гусеницу, исподтишка сверлившую тресты и главки, продававшуюся на день и на час ради парижского платья (того, что с прямой линией). Но не скроем, услышав ответ нашего героя, мы испытали чувство удовлетворения. Нам ничуть не жаль Сонечки. Мы понимаем, что ее следует поскорее посадить в «исправдом», а краденые червонцы возвратить государству. Но ведь не только ее защищал Михаил. Он защищал еще так называемую любовь, темное и нелепейшее чувство, которое мы, несмотря на его, а может быть, и нашу старомодность, склонны почитать за великое человеческое достояние, чувство, право же, не зазорное и для современников. Его, а не деньги на портних, защищал Михаил, и хоть перо следователя могло пытаться ничуть не хуже памятной русской бороды, он не предал его. Поверженный, истоптанный, похожий на раздавленного червя, он в этом, на несколько минут, предстал перед опытным следователем, хорошо знающим и законы государства, и законы логики, но слепым в темнотах сердца, как победитель.

Но когда следователь, решивший заменить фронтовой удар обходным движением, перешел от денег (то есть от Сонечки)

к другому, Михаил сразу утратил твердость, он снова стал крикливой и уродливой массой, способной на любую подлость. Шестаков, конечно, вовремя уехал. Какое удовлетворение он должен был испытывать, кушая теперь диетический ягурт за зеленым столиком Карлсбадского кургауза и в сотый раз перечитывая газетную заметку о разоблачении «Югвошелка»! Но зачем было помечать сдачу дел своему заместителю лживой датой, взвалить на Михаила пять-шесть афер, обделанных самим Шестаковым и давших ему возможность кушать тот же целительный ягурт? Зачем? Какое-то посмертное пакостничество: ведь он не думал возвращаться. Узнав об этом, Михаил положительно взбесился. Мало с него Лазарева, здесь ему ставят мистификаторские вопросы о полученных за окраску от неизвестного лица четырехсот пятнадцати червонцев. «Неизвестного!» Разумеется! И червонцы неизвестные...

— Вы меня, гражданин следовательно, простите, но это же фактическая бессмыслица. Меня тогда и в Москве не было. Достаточно я и сам накрутил, чтобы за чужие грехи отвечать. Вы меня абсолютно пытаете. Шестаков — это жулик почище Лазарева. Он мне место за двести червонцев продал. Деньги на бочку. Условие — тот самый подмоченный... Больше никаких. И вдруг, переносом даты, оказывается окраска. При чем я тут? Занесите в протокол категорический протест. Это подлог, и только!..

Михаил долго негодовал, размахивая руками, так что следователю приходилось отставлять подальше пухлые папки, и визгом наполняя узкую комнату. Явная несправедливость — его заставляют страдать за проделки Шестакова! Нет! Стоп! Лазареву он продал — это верно. И только. То, что его, Михаила, другие изъяны не раскрыты, казалось ему естественным и справедливым. Обозревая свое, достаточно живописное, прошлое, он с некоторым удовлетворением думал: а следы-то заметены. Заведующий издательской частью давно уничтожил список агентов. В Центропосторге тоже все обставляют аккуратно — законные сделки. Что касается Берлина, то это вместо улики являлось рекомендацией честности: аппараты доставлены, остаток суммы, счета, оправдательные документы, все сдано в полной исправности. Даты никак не могут быть проверены. Он настолько верил в защитность берлинской операции, что усиленно напирал на нее (скрывать все равно нечего — заграничный паспорт у них). Как же он мог принимать

какой-то частный шелк для окраски, находясь в «Дэнишер хоф»? Подлог! (Конечно, не в счетах за аппараты, а в делах «Югвошелка».) Следовательно, однако, явно ему не верил. Начальная ложь касательно Лазарева, общее увиливание, наконец отказ раскрыть местонахождение денег — все это говорило против Михаила. На беду, в бумагах «Югвошелка» (Шестаков уничтожил только то, что ему не нравилось) оказались две записочки Михаила, насчет окраски, правда не за четыреста пятнадцать, а за сто восемьдесят и двести сорок, относившиеся к началу весны, когда наш герой, только что познакомившись с Шестаковым, стал эпизодически предаваться шелковым делишкам. Эти записки, доказывая давность проникновения Михаила в представительство треста, опровергали все его показания, и, увидав их несожженными, лежащими перед следователем, Михаил отчаянно замычал:

— Пропал! Черт с вами, стреляйте! Подлец Шестаков — отблагодарил! Декреты у вас... Звери! А только страшно это человеку, очень страшно...

Последние приметы разумной речи исчезли. Звериный вой не укладывался в строки протокола, и Маркову, хорошему спецу, хорошему и человеку, стало от натуральности воя не по себе, как будто в чистоту и тишину его камеры, полной, скорее, стратегии, стройности шахматных комбинаций, абстрагированного фехтования с арестованными, перенесли вязкость, тошноту, страх экзекуции — вот куда ведут все твои ходы, все уловки. Визжал зверь, и это было много страшнее человеческих слов, ограниченных условностью, разделенных социальным положением и разностью идеологий, слов, которых можно не расслышать, а расслышав, не понять или не принять. Вой доходил до сердца Маркова, он сказал с гримасой брезгливости и жалости:

— Успокойтесь!

Первый допрос был на этом закончен. Михаила отвезли в тюрьму. Но и там он не мог последовать совету Маркова. Ощущение близости стенки после допроса окрепло. Раз те записочки плюс штуки Шестакова, значит, конец. Нечего упираться. Выволокут. Ужас перед огромной физической силой невидимого аппарата уничтожал его. Какие тут могут быть разговоры! Он вспомнил удар Темки, тоже сухой и безличный. Это было началом, первой коликой заболевания, первым спуском всеильной машины. Говорить? Но с кем? Со стенами, с

губсудом, с пулей? Ведь они не живые. Они не поймут особенности, злосчастной особенности Михаила, его горения, ретивости рук, тоски. Они знают свое: стены держат, следовательно роется в бумажках «Югвошелка», губсуд подберет параграфы Уложения, а пуля... Пуля легко и просто разыщет его сердце, как голубиное сердце на крыше крымского дома. Все здесь высчитано, обдуманно, вроде блокнота Сонечки. То, что он описка, срыв, неправильность — кому это важно? Только ему, Михаилу, чтобы еще сильнее биться, бредить, плакать тридцать, сорок подаренных ночей. А потом? Потом — смерть.

Михаил стал всячески представлять себе ее. Богатый опыт помогал. Он видел искаженность или прибранность лиц, грязные, загроможденные хламом или, напротив, пустые, слишком чистые комнаты, равно нежилые, нестерпимую красноту крови, постепенно гадко буреющей, паноптикум развороченных животов с удушливым запахом гнилостных газов, слюну и склизкость губ, мозги, похожие на собачью блевотину, — это внешнее убожество конца, для которого поэт бережет самый эффектный образ, самую неожиданную рифму и который в действительности граничит с вонью, с грязью, с выгребной ямой. Он видел все это. Он примерял различные позы, он хотел привыкнуть, приспособиться к смерти, найти подходящее положение. Как это будет? Но образы, пугая, не казались убедительными. Он никак не мог представить себе свою собственную кровь. Тогда из гнояного полусвета тюремных уголков вылупилось видение, особенно ему памятное: по камере, как на качелях, стала покачиваться бывшая классная дама, Ксения Никифоровна Хоботова, распахивая смрадные объятия. Она искала Михаила. Кошачий кончик ее высунутого языка, как пуля, впивался в левый сосок. На крик заключенного отвечала только брань надзирателя. Ночь длилась.

Потом он устал от пассивности. Живое, здоровое тело не мирилось с ожиданием, оно требовало выхода, настаивало на лазейке. Но что он мог сделать? Задушить надзирателей или следователя? Какая от этого польза? Минутный разгул рук, и только. Убежать? Все в ответ издевалось: крепость дверей, решетка, угрюмый язык этих стен, принявших и жалобы и проклятия не одного человека. Щелью, узкой, однако светлой, до рези в глазах, оказались слова следователя: «Облегчите свою участь». Сказать, где червонцы? Покаяться, как Тверцову, начисто и не потому, что хочется каяться — спасая шкуру?

Можно мобилизовать чувствительность, закидать этих людей лирическими воспоминаниями, рассказать об Октябре, о спасении Артема, призвать в качестве свидетеля брата, надрыываясь, вопить об ордене, выдавить несколько слезинок, молить, обещать загладить все, выклянчить, если не свободу, то хотя бы жизнь. «Хотя бы»! Ведь это значит все. План как будто готов. Да, но для этого нужно, прежде всего, раскрыть, кому он передал деньги. А Сонечка?..

Бой, происходивший в камере следователя, возобновился, теперь он шел в душе Михаила. Выдать? Слово на первый вкус показалось отвратительным, невыносимым, как касторка — выплюнуть. Однако, принудив себя, он повторил: выдать. Как раньше со смертью, он пробовал теперь свыкнуться с предательством. Он создал соответствующий ландшафт в виде Шурки Жарова, Лукина, Петьки-футболиста, он всячески себя уговаривал: нечего сентиментальничать. Рассвет в камере сливался с тем, другим, обозначившим червонцы на столе и природу нежности Сонечки. Продажная тварь! Ради такой гибнуть? Небось она даже не думает о нем. Гогочет с Петькой. Петька, тот для души, а он вычеркнут из блокнота, просто, деловито: был такой-то, носил подарки и вышел. Дрянь! Пошла покупать крепдешин на червонцы, проклятый шелк, из-за которого гибнет живой, в душе добрый и честный, только неосторожный Мишка. Плечо? Но его розовость теперь казалась неживой, нарисованной, глянцевитым пятнышком на обертке мыла, лишенным объема и теплоты. А грудь Михаила под рубашкой, сырая, горячая грудь, со знакомой впадиной, с двумя родинками справа, с хлопотливым топотанием сердца, существовала, требовала защиты. Ну разумеется, выдать! Боясь, что силы на подлость (так уж устроен человек — и на это нужна сила) не хватит, торопясь, как будто здесь сейчас решается его судьба, он стал стучать в дверь:

— Бумагу! Заявление следователю!

Он считал: семь, восемь, девять. Считал, страшась думать. Следовало воспользоваться этой передышкой, затмением Сонечки, свободой. Он напишет как можно короче: деньги у Софьи Дмитриевны Петряковой, адрес такой-то. Он спасет себя. Ее схватят. Будут вместе судить: Нет, послушайте, скорее бумагу! И не думать... Считать: сто сорок, сто сорок один...

Наконец принесли бумагу. Блуждание руки с пером, ее взлеты и припадания к коленям, дрожь, наконец заострен-

ность, придавали сцене характер самоубийства, как будто это было не перо, а нож. Написать даже две короткие строчки оказалось не столь легким. Имя Сонечки никак не выходило. Контуженное, но не выведенное из строя, чувство теперь перешло в контратаку. Плечо вновь ожило, как в сказке. Если бы еще написать, а потом исчезнуть, умереть. Но нет, ему придется сидеть с ней рядом, видеть нежность, холеность, хрупкость тела, преданного им, выдержать презрительные сдвиги бровей, а после остаться одному с порожним сердцем, из которого выплеснута последняя страсть, жить впустую, то есть только жевать и спать. Это слишком! Сонечка — все, что у него осталось, даже не она (она сейчас с Петькой), даже не любовь (любовь перечеркнута этой ночью с червонцами, шелком, нудной тоской у окошка), да, не любовь, только молчание, только упирательство, может быть и не вполне искренняя, но возвышающая забота о поспешной молодости, от шестивия по снежным горбам Киева к смерти, от ухарства «даешь!», от спасенной девочки, от мечтаний об Индии и подполье, от знамен, труб, комсомольской ругани и комсомольского ребяческого героизма, только это.

— Нет, не выдам!

Он бегал из угла в угол, как бегал некогда по улицам Ростова, как бегал по холмам — в штыки или по одесским учреждениям с марками Помжерина, бегал, не останавливаясь, боясь остановки, нового слома. Выдать? Нет, никогда! Серый день в камере мало чем отличался от ночного полусвета: так же глушила тишина, те же амфибии пресмыкались в углах, пятнистые, скользкие, с монотонностью укулов, с тупо бередящими воображение языками, как язык Хоботовой, как пуля, с той же карболовой одурью смерти.

Михаил, однако, выдержал. На четвертушке линованого листа, которую он, ничего не сознавая, роняя бессмысленно фосфор зрачков в черную глушь коридора, вручил надзирателю, значилось:

«Гражданину народному следователю.

Прошу меня расстрелять без проволочек, иначе за последствия не отвечаю.

Заслуживший честно священный орден Красного Знамени, а теперь попросту паршивая тля, Михаил Яковлев Лыков».

Техническое заседание с отступлениями

Мы часто присутствовали на судебных разбирательствах наших губсудов или нарсудов и можем, не колеблясь, сказать, что прямотой, честной оголенностью как заданий, так и форм, подвижностью суждений и приговоров, не связанных традициями, они выгодно выделяются среди европейских судилищ, которые к первичной охоте на красного зверя присовокупили пошлое красноречие захудалого парламента, парад ярмарочного балагана. Да, у нас судят, а не щеголяют перед дамочками речами, пышными, как балахоны адвокатов, судят всерьез, то с лупой часовщика — годно ли такое-то колесико, то выстукивая подобно врачу: «опасен», «неизлечим». В этих кропотливых рабочих разборах более, чем где-либо, сказывается природа власти, заботливая суровость государства, ничем не прикрытая: как бог писания, оно дает, оно и берет. Может быть, поэтому и столь ясно чувствуешь в них, несмотря на серьезность обстановки, на разумность вопросов, на специальность терминологии (варьирующей в зависимости от места хищений), древнее непреложное право всех против одного, грузный топот множества ног, кровь и тяжелое дыхание наступаемого.

Так было, когда в небольшом зале, где перед этим слушалось дело о милиционере Григории Власове, привлеченном за незаконное присвоение государственного имущества, судили Михаила Лыкова. Мало кто заинтересовался процессом московского отделения «Югвошелка». Сколько слушается таких дел! Статистика показывает рост должностных преступлений за счет других. Мужья больше не стреляют в неверных жен, и соперницы не дорываются до серной кислоты: материальные заботы захлаживают сердца. Кроме того, имеются утешительные хвосты загаса. Не станет же Артем преследовать Ольгу. Он только горько вздохнет и пойдет на очередное собрание. Но по части денег дело обстоит много хуже. Соблазнительней ли любви стали червонцы? Или просто «молодо-зелено» наше новое общество, так что, разбежавшись сгоряча, люди не замечают, где порог, отделяющий дозволенную деловитость от преследуемого «врачества»?

Так или иначе, стоит просмотреть любую повестку губсуда, чтобы увидеть весьма однородный перечень статей Уложения: присвоение, хищение, взяточничество, подлог. Разнообразие сказывается исключительно в материале, в этих пестрых ключьях урываемого. Как на базаре, чего только тут нет: бумага, арматура, парусина, мазут, внешторговские тракторы, дрожжи, дамские заготовки, сухумский табак. Тайны производства, а подчас гениальные фокусы урывания раскрываются в тихих невыразительных залах. Психология отсутствует, как и в современной литературе. Нужно ведь известное мужество, чтобы написать теперь психологический роман без фашистов и без буденновцев, исключительно о скучнейшем, то есть о «душе». Здесь о ней и не слышно. Кажется, это не суд, а техническое заседание, ревизия бухгалтерии, курс нормального торговлеведения. И вдруг — крик.. Человек, только что тихо говоривший о мазуте в баках или о вагоне парусины, погибает. Запах крови заставлял на минуту забыть и о цифрах, и о терминах. Только на минуту — заседание продолжается. Такое-то колесо (имя, фамилия, возраст) не годится, его надлежит изъять.

Мог ли столь сухо, деловито, незаметно погибнуть наш герой? Конечно нет! Месяцы предварительного заключения, буйство и бред в камере, истерики на допросах, жесты, позы, наконец вся его предыдущая жизнь обещали эффектное зрелище. Однако публика об этом не знала. Газетная заметка, весьма лаконичная, легко затерялась между курсом червонца и рецензией на новый балет. Еще один рвач. Эта порода давно уж перешла из ведения любопытных зевак к статистикам. Народу поэтому было мало: бойкая девица от «Вечерней Москвы», то приходившая, то уходившая, раздражая скрипом двери коменданта, два-три особых любителя, не пропускающих ни одного процесса, обширная родня Лазарева, старичок, зашедший погреться (морозы стояли лютые) и вежливо кивавший все время головой, вот и все. Тихо, просто, скучновато.

Михаил, однако, сумел оживить процесс. Это было трудно, на следствии он успел себя окончательно запутать. Желая показать свою преданность Советской власти, он как-то заявил следователю, что эмигранты предлагали ему пять тысяч фунтов за экшнionaж в Донбассе, но нет, не на такого напали! Петряков и Ивалов были допрошены. Профессор ничего не знал, кроме своих электрических волн. Но Ивалов (на всякий случай) проявил подозрительность: что же, весьма возможно.

Кроме того, было установлено, что Михаил приехал с деньгами и солидным багажом. Откуда деньги? Утаивая проделку с радиоаппаратами, Михаил не мог на это ответить. Точность суммы и описание переговоров с эмигрантами увеличивали подозрения: ведь не станут же ни с того ни с сего предлагать это неизвестному человеку! Показания Артема также не говорили в пользу брата. Правда, он настаивал на былой честности и храбрости Михаила, но одновременно заявил, что незадолго до отъезда брат просил записку к Бландову, предлагая за это часть прибыли. Предположение об экшпionage окрепло. С другой стороны, Михаил не хотел рассказать о своем прошлом. Что он делал после вычистки? Назван был лишь Центропосторг. Но Вогау находился в Нарыме, а заместитель его показал, что Лыков действительно служил в учреждении, откуда был выгнан за попытку смошенничать. Наконец, Сонечки Михаил так и не выдал. Значит, у него имелись сообщники. Всем этим участь Михаила была предрешена. Правозащитник (из бывших) Гаубе для ободрения говорил:

— Десятью годиками отделаетесь.

В душе он, однако, сильно опасался большего. Что касается второго подсудимого, случайно связанного с Михаилом шелковыми узами, Лазарева, то за ним числилась лишь эта сделка, он мог рассчитывать на пять лет. Впрочем, гадать было трудно. Многое зависело и от хода судебного следствия, и от состава суда. Председатель Громов, по словам людей судейских, отличался прямоотой, строгостью, умел хорошо вести процесс, но вовсе не был педантом. Он считался с подсудимыми, всматривался в их прошлое, учитывал не только факты, а и побудительные мотивы. Двух хмурых и настороженных нарзаседателей (один был рабочим-металлистом, другой трамвайным служащим) никто не знал. Михаил, взглянув на них, почувствовал сразу злобу: вот эти! Они казались ему глухими и знающими только свое назначение, как стены тюрьмы, как пуля: судить, засудить, убить. Тюрьма и ожидание его доконали. Он теперь совершенно не мог владеть собой. Сколько раз защитник уговаривал его вести себя спокойно, благообразно. Где тут! Руки метались. Глаза обыскивали зал, то юля перед Громовым, то шавками кидаясь на нарзаседателей. Что ни слово, он вскакивал с места. С самого начала председатель, на что уж был опытен, и тот смутился. Чтение обвинительного заключения Михаил прервал возгласом:

— Враки! Лучше бы вы Шестакова заполучили. Надо через Инодел его выдачи требовать, а не на меня валить...

Секретарша «Югвошелка» подтвердила, что видала Михаила у Шестакова еще весной, и неоднократно. Сначала Михаил забормотал:

— Ошибаетесь, гражданка, физиономию смешать очень легко.

Потом, после ее настойчивого заявления, что Михаила трудно с кем-либо спутать, он крикнул:

— Что я, спал с тобой?

Какой-то гражданин в зале, не утерпев, прыснул. Громов пригрозил удалить Михаила. Тот струсил:

— Извиняюсь. Расстроен одиночным заключением. Больше не буду.

Дошли до весенних записок. Громов любопытствовал:

— Это вы от Каца получили сто восемьдесят червонцев за окраску?

— Ничего подобного. Я даже не знаю такого.

— Однако на предварительном следствии вы признали, что записка эта писана вами и что скрывшийся Кац действительно сдавал вам шелк, который вы направляли для окраски, как принадлежащий государству.

— Извиняюсь. Не понял.

— На предварительном следствии...

— Вот что!.. Кац — вы говорите? Я его просто за Яшку знаю. Может быть, и Кац он. Плешивый такой? Действительно, Яшка Кац. Он в пивной на Арбате всегда сидел. Там и склеили... А отсылал Шестаков. Он и есть главный виновник.

Дело с «Югвошелком» казалось вполне ясным. К наивным приемам подсудимого все быстро привыкли, и некоторые операции, обделанные единолично Шестаковым, были приписаны ему. Занялись окрестностями дела. Тогда привели нового свидетеля — Артема Лыкова. Глаза братьев встретились, и встреча эта обоим далась нелегко. Как ни был стоек Артем, он все же заколебался. Промолчать? Сколько раз эти сомнения лихорадкой пробирали его, до суда, до вопроса, с той минуты, когда три строки в хронике «Известий» сообщили об аресте Михаила! Казалось, после последней встречи на бульваре ничего не должно уцелеть, и все же якобы преодоленное, выцветшее чувство еще копошилось, боролось, пробовало диктовать решения, и не будь пуританизма, не будь привычки к дисциплине,

оно бы победило. Оно граничило с темнотой кровных опознаваний, с мяуканием кошки над трагической помойкой, и Артем не мог от него отделаться: ни логика, ни воля здесь не помогали. Он любил брата, дрянного, подленького, любил, и что против этого скажешь? Сложись иначе обстоятельства, он отдал бы за него, за такого вот — жизнь. Но раздор шел не между двумя людьми. Михаил выступил против государства. Здесь-то и кончалась широта чувства. Простить свои обиды? Да, это легко. Но государство должно изъять Михаила, именно изъять. Если Артем не только на словах коммунист, он обязан и в этом способствовать общему делу. О его переживаниях никто не спрашивает. Легко или трудно подталкивать ему родного Мишку к стенке — это его, Артема, частное дело. Но молчать он не смеет. Убежденный после разговора на бульваре в виновности брата, он должен говорить. «Каждое слово — подвиг»? Подобные выражения надлежит оставить: Артем не любил декламации. Сколько раз он шел на смерть. Но скажите ему об этом, он удивится, может быть, и рассердится. Не на смерть — он шел занимать такую-то позицию, как и другие Артемы. Он в точности выполнил задание, и только. Тяжесть увеличивалась Ольгой. Здесь жизнь ясного, как бы насквозь прозрачного человека становилась, вне его воли, похожей на бред, на перепутанные страницы романа ужасов, на злостные наслоения экспрессионистического фильма. Хорошо, он принял все: ложь Ольги, ее беременность, чуждость. Но горшее началось со дня ареста Михаила. Уж не хитря, забыв о всех мыслимых подозрениях, Ольга теперь заплотняла комнату, сутки, уши, сердце Артема одним: «спаси его». Она молила, унижалась, пресмыкалась, как старая, неповоротливая, брюхатая сука, хватая руку мужа и пытая его и горячностью губ, и едкостью слез. Она кричала о бесчувственности, об этом ненавистном ей бессердечии человека-машины, грозила, если он не выручит Михаила, покончить с собой. Артем метался между человеческой требовательностью, шумной, истеричной, неотвязной — и призрачной, немой требовательностью идеи. Читатели знают, — может быть, и нет у нас гениев, может быть, мы надолго лишены прекрасных жестов нескольких безумцев, еретиков, юродивых, но ведь поэтому мы и сколотили, отстояли от разбоя и от огня, кое-как приспособили для жизни новый, новый нам, новый и миру дом. Это следует учесть. Артем, вернувшись от следователя, сказал

Ольге, что раскрыл дело с Бландовым, иначе он не мог. Тогда впервые уже не досада, а подлинная злоба переместила черты Ольги. Первой ее мыслью было: уйти, ни одной минуты не оставаться дольше с ним. Но другие соображения взяли верх: Ольга ведь жила теперь надеждой спасти Михаила. Она кидалась от одного плана к другому, от организации побега к размягчению сердца какого-нибудь члена ЦИКа. Она осталась с Артемом, все еще надеясь как-нибудь смягчить, переломить его. Суд совпал с первыми родильными схватками. Когда Артем уходил, он слышал ее горячий шепот:

— Спаси его! Не то умру...

Он выдержал ее взгляд. Теперь он выдержал и другое: взгляд брата. Знакомые глаза как бы кричали через головы красноармейцев, Лазарева, защитника: «Темка, сжался!..» Он выдержал все это. Тихо, но раздельно, заражая даже спокойного Громова своим напряжением, он повторил все, уже сказанное им на предварительном следствии. Пока он говорил о прошлом, о Киеве, о героизме ночи в «Скутари», Михаил ласково, как-то женственно улыбался, готовый кинуться к брату, ища у этих широких плеч защиты. Темка? Нет, Темка свой, он не выдаст! Но когда Артем дошел до Бландова, Михаил привскочил и, белея от ярости, крикнул:

— Вы знаете, граждане, почему он это говорит? Злитесь. Мстит. Я ведь с его женой баловался...

Артем сгорбился, вобрал в себя голову. Здесь все растерялись, кажется, даже старичку, что зашел погреться, и тому стало не по себе. Близость человеческого горя, вне статей Уложения, вне шелка и червонцев, на минуту захолонула все сердца. Артем продолжал:

— Насчет жены — это верно. Но злобы не чувствую. Говорю правду, как гражданин и как партийный...

Кончив показания, он ушел, ушел к разъедающей голубизне карауляющих его возвращение глаз. А заседание продолжалось. Вскоре общая неловкость сменилась деловитостью, даже некоторой веселостью, когда на вопрос общественного обвинителя, почему он исключен из партии, Михаил нагло ответил:

— Из-за моей исключительности.

Его допрашивали о берлинских переговорах. Чувствуя себя в этом невинно пострадавшим, он особенно горячился. Председатель заметил:

— Не кажется ли вам и самому странным, что, не зная вовсе, с кем имеют дело, они обратились к командированному?

— Абсолютно не кажется, раз это было. Вы меня не допрашиваете, а пытаете. Я ведь понимаю, куда вы гнете. Не так уж глуп. Только могу одно констатировать: я сам вам рассказал об этом. Будь здесь что, разве я стал бы выбалтывать? Как козырь, можно сказать, вытащил. А вы вместо того, чтоб оценить выдержку, меня этим же кроете. В таком случае, я об этом вовсе и говорить не желаю.

— А на вопрос, откуда у вас в Берлине были деньги, много превышающие суточные, вы тоже отказываетесь отвечать? — спросил общественный обвинитель.

Михаил взглянул на него. Тогда плотный чад младенческих лет, сырость и влажная духота киевского Пассажа обдали его. Нервически билась верхняя губа, руки же, не выдержав, пытались прикрыть, защитит глаза, эти жидкие, беспомощные, нежнейшие слезки, на которые целилась теперь «та самая рыбка». Выколупнет! Чем заменить их? Холодным логосом? Артистическим фосфором Абадии Ивенсона? Вместо ответа касательно денег, он заговорил невпопад, глупо и задушевно:

— Меня пожалеть следует. Я ведь с детства таким был. И никакого во мне чувства нет, только факты. Я вот радовался, когда телескопу глаза вырвали: у него глаза как на ниточках. Все вы на меня накнулись, а я об участии прошу. Причем, повторяю, я мофективным ребенком был, но никто мною не занимался. Вот и результаты...

Нет, не для подобных объяснений пришли сюда эти серьезные, занятые люди. Цифры. Окраска шелка. Присвоенные червонцы. Статьи Уложения. Один заседатель написал на листочке: «Прикидывается» — и показал другому. Лица их сохраняли при этом бесстрашие, только чуть поскрипел твердый грифель карандаша. А вопрос об экшпионаже и о берлинских деньгах так и остался невыясненным. Подозрения и предубеждения против подсудимого с каждым его выступлением возрастали. Была минута, когда даже на покойном, скорее задумчивом лице Громова обозначилось брезгливое возмущение: выяснялись обстоятельства, сопровождавшие вычистку Михаила из партии. Обвинитель заинтересовался, на какие средства жил Михаил до исключения? Может быть, и тогда он прибегал к шелку? Казалось, последует вразумительный ответ (ведь ни овчины, ни марки не были раскрыты). Но общественный обвинитель положительно

выводил Михаила из себя. Что он сделал этому маленькому человеку с черными усиками? Почему тот ехидно простодушничает, смотрит в упор, не моргая, и каждым словом подкапывается под Михаила?

— Я партийность свою заслужил, как и орден Красного Знамени, в бою заслужил, а не при подобных разговорах. Если б я даже фактически извлек из этого пользу, то менее виноват, чем всякие прочие. Посмотрели бы вы, сколько партийных спекулируют. Их вы не трогаете — руки короткие, а все на меня. Почему? Да только потому, что я «вычищен». Очень просто, гражданин обвинитель. Отобрали у меня партбилет, как будто и не заработал я его, а с лотка слизнул...

Здесь-то и председатель поморщился. Впрочем, он быстро сдержал себя, ограничив ремарку формальными рамками:

— Подсудимый, отвечая, вы должны обращаться к суду.

Председателя Михаил и уважал и побаивался. Вновь он вытянулся по-школьному:

— Извиняюсь.

Пока длилось судебное следствие, и Громов и народные заседатели зорко-угрюмо следили за каждым словом. Их карандаши скрипели, заноса цифры, даты, имена. Они знали, что это работа, серьезная работа. В голове металлиста она сливалась с переборами заводских машин, трамвайный служащий видел дезорганизованное движение различных линий. Но когда начались выступления сторон, напряженность сменилась скукой, едва скрываемой досадой: зачем они говорят? Как будто заседатели — дети, которые сами не могут во всем разобраться! Стороны ощущали бесполезность красноречия, и речи, произносимые почти для проформы, отличались подобающей сухостью. Они (даже бывший присяжный поверенный Гаубе, столь любивший некогда рычать, утирая лоб фуляровым платком) невольно подчинялись суровому стилю этого заседания спецов. Речи были заранее известны, они скорее являлись этикетом процесса, нежели его живой частью. Все, например, знали, что общественный обвинитель будет настаивать на «высшей мере», ввиду злокачественности преступления, отсутствия раскаяния, партийности, понимаемой, как выгода, будет говорить о чистоте революции и о необходимости радикальных мер. Знали наперед и речь правозащитника, с беспрестанными возвратами к ордену и к «Скутари», с ссылками на пролетарское происхождение и с методически задушевными просьбами о снисхожде-

нии. В этой торговле за человеческую жизнь, кажется, никто не был заинтересован. Громкие слова, вроде «честь революции» или «пролетариата, который не мстит», произносились тихо, вяло, как будто говорившие чувствовали их ненужность и неуместность. Громов в это время изучал повестку, один из заседателей рисовал эмблему профсоюза (на конкурс), причем карандаш его, занятый тушевкой, лениво посвистывал, другой разглядывал публику. Несколько оживились все, когда вновь заговорил подсудимый. Слова его казались важными: может быть, хоть в последнюю минуту он заговорит всерьез. Не в лирике дело, не в чувствах, нет, надлежит определить будущее, выяснить возможность исправления, установить степень социальной опасности. Здесь могла начаться настоящая защита. Но Михаил не думал защищаться. Обрадованный тем, что наконец-то его не прерывают, что вместо ответов на назойливые и неудобные вопросы ему позволено теперь говорить свободно, он чувствовал оживление, даже приподнятость, он решил выложить самое большое, самое важное, показать всем этим людям, кого они судят.

— Вы вот все о шелке спрашивали, как будто и не существует вовсе меня, то есть Михаила Лыкова. Я, конечно, понимаю,— напакостил. Но в этом ли суть? Что важнее, разрешите спросить вас, жизнь борца или интересы? Я не себя, исключительно обстоятельства обвиняю. Есть в Москве казино, самое что ни на есть разрешенное. Не скрою,— захаживал, когда денжки водились. Так там та же самая история. Выскочил твой номер — иди, что называется, задрав голову. Прогадал — пропадай, иллюстрируй хронику в виде пошлого самоубийцы. Неумолимо. Вот я, граждане судьи, прогадал. Мой номер вовсе не вышел. Вы мне смертью грозите. Я, прямо говорю, смерти боюсь. Кусаться буду. А вот раньше не боялся, шел себе и посвистывал. Меня тот астраханец всю ночь по морде лупил. А я улыбался. Как же это случилось? Нельзя не задуматься. Из партийных списков, конечно, вычеркнуть очень легко: обмакнул перышко — и нет такого-то. Да и расстрелять нетрудно. Сам знаю — приходилось. Только это ничего не разрешает. Факт остается. Перед вами, как вы меня ни называйте, герой Октября... Я когда себя вспоминаю,— не верится даже. Горело все во мне. Я памятником мог стать, а вместо этого до Яшки Каца опустился. Вы жизнь судите, граждане судьи, она меня

и довела до этого. Всякий это понимает, что приятней Перекоп брать, чем с проклятым шелком возиться. Как я увидел «Лиссабон», — здесь и цыганки, здесь и мадера, — обалдел. Как же такое разрешают? Ну, одни — бараны вроде моего братца, им скажут: «Ради коммунизма подушки вышивай», сейчас же все наперстками вооружатся. А другие с дипломатией лезут: «Мы, мол, им очко, а с них два». Мало нас попы царствием небесным кормили! У меня критический ум, может быть, в этом и главная моя вина. Конечно, и простор человеку нужен. Не всякому: Темка, тот в склянке проживет. А у меня не такие руки. В конечном счете, не будь революции, я, может быть, примирился бы с категорией. О происхождении моем вам уже гражданин правозащитник говорил: самое что ни есть злосчастное. Стал бы официантом. Но вот взяли и показали мне такую жизнь, такое горение, что я просто с ума сошел. И вдруг вылезает такой Яшка Кац как ни в чем не бывало. Это трагедия, ее в театре можно ставить, слезы лить, а вы все шелк да шелк. Ну, украл. Это же частность, деталь. Я и на худшее мог пойти. Вас, например, деньги интересуют: где шестьсот червонцев? Отдал их, а кому, не могу сказать. Остатки благородства. Да и незачем — все равно плакали ваши денежки. Нет их, вышли, вроде как я вышел. Вы меня пристрелить должны, чтобы не стоял я перед вами живым укором. И еще — насчет Берлина. Ложь это! Я Советской России не предал и не предаю. Хоть и надула она меня. Память волнует: в Себеже чуть до слез не дошел. Вот и все. Был Мишка, захотел он прыгнуть вроде портного Примагина — и не смог, промахнулся. А удалось бы, вы бы обо мне биографию писали...

Речь эту он произнес с большим подъемом, надрываясь, жестикулируя, внося в скромный зал нечто чуждое и неприязненное. Как все обрадовались, когда он наконец-то кончил! Слова его были слишком напыщенными, чтобы растрогать, а голос... Но люди, слышавшие не раз и крики расстреливаемых, и басы тяжелых орудий, и плач умиравших с голоду ребят, уже не могли интересоваться оттенками человеческого голоса. Они делали свое дело: выслушивали, высчитывали, определяли. Вместо раскаянья они увидели самоуверенность рецидивиста, откровенное шкурничество, целую философию рвачества, отдававшую, кроме того, контрреволюционным духом. Все же они совещались долго, как честные и прилежные слепцы, которым поручено обсудить пригодность той или иной модели. Михаил

в это время полулежал на скамье, опустошенный своей речью, обессиленный, бесчувственный. Он вновь погрузился в темноту физиологических образов. Отрывистые рефлексы передергивали порой неподвижность корпуса. Когда раздался звонок и все встали, он еле приподнялся, не соображая больше, где он, что совершается, с неотвязностью последнего образа: «Мозги телячьи в сухарях, рубль двадцать». Он опустил длительное чтение, статьи и параграфы, три года, которые получил мелкий статист этого процесса, все время чувствительно вздыхавший или стонавший Лазарев. Он расслышал только одно — «к высшей мере». За этим следовало: «...принимая во внимание заслуги перед революцией и пролетарское происхождение, ходатайствовать...» Но это уже не обозначалось в его сознании. «К высшей мере!» Еще с минуту длились темнота и бесчувствие. Формула перерабатывалась в голове. Наконец он понял: конец!.. Тогда-то и раздался этот ужасный, высокий, тонкий вой, заставивший всех быстро отвернуться. Пока Михаила выводили, он показал, что его слова не образы: отбиваясь, он действительно укусил руку одного из красноармейцев. Человек понял бы всю несуразность такого поведения. Но человека не было. А зверь чувствовал, что его тащат на смерть, подстреленного добивают, и зверь визжал, царапался, кусался.

Следующим слушалось дело о гражданине Рейх из «Фарфортреста», обвинявшемся в незаконной продаже партии суповых мисок.

Жизненность героя. Нежизненность других

С какой радостью мы опустили бы эту главу! Страдания, пусть и не героические, несколько примиряют с человеком. Мы убеждены, что вой выволакиваемого из зала Михаила дошел до читателей, сменив на жалость недавнее осуждение. Не всем же дано быть судьями! Слушая этот вой, мало кто помнил бы о тридцати пяти главах (или двадцати пяти человеческих годах), о всем разнообразии пакости, начиная с Ольги и кончая неподмоченным шелком. Покинуть нашего героя здесь, может быть, заставить его умереть, — какой это соблазн, и нелегко нам дается

правда, жестокая, безоговорочная правда, заставляющая нас раскрыть новую подлость Михаила. Мы сами принижены и опустошены рассказываемой нами историей, длительным сожительством с неистребимой живучестью этого, для всех умершего, может быть, даже и несуществовавшего человека. Но профессиональный долг, побуждающий врача любовно склоняться над язвами, гнойниками, разлагающимися внутренностями уже дышащего трупным зловонием пациента, подстегивает и нас: ты видел это, что же, расскажи об этом обстоятельно, чтобы все знали, для кого цветет наша земля и над кем блистают звезды.

Ком барахтавшейся и мычавшей массы, называемый еще «Михаилом Лыковым», после суда был доставлен в тюрьму. Там он начал, вытягиваясь, опоминаясь, мало-помалу принимать форму человека, способного говорить, даже думать. Его укороченные мысли напоминали строение примитивных существ, угрюмое вращение инфузорий в капле воды. Все они не выходили из пределов: «высшая мера» — «ходатайствовать». Другой сообразил бы, раз суд ходатайствует, можно успокоиться. Но цепь человеческих взаимоотношений, реальность некоторых слов, формул, институтов, — все это уже лежало вне поля зрения Михаила. Первенствовала исконная подозрительность: ходатайство добавили для проформы, для успокоения себя и других, как счастливый конец фильма, может быть, просто для того, чтобы удобнее выволочь Михаила из помещения суда. Дудки, не на такого напали! Что значит это слово — «ходатайство»? Бумажный шелест, отписка. Оно пасует перед конкретностью «высшей меры». Конечно же, надувательство! Его убьют, убьют завтра, возможно, сегодня, сейчас! Уже идут! Останавливаются у двери...

Что бы то ни было: обычная проверка, глаз надзирателя, прилипший к волчку, кипяток, — все это воспринималось Михаилом как приход за ним, как финал. Можно сказать, что он умирал ежечасно. Умирал и, чудодейственно спасаясь, снова воскресал для скудной, жидкой надежды, едва просачивавшейся в душу, как в оконце болезненный свет декабрьского дня. Он дошел до полного забытья, уснул, но вскочил под утро, разбуженный легким треском койки: идут! Никто не вошел. Однако больше успокоиться он не мог. Что делать? Ждать? Это не в его силах. Спасти! Жить хоть один месяц, но зная наверняка, что его не тронут. Покаяться? Не поможет. Приговор прочтен, скреплен печатью. Выдать Сонечку? (Да, мы не скроем, сейчас он

без колебаний выдал бы и свою Артемиду.) Тоже зря. Денег у нее нет. Девочку, конечно, на всякий случай засадят. Но его, его пока что убьют. Выдать себя? Раскрыть какое-нибудь, неизвестное еще, дельце, хотя бы с аппаратами, чтобы его снова допрашивали и судили? Три месяца обеспечены. Но нет же! Зачем его станут судить, когда он уже заработал «высшую меру»? Тогда...

Так в гнилом кружении уловок, среди многих тихих и мучительных шорохов, при смешанном, отравном свете чающего утра и придушенного рожка, родилась эта мысль: припутать! Руки ловили спертый воздух и полусвет, душа же, душа, оплеванная Минной Карловной и торжественно осужденная общественным обвинителем, вовсе отсутствовала. Скорее! Кого-нибудь! Все равно кого, пусть не причастного, беспомощного, чужого. Кого же? Да хотя бы профессора. Никакой ремарки о низости поступка не последовало. Паузы диктовала не совесть, а только рассудок стратега, наспех обдумывающего план отчаянной вылазки. Да, Петрякова. Он и Петряков совместно надудали государство. Начнут проверять, расследовать, запросят Берлин. Если только себя, не обратят внимания. Уже осужден. Если только Петрякова, могут не поверить: Ивалов покажет, что закупками ведал Михаил. Значит, обоих. Новый суд. Не спасение, только отсрочка? Все равно. Где уж тут считать, стоит или не стоит, когда любой шорох означает конец...

Если читатели до сих пор еще не знали в точности, для кого цветет земля и над кем традиционно «блистают» звезды, если мало им было горящих театров, с их не совсем обычным выходом по истоптанным плечам, если случайно они не слышали о торпедированных пароходах, о борьбе за шлюпки, о скидываемых за борт стариках или ребятах, что же, тогда мы покажем им казенный тюремный лист, на котором рукой Михаила было старательно выведено:

«Главному Прокурору Республики.

Прошу отложить выполнение высшей меры ввиду важности сохранения моей жизни. Хочу дать откровенные показания о крупных хищениях, совершенных мной совместно с профессором Петряковым при закупке радиоаппаратов в г. Берлине».

Его хватило на это, сказали мы, когда, припертый следователем к стенке, наш герой все же не назвал Сонечки. Повторим еще раз: и на это его тоже хватило.

Мы можем теперь оставить его, спующим по камере или лежащим на койке, с чередованием надежды и страха, с обост-

ренностью слуха, изучающего партитуру тюремных звуков, далеки от каких-либо примет раскаяния. Он сделал все, что мог. А мы поспешим в знакомую нам квартиру № 32, вряд ли способную порадовать глаз и сердце даже после дома предвзятельного заключения, в этот чад салыных оладий и кухонных пересудов. Не к Сонечке — что сказать об этой легкомысленной особе? Михаил не ошибался: червонцы были быстро промотаны, первые страхи, вызванные арестом приятеля, давно улеглись, шли обычные дни, делимые между работой и отдыхом, между перепродажей хинина и танцем «ява», начинавшим вытеснять фокстрот. Вот только Михаил не знал, что Петьку-футболиста успел сменить пылкий грузин Лель Джупидзе, совмещавший мелкую службу в некоем солидном учреждении (им игриво называемым «госпупчиком»), с участием на паях в хинных и других предпрятиях, являвший, таким образом, идеал Сонечки, дивное сочетание в одном всех запросов и тела и души. Не малое количество из злосчастных шестисот червонцев пошло на кутежи, ботинки, портсигары, галстуки этого далеко не мифологического Леля. Нет, не к Сонечке направимся мы, но к ее отцу, судьба которого после последней выходки Михаила оказалась неожиданно связанной с судьбой нашего героя.

Духота, немощность, безнадежность, давно уже превращавшие ночи профессора в метания, в переворачивания с боку на бок, в горькую сухость губ, в настойчивость часовых отстукиваний с покалыванием сердца и с мыслями о смерти после берлинской поездки еще более сгустились. Плацдарм, до последнего времени защищаемый некоей воображаемой армией, как бы сузился. Петряков больше не ждал спасения. Паллиативы, будь то обстоятельство какого-нибудь доклада, заботы «цекубу» или крепкий озон солнечного морозного утра, уже не действовали. Беспечность своя и своего дела, сливаясь в одно, делали дряхлыми не только тело, кожу, сосуды, но и мир, проделывавший за окошком или на столбцах сухих угловатых газет хоть энергичные, однако вневольные, предсмертные сокращения. Урезки наркомпросовского бюджета, чистка вузов, общая трезвость опоминания — все это, как бы со стороны, подтверждало доводы бессонных ночей. Запад нес то же: вымирание наивных чудаков, еще веривших в бескорыстность знания, патенты или голод, физику для удобств Моргана и химию для удушения Японии. Организм Петрякова сдавался, как его ум, день за днем, не видя больше смысла в дальнейшем сопротивлении. В голодные герои-

ческие годы он был стоек. Огромное напряжение заменяло тогда недополучаемые калории. Теперь же сказался перерасход тех лет. Свора болезней с жадностью накинута на подшибленную добычу. Врач прописывал лекарства, режим, диету, и Петряков послушливо выполнял все его указания, не в жажде вылечиться, нет, просто, как различные жизненные отправления, так же как считал белье, относя его к прачке, и ходил в столовую Дома ученых,— он не был по природе бунтарем. Он понимал беспечность лечения, ибо каждая частица его организма болью, замедлением или же ускорением, подергиванием, отмиранием подтверждала ночные догадки: скоро конец. Ржавь механизма не допускала починки. Чувство это как бы смягчало Петрякова, оно делало его более рассеянным, пожалуй даже более благодушным. Получая теперь грубоватую записку от какого-нибудь рабфаковца, профессор уже не досадовал. «Так и должно быть,— кротко думал он,— я не нужен, все мы не нужны, шкафа же, знаменитого шкафа никто не построит». Направляясь каждый день на улицу Крапоткина обедать, он часто останавливался в сквере, у храма Спасителя и подолгу глядел на игры ребят. Хотя эти игры были жестокими, с бандитами, с расстрелами, с бранными, заторными словами, невинность глаз и тонкость серафических дискантов умиляли старого профессора: так и Сонечка играла. Прежде его омрачили бы мысли: вот что из нее вышло, эти тоже станут лживыми, гадкими, признающими только штыки и червонцы. Но теперь он не думал об этом, он был уже настолько вне жизни, что получил право смотреть со стороны, может быть даже сверху, смотреть бескорыстными и спокойными глазами. Поэтому он видел детство, только детство, одинаковое ныне и тысячу лет назад, и детству он улыбался. Даже обитатели квартиры № 32 не могли больше раздражить его. На все ехидные попреки Швейге или Даниловых он только тихо, сострадательно, скорее ласково, нежели обиженно, отвечал:

— Да, тесно живем, очень тесно.

В этой терпимости он дошел до того, что, столкнувшись как-то с Сонечкой, заботливо забормотал:

— Ты вот с открытой шеей ходишь, простудишься...

Соседи, даже дочка, уже никак не занимали его. Дни являлись только паузами, пробелами, передышкой среди разгоряченных ночей. Можно сказать, что Петряков готовился к смерти. Если он по-прежнему, несмотря на болезни, несмотря на

убеждение в бесцельности своих занятий, работал, упорно, настойчиво, преодолевая все трудности, приближаясь к концу, к разрешению проблемы, столь увлекавшей его европейских собратий, то это объяснялось желанием ввести самую смерть в жизнь, принять ее не как глупую катастрофу, но с достоинством, умереть, как он жил, — над листом писчей бумаги, с пером, до последних судорог исправно выполняняя никому не нужное дело, глаз на глаз с формулами и совестью.

Такой смерти ждал Петряков. Он не знал о визге, о вое, о томительном копошении и буйствовании осужденного губсудом Михаила Лыкова. Услышав как-то, что его арестовали, профессор сокрушенно вздохнул: «Бедный юноша, такой симпатичный, вот оно, новое поколение!..» Он дал следователю самые благоприятные для Лыкова показания, а на суд не пошел, скошенный приступом грудной жабы.

Поздно вечером, когда он сидел за работой, вошли чужие нахмуренные люди и, показав бумагу, деловито приступили к обыску. Один из них упомянул о сделках в Германии, об аппаратах, о валюте. За дверьми, хоть напуганные, однако глубоко удовлетворенные, шушукались жильцы квартиры № 32: «Наконец-то!». Они отыгрывались на отце за все обиды, нанесенные им Сонечкой, которая, после внедрения Джулидзе, окончательно обнаглела, назвав как-то почтенную вдову Швейге «драной кошкой». Накрыли папашу, теперь и до дочки докопаются! Сердито покашливая, полуодетый Петряков ходил из угла в угол, пока чужие люди перетряхивали его рукописи. К шороху листов присоединялись шлепанье туфель и мучительность астматического задыхания. Он начинал понимать значение этого прихода: его обвиняют в воровстве, в самом вульгарном воровстве, его, живущего впроголодь, удивляющего заплатами даже ко всему приученных служащих Дома ученых. Как ненужный хлам, раскидывают рукописи, среди формул и горя ищут червонцы. Что же, здесь судьба ставила точку, может быть, и не на месте (ведь не о таком конце помышлял Петряков), но с судьбой спорить не приходилось. Еще несколько минут, несколько неизбежных, навязываемых жизнью, вроде обеда или прихода полотеров, движений — и все будет, к общему благополучию, ликвидировано. Незаметно он засунул в карман бутылочку со стрихнином.

— Я пройду в уборную.

Люди не возразили, но один из них последовал за профессором, чтобы караулить у двери. В коридоре Петрякова обдал злорадный шепот соседей. Он хотел в ответ улыбнуться этим почему-то злым и все же близким, хотя бы территориально, лицам, но не смог: челюсти дрожали от волнения. Оставшись один, он вытащил склянку: сразу и залпом. Он, однако, помедлил. Предстала какая-то сжатая формула жизни: стеклянные глаза жены, Сонечка, революция, лекарства, аппараты, червонцы, раскиданные листы работы. Все сделано — можно кончать. Но не за работой, нет, в этом темном и вонючем сердце квартиры № 32, под надписью «Мочить не разрешается», здесь! От грубости, от уродства жизни профессор еще раз вздрогнул, последний раз, так как дальнейшие движения, толчки, отдачи, конвульсии, механическая тряска мускулов были уже агонией, протекавшей вне его сознания.

Кажется, в тот самый вечер Михаилу Лыкову сообщили, что, согласно ходатайству суда, высшая мера по отношению к нему заменена десятью годами заключения, с соблюдением строгой изоляции. Вначале он задрожал, потом понял и сладостно потянулся, улыбаясь возвращенной жизни.

На десятой или пятнадцатой перекладине

Дар, впрочем, оказался обманным. Очень скоро Михаил понял это. Вряд ли могли быть названы «жизнью» маячение, вращение и засыпание, оставленные помилованному герою. Конечно, другой примирился бы, но ведь Михаил не лгал, заявив судьям, что он не Темка и в банке жить не согласен. Заявление это никого не заинтересовало, и на голову бедного Глушкова (начальника изолятора) был взвален действительно непосильный груз в виде редчайшего заключенного. Есть самоограничение, необходимое и в творческой работе гения, и в шести будничных днях, седьмом воскресном любого обывателя. Всячески одарив Михаила — пестрой окраской, фантазией, темпераментом, — судьба этой добродетели ему не дала. А внешних рамок он не терпел. На что широк белый (белый ли?) свет, и тот жал

нашего героя, выворачивая зевотой челюсти и заставляя со скуки кидаться, куда попало: то к рулетке, то к девочкам, то под пулю. Кажется, этим, то есть неуспешностью, широтой прыжков и ограниченностью мира, где, кроме естественных пределов трех измерений, на каждом шагу торчат стены государства, морали, эстетики, размахом рук и скукой, невыносимой скукой существования, объясняется добрая половина человеческих преступлений. Каково же было Михаилу, всерьез почитавшему жизнь за тюрьму, очутиться в настоящей тюрьме, перенести свои страсти и метания в крохотную спичечную коробку, где тщательно содержится муха, словленная сердобольным мальчиком? Руки, чуть разойдясь, налетали на известь стены, мечты же должны были ограничиваться подсчетом дней, часами супа и кипятка, злой жесткостью койки. Михаил, изолированный от жизни, умирал. Что он мог делать с собой? Бить себя? Ласкать? Он не умел ни вспоминать, ни мечтать, все его мысли носили утилитарный характер, они только подготавливали какие-либо поступки. Даже знаменитые тридцать страниц Куно Фишера, в свое время им проштудированные, являлись подготовкой к высокой партийной карьере, то есть сосредоточенным приседанием перед прыжком. Здесь же не прыгнешь. Четыре стены. Остается только биться о них. Действительно, когда миновала первая животная радость от ощущения подаренной жизни, от хлеба, который успеет перевариться в желудке, от спокойного сна, не прерываемого никем, когда он впервые почувствовал: «10 лет», эту цифру 10, помноженную на месяцы, дни, часы, огромную рябь одинаковых часов, гулких от тишины, кружащихся мириадами точек перед воспаленностью глаз, он начал биться об стены. Ни уговоры, ни наказания здесь не помогали. Глушков терял голову.

Бедный Глушков! Человека и без этого арестанта достаточно мучила новая инструкция «о классовой политике в местах заключения». Как это понимать? Проблема казалась ему непреодолимой. Досада и горечь школьника перед хитрой задачей овладевали им, хотя он был коммунистом, знал, что такое марксизм, более того, в короткие часы досуга одолел «Детскую болезнь левизны». Тщетно искал он в сухом абстрагированном мире, в этом раю наизнанку, называемом «изолятором», мыслимые классовые подразделения. Перед ним были одни номера, и он терялся (так же, как терялся некий киевский профессор, которому предложили установить классовую

природу математики). А здесь еще новый арестант с его вечными буйствами, руганью, слезами. Тяжелая это должность! Поскольку уже речь зашла о Глушкове, можно раскрыть, что, несмотря на образцовый порядок в изоляторе, на весь боевой облик, он был в душе несчастнейшим человеком. Наказывать других людей не так-то легко, это не всякому дается, особенно в переходные времена, когда стирается грань между теми, кто наказывает и кого наказывают. Хорошо у Ламбозо расписано: форма черепа, уши без мочек и так далее. Но Глушкову приходилось наталкиваться сплошь и рядом на людей, ничем от него не отличавшихся. Все мочки на месте. Они тоже в прошлом были коммунистами, читали «Детскую болезнь», носили кожаные куртки или галифе. Один — политком полка, увлекшись железкой, продул казенные деньги, другой — принял в трест своего тестя, который что-то дал, что-то взял, получил подписи, с родственной нежностью обнял коммуниста и быстро привел его на скамью подсудимых. Третий... Но стоит ли перечислять? Невидимый волосок, необдуманый поступок отделяли их прежнюю, честную, идейную и вместе с тем уютную жизнь от камер изолятора. Думая об этом ночью, Глушков ворочался, потел и скидывал томившее тело одеяло: он чувствовал себя на «волосок» от судьбы заключенных. Почему он держит их, а не они его? Выручала (поздно, часто только под утро) дисциплина: раз приказывают, значит, так нужно. Ясно, что ЦК, ЦИК и коллегия Наркомюста умнее какого-то Глушкова. Со столь успокоительным реземе он засыпал.

Зато обычные кошмары ночей тюремных начальников, надзирателей, караульных — перепиленные решетки, разобранные стены — не навещали Глушкова. Если сторожить, то уж сторожить хорошо. Даже наш фантазер начинал понимать, что отсюда не убежишь. Только на Якиманке голубоглазая мадонна, укачивая пискливого, как мыш, младенца, названного по настоянию Артема Кимом, все еще жила романтическими надеждами на побег. С невидящими белками и упорством лунатика, присущим кротчайшим любовницам, судьбой вознесенным в героини, она пыталась и мужа запутать в это дело. Тщетные, разумеется, попытки: Артем, идущий против государства, — какая горячка могла вычертить столь гротескный образ? Если Артем и страдал от участи, постигшей брата, то свою боль он стойко скрывал. А Ольга рядом, столь же тихо, подпольно вынашивала сложные планы с подкупами, переодеваниями, пере-

дачами хлороформа, напильников, револьвера. Только одни глаза ее поддерживали: еще бессмысленные, скорей две капли желатинной жижи, нежели человеческий орган, но в которых уже проступали обманчивый пигмент, фосфорическая напасть, ложь и подлинная люта я мука часов, полных хрипоты, мыслей о Бландове, двойного одиночества.

Узнай Глушков о мечтах Ольги, они показались бы ему верой в загробную жизнь. Из изолятора не так легко было убежать. Солидность заключения поворачивала мысли Михаила в другую сторону: к амнистии. Скостят, обязательно скостят, на треть, потом еще на треть. В общем, он, пожалуй, отделается пятью годами. Но хоть цифра 5 и вдвое меньше 10, желательного облегчения она не давала, множась на столь же мучительные коэффициенты, превращаясь в ту же рябь однородных и невыносимых часов. Различие не ощущалось, и, поскольку речь шла о пустыне, ни количество песчинок, ни объем площади не ослабляли сухости, духоты, отчаяния. Он явно погибал.

Не просто проходило это: организм еще боролся. В ходе дней и часов попадались приступы устойчивости, жизненности, мнимого выздоровления. Михаил тогда настойчиво пытался вымостить базу, начать жить в предвидении некоей минуты, допускаемой лишь абстрактно, как результат арифметических выкладок, минуты, завершающей десять или хотя бы пять лет. Последние вещи, воспринятые свободным человеком, вставали в его сознании: когда раскроются ворота, он сразу увидит трамвай и голубя, описывающего грузную дугу. Для этой минуты стоит жить. Он пробовал заниматься. Книги, которые он читал, сказали бы наблюдателю, что и этот закоренелый преступник начинает каяться, исправляться, готовиться к честной гражданской работе. На самом деле они являлись лишь косяками, за которые пробовал хвататься выволакиваемый вон из жизни Михаил. Страница такая-то. Конспект. Зачем? Пригодится. Когда? И снова подсчитывались месяцы, дни, часы, чтобы при одном из подобных подсчетов Михаил, вернувшись к давней своей привычке, выместил на книжках тоску, чтобы он истоптал, порвал их. Наказанный Глушковым, наш герой похабно ругался и скулил. Так кончилось это кажущееся исправление. Протянулась еще неделя-другая. Цифры не менялись, скромная работа часового механизма или сердечной мышцы, этого маленького червячка, не могла подточить величавой глыбы десяти лет времени или, вернее, для него безвременности.

Был еще взрыв, когда Михаил, разглядывая себя, вдруг увидел расхлябанность живота, дряблость рук, ослабление всего корпуса. Это убедительней, нежели зевота, томление и мутность мыслей, заявило о конце. Он струсил и заметался. В лихорадочных розысках выхода он решил заняться гимнастикой. Несколько дней подряд, маниакально, до отупения и сна, он предавался методическим телодвижениям, вбирал и выкидывал руки, подпрыгивал, даже кувыркался. Результаты не чувствовались. Тело его, всегда чуждавшееся выдержки, оказалось малоприспособленным к подобной учебе. Ноги должны были мерить длину московских бульваров, руки кидаться навстречу прохожим, молить Сонечку, бить Ольгу, рвать, рвать безразлично что — московскую разновидность самофракской «Победы» или червонцы, — но обязательно рвать. Шведская гимнастика только оскорбляла их, и очень скоро Михаил презрел новое лекарство. Он снова отдался движению часов, медлительному и пагубному. Куда девалась улыбка, добротная улыбка, вызванная в день смерти профессора сообщением о 10 годах? Жизнь, столь дорого оплаченная страхом, беспамятством, стрихнином Петрякова, мысленной выдачей Сонечки, то есть истреблением последнего, чахлого, однако упорствовавшего в своем прозябании чувства, — эта жизнь оказалась фиктивной, неживой, выдуманной в коллегии Наркомюста, она оказалась той же смертью, только растянутой, чтобы человек успел ощутить ее цвет и запах, зеленатоватую муть воздуха, гнилость слюны.

Хоть и поразительно это, но точно: несмотря на мучительность процесса, на пустоту порожних суток, на бессонницу, Михаил не испытывал ничего, что мы могли бы, даже с натяжкой, назвать раскаянием. Поскольку, вызванное случайными ассоциациями, вставало перед ним прошлое, он жалел себя, жалел трогательно и упорно. Неудачи, пакости судьбы, нагромождение случайных обстоятельств — вот в чем видел он объяснение своей жизни. Он мог бы родиться иным, вырасти в другой среде, получить завидное образование. Став коммунистом, он мог бы, вместо унижительной вычистки, выдвинуться в вожди. Наконец, раз он уж пошел на темные делишки, он мог бы не засыпаться. Все это не его грехи, а номера рулетки. Везет же другим. Те, кому везет, презирают, марают автомобильными плевыми, гонят с помощью курьеров, вычищают из партии, судят, держат в тюрьме неудачников. Такую мораль вынес он из своей хотя кратковременной, однако достаточно содержательной

жизни. Что касается Петрякова или Сонечки, это тоже не его вина, это несчастье. Профессору все равно пора было отправляться восвояси. Сонечка же, наверное, счастлива. Только он страдает, еще живой и несчастный. Предательство вконец уничтожило его. Была же Сонечка, гордо отстаиваемая на суде, следовательно, весомая, точная до округлости, до ошутимости в любой момент пушка на ее щеке или сухого учащенного дыхания. Ее не стало. Такое разорение нельзя объяснить иначе, как грабежом, систематическими налетами судьбы. Любить, самозабвенно любить Артема, чтобы почувствовать перед зеленой скамейкой, перед грузной глыбой плеч одну злобу, звериную, темную злобу. От взволнованных слез перепорхнуть к Бландову, оставаясь все на том же тесном клочке земли, определяемом душой или, если угодно, телом Ольги. Наконец, выдать (пусть мысленно) Артемиду, выдать страсть, нежность чувств, об исключительности которых хорошо знают снега Полуэктова переулочка, деревья бульваров и бронзовый Пушкин. Год за годом его обкрадывали. Он устроил бы суд, не заседаньице насчет шелка, нет, настоящий суд. Там бы, сойдя со скамьи подсудимых, он предстал бы как потерпевший, как гражданский истец, выкладывая обиды, подводя счета убытков, требуя справедливого наказания. Кажется, только набожный шепот всего мира, любовь всех женщин, универсальное участие могли бы хоть несколько вознаградить его. Вместо этого ему бросили знаменитую цифру 10 (вероятно, для простоты умножения). Каяться? Нет, негодовать. Еще жалеть себя и, приучив соответствующие железы к новому режиму, прерывать ругань или механические выкладки месяцев, дней, часов регулярностью слез, ровных и беспредметных, как хронический насморк.

Так отмирание перешло в следующую стадию: попыток спастись, производимых уже инстинктивно, серии конвульсивных прыжков, лишенных примитивной обдуманности и способных лишь изнурять злосчастного Глушкова. Разбивая стекла, Михаил осколками резал себя, резал не всерьез, на половину, даже на четверть, марая лицо кровью и визжа от неподдельного ужаса. Зачем? Глушков перебирал различные догадки: симуляция сумасшествия, хулиганство, наконец, желание сменить койку на спорный комфорт тюремной больницы, куда после первой из таких попыток был помещен арестант. Он не догадывался, что и для самого Михаила подобные поступки оставались темными и загадочными. Зачем как-то, оттолкнув надзирателя, он бро-

сился бежать по коридору? Сколько поворотов, этажей, надзирателей, сколько дверей с часовыми, с пропусками, контрольными жетонами, проверками отделяли его от воли? Несколько глупейших прыжков, и только.

Глушков не понимал, наказывал, увещевал. Хорошо быть начальником исправдома, — там понятны и функции мастерских, и назначение сердца: это возвышенные порывы соборских фребеличек, только с некоторой наждачной жесткостью ласкающих воспитанников рук. Но зачем существует изолятор? Изолировать? Это вполне понятно, это даже естественно для стен, однако это трудно дается человеку, хотя бы тому же Глушкову. Начальник всячески хотел смягчить прямоту и сухость задания. Он пытался и в лепрозории остаться медиком с благодушным молоточком и трубочкой. Отсюда улыбка при виде книжек и конспектов. Отсюда тюремный театр, где один (подделывавший червонцы) артист нарисовал, по просьбе Глушкова, символическую свободу в виде симпатичной женщины с буйным бюстом и с красным знаменем. (Наивный, он не учел, как будет это двойное изображение равно недостающих и свободы и женщины волновать пациентов.) Он устроил для молодняка начальные курсы политграмоты. Он, право же, старался. Но на проделки Михаила не хватало ни гуманности, ни терпения.

Ольга надеялась, писала трогательные письма, достойные издания, читала ежедневно «Известия», думая разыскать, как сказочный клад, затесавшуюся среди «международного положения СССР» и «валютной реформы» амнистию. Она даже наладила приятельские отношения с одним из надзирателей изолятора, который, однако, дальше принятия папирос и философического «оно конечно», не шел. Она надеялась, не могла не надеяться, живая, животно окрепшая, полная, голубоглазая, ожидающая рядом с законным мужем другого — настоящего. Романтический чад Харькова перешел теперь в густоту быта, похожего на изобилие молока, даже Михаила делая добротным отцом Кима, супругом, находящимся в длительной отлучке, в некоем дальнем плавании. Она не считала дней и часов, веря, что хватка его рук, что теплота и грузность ее чувства растопят цифру, выдуманную какими-то людьми. Оставаясь одна, она подолгу беседовала с заместителем Михаила, с младенцем, нежно-розовым, как цвет яблони или как заливной поросенок. Ему передавались длительные истории, любовные монологи, сетования и мечты, так и не рассказанные вечно торопившемуся

Михаилу. Писк его, столь раздражавший соседей, казался ей разумным, знаком сочувствия и понимания, призывом к бодрости. Она ничуть не удивилась бы, увидав на пороге комнаты Михаила,— до того действительно и горячо было ее ожидание в зимние вечера, когда для Артема существовала только дискуссия, когда за стеной имелись часы, служба, червонцы, изредка «киношка», когда, кроме дискуссий, кроме службы, тяжелыми пластами нарастал и в морозной сухости ожесточался снег этой на редкость исправной зимы.

Ждать ей, однако, оставалось недолго. Глушкову тоже предстояло освобождение, как и нам, а с нами и нашим читателям. Нечего медлить, хоть и тяжела подступающая минута! Ясно, что один из таких прыжков должен был как-нибудь закончить историю, раз ни герой, ни судьба (в образе губсуда) не сумели или же не захотели поставить более эффектной точки. Это не выдумка писателя, жаждущего освободиться от ставшего обременительным персонажа. Жизнь сама занимается известной уборкой, с помощью «несчастных случаев» выволакивая прочь еще по инерции передвигающиеся трупы.

Михаила вели в баню. Утро было морозным и ясным, с той иллюзорной солнечностью, которая не раз восхищала русских поэтов своим мнимым весельем, нам же кажется мертвой, пахнущей фенолом и раскиданным ельником, искусственным освещением огромной, хоть и незримой, похоронной процессии. Желтый диск, дающий на юге тепло, жизнь, мотовски швыряющий розы и шутки, здесь только значит, числится, чтобы голубизной снега и нестерпимым холодом подчеркивать всю помпезность церемонии. Впрочем, это дело вкуса, и к бане, куда вели нашего героя, отношения не имеет. Скорее уж следует отметить присутствие во дворе Глушкова, доброго фермера, осматривающего свое хозяйство. Солнце сияло. Глушков осматривал, предвиделись шайки и мыло. Что же дальше? Хмурый корпус, в котором помещалась баня? Руки Михаила, после длительного затекания рванувшиеся к желтой точке на небе? Да, все это, еще пожарная лестница, еще душевная спазма, еще веками истребляемая, однако, кажется, вовек неистребимая притягательность той стихии, чье плоское изображение украшало стены тюремного театра. О бессмысленности поступка не приходится говорить. В лучшем случае Михаил достиг бы крыши внутреннего корпуса, отделенной рвами двора от других крыш. Не птицей же он был, чтобы удовольствоваться обзорением ок-

рестностей, чувством высоты или пением. Но мало думавший Михаил на этот раз и вовсе не успел подумать. Он увидел свет и ступеньки, тонкие перекладки, ведущие к диску, дорогу, отличную от обычных коридоров изолятора. Он рванулся, и только. Глоток воздуха, вскрик, — иначе нельзя рассматривать этот нелепый жест. Если в нашем герое еще оставались дробные величины жизни, то это они подкинули его вверх. (Кидая мячик, дети порой втихомолку, как бы стыдясь своей наивности, задумывают: а вдруг полетит...)

Ослабевшие руки жадно впились в перекладки, подымая пуды тела. От резкости света, от крика Глушкова и надзирателей, от торжественной трудности двадцатиградусного воздуха у Михаила закружилась голова. Ни одной мысли в ней не было. Только где-то (на десятой или пятнадцатой ступеньке) образ необычайного портного, этого оперенного тоской и безумием жаворонка, встал перед ним. Примятин летел зигзагами, усиливая головокружение. Перекладки же, скользкие и обжигавшие пальцы, давались все труднее и труднее. Еще одна, еще немного воздуха, и последний взлет был закончен.

Голова его ударилась об одну из перекладин, обдав нарочитую чистоту снега богатством и низостью, чтобы пурпур крови, чтобы мутность мозгов вошли навсегда в ночи Глушкова, искушая и томя человеческое сердце. Но оставим начальника стоящим над трупом с воспаленными любопытством зрачками, вновь переживающим хрупкость и натянутость «волоска», который отделяет хорошо нарисованную свободу от красной лужицы, неспособной даже растопить снега, — сами же в эту трудную минуту, вместе с Ольгой (кто же, кроме нее, поймет нас?), поскольку кончена жизнь, оплачен не один только шелк, некого больше судить и осуждать, позволим себе предаться горю, холодному, сухому, как это январское утро.

Мы бы кончили на этом наше повествование, обойдя молчанием несчастную чету, теперь еще более разделенную и унылую, если бы не существо почти условное (увеличение фунтов, сосание груди, рези в желудке), которое меняет, однако, знаки препинания. Быстро зарастут плещи, образованные погибшим героем в кассах различных трестов, процесс забудется даже судьями, наши читатели и те, прочитав дюжину иных романов, на случайное упоминание заспанной библиотекарьши «не хотите ли «Рвача?»» отзовутся недоуменным «что это?», да, именно, «что», а не «кто». Изумительный оздоровитель — за-

бление — начисто сотрет сомнительные следы, оставленные Михаилом Лыковым. Кроме одного: на Большой Якиманке неизвестное продолжение нашего романа уже пишется и бьется в руках безутешной Ольги. Здесь залог того, что книгу эту не столь легко, захлопнув, сдать в архив. Известие о смерти Михаила для Ольги решило все. Она не забила в падуху, не кинулась из окошка: тяжесть груди и глаза Кима ее вязали. Она и не сошла с ума. Она просто кончилась, согнулась, отупела, уже ни на что не реагируя, кроме крика Кима, встречая и провожая дни равно бесчувственными, коровьими глазами, слов нет, прекрасными, редко голубыми, способными вызвать умиление, восторг или же брезгливую гримасу.

Увидя Артема, Ольга ничего не вымолвила. Для нее ведь больше не существовало ни Артема, ни мороза, даже образ Михаила и тот стал недоступен, исчез в чаду кухни, в чаду слезных пустых часов. Она мыла тарелки. «Проще! — повторял себе Артем. — Проще! Работать! Жить!» Он боялся застекленности близких глаз. В это выразительное молчание вмешался третий. Крик младенца заставил Ольгу очнуться, кинуться к нему. Тогда нечаянная радость оглушила ее: в том, как рвались руки Кима к погремушке, висевшей над кроватью, трудно было не опознать мечтательной и жестокой биографии нашего мертвого героя с ее вступлением в виде ослепленного телескопа и с финальными перекладами отвесной лестницы. Даже глазки уже освещивали фосфорической меланхолией, памятной обманчивостью пигмента, как бы толкая рваческое движение рук. Что он хотел? Погремушку? На что могли жаловаться глаза, кроме голода или колик? Ложь, выдумка, подлог, вечные вдохновители преступности, а также искусства!

Не только Ольга, Артем тоже понял язык рук и глаз. Он не выдержал, отвернулся. Пока Ольга покрывала истерическими поцелуями слепок боготворимых рук, ночь за ночью воссоздавая прошлое, он пытался заглянуть вперед: воспитаем и Кима!..

А ручки младенца по-прежнему рвались к яркой побрякушке.

*Июль — ноябрь 1924
Коксид — Париж*

**Лето
1925
года**



Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

Лермонтов

Мое запустение

Все дело в окурке, в жирном окурке, лежавшем на мостовой возле остановки автобуса «ФА». Однако для того, чтобы стала понятной эта история, необходимо упомянуть о многом: о традиционной духоте парижского лета, о толстяке — хозяине гостиницы на бульваре Монпарнас, о некоторых запахах, наконец о всей слабости человеческого естества.

Мне чрезвычайно трудно писать. Это может показаться кокетством. Ведь моей «плодовитостью» промышляют все литературные остряки. Да, конечно! Если б это был роман с планом, с интригой, с выдуманными героями, которые в меру заняты, в меру безразличны, как соседи, — жалеешь их: видите ли, флюс или меланхолия, порой ворчишь от чада сплетен и самоваров, сам сплетничаешь, а уедут, а умрут — что же, бог с ними! Роман написан и сдан издателю. Если б это было романом! Еще десять печатных листов, еще столько-то промотанной зря фантазии. Но ведь мне надлежит написать сейчас не роман, нет, сухой и точный отчет, о, скажу сразу, прескверных событиях этого лета. Оправдываться перед счастливой четой не приходится, — в таких случаях всегда предпочтительней поднести солидный письменный стол (из ореха) или хотя бы каминные часы с боем (скорее всего я остановлюсь на последнем). Требуется привести себя в порядок, чтобы как-нибудь прожить положенное количество лет, поскольку в дело не вмешалась ни судьба, ни полиция. Вот для этого-то лучше всего сделать из себя глуповатого, пожалуй, и трогательного героя, толкуя свежее, еще дышащее теплой испариной отчаянье, как литературный материал.

Итак, я сажусь за работу. Оказывается, отвыкнуть от ремесла донельзя легко. Пальцы неуклюже укрощают строптивое перо. Все, начиная от бумаги и кончая тупыми деловыми мыслями, — не забыть бы обличить субъекта с золотой рыбкой, — положительно все отдает кустарничеством. Здесь нет места отбору — сам я оказался подвернувшейся под руку темой.

Я слушаю сейчас, как идет, издалека идет, всю ночь, весь день, докучный ветер, этот путник в глухом пальто и без лица. Еще я думаю об Эдди. А выйдет книга или не выйдет — это мне все равно.

С окурка ли началось? Нет, кажется, с отъезда жены. Она уехала в санаторий лечиться. Это было в порядке вещей. Но это выбило меня из колеи. Присутствие жены принуждало меня жить как-то нейтрально: бриться, хотя бы через день, менять белье, работать, обедать, чтобы было мясное блюдо и сладкое, наконец, встречаться с молодыми художниками, которые горячо отзывались о тонах Утрилло, а подкармливались «беспредметными» шарфами, сбываемыми заезжим американкам. Жена, сама того не подозревая, определяла мое место в мире. На беду, отъезд ее совпал с различными денежными затруднениями. Главлит «зарезал», как говорят у нас, моего «Рвача». Чехи отказались платить за переводы, ссылаясь на отсутствие конвенции. Вместо денежных переводов я стал, что ни день, получать счета за комнату и еще любовные записки от какой-то престарелой польки, страдавшей базедовой болезнью. В мои сны вошли, таким образом, ее огромные, вполне самостоятельные глаза и неласковый бас толстяка хозяина. Несколько слов о нем. Приезжающие, увидев связку ключей в руках и сочную улыбку, обязательно вспоминают апостола Петра. Почему этот толстяк улыбается? Не предвидит, что ли, таких постояльцев, как я? Гостиницу он купил недавно, и раз пять в день (карауля у окна, свободен ли выход, я тщательно изучил это) переходит на другую сторону улицы, оглядывает паршивый дом, облупленный и насквозь пропотевший, любовно оглядывает: здесь рождается улыбка. Там рядом с номерами и сменой белья в потрепанном чемодане, со всей безуютной, горемычной жизнью проезжих людей зреет довольство: рай! В раю копошатся клопы, а испорченные трубы разряжаются взрывами зловонных газов. Не следует думать, что я роптал. Нет, я так хотел остаться в этом условном раю! Но счет перевалил за восемьсот франков. Шарканье моих продранных туфель пачисто снимало улыбку толстяка. Еще неделю бы!.. «Огонек» вторично надул меня, не прислав обещанного гонорара. В ломбарде за часы дали ровно столько, чтобы воспринятый натошак бифштекс смог позволить оценить всю радость разлуки с этой механизированной совестью, читающей на руке ежесекундные нотации (подчеркиваю: после жены — часы).

Толстяк от обиды за гибнущее довольство плевался и (так мне, во всяком случае, казалось) недобро тучнел. Наверное, стоя на углу, он видел, как я колеблю пять этажей любимого им здания. Ни записки польки, ни мой вид не могли его утешить. Действительно, не прошло и месяца, а я уже успел основательно опуститься, вместо средней руки литератора напоминая теперь шатуна, из тех, что по ночам, возле зланных мест, выклянчивают у дорогих соотечественников «франчишко». Все пошло быстро. Протерлись брюки. Молодая французская литература, включая «сюрреалистов», как-то сразу перестала интересовать меня. Проходя мимо ресторанов, я останавливался. Зеленоватость щек, а также нервные вздрагивания носа выдавали меня. Густая курчавая борода, этот патриархальный орнамент семита, бессмысленный при отсутствии чад и субботней курицы, казалась неуместной порослью на площади заброшенного города.

Опуститься человеку ничего не стоит. Это только возвращение к исконной стихии. Причем я настаиваю на бороде, на позднем просыпании, среди пепла трубки и ключев вычесанных волос в мыльном тазу, на неотвеченных письмах, на желтеньком романе с одной попачканной страницей, с вечной страницей, где героиня, племянница рыжеусого нотариуса, взглянув на букет, подумала... что подумала? Не спрашивайте! Думать — сложно и хлопотливо. Удастся ли выйти из гостиницы незамеченным? — вот самая сложная мысль. Так распродаются по дешевке модные товары, зарастают проспекты, и остановившиеся часы Публичной библиотеки перестают томить сердца влюбленных правоведа.

Наконец я сбежал. Утром в последний раз был богомольно осмотрен серафим в красной кепи почтового ведомства. Шуршание его рождало все возможности. Ничего! День разворачивался натошак, среди спертости и провокационных запахов оливкового масла, лука, суповых кореньев, булочных кислот. Под вечер возле кафе «Версаль» я заметил приличного старикашку в пегом котелке. Он делал вид, что ловит муху, причем сам за нее жужжал, кричал «ко-ко-рико», даже чихал на особый лад. Дама дала ему десять су. Меня подташнивало. Я гордо отвернулся, не пробуя пожужжать. Вместо того чтобы идти домой, я свернул направо. Это и было решением. Толстяку остались — датский перевод «Треста Д. Е.», короткие клетчатые штанишки, купленные зачем-то на Гельголанде, и, разу-

меется, все пять этажей так и не разрушенного мною дома. Я же лишился адреса, то есть стал подпадать под различные статьи уголовного кодекса республики.

Торопясь скорее дойти до угла улицы Тэтбу и Прованс, где лежал злополучный окурок (о, если б я никогда не нашел его!), я опускаю посредственные события бродячих дней. Здесь имела место монотонность любого быта. Когда же острые рези в желудке и отмирание конечностей подсказывали если не вдохновение, то хотя бы полусон на больничной койке, в дело вмешивались досадные «случаи». Какой-то заспанный турист, весь продымленный дыханием европейских экспрессов, в дымчатых (не ради слова!) очках, спросил меня: «Что это?». Я ответил: «Гробница Наполеона. Трофей и тоска. Вам обязательно нужно зайти туда». С моей стороны, это было простой вежливостью. Турист, однако, воспротивился. «Нет, я не пойду туда, я ни за что не пойду туда». Он вытащил из глубокого кармана спортивной куртки дряблый летний апельсин и десятифранковую бумажку, причем, прежде нежели последней суждено было продлить мои сомнительные дни, был преважно, с редкой медлительностью, очищен мясистый бессочный плод. Другой раз, проходя под утро мимо Центральных рынков, я честно подрядился разгружать возы с картофелем. Робостная хилость моих рук, постелевые тона овоща, этого ублюдка с детских лет милой нам моркови, наконец слизь готических декораций — все отдавало дилетантизмом. Однако я получил сто су и еще понос от серьезной утечки товара. Повторяю, все это было скучно и банально, ничем не отличаясь от гроссбухов или от щелкания «ундервудов». Даже ночевки возле Порт-де-Виллет, на фортификационных валах, еще не отнятых у травы и бродяг парижским муниципалитетом, вряд ли достойны упоминания. Я не видел звезд и не подставлял под гудки товарных поездов романтической декламации. На грубости ночи порой отвечала лишь моя голодная икота.

Я подхожу к окурку. Дело в том, что отсутствие табака было для меня горшим испытанием. Мне несколько совестно об этом распространяться. Ведь нет пошляка, который не счел бы долгом, только-только познакомившись, тотчас же состричь о «четырнадцатой» трубке. Да, граждане, я курю. Если у вас есть табак — попотчуйте, но избавьте меня от литературных реминисценций. Тогда вот никто мне табака не предлагал. Приходилось довольствоваться окурками. Можно, конечно, и из этого

сделать спорт,— вроде собирания грибов. Окурки сигар, особенно приятные для докуривания в трубке, водятся у остановок трамваев или автобусов.

Я облюбовал одно, грибное, что ли, место — угол улиц Тэтбу и Прованс. После восьми вечера там можно найти подлинные диковины — половину сигареты, а то и хвост гаваны.

В тот вечер, пошлый и душный, как все вечера конфекционного лета, между сезонными распродажами «Галери Лаффайет» и автокарами с тридцатью двумя американскими ротозеями, я стоял на посту, похожий на идилического рыбака, неотрывного от Сены и от Флобера. Из стыдливости я делал вид, что жду некоего немислимого автобуса, пренебрегая всеми доступными буквами. Мне повезло: вскоре весьма приличный господин, может быть, заведующий фаянсовым или алюминиевым отделениями одного из универсальных магазинов, вскочил на подножку «А» и небрежно скинул, как роза лепесток, большую окурку хоть недорогой, но крепкой сигары, называемой табачными сидельцами «слоновой лапой». Среди серости пепла соблазнительно посвечивал рысий глаз. Я быстро нагнулся, чтобы поднять его, но какой-то смуглый фантаст, проходимец в драных не менее моих туфлях и в модном костюмчике, опередил меня.

— Нечего дуться! Найдется и на твою долю!

Приветливость этого конкурента, а также слегка комичный южный акцент утешили меня. Знакомство состоялось. Совместно мы направились к следующей остановке, чтобы переменой декораций оживить докучливое ожидание.

2

Все намечается

Здесь начинаются затруднения. Следует представить фантаста, счастливо докуривающего «слоновую лапу». Я теряюсь. Ведь искажением перспективы будет к неприлично голым, чувственным губам, дрожавшим под газовыми фонарями, прибавить весь опыт последующих месяцев. Придется, например, удовольствоваться одним именем — «Луиджи» — фамилию его я узнал много позже. Как ответил бы бедный Луиджи на объемистую

анкету, вручаемую столом личного состава в моем, любящем ясность, отечестве? «Профессия?» Упомянуть, что ли, скромное местечко сельского учителя в Калабрии или сразу выболтать все, то есть не только дюссельдорфские соски, назойливо всучаемые мамам и мамкам добронравной Анконы, но даже оставшееся безрезультатным заявление голландского туриста ван Сеельзе о похищенных у него при осмотре мощей св. Агнессы золотых часов «Лонжин»? Да и не вдаваясь в прошлое, трудно объяснить, чем именно занимался Луиджи в Париже, если не считать известного уже читателю сбора окурков. Зимой он работал на заводе «Рено», но к весне, взяв расчет, то играл на скачках, то проворно открывал дверцы автомобилей, за несколько су щедро одаривая парижанок призрачной своей улыбкой.

То же самое и касательно убеждений Луиджи. Это туман, бродящий по полям послевоенной Европы, мокрый и душный. Воспаленным глазам он кажется то водокачкой над железными жилами скрещивающихся путей, то пейзажем Коро, буколической куделью.

Любой выстрел непонятен. Что это — забава дочки платинового короля, которая стреляет в дрессированных голубок, или, может быть, гроза, очередная электрическая бравада, предсказанная метеорологической станцией? Нога, однако, погружается в известную сызмальства красноватую слизь. Шабаш чернорубашечников, их «эляля», шакалий вой среди голодных коз, среди вечно млеконосных мадонн, среди окопаченной земли? Или мандат, учет, смычка, ножницы, жесткие тени на тройных шарнирах, выстраивающиеся где-то возле болот Полесья? Туман! Из него-то и вынырнул Луиджи. В домике сельского учителя красовались портреты Бакунина и чернобрового убийцы короля Умберта. Проворная рука продавца сосок, украшенная позолоченным кольцом со стразами, ухитрялась покрывать анконские стены изображениями молота и серпа, барочными, то есть наивными и вычурными. Брат Луиджи, тоже оливковый и губастый фантаст, по профессии гравер, значился в списках «фашио» Эмилии, как «синдикалист, анархист и враг великой родины». Начав с фанфаронной касторки, эмильские патриоты быстро перешли на наганы, и граверу пришлось в темную ночь, когда мистраль и отчаяние надувают рыжие паруса, бежать в Тулон. Здесь он... Впрочем, об этом позже. Если я сразу расскажу о том, чем набухало то темное лето, мне никто не поверит.

У следующей остановки был найден окурок и для меня. Это скрепило дружбу. В довершение Луиджи щегольнул подлинной россыпью медных су. Карманы шикарного пиджака не подвели, в них оказалось около пяти франков. Знакомство, таким образом, стало ценным. Однако предстояла ночь с ее темнотой, — овчарка, загоняющая людей в подворотни, ночь, от которой Луиджи, как и я, не мог отделаться солидным адресом, удобным звонком. А толстяк? Толстяк мирно укладывал свои килограммы на взбитые его половиной пуховики. Агитплакат! Впрочем, где здесь было думать о выводах. Лениво зевая и поплеывая, побрели мы в Бельвилль, где на сто су можно съесть луковый суп, выпить вдоволь рома, а под утро, пожалуй, и поспать часок-другой с какой-нибудь из неразобранных полувековых невест, в город проходных дворов и денатурированной боли, в «прекрасный город» — Бельвилль.

Знаете ли вы, как пахнет нищета? Вряд ли. Ее ведь не разводят на цветочных плантациях Грасса, где химики анализируют запахи, способные печалить или веселить. Знаете ли вы, как пахнет потный камень, зеленое масло грошовых оладий, крысиная моча, колтуны волос и колтуны пеленок, свертывающееся в грозовые дни мясо калек, сифилитиков и паршивых ребят? Знаете ли вы, как пахнет человеческое горе, соленое темное горе, — вот родился здесь, тяну ляжку, здесь и сдохну: ни уйти, ни крикнуть, ни заплакать! Плачут не люди, плачут камни, косые пятнистые дома, лирически источая нечистоты, помой, пену, слюну, кровь ста тысяч граждан, голов крупного скота, избирателей, дураков... Из чего сделан человек? Скажите? Может быть, из гуттаперчи?..

Голодные женщины дрались из-за мясной требухи, выкинутой кабатчиком. Они въедались в липкие комья сбитых годами волос. Они отчаянно мяукали, пугая прилипчивых, как мухи, кошек. Руки их были в бычьей крови, и этот трагический цвет, наверное, соблазнил бы художника. Запах сгущался. Поводя тяжело локтями и громко дыша, мы пробивались сквозь него.

Бессонные младенцы требовали своей доли. Вместо грудей, изрезанных зубами трехлетних, еще подкармливаемых для экономии, исщипанных изысканными друзьями, им подсовывали грязные соски, наспех разжеванный мякиш, клочья тряпья. Один, вшивый и нежный, как ангел пастушеской часовенки,

получил даже глоток кальвадоса. Яблочный спирт обжег этот ротик, еще полный блаженной слюны.

«Дай мне ф́ранк, или я тебе отстрогаю нос!» — визжал в тупике простуженный сутенер. Над тремя рахитиками, ласково плевавшими друг в друга, пробовала чирикать раздраженная канарейка, случайный гость из иных округов. Среди детей, кошек и звезд сидели женщины. Это были трогательные и жалкие витрины окраинных старьевщиков — декольте напоминали незаштопанные дыры, ни ночь, ни пудра не могли скрыть сыпи, грязи, чешуи морщин. Они соблазняли прохожих угрюмым смехом и скрипом соломенных табуреток. Иногда соблазни уточняла цифра, счет тщательно отстукиваемых су — порция жареных кишок, пакетик черного табаку (о, Клеопатра!) — ночь любви. Клей ли (тот, что «клеит даже железо») или тоска создавали причудливые бесформенные массы, копошившиеся в темных углах? Мне запомнился один человек, упрямо ворчавший: «Верблюды! Они не хотят мне дать работы. Сегодня восемнадцатый день. Они хотят, чтобы я обязательно сдох!» Я разглядел его лицо — абрис Фуке — спокойная страсть десяти веков — жонглер или монтаньяр. Если отрезать язык, пожалуй, пустой и вовсе ненужный для работы придаток, он будет все же продолжать свою ф́ронду. «Верблюды» знали, что они делади. Безработный ворчун, стоя, хватил рюмку и, стоя же, возле мокрой стены уснул. Последние дохлые огни чадилкок или приспущенных газовых рожков пропали: того требовали ночь и бюджет. Остались звезды. Осталось томительное копошение никогда не замирающего Бельвилля. Далеко, на бульваре Монпарнас, сладостно почесывал наспанный жир мой толстяк. Остальное не выяснено: удалось ли старухе спокойно сглотнуть требуху, выжил ли младенец, пригубивший кальвадоса, чтобы стать избирателем республики или, покорчась, отказался от этой чести? Впрочем, какое вам до этого дело?..

Ел и пил я чересчур быстро. Правда, старуха не пугала меня, нет, иные, пусть и вздорные, мысли меня подгоняли: вдруг Луиджи раскается в своей щедрости и вырвет из моих рук чашку с еще недохлебанной жижицей? Ведь взял же он окуроч... Ром и суп ошпаривали пищевод. От приятной боли я жмурился. Если б мне вздумалось в те минуты предаться поэзии, я сказал бы: «Вот что значит проглотить солнце». Подумать, что существуют на свете меланхолия и капли для аппетита! Солнце росло, неуклюже ворочалось, — видимо, ему было

во мне тесно. Я тихо стонал от колик и улыбался от счастья. Была даже минута возрождения всей корректности и условности моей прежней жизни. Чирикание канарейки напомнило мне приветливость жены, и я готов был заговорить с требуховой старухой о натюрмортах Пикассо. Только этого не хватало: и так я был вдоволь смешон — в теннисных туфлях и в драной рубашке, ласково поглаживающий свой неестественно взбухший живот. Луиджи швырял жесты и чувства, как су, не жалея. Его партнерша, кривая и склизкая, как камбала, послушливо билась под дыханьем Калабрии. Пищавший рахитик, возможно, сын камбалы, никак не смущал сопряженных туловищ. Домашний аксессуар? Или философический орнамент? Мой друг был галантен до конца, он и мне предложил деловитую мусорщицу, прежде всего хозяйским оком оглядевшую ложе, то есть крохотный дворик с отхожим местом и лунной над ним. Но я не мог осилить грусть и сон. Полька! Милые девушки! Оставьте эти страницы! Адам любил Еву, Андрей — Жанну, прусские офицеры и французские поэты любят друг друга. А я ничего не хочу. Дайте мне поспать под этой ретиральной лунной, которая покорно ждет метлы и Вертера!

А Бельвилль не спал. Его ночь полнилась бредом. Только звезды и кепи полицейских соединяли этот задворок с прочим миром. Мне снились местные сны: кавалькады огромных клопов, освежаванная морда луны в корзине мусорщицы, пустой овал и пыль, много едкой ехидной пыли.

Утром нас выкинули. Память о ста су не сделала этих людей вежливой. Женщины опустили юбки ниже колен. Лавочники подняли железные шторы. Это обозначало новый день и необходимость выходить на бесславный промысел: продать забытый на скамье номер «Матэн», подобрать упавшую с тележки грушу, словом, просуществовать. Оглядываемые подозрительными глазами дозорных — горничных, прогуливающих пинчеров, булочниц, почтальонов, — мы перешли границу просто Парижа. Впереди шагал, вызывающе и нежно, мой смуглый фантаст. Я же тихо трусил за ним.

Елисейские поля. Росистая свежесть только что напомаженных лиц. Лак «ситроенов» на солнце. Смех, давно, со вчерашнего дня не слышанный смех, звонкий и доброкачественный, как проверяемые о прилавок кассы серебряные монеты. Почему же я, свалившись на скамью, закрыл лицо рукой и просил: запах прошлой ночи, клопы, лиловые бедра мусорщицы — все,

только не это? Зависть, скажете вы? Да, так нас учили с детства. Придя из Бельвилля на Елисейские поля, где воздух сфабрикован лучшими парфюмерами мира, а шаги — господом и профессорами фокстрота, можно только завидовать, только глухо и глупо урчать, подражая голосу голодного желудка. Поэтому так трудно будет поверить мне, когда я скажу, что не зависть, а отвращение — физическая брезгливость, рождаемая запахами, звуками, раскраской, — сжимали мне горло. Я не хотел ни этих «ситроенов», ни этих женщин. Я хотел только, чтобы все это исчезло: несовместимые миры, рахитики Бельвилля, амазонки, направляющиеся в Булонский лес, запах хлеба, цветов и голодной блевотины, прежде всего чтобы исчезло солнце, бесстыдный и дикий символ равенства, солнце, ухитряющееся с профессиональным безразличием нагревать паркетные этих площадей и темный дворик, где вчера в желтой лужеце барахталась бельвилльская луна.

Мимо нас прошла парочка. Я не умею описывать достойных людей — они давно уже описаны всеми поэтами, всеми модными журналами мира. О чем здесь говорить: о прямой линии платьев — мода 1925 года, — о тонкости переживаний по Марселю Прусту или о ренте? Они гуляли. Это очень полезный и приятный моцион. Она в меру кокетничала. Он в меру настаивал. Здесь не бывает грубой еды и примитивного совкупления, здесь все, от пережевываемых деликатно телячьих почек до круглых подвязок, держащих чулки, полно обдуманной красоты. Я услышал, как девушка с нежной гримаской сказала:

— На выставке мне больше всего нравится советский павильон. Это дерзко и это — наш век, как джаз-банд или футбол...

Тогда, шальной от бельвилльской ночи, от лукового супа и от освежеванной луны, я подбежал к ней. Я нелепо прокричал:

— Дрянь!..

Она не могла понять меня. Напугал ее, вероятно, голос, еще мой вид — туфли, космы волос, пегие крылья рубахи. Так или иначе, она вздрогнула, и эта дрожь была моей нечаянной, моей огромной радостью. Кто поймет меня? Не все ли равно — издать тысячу декретов, искромсать, как Равошоль, случайных зевак или же напугать эту передовую душу, справедливо оце-

нившую работу архитектора Мельникова? Я смеялся, стоял и смеялся.

Так была совершена вторая оплошность. Луиджи одобрительно похлопал меня и мимоходом, будто сам с собой советуюсь, проговорил:

— Молодец! Ты сможешь мне расквитаться с Пике. А теперь — в Булонский лес: может быть, там нам удастся подкрепиться.

3

Вот чем чреватые праздники

С того дня прошло три недели. Разумеется, я успел позабыть о ночи, проведенной со смуглым фантастом. Еще одно лицо, еще одна рука, приветливо дрожавшая, подымая кабацкую рюмку. Ночи повторялись, быстро стирая одна другую, как фильмы, полные неизбежных трюков и многометражного ужаса. О, монотонность трескучего целлулоида, на котором черным и белым, со скоростью, превосходящей восемнадцать традиционных изображений в секунду, запечатлевается наша жизнь! Я подобрал много других окурков и завел много других знакомств. Луиджи пропал с той самой романтической луной. По ночам мною владели летучие и скользкие, как змеи, рекламаны маргарина «Реджио» или чемоданов «Иновасион».

За это время мне удалось легализироваться и перед полицией, и перед общественной совестью. Так оседает, кстати, пыль, оседлой становится шаткая тень, рыскавшая по ночам возле застав, оседлой и даже полезной. Не выдержав свободы и голода, я прикрепился. В мои обязанности входило перегонять баранов со скотного рынка Виллет на соседние бойни. За десять часов работы я получал двенадцать франков. Этого хватало на чуланчик в номерах, гордо именовавшихся «Отелем Монте-Карло», и на три порции жареного картофеля. Кроме того, мясники, растроганные удачной сделкой, порой давали мне франк-другой. Я сердечно благодарил их и с жадностью поглощал телячью голову, облитую кисленьким уксусом. Вечерами приходилось довольствоваться хлебом и световыми рекламами. Грех жаловаться — я жил неплохо, забыв о мире,

о хороших обедах, о главлите и о «попутчиках». Аккуратно считал я зады баранов, исхлестанные роковые зады, на которые рука погонщика занесла свою тоску или ухарство, считал их, пересчитывал. Я ни о чем не думал.

Несколько слов о профессии, дабы устранить возможные недоразумения. Забудьте музейные ландшафты, вечерний отдых и сельский перезвон! От рынка до боен было триста метров — крестный путь стольких-то голов. Порой бараны упирались и, сбиваясь в огромную кудластую сороконожку, трагически мычали. Я кричал тогда «э! э!», причем мой голос, бывавший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или читать публично главы из «Жанны Ней», ухитрялся пугать этих агонизирующих тварей. Иногда приходилось и хлестать их спины. Вокруг меня сновали люди в синих просаленных блузах, твердя о килограммах и франках. Мне казалось, что движутся не бараны, а только фунты разносортных котлет. Труднее всего давались последние шаги. Бойни делятся на участки, соответствующие городским кварталам. Мой — «Гренелль» — помещался в конце. Баранов приходилось прогонять по лужам крови, то трагически яркой, как эмалевая краска, то свернувшейся, темной. Мои монотонные окрики покрывались воистину отчаянными ариями закалываемых животных. Слыша смерть, что рядом, за поворотом, жирную и гадко кричащую смерть в синей блузе, бараны останавливались. Какую власть имеет понукание или даже палка там, где крохотное тепло, уют теплых ночей в загоне, смак жвачки еще борются со смертью? Тогда, надсаживаясь и обильно потея (от чего брызги крови и грязь на моем лице замешивались в тесто), я становился на корточки и нудно проталкивал вперед это живое блеющее мясо. Час спустя скаредно скрипели весы, и сорок су чаевых обращали мою меланхолию в кроткий полусон над солевой тарелкой соседней харчевни.

Я завидую крестьянам — их растительной жизни, крепким корявым корням низкорослого кустарника, предохраняющим сердце и от ветров, и от соблазнительного аханья паровозов. Еще более завидую я профессиональной стойкости некоторых людей. Выходил же в Москве 1920 года, среди пафоса и вшей, листок, чинно обсуждавший различные марки старого фарфора. Почему я принимаюсь на любой почве? Сказали «живи!», дали штаны и миску супа, готово — живу. Мои годы напоминают водевиль с переодеваниями, но, ей-ей, я не халтуру, я только

подчиняюсь. Я могу писать «Хуренито», а в жизни исправно мычать и продельвать соответствующие триста шагов, как самый заурядный баран. Измены здесь нет — ведь никто никогда не поставил мне на сердце клейма «такой-то», просто меня перепродавали из рук в руки, измены нет, есть смена, чередование профессий, стран, так называемых «убеждений» и еще — шляп. В марте я был писателем, насколько помнится, читал в Брюсселе обстоятельные доклады о современной русской прозе. В июле мой мир определялся, вместо Бабеля и Федина, вышеозначенными бараньими задами. Писал я, скорей всего, потому, что так уж вышло: «писатель» — это слово в анкетах и на устах знакомых предопределяло жизнь, как бумага и перья, как рецензии, письма издательств, счета за комнату или неприятная легкость дня натошак. Теперь, ложась ночью на шаткую койку «Отеля Монте-Карло», где, переварив кровь соседних боен, жирнющие мухи засиживали маршала Фоша, где маршал всю ночь глядел на меня кобальтовыми глазами, полными вечности и старого сала, я не помнил, кто я. Оставались только неистребимые приметы: крупная родинка на плече, немощность, угрюмое сердцебиение, когда нечаянно я поворачивался на левый бок, чтобы не видеть маршальских глаз — да, это я здесь, я, Эренбург, рабочий боен Виллет. Я забыл, что в печатном листе сорок тысяч букв, что мороз в Москве труден и высок, что стихами Пастернака можно дышать, умирая, как кислородом подушки. А однажды, вспомнив это, вспомнив также иное, о чем здесь не место говорить, я сбежал вниз и, к немалому удивлению хозяйки, суетясь, даже задыхаясь, стал требовать чернил. Да, да, не рюмку кальвадоса, чернил. Скорее! Чернила казались лекарством. Я написал жене: «Если ты поправилась, приезжай. Я живу неплохо, но мне кажется, что я погибаю. Впрочем, это только мнительность от дурного пищеварения. Телячья голова очень тяжелое блюдо. Прости, что я тебе пишу неинтересные вещи. Я не знаю, где сейчас выставка Ренуара и с кем флиртует Бузу. Если удастся это выяснить, сообщу дополнительно. Но лучше всего приезжай. Приезжай, обязательно приезжай!»

Письмо это я не отправил. Я разорвал его, позволив себе столь классический жест, несмотря на уже наклеенную марку. Я затрудняюсь сказать, от чего мне было больнее отказать в ту минуту — от нежных чувств или от этих шести су. Я попросту струсил: приедет, изумится — где? что? какие бараны?

Станет плакать, выговаривать за то, что не брит, давно, вечно не брит, грязен, ободран, упрашивать переехать к ней в пансион, — словом, начнется нечто скучное, хлопотливое и ответственное. Придется, чего доброго, снова сесть писать. Нет, уж лучше кричать «э! э!». Так не вылечили меня и чернила...

Лето стояло на редкость душное. Отсутствие воздуха сказывалось в разбухании лиловых жил на висках и в хронике бульварных газет, где тривиальные самоубийства перемежались трупами в корзинах или шайками маскированных бандитов. В такие дни человеческое естество требует выхода. Возле поэзии и преступления неуклюже барахтаются различные головы — в канотье, в кепках и просто лысые, как задыхающиеся рыбы возле проруби. Женское тело своей горячей сыростью вызывает тошноту. Бойчее всего торгуют мороженым и огнестрельным оружием. Запахи не могут подняться вверх, они ползают по мягкому асфальту, запахи свиного сала, пота, йодоформа. Ночью стены еще держат жар, и человек в духовке наспех обдумывает сложные детали мести. Те, кому, может быть, и следовало бы мстить, рыжей (модной) пудрой загара присыпают свои анемичные туловища на взморьях Нормандии или Бретани. Остаются солнце и полицейские. Духота, июльская духота ощеренного города, нож в зубах истомленного сутенера, химический лимонад, младенцы в чахоточных скверах, приседающие «за маленьким» и «за большим», голод, тоска, — нет, меня ничем не обделили!

Подожли праздники — 14 июля. Мясики сняли синие блузы, они уехали за город есть крутые яйца и дышать бензином фордов. Блеющие нежно смертники получили, таким образом, три дня отсрочки, — они могли переваривать жвачку и славить Третью республику. Что мне было делать? Кричать «э! э!» толстозадым барышням? Танцевать фокстрот? Лирически вспоминать события французской истории? Я не знал, как изжить эти три томительных дня. Не было слышно заводских гудков. Опущенные шторы лавок требовали чувств взаправду исключительных. Ночью люди не спали. Они продельвали различные механические движения и невесело, но очень громко смеялись, как заржавевшие шарманки окраинных кабаков. Веселились, пожалуй, только держатели питейных заведений: поднимающаяся ртуть термометра и труд, не зря пропавший, парижского народа, взявшего, как говорят, Бастилию, увеличивали жажду. К концу второго дня, остановившись возле престарелой тор-

говки овощами, которая жалко водила уже полуистлевшим задом в такт фокстроту, я закрыл глаза и застонал. Как я хотел подтолкнуть моих баранов! Праздники, однако, длились.

Я позволю себе здесь признаться, что нет института, который так бы пугал меня, как этот. Вот она, огромная площадь, обычно запруженная автомобилями и пешеходами, — теперь же залусканный зал некоего торжества, подмышники, скорлупа китайских орешков, красный сироп, остановившиеся белки тысячи глаз, остановившиеся стрелки разомлевших циферблатов, великая скука — да, она, неизменно она! Спешите, автомобили, давите прохожих, заводы, кромсайте мясо и сталь, шумите, как леса Индии, листы перепуганных и наглых газет, — если вы и не жизнь, то хотя бы ее иллюзия! Милые будни, трудные будни: нельзя остановиться — толкнут, отбросят, задавят, некогда думать, — какое счастье! И вдруг — перерыв тока. Пошленький, говоря откровенно, трюк из «Спящей красавицы» хронически повторяется. Доменные печи тоскливо остывают, наподобие покойников. Черная пыль траурно скрипит под ногами зевающего сторожа. Заумно блеют бараны, не смея ни жить, ни умереть. Где-то, между седьмым и восьмым этажами, висит лифт, храня еще в пустынном пролете курсы предпраздничной биржи и одышки просчитавшихся кассиров. Еще выше — нежно воркует, учитывая выпавшую паузу, жирный голубь, тот голубь, что вчера мог быть, а завтра будет на карточке ресторана, обрамленный неизбежным горошком. Еще выше — обсосанные леденцы собора Сакре-Кэр, зной, теория относительности, тоска. А люди празднуют. Чтобы не сидеть на месте, они качаются под рычание саксофонов, чтобы не молчать — смеются: все это только произвольная отдача давней жизни, агония туфель и пиджаков. Засыпающие ребята роняют слюну. Премерзко чешутся неопределенные собаки. Музыканты вкачивают в легкие уныние и выдыхают его обратно в виде воя, железного зуда, икоты, лживой, выдуманной суеты. Наконец и люди начинают чесаться. Пиво входит и выходит, эпически, как библейская жизнь. Делать нечего. Идти некуда. А праздники все длятся, длятся и длятся.

Я сел за столик, как все, выпил рюмку рома, выпил кружку пива, выругался, несколько раз сплюнул, потом выбрал жиденькую мастерицу и, пользуясь общей сумятицей, попробовал потанцевать с ней, хотя этому вовсе не обучен. Моя дама

сильно пахла керосином: у нее, вероятно, лезли волосы. Я угадывал перхоть и одиночество. Пожалуй, я мог бы пойти с ней спать, но нет же, кто спит в эту ночь? Кафе открыты, музыканты усердствуют. Я подсунул красотку первому ротозею, а сам перешел на орешки. Нечто баранье овладело мной; чтобы меня не упрекнули в снобизме, скажу привычнее — я задремал.

— Перехватил, бедняга? Ничего, подбодрись! Эй, гарсон, еще два кальвадоса!

Исчезли сразу покой этих недель, бараны, телячья голова, глаза маршала Фоша — все. Довольно, впрочем, считать оплошности — это только утомит и меня и вас. Я покорно проглотил кальвадос. Более того, помня о ритуале дружбы, я наспех смастерил нечто вроде приветливой улыбки. За рюмкой быстро последовали другие. Луиджи, видимо, успел разбогатеть. Об окурках вряд ли приходилось думать: он угостил меня сигаретами с золотым мундштуком. Увидав кожаный портсигар, я застеснялся и попробовал было втянуть в себя бурые ободки рубашки, но это мне не удалось. Шутка ли? Я сидел с управляющим итальянским баром на улице Шатоден! «Управляющий» — это значит можно пить кофе, глотать бриоши, важно подзывать лакеев: «Еще!» Это пост!

Как удалось Луиджи столь быстро подняться? Он не рассказал об этом. Он вообще не говорил мне ни о чем. Нельзя было назвать его молчаливым, — напротив, он охотно плевался цифрами, женскими именами и заторными, достаточно специальными, словечками. Чувственные губы целовались со стеклом рюмок и с газовыми звездами. Однако нелегко было составить из этого рассыпанного набора хронику его дней. Бар на улице Шатоден? Хорошо. Но при чем тут туринская красавица Лина, «звезда», вероятно, десятой-вельчины, фильмов «Глория», при чем тут старинное трюмо, антиквар мосье Грель, умеренная оппозиция газеты «Стампа», две фальшивые депеши, дрожь лиры, решающая поездка в Фонтенебло, где некто Рикати, Луиджи и упомянутая Лина подписали «домашний договор»? Я так и не понял. Мне показалось это модным кроссвордом, взятым из газеты, и, тупо ухмыляясь, четырьмя или пятью рюмками доведенный до мудрости, я только тихо заметил: «Город в Халдее из двух букв «Ур», кантон Швейцарии из трех букв — «Ури». Луиджи, а ты никогда не писал стихов?» Оказалось, писал — этот фантаст переспрыгал все глаголы — конечно же, писал, замечательные стихи, ничуть не хуже

д'Аннунцио — о раненой свободе, которая рычит, как абиссинский лев, также о грудях некоей Ады, напоминавших заоблачные магнолии. Bravo, Луиджи! Еще рюмочку погонщику баранов, который из всех звуков теперь знает только «э! э!».

Впрочем, стихи никак не относятся к делу. Нельзя же упомянуть обо всем — о мраморном галстуке Луиджи или о свойствах кальвадоса. Если бы я писал роман, сомнительный цвет предшествующих глав определенно уступил бы здесь место пресловутой «завязке». Появление смуглого фантаста начинало оправдываться. Я не мог благодушествовать над очередной рюмкой. Среди беспредметной мечтательности Лин, Ад и диких цифр я вдруг распознал нечто знакомое. «Пике» — это имя я слышал. Но когда?.. Ах, та ночь во дворике и асфальт Елисейских полей! Вот зачем я некогда родился в городе Киеве на горбатой Институтской улице, среди увлечений тартаковым и жестокого простонародного снега, зачем жил тридцать пять лет, загромождаю мир стоптанной обувью, печатными листами и пеплом трубок, зачем ушел от любви, от литературы, от уюта моего толстяка, — я должен устранить какого-то Пике, наверно густо-фиолетового банкира с геморроем, с алмазными запонками, с игрушечным пантеоном на письменном столе, с душой пушистой и сонной, как отложившая яички бабочка.

4

Наедине с маршалом

После тяжелого, кислого, как невыпеченный хлеб, сна пришлось проснуться. Животик Пике оказался, однако, незаспанным. Моя профессия снова менялась, и не по моей воле. Признаюсь, я воспринимал это тупо и достаточно покорно, как выселение из комнаты. Убить так убить. На чем все мы держимся? Роль подтяжек исполняет налаженный быт, известный распорядок. Одно неосторожное движение — и вот уже нет задержки. Сползают заутюженные брюки, с ними совесть или честность. Так создаются ходкие романы, да и паскудная жизнь.

Я пробовал, скорей для вида, сопротивляться. Я решил забыть о словах Луиджи, о свидании, назначенном в шведском ресторане на улице Юганс, о всученном мне на прощание

стофранковом билете. Я искал защиты у Фоша, но кобальт этого почтенного героя легко переходил в синеву мясных блюз, в сирень освежаванных туш, в угрюмую венозность жизненного круговорота. Можно ли уйти от этого, господин маршал? Кстати, и вы гнали исхлестанных, музыкально мычавших, уже переведенных на золото, на уголь, на сталь, и вы, да, и вы, мой голубоглазый хранитель!

Кто же этот Пике? Толкование социального положения и колера было не менее произвольным, чем приписываемая ему фиолетовость щек. Умея ругаться или хвастаться, Луиджи не умел объяснять. Если иные слова еще могли сойти за вехи, то и они застигались туманом крепкого кальвадоса. Только к вечеру я кое-как сложил раскиданные кубики. Получился рассказ, в меру занятый, в меру нелепый, где тире и восклицательные знаки заменяли смысл, рассказ, вполне достойный подписи модных авторов. Я здесь ни при чем. Я люблю ясность и точный счет. Когда я составлял прежде планы моих романов, герои сходились и расходились с железнодорожной точностью, крушения подготавливались лет этак за пять, все бывало понятным даже критикам «Вечерней Москвы». Но что делать, если жизнь идет порой против логики, даже против синтаксиса? В конечном счете, образ Пике был не более условным, нежели смуглость моего фантаста, вставшая под шаром газа, среди окурков, алфавита автобусов и повседневной маеты.

Здесь встаньте, граждане, мы совместно исполним припев «Интернационала». В этом скажется не только многолетний навык, но известная подлинность чувств. И потом, хотя бы ради стройности мелодии, помиримся на минуту! Вы верите... впрочем, вы лучше меня знаете, во что вы верите. Об этом имеется обширнейшая литература. Я же не верю ни во что. Так я устроен, и мой окосневший позвоночник уже не поддается никакому выпрямлению. Но бывают часы, когда несколько газетных строк, красная лужица, присыпаемая золотым песком парламентских прений, сухие ремарки двух-трех стрелов, которые не значатся в программе радиопередач, среди арий Сен-Санса и популярных курсов кулинарии, бывают часы, когда я готов от злобы любить, от отчаяния верить, верить во что угодно — в программу, в анкеты, в регистрации.

Среди пяти или десяти сортов закусок, под всеми долготами подготавливающих желудки к более солидным яствам, обязательно значатся сардинки. Эта нежная рыбка как будто живет

не в море, но в бассейнах золотистого масла. Впрочем, это только иллюзия. В городе Дуарнене, в душных и вонючих бараках, нежные не менее рыбок девушки руками, вспухшими, с растравленными язвами солят, кипятят и купают в масле общеизвестную снедь. Девяносто су в день. Хлеб после десяти часов работы остается ничем не одобренным. Да, но при чем тут Пике?..

На песчаном кладбище Дуарнене недавно обозначились четыре новых могилы, и если разразится зимой исландский нордвест, он, может быть, оголит сухие, ломкие, вроде рыбьих, кости. Подругам остается петь о синих глазах девушек Дуарнене, синих доподлинно, как воротничок матросов, уплывших умирать где-то в Рифе на крейсере «Жан Барт». Глаз больше нет. Остальное известно по газетам — стачка, подосланные из Парижа наемные убийцы, жесткий ремингтонный щелк револьверов — «доложить — исполнено», запах рыбы, наконец соль слез. Чистенькие рекламы лучших марок сардинок цветут вдоль железнодорожных путей, среди депо и маков. Сардинки продолжают плавать в золотистом море, девушки петь о синих глазах. Касательно выдачи наградных расторопным исполнителям, не зря съездившим из Парижа в Дуарнене, распорядился сам господин Пике, — добрый Пике, Пике, который входит во все.

До сих пор ничего не ясно. А Луиджи? Какое ему дело до сардинок Бретани? Деятельность Пике, однако, была весьма разносторонней. Он тоже не имел никакого отношения к рыбным промыслам. Ему принадлежали шелкопрядильня в Сен-Этьене, парижская газета «Ла патри» и сеть универсальных магазинов «Дам дю нор», обслуживающих север Франции. В этом нет ничего объединяющего. Но на фабрику принимались исключительно рабочие, не состоящие в синдикатах, газета «Ла патри» ежедневно повторяла «час настал», а приходивший наниматься в лильское правление магазинов «Дам дю нор» мог заметить на стене не без каллиграфического искусства вычерченное объявление: «Персонал состоит из честных католиков и патриотов. Социалистов, масонов и евреев просят не беспокоиться».

Вспомнить еще несколько фраз Луиджи, задуматься на минуту: кто же это — депутат, просто шарлатан или коммивояжер убийств? — и все разъяснится. На узенькой улице квартала Сен-Сюльпис, где торгуют гипсовыми великомученицами,

ладаном и произведениями Мориса Барреса, где сосредоточены страусовые гривы всех похоронных процессий, духовные семинарии, а также «фабрики ангелов», где что ни шаг, то сутана, амазонский сосок Жанны д'Арк, целуллоидная лилия, на улице святой и непотребной, среди консьержек и оскопленных котов помещается центральный комитет молодой лиги «Франция и порядок». Караулящая у ворот консьержка неизменно бренчит связкой ключей. Вот к этим воротам, по словам Луиджи, часто подъезжал элегантный «ситроен» господина Пике. Он бодро проходил во флигелек, откуда доносились разговоры, отнюдь не старомодные, как-то: о курсе франка, о налоге на капитал, о школьной политике в Эльзасе.

Если девушки Дуаррене продолжали петь о синих глазах, не таков был Луиджи. Стоило ли его брату в угрюмую ночь тягаться с мистралем, стоило ли нищенствовать в Марселе, то вакса штиблеты греческих капитанов, то грузя снаряды для усмирения каких-то друзей, стоило ли ему уйти от черномастых борзых, чтобы попасть в капкан молодецкой «Лиги»? Газеты мимоходом шпункнули: «Итальянский анархист Джованни Ваппо застрелен двумя соотечественниками во время драки». Что же, репортеры честно изложили полицейский протокол. Большого они не знали. Другое дело господин Пике, господин Пике, который входит во все! Хорошее хозяйство создается только вездесущими домоводами, не брезгающими там выполоть лебеду, а там посыпать нафталин.

Хорошо обо всем этом читать в газете, хотя бы в «Известиях», когда внеурочно шумит самовар, а «младая жизнь» ангелически щебечет о бессмертных «ладушках», которые едят, пьют и улетают. Да, да, я заранее согласен! Я выражаю гражданский протест, и я не сомневаюсь, что соответствующая резолюция будет принята единогласно. Разве не наставляет меня любая лавочка, где ореховая халва и первосортные колбасы,— «в единении — сила»?

Но маршал Фош присутствовал при другом. Голосования не было. На постели нудно ворочался и стонал погонщик баранов, не вышедший на работу потому, что проглотил накануне слишком много кальвадоса, и еще потому, что ему предстояло убить господина Пике.

Все продумав, я попытался возненавидеть. Я проделывал различные движения, которые должны были приблизить меня к облику если не лубочного мстителя, то, во всяком случае,

сознательного анархиста. Пике мне, разумеется, не нравился. Но от этого до пули еще далеко. Какой невыразимо глупый поединок между опустившимся литератором и владельцем сети универсальных магазинов! У Луиджи с ним свои счеты. Пусть сам и расплачивается. Наконец, этот итальянец мог и наврать. Я подкреплял мое нехотение солидными идеями. Фош услышал фразу, прочитанную когда-то на московской стене, среди сроков выдач по различным купонам: «Мы боремся с классом, а не с личностями». Я готов был уже написать эту истину на случайно сохранившейся в брючном кармане старой визитной карточке и вручить вместо ответа Луиджи. Но тогда-то я понял, что, помимо убийства Пике, мне решительно нечего делать. Случилось так, что я встретил губастого призрака, что он сказал мне «молодец, поможешь». Я не вышел гнать баранов. Не выйду и завтра. Хрупкий распорядок заемной жизни, жизни, откровенно говоря, не всерьез, среди мясников и бездумья, разрушен. Писать, как прежде, романы? Но кому это нужно, если не считать взбалмошной польки и двух-трех критиков, нагоняющих на мне строчки? Жена? Она рисует яблоки и кувшин, кувшин и яблоки. Она, наверное, теперь чешет шею любимого погугая и лепечет: «Жако, Жако». Жена скажет: «Побрейся». Вдруг все пути оказались отрезанными. А здесь Луиджи, который знает, что мне нужно делать.

Голубоглазый хранитель, вы меня не оберegli!

Лирически вздохнув, я надвинул кепку на нос, чтобы придать себе вид, более соответствующий убийце.

5

Связи с насекомыми

Зачем только улица Юиганс? — ведь это Монпарнас, — вторая моя родина, нарочитая и условная, как ямбические слезы, квартал вечной славы и мебелирашек с неизменно пустыми комодами. Здесь меня знали все официанты, все кошки, все скамьи. За Киев я не ответственен — это мне дано наравне с тяжелыми вислыми губами, наравне со снегом и с одышкой. А Монпарнас я выбрал. Вместе с другими, с такими же наглыми и трусливыми эквилибристами, я выдумал его в бессонную ночь.

Географически это — часть Парижа, следовательно Франция, помесь 6-го и 14-го округов, сумма домов и избирателей, гастрономический магазин Дамуа, лицей Станислава, церковь. Если верить газетам, в этом районе проживают люди, которые ходят к нотариусу и к финансовому инспектору, перед которыми раз в четыре года страстно обличают друг друга два близнеца — «радикальный республиканец» и «республиканский радикал». Но кто верит газетам? В Монпарнасе этих людей нет. Да в нем и вообще нет людей, — только дрессированные призраки и дешевые гостиницы.

Духовная натурализация чрезвычайно напоминает развоплощение. Прежде всего призрак скидывает с себя родину. Ах, господа, это не интернационализм, это только кислый кофе и скука! Вместе со смуглостью чилийца, в табачных затонах «Ротонды» испаряется память о белом камне, о рыжей земле, о жадном тростнике, который караулит, обнимает, проглатывает тропинку, созданную окровавленными плечами и волей. Какое дело вот тому корноухому шведу, дремлющему весь день под газовым рожком, до белых ночей? Прежние языки отмирают, новый же абстрактен и скуп, как черточка азбуки Морзе. Ненужность, своя и чужая, здесь закон бытия. Залежи шедевров, наряду с грязными воротничками и с женщинами, общедоступными вследствие отсутствия предрассудков, а также дороговизны чулок, загромаждают пять кафе, семнадцать гостиниц и анемичные сердца.

Благословенный край! За его границами быт, буржуазный или рабочий, быт депутатов или шахтеров, но обязательно быт, жизнь взаправду, с обрядами, с меченым бельем, с детьми, с именинами. Здесь же нельзя полюбить, нельзя даже как следует напиться — все это только литературные приемы. Модель для картины, модель для платья, для элегии, для сна, для пластического сна на ритмически чуткой кровати.

Я благодарю тебя, Монпарнас, с твоей мифологической кличкой и маскарадными притонами, публичный дом, пропускающий ежегодно сорок тысяч импотентов, богадельня для шикарного умалишения, для лишения всего, вшивый рай, где росло и крепло мое человеческое отчаяние!

Но, покинув однажды, вследствие уже известной вам корыстности моего толстяка, этот изумительный санаторий, я отнюдь не был склонен возвращаться назад. Подобные проделки даром не сходят. Меня узнают, станут расспрашивать: «Пи-

пете?» Что я отвечу?.. Назову ли вместо романов Дельтейля телячью голову или, может быть, вздумая считать зады натурщиц? Притом господу Пике не водятся в подобных зонах. Нет, мне, новичку взаправды, нечего делать среди картонных бутербродов и анилиновых душ.

Так думал я, совершая переход от Виллет к Монпарнасу, через кварталы, полные ритуала и тоски, через различные солнечные системы, где резок свет кино и несносно вращение полицейских на велосипедах. Тогда я еще различал кварталы и верил в подлинность известных жестов. Я порицал огни «Ротонды», границы вымысла, рампу моих вчерашних дней. Теперь мне все равно, где жить. Я готов вернуться к палитрам и блохам Монпарнаса, мудро покрикивая, как любимец жены «Жако»: «Спать-пить, пить-спать». Я понял случайность всех профессий. Теперь... Однако не следует путать глагольные времена, тем паче что в шведском ресторане на улице Юиганс меня ждал Луиджи, ждал давно, притом не один.

Боясь быть опознанным подавальщицами ресторана «Дюгеклен», где я часто обедал с женой, ел телячьи котлеты и шпинат, а также моим фаворитом, даже другом, котом Мавро из кафе «Дом», удивительным котом, выдвинувшимся если не в люди, то в собаки, с ошейником и с правом на самостоятельные суждения, я сделал большой крюк. Все обошлось благополучно. Только бородатая газетчица, фамиллярно улыбаясь — а вот и мы, а вот и неувыдающее искусство, — протянула мне номер «Журналь Литтерер», как будто я и не знавал вовсе баранов — свеженькие новости: сюрреалисты изругали Клоделя! Нет, сударыня, уж лучше «Пти паризиен» — там, по крайней мере, курс рогатого скота, крупного и мелкого, самоубийство мастерицы со вздувшимся животом и с вздувшимся, как море в шторм, сердцем, по крайней мере, там некая, пусть и мышиная, жизнь.

Как большинство семитов, я живу предпочтительно запахами, поэтому ни кубистические картины на стенах, ни насвистывание «Белотт» не помешали мне сразу очутиться на севере, крикнуть, правда, деликатно вешалке и солонине «скол». Смешение ароматов медового табака, селедочек, жженого приторного пунша подсказывало пеньку, переходные канаты, распродажу шхер и восторгов, чистейшую (с благословения пастора) любовь. Но отрады путешествия длились недолго. Луиджи приветливо закивал огромными губами. Сигареты

с золотым мундштуком оказались превзойденными. Небрежно показал он на сидевшую рядом с ним даму. Я сразу отметил серафические кудряшки и чересчур художественный шарф.

— Знакомьтесь. Паули, моя подруга, немка, художница, говоря прямо — героический мотылек.

Я должен здесь покинуть Швецию, яичницу с кильками, даже пунш, оставить, хотя бы на время, Луйджи, который не зря дал мне сто франков и не зря потчевал скандинавскими яствами, забыть первые наброски уголовного романа, где полусобачья, полуангелическая кличка «Диди» сочеталась с лигой «Франция и порядок», — словом, убрать место действия, пренебречь сюжетом и все свое внимание отдать новому персонажу навязанной мне повести: кудряшкам, шарфу, не будучи никак собирателем бабочек, этому залетевшему на мой огонек мотыльку.

Лучшее определение трудно придумать. Забудьте стихи из хрестоматии, поглядите-ка вечером на лампу, когда тупо беснуются вокруг нее эти загадочные насекомые. Толстое брюшко, в котором не трудно опознать хороший аппетит и самодовольное потягивание первоначальной гусеницы, украшено крылышками, выставочными и вымученными, как шарф Паули, как картины на стенах шведского ресторана среди взбитых сливок и маринадов. Шашни с огнем кончаются либо «хроникой происшествий», либо вполне благополучно, оставаясь в памяти двумя, тремя фокстротами. (За ними следуют хлопотливое откладывание яичек и нотариальное замирание на пыльном осеннем стекле.) Знаю, и это правдивое описание иные сочтут за клевету — помилуйте, бабочки... Что же, я аккуратно перечислю приметы моей Паули и различные биографические данные, сообщенные ею в тот вечер.

Она ухитрилась быть аскетически толстой, то есть соединять хрупкость, даже болезненность экспрессионистической барышни из ночной кондитерской Шарлоттенбурга с некоторыми припухлостями, с любовью к тортам, к клецкам и к прочим мучнистым препаратам. Скорее всего она напоминала домовитых и порочных мадонн швабского средневековья. Не хватало только яблока для традиционных забав младенца. За яблоко, впрочем, могли сойти не то египетские, не то мюнхенские бусы гигантского ожерелья, угрюмо брэнчавшие, когда она говорила «я скоро умру» или «передайте мне майонез». Может быть, этим объяснялась ее живопись — трогательная резинья-

ция матросов в публичных домах Сан-Паули и подозрительные проказы трехлетних херувимов. Все, от хаоса слов до чрезвычайно грязной буро-оливковой палитры, было самым беспорядком, но это не мешало Паули обожать порядок, исправлять расстановку слов в фразе, маниакально часами переставлять предметы хозяйства, то есть грелку для живота, флаконы духов, тюбики акварели и теософские трактаты. Истерически боявшаяся стрекоз и голубей, она заверяла, что ей ничего не стоит войти в клетку с тиграми. Говоря это, она, вероятно, оставалась правдивой. Ведь написала же она письмо Муссолини: «Вы — воля. Ваш стиль понятен мне. Я хочу, чтобы вы вошли в меня, как это сказано в Библии и в новеллах Поля Морана. Вы понимаете, удовольствие здесь ни при чем, — мне необходимо одиночество и сын от Муссолини». Ответа, увы, не последовало, и Паули пришлось удовольствоваться соотечественником гордого «дуче», моим новым покровителем. В баре, на улице Шатоден, она могла вволю пить паточный ликер «Стрега» и декламировать стихи Толлера.

Все это я получил немедленно над яичницей с кильками, еще до ростбифа, до Диди, до разговоров об убийстве. На Паули напало какое-то словесное неистовство. Ритм ее речи походил на одышку альпиниста, подходящего к цели. Как я потом заметил, эта катастрофическая словоохотливость сменялась часами полного, казалось, неодушевленного молчания, когда о Паули легко было забыть, до того ее неучастие в происходящем являлось естественным. Так и в тот вечер — после рассказа (сотого? тысячного?) о письме к Муссолини, удостоенного (тоже, вероятно, глубоко традиционной) ремаркой Луиджи «молчи, ваза!», истощенная, она поникла и, кроме старательного поглощения блюд, ничем себя больше не проявляла.

Я мог спокойно оглядеть ее и убедиться, что Луиджи не прогадал. Вы правы, милые хрестоматии: ей-ей, мотылек достоин поэтических потуг. Пусть бусы и препротивно бренчат, милые кудряшки полны утреннего звона полей, где роса, ромашки, жаворонки. А мягкость форм, поскольку я уже подумал о жаворонках, сдобная и легчайшая, заставляет воскликнуть: «Где вы, мартовские птички из окон булочной, когда таял снег, а сердце тараном било гимназический билет?..» Сколько книг написано о женственности! Ее обязательный анализ значится и на тычинках церковных лилий, и на бутылках минеральной воды. Однако, увидев такие глаза, такой наклон головы, такую

готовность, пусть и наманикюренных рук, чувствуешь себя всякий раз Колумбом, невольно про себя восклицаешь «спасите меня» или же «пришейте мне пуговицу, я печален и одинок».

Прошу не запоминать этих лирических признаний — они объяснят многое в дальнейшем вернее, нежели все беседы с моей новой сотоваркой. (Знакомства, как и ростбиф, диктовались ведь делом.) Забегая несколько вперед, скажу, что мои познания вскоре обогатились. Я узнал, что письма от Паули получили также профессор Фрейд, Рудольф Штейнер, молодой поэт Жозеф Дельтейль, некто Пигос, воскресивший старинные игры басков, и некоторые другие, более или менее заметные люди. Всех их Паули жалела за одиночество и ото всех хотела иметь сына. В итоге... Однако об итогах после.

Луиджи быстро напомнил мне о моих далеко не романтических беседах с маршалом Фошем. Легко было и забыться. От улицы Юганс рукой подать до моего толстяка, следовательно, до литературы, до жены, до бюро вырезок со статьями гражданина Терещенко, до недавнего прошлого. Зашли пропить гонорар среди загадочных скандинавов... С Паули можно поговорить о живописи — это тоже дело привычное, семейное, можно и поцеловать ее разок-другой. Подобные улады, на верное, значатся в карточке ресторана между сыром и знаменитым тортом «Фиорд». Но нет же...

— Он и Диди наладят все.

Это произнес мой фантаст, причем местоимение относилось ко мне. Совместно с какой-то Диди (левретка или мадонна из дансинга?) я должен — да, именно я, не кто другой — «наладить все». Будем откровенны — это значит вспороть брюхо фиолетовому субъекту, с фамилией короткой, точной, как мишень, однако загадочной по произвольным ассоциациям: то девственно нежное, белое одеяльце на прибранной кровати, то черная масть гадалочной колоды: болезнь, слезы, смерть. Отступать поздно — я сам признался Луиджи в своих убеждениях, я взял, наконец, у него сто франков. Вы можете называть меня как угодно — идейным анархистом или наемным убийцей, — от этого ничего не изменится.

А Паули?.. Что же, Паули останется с Луиджи. Так устроена жизнь. Великолепно, товарищ фантаст! Вместе с Диди мы наладим все. Ты можешь быть спокоен.

Огромное благодушие после торта, после пунша, после мыслей о любви и смерти заполнило меня, четверть часа нирваны. Только бы не встать!.. Вот он лежит на ковре, таинственный Пике, убитый алкоголем и моей фантазией. В его руках лиловая астра и номерок гардероба. Кто унаследует его палку, великолепную палку, с набалдашником из слоновой кости, скипетр над сетью универсальных магазинов «Дам дю нор»? Конечно, я. Я дам Паули мое сердце, перелицованное сердце автора шести романов, и много чулок, туфель, пижам, решительно все.

Прелестные мечты, даровые (за них платил Луиджи), однако только мечты. На полу действительно лежал долговязый дурак, перехвативший пунша. Он лежал под картиной, изображавшей машинное колесо и спичечную коробку. Ей-то он протягивал астру и гардеробный номерок, выкрикивая:

— Искусство! Абстракция! Скол!

Этот крик покрывал все голоса, даже перезвон, вечерний мелодичный перезвон сгоняемых на сон стаканов, даже водный гул вечности, заполнявший уши поевших, как и мы, всласть. Паули презрительно поморщилась.

— Вы его не знаете? Он рисует семафоры. Он влюблен в аптекаря на улице Вавен. У него в Дании одиннадцать коров и серебряная свадьба.

Я ничего не понял. Нет, я понял одно. Глядя на Паули, на этого никчемного мотылька, взметенного обилием рюмок и общей мне, вам, всем нам тоской, я понял одно — не только Пике предстоит мне, но еще...

И я покорился.

6

Чего стыдятся люди

Слишком гол и долгов идущий сейчас ветер, слишком близко мое тело, утратившее и жар и твердость лепки к земле, с которой суждено ему не сегодня-завтра смешаться, слишком поздно, чтобы прикидываться.

Скажу прямо — влюбляться и заводить, ложась спать, часы для меня одно и то же — в этом сказывается привычка, уважение к не мной налаженному механизму. Я никак не могу определить сроки, однако симптомы инкубационного периода мне

хорошо известны. Начинается это с зевоты, с некоторой рассеянности, с бессмысленных стоянок у различных витрин, где потусторонне цепенеют пылесосы, жемчуга или груды лимонов. Со стороны кажется, что я ничего не замечаю. Так сердце, любитель древностей, кузен Понс, плутоватый простофиля, вновь и вновь приценивается к женским зрачкам и к звездам. Решающая минута ничем не отличается от других. Когда именно был нажат затвор, работающий со скоростью одной тысячной секунды, и чьи веснушки остались на светочувствительной эмульсии? Только много позднее в скупом свете лаборатории происходит химическая реакция. Сначала проступает небо, потом блики лица, наконец оторочка платья, заурядные приметы той или иной жизни. Часы заведены. Остальное хорошо известно и мне, и ей, и вам, поскольку вы достигли физического совершенства.

Я не стану рассказывать, как проявлялась та пластинка. Ведь вечер в шведском ресторане мною рассказан ретроспективно, и нетрудно догадаться, что я влюбился в Паули, влюбился умеренно, вне полярного магнетизма, вне тропических лихорадок, где-то в полосе чекового обращения и демисезонных пальто, как может влюбиться человек моих лет, то есть уставший от дебютных безумств и еще не дошедший до заключительной ярости.

Проснувшись на следующее утро, я одарил моего маршала сладким позевыванием. Этим сказано все. В течение дня я не думал ни о шее господина Пике, ни о баранах. Я бродил по Большим бульварам, читая рекламы и вслушиваясь в гудки автомобилей. Из надписей мне особенно понравилась одна: «Вода святой Редегонды, как никто, балует кишечник». Это напоминало о курортных цветниках и о чисто средневековой страсти — «как никто»... Что касается гудков, то они за меня беседовали с Паули. Одни, дамских лимузинов, где внутри пармские фиалки и пинчер, деликатно замечали: «Посторонитесь, ах!..» Озабоченные такси, чье сердце скачет, повышая сумму расплаты и заставляя скакать сердце расчетливого пассажира, ворчали: «Дорогу! Мы торопимся!» Вернее всего передавали мои чувства грузовики с их несложными окриками: «Ты-то!.. того!.. не то...» Так я провел весь день, подкрепляясь вином, сыром и фантазией.

В девять часов вечера уверенно и деловито я направился на бульвар Гарибальди, где проживала госпожа Паули Шаубе.

Я был в меру взволнован, как старые девы, которые каждую субботу, отправляясь в кинематограф, запасаются двумя носовыми платками. Слов нет, я был влюблен.

Кое-как разыскал я полутемную мастерскую, где прежде горемычный отшельник лудил ванны и паял мышеловки, располобленную в глуби жестокого двора, среди кегель, порожних бутылок и зобастых кроликов. Дверь была приоткрыта. Пока в соседнем чуланчике Паули возилась над чадной керосинкой, я мог разглядеть обстановку. Это было логово, вполне достойное хозяйки. Разбросанность жизни передавалась юбкам, холстам, тарелкам. Однако даже в гряде окурков чувствовалась система. Подобный хаос создается мучительно, ценою бессонных ночей и родительских проклятий. Плешивая козья шкура оделяла посетителя липкими волосами и запахом потного седла. На стене, где умирали мухи и рахитичный свет лампы, имелась живопись: святой Себастьян, написанный в манере экспрессионистов и сочетавший форменный околышек нимба с подозрительной позой светского мужеложца. Впрочем, обстановка меня не интересовала, тем паче что в мастерской находилось живое существо — девочка лет четырех или пяти, задумчиво сосавшая указательный палец.

Я к детям отношусь скорее равнодушно, примерно как исправный горожанин к явлениям природы, то есть охотно соглашаясь, что они «очень, очень милы» и вместе с родителями расхваливая их сверхъестественную сообразительность. Они пугают меня — то обезьяны, то поэты-дадаисты, то хитроумные, хоть и сопливые ангелы — своей ничем не скрывае­мой карикатурностью. Наша человеческая мерзость проступает в них откровенно, без прикрас: подставить ножку, слизнуть у зазевавшейся старушонки яблоко, наябедничать, улюлюканьем облепить безногого, негра или же просто чудака. А в тумане душевных детских, где воздух нежен и тверд от дыханья, от пульверизаторов, от ночных горшков, от высоко поддерживаемой температуры, дабы зерно познания могло прорасти, мне мерещится извечный образ рукоблудия с его буддической слюной.

Но не такой была маленькая гостя этой пошлой мастерской. Она еще ничего не знала, ни нимба, ни цен на керосин. Чересчур большие для проекта лица глаза выражали прекрасное недоумение. Не будь моей влюбленности, не будь за стеной пыхтенья керосинки, напоминавшего об учащенном дыхании Паули, я бы долго простоял, глядя в ее глаза. Как хорошо

понимал я это неприятное удивление перед ходом дней, перед тиканьем часов, перед любым словом, любым жестом, я, маститый дылда, автор многих романов и ценитель телячьей головы. Может быть, мы с ней грустно поиграли бы, ладошами ударяя ладоши, может быть, пользуясь темнотой, и всплакнули бы. Милая девочка, она мне напомнила, что не только я слаб и беспомощен перед Луиджи, перед Пике, перед маршалом Фошем, нет, и она и многие другие. Тем лучше,— значит, это не патологический казус, значит, это и есть жизнь.

— Это девочка консьержки,— не без досады определила мою новую знакомую вошедшая наконец Паули.— У консьержки свинка. Это очень заразительно. Вот мне и приходится нячиться с ней.

(Я же говорил вам, что у этой женщины была на редкость нежная душа!)

Мы вышли. Паули хотела вечерней прохлады и элегических вздохов, неизбежных при такого рода прогулках. Это определяло и маршрут. Мы как бы перестали существовать и, ныряя в сладкую гущу французской литературы, нашли, что набережная Сены прекрасна, что серый дым собора нежен не менее наших чувств, что ничего нет осмысленнее и патетичнее сомнительного рыболова с затонувшей давно и удочкой и душой, дремлющего под офортной массой моста. Я знал все это наизубок — и выразительность пауз, и слова, и блики света. Однако это не мешало мне. В такой-то раз я перечитывал настольную книгу, с притворным и в то же время натуральным удивлением: «Вот что! Значит, героиня любит героя»... Разумеется, я при этом кокетничал. Помню — меня когда-то учили: гляди на свой нос, на предмет, в угол. Я приложил мудрую формулу к духовному миру: о моем вящем одиночестве, о тепле, о безусловном тепле соседствующей руки, о пустоте окрест, о пустоте издавна и вездесущей. (За «угол» могла бы сойти и пресловутая «вечность», но литературный вкус все же удерживал меня.) Все шло по-хорошему — вздохи, шаги, блики. Я описываю это сейчас с усмешкой: не месяцы — горе прошло с той ночи. На самом деле, все было туманнее и, следовательно, милее. Ночь что надо. Влюбленность что надо. Вы все это пережили, и, закрыв двери, можно признаться — от этого, как от супа и от слез, не уйти.

Сославшись на усталость, Паули остановилась. Мы выбрали скамью. Я был счастлив — помилуйте, в этой книге на известной странице скамья,— обязательная героиня, бурозеленая, морщинистая скамья, приют романтических нищих и экономных любовников. Как хорошо, что мы не остались в мастерской, что еще много метров, может быть, и часов отделяют нас от цели! Дело шло к поделуям. Я снял кепку и сказал что-то подходящее, кажется, о пароходном гудке. Тогда Паули восхитительно поникла. Ее голос вдруг отдалился, он стал телефонным — сквозь гуд и даль:

— Воды! Это сейчас пройдет. Дайте мне только стакан воды.

«Так умеют любить одни немки»,— классически и сентиментально мог бы подумать я. Впрочем, для сравнений времени не было. Речь шла явно не о черной Сене. Удовлетворенно ощутив жилетный карман, где горбились франки Луиджи, я подал Паули руку. Все как полагается — я веду даму в кафе.

Тусклое кафе, таких тысячи, с пыльной иерархией бутылок, с суконными ковриками, на которых ссорятся разномастные короли, с апоплектическими затылками мосье такого-то и мосье такого-то, пыльный аквариум, где изо дня в день плавно кружатся и шуршат плавниками, от школьной скамьи до похоронных дрог, владелец молочной «Масло Нормандии» или писмоводитель «Парижского учета», где ждут девятки, обижаются на прекраснотищых валетов и полощут вставные челюсти в мятной настойке. Как в каждом кафе, нашелся и в нем угол потемнее, отведенный под заплаты и под поделуи, куда предупредительно загнал нас хоть кривой, но догадливый лакей.

— Лимонад, Паули? Вино?

— Нет, если можно, кусок хлеба. Маленький. Если это не стыдно, попросите, пожалуйста, кусок хлеба.

Так началась разгримировка. Что же, хорошо, когда ба-рышня, чирикавшая под святым Себастьяном, оказывается беззащитным зверьком, а истома из романа попросту голодом. И на том жизни спасибо. Она сегодня ничего не ела. Ей очень стыдно. Может быть, и мне стыдно, что я пришел с такой дамой в кафе? «Кусок хлеба»!.. Поглядите на презрительно сжимающийся глаз лакея; один глаз способен выражать столько чувств. «Хлеба»! Красавица нива, о которой зубрят стихи в школах, россыпи караваев — это золото бедняков, отчаянно и нежно хрустящая корочка, последняя корочка — они все обедали, они забыли стихи из хрестоматии, они ничего не понимают!..

Паули ела. Паули приходила в себя. Однако она не пробовала больше прикрываться ссылкой на ночные причуды или переселение душ. Какая все же иллюзия — адреса, звонки, дружба, количество подъездов, окон, костюмов, зрачков! Бедные Робинзоны, мы порой машем шестом, и нет ни потного ласкового Пятницы, ни руна, ни попугая, ничего, только астрономическое небо, счет франков и одиночество. Теперь, когда я пишу эти строки, вокруг меня пусто и просторно, много воздуха, много голой и неуступчивой черноты октябрьского вечера. Я вспоминаю тот вечер в кафе, покер честных негоциантов, крошки хлеба, глаза Паули, горе. Я забываю о своих обидах. Что она могла против жизни?..

Трудно понять, чего именно стыдятся люди, почему оскорбителен тот же хлеб, среди козырных карт и мяты, почему сейчас я хочу стилистическими вывертами хоть несколько скрыть волнение, почему Паули, щеголявшая гадким шарфом и жалкими приставаниями к подозрительным знаменитостям, голубоглазую девочку, пусть на словах, подарила больной свинкой консержке? Разве не прекраснее всех световых реклам были недоуменные глаза? Они не обещали ни лучших в мире папирос «Абдула», ни бессмертия потребителям «Дюбоннэ». Они только спрашивали. А обсосанный палец, ей-ей, он был слаще всех сластей, да, всех сластей нашего сладкого детства, слаще карамели «короля Сиамского», слаще «раковых шеек», «дюшес» и «безе». Но ванночка, в которой надлежит обдавать мыльной пеной розовое тельце, никак не сочеталась с письмами к Фрейду. Только теперь, среди семейной простоты темного угла, над крошками хлеба раскрылось все: это ее дочка, Эдди, милая Эдди!..

Легче было, разумеется, утаить, нежели выходить. В голодную берлинскую зиму, когда по ночам на углах толпились маргариновые призраки, готовые не то разгромить булочную, не то инсценировать для американской киносъемки пуританское светопреставление, когда на деревянных лошадках цокали по загаженным панелям фельдмаршалы в карнавальных приставных носах, а инвалиды костылями выстукивали не то «Интернационал», не то «шимми», когда хотелось жрать, выть и кувыряться под злыми ветрами Балтики, в ту памятную зиму к наивной немочке приходил, не знаю наивный ли, немчик, и сахариновая химическая любовь заменяла все, вплоть до жара едва теплых, старческих вен центрального отопления. Весною,

однако, неизменно появляется солнце, оно не признает катастроф. Помню талые лужи в Москве 1920 года, помню и то тепло, равнодушное, почти враждебное, берлинского принижения. Так и Эдди. Ее появление не зависело ни от зимних шепотов, ни от столкновения комет, ни от выставок «Штурма». Когда же она стала весомой, о чем свидетельствовали прежде всего весы в соседней аптеке, куда добросовестная Паули носила пискливый пакет, как будто этот груз измерялся легкими фунтами, а не тоннами боли и счастья, когда Эдди стала не истерикой беременной женщины, но самостоятельным и достаточно настойчивым существом, тот, большой, не наивный, нет, далеко не наивный, сказал:

— Это все-таки пакость! Я понимаю любовь в космосе, вечную динамику, треугольник чувств. Но ты никогда не свяжешь моей души бюргерскими пеленками...

Он оставил на память коробочку дамских сигарет «Саламбо». Куря их, Паули мечтала о картошке. Я не хочу философствовать над дороговизной масла, но, слов нет, Эдди давалась с трудом.

Конечно, Париж доподлинная столица, конечно, в нем живет Пабло Пикассо, как фонтан подростого Вавилона бьет Эйфелева башня, находчивостью Ситроена обращенная в столп огня, конечно, в Париже, в Париже, в Париже, кружатся американские «герльс», выработываются линии эпохи и линии подвзкок, все в нем — мотыльку выбора не было. Но есть и другое, хотя бы дешевенькие ручки зонтиков, изготавливаемые сотнями тысяч для экспорта на невзыскательный вкус каких-нибудь скандинавов, если не кафров. Вот и для Паули нашлось дело. За раскраску каждой ручки платили три су. Пыхтела керосинка, и маленькая Эдди марала слюнявку. Двенадцать часов работы, жуки, украшавшие зонтики, спирали маячащих где-то «герльс», наконец слезы, банальнейшие бабы слезы выедали глаза. Так появлялась нелепая козья шкура. Так писались письма Муссолини. Так выпал и Луиджи, фантаст, губы которого умели, как известно, дрожать под различными фонарями.

Было это в кино. Упрямый губастый апаш похитил сиротку. Свадьба на карусели. Всклипы шарманки, мировой плакальщицы, для которой одно — века и народы, «Шуми, Марица» или фокстрот, все — суета сует шарманки, способной довести до слез даже ночных сторожей и дворовых псов. Тени, только тени быстро вальсирующих деревянных лошадок. Скорее! Скорее!

Это ведь праздник! Это ведь счастье, сусальное, шарманочное, человеческое счастье! Губастый хохочет. Губы его дрожат, скрипят, несутся, как тени карусели. И вот среди вращения, среди света, среди сотни метров веселия — слеза похищенной сиротки. Здесь Паули не выдержала, она расплакалась, хоть было это стыдно, стыдно, как крошки хлеба, как каша Эдди, стыдно, как жизнь взаправду. Тогда близко, рядом с ней, дрогнули губы, не на экране, нет, возле губ Паули.

Каким огромным солнцем должна казаться мотыльку жалкая лампочка, под которой дремлет, разморенная жарой и разлукой с милым, стряпуха! Луиджи называл себя анархистом. Он не плакал от теней деревянных лошадок. Он плевался. Он знал, что делать и как жить. Он знал, например, что хочет чувствительную подругу. И четыре дня спустя Паули стала ею.

Дойдя до этого, она замолкла. Что ей было еще добавить? Что Луиджи не солнце, что он тоже не знает, как жить? Что жизнь с ним — это ручки зонтика, по три су за надоедливую жучка? Что не легко дается страсть мимоходом и ревность из «хроники происшествий»? Об этом говорили только глаза и темнота, душная темнота угла, отведенного под заплаты и под объятия, темнота, наполненная частым дыханием, словами «милый» или «дай сорок су», отчаянием.

Обличать Луиджи? Нет, она не пойдет на это. Он тоже несчастен. У него на ногах большие желтые когти одинокого зверя, а в сердце тоска по убитому брату. Все мы, все, как один!..

И Паули ласково погладила мою руку. Здесь произошла вторичная перемена. Картежники на нас не глядели, да и гляди они, все равно происшедшее осталось бы незамеченным. Я ведь не наклеил бороды, я даже не снял кепки. Но с Паули сидел не завсегдатай «Ротонды», привыкший пренебрежительно попыхивать трубкой, среди пивных кружек и споров об искусстве, не автоматический ловелас, еще недавно мечтавший меланхолической беседой приятно предварить несколько опостылевшие поцелуи, не писатель, который наметал и душу и самопишущую ручку на выскивание всего злого и подлого, что есть в нашей жизни, присяжный остроумец на гастролях в чеховских захолустьях, нет, кепка, тень в углу, бедный человек, кое-как проживший тридцать пять лет, готовый все отдать за толику тепла вот этой перепавшей и на его долю руки, ничего не способный отдать, кроме разве немоты и угрюмых толчков вконец заезженного сердца.

Несвязные воспоминания одолевали меня. Тюремный надзиратель и камера № 71. Я наказан — без прогулок. Восемь минут ветра и игрушечной свободы отняты за какой-то капризный жест. Старый надзиратель тихонько выпускает меня в коридор, сердито бренча ключами и сердито, ах, как сердито кашляя, подводит к окошку. Дворик, большое солнечное пятно, чьи-то ребята, чахлый крыжовник у стены:

— Подышите. Нельзя ведь без этого...

Париж. Ночная работа. Старик француз обматывает меня своим кашне: холодно. А ему?..

Крым. У жены сыпняк. Ночной норд-ост верховодит миром (здесь зовут такое «мистралем»). Доктор сказал: «Умрет». Просто и ясно — наука. Жалко, через силу улыбаясь, Ядвига говорит мне:

— Это неправда. Она выздоровеет.

Киев. Я — нелегальный. Ночевок нет. Нет и денег. Холод гололедицы, когда мерзнет сердце, а ночь выжимает из него слезы — иней ресниц. Я хожу взад и вперед по Бибиковскому бульвару. Навстречу мне, так же мерно и глухо, замерзая, с белыми ресницами и темным сердцем ходит девушка. Она ищет. Летний синий костюм, Открытые туфельки. Наконец, отчаявшись найти лучшее:

— Пойдем.

— Ни копейки.

— Все равно. Согреемся. Чаю выпьем.

Мы пьем чай. Ее зовут Рива. Веснушки, заштопанные чулки, тщедушность золотушного подростка. Потом она расстается с теплом чашки, гревшей несгибающиеся пальцы. Она снова уходит на бульвар. Возвращаясь, она улыбается — сзади калашами топочет дородный подрядчик с Подола. Я остаюсь в передней. Час спустя подрядчик кричит:

— Рива, мне так сладко и грустно, как будто я сахару скушал. Это твой граммофон? Не твой? Хозяйский? Все равно. Поставь мне «Кол-Нидре»!

Хрипит рупор. И, надрываясь, кантор, какой-нибудь курчавый чудака, молит в «день суда» не судить, нет, не судить, лучше простить без суда. Ведь сладко и грустно человеку, скушавшему сахар за ситцевой занавеской, на которой круглый год цветут пионы. А Рива выбегает ко мне.

— Ты такой худой, ты совсем как цыпленок...

Она дает мне тридцать копеек и коробку папирос, толстых, «высший сорт «А» — их курит подрядчик. Она гладит мою руку, как Паули...

Да, я говорю об этом прямо и не стыжусь. Без этого нельзя — без восьми минут солнца, без чужого кашне, без глупой надежды, без папирос Ривы, нельзя без тепла, никак нельзя. А с ним? С ним тоже нельзя. Впрочем, об этом после.

Так, роясь в душном и вшивом тряпье прошлого, я и не заметил, что мы вышли из кафе, что козыри лавочников сменились новыми соглядатаями: звездами автомобилей и полицейскими пелеринами. Я очнулся только у дома Паули, вспомнив, как я шел сюда, блудливое трепыхание в темной мастерской и недоумение маленькой Эдди. Мне стало стыдно, очень стыдно. Тогда — так всегда бывает: это не только история лежачего, которого обязательно бьют, это также история зайца, нашедшего лягушку, — тогда-то Паули с истерическим возмущением заявила мне: — Вы меня накормили. Вы можете потребовать, чтобы я с вами спала. Дешевая оказия!..

Я закрыл глаза — спасибо векам: они позволяют хоть что-нибудь утаить, — и тихо безлично простился.

7

Последствия умиленности

Я остался на окраинной улице, один, с фонарями, с двадцатью франками (остаток аванса за Пике) и с несколько разжиженной прощанием умиленностью. Впрочем, мне было суждено потерять и это. Началось с фонарей. Время вывело на сцену зловещую фигуру человечка в черном балахоне, с длинным крючковатым шестом. Быстро перебегая с одного тротуара на другой, он давил огни, давил этих золотых жучков, невыразимо сладострастно, как чиновник и как убийца. Вдоволь расстроенный предшествующим, я хотел ущемить этот черный балахон, но сдержался. Разве можно идти против времени? Покер ведь давно закончен, и все уважающие себя граждане видят во сне козырные тузы.

Вслед за этим я лишился и богатства. Двадцать франков сулили еще день, другой, полный бутербродов и грез. Но сума-

сбродство второго часа пополуночи решило иначе. Поравнявшись с сонным автомобилем, лениво храпевшим, я неведомо зачем, как ленивый кутила, развалился на кожаных подушках. Куда? Все равно!.. Шофер понял заказ. Он многозначительно, как заговорщик, улыбнулся. Мотор не спешил — кроме двадцати франков, мне предстояло ведь потерять и заработанную в темном углу нежность.

На беду, шофер оказался русским, с рябинками и растерянным гонором доброго кадрового офицера. Господин Сергеев. Хорошо, пусть Сергеев. О, я отнюдь не обрадовался любезному землячку! Неизбежность душевных выделений еще ниже пригнула козырек моей кепки. Я пробовал усиленно пыхтеть трубкой, кашлять, даже дремать, но, разумеется, все эти домашние уловки оказались недействительными перед словоохотливостью, диктуемой ночью и ностальгией.

Видите ли, дня три тому назад его нанимает некто худой с чемоданчиком: «Рю Гренелль, амбассад русс». А что в чемоданчике? Может быть, в нем запонки господина Сергеева? Изумрудные запонки с розочками. (Конечно, это не буквально, это блистательная аллегория, это о «так называемой революции».) Кадровый офицер может дойти до нищеты, но сохранить достоинство. Катастрофа еще не смена вех. Так, например, в Варне ему пришлось за весьма скромное вознаграждение хлестать дамскими подвязками щеки некоего табаководы. Это тяжелый труд, но это не измена родине. Другое дело возить большевика. Что же, он нашелся. Он крикнул: «Никакого амбассада нет, а только воровской притон и застеночные пытки!» Тогда тот, худой, струсил, чемоданчик — наземь, и оттуда посыпалось жидовское барахло. Например, грязные носки. Хоть несколько господин Сергеев себя утешил.

«Таксишка» скверный. В такой не садятся. Но разве в этом дело? Беда исключительно от избытка чувств. Он летает над городом: «Печальный демон, дух изгнания»... А выразить не на ком. В Крыму все же было значительно легче. Хотя бы случай с братом. Талантлив был этот брат до нервоза. Ночи напролет играл, все сонаты или прелюды, играл, плакал и пил коньяк — бутылками. Господин Сергеев от музыки тоже сходит с ума. Стрелять в потолок хочется. Когда он узнал, что брата в Москве расстреляли, началось. Это можно сравнить только с солитером. Поймали зеленых. Хоть не те, все равно... Бог ты

мой!.. Руки устали. А сердце? Нет, в сердце пасха — «красная пасха, всем праздникам праздник».

Здесь — счетчик такси и одиночество. В «Мулен Руж» голый негр за сорок франков каждую ночь плачет над тыквой. А господин Сергеев стоит на углу и задыхается. От астмы? Нет, от злости. Хорошо бы того с рю Гренелль переехать, чтобы он прыгал без ног на обрубках. Нельзя. Переедешь собаку, и то протокол. Он вот меня «променирует», а предпочел бы в Сену. Это такая пытка, о которой и в газетах не пишут...

Есть в Париже ресторанчик на рю Брока «Казак фидель», там борщ двенадцать су, а за куверт вовсе не считают. Зайдешь, и вдруг звуки — это подпоручик Шведов играет на кларнете. Потом обходит с тарелочкой — до пяти франков удается набрать. Но какую же он печаль наводит на господина Сергеева! «Распошел»... И когда это было? Нет на свете ни музыки, ни цветников, ни любви.

— Приехали...

Я как бы очнулся. Пока длилась тривиальная исповедь злосчастного меломана, я не замечал ни оливковой мути улиц, ни световых взрывов, ни звезд — этих небесных провинциалок. Уныло мотался я по огромному зеленому пятну школьного атласа. Что поделаешь: это — свой, доморощенный, сызмальства знакомый, как «харканье» или как «харч». От этого не уйти. Так принимаешь все: и загнанную, в мыле, «мать», и полысевшего от скуки «черта», землю, вдохновенно выдумавшую христосование, Смердякова, управу на конокрадов.

Нет, не хочу я знаться с этим музыкальным пачкуном! Пусть станет все историей. Играйте в футбол, октябрята! Читайте Безыменского и «Месс-Менд», пионеры! Изучайте электротехнику, комсомольцы! И давайте условимся, сочтем моего дешевенького демона за внетерриториальный призрак того часа, когда задавлены все огни, закрыты все подъезды, и только два пути остаются: один — к небесным провинциалкам, другой — на дно темной Сены, полной вульгарной поэзии и тучных нечистот.

Что значит, однако, этот возглас — «приехали»? Ведь я не называл адреса. Темный подъезд ничем не отличался от соседних, дыша тайной снов и бессонниц, тайной четырех чужих стен. Куда же завез меня болтливый шофер? Может быть, на монархическое собрание, где — мечта директора паноптикума — восковые лысины наливаются вишневым соком, те или иные валики изрыгают «ура», стынет чай с лимоном, бессменно ца-

рит император, а старая «тант», упуская петлю, во сне видит гусарский рай?

Впрочем, как следует задуматься я не успел. Господин Сергеев деликатно, однако настойчиво втолкнул меня в подъезд. Мы прошли во внутренний дворик, где воспаленно, как им и полагается, моргали окошки флигеля, не паноптикума, не гусарского рая, не дома для умалишенных, нет, банальнейшего заведения мадам Софи, а может быть, и мадам Мари, во всяком случае, элегантно особы лет пятидесяти, твердо знающей, что такое чистая любовь и высокая валюта.

Чинно улыбаясь, сидели девушки у стен. Им было запрещено заговаривать с посетителями. Не будь они догола раздетыми, я бы подумал, что это неурочный экзамен в колледже. Чувствуя некорректность одежды, некоторые гости расстегивали жилетки и щеголяли то изумрудными, то фиолетовыми подтяжками. Подметив мою растерянность, мадам Софи (или мадам Мари) сердобольно сказала:

— Наша такса семьдесят пять, а шампанское не обязательно.

Я стал пробиваться к выходу. Не бедность гнала меня из этого уютного флигеля, иные, чисто лирические позывы: после встречи с Паули я хотел темноты, звезд, может быть, звуков пошленького фокстрота, вместе с медяками выпадающих из ночных баров на водянистый асфальт проспектов, — словом, любой, хоть третьесортной романтики. Господин Сергеев, видимо, думал иначе. Он во что бы то ни стало хотел удержать меня. Пошущукавшись с элегантною особой, он стал быстреньким шепотом отвратительно щекотать мое ухо.

— Для нашего брата, для русака, — та, видите, толстеньяка, вроде мопса. Душу щемит. Валяйте!..

Увидав, что и эта поэтическая справка не помогла, он вывел меня в соседнюю комнату. Я увидел нечто омерзительное и трогательное. Среди зелени и полевых цветов, под глухим светом будуарного фонарика, стояла коза, обыкновенная коза, та, которой надлежит оживлять пейзажи Клода Лорена и давать детям сладкое молоко.

Я ничего не понял. Очевидно, столь же мало понимала и коза, ибо ее отрывистое, жалостливое блеяние неизменно заканчивалось вопросительным знаком.

— Что это?..

Осклабясь, шофер показал мне на стены, покрытые непотребной росписью. Среди лоз, голых тел и стилизованных копыт

я прочел сентенцию: «Здесь любят дерзко и самозабвенно, как в Элладе». На этот раз господину Сергееву не удалось удержать меня. Он вышел со мной.

— Не понравилось? Жаль. Я ведь говорил вам — таксишка ерундовый. Не хватает... А здесь мне двадцать процентов дают. Иной раз только на обед и выработаетесь. Как же жить? Ведь не единым хлебом жив человек. Я о козе не говорю. Коза — это изыск. Но вы думаете, с тем молсиком мне самому не хочется?.. Вы — компатриот, а меня подвели. Ну, бог с вами!..

Я заплатил ему за проезд. Но он никак не хотел со мной расстаться.

— Зайдемте в бар! Нельзя быть бесчувственным. Конечно, марка моя невысокая, но человеческое горе чего-нибудь да заслуживает. Рюмочкой, что ли, угостите. Я согреюсь, не спиртом — обществом.

Вы, разумеется, уже успели заметить, что твердостью характера я похвастать не могу. Однако в другое время я все же уклонился бы от этого приглашения. Но чувствительная бестолочь той ночи лишила меня последних крупиц воли. Прикосновение руки Паули оказалось тлетворным — я готов был расплакаться.

Но не в слезах нуждался шофер. Вероятно, он приписывал мою нерешительность проглоченным где-то коктейлям и хранил наивнейшие иллюзии касательно содержимого моих карманов, вмещавших, кроме восьми франков, только крошки хлеба да табачную труху. В мрачном баре, куда мы зашли, он заказал двойные порции рома. Пьяная проститутка, дряхлая и патетичная, как собор Нотр-Дам, заунывно пела: «Я маленькая девочка, и я пасу гусей...»

— Сыграем в кости на следующую рюмку, — предложил шофер.

Ром мне не пошел впрок. Я стал еще грустней, еще послушней. Отвратителен и четок был стук костяшек, падавших на цинк стойки. Он превращал это, и без того невеселое, место в кладбищенский закоулочек. На беду мне везло. Меломан злился, пил ром и не платил, все надеясь отыграться.

— Проклятое колесо! Говорят, что писатель Конан Дойл показывает на экране тени умерших. Я думаю, что и я такая же тень, что на самом деле я умер, давно умер, еще в Крыму, при эвакуации. А теперь ходит тень, управляет таксишкой, пьет ром. Просто, как высшая математика. Кстати, хотите Лелю?

Я повторяю вам — мне деньги чрезвычайно нужны. Вы вот грязный человек. Да, да, не спорьте! Девочек вы не захотели, к честным женщинам льнете. А по-моему, порядочные люди к б.. ходят. Прочее одно похабство. Но только обстоятельства не шутят. Хозяину, например, третий месяц уж не плачу. Словом, предлагаю вам Лелю. Запросто и с гарантией. Как-никак — жена...

Здесь наконец-то нашел я в себе силу встать. Я отдал все мои деньги хозяину бара и вышел.

— Вы без красоты человек. Вы, наверное, большевик. Или вроде. Я это сразу почувствовал. Глаза у вас жестяные. Я, откровенно говоря, вас с удовольствием задавил бы. Нельзя. Права отберут. А жить как?.. Леля! Лелька!..

Из-за угла показалась женщина. Я успел заметить только зрачки, огромные и беспомощные, зрачки очень близоруких детей и блевшей во флигеле козы. Шла она, слегка шатаясь — от вина? от голода? от печали? Господин Сергеев горланит:

— Ни черта не вышло. Большевика подцепил. А музыка? Нет, Лелька, на свете музыки!..

Я шел долго, с трудом. От напряжения сердце подымалось высоко к горлу и там неуклюже, громоздко, как ломовая телега, грохотало: так, так, так. Обыкновенные прямые улицы изгибались то крутыми подъемами, рождающими одышку, то опасными спусками, где надо вымерять каждый шаг, спусками, от которых отмирают ноги.

«Я маленькая девочка, и я пасу гусей» — это престарелая потаскуха шла за мной. Я готов был свалиться от усталости. Я взял ее под руку. Откуда это? Зачем столько усилий? — подумал я. И вспомнил — ах, да, чтобы жить!..

8

Мена

— У Паули — Диди. Через нее...

Недолгий жидкий сон, полный ожидания, мерки часов и получасов, прегадких ассоциаций, в виде стада гусей, гусиных же паштетов, ночных чепчиков, трюфелей, смердения кладбищ попроще, перекапываемых каждые пять лет, дешевый сон после дешевой жизни был прерван этими словами.

Я тупо натянул на себя штаны.

— Значит, это решено?..

Фантаст пренебрежительно усмехнулся. Он не отвечал мне, он беседовал с собой, деловито и патетично, входя во все детали намеченного убийства. Сидя на табурете и глупо болтая босыми ногами, я слушал о том, как я живу, действую, кокетничаю с Диди, любезничаю с Пике, предлагаю ему сигареты, нажимаю, да, да, определенно что-то нажимаю, — и вот уже нет Пике, исчезает призрак, нераздельно мною владевший. Луиджи объяснял мне это с поразительной точностью. Так учат писать на пишущей машинке — четвертый палец левой руки нажимает буквы «ф» и «у». Человека легко убедить во всем. Я твердо уверовал, что меня нет, что я некий инструмент, ловкая выдумка изобретателя автоматов, что сделан я точно и обдуманно для уничтожения Пике. Нет, даже не для уничтожения, а для нажатия, столь же точной, как и я, вещицы, которую всунет в мой брючный карман губастый пришелец.

В таком положении глупо было бы говорить, и я деликатно молчал. «А переживания?» — спросите вы. И, с негодованием откинув книгу, произнесете приговор: «Вот уже восьмая глава, а нет ни характеров, ни действия, ни психологии, только скучное бормотание вконец исписавшегося автора». Что же, расстанемся на этой, по счету восьмой главе. Я вам не обещал занимательного романа. Конечно, кой-какой опыт имеется и у меня, я мог бы легко приукрасить эти унылые страницы невзыскательной зарисовкой того же Луиджи («тип»), борьбой во мне благородства и подлости («психология»), наконец, кинематографическими трюками, как-то: погоней, спасением и неожиданными встречами. Но я хочу быть честным, тошнотворно честным, как народник из богадельни. Я не знаю людей, с которыми я жил. Они душили меня горячим мясом ладоней и плеч, оставаясь, однако, призраками. Я и себя не знаю. Кто не оглядывается с неприятным удивлением на свое случайное отражение в уличном зеркале? Так и я вспоминаю — табурет, босые ноги, вещь, которую надлежало нажать. Я ли это? Или тоже фантаст, как Луиджи, как господин Сергеев, как гнилая пастушка предполагаемых гусей, дышавшая на меня древностью и мукой? Было ли это лето, жаркое, сальное, черное, как деготь, или только приснилось мне? Я кладу перо в сторону, добросовестно пытаюсь учинить себе допрос и плошаю. Пусть судят другие, пусть сведущие спецы ответят мне, по-

чему все описываемые события, лица, даже вещи вплоть до портрета маршала, вплоть до лососиновой грязной перины, прозрачностью и ватной тяжестью напоминают не явь, но сон?

Отступление, однако, затянулось. Сколько же ему было наставлять, а мне болтать ногами? Уже полдень давал о себе знать толпами рабочих, спешащих домой или в харчевни, и неизменным ароматом подгоревшего маргарина. Я плеснул на лицо струю тепловатой водицы, тщетно ища в ржавом тазу свежести и забвения, прилежно завязал галстук и попробовал улыбнуться.

— Хорошо. Я нажму. Ты не беспокойся. Если я, если Паули, если Диди, — мы с ним расквитаемся. А теперь угости меня, друг, пиконом. Сто франков, увы, кончились, а ты... ты ведь управляющий баром!

Уверенные в себе люди, люди часов и дела пуще всего боятся мелких случайностей, прерывающих размеренный ход дней: с утра заявятся гости, или вдруг перестанет работать электричество, или придется менять комнату. Когда я был писателем, я тоже недолюбливал подобные вмешательства по существу очаровательных пустяков. Не то теперь — все, что могло увести меня от заданного хода мыслей, от жилета Пике или от браунинга, казалось мне нечаянной радостью, как панихида по Боголепове или рождение престолонаследника в давние гимназические годы. Но никакие гости, никакие переезды не могут сравниться с действием алкоголя, выпитого натошак. Стоит проглотить рюмочку, и вот уже неясно — утро ли это, вечер ли? В темном кафе солнечный свет таинственно смешивается с дрожью газа. Женщины несут в кулечках розы и веселье. Можно помахать бильярдным кием или танцевать. Лежащая рядом газета крупным шрифтом объявлений говорит о незаменимых для кейфа креслах или о креме «Секрет вечной молодости». Я смеюсь. Я не знаю, кто я. Я чешу дородной кошке затылок и за нее же мурлычу. Вы можете меня презирать — эта свобода стоит пятнадцать су. Но не всем ведь дано быть философами, которых раскрепощают логос или зрелище небесных светил.

Пил и Луиджи. Но он от спирта мрачнел. Тщетно пробовал я развеселить его глупыми анекдотами или затылком кошки. Выпив третью рюмку, он ощерился:

— А тебе Паули как?.. нравится?

— Очень. У тебя замечательная подруга, Луиджи. Тебе повезло. Это, пожалуй, лучше, чем бар на улице Шатоден. Я думаю, что, когда такая женщина гладит руку, можно от счастья заплакать.

Как видите, я был щедр на комплименты. Однако я не учел многого. Мог ли я предполагать, что у фантаста, помимо неуловимых губ и стравов перстня, имеется сердце, ком мяса, превращающий даже философа — созерцателя звезд в бешеного зверя? Луиджи не поблагодарил меня. Нет, смахнув со стола плаксивую рюмку, он закричал:

— Глупости! Ты просто не разглядел ее. У нее кривые ноги, как у немецкой таксы. Этот ангел любит есть до отвала блинчики и лапшу. А потом храпит. «Руку погладит»... Дурак! Да ее за шелковые чулки купить можно.

Я хотел возмутиться. Напоминаю, ведь я был в Паули влюблен. Правда, чувства мои не отличались чрезмерностью. Но нападки Луиджи все же требовали ответа. Последняя фраза, однако, меня смутила. Я вспомнил тяжелое расставание и предложение Паули, которое тогда показалось мне абстрактной обидой. Может быть, это являлось только пресловутой немецкой честностью? Тогда... Так от высокого парения я быстро перешел к утрированной пошлости. Тогда почему я не воспользовался этим? Правда, хлеб и кофе — не шелковые чулки. Чулки должны стоить теперь не менее тридцати франков. Впрочем, в ту минуту мне пришлось заняться не Паули, а моим собутыльником. Он вел себя неприлично, грубо ругался и хохотал. Чтобы не перечить ему и общностью суждений скрепить нашу дружбу, я поспешил осудить Паули:

— Рот у нее действительно порочный. Я не хотел говорить тебе об этом. Но ты ее брось. Притом она жирная, как бабочка. И шарф у нее противный. Ты теперь здорово зарабатываешь. Подыщи себе какую-нибудь высокую и рыжую. Или мулатку. У мулаток, наверное, замечательное сердце. Как ночь. Или как кокосовый орех. А Паули...

— Молчи! Как ты смеешь говорить о Паули? Я могу с тобой говорить о Пике или о Диди, но не о Паули. Я ни с кем не могу говорить о Паули. Но мне нужно говорить о ней. Только о ней. Хотя бы с этой бутылкой. Хотя бы с тобой.

Он налил себе еще рюмку. Я отказался. И без спирта я был переполнен тоской. Я вспомнил шофера такси. Что за судьба — мало мне своей тоски, — я должен ежедневно, как

ассистент в больнице, проглатывать томительную неразбериху проплывающих по улицам, с виду обыкновеннейших, пиджаков?

Он должен мне это сказать. Фантазия здесь ни при чем. (Вот вам фантаст!) Когда в Фонтенебло он выудил у того идиота восемнадцать билетов, Лина призналась — «деловой человек». Никаких чувств! Причем Лина — «звезда», ее лицо на афишах в красках. И что же? Она пробовала щекотать под столом его ногу. Он не поддался. Если бы воля помогала, он бы не знал даже, как зовут Паули по имени. Когда он в Реджио прикончил Барзини, разве он плакал? Ножа было жалко. И только. Если на другого не наплевать, он сам на тебя наплюет. Это вопрос ловкости. При чем же тут женщины? Он двадцать семь лет прожил хоть впопыхах, но без отступлений. Спать за чулки или просто за десять лир, это другая стихия. Вот выпьет пикон и даст на чай. Кто же из этого трагедию делает? Кто начнет строить актерские рожи? Кто, наконец, засунет дуло в глотку? В Генуе восемнадцать улиц с «домами». В одном — «Маленькая роскошь» — только мулатки. «Кокосовый орех»! Да он эти орехи сотнями щелкал. А дальше? Идет под утро, свистит, и пил ли, спал ли, или просто по улицам шлялся, — неизвестно. Зачем же он приехал в Париж? А началось с пустяка. Он даже не заметил толком, кто и что. В кино. Он угостил ее пралине и чмокнул. От темноты и от фильма — подошло к содержанию. Как же Паули им овладела? Он ходит спокойный, думает о деле. Идеи давно разрушены, но счета за прошлое все налицо. Вот тот же Пике... О ней он даже не думает. Случается, он по пяти дней ее не видит. А потом вдруг придет в голову, — что, если она сейчас с кем-нибудь целуется? Как кипятком. Все бросает. Такси. Бульвар Гарибальди. Скорее! «Здесь?» — «Здесь». — «Одна?» — «Одна». — «Ушел?» — «Кто?» — «Не пришел еще?» Вот тогда, тогда он и ложится на пол у ее ног — «скажи правду». Я должен это понять. Метр семьдесят семь росту. Не плохо боксирует. Свободный человек. Анархист. И вот скулит, как щенок в мелодраме. Причем актер получает выходные. А Луиджи?.. Абсолютная неизвестность — живет ли Паули с кем-нибудь? Откуда ему это знать? Не может же анархист стать сыщиком! Пулю внутри обнаруживают лучами икс. А ложь? Что он видит, кроме шарфа и керосинки? Иногда ему хочется поехать в Берлин, разыскать того немчика и высечь его. Или нет, не высечь — пожать его руку: «Надули

нас, дорогой предшественник, надули, как американских туристов». Вот, извольте, определите, что это?..

Так повторялась история с Паули. Призраки принимали домашние позы, они требовали хлеба и участия. У той оказались голод и дочка, у этого банальнейшая страсть. Значит, они живые. Значит, они люди. А я? Тогда я только захолустный паршивый призрак, нечисть, которая заводится в кафе, среди табачного дыма и паутины тройных зеркал.

— Видишь ли, Луиджи, все это весьма просто. Это называется ревностью. Каждый день в Париже кого-нибудь убивают. Разверни газету, и ты обязательно прочтешь об этом. Это во сто раз понятнее истории с Пике. Если мы уже занялись философией, объясни мне, почему я должен убить этого почтенного гражданина? Ведь я к нему никого не ревную. И потом одно из двух — или обыкновенные человеческие чувства, или Пике и белиберда. Ты обязан дрожать под газовыми фонарями и подавать мне браунинг. Это твое дело. Но не ревновать. Что, если я опомнюсь? У меня ведь есть жена, советский паспорт, литературное имя. Я тоже начну ревновать.

Но Луиджи меня не слушал. На мои абстрактные рассуждения об иллюзорности иных чувств и встреч он отвечал бранью. Он не понимал образов и сопоставлений. Отдельные слова, доходившие до его сознания, только усиливали пароксизм отчаяния.

Жена? При чем тут жена? Разве это спасает? Если он женится на Паули, разве он перестанет ее ревновать? Где гарантия, что я не могу сойтись с ней? Он ведь заметил, как я глядел на нее в ресторане. Здесь не философия, здесь как с Барзини. Словом, ему придется меня пристрелить.

День длился. Мешался свет солнца с газовым. Дрожали в такт свету губы фантаста. По столику прошмыгнула черная вещичка, которую должен был нажать не то я, не то Луиджи. Доносились гудки автомобилей.

Облокотясь о столик, я тихо ждал. Убежать? Но ведь дорожи я подозрительным богатством остающихся лет, я не стал бы погонщиком баранов, я давно оттолкнул бы от себя жирную тень председателя «Лиги», я бы разумно халтурил и ел на сладкое рис с вареньем. Не все ли равно, кто и при каких обстоятельствах нажмет эту черную штуку?

Луиджи нействовал. От угроз он перешел к мольбам.

Он заклинал меня сказать всю правду. Было ли у меня что-нибудь с Паули? Наверное, было, — он это чувствует.

Тогда сострадание и брезгливость продиктовали мне героическую ложь. Я хорошо учитывал, что этим уничтожаю себя в его глазах. Но мог ли истукан, час тому назад покорно болтавший босыми ногами, заботиться о своем достоинстве?

— Слушай, Луиджи, я с женщинами не живу. Никогда. Понял?

Радость, как солнечный зайчик, пробежала по лицу фантаста. Потом он презрительно поморщился.

— Как это? Ты болен? Или болван?..

— Не знаю. Занят другим. Когда тебе, например, хочется целоваться, я покупаю иллюстрированный еженедельник и решаю шарады. Или ем пирожные с заварным кремом. Или нажимаю часы «с репетицией», чтобы они приятно звенели. Особенность.

Тогда Луиджи, несмотря на все мои протесты, налил мне пикона и, ласково похлопывая себя по ляжкам, сказал:

— Вот когда мне повезло! Я давно думаю о Пике. Но я боялся знакомить других с Паули. Ты — клад. Потом скажу тебе правду, я прежде жалел тебя. Схватят, и крышка. А теперь мне тебя не жалко. Что же такому человеку остается, если не смерть? Пей, дурачок! Пей! Мне тебя не жалко. Совсем не жалко...

Приветливо улыбаясь, со всей мыслимой искренностью я ответил:

— Мне себя тоже не жалко.

9

В поисках лазейки

После этой встречи я заколебался. Я сказал Луиджи правду — себя мне не было жалко. Но отдельные минуты, как-то: редкий дождь, чуть умеряющий жар асфальта, услышанная на улице русская речь, наконец, просто хаотические воспоминания, с их смесью подлинных событий и литературного материала, образы еврейского поэта, прозванного «Шариком», который спасает Жанну Ней или попугая жены «Жако» (у нее, кстати, никогда не было попугая) — рождали раздумья. Не бросить ли всю

историю с Пике? Я могу переменить квартал, начать переводить для Госиздата Пьера Ампа и жить более или менее счастливо. Сторонники специализации назовут подобные раздумья просветлением. Они ведь знают, что писатель должен писать книги, Пике — заниматься политикой, а они, они — классифицировать способности и судьбы. Не знаю, правы ли они. Может быть, писать книги должны не литераторы, а убийцы, писателям же лучше гнать баранов или сутенерствовать, нежели ругать издателей и обхаживать критиков.

Но я не стану обобщать — менее всего интересовали меня тогда подобные проблемы. Я думал об одном — стоит ли мне, вот такому, как я есть, клянчащему у Луиджи франк на пикон и все же способному переводить Ампа, стоит ли мне убить Пике? Мое недоверие к Луиджи родилось в ту минуту, когда этот фантаст обнаружил некоторые общечеловеческие черты. В душе я считал себя обиженным — как смеет клуб дыма обростать мясом и любовными невзгодами? Может быть, все его рассказы о «Лиге» — ложь, хитрая приманка, анархический грим на благодушной физиономии управляющего баром? Может быть, этот Пике — безобидный ловелас, чьи каштановые глаза и шелковые рубашки пленили доверчивое сердце Паули? О, я не ревную! Немчик, Луиджи или господин Пике, милости просим! Я ведь получил все, что Паули могла мне дать, — несколько минут нежности. Дальше начинаются слезы и подарки. Наконец, может быть, я стал игрушкой в руках какого-нибудь консорциума, желающего уничтожить опасного конкурента? Я строил различные предположения, терялся в догадках, пил пикон, ругал маршала Фоша, но истины обнаружить не мог. Я даже поднял забытый на скамье номер газеты, надеясь найти в нем разоблачения господина Пике. Газета была переполнена и преступлениями на почве ревности, и кознями разных консорциумов. Имени Пике в ней, однако, не было.

Посоветоваться? Но с кем? Где найти человека, вдоволь сведущего в политграмоте и способного установить социальную природу того, кто мнитса мне лишь апоплектической тенью? Трудность усугублялась моей бывшей профессией, как бы раз и навсегда определившей выбор поступков, даже мест и лиц. Сколько раз слышал я: «Ах, вы едете в Италию? Наскребете там на роман» или «Как вам нравится Клара? Лучшей модели не найти». Важный консультант, к которому я обращусь, скажет: «Бросьте Пике, вы собрали уже вдоволь материала.

Садитесь-ка за работу». Стоп! Я знаю. Роман делается так... Впрочем, в Ленинграде живет Тынянов, он вам расскажет об этом. А у меня болит под ложечкой и мне предстоит убить Пике.

Тогда кто же?.. И вдруг — так из полусощенного партера, где столько-то голов, не голов, рядов кресел, номеров вешалки, из тьмы муравьиной кучи, выступают чьи-то неповторимые зрачки — вдруг я обрел посланного судьбой советника — его нос (картошкой), отороченные трудом ногти и семинарскую душу. Юр! Юр выручит. Юр рассудит мою тяжбу с фиолетовым незнакомцем.

Еще туман хоть и далеких полян. Еще одно привидение в брюках и с удостоверением личности. Что делать? Я столько рук пожимал, но я не поручусь вам за их подлинность. Поглядите на спутников, индевеющих в вагоне трамвая, на флирт или на слезы восковых манекенов в окне модной лавки, на ход приводных ремней и потных колес, вслушайтесь ночью в дыхание жены, в музыкальную агонию радиоприемника, в стук капель ручной мойки и скажите — как отличить правду добросовестного натуралистического романа от дикого вымысла сердца и ночи?

Скажу о себе — мне больно, неудобно и холодно. Но вы, грядущие читатели этой исповеди, — я вас не вижу, металлические шарниры ваших пальцев смешиваются с тяжелым запахом свежей типографской краски. Иначе пахла жизнь этих глав: шерстью груди, кровью, слезами, грязным, непрветренным номером «меблирашек». Дайте слово, что вы живые, что вы не перо рецензента, не каталог библиотеки, не командировочное удостоверение, но обыкновеннейшие люди, несмотря на убеждения или стаж способные преглупо влюбляться и хворать желудком. Тогда мы легко пойдем друг друга.

Было это в Харькове. Огромный цирк «Миссури», в котором жалко барахтались, среди полярного холода, дымки человеческого дыхания, требовал — ярусами, морозом, шлемами военных, запахом мужества и дегтя — иных зрелищ, может быть, гладиаторов или белых медведей. Надрываясь, выкрикивал я, подобно командармам или базарным сидельцам, лирические призывы Андрея, которому всюду, да, всюду, даже на этом полусе мерещится смуглая Жанна. Я получал за это от жуликоватого импресарио умеренный гонорар, а от девушек подлинные слезы. Я чувствовал, как слова пропадают где-то между ярусами, поглощаемые пространством и сочувствием. У меня не хватало голоса, а ноги коченели. Наконец Андрей умер,

сраженный лживым правосудием. Сердобольная сторожиха дала мне стакан теплого чая. Казалось, после этого даже медведей уводят в клетки. Но нет же, толстовки, блузки настаивали на продлении агонии. Андрея уже не было, зато я жал руки, расписывался на каких-то старых тетрадках и раздавал вместо сувениров невзыскательную иронию замерзшего и проголодавшегося человека. Меня спрашивали — жениться ли? Мне говорили об Эйнштейне, о Муссолини, о Пильняке. Тщедушные школьники первой ступени заверяли, что «кружок последователей Хуренито» умело преследует и родителей и наставников мелкой домашней провокацией. Какой-то сноб хотел приобрести за червонец мою трубку. Дама любопытствовала, не хочу ли я, в свой черед, купить эту кисти Репина. Предприимчивые дуры, сделавшие из грустной особенности профессию, назначали свидания. Цирк, казалось, рос, тучнел и не хотел выпускать меня. Вот тогда-то, окруженный великодушным ореолом уверенности и презрения, из масляного дыма коридоров выплыл нос — картошкой, добротный нос товарища Юра.

— Пишете вы ерунду! Я зря вечер потерял. Лучше пошел бы на лекцию о Штейнахе. Все-таки когда-нибудь да может пригодиться. А вы?.. На кой черт вы существуете? Любовь — скажите пожалуйста! Кому это нужно? Андрей ваш дурак и жолуй. Его за делом послали, а он с французенкой спутался. Это вовсе не факт, а ваша классовая психология. Сидите за границей и протухли. У нас хозяйство восстанавливается, а вы слюни пускаете. Стыдно, гражданин!

Небольшой, но энергичный спич так понравился мне, что я захотел обнять обличителя, но быстро опомнился — ведь и это будет принято как «классовые слюни». Я предложил вернуть ему тридцать копеек за входной билет, но товарищ Юр в ответ презрительно фыркнул: он не столь глуп, чтобы платить деньги за подобный вздор. Он кратко рассказал мне о занятиях рабфаковцев, спросил, плохо ли на Западе, услышав, что плохо, вполне удовлетворился и, решительно расталкивая профессиональных дур, благополучно вывел меня на улицу. Я решаюсь сказать, что на этом мы подружились.

Недавно, уже после разрыва с толстяком хозяином, я случайно встретил Юра. Я не берусь с точностью определить, какая именно командировка занесла его в Париж. Во всяком

случае, его нос не утратил ни превосходства, ни независимости. Я искренне обрадовался этому. Хорошо, когда семинарская простоватость не пасует ни перед теорией относительности, ни перед количеством фордов. С жалостью, впрямь трогательной, спросил он меня: «Все еще здесь околачиваетесь?» — угостил советскими папиросами «Госбанк» — «не чета вашим», записал свой адрес и исчез — куда? зачем? Не знаю. Восстанавливать хозяйство, закупать автобусы, изучать химические удобрения, обличать амстердамский профинтерн, или обедать, — во всяком случае, не ронять слюни.

Вот кому понес я отчет о непонятных неделях, появление фантаста, жилет господина Пике и мою неприкаянность.

Жил товарищ Юр в паршивой гостинице, где ночи полнились креолками, запахом пудры и позевыванием лунатического полового. Комната его, однако, была магически отделена от окрестной шмыготни, от скользящих по коридорам парочек, от световых реклам, от поэзии Кокто, от всего гнилостного очарования столицы. Может быть, этому способствовало чердачное окно, допускавшее в гости к Юру только солнечный свет и гудки локомотивов. Может быть, объяснялось это носом самого Юра, крупными шагами из угла в угол, исписанными листочками на столе, наконец, номером «Юманите». Не знаю. Так или иначе, я почувствовал себя в Советской России.

Приближение к небу на тысячу метров дает знать о себе разреженным воздухом и усиленным кровообращением. Угловатость, даже грубость иных жестов диктуются горной флорой и горным же аппетитом. Только с двумя-тремя короткими мыслями и с гвоздями на подошвах можно ходить по этим тропинкам. Конечно, в долинах мысли много разнообразнее, как и меню, в долинах даже существует классический балет. Садоводам известны до восьмисот сортов роз. Все это так. Но трудно и легко дышалось мне в маленькой комнатке, рядом с носом картошкой и с номером «Юманите». Тронутые бациллами легкие жадно черпали нужный им и, увы, слишком для них густой озон рабфаковских общежитий.

Юр с досадой выслушал меня. Он требовал краткости и решительно отвел вопрос о призраках. Он был лаконичен, беспощадно лаконичен: никаких слюней! Я должен ехать в Россию и, оставив никому не нужные сантименты, заняться изучением нового быта. В принципе соглашаясь с ним, я все же настаивал на разборе данного случая. Хорошо. Пике, наверное,

существует. Не один, таких тысячи. Борьба с ними путем индивидуального террора глупо. Во Франции, как и в Италии, существуют партия, профсоюзы. (Было это словами или только шуршанием «Юманите»?) Что касается Луиджи, то он, очевидно, деклассированный тип, как и я. Интеллигенция мечется между двумя лагерями. Психология лакеев. Анархизм создан для миллиардеров и для обленевшихся босюков. Словом, все это ерунда, достойная пера Эренбурга. Причем ему отнюдь не жалко меня. Богема, как и цыгане «Стрельны», существовала для увеселения буржуазии. Теперь она должна умереть. Ясно?

Да, разумеется. Но нос... Скажите, разве каждому дается такой нос? Что делать, если не могу я возвыситься до подобной ясности, если меня душат горячие туманы парижских проспектов?

— Товарищ Юр, я прошу вас об одном. Вы, конечно, очень заняты. Но уделите мне один вечер. Я вас познакомлю с Луиджи и с Паули. Вы сами увидите, что это за люди. Может быть, я все перепутал. У меня ослабела память, и, кроме того, мне многое теперь мерещится в связи с этим глупым вопросом о призраках. Хотите послезавтра?

И столько беспомощности было в моем голосе, что Юр согласился. Хорошо, он уже потерял из-за меня вечер, он потеряет еще один.

Я ушел несколько утешенный. Но когда винт крутой лестницы и дверь, с отчаянием открытая лунатиком в кальсонах, отдали меня улице, я вновь затомился. Кошачьи глаза светящихся жмурились и краснели, задерживая сотни недобро пыхтевших машин. Электрические гномы карабкались по фасадам, тщаь соблазнить даже луну «бульоном в кубиках». Мимо меня сновали биографии и месячные оклады, причем ни набалдашники палок, ни девический румянец не удостоверяли их подлинности. Запасов зноя, кажется, хватило бы и на зиму. Любая стена томила, как кафель печи. Город бесился, он вытирал каменный лоб небесным фуляром, неся под музыкальные туши джаз-бандов, жал лимоны, тысячи лимонов, в бешенстве истреблял целые рожи Мессины. Я ничему не верил. Скептически усмехнулся я, когда кто-то предложил мне «ночь любви». Бедная коза, как она плакала под китайским фонариком! Бульон в кубиках — наверное, яд. Машины сокращаются и вырабатывают душные, косметические иллюзии. Любой живот принадлежит Пике. Юр ведь сказал: «Пике — тысячи». Есть еще

черная вещица, которую надлежит нажать. От этого меня теперь уже никто не спасет.

Я все же пробовал успокоиться. Лазейка там наверху, где небо и нос товарища Юра. Следует спешно уехать в Москву. Что для этого нужно? Девятьсот франков, теплая фуфайка и «никаких слюней». Впрочем, фуфайки не требуется, теперь и там лето. Деньги? Да, деньги не так-то легко достать. Луиджи столько не даст. Взять у того в жилетке, взять у живого или у мертвого девятьсот франков на билет до Москвы? Вежливо сказать, предлагая сигарету (Луиджи почему-то особенно настаивал на этом жесте): «Мосье Пике, дайте мне девять бумажек, не десять, только девять на дорогу в далекий край?» Я не скажу куда, просто «далекий край» — это деликатней. Или сначала нажать вещицу, а потом быстро нагнуться, как будто я уронил запонку, погрузить руку в сырое и теплое, где сердце еще бьется о солидный бумажник?..

Я репетировал различные сцены, толкая горячие тени встречающих. Постепенно я забывал о Москве, о билете. Оставался только жест, только ночь и короткая борьба, только животик Пике, хрип, слизь, агония. И пот на моем лице густел. Он свертывался, как кровь.

10

Под гудки прибывающих и отбывающих

Зачем было испытывать и без того ослабевшие нервы? Конечно, зной недели жесток, и любому разморенному шатуну, даже мороженщику, хочется хоть кончик ее провести на лужайках Медона или Фонтене-о-Роз. Я понимаю, что неуместно оспаривать претензии управляющего баром, который, как и президент республики, решил провести воскресный день со своей подружкой среди буколических запахов. Но для деловой беседы, поскольку операция с Пике не переставала занимать моего умилительного семьянина, все же следовало бы выбрать более спокойное место, не бар при вокзале, где стаканы трясутся в ритм всем проходящим и уходящим поездам, а бутерброды пахнут дымом и экзотикой.

Будучи человеком незанятым, я пришел прежде всех и должен был долго сосать лед лимонада, чтобы только не кинуться на один из перронов, где шла погрузка адюльтерных поцелуев и велосипедов, чтобы не закричать, среди шляпных картонок и носовых платков: «Возьмите меня с собой!» Общее волнение захватывало — жизнь, всецело подчиненная огненным циферблатам или тревожным гудкам, цветы и подушки, контролеры, пути, главное — количество путей. Различные надписи и стрелки сортировали человеческую неусидчивость. Столько городов, куда можно уехать, с белыми вокзалами, с загадочными номерами неизвестных трамваев и с людьми, да, с людьми в чесучовых пиджаках или в черных беретах, с разномастными, ожидающими газеты и любовниц, с дрожащими под фонарями, седыми, курчавыми, бесшабашными фантастами!

Плакаты теснили меня. Они обещали все: море, даму в купальном трико, долины, полные нарциссов и гигиены, молочный шоколад, развалины замка, негров и рулетку бледного от азарта казино. Я сосал маленькие ломтики льда, одинокий и непричастный к этому миру, без билета, без цветов, без подушек. Пришел товарищ Юр. Он гордо оглядел рельсы и плакатное солнце «Серебряной Ривьеры». Нос его блеском и непримиримостью перекричал все сигнальные огни. Потом он заказал кофе с молоком и заранее установил характер предстоящего совещания:

— Ерунда!

Я не стал спорить. Мне вспоминались различные заседания, на которых приходилось когда-либо присутствовать — о ставках (при профсоюзе) или о современности Лопе де Вега в репертуарной комиссии. Секретарша тактично переспрашивала хриплого оратора: «констатирую»? «Да, именно констатирую». Самодовольный председатель рисовал елочки и античные профили. Так и теперь. Поговорят, чтобы удовлетворить совесть и циферблат. Огромная черта, отделяющая «слушали» от «постановили», пройдет не по бумаге, но по моему сердцу. Кто-нибудь заплатит за мой лимонад. И я останусь один, среди путей, среди шляпных картонок, с черной вещицей в кармане и с жидкотиком господина Пике.

Место подчеркивало мою сиротливость. Прощания и встречи происходили с невыносимой точностью. Казалось, начальник движения определяет число роняемых слез и запах вянущих в душных купе левкоев. Тысячи людей создавали иллюзию

пустыни, где под звездами, подогнув послушно ноги, умирает верблюд. Какое дело всем до одного? Заинтересовать, разумеется, легко: стоит только нажать вещицу, и вся эта толпа начнет жадно рыться в жалком тряпье моих тридцати пяти лет. Детство в Хамовниках, лысый ранец и первая любовь, размноженные ротационной машиной, вместе с левками и с подушками ринутся в вагоны. Но я ведь еще ничего не сделал. Я только томлюсь и гляжу на часы. Кроме того, я не подлежу отбыванию воинской повинности и мои кредиторы еще не подали на меня в суд. Следовательно, я никому не нужен. Я могу прилежно сосать лед и изучать плакаты.

Я это делал. Юр молчал. Поезда отходили. Наконец я увидел шарф Паули. Воспоминания о некоторой, забытой было, обязанности оживили меня. Я попытался придать моему лицу выражение традиционной нежности. Озабоченность, однако, мешала. Паули казалась мне не наклеывающейся любовницей, но свидетельницей обвинения на предстоящем суде, где призрак и живой человек будут совместно приговорены к высшей мере. Пришла она, как и было условлено, с подругой. Вот он, фантом злосчастного водевиля, чья собачья кличка и непонятная роль давно смущали меня! Диди пахла фиалками. Сквозь кожу перчатки я почувствовал естественную теплоту руки. Официант подал ей мороженое. Словом, как и все, она умело симулировала жизнь. Первой ее фразой было:

— Я еду в Биарриц...

— Когда?

Это спросил Юр. Да, да, товарищ Юр. Я не ослышался. Вы удивлены? Верьте мне, и я удивился. С недоверием, более того, с отчаянием человека, который чувствует, что земля трясется, а система Коперника высмеивается газетным фельетонистом, я взглянул на Юра. Эта великомученица из «Быка на крыше», или из «Доходной крысы», или еще из какого-нибудь благопристойного притона едет в Биарриц, там теперь сезон, то есть морская свежесть и богатый выбор Ромео? Хорошо. Но какое дело до этого Юру? Разве в его чердачный рай вхожи карандаш для бровей или «Серебряная Ривьера»? Я увидел нечто страшное: нос, столь восторженно описанный мною, опустился, померк как сигнальный диск только что отошедшего поезда.

Диди успокоила:

— Нескоро. Через неделю.

Так началось заседание об убийстве председателя лиги «Франция и порядок», гражданина Пике. Тысячи событий могут быть мною описаны: отход того или иного поезда, усмешки официантов, светский жест, которым Юр поднес Диди упавший на пол платок, восторженное трепыхание моего мотылька, нашедшего очередной огонь для танца и для смерти. Не покидая нашего столика, легко было найти вдоволь сюжетов для психологических изысканий и для сентиментальных фильмов. Говорили... О чем только они не говорили! Но Пике и я были отстранены — мы никого не интересовали. Вот матч гольфа в Биаррице! Или энергия, развиваемая товарищем Юром в Мосторге! И, конечно, известные чувства, объединяющие и гольф и Мосторг, нос картошкой, и узкие, хитро подрисованные глаза хищной птицы или же трагической мумии! Вдоволь было тем, составляющих одну, вдоволь мороженого и зноя в венах. На моих глазах строился тривиальный треугольник: Юр подымал платок, Паули богомольно и возмущенно вздыхала, Диди рвалась вверх к серебряному солнцу, к гольфу, к англосаксонской любви, стойкой, как валюта. Для меня же не было места. Я мог удовлетвориться сознанием, что кто-нибудь заплатит за мой лимонад: он, она или бестолковая, полинявшая, как и ее шарф, бабочка.

Однако, чтобы стал понятен романтический характер этого незапротоколированного заседания, я прежде всего представлю Диди. О глазах я уже упомянул, к глазам следует добавить рот, столь же узкий и длинный, напоминающий отверстие копилки или красный росчерк председателя тарифной комиссии, челку, стыдливо скрывающую лоб, глубокое декольте, уж без стыда выдающее высокие крупные груди, нежный голос, сумочку с чековой книжкой (текущий счет в фунтах), верное сердце, наконец, домашний преглупый курдюк. Такие женщины водятся только в Париже, где тулузское рагу и борделезский соус патетичны, как небесные туманности или как гексаметр, и где в любом ящике мусорщицы, порывшись среди жестянок, счетов от прачки, сухих глициний, можно найти простоватую любовь двух чахоточных подростков. Недоступная, как модель с рюде-ла-Пэ, Диди знала и кризисы, сезонные распродажи, когда приходилось за ужин отдавать на милость мелкого ютландского скотовода шелковое белье и узкие губы. Она знала и любовь, семейную любовь вплоть до штопания носков прыщеватого поэта, фамилии которого я здесь не назову, зато без обиняков

определив его профессию: не только галстуки, сборник стихов о нагих отроках на грузоподъемниках обязан прилежанию Диди. Ночная птица в баре «Сигаль» пела и любила. У нее был на редкость приятный, грудной голос, полный теплоты и черноты августовской ночи. Поэтому ее песенки, скабрёзные, как вывоченное из бани тело мешанки, казались милыми, как вывоченные, если угодно, сентиментальными, превращавшими подагрических пачкунов в наивных провинциальных девушек. Впрочем, все это несущественно. Я никого не зазываю в бар «Сигаль», и мне нет дела до поэтических сутенеров. Пусть другие займутся обстоятельным жизнеописанием этих зыбких существ. Я же вижу Диди рядом с Юром, печальную и бесстыдную, глушь густых ресниц, деловитую сумку, дрожание перчатки, растерянность одинокой, уже начинающей стареть женщины.

Не было оператора. Ни поезда, ни лакей нами не интересовались. А жаль! Пропадал хоть шаблонный, однако выразительный фильм. Я в нем не принимал участия. Я был стаканом лимонада или потной кепкой, напоминавшей, что вне вокзала — горячая ночь, сто тысяч фонарей, баснословное одиночество. Меня окружали споры, намеки, обмолвки, сеть быстро заплетаемых страстей и обид. Выявлялись характеры. Гиперболические чувства заставляли дрожать стекло и гасили недокуренные сигареты.

Прислушиваясь, я понял, что беседа ведется вокруг советских законов касательно брака и развода. Юр не без гордости разъяснял. Диди возмущалась: это разврат! Сегодня она замужем за одним, а завтра за другим — какая гадость! В искренности тона сомневаться не приходилось, в облике судьи также — это говорила Диди, та самая Диди из бара «Сигаль». Что же, у нее была своя теория. За деньги (большие или малые — это вопрос удачи) можно делать все, причем любая пакость, оплаченная сполна, столь же честна и почтенна, как вязание душегреек или как посадка помидоров. Другое дело — бескорыстные чувства. Здесь престарелая мисс, не решающаяся даже полюбоваться предписанной, однако, для любования статуей такого-то Аполлона, и та вряд ли смогла бы потягаться с Диди. Просят не смешивать бар «Сигаль» с браком, с настоящим браком! Если Диди была бы чьей-либо супругой, разве она вздумала бы разводиться? Но Диди не жена, Диди только птица и эпизодические расходы.

— Почему же вам не выйти замуж?

— Мне?

И Диди рассмеялась. Замуж выходят настоящие женщины. Они из мяса. А Диди из пудры и из выигранных в баккара ассигнаций. Те умеют рожать детей, готовить отбивные котлеты. А что она умеет? Петь о старом мэре или опутывать сердца и бумажники надоедливым серпантинном? Поглядите на нее — это тень, это старый протертый фильм, среди любовников и пальм — снег, нет, не снег, белые точки, конец прокатного счастья.

(Здесь я скромно, про себя, поблагодарил мудрую Диди, — хоть она признала условность того мира, в котором я томился.)

Паули негодовала. Она упрекала Диди в грубости и в материализме. Она во всем соглашалась с Юром. Замечательные законы! Нет, не кодекс привлекал ее. Казалось, во время редких пауз, когда замолкали и поезда и люди, слышно было, как бьются, трагически бьются вокруг необычайных законов, вокруг носа картошкой быстро линяющие и не бог уж весть какой силы крылышки. Юр должен был всем, по существу семинарски доверчивым, сердцем радоваться экстазу этой неопитки. Но он все свое внимание отдавал сложной и маловнятной палитре, в зависимости от места образовывавшей губы, глаза или сердце Диди.

Постойте, что это с товарищем Юром? Ах, вот что!.. Писатель, год тому назад читавший о любви Андрея и Жанны, мог, разумеется, торжествовать. Он мог бы со злорадством напомнить своему обличителю о классовой природе слюней. Он мог бы, наконец, сказать: напрасно вы и те, что с вами, при дневном свете судите меня — «любовь, какая это любовь?..» Есть и ночью соглядатаи, хотя бы фонари трамваев или глаза обиженных судьбой ревнивцев.

Но ведь не писатель сидел рядом с Юром, а человек без определенных профессий, которого подрядили убить господина Пике. И он был далек от торжества. Они понимал, что Юр тоже околпачен, что чердачное окошко уже бессильно перед черной густотой этого лета, что незачем искать девятьсот франков или рассчитывать на чужой иммунитет. Бациллы знают свое дело. Остается ждать.

Наконец-то пришел Луиджи. Он блистал волей, а также большой астрой в петлице. Поглядите на него — кто же это, инициатор готовящегося преступления или счастливый любов-

ник, который боится пропустить дачный поезд? Но ведь не зря мы собрались, не зря прождали его больше часа. Сейчас начнется деловое обсуждение вопроса. Нос Юра обретет утерянный авторитет. Еще многое может быть выяснено, даже устранено.

Луиджи сразу заметил волнение Паули. Кажется, он заподозрил меня. Так или иначе, кружение, даже опаленность крылышек от него не ускользнули. Насторожившись, он не хотел говорить ни о солнце Биаррица, ни о брачном кодексе. Он попросту торопился. Дело в баре на улице Шатоден, где фильтровые машины гудя вырабатывают пахучий кофе и проценты с прибыли, задержали его. Поезд в Фонтенебло отходит через десять минут. Он просит прощения. Мы, разумеется, простили. Мы знали, что поезда не ждут, что в Фонтенебло свежий мох и земляника со сливками, а здесь только мягкий асфальт, регистрирующий неуверенные шаги очередного убийцы. Пусть едут скорее. Пусть целуются среди папоротника. Диди пора в бар «Сигаль» метать серпантин и сердце. У товарища Юра командировка. А я?.. Может быть, на этот раз судьба смилостивится и надо мной: уйдут люди и поезда, а обо мне забудут. Ах, как я буду радоваться! Я куплю шоколадную конфету. Фамильярно поговорю с прохладной луной о Хамовниках, о жене, о стихах Пастернака. Луна остудит горячечный лоб, и даже полицейские удивятся: «Какой странный человек, он улыбается нам, нам — сгусткам крови в синих пелеринах тропической ночи!..»

Следует ли говорить о том, что меня не забыли? Уходя, Луиджи небрежно сказал:

— Да, Диди, проводи его к Пике. И как можно скорее.

Женщина, пахнувшая искусственными фиалками и сама признавшаяся, что она только тень, в знак согласия чуть переместила красный росчерк своих губ. Остальное было сделано быстро: обдуманы детали, записаны адреса, обусловлены встречи. Я попробовал заговорить с Юром, но он раздраженно отмахнулся — какие тут советы? Откуда он знает? Точка. У него командировка. Часы торопят. Диди боится опоздать в «Сигаль». Через час она уже будет принимать в копилку рта ребяческие поцелуи только что кончивших колледж подростков и тяжелую валюту ютландских скотоводов.

Я не беседовал в ту ночь с луной, да, кажется, в ту ночь и не было луны. Затертый огнями и призраками, я время от вре-

мени щупал брючный карман: там лежал подарок Луиджи. Я хотел представить себе, что делает сейчас господин Пике. Играет в покер? Целует балерину? Подкапывается под министерство? Но лицо отсутствовало, а один фиолетовый цвет не создавал нужной картины. Зато мне всюду мерещилось идиллическое воркование поезда, который уносит два железнодорожных билета к любви и к крупной, как звезды, землянике.

11

Она плавала в маленькой банке

Если у вас есть жена, или письменный стол, или хотя бы крохотная записка, дорожите ими. Радуйтесь любой достоверности. Здесь, в отметках на полях книг, в семейных фотографиях, в чреве комода, где ханжески белеет пересчитанное после стирки белье, — прививка от злого наваждения, овладевшего мною в то душное лето.

— Вы сделаете для камина рыбу. Из стекла, из камня, из олова. Разумеется, упрощенные формы. Геометрия и напряженное чувство. Если верить теоретикам «Эспри нуво», господин Загер, ваше сердце — это машина, безупречная машина для выработки эмоций. Не так ли?

Прежде чем ответить, я невольно пощупал свою грудь. Ход сердца был бестолков и патетичен, как движение маршрутного поезда в годы пайков, голода и дерзаний.

— Хорошо, я сделаю рыбу, стеклянную рыбу в стеклянном мире. От геометрии мне хочется плакать. Впрочем, об этом не стоит говорить: чего доброго, вы назовете слезы машинным маслом. Есть еще черная вещица, господин Пике. Она, кажется, работает безупречно. Но об этом после. Итак, я принимаю ваш заказ. Мы можем перейти к деталям...

Кто знает, что пережил я, говоря эти сбивчивые и взволнованные слова? Лучше было бы мне не уходить от толстяка хозяина! Лучше было бы переводить Пьера Ампа. Голод, халтура, унижение — все равно. Ведь гостиница на бульваре

Монпарнас существовала. Я могу поручиться. И в ней жил литератор Илья Эренбург. Все это ясно, не вызывает возражений. А здесь?..

Я ждал всего чего угодно, только не этого. Живота вовсе не оказалось. Что-то тощее и нарицательное значилось под тривиальной жилеткой. Анемичное лицо не позволяло удержать последнюю примету — фиолетовый предсмертный колер апоплектического идола. Человек меланхолично улыбался и говорил о геометрии. А между тем я называл его «господином Пике», и черная вещичка настойчиво оттягивала мой брючный карман. Как это понять?..

Я хорошо знал их. В книгах они были живыми и теплыми. Они шуршали чеками и мелодично после ужина отрывали. Я помнил не только лица — вкусы каждого. Мистер Куль любил сочные фрукты и малопрожаренное мясо, господин Ней — улиток, наш доморощенный Нейхензон — индюшачьи пупочки. Как видите, я мог бы попотчевать их любимой снедью. Или мистер Твайт — с ним знакомы все москвичи; актер Ильинский играл исправно. Какое кому дело до справок, выдаваемых адресным столом Чикаго? Разве вы не видите, что искусство много правдоподобнее жизни? Я помню, наконец, как по Киеву разъезжали агитационные грузовики губполитпросвета — «прежде» и «теперь». На том, что «прежде», нагло потел и хихикал господин Пике в натуральном виде, то есть с огромным животом и с лиловой шеей, переплескивавшейся за борт стоячего воротника. Я видел его воочию на Маринско-Благовещенской, среди мелкой спекуляции, папиросников, запахов фаршированной щуки и звуков Мендельсона. Мне возразят — это был безработный артист В., которого подрядили утром в столовке Рабиса на улице Маркса. Все равно — он жил, он дышал, он обливал меланхоличные плечи маклеров и рыбную чешую полновесным, золотым хихиканьем. Почему я тогда не выстрелил?..

Впрочем, о чем говорить? Не я ли предал ясное искусство ради пудовой духоты житейских дел? Актер В. теперь, наверное, играет жизнерадостных эпапачей в каком-нибудь районном театре, а я стою перед господином Пике, перед самым доподлинным господином Пике. Женщина с фиалками и с собачьей кличкой сделала свое дело. Говорить о самозванцах или о фантомах по меньшей мере неприлично: ведь я проник сюда под чужим именем. Я — не бывший писатель, даже не погонщик

баранов, я — модный скульптор. Моя фамилия Загер, и я должен сделать печальную рыбу из камня и из стекла.

Приняв неведомое мне имя, я как бы лишился и объема и памяти. Подобно нескольким волоскам, вылезаящим из-под парика, моя прошлая жизнь давала о себе знать только изредка неожиданными и дикими образами: лужей крови на Мясницкой, глазами издателя Ангарского, запахом пригорелого молока. Мои мысли и мышцы отчаянно барахтались в жажде найти новую форму. Причем Загера я никогда не видал. Я даже не помнил его работ. Головную боль и отчаяние я приписывал то предполагаемой тетке скульптора, умирающей в Лодзи от голода, то высокой любви. Наверное, Загер влюблен в крохотную башкирку Кису, которая каждый вечер в «Ротонде» ест крутые яйца и тихонько плачет. Его занятия казались мне печальными и азартными, как счет звезд или собирание окурков. Стекланные рыбы уныло звенели жабрами. Олово светилось, как луна. И несчастный Загер легчайшей выдуманной головой бился о каменные глыбы. Так я жалел себя.

Господин Пике показал мне камин, дал размеры рыбы, назвал цифру оплаты. Следовало приступить к главному, то есть, памятуя наставления Луиджи, предложить любезному меценату сигарету. Розетка Почетного легиона, приподымаемая ровным дыханием, могла бы сойти за мишень. Скептические наклонности, однако, сказались. От них вся беда. Они способствовали моему удалению из шестого класса гимназии. Они восстановили против меня всех критиков, всех редакторов, всех цензоров моего отечества. Благодаря им я предпочел ремесло убийцы писанию рассказов о лиловой шее Пике для «Огонька» или для «Красной нивы». Несчастный Фома, разве ты не знаешь, что высокие чувства, как статуи музея, снабжаются предостережением «руками не трогать»? В левой был портсигар, правая сжимала черную вещицу. И вдруг мысль: может быть, это не он, может быть, это только тень? Станет ли председатель «Лиги» говорить о геометрии и печально бледнеть?

Я не выстрелил. Вежливо, пожалуй даже бесстрастно, стал я рассуждать о геометрии, о машинах, о слишком бледных меценатах. Я всячески провоцировал моего собеседника. Зачем ему, владельцу сети универсальных магазинов, это абстрактное искусство, полное чистоты и отчаяния? Он может заказать солище Бомбея, опаляющее щеки. Он может целовать всех жен-

щин мира. Не лучше ли оставить куб и стекло мрачным фанатикам мирового подполья, безработным Аттилам и чахоточным подросткам? Я сделаю для него статую не из стекла — из розового мрамора, теплого и нежного, как бедра самой дорогой кокотки. Она будет олицетворять победу и возбуждать аппетит. В дни министерского кризиса, в дни нового Дуарнене или в тот черный день, когда околет коза, блеющая под китайским фонариком, господин Пике сможет целовать Победу, он сможет покрывать ее зябкие формы курсами биржи или великолепными вензелами «Лиги». (Карандаш ведь остается на мраморе, я это хорошо знаю — не раз приходилось заносить на кофейный столик свою простодушную и похабную скуку.) Итак, мы откажемся от рыбы — не правда ли?

Прием удался. Растревоженный призрак показал если не лицо, то несколько идей и большие внутренности.

— Вы знаете хорошо геометрические формы, господин Загер. Но люди сделаны без циркуля, и вы вовсе не знаете людей. Вы меня видали, вероятно, в кино или на афише. Я ел бекаса и улыбался. На самом деле у меня большая печень. Я должен огорчить вас, но я ем только лапшу и пью воду, которая отвратительно пахнет серой. Притом я никогда не улыбаюсь. Изредка я бываю в цирке — это мода. Клоуны Фрателлини ездят на детских велосипедах, и снобы громко гогочут. А я думаю о Моссуле. Нефти, как вы, наверное, слышали, мало, и дремать не приходится. Я заплачу вам скромно, но богатства своего я не отрицаю. Однако оно не дает мне радости. У моей жены рак желудка. Моему сыну семнадцать лет. Он играет, как маленькая девочка, с куклой и роняет на жилет слюну. Я не люблю женщин. На что можно тратить деньги? Искусство? Но вы ведь не хуже меня знаете, что мраморные женщины или стеклянные рыбы никому не нужны. От них только скучно и тесно. Не бойтесь, мой заказ остается в силе. Я делаю множество скучных вещей, только чтобы что-нибудь делать. Я истребляю, например, коммунистов. Вы упомянули о «Лиге», следовательно, вы кое-что знаете. Вы многого не знаете, и вам незачем это знать. Перед вами не любитель бекасов, а стоик и герой. Коммунисты победят? Хорошо. Я не отклоняю единоборства с историей. Я пытаюсь оградить человечество от мсей судьбы. Дело ведь не в большой печени. Возможности, даже среднего ума, не ограничены. Зато ограничены потребности людей. Думали ли вы, молодой человек, о великой скуке универсального

удовлетворения? Вы счастливей меня, хотя бы потому, что вы мне завидуете. Вам хочется хорошо пообедать и купить своей удешевленной Дульцинее меховое манто. Наслаждайтесь же вашими желаниями и этим небольшим авансом.

Вручив мне пятьсот франков, господин Пике отвернулся. Я понял, что аудиенция окончена. Следовало либо выстрелить, либо, поблагодарив загадочного мецената, тихо удалиться. Но философические речи Пике увеличили мое смятение. Не отдавая себе отчета в поступках, я спрятался за широкую бархатную портьеру. Мне казалось, что Пике, оставшись один, вдруг обретет мясом и наполнится выразительной венозной кровью.

Председатель «Лиги» прежде всего подошел к телефону.

— Банк «Пэй-Ба» поддерживает Пэнлева. Примите меры. Каблируйте Нью-Йорк — Смитсу, чтобы он организовал противодействие.

Густая дробь газетного листа посыпалась на меня: заседание финансовой комиссии, четырнадцать убитых, вопрос о пенсиях, курс франка, вся кровь и весь кал мечтательного мира, трупы каких-то друзей, добродушные покеры в провинциальных кафе, черные вещицы «Лиги», печально чирикающий бекас и стойк, да, не палач, но стойк; который стреляет, стреляет, вечно стреляет...

Жмурясь и дрожа, я не заметил, как в комнату вошли новые фигуранты. Я не спал. Я это видел, видел наяву. И я даже не смею взроптать — за что?.. Ведь я сам остался в темном углу, сам заглянул в этот вскрытый ланцетом желудок, полный ядовитых газов и гниющей мякоти.

Диди я узнал сразу по трагической щели рта, хоть она и была в домашнем капоте, выдававшем мещанское, вдоволь добротное тело. Она привела с собой рослого, широкоплечего юношу, который голубыми фарфоровыми дисками глядел на люстру и прижимал к своей груди, к этой воистину атлетической возвышенности, опрятную куколку в кружевных панталончиках, то открывавшую, то закрывавшую глаза.

— Диди, научи его быть мужчиной, — распорядился господин Пике, уныло и деловито, как будто речь шла о банке «Пэй-Ба».

Диди, видимо, никому не отказывала. Она печально усмехнулась. Ее руки, условно пахнувшие фиалками, трудолюбиво обвили килограммы косного мяса.

— Ты — большой. Ты — боксер. И ты не умеешь целоваться?..

Сын господина Пике оказался на редкость плохим учеником. Мучительная и гнусная мимика ночной птицы, трепетавшей в кабинете, трех ее теней, рождаемых различными лампами, их скрепления и отталкивания, нетерпеливое понукание отца — все это оказалось тщетным.

Тогда Диди запела. Мелодия старой колыбельной, которую поют бретонки, покачивая колыбель, как бы чувствуя покачивание рыбацких шхун возле льдов Исландии, мрачная мелодия с ее переизбытком чувств, с запросом смерти вместо короткого сна покрывала слова, непотребные и мимолетные, как тени женщин на углах предутренних улиц. И отданный на милость первородным звукам, многопудовый идиот жалко барахтался. Он и не думал целовать Диди, нет, нежно и глупо гладил он куклу, стараясь закрыть ее родственные в бессмысленной голубизне глаза, гладил, трагически мычал, как баран на бойнях

Виллет, и обливал кружевце обильной слюной.

Господин Пике не выдержал:

— Убирайтесь! Я хочу остаться один.

Я замер. Так подступала разгадка. Исторический прогноз, исповедь, продолженная мерзкой инсценировкой, не то родительское горе, не то забавы старого сладострастника, — все это требовало ключа. Наконец-то он останется один, без происков «Пэи-Ба», без Диди, один с трупами дуаренеских девушек и с большой уродливой тенью на стене. Ведь он не подозревает, что я теряю голову за неподвижным бархатом отчаяния. Что он скажет самому себе? Примется ли рассматривать порнографические карточки или вынет из несгораемого шкафа крохотную склянку с морфием?

Я отодвинул край портьеры. Я увидел, как господин Пике подошел к окну, как он взял небольшую стеклянную банку и опустил в мягкое кресло. Это была обыкновенная банка изпод варенья, в которой заунывно плавала золотая рыбка. Такие банки дарят рахитичным детям взамен солнца и чехарды. Нежно улыбаясь, господин Пике следил за всеми движениями рыбки. Когда она ударялась о стекло, он мучительно морщился. Когда, подымаясь, она выпускала серебряные пузыри воздуха, он в лад ей многозначительно дышал. Его голова, полная курсов доллара и балансов шелкопрядильни, описывала ровные мелодичные круги. В воде металось электрическое солнце,

тонкое стекло определяло границы чувств и грустная, как последняя любовь, маленькая, кем-то выдуманная рыбка плавала, а председатель лиги «Франция и порядок» дополнял ее прозрачный пресный мир солоноватыми выделениями своего одиночества.

Здесь-то кончились мои силы. Идиот? Ханжа? Мученик? От темноты и от отчаяния я потерял рассудок. Я подбежал к Пике. Я крикнул: «Довольно!..» Я не помнил больше, зачем я здесь. Моя рука была бесконечно далека от кармана. Разряд сказался в нелепейшем жесте: вырвав из рук Пике банку, я опрокинул ее. С наслаждением я лил воду на ровный пробор, на шевиотовые плечи, на щеки, уже увлажненные недопустимыми слезами.

Господин Пике как бы спал. Лунатические зрачки ничего не выражали. Он медленно встал, вынул платок, вытер лицо и уныло, голосом, лишенным досады или удивления, проговорил:

— Вы еще здесь, господин Загер?

Я даже не мог как-либо объяснить мое нелепое поведение. Заикаясь, я пробормотал:

— Я забыл что-то... Но что?.. Ах да, я забыл предложить вам сигарету.

На ковре издыхала золотая рыбка. Ее жабры были мучительно развернуты, а глаза уже тронуты густой мутью смерти.

12

Требовался лед

— Удивительно глупо. Вместо председателя «Лиги» я убил золотую рыбку. Что мне делать, товарищ Юр? Вы пришли, как спасение. Смотрите, вот револьвер. Скажите — и я сделаю. Кого мне убить — Пике, Луиджи или себя? Я знаю, что кого-то убить необходимо. Эта черная вещичка не хочет больше ждать. Но кого? Нельзя же ограничиться аквариумом. Я так рад вам!..

Говоря это, я не лгал. Редко кому я так радовался, как Юру в то утро. Меня глушили развернутые жабры, загадочный свет кабинета и губы не удовлетворенного исходом экспедиции фантаста. Я лелеял справедливо прославленный нос. Я окружал

стриженную ежиком голову нимбом пророка. Теперь, когда все миновало, и надежды и разуверения, можно сказать: как тот кретин куклу, я любил эту тень, вывезенную на запад, заодно с великими идеями и с астраханской икрой. Юр, однако, сопротивлялся.

— Стреляйте в кого хотите. Какое мне до этого дело? Или ни в кого не стреляйте. Убили рыбку — и будет. Теперь пишите некролог в стихах. Вы думаете, мне вас жалко? Ничуть. Впрочем, если на то пошло, скажу вам прямо — жалко. И того подлеца с банкой. Даже рыбку. Категорически всех. Это плохой признак. Вот вы написали «Курбова». Дрянь! Почему это чекист вдруг дошел до пошлой жалости? Что за дамская сырость? Очень просто, да потому, что ему себя жалко. Если человек к себе беспощаден, ему и других жалеть нечего. А остальное — любовь, кабаки и проклятое соглашательство. Как вы думаете, гражданин писатель, может ли воздух влиять на идеи? Поскольку вы ставите вопрос о ликвидации, отвечу вам прямо — убить следует меня. Что я такое? Ком мяса. Логика доказывают, что человек лысеет постепенно. А я вот сразу потерял и форму и убеждения.

Я спрятал револьвер в карман — пусть ждет, пусть сам выберет мишень. Есть же какая-то связь, хоть нам и непонятная, между различными, с виду бессмысленными, поступками. Я жил, писал книги, ел телятину. Потом — неоплаченный счет и бархатная портьера, подобранный окурочок и золотая рыбка. Самое глупое из всех человеческих божеств, самое простое и самое неоспоримое, как предсмертная икота или как яйцо страуса, «рок» в истлевшей тунике или сальная, кофейная, трехрублевая «судьба» коломенских гадалок встало передо мной. Будь что будет! Если Юр «потерял форму», о какой же истине мне мечтать?

Растерянные признания продолжались. Оказывается, электрические гномы залезали и в чердачное окно. Они приносили с собой траур — марши джаз-банда, ржавое и нежное лязганье бледнеющих от безумия негров, крем «Секрет вечной молодости», свистки, гудки, поцелуи, огромное рыжее небо над вечно бессонным городом и пучки трогательных, сифилитических роз. Призрак столицы — Юр увидел его — сердцебиение, определяемое лошадиными силами, и глаза в миллиард ваттов.

Фотомонтаж, где на корпус биржи накладываются пальмы Марокко, висок и револьвер, ротационка вечерней лжи. Глубина

поля отсутствует. Только огненный туман и дымящаяся в зубах бронзового солдата самокрутка. Волны радио заливают мир агонией тонущих шхун и спевкой маклеров. Когда женщины скидывают крепдешин, тела не оказывается, вместо него алгебраическая формула и две восковые камелии. Под утро десять тысяч мусорщиц нежно и церемонно выносят за городские рвы труп титана. Они засыпают его нераспроданными стихами «сюрреалистов» и кожурой бананов. Это час, когда любовница и смерть показывают бумажку: «Итого следует»... Сто франков, как и душа, помещаются в ридикюле. Бедный товарищ Юр, как же ему будет тесно рядом с карандашом для губ и с шестистопной меланхолией!..

Где вы, рубленые котлеты, здоровый мороз, Благуша и комсомол? Так смотрит летчик на города, дороги, канавы, перелески. То, что внизу жизнь, чадная и сладкая, с парным молоком, с коклюшем, с семейной любовью, для него только план, только безнадежная геометрия, скрещенье линий, дистанций, ветров.

Развоплощение Юра так поразило меня, что я и не думал справляться о ходе нудного и нелепого механизма, который может быть назван моим сердцем, хотя некоторые фразы должны были меня затронуть. Так я узнал, что мотылек недаром бился вокруг кодекса и носа. Товарищ Юр «схалтурил». Трудно сказать, чего было больше в этой получасовой забаве — прежнего беспечного озорства («не убавится») или новой рассеянности, маниакального шатания по чужим домам и душам! Причём Паули казалась ему отвратительной и нереальной, как кусок телятины на вокзале, покрытый кисеей, мухами и вечностью. Повторяю, узнав об этом, как-никак досадном, происшествии, я не почувствовал обиды. Вращаясь в обществе экранных героев и шахматных фигур, я достиг настоящей отрешенности от всех естественных эмоций. Животное тепло, пожалуй, еще могло быть установлено термометром, засунутым под мышку, но это был не внутренний огонь, а исключительно жестокий и подлый накал затянувшегося августа. После вчерашнего стелкивания теней на стенах кабинета ничто не могло меня удивить. На слова о Паули я ответил тактичным молчанием незаинтересованного соглядатая. Другое занимало меня — я чувствовал, что помимо электрических гномов и крема «Секрет вечной молодости» существует некий прямой виновник, посягнувший на ореол носа. Мирская литература, житейский опыт,

Жозефина Наполеона, даже моя крохотная влюбленность в Паули, не говоря уже о скандальном поведении губастого фантаста, подсказывали мне пол преступника. Потом я хорошо помнил вечер на вокзале, поднятый платок и лицемерную игру перчаток. Неужели все дело в Диди?.. Сознаюсь, после подсмотренного урока я еще более стал сомневаться в достоверности существования этой особы, несмотря на округлость форм и капот. Собачья кличка, как и запах фиалок, не составляют женщины. Различия между ее жестами и колыханием трех теней я не ощущал. Мог ли Юр, вчера живой и приземистый, доверху налитый тяжелой кровью и солидной как свинец верой, прельститься вымыслом? Чтобы проверить догадки, я принялся, не скупясь на эпитеты, расхваливать Диди:

— Может быть, вы любите ночных птиц? Я читал где-то, что американский поэт Сноудс был влюблен в сову. У Диди замечательное оперение. А глаза?.. Вы видали ее глаза? Они расширяются в полночь, как лужа крови вокруг самоубийцы. Это от тоски и от белладонны. Кстати, в прошлом году один серб в баре «Сигаль» всю ночь требовал коньяку и глаз Диди. Утром, когда бар закрыли, он крикнул: «А у нас в Крагуваеце снег!..» — и застрелился. Если вы женитесь на Диди, она будет пришивать пуговицы и готовить яичницу. Это — первосортная хозяйка. Она будет притом цеть. А когда Диди поет — старики и те лезут целоваться. Женитесь! Это не так трудно устроить. У нее вместо рта копилка. Я возьму деньги у господина Пике. К слову будь сказано, он вовсе не фиолетовый. Вы бросите в отверстие копилки былые подвиги и десять ассигнаций.

Юр прервал меня:

— Вы что, с ума сошли? Или смеетесь надо мною? Я не люблю птиц. Я не собираюсь жениться. Просто на меня плохо действует здешний климат. Это вроде болотной лихорадки. Но я скоро уеду, и тогда, тогда вы увидите — все сразу пройдет.

Я саркастически изогнулся, превратившись на одну минуту в дешевенького Мефистофеля, который торгует болотными звездами и нарисованными глазами. Кто устоит перед подобной витриной? Души, да, именно души выкладывайте на прилавок кассы, уважаемые граждане, — другая валюта здесь хождения не имеет!

— А Диди? Как же Диди?..

— Дурак! Разве моя командировка этого требует?..

Взбешенный, он не стал со мной больше беседовать. Куплен или не куплен названный товар, осталось невыясненным. Уходя, он дал мне большой желтый конверт, тщательно запечатанный — «сохраните». Что в нем? Документы или младенческая душа? Куда он ушел — укладывать скромные пожитки в потрепанный чемодан или глушить печаль коньяком среди окаянного реквиема десяти негров?

В смущении подошел я к окошку. Я призывал зиму, снег, холодильник честности и успокоительный абрис замерзающего на посту тулуца. Но улица обдала меня влажным жаром политого асфальта и заплаканных щек. Внизу сновали тысячи лунатиков, притягиваемые электрическими иероглифами и расширенными зрачками. Они не шагали, но плыли среди огней, гвоздик и франков. Зеленый шар дежурной аптеки обливал их ядовитыми кислотами и Летой. За стойками бритые бармены взбивали щемящие душу коктейли. Толпа ползла медленно, как гусеница. В комиссариате регистрировали преступления. Льда же нигде не было. Весь лед давно уже проглотили безумцы, изнывающие от ревности или от изжоги. Лед был только в морге, добрый крепкий лед, припасенный заботливыми служащими. Он ограждал трупы от разложения, и во всем городе только трупы выглядели хорошо, приличные, честные трупы.

Это, кажется, шляпа Юра?.. Он плывет. Куда? В бар? В аптеку? В морг?

13

Как в фильме

Я спешу внести необходимую поправку. Как ни была велика моя отчужденность от гусеничных потягиваний всех этих фланеров или бродяг, недомогание, последовавшее за визитом Юра, может быть с известной натяжкой названо запоздалой ревностью. Чувства сказывались прежде всего в физической тошноте. Так Пильняк описывает любовь — прыщавую, наспех и в полной амуниции. Еще мне хотелось бы сравнить это со студнем, с патокой, с плевательницами. Вполне возможно, что Юр читал ей законы о разводе, и она восторгалась. Нет, лучше Диди — там, по крайней мере, такса и система — знаменитая машина,

которая чудодейственно превращает глупо хрюкающих поросят в серебряные колбасы, полные фисташек и фантазии. Я согласен, как сын господина Пике, жить с куклой, искусственно улыбаться, открывать и закрывать глаза. Но почему она пахнет потом? Почему она плачет в темных углах? Почему у нее синеглазая Эдди? Дешевые «номера», где не успевают между двумя постояльцами перестелить белье,— вот ее сердце. Может быть, Юр в темноте сошел за Муссолини?

Я понимал теперь Луиджи: восторженность пухленькой немки действительно обременительна. Здесь необходима строгая диета — муж и поваренная книга. Не то от сердцебиения рвутся все петли лифчика, а экспрессионистические авторы начинают всерьез описывать духовное вознесение взбитых сливок и даже гуся в капустой.

Убийца многих сотен баранов, я хотел теперь расправиться с любовью. Я подталкивал ее. Я кричал «э-э!». Любовь, однако, упиралась. Хитрая, она и не думала декламировать, она не ссылалась на Данте и не требовала кадилльниц,— нет, ее простая житейская защита была достойна мелкого дельца в нарсуде. Чем она хуже других? Не следует пугаться заглавий. Любовь — так любовь. Занимаются же другие любительскими радиоприемниками или коллекционированием почтовых марок. Я сам увлекался щелканием кодака и квадратами кроссвордов. Жизнь проходит на крутых склонах — здесь любая зацепка, кустик или пола пиджака, и та может спасти от случайного самоубийства. Как желудок, сердце натошак ноет, оно требует заполнения. На иронические улыбки исправный филателист может ответить: «Знаете ли вы деления циферблата и меру человеческой выносливости?» О, тишина комнаты ночью, ритм походки веснушчатого клерка, кукование безгнездного сердца, оскал скуки — чем оградиться от вас? Давайте же клеить марки! Давайте собирать идиотические ракушки! Давайте любить, любить медленно и блюдя все церемонии, плача, ревнуя, строга стихи, любить как Данте или как Луиджи!

Так была оправдана эта старая хипесница. Сойдя со скамьи подсудимых, она сразу стала командовать. Я влюблен в Паули? Очень хорошо. Теперь остается только побриться. Если тупое лезвие сдерет кожу, рубиновые капли напомнят о силе чувств. Побрился? Ритуальные вздохи и бульвар Гарибальди.

Паули не показала мне Эдди. Зато я увидел ее глаза, жалкие и назойливые, как растравленные язвы профессионального

нищего. Здесь не было пристойных зевков первого акта. Она меня не спросила, как я поживаю, даже не предложила мне присесть. Я пришел от печали и от безделия, пришел убить вечер, чтобы он не убил меня огнями и одиночеством, пришел поволочиться, повздыхать, может быть, задушевно поговорить о детстве, может быть, и подхалтурить, как Юр. Я попал на пожар. Моя влюбленность и мои ноги были сразу учтены как подмога!

— Приведите его!

Конечно, обладай я службой, твердыми убеждениями, настоящей любовью, легко было бы уклониться. Почему я должен заниматься сводничеством? Ищите сами, сударыня. Существуют телефоны и пневматическая почта. Я не проволока. У меня как-никак сердце, в котором живет собственная любовь. Я ревную. Я даже возмущен. И так далее. Словом, предложений для отвода было множество, но я ими не воспользовался. Я был слишком пуст и грустен, чтобы сопротивляться. Я подчинился Паули, шептавшей «приведите», как я подчинился Луиджи, кричавшему «нажми». Это была магнетическая сила зрачков, широких и бессмысленных, зрачков одичавшей кошки, еще влияние температуры, автобусов, тумана, дней, бед.

Забыв в мастерской Паули шляпу и достоинство, я отправился разыскивать Юра. Я бежал, толкая прохожих и не успевая перевести дыхания. Широкоглазая Паули с противным шарфом и с невыносимой нежностью умирала на бульваре Гарибальди. Я бежал к Юру как в аптеку, где сонный провизор на крохотных весах отвешивает спасение. И хоть это не фильм Гриффитса, а только хроника моих унылых дней, вы, конечно, догадываетесь — Юра не оказалось дома. Я присел на скамью и развернул вечернюю газету. В штате Миссисипи линчевали негра, и негр кричал: «Мне больно!» Датский астроном открыл новую звезду. Крем «Секрет вечной молодости» продавался неизменно повсюду. Но где же Юр?..

Началась глупая погоня по проклятому лабиринту парижских улиц. Кого я искал? Существовал ли Юр на самом деле? Или я охотился в черных тупиках, в электрических дебрях за носатой тенью, рожденной случайным скрещением чужой шляпы и моих наивных надежд? Я искал его всюду. Я очутился в каком-то огромном корпусе. Движущиеся лестницы тащили меня наверх. Я барахтался среди лент, среди клейких спин и загадочных надписей: «Саламандра горит шесть месяцев и

дается в рассрочку», «Сегодня остатки креп-жоржета». Я проваливался в черные люки, парафиновая красotka обрызгивала меня из пульверизатора духами, которые пахли месячным окладом и химией. Тщетно я искал выхода — ленты и двери повторялись в сотнях зеркал. Юра не было, но всюду был я, без шляпы, с космами взбитых волос и с губой, отвисшей от отчаяния. Мы заполняли весь дом.

Наконец ко мне подошел сухой и ревностный призрак:

— Богатый выбор наилучших подтяжек по семь франков девяносто пять.

Агент господина Пике растягивал змеиные тела «наилучших». Он любезно скрипел позвонками. Мне удалось кое-как уйти от него. А улицы продолжались. Их было недопустимо много. Мне казалось, что они повторяются, как мое отображение в зеркалах. Еще больше было людей. Причем все они чрезвычайно напоминали или Юра, или Паули. Я кричал мужчинам: «Вернитесь к ней». Женщин я обнадеживал: «Он скоро вернется». Счастливые парочки на мгновение успокаивали меня — они нашли друг друга. Но тогда мнимый Юр неожиданно терял нос, и мне улыбался средневековый череп сифилитика. Предполагаемые Паули меняли шляпы и возраст. Здесь были девочки, с любопытством заглядывающие в прорехи бабров, путающие спряжения глаголов и ног, были старухи, которые едва сгибали колени, ноющие от ревматизма и от старости, с морщинами, засыпаемыми пудрой, как могилы земель, с именами, полными поэзии и нафталина: «тетушка Аделаида» или «кузина Иоланта». Здесь были румяна, тушь, шиньоны, подвязки, колье и крем, — разумеется, «Секрет вечной молодости». Парочки ныряли в прохладные норы ресторанов и гостиниц, где звяканье тарелок или скрип матрасов повторяли терцины Данте о любви, о той любви, что «управляет движением звезд». И электрические звезды двигались. Они делали все. Они обеспечивали будущее вечерними курсами стенографии. Они вставляли искусственные челюсти. Звездная метель безумствовала. Я то и дело закрывал глаза. Но тогда выступали звуки автомобилей, радиоприемников, уличных зазывателей, проституток. Мне вручали счастье из американского золота, и меня приглашали к бедной козе. Шатры Туниса обещали финики и танец живота. Неопрятные манжеты и военная медаль клялись положить меня на кровать покойного короля Великобритании.

Слившиеся Офелии запросто требовали участия и сигарет. Я ускорил шаг. Улицы продолжались. Юра не было.

Я начал обыскивать бары и рестораны. Мне показывали карточки, в них значились шампанское, моллюски, тушеная капуста. Черные грумы нагло смеялись надо мной. Они быстро вращали зеркальные двери, и я бился в летучей клетке. Начались танцы. Меня сбивали с ног, опутывали серпантином, обстреливали бумажными ядрами. Джаз-банд издавал рык и топот. Это в штабе Миссисипи линчевали негра, и душа линчуемого, тонкая и хрупкая, как побег пальмы, пискливо жаловалась через саксофон. Где-то в углу били девочку. Где-то грызли соленый миндаль. «Я люблю Поля Морана и тибетские танцы», — сказал один. «Доллар сегодня двадцать четыре восемьдесят», — ответил другой. «Факир спит уже тридцать второй день». «Дайте мне скорее соды, не то я испачкаю скатерть!» Это было в тридцатом или в сотом кабаке. Я рукавом вытирал лоб и бежал дальше. Металлическая сопелка рыдала.

Я пробовал вырваться из этой чаши огня, поцелуев и пробок в рыжую пустыню окраин, дышащих семейными раздорами и жареной картошкой. Кепки бильярдным кием прокалывали сердце бубновой дамы, которая в жизни знает только одно — чистит зубы патентованной пастой «Лео». Масло дорожало на семь су. С маслянистых локтей кабатчицы падали лицемерные слезы. Плач негра здесь становился престонародным, его повторяла даже шарманка, эта старуха, брюзжащая о былой любви и о былой дешевизне. Юра не было ни в колодах карт, ни в темных залах кино, где роговые очки прыгали по небоскрегам, его не было ни в женских зрачках, ни в витринах, его не было нигде.

Я больше никого не искал. Я убегал от неизвестных преследователей: от шляп, от вывесок, от фокстротов. Полицейские недоверчиво оглядывали меня, а звезды кичились миллиардами километров — они были еще недоступнее, чем бары и чем зрачки. Наконец мне показалось, что я нашел лазейку. Пустые ступени широкой лестницы уводили наверх. Однако сейчас я услышал чужие шаги, сухие, как шелк ремингтона. Я оглянулся. За мной бежали костыли. Я попробовал улизнуть. Едва дыша, взобрался я наверх. Бездомные собаки лизали призрачный сахар собора Сакре-Кэр. Они выли. Кроме них, выла скрипка, и, купая осторожные усики в теплой пене пива, приказчики средних лет танцевали «яву». Внизу, потя, метался, оранжевый от

золота, от крови и от огней, вымышленный город. Я глотал горячий пар и задыхался. Костыли все же нагнали меня.

— ...Тридцать две различные позы за четыре франка, и отравленный газом герой войны...

Когда я бежал вниз, позади еще щелкало дерево костылей и сухое горе. Тридцать две позы множилось, они выпирали из освещенных окон. Прошло немало времени, пока я добрал до Сены. Как ни в чем не бывало она качала идилические баржи и луну. Если багры полицейских искали утопленника, то и это могло сойти за рыбную ловлю. Я залез под мост. Там пахло прошлым столетием и испражнениями. Верлен, подвыпив, декламировал стихи, а умиленные пескари требовали удочки. Но и здесь плотная тень подступила ко мне. Непомерно длинная шея и пятнистые лохмотья напоминали жирафа. Это существо должно было лизать зеленую муть быков.

Я ждал брани или побоев, как святотатец, нарушивший сон мумии. Но тень запела. Да, она именно запела, голосом ржавым и зловещим, как скрип церковных дверей:

— «Здесь ча-а-асы проходят как минуты»...

Тогда я не выдержал, я сел на кучу мусора, обнял свои колени и заплакал.

Товарица Юра я нашел только утром. Его кровать не была смята. Он сидел в шляпе и со мной не поздоровался. Я не стал его допрашивать. Я ведь не верил больше в магический фильтр окошка. Я знал, что всю ночь он тоже метался по черному и невыносимо яркому лабиринту, догоняя тень в лайковых перчатках, тень, которая пахла фиалками и копила ренту. Его просьба показалась мне простой и естественной, как «дайте прикурить».

— Мне нужны деньги.

Я дал ему четыреста двадцать франков, оставшиеся от чека господина Пике.

— Мало. Она хочет пять тысяч. Возьмите у Пике или у Луиджи, все равно у кого. Но скорее!..

— Хорошо. Я попытаюсь. У Луиджи вряд ли удастся — он фантаст, но он хитер, как торговец кораллами. У Пике легче. Если нажать ту вещицу, совсем легко. Я достану вам пять тысяч. Я ведь теперь не живу. Я только выполняю чужие приказания и курю сигареты. Кстати, Паули приказала мне достать вас.

— К черту! Какая Паули? Ах, та!.. Пусть и не думает. Я ее видеть не могу. Вы, что же, сводником сделались?

— Да. Сводником. Убийцей. Вором. А главное, тенью.

— Слушайте, достаньте мне пять тысяч. У нее...

Я перебил его:

— Да, да, я знаю. У нее вместо рта копилка и глаза смерти. Я скоро нажму ту вещицу. Но возьмите ваш конверт. При таком рода занятиях неудобно носить на себе чужие тайны. Может быть, в нем какие-нибудь документы?..

— Документы?

Юр. очень громко, неестественно, скажу — отвратительно, засмеялся. Он разорвал конверт и вынул обыкновенную ученическую тетрадку с метрической системой на обложке. Приняв патетическую позу провинциального памятника, он прочел мне стихи, нелепые, задушевные и вдоволь пошлые, о «багровой заре», о гибели «желтого дракона из Амстердама», стихи, посвященные некоей «комсомолке, другу и товарищу Тане». Читал он по-актерски, завывая, останавливаясь, чтобы переждать слезы и аплодисменты, руками пояняя различные глаголы. А прочитав, в бешенстве стал рвать тетрадь и швырять в меня клочки бумаги. Презрение сказалось также в неожиданном переходе на «ты».

— А ты-то!.. Даже погибнуть как следует не умеешь! Так только, вибрируешь...

Я взглянул на него. Уже не было ни крови, ни цвета волос, ни движения губ. Большая белая тень мучительно билась под чердачным оконцем. Плачьте, товарищ Таня, — Юр погибает. Я знаю эту отчужденность — он обречен. А я? Надо мной некому плакать, и старая тень, шнырявшая под мостом, не помянет меня в своих ночных завываниях.

14

Нечто лабораторное

Отчет Паули был краток. Я опустил все патетические мелочи ночи: подтяжки, костыли, «песню песней» под мостом, разорванную тетрадку. Я ограничился наиболее существенным — он не придет. Он никогда не придет. Следует искать другого — Муссолини, меня, первую тень, которая, когда зажгут фонари, покажется на бульваре Гарибальди, тень строительного под-

рядчика или ревербера. Я ожидал истерики. Я держал наготове стакан воды. К моему удивлению, Паули спокойно меня выслушала. Она даже улыбнулась. С видом озабоченным, однако беспечным, она предложила мне:

— Хотите выйти со мной? Мне нужно купить макароны и керосин для примуса.

Только позднее я смог оценить природу этой улыбки, румянца нежных припухлостей, переносной горючести намеченных покупок. Горячий вечер входил в поры. Лавочник принял нас за нежных супругов, и это, наряду с макаронами, еще усугубило интимность. Юр, наверное, погибал в баре «Сигаль». По всей справедливости я мог занять его место, тем паче что и мне оставалось жить два, самое большее три дня, потом — господин Пике, геометрия, выстрел, пять тысяч и последняя свежесть гигантской бритвы в руках церемонного цирюльника Третьей республики. Я честно разыскивал Юра. Я сделал все, чтобы привести его на бульвар Гарибальди. Кто же упрекает меня в предательстве? Я только дублирую зазнавшегося премьера, я — несчастный суфлер, если не ламповщик. Притом мотыльки передвигаются быстро. Вчера Паули шептала «приведите», в точности повторяя судорогу и задыхания золотой рыбки, выплеснутой мною на ковер. А сегодня? Сегодня она премило улыбается, она разрешает мне жать ее пухлую ручку, она покупает макароны. Словом, сегодня белый флажок такси поднят («свободен»).

Мы прошли на бульвар Пастер, так как Паули вспомнила, что ей нужно зайти в комиссариат. Я благословил какую-то регистрацию — она удлиняла нашу идиллию, шепот каштанов, жар руки. О Юре мы больше не говорили. Он был изгнан из нашего щebetания, как дурной сон или как встречные похороны. Шла лихорадочная подготовка дальнейшего — недомолвки, намеки, выразительные паузы. Ведь на этот раз я никак не хотел ограничиться нежностью в кафе и умильными воспоминаниями. Только у двери участка Паули неожиданно спросила меня:

— Так он не придет?

Я не понял, что это — надежда или опасение? Почему оливковая шляпа, за которой я гнал всю ночь, вновь встала между нами?

— Нет, Паули, он не придет. Он никогда не придет.

Паули поднялась наверх, а я остался ждать ее, мечтательно скрестив руки, под красным фонарем, как бы налитым кровью избиваемых арестантов. Нечего говорить, ворота полицейского комиссариата мало подходящее место для любовных вздохов. Территориальное уныние быстро овладело мною. До чего похожи друг на друга все участки мира! Как слезы и как чернила, они не знают ни градусов климата, ни политических переворотов. Жизнь в них идет напрямик, без стихов и без цветочных подношений. Это голизна, не условная голизна кафешантана, но иная, общей бани, с ее эпическим паром и с жалкими мозолями. Подбитый глаз, горящий среди ночи и зелени, гласит: здесь заверяют подписи и здесь уничтожают душу. Вспомните запах комиссариата, попытайтесь определить его. Что это? Сапожная мазь? Бумажная труха? Кровь? Пот? Блевотина? Да, все это и еще многое другое. Вернее всего сказать, — так пахнет жизнь, так пахнет она не в романах, где искусные авторы стараются запасами парфюмерии перекрыть зловонное дыхание своих героев, нет, так она пахнет наяву, в моих днях и в ваших.

Вот этим-то запахом пришлось мне дышать, ожидая Паули. Влюбленность вновь подверглась тяжелому испытанию. Я стал проклинать регистрацию. Лучше было бы ограничиться макаронами. Подъехавший грузовик принял очередной улов — семь или восемь проституток. Заметив меня, одна из них успела подобрать высоко юбку и показать бедро, розовое и нежизненное, как резина. Старуха, может быть, «тетушка Аделаида», нюхала табак и чихала. Полицейский угрюмо подталкивал скромную девушку, еще чуждую профессиональному безразличию подруг, которой грузовик казался не то гильотиной, не то адом. Это напоминало бойни Вилетт, и я меланхолично повторил «э-э!». До меня дошли обрывки разговоров:

— Тот, из «Либерте» подарил мне шесть шиллингов и триппер...

— Когда такая желтая луна, всегда случается несчастье...

Грузовик отъехал. Прошло еще минут десять. Наконец показалась и Паули. Наши руки вновь сплелись, несмотря на зной и подаренную комиссариатом тошноту. Начав известную работу, мы ее честно выполняли. Дальнейшее было неизбежным, хотя его никто не желал, ни я, ни Паули. Говоря «никто», я, конечно, лгу. Этого хотела скука, распорядок дней, привычки, может быть, даже разбавленные водой чернила и красный ого-

нек комиссариата. Будучи героями, мы играли во всей этой инсценировке весьма несамостоятельную роль. Впрочем, я не настаиваю на исключительности подобных состояний. Разве не является любой день сцепкой произвольных процессов? Кисточка, мылящая щеки, перо или долото движутся сами собой. Не по человеческой воле рождаются бумаги, дома и дети. Мы были оба свободны и печальны. Рука привычным жестом искала другую руку. Губы, как старые клячи, твердо знали дорогу к другим губам. Грузовик с восемью девицами затонул в абрикосовом тумане, а стихи Альфреда Мюссе гнили на книжных складах. Возраст и час позволяли действовать без обняков.

С усмешкой вспоминаю я теперь лирический дуэт, исполненный нами. Право же, это было достойно провинциальной эстрады. Мы сразу обнаружили духоту, как будто вчера и позавчера не было душно, как будто вне духоты были бы мыслимы Луиджи, Юр и Пике! Следующей музыкальной фразой явился вздох о природе, о свежести политых цветников, о стволах ольхи, среди которых без голов и без ног значитесь только рука, обнимающая женскую талию. После этого уже легко было разыскать остановку загородного трамвая, сказать друг другу, что мы едем «только погулять», приехав, подыскать тотчас подходящую гостиницу с тенистыми беседками и над бутылкой теплого пива открыть период сентиментальных поцелуев. Кругом нас, отделенные чохлыми плющом и не менее чохлыми биографиями, чужие тени описывали однородные орбиты. Щеглы в подвешенных клетках переваривали коноплю и музыкально икали. Их голоса легко смешивались с воздухом, волнуемым многими губами. Зеленоватое стекло пивных бутылок и муть обесмысленных зрачков дружно поблескивали среди ночи. Общность множества судеб успокаивала, как в дни мобилизаций или стихийных бедствий. Прилагательные «милый» или «дорогая» уничтожали пестроту имен. Все диктовалось обстановкой, и когда в беседку втерлась луна, сделавшая окончательно призрачными опаловые плечи Паули, я мысленно поблагодарил хозяйку гостиницы, заправившую вовремя небесное светило, — она действительно заботилась обо всем.

Мы играли нескверно. Мы сохранили лирическое смущение, перейдя из беседки в комнату. Скрип ключа показался нам трогательным назиданием старого друга. Я прославлял родинки и общность душ. Быстро Паули наложила на меня какой-то

милой ей образ — Муссолини или Юра, отчего моя впалая, достаточно чахлая грудь стала, разумеется, «мужественной». Причем мы прекрасно понимали лживость любой фразы, любого движения. Это, однако, не мешало нам. Мы ведь не жили, мы честно выполняли чужую жизнь, хорошо запомнив все ремарки предусмотрительного автора. Никакого Юра нет и не было. Я молод, я горячо влюблен. Чувства выражаются впервые в неумелых, но искренних стихах, а выпирающие края старомодного корсета на лопатках хозяйки не что иное, как мифологические крылышки.

Так спокойно, в меру задушевно и в меру деловито, мы любили друг друга. Напряжение создавало то колбы и весы лаборатории, то точность алгебраических формул. Я слегка опасался, что неосторожное движение Паули может разрушить всю композицию. Ведь фокус найден, окрестные рефлекторы создают нужное освещение. Отсюда родились в минуту, которую я назову наиболее ответственной, бессвязные с виду слова, несколько озадачившие мою партнершу:

— ...Спокойно — снимаю...

После чего, успокоенный занавесом и темнотой, я лег на спину, закрыл глаза и уже, не играя, всерьез захотел умереть здесь, в игрушечной комнате, под луной, созданной хозяйкой и пригородным горем. Но у смерти свои замашки, она не терпит парадных подъездов и открытых настаеж сердец. Мне ведь предстояла еще ночь с Пике, мне предстояло... Впрочем, я еще тогда не знал, что предстоит мне. Я только лежал, грустный и неподвижный, продолжая если не жить, то дышать. Из этого состояния меня вывела Паули. Скажите, почему существует на свете любовь? Я говорю не о беседках, не о щеглах, даже не о мифологии. Почему китайские тени и заводные игрушки подвержены каким-то странным заболеваниям? Аппендицит вырезают. В школах преподают логику. А любовь...

— Ты знаешь, зачем я ходила в комиссариат? Ты думаешь, насчет паспорта? Нет, я должна была отомстить ему. Я не хочу, чтобы он целовал Диди! У Диди потное тело, и она пахнет мускусом. Я сказала комиссару, что он шпион, важный шпион, что он хочет выкрасть военные планы. Теперь его схватят, ему отрежут голову. Посмотрим, как он тогда будет целовать Диди...

Я ничего не ответил ей. Я не мог ни возмущаться, ни осуждать. Grimасы теней больше не удивляли меня. Пусть Юру отрежут голову — зачем ему голова? В сумасшедшем лаби-

ринте улиц остались его сердце и клочки милой тетрадки. Пусть Паули лежит и плачет. Я не верю слезам. Я тоже плакал под зеленым мостом. Слезы ничего не выражают. Это как дождь осенью. Паули со мной? Что я целовал? Резиновые губы? Противный шарф? Она говорит, что любовь доводит до всего — до предательства, до смерти. Может быть. Но я не знаю, что такое любовь. Теплая пена пивной кружки или несколько условных па в соседнем танцклассе? Господин Пике, бледный и печальный, тоже любил — золотую рыбку.

Итак, вы сказали, бесценная Паули, что Юр — шпион. Но ведь вам пикто не поверил. Разве вы не заметили, как смеялся старенький писарь? Я тоже смеюсь, громко смеюсь. Вы скажете, почему Юр не может быть шпионом? Потому, что он бегал по улицам, как я, без сердца и без шляпы, потому что его нет, он выдуман. Да и вас нет. Как же я могу верить вашим слезам?

Нет, я ничего не сказал Паули. Я только тихо встал и подошел к рукомойнику. Всю ночь я мылся в маленьком ржавом тазу, который пах мыльной сиренью и железом, мылся задумчиво и педантично, под щелканье щелгов, под лягушечьи серенады незамирающих поцелуев. А когда в окошко бесцеремонно ворвался мой главный мучитель — рыжее, простоволосое, дубастое солнце, я подошел к плакавшей по-прежнему Паули и туло сказал:

— А Эдди?.. Не смей трогать Эдди!

15

Снова мена

Была минута некоторого успокоения — наконец-то я встретился с господином Пике при благоприятных обстоятельствах. Отделенный от меня наивной фантазией третьеразрядного автора и огнями рампы, он вел себя, как подобает председателю «Лиги». Совращение бедной девушки, сестры отравленного газом рабочего, было много вразумительнее, нежели геометрия или золотая рыбка. Я искренне негодовал. Не будь рядом со мной Луиджи, я, может быть, пустил бы в ход черную вещицу. Но фантаст твердо знал факты и адреса. Станный фантаст, он не доверял ни гриму, ни слезам. Он даже шептал мне, что эти слезы сделаны из глицерина. Правда, когда лакеи господина

Пике вывели обиженного брата, он крикнул «негодяй». Но как только взрыв утрированного кашля и пестрый от реклам занавес сразили отравленного газами героя, фантаст поспешил рассмеяться. От недавнего преступления оставались лишь аплодисменты и липкая нуга, всучаемая назойливыми капельдинершами.

Луиджи воспользовался антрактом, чтобы выпить стакан грога, а также чтобы допросить меня вновь о далеко не героических похождениях скульптора Загера. Он был туп и взыскателен, как чикагский контр-метр или как славянская совесть. Говоря откровенно, я его боялся. Я юлил и ерзал, превращаясь в школьника, не приготовившего уроки. Об откровенном признании нечего было и думать. Рыбка стыдливо скрылась среди звяканья рюмок и трубочного дыма. Мне пришлось выдумать какого-то сыщика, внимательно следившего за мной, особенно за руками. Я даже не мог вынуть портсигар. Луиджи милостиво простил меня. Он сообщил мне о новом плане. В четверг. Бар «Сплендид» на площади Пигалль. Диди приведет туда Пике. Там креолка Джили в лучших ее номерах. Там я смогу выполнить все беспрепятственно.

Четверг. Сегодня вторник. Следовательно, остается два дня. Близость конца придавала мне смелости. Вас, может быть, удивит, почему я не сделал этого прежде? А меня удивляет, как я решился задать трезвый вопрос вымыслу, собирателю окурков, губастому сну, который рисовал вензеля, расхваливал соски и управлял баром, я, тоже шаткий и отсутствующий, случайно не стертый резинкой зари и не подобранный сомнамбулическим мусорщиком. Нас окружали пропадающие в дыму газовые рожки и едкое дыхание нагретого спирта.

— ...Я только спрашиваю. Пойми, я не отказываюсь. Я сделаю все. Я помню «Лигу» и Дуаррене. Я помню, как он сегодня хихикал, выталкивая отравленного газами. Рыбка не в счет. Его следует убить, хотя бы потому, что у него слишком много теней. Они загромождают мир. Они пьют нефть и кровь. Все это ясно и просто. Но скажи мне — почему я? Почему не этот отравленный газами? Он ведь знает, что значит нефть. И он к тому же потерял сестру. Почему не синяя блуза, которая сосала нугу и аплодировала? Почему?.. Почему, и это самое непонятное, почему не ты, Луиджи?

Должен сказать, что вопрос мой прежде всего удивил самого Луиджи. Он втянул голову и приподнял руки, как будто

его обыскивали. Видимо, он никогда об этом не думал. Ответил он мне не сразу. Несколько раз подымалась бутылка с ромом, Летали на пол окурки. Дрожал туманный свет. Бар пустел, чахоточный герой готовился к выходу, и глицериновые слезы уже блестели на ресницах совращенной сестры. А я все еще ждал разгадки. Я ждал, что Луиджи ударит меня или заплачет. Но зной, но дым, но сон, густой и клейкий как нуга сон, родили иное. Ответ был неожидан и невыносим. Мы менялись ролями. В пустом баре с меня сдирали не только пиджак, но и кожу. При проверке под розоватой оболочкой ничего не оказалось, кроме лирической пустоты и проглоченного грога.

Почему не он? Да потому, что он живет. Он любит Италию и пестрые галстуки. У него Паули. Я не знаю, что такое Паули. Это — как опухоль. И это — как весна. А меня вовсе нет. Я подбираю отсутствующие окурки и гоняю поэтических баранов. Если я сейчас исчезну, никто этого не заметит. Я выйду, как табачный дым. Я никого не люблю. Я сам ему в этом признался. Значит, я смогу в последний раз съесть телячью голову и деликатно умереть. А он? Он — управляющий баром на улице Шатоден. В субботу он отправляется за город..

Здесь я прервал Луиджи:

— Да, да, я знаю, — там музыкальные щеглы и хозяйка управляет луну.

Но он меня не слушал.

— Пике хитер. У него недаром сеть универсальных магазинов и списки намеченных жертв. Он обезоруживает лаской. Так расписывают небо перистыми облаками, а женские лица любовью. Ты знаешь, зачем выдумана суббота? Чтобы был понедельник. Я, милый мой, почти что женат. Если ты не видишь сквозь жилет сердца, я покажу тебе фотографическую карточку и счет из красильни. Я могу сегодня пойти к ней, сейчас, я..

Он долго кричал, стараясь доказать мне подлинность своего существования. Я не пытался спорить — водевильный характер происходящего скорее веселил меня. Итак, фантаст решительно отказывается от дрожания под фонарями. Что же, тогда я попробую заняться этим утомительным ремеслом. Другого выхода нет. Глупо было бы вернуться к жене, у которой нежная душа и светло-розовая пижама, в этом новом облике — без сердца, без записной книжки, без ревности, с погашенной как марка верой и с заряженным чужими руками револьвером. А книги?

Книги пишут, обладая месячным бюджетом, письменным столом и дисциплинированной фантазией.

Мы, разумеется, опоздали. Судьба несчастной сестры осталась невыясненной. Зато брат видел сон, и во сне торжествовала справедливость. Красный шелк рубашки был встречен аплодисментами. Отравленный газами больше не кашлял. Он великодушно простил Пике. Хотя это было сном, Луиджи крикнул: «Дай мне его, я с ним расправлюсь!» Соседи одобрительно замычали. Сон охватывал жирную горячую темноту зрительного зала. Слышен был ангелический шелест афиш. Но потом актер проснулся. Господин Пике снова хихикал. Тогда, вопреки всем расчетам Луиджи, отравленный газами пронзил себя ножом, да, да, не господина Пике, — себя. Я не мог этого вынести. Я отвернулся. Мое якобы несуществующее сердце учащенно билось, и красная краска, употребляемая честным режиссером этого окраинного театра, могла легко замарать и мою рубашку. С удовлетворением я заметил, что сидящая рядом молоденькая девушка, модистка или белошвейка, сострадательно сморкается. Вежливо и в то же время взволнованно я сказал ей:

— Спасибо, сударыня, спасибо.

Какое же было мое удивление, когда все они выбежали на авансцену, все, и господин Пике, и брат, и сестра, и даже красная рубаха, чтобы исполнить совместно сентиментальные и скабрзные куплеты о любви в Фонтене-о-Роз. О, конечно, туда ходят трамваи! Пойте же, пойте, вас купят как щеглов и вам дадут конопляное семя! Да здравствуют чистое искусство и святая любовь!

Спрятав в сумочку мокрый платок, моя соседка не стала дожидаться субботы и луны — она прилежно целовалась с клетчатой кепкой. Луиджи бодро насвистывал. Его недавние слова, очевидно, являлись не только философским аргументом — он и вправду намеревался свернуть на бульвар Гарибальди.

Сегодня — вторник, четверг — послезавтра. Мне подарены два дня и новый титул «фантаста». За что? Скажите, за что? Я не отравлен газами, но я много страдал. Я узнал сполна человеческую злобу, а кто скажет, что злоба легче синильной кислоты? Если я даже призрак, это вы виноваты, вы все. Вы украли у меня будничное провинциальное счастье и нормальную теплоту в 37 градусов по Цельсию. Не пробуйте отнекиваться — кто же, кроме вас, мог расхитить по мелочам надежды, губы, слезы и пальцы? Ведь я жил. Я любил жену, лохма-

тых собак и стихи. Вы мне ничего не оставили, кроме семи су на трамвай и горя.

Я негодовал. Я ненавидел запрудившую выход толпу, фонари и Луиджи. Сильнее всего я ненавидел Луиджи. Не за то, что он идет к Паули. Я хорошо помнил рыженький таз. Нет, за то, что ему не захочется мыться, что он будет в лад щеглам целоваться и в лад всему миру дышать. Я ненавидел его за проклятую встречу у остановки автобусов, за мену, в которой я прогадал. Он вышел живьем. А я... Чтобы как-нибудь отомстить ему, я сказал, прощаясь:

— Кстати, а ты убежден, что Паули существует?

Как видите, это была абстрактная месть. Но не так понял меня Луиджи. Его губы задрожали. Задрожала и тень на асфальте.

— Ты, может быть, солгал мне? Ее вчера ночью не было дома. Я искал ее повсюду. Я искал ее всю ночь напролет.

Удовлетворенный, я заметил:

— Нельзя искать тень. Тогда предлагают подтяжки и жи-рафы поют под мостом.

Но он добивался иного ответа.

— Может быть, она была с тобой? Тогда к черту Пике! Я убью тебя здесь же, на месте.

— Будь рассудительным, Луиджи. Час тому назад ты уверял меня, что я не существую. Как же я мог похитить Паули?

Это ему понравилось. Он благодушно и пренебрежительно рассмеялся.

— Ты прав. Хоть у Паули бывают причуды, но она никогда не сможет увлечься клоуном. Ты мог бы зарабатывать в цирке большие деньги. Впрочем, теперь не стоит. До четверга осталось недолго. Но Паули... У кого же могла быть Паули? Она говорит, что у подружки, но я ей не верю. Днем я ей верил, а сейчас не верю. Слушай, скажи твоему русскому, чтобы он мне не попадался на глаза. У него отвратительный нос. А когда я сказал об этом Паули, Паули рассердилась. Если я увижу его, кто знает... Ведь нажать эту штуку очень просто.

И хотя я думал иначе, я не стал спорить. Я остался один, и я не знал, куда мне идти. Вдруг в толпе я заметил еще блестящие глаза моей соседки, которая, как и я, не могла вынести торжества господина Пике. Я забыл финальный смех и поцелуи. Я помнил только мокрый платочек. Здесь я найду толику сочувствия, несколько банальных и трогательных слов, может

быть, слезы. Они дадут мне силы прожить до четверга. Приподняв церемонно шляпу, я подошел к ней.

— Еще раз спасибо вам за то, что вы плакали. Вы, может быть, не знаете, чего стоят ваши слезы. Они важнее всех переверотов и всех обид.

Тогда вынырнула клетчатая кепка!

— Прошу вас, сударь, не приставать к чужой даме,

Девушка вступилась за меня!

— Не волнуйся, Южень, это, вероятно, один из актеров, который благодарит в моем лице публику. Вы, право, хорошо играли. Я плакала, как овца. А потом вы очень весело пели. Я так смеялась, я так смеялась... Вы на редкость веселый актер,

Я еще раз снял шляпу и поспешил согласиться.

16

Лето 1925 года

Вне этого сейчас тихо и темно. Можно легко представить себе, как молча вырывает пшеница и молча же умирают люди, среди звезд и пилюль. Борясь с норд-вестом, пузатые суда несут очередной груз зерна и тоски. Лозы на полях Шампани, вдоволь унавоженных подвигами и испражнениями, наливаются бешенством, и золотая злоба уже стреляет пробками. Ананасовыми консервами и мускусом негров пахнет тропическая гниль двух дюжин республик. Глухи и темны штреки рурских шахт, где полуголые забойщики отбивают у скаредной земли чужое черное счастье.

Да, разумеется, мир велик! О породах деревьев, а их тысячи, хорошо знают ботаники. Что касается человеческого горя, то это тема для романов. Беллетристы исправно выменивают его на бессонницу и на славу.

Где я был? Через что прошел? Слабеют мышцы. Далеки воспоминания. И никому нет дела до меня! ни друзьям, ни полицейским, ни статистике. Я один.

Дуговые лампы падают, подымаются. Красная шрапнель кружится над кепкой. Караулят прожекторы, и один луч, невыносимо пронзительный, несется прямо на меня, касается, слепит, уничтожает. Я вспоминаю рыжую глину траншей.

Я зову санитар — уберите меня! Разве вы не видите, что я уже выбыл из строя? Меня следует спешно эвакуировать в ночь. Но мнимый санитар язвительно улыбается. Он думает иначе. Он думает, что мне необходимо поглядеть оперетту «Только не в губы». Другой уверяет, что я создан для «Дохлой крысы», для ее первоклассного джаз-банды и умеренных цен. Световое наступление продолжается. Огненный шторм взрывает площадь Пигалль. Он срывает шляпы и добродетель. Я задыхаюсь от бензина и от косметической смерти. Проворовавшиеся кассиры и дочери почтенных, но бедных профессоров кротко открывают газовые краны. Счета стыдливо сгибаются, чтобы не было видно цифр. Они оплачиваются статьями кодекса и стрихнином.

Как в подвалах государственного банка — золото, здесь собран свет, весь свет темной Европы, украденные лампы разорившихся адвокатов, лучины трансильванских пастухов, чадные факелы шахтеров, глаза обманутых девушек, поэтическое вдохновение, антрацит Силезии. Там, в темноте окрестных улиц, начинается черновой быт с вызреванием пшеницы и с прожиточным минимумом.

Как глупая Паули, я лечу на эти огни. Жалка среди трагического фейерверка моя сутулая спина и петитная биография. Поглядите со стороны — окруженная светом тень мечется как пойманная крыса. Она похожа также на летучую мышь. Но это человек. Он принес сюда страдание, излишнее, как зубная боль и чужой револьвер. В баре «Сплендид» уже ждет его известный вам меланхолик. Он думает об унынии Месопотамии и пьет воду «Виши». Сейчас эти тени встретятся. Черная вещица разобьет электрическую лампу и сердце, хрупкое, как стеклянная банка, в которой плавала золотая рыбка. Тогда нахлынут репортеры. Потом паркет посыплют опилками. Новые посетители закажут шампанское. Поглядите со стороны — до чего неизбежны жесты и до чего случайна жизнь!

Собравшись с силами, я стойко взмолился на это баснословное аутодафе. Господина Пике еще не было. Ни публика, ни официанты не подозревали, чем страшна эта ночь. Меня принимали за кутящего счетовода, и в поданный мне коктейль явно входило презрение. Напитки изготовлял китаец с фиолетовыми веками и с девическими руками профессионального палача. Я думаю, что он знал нирвану и умел хорошо сажать людей на кол. Он тщательно отмерял настойки всех цветов радуги, дары апостольских монастырей и горной флоры. Зелень мяты

враждовала с золотом святого Бенедикта. Зелья взбивались, подогревались, замораживались. Они готовили танцы и преступления. Китаец глядел на бокалы и на потолок. К человеческим судьбам он был безучастен.

Стоит ли говорить о публике? Разумеется, аргентинский сутенер, смуглый и влажный, как фармацевтическая пьявка, высасывал из разбогатевшей привратницы материнскую нежность и чек на предъявителя. Разумеется, чикагский скотовод осторожно проверял товар, закупаая очередную партию античных форм и классического жара — мадемуазель Фифи или мадемуазель Бабетт, с бюстом из Луврского музея и с душой от портного Пуаре. Разумеется, присутствовал и русский «князь», его широчайшие жесты измерялись десятинами бывших вотчин, а стекло он бил трагически и в кредит. Имелись и молокосос студентик, стянувший у маман горделивый поцелуй, а у напа предохранительные средства, и кастильские шулера, поэты-педасты, частные сыщики, профессиональные танцоры, — словом, тщательный подбор призраков в манишках и в лифах, готовых принять из девических рук китайца десятифранковую смерть. Напрасно их разыскивать в адресных столах или в глубинах сердца. Днем они вовсе отсутствуют. Они прячутся, как клопы, в щелях разносортных отелей или же в томиках космополитических романов. Зарево площади Пигалль, чьи отсветы лижут мир, вплоть до взбитых белков Лапландии и до пены Атлантики, притягивает сюда эту утомительную мошкарю. Дивен свет, и мажорно гремят барабаны, но воскресни Тютчев; он снял бы очки, вытер бы помутневшие стеклышки и воскликнул бы: «Вот он, божий гнев, прекрасная малярия, озноб живой лазури и самоубийств».

А впрочем, довольно эстетики, литературных справок и этнографических описаний. О публике, право же, не стоит говорить. Необходимо упомянуть лишь об одной парочке, затененной коленкоровыми пальмами и тягостными событиями предшествующих глав. Не только зеркала — совесть следила за мной. В укромном углу губастый фантаст и его трепещущая подруга втягивали сквозь соломинки коктейли. Как и я, они ждали развязки. Дрожание губ продолжалось. Оно избавляло меня от последних раздумий. Все было ясно, как в этом чересчур освещенном баре. Сейчас придет господин Пике. Я не должен убивать его. Я его убью. Слюнявый идиот унаследует сеть универсальных магазинов и меланхолию. Юр опустит в роко-

вую копилку пять ассигнаций. Мой повелитель повезет Паули к щеглам и к луне. А мне церемонно отрежут голову, оплакав ее предварительно с помощью парикмахерского пульверизатора. Наверху, над асфальтом площади Конкорд, над ее восклициательным обелиском, над самой Эйфелевой башней, как в старых сказках, будет летать крохотная Эдди с обязательной слюнявкой и с ангелической тоской. О чем же мне было думать? Я взял стакан, полный желтой мудрости, и жадно выпил.

Господин Пике сильно запаздывал. Может быть, он завел новую рыбку? Или осложнения в Марокко потребовали серьезной консультации? Стаканы повторялись. Китайские пытки сказывались хотя бы в трагическом ритме танцующих. Здесь больше не было ни чеков, ни десятин, ни профилактики. Без труда опознал я на лице кассирши, с зловецим звоном отпущавшей счета, водянистую улыбку по гимназии знакомого Харона. Тени вспоминали прошлую жизнь и в такт содрогались. Здесь была отдача детских игр — лапты или пятнашек, первой влюбленности, самодовольного галопя, парадов, курьерских поездов, повседневной трусцы, выпивок, болезней, одутловатой походки уже пятого — шестого десятка, наконец агонии. При посмертной проверке все эти движения оказывались однородными. Жизнь сводилась к нескольким простейшим па. Косный мир физиологически сокращался, оплакиваемый чахоточными музыкантами, ублюдками литовского или галицийского гетто, из тех, что перепродают ломбардные квитанции и за ночь выдумывают бога. В характере музыки не приходилось сомневаться: фокстрот оплакивал землю, не традиционную горсть, кидаемую на похоронах, даже не Монмартр или Калифорнию, но звезду, вероятно, третьей величины, одинокую до слез, до страха, которая описывает свои арестантские круги.

Мы во многое верили, верили долго и крепко, хотя бы в бога пастухов и инквизиторов, который сделал из воды вино, а из крови воду, в прогресс, в искусство, в любые очки, в любую пробирку, в любой камешек музея. Мы верили в социальную справедливость и в символические цветы. Мы умилялись то перед эстетикой небоскребов, то перед открытием новой сыворотки. Мы верили, что все идет к лучшему. Мы до хрипоты спорили, постановляли, читали стихи, сравнивали различные конституции. У нас были тогда стоячие воротнички и стойкие души. А потом?.. А потом мы лежали в жиже окопов и вместо масляных масок примеряли противогазы, Мы кололи штыками,

добывали пшено, дрожали от сыпняка или от испанки, строили новый мир и по мелочам спекулировали. Мы узнали, что война пахнет калом и газетной краской, а мир йодоформом и тюрьмой. Тогда — простите нас, мы только слабые люди, несчастное поколение, случайно затесавшееся среди исторических дат, — тогда мы вовсе перестали верить. Мы начали дуть в саксофоны, водить плечами и медной мелочью остающихся лет оплачивать дикие иллюминации. О, это не танец, и только шепотом можно говорить о всемирной тоске вульгарнейшего фокстрота, среди падающих министерств, бродячих вдов и дуговых ламп!

Не двигаясь с места, я выполнял все предписанные фигуры. Я как бы прижимал к себе Паули, повторяя при этом незамысловатую формулу провинциального фотографа. Я видел, как Юр и Диди бьются в падучей, ногами отшвыривая пробки, ренту и убеждения. Господин Пике уныло агонизировал. Дым и неизвестность мешали мне разглядеть, кто его партнерша: нефть или рыбка?

Я ждал господина Пике. Вместо него пришел Юр. Он был давно переведен мною из спасителей в разряд мелких свидетелей. Поэтому, увидав развенчанный нос, я только рассеянно зевнул.

— Пике еще не пришел. Но он обязательно придет. Он придет с Диди. Тогда я здесь же все закончу. Вы получите пять тысяч и глаза птицы. Если вас спросят, как очевидца, молчите. Помните Харьков и морозный цирк? Я не хочу, чтобы глаза, плакавшие над Жанной, снова увлажнились. Романы с продолжением — прескучная вещь.

Юр резко прервал меня:

— Бросьте! Я сам не понимаю, что со мной было. Климат? Или то самое? Все равно. Теперь это прошло. Мне не нужны деньги. Я потерял четыре дня. Меня следует за это подвергнуть взысканию. Но я счастлив — ведь я мог потерять всю жизнь.

— Юр, что вы говорите?.. Вы не смеете быть счастливым! Вы разорвали синюю тетрадку, и вы шли в морг. Я не позволю вам разыгрывать живого человека. Вышейте лучше коктейль. Ведь сейчас появится ночная птица. Она будет петь о старом мэре.

— Я знаю, что она придет. Я хочу с ней проститься.

Я рассмеялся — можно ли проститься с собственным вымыслом? Как будто Диди — это женщина, которой шлют открытки и машут платочком. Диди пахнет химическими фиалками. Она

живет здесь — я показал на левый карман жилета. Далек и от поэзии и от анатомии, я все же знал, что именно здесь квартируют мои невыносимые друзья: губастый фантаст и председатель «Лиги».

— Здесь...

Юр вынул небольшой кусочек картона. Я увидел нечто бесконечно нелепое — железнодорожный билет до Москвы. Здесь начинался бред. Милый товарищ, ведь мы уже вручили монету нашей молодости этому тощему перевозчику. Представьте себе — тщательно замороженный труп встает, зачесывает гладко волосы, поправляет галстук и тихо выходит из морга. Сторож, ничего не подозревая, крепко спит. В кармане у замороженного бумажник с документами, с деньгами, с билетом. Судя по паспорту, «особых примет не имеется», ведь посмертное состояние и приобретенная в холодильнике гусиная кожа вряд ли являются таковыми. Труп в коридоре вагона закуривает папиросу, смотрит в окно на коров и на водокачки, любопытствует: «А сколько здесь стоит поезд? а сколько здесь?..» Молча предъявляет он таможенному чиновнику две смены белья и эмалированный чайник. Он, кажется, радуется родным обычаям. Он пьет чай, горячий чай. Вы не умилены? — он делает все, чтобы сойти за живого. Оттаявшее мясо таит, однако, коварные замыслы. Молодая попутчица неожиданно отворачивается и нюхает одеколон. Купе постепенно пустеет. Кондуктор отчаянно дрожит и выпрыгивает в окошко. За ним — пассажиры, прямо на коров и на водокачку. Теперь поезд пуст. Только в одном купе зеленватая тень с погасшей папироской несется неведомо куда, среди ночи и зноя, косая, одинокая, как сумасшедший диктатор. Пожалейте ее! Поверните скорее тормоз! Похороните ее под водокачкой, чтобы коровы жевали память и клевер!

— Вы хотите ехать в Москву? Но как вы встретитесь с товарищем Таней? Она ведь сознательная и не верит в привидения. Она, чего доброго, позовет милицию.

— Я еду завтра. Это — через Себеж и через так называемую «любовь». Это отсюда три дня и вся жизнь. Там нет химических фиалок. Там Зубовский бульвар пахнет антоновкой и частушками. Я забуду слова: «Диди», «коктейль», «морг». Я услышу «братву» и «рабкоров».

— Юр, вы видите, как Паули смотрит на вас? Они караулят. Юр, мне жалко вас. Я хотел достать вам пять тысяч.

Я готов сделать все, чтобы вы услышали запах антоновских яблок. Но четыре глаза под коленкоровой пальмой не выпустят вас отсюда.

Юр ласково похлопал меня по плечу:

— Ерунда! Вы здесь совсем развинтились. Я вас теперь понимаю, — если бегать по этим улицам, можно и вправду сойти с ума, хотя бы от рекламы и от раскрашенного воска. Оставьте Пике. Его нет. Вы его сочинили. Вы его выдумали, как книгу. Поедем в Москву. Я вам покажу подсолнечники и стенные газеты. Там вы быстро вылечитесь. Вот тогда-то вы напишете настоящий роман: о том, как шумит орешник, о том, как смеется Тania, о том, как хороша жизнь взаправду, молодая, глупая, честная жизнь.

— Юр, они смотрят на вас! Вы никуда не уедете. Когда я выглянул в окошко отеля, вы шли прямо в морг. Почему вы так поблбднели? Не следует ждать Диди. Это злой персонаж кабацкой трагедии. Вы не верите мне? Вы улыбаетесь? Что ж, если вы можете, бегите, бегите на вокзал! Только скорее!..

Он не послушался меня. Впрочем, он и не мог уйти. Пока я метался в тревоге, мотылек расправил крылья своего невыносимого шарфа и, описав несколько судорожных дуг, повис над Юром. Что заставило Паули пренебречь недобрым колыханьем ревнивого фантаста — нежность, месть или безнадежность? Ее приход был непонятен и страшен. Юр привстал. Я же преглуно протянул ей стакан с коктейлем: «скол». Женщина, однако, молчала. Танцы окрест продолжались. Это была инерция давних, доисторических чувств. Ничто уже не могло остановить жалобы саксофона и механическую тряску плеч. Я попробовал заговорить:

— Паули, не нужно звать полицию! Зачем тебе Юр? У тебя ведь щелгы в беседке. Опомнись, Паули! Тогда в кафе ты плакала от ласки и от хлеба. Пожалей Юра! Он разорвал синюю тетрадку. А у тебя Эдди. Ты слышишь — у тебя Эдди!..

Паули молчала, все так же напряженно и необъяснимо глядя на Юра. Тогда раздался голос, столь трогательный в своей человечности, что я не сразу понял, откуда он исходил. Среди автомобильных фанфар и граммофонных вмешательств я ведь успел отвыкнуть от теплых звуков живых существ. Это говорил Юр. Никогда прежде он не говорил так. Куда девались и самоуверенность цирка «Муссур», и суетливое зайканье Парижа? Он говорил столь голо, столь бесхитростно,

что от восторга и от стыда я закрыл глаза — можно ли было вынести, среди качающихся манекенов и китайского формуляра, простоту этого вихрастого мальчика, который через ночь и миры неуклюже искал загорелую руку какой-то Тани, перепачканную лесной малиной или чернильным карандашом конспектов?

— Простите меня. Я тогда еще не знал, что это такое. Я тогда ничего не знал... А теперь мне стыдно и больно. Милая Паули, когда завтра...

Я не расслышал конца этой фразы — ряд внезапных событий скрыл от меня, что именно будет завтра и будет ли оно. Мой стакан упал на пол и жалко по-бараньему заблеял. Грум почтительно изогнулся, причем его белые зубы на черноте лица и ночи обозначились как плоски приветственной иллюминации. Смокинг господина Пике, скрывавший Марокко и минеральную воду, казался траурным. Диди держала куклу, несчастную куклу, облитую слюной и слезами сентиментального идиота. Да, я не ошибся, определив ее назначение, — в неестественной широте зрачков; в духоте запахов, в блаженном облике куклы, закрывавшей и открывавшей фарфоровые диски, была развязка балаганных пантомим этого сумасшедшего лета.

Послушливо рука моя отправилась в брючный карман. Я могу сказать, что в баре «Сплендид» меня больше не было. Известные нервные центры распоряжались дряблыми мускулами. А господин Пике уныло смотрел в зеркала, полные романтического света и страдающих манишек. Мою руку задержала рука Луиджи:

— Дай мне! Я сам...

Выстрел сначала показался нотой фокстрота. Еще в течение нескольких секунд ноги танцующих продолжали сокращаться. Господин Пике стоял как и прежде, безразлично ныряя в зеркальную глубину. Его грудные запонки блестели как слезы. Юр закачался, сделал несколько шагов в сторону двери, нет, в сторону антоновских яблоч и бедной Тани, а потом грузно упал на ковер. Из приоткрытого детски рта сочилась кровь. Тогда зрачки Диди еще сильнее раскрылись. Она могла запеть сейчас свои бесстыдные куплеты о старом маре, могла и показать обезумевшим танцорам средневековую косу, которая, наверное, хоронилась под скрипучим шелком пелерины.

Я смутно помню, как Юр сказал «напишите», как синие кепи увели куда-то фантаста, который кричал: «Уберите труп

в морг! Я не хочу, чтобы Паули его целовала!..», как среди диванов и бутылок содовой бился сожженный, наконец-то, мотылек.

Музыкальный ублюдок снова задул в трубу. Иллюзорная жизнь возобновилась. Я хотел отклонить ее, но беспощадный грум вывел меня на непогасающий костер площади Пигалль. Тогда я кинулся к пылавшей витрине. За стеклом наивный человек жил и улыбался. Его не трогали ни мой плач, ни угрозы. В ярости я разбил стекло. Я схватил его за шею, но голова легко отделилась от туловища, и голова продолжала гадко улыбаться. А человек стоял как ни в чем не бывало. На его груди горели бриллиантовые слезы, под ними значило: «Новинка. Лето 1925 года».

В комиссариате, куда меня привели, я старался сохранять спокойствие. Я только сухо заявил дежурному:

— Занесите в протокол, что вы — предатель. Вы предатель, как и он. Я не могу жить с восковыми подбородками и с пиджаками. Здесь был один живой человек, и вы его убили. Да, да, я видел кровь. А вы? Вы даже не полицейский. Вы — лето двадцать пятого года.

17

Выздоровление

Выходку пьяного буяна никто не подумал связать с традиционным убийством «на почве ревности». В переполненных до отказа вагонах метрополитена, склеенные потом и утренней невращением, служащие «Лионского кредита» могли любоваться портретами моего фантаста. Его губы были размножены ротационными машинами газет «Матэн» и «Журнал». Они дрожали во всех ресторанах и на всех базарах. До половины двенадцатого Луиджи был королем этого душевного города, наравне с креолкой Жозефиной Бэкер и с уличными мороженщиками. Его осуждали бородастые консьержки, брезгливо крича холостым шалопаям и лучам солнца: «Следует вытирать ноги». Загипнотизированные щелканьем клавиш и мистикой букв, малокровные машинистки в него влюблялись. Его обстоятельно допрашивал важный следователь с камнями в печени и с белоснежной совестью. В половине двенадцатого из Сены извлекли

дорожную корзину с мелко изрубленным трупом старухи и гнилыми яблоками, и Луиджи был отдан забвению.

Я не удостоился даже мимолетного внимания. Мои жалобы на противозаконные подделки живых существ были отнесены за счет спирта. Кулаки полицейских наивно попробовали доказать мне реальность мира. В общей мере я давил клопов и подытоживал жизнь, среди прыщеватых сутенеров и неудачных мечтателей, которые продают порнографические фотографии или примеривают чужие канотье. Я не справился ни с насекомыми, ни с жизнью: меня вывели на улицу. Отвыкший от солнечного света, я зажмурил глаза, натолкнулся на фонарь и сказал ему, со всей вежливостью проученного скандалиста: «Простите».

Потом я быстро затрусил по чересчур светлым улицам. Мне казалось, что за мною гонятся восковые снобы с площади Пигалль. Город, может быть, в душе и разделял мою тревогу, но прикидывался вполне здоровым. Люди ели зеленую фасоль и любили Мери Пикфорд. На мелкие перебои никто не обращал внимания. Кто же мог взволноваться, узнав, что в магазине «Самаритен» дамы, спешно закупавшие остатки модной материи «каша», случайно раздавили незаконнорожденного ангела, или что на фабрике точных инструментов Кросса рабочий Дюбуа внезапно ослеп и воскликнул «занавес!». Меня не искали. Я затерялся в жизни, как эти мелкие трагедии в сорока столбцах газет.

Что мне было делать? Вот я свободен — черная вещица заключена в шкаф следователя, и календарь уже предсказывает близкий конец лета. Счесть все происшедшее за гадкий сон и, отправившись на Монпарнас, заявить старым собутыльникам: «Ну, как дела? Работаете? А я, видите ли, собирал материал для новой книги»? Честность удерживала меня. Чем отличается Монпарнас от разбитой мною витрины? Не тем ли, что известные усовершенствования позволяют вдохновенным пиджакам краской покрывать холсты или исписывать листы блокнота? Я не хотел предать одной условности ради другой. Потом я так сжился с моими темными приятелями. Нельзя, однако, довольствоваться воспоминаниями. Требовались какие-то поступки, а я беседовал с фонарями и тосковал в уличных писсуарах. Я не знал, на что мне решиться. Кто-то кого-то убил. Правда, я должен был убить господина Пике, а вместо этого ревнивый Луиджи убил Юра. Но больше я не засуну в карман ту вещицу. Меня предали как тень на экране, когда вспыхивают люстры

и зрители затирают выход. Я не имею права ни на третье измерение, ни на человеческую боль.

Пожаловаться мне было некому. Я хорошо знал, как боятся прохожие внезапно останавливающихся глаз. Стоит мне подойти к ним, как они начнут пугливо ощупывать бумажник и сердце, дрожать, звать глазами ангелов в синих кефи. Самое большее, на что я могу решиться, это — спросить «который час?» или сигаретой припасть к какому-нибудь окурку, дрожащему на отвисшей от недоумения губе. Если же спросить: «Отчего вы убили Юра?» или «Кто выдумал господина Пике?», они покажут метрическое свидетельство, обстоятельное и фальшивое, как газетная статья, и снова бросят меня в нумерованную темноту, где клопы и итоги.

В городе с его четырьмя миллионами восьмьюстами тысячами жителей я не мог отыскать собеседника. Моими адвокатами были только фонари. Больше всего я боялся обиходной мудрости и проекционных аппаратов. Ведь множество дверей раскрыто настежь. В церкви Трините, среди воска и вздохов, нежный скопец объяснял, за кого следует голосовать на муниципальных выборах. В Сорбонне популярно излагали новую теорию эмбрионов. На митингах одни были за инфляцию, другие решительно против. Сострадательные американцы обучали неимущих фокстроту. Небо ежевечерне клялось, что единственное спасение в бесконечности миров, а афиши в уличной уборной обожествляли некоего доктора с бульвара Севастополь, который исцеляет все недуги. Я не поддавался. Грубая фальсификация даже смешила меня. Остановившись возле редакции «Эко де Пари», я стал читать наклеенную на щиты газету. В Сюрени убит в связи с забастовкой молодой слесарь Пьер Дюран. Преступники не обнаружены. Неужели? А рыбка?.. Скажите мне, она еще плавает, золотая рыбка несчастного меланхолика? Пьер Дюран, у вас были белые зубы, кисет для табака и убеждения. Вы умерли потому, что господин Пике затравлен скукой и тенями на стенах кабинета. Или вас тоже не было, Пьер Дюран? Может быть, вас выдумали для парламентских прений? Отзовитесь! Он молчал. Зато говорил Луиджи. Почтенный управляющий баром на улице Шатоден исполнял теперь арию из Кармен. Вместо цветка он прижимал к груди шарф Паули. Дюссельдорфские соски выдавались за лионские. Оказывается, он убил в лице Юра «врага Франции». Bravo, фантаст! Я громко смеялся. Швейцар предложил мне уйти, но

я не мог оторваться от этого назидательного чтения. В отделе «Уголок искусства» значилось: «Скульптор Загер, выставивший в «Салоне Тюльери» стеклянную рыбу, награжден орденом Почетного легиона». Я ответил наглому швейцару:

— Не прикасайтесь ко мне! Я знаю, что вы не уважаете отчаянья. Но вы обязаны уважать Почетный легион. Я награжден министром изящных искусств. Пусть убит Дюран — у него был только один кисет. Пусть слюнявый идиот любит глупую куклу. Есть, сударь, искусство! Уныние Пике, кровь Юра, парад мертвецов, будь то на берегах Соммы или в баре «Сплендид» — всю пустоту и весь звон этого мира я, если угодно — Загер, выразил в рыбе, в стеклянной рыбе, которая плавает над городом, как чудовищный дирижабль.

Эта последняя попытка сформулировать тревогу закончилась, разумеется, неудачно. Швейцар, твердо зная, что почетные ленточки не водятся на протертых пиджаках, грубыми пинками заставил меня уйти восвояси. Я испытывал сильную усталость. У меня не было ни денег, ни ночлега. Машинально побрел я в «Отель Монте-Карло», к моему голубоглазому маршалу. Надо же было куда-нибудь идти. Я ждал, что хозяйка повторит жест швейцара, и немало удивился ее приветливой улыбке:

— Ах, это вы?.. Я уж тревожилась, не захворали ли вы. Ведь восемь дней, как вы ушли.

— Да, кажется, восемь. Болен? Вероятно, болен.

— Для вас два письма, одно денежное.

Вот почему она улыбалась! Но откуда деньги? Пожалуй, это не мне, а уважаемому скульптору Загеру. Ведь никто не знает, что я живу здесь. Издательство «Прибой». Откуда же они узнали адрес? Может быть, от Юра? «Уважаемый товарищ»... Я снова подозрительно оглядел конверт — мне ли это? «Трубка коммунара». Две тысячи франков. Спасибо, товарищи, спасибо!

Я должен был радоваться. Но я не радовался. Зачем мне деньги? Купить восковую красавицу? Пойти в бар «Сплендид»? Или чинно просуществовать несколько недель, философствуя над жарким и над звездами? Я тупо отбивался от мух и от предстоящего. Нехотя разорвал я второй конверт. Это было письмо от Паули.

Хозяйка должна была изумиться, как может больной так резво бежать, пропуская по две ступеньки винтовой лестницы. Я, кажется, пробежал мимо оскорбившего меня швейцара. Что же, и он мог подумать: вот так философ, вот так уныние! Ведь

я размахивал руками и смеялся. Я успел похлопать по спине лохматого пса, который меланхолично ловил звезды. Я успел даже понюхать пучок левкоев на тележке усатой и презлющей торговки, причем я так улыбнулся, что, несмотря на усы и на дороговизну жизни, она ласково пробасила:

— Что же, нюхайте.

Я улыбался решительно всем: гордым шоферам, вывескам, столь часто мучившим меня, даже огням, даже знойной ночи. Ведь в письме Паули были только два слова: «Возьми Эдди».

Я плохо помню деловую сторону встречи. Радость заслонила все, вплоть до красной струйки и приоткрытого наивно рта. Видите ли, Паули говорила о спасении Луиджи. Этот ревнивый шарлатан успел уже превратиться в страдающего героя. Рисковать жизнью ради любви! Паули могла теперь кичиться перед всеми машинистками мира: губастое клише газеты «Матэн» дрожит ради нее. Как она не замечала прежде, что Луиджи стоит самого Муссолини? Теперь надо (замечательное «надо» — помните — надо купить керосин или пойти в полицию), теперь надо спасти Луиджи. Адвокаты, свидетели, франки. Эдди? Эдди только мешает.

— Ты права, Паули. Отдай мне ее. Хотя бы на время. Ей будет у меня хорошо. Я теперь разбогател. Мы уедем из Парижа. Потом, когда его оправдают, я верну тебе Эдди. А если ты не захочешь, я оставлю ее у себя. У тебя, наверное, будет новая Эдди. Нет, не Эдди, а Биче или Беппо.

— Ах!..

Паули кокетливо покраснела.

Я взял Эдди на руки. Я крепко прижал ее к моему сердцу, и сердце в ответ забилося. Так я выздоровел. От радости я прыгал по большой и темной мастерской.

— Мы будем жить вместе, Эдди. Мы уедем от этих гадких кукол. Здесь сердце, как сыр под стеклянным колпаком. Здесь вместо рук перчатки. Мы уедем к траве и к собакам. Там много светляков — они как звезды и как леденцы. Я куплю тебе шоколадного негра. У собак шершавый язык от любви. Мы можем сейчас взять луну и сделать из нее мячик. Я даже думаю, что луна была мячиком, только негр закинул ее на крышу. Эдди, скажи мне, что ты хочешь?..

— Сделай из луны шоколадную собаку. Только большую. Ты сам собака. У тебя шерсть. Но ты не лаешь. Ты добрая собака.

И Эдди меня поцеловала.

Человеческое счастье, человеческое горе

Я не знаю, что сказать мне о трех неделях человеческого счастья. Легко описывать тревогу, боль или раскаяние, изъяны сердца, они тяжелы и точны, как любое выявление нашей косной природы. Но радость беспредметна. Тщетно язык, этот раб чванливого разума, ищет для нее слова. Может быть, когда-нибудь люди и достигнут невыразимого ныне совершенства. Я говорю не о машинах — о сердцах. Тогда любовь прорвет покров понятности, как прорывает бабочка труху кокона. Поэты сожгут словари, и не в зримом мире найдет художник модель. Сокровеннейшее искусство — музыка — будет выражать абсолют радости, ибо радость, как солнце или как смерть, не допускает дробления. Но далеко это время. Жалко чирикают в клетках щеглы, а никому не нужные поэты умирают в кооперативах. Я знаю одного: его стихи, его глаза — порука, что не лживы мои слова о грядущей свободе. Должны же быть шаги, хоть на несколько миль опережающие наши. Да, будь здесь, среди низких олив, среди смеха Эдди, Борис Пастернак, он смог бы рассказать вам об этих трех неделях. Но не мне, на линованных страничках тетрадки, ползкими как рептилии придаточными определять природу бессмысленных звуков и светлых прыжков. Нет, лучше не будем говорить о радости!

В одном признаюсь — слова Эдди оказались не только нежными, но и мудрыми. Я чувствовал, что действительно превращаюсь в собаку, которая, ласково ворча, вычесывая блох или от восторга катаясь на спине под крупными осенними звездами, просто, по-дворняжески кладет свою кудлатую псиную душу за бедное человеческое счастье.

От солнца и от козьего молока Эдди быстро поправилась. Ее глаза перестали недоумевать. Они радовались. Эта радость рождалась от запаха лаванды на крутых холмах, от плеска средиземноморских волн, которые, баюкая Эдди, укачивали тысячное поколение богов и коз, может быть, и от моего добродушного лая, когда я удивлялся: «Эдди, почему ты смеешься?» — и сам смеялся.

Мы жили в маленькой рыбацкой хижине. Я разводил огонь и варил макароны. Охраняли нас колючие, как проволока, кактусы и наша чуждая людям радость. Я как-то сразу постарел, но эта старость была легкой. Погасив ненужные страсти, она принесла свободу. Я узнал, как хорошо жить без тщеславных помыслов и без обязательного притворства. Прошлое, будь то писание романов или одинокое маячение по призрачным улицам Парижа, казалось мне невнятным, как чужой и плохо пересказанный сон. Я научился штопать белье Эдди и курить трубку, ни о чем не думая. Это не было отупением. Нет, бездумье горело, как полдень на взморье, когда дрожит воздух, молчит вода, молчат цикады, а туго натянутая струна человеческого сердца звенит от избытка жизни да еще от близости смерти.

Много ли нужно для человеческого счастья? Солнце, четыре или пять квадратных метров, макароны, любовь. Однако нам завидовали. Улыбки не сходят даром. Они прощаются только богатым туристам и посетителям кинематографов. Нелепая радость какого-то чудака с трубкой и с девочкой раздражала соседей. Они не понимали, почему я улыбаюсь, и это оскорбляло их. Вначале они еще пробовали меня допрашивать. Я был слишком счастлив, чтобы обижаться. Я вежливо кланялся встречным крестьянам и заранее благодарил их. За что? За солнце, за цикад, за жизнь. Я не понимал, что эти любезные приветствия — только ловкие приемы лазутчиков. Так было установлено, что я — русский, что Эдди — не моя дочь, что родилась она в Берлине, что я беден и никогда не хожу в церковь. Это оказалось достаточным, чтобы породить подлинную ненависть. Человек не умеет обрабатывать землю и у него нет ренты, следовательно, это либо уволенный чиновник, либо попросту вор. Кто знает, какие слухи ходили по деревне, не стыдясь ни мечтательных глаз бродячих кошек, ни звездной геральдики мимоз.

Давно, когда я еще жил в Париже и встречался с писателями, как-то пришлось мне обедать вместе с Мак-Орланом. Мы вели профессионально-угрюмый разговор, — вероятно, жаловались на тупость критиков или на алчность издателей. Перечислив такое-то количество обид, мы замолкли. Кругом задорно бренчали стаканы, и содержанки лавочников благоухали, как садовые клумбы. Тогда невыносимое уныние смежило глаза

Мак-Орлана, слабые глаза, замученные резким светом и газетной ясностью.

— Знаете ли вы, Эренбург, что станет с нашей землей, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет? Я не говорю о кроликах. Кролики, наверное, начнут кусаться. Но даже эта репа делается хищной. Морковь и та будет пытаться выскочить из грядок, чтобы ущемить человеческие икры.

В нашем раю, среди лаванды и коз, оказались люди, те, что голосуют на выборах и зарывают в огород пачки облюбованных ассигнаций. Морковь кусалась. Оглушенный выпавшим на мою долю счастьем, я долго не замечал растущей неприязни. Двери нашего домика покрывались гадкими надписями. Булочница отказалась отпускать мне хлеб, насмешливо предлагая сдобные булочки. Мне приходилось теперь каждое утро ходить в соседний поселок. Мы выбрали как-то бездомного котенка, с мокрой от ужаса шерстью и с глазами, расширенными одиночеством. Мог ли я не узнать в его отчаянном мяукании тех сиротливых часов, когда я плакал под зеленым мостом Сены? Он нежно лакал молоко и мурлыканьем старался передать свою бесхитростную признательность. Он играл мячиком Эдди, как Эдди играла луной. Через три дня он пропал. Он вернулся ночью, отмеченный человеческой злобой. Кто-то остриг ему когти и обрубил хвост. Его шерсть была в крови, а плач как бы говорил: «Я теперь все знаю». Чем я мог его утешить? Повестью о подстреленном Юре или о восковых фигурантах площади Пигалль?

Так настала развязка. Мы шли с Эдди среди ферм и виноградников. Какой-то мальчишка бросил в нас камень. Он промахнулся. Но Эдди села на дорожную пыль и заплакала. Я спросил обидчика:

— Почему ты это сделал?

— Потому что ты убежал из сумасшедшего дома и украл девочку. Да, это все знают — ты крадешь детей.

Я понял, что его натравили на меня взрослые. Почему они нас преследуют? Я подошел к толстому фермеру, который совместно с домочадцами и с рабочими собирал виноград. Его лицо яркой окраской и зажиточным пафосом напоминало огромную тыкву сельскохозяйственной выставки. Я снял шляпу и спросил его:

— Почему вы нас преследуете?

Он не удивился, но, прежде чем ответить, аккуратно по-

ложил отрезанную гроздь в корзину, смахнул с потной шеи мух и ногой оттолкнул доверчиво тявкавшего щенка.

— Потому что вам здесь не место. Вы не турист. У вас нет земли. У вас ничего нет. Это мы должны спросить вас — почему вы сюда приехали?

Я растерялся. Наивно было представлять себе деревню Лонд департамента Вар мифологическим раем. Что мне ему ответить? Нельзя же среди этих помидоровых щек и лоснящихся от бараньего рагу глаз заговорить о роковом лабиринте парижских улиц, о бешенстве ламп или о заводных манекенах. И без того они думают, что я сумасшедший. Следует усвоить психологию этих существ, знающих только обкуривание лоз и лимузины анемичных англичанок.

— Я приехал сюда из-за Эдди. Моя девочка больна. У нее рахит. Ей предписаны солнце и море.

Тогда тыква расхохоталась. Это очень страшно, когда тыквы хохочут. Фермер смеялся так, как будто, перехитрив соседа, заколов свинью, зарыв в канаву очередную тысячу и ради праздника надев крахмальный воротничок, он полоскал после обеда рот терпкой водкой и руганью. Он смеялся до лиловых пятен, до злых слез.

— Это не ваша девочка. Мы все знаем. Если она умрет, я не буду плакать. Честное слово, я не буду плакать...

Я оглянулся — на дороге плакала перепуганная Эдди. Я бросился к ней. Я хотел защитить ее от этих беспощадных корнеплодов. Фермеру я ничего не ответил. Да он и не ждал ответа. Вдоволь насмеявшись, он принялся за прерванную работу. Нас долго провожали улюлюканье его семьи и цепкий как репейник лай науськанных собак. Эдди билась в слезах. Я взял ее на руки. Я пробовал ее успокоить.

— Мальчик злой. И собаки злые. Ты — собака, а они на тебя лают.

— Эдди, эти собаки не злые. Они лают по обязанности. Их заставляют лаять люди. Люди их заставляют даже кусаться. А у них добрые карие глаза, и они нежно пахнут псиной. Эдди, мы будем жить без людей. С собаками и с солнцем. Ты видала остров напротив нашего дома? Мы уедем туда. Мы возьмем с собой козу и котенка.

Эдди ничего не ответила. Она спала. Я сел у окна и закурил трубку. С жадностью глядел я на остров, розовый и пепельный в этот час заката. Там, наверное, зайцы, которые не

знают, что такое дробь, и невинная трава без консервных жестянок. Там мы найдем покой, далеко от лихорадки монмартрских реверберов и от злого мясистого сна обезумевших людей. Я улыбался острову, Эдди и сонливой лодке. Мы уедем туда завтра...

Мы никуда не уехали. Когда я подошел к Эдди, чтобы поправить одеяло, сухой румянец щек и пламя глаз сразу сказали мне все. Бессмысленно я хватал то стакан воды, то теплое одеяло, то деревянного барашка, любимца Эдди, как бы прося у этих вещей помощи. Напряженно старался я вспомнить мое далекое детство с его болезнями, компрессами, микстурами. Что делать? Доктор? Но в Лонде нет доктора. Последний поезд ушел час тому назад. До ближайшего города — шестнадцать километров. Жар и бред говорили, что ждать нельзя. Я побежал к Лубэ. Это был самый богатый винодел Лонда. Каждую пятницу он возил в город виноград, у него был новенький автомобиль. Я знал, что он сдает машину туристам. Лубэ показал мне бархатный жилет и два глаза, голубые, как его небо.

— Триста франков и деньги вперед.

— У меня сейчас нет трехсот франков. Только сто восемьдесят. Возьмите их. Я вам отдам остальные. Я пошлю телеграмму в Москву. Мне вышлют, обязательно вышлют. Только скорее!.. У нее сильный жар.

— Чтоб я поверил какому-то проходимцу!.. Я не повезу вас. Вы слышите, я не повезу вас, даже за все триста франков. Вы — мошенник или цыган.

Он закрыл дверь и угрюмо прикрикнул на меня за щелкой.

— Я прошу вас!.. Скорее!..

— Идите! Идите! Не попрошайничайте.

Я обошел всех крестьян. У них были лошади, тележки, седла, ослы. Они блаженно глядели на меня фарфоровыми глазами, как кукла слюнявого идиота, они качали головой, переступали с ноги на ногу и отрывивали. Одни рекламировали милосердие бога, другие просто советовали подождать до утра. Но никто не повез меня.

Тогда я пошел, вернее, побежал, окруженный невыразимой темнотой южной ночи и злорадным подмигиванием приземистых ферм. Сентябрьское небо как слезами обливалось звездами. Сострадательно скрипела теплая пыль. Может быть, кусты и запертые в конюшнях лошади жалели меня. Я щупал воздух руками и, оступаясь, падал в канавы. Я знал одно: впереди

медная дощечка «Доктор медицины», звонок, чье-то лицо и спасение.

Еще не было полночи, когда я пришел в город. Что же, я нашел медную дощечку, даже несколько дощечек. Были и лица, трубки для выслушивания, блоки для рецептов. Но спасения не было. «Завтра с первым поездом», — отвечали мне. А первый поезд отходил в девять двадцать. Глаза, прикрытые стеклышками, казались осмысленными — они ведь ставили диагноз и читали передовицы. Но час спустя я снова бежал по черной долине. Я протягивал руки вперед, но в них не было спасения. Я задыхался, я падал все чаще и чаще — силы изменяли мне. Но я все бежал, я бежал к Эдди, которая мечется в темной хижине одна с деревянным бараном. Уже не было в домах огня и спали лошади. Только пахла лаванда и билось сердце.

Эдди не узнала меня. Она металась в бреду. Ее закидывали камнями, и ей дарили пылающую крапиву. Когда она приходила в себя, страх и недоумение сводили ее лицо в жалкую улыбку общипанного ангела переводной картинки.

— Ты здесь? Ты пришел? Ты опять уйдешь?

Я хотел утешить ее. Я ложился на пол.

— Да, Эдди, я здесь. Твоя старая собака с тобой. Она больше никогда не уйдет. Погляди — она умеет служить и хлопать ушами.

Я старался, как мог, подражать движениям собаки. Я махал руками, а сердце билось и не было силы сдержать слезы.

— Собака!.. Пойди сюда, собака!..

Он приехал с первым поездом, как обещал. Он принес трубочку для выслушивания и пресловутую свежесть осеннего утра.

— Спасибо, но больше не нужно...

Тогда он снял шляпу и церемонно произнес:

— Примите, сударь, уверение в моем искреннем соболезновании.

Я заплатил ему за визит и пожал его руку в перчатке. Он ушел. Потом он вернулся — это был на редкость добросовестный врач.

— Простите меня, но вы очень странно выглядите. Разрешите мне выслушать вас. Может быть, у вас жар?

— У меня, доктор, ничего нет. Неужели вы не знаете, как должен выглядеть человек, у которого больше ничего нет? Вы слышите меня — ничего?

Эпилог

Долог и черен вечер на этом острове, долог ветер и черна судьба. Не только прожито все, все и записано. Самое страшное начинается, когда я задумываюсь — да полно, было ли это? Может быть, я только поддался тяжелым снам? «Все призрачно, все условно» — так говорят мне звезды и скрип половиц. «Призрачны восковые тени. Призрачны глаза Эдди. Призрачна и твоя боль».

Тогда я пытаюсь найти точку опоры. В сотый раз я перечитывал случайно дошедший до меня номер марсельской газеты с подробным описанием судебного разбирательства. Свидетельница госпожа Паули Шаубе показала, что убитый был большевистским шпионом. Да, да, я помню, как уныло наливался кровью подбитый глаз полицейского комиссара. Далее — адвокат, метр Валуа, в блестящей речи подчеркнул, что Юр был «врагом общества и морали». В Луиджи заговорил герой войны и добрый патриот. О, фантаст, его губы все еще дрожат на столбцах газеты! Разве могут дойти до площади Пигалль слезы курносой Тани и плебейский снег далеких равнин? Луиджи, разумеется, оправдан. Они поженятся. Я так и думал. Они снимут квартиру в три комнаты, они купят зеркальный шкаф, и никто не заподозрит их, никто не догадается, что это только вымысел, подлый и розовый, как поэтическая заря.

Нет, газета не спасет меня. Ее бумажный тенорок лишь подтверждает все неправдоподобие окружающего меня мира. Есть один залог подлинности существования, вздорный и прекрасный, — это деревянный барашек. Я ставлю его перед собой. Я ложусь на пол и вою по-собачьи. Тогда, преодолевая ночь и безверие, доходит до меня живая жизнь. Это умирает Эдди и, умирая, говорит мне: «Собака, где же ты?..»

Жалкое и слабое сердце никогда не отказывается от надежды, это не его вина — так оно сделано. Так сделаны и ваши сердца. Не осуждайте меня! Когда я говорю «отчаяние», я не лгу, но невольно ассоциация не звуков — чувств подсказывает мне другое слово — «отчалить». Тогда я вижу только море и ночь. Я и впрямь отчалил от прежней жизни. Это лето было штормом и горем. Я не вижу земли. Но, как каждый человек,

испытавший крушение и полумертвыми руками еще перебирающий весла шлюпки, я хочу ее увидеть — зеленую, чужую и бесконечно родную землю.

Сегодня я получил телеграмму от жены. Она приедет сюда, грустная и ласковая, чтобы увезти меня — в Париж или в Москву. Я боюсь, что она меня не узнает. Столько прошло с того дня, когда белела в окне вагона ее шляпа, а кругом, а во мне уже начиналось это сумасшедшее лето. Что я скажу ей? Она прочтет эти страницы, услышит ветер, увидит деревянного барашка. Она положит мне руку на лоб.

— Ты видишь — мы отчалили. Позади остались слова из букв и сердца из воска. Страшен пустой мир, населенный только идеями и одеждой. Но вот оно, спасение, вот он, почти незримый абрис далекой земли — твоя рука, малое тепло, простая любовь. С ней мы попробуем доплыть до того берега.

— Да, мы попробуем...

Август — ноябрь 1925

**В Проточном
переулке**



В нежно-абрикосовом

— Отдай Бубика!

Мальчик лет пяти ревел вовсю. Заикаясь, повторял он имя какого-то «Бубика» — котенка или, может быть, куклы. Девочка, чуть постарше, дразнила его:

— Бубубубика! Говорить не умеешь!..

— Это я нарочно. Отдай Бубика!

Из окна выглянула женщина. Лишения и пудра мешали определить ее возраст. Руки, чересчур узкие, изъеденные кухонной золой, казались прекрасными и жалкими, как побеги трактирной пальмы. Чувствовались проглоченные слезы, памятные всем даты, титул пышный и вздорный, как бенгальский огонь, льняное масло, шляпная мастерская, муж-бабник, вот этот Петька-заика, — словом, жизнь хоть и вдоволь уплотненная, но призрачная, приснившаяся. Услыхав лопотанье сына, женщина раздраженно крикнула:

— Не ври! Никакого Бубика у него не было. Это он все придумал. Не ребенок, а наказание божье! Может быть, Поленька правду говорит — мяса тебе давать не следует. Что из тебя только вырастет? Ну, откуда ты взял этого Бубика?

Мальчик перестал на минуту плакать. Он задумался. Глаза его ныряли в безличную синеву неба. Наконец он показал на сточную канаву, где ничего, кроме грязной водицы, отливавшей, как полагается, радугой, не было:

— Отсюда.

Нелепое создание! Что из тебя, вправду, вырастет? Поэт или же поганый краснобай? Наивна ложь — в Проточном переулке не может быть никакого «Бубика». Это подтвердят все ответственные съемщики. Здесь только мелкие номера домов и душонок. Я жил в том угольном доме. Я знаю, как здесь пахнет весна, и как здесь бьют людей, лениво, бескорыстно, — так вот в других переулках выбивают ковры.

Глядел я как-то из окошка на такое избиение. Бил мастеровой женщину, бил кирпичом по голове, со степенностью, не жалея ни времени, ни сердечной печали. А кругом стояли незадачливые обыватели Проточного, или, как извозчики говорят, «Протёчного». Они, видимо, ждали, кому скорее надоест это:

мастеровому, им или бабе, у которой если нет души, то все же имеется «пар», облачко на жестоком морозе. Забредший ко мне приятель, тот только позавидовал:

— Вид у вас из окна хороший...

В знаменитой «Ивановке» живет жулье, самое что ни на есть откровенное: форточники, перепродавцы краденого, из грабителей те, что потише. Рядом же, в анонимных домах, проживают анонимные людишки: торговцы со Смоленского рынка, персюки, занятые то галантереей, то поножовщиной, кое-кто из «аристократии», например, делопроизводитель «Фанертреста», гармонист и драчун, секретарь «союза ассирийцев» — он же чистильщик сапог на Свердловской площади. Все это копошится, сопит, чешется, пахнет, особенно пахнет. Переулком полнится древнейшим запахом кошачьей мочи и ангельского терпения.

Иногда заходят цыганки. Тогда из окон вывешиваются мечтательные души, и не отличить, где головы затравленных переулком сумасбродок, а где растянутые для просушки подштанники. Поют цыганки все больше о любви, и хоть нет ее здесь, в Проточном, хоть — это подозрительный «Бубик», за которого Петька получит изрядный подшлепник, все же женщины зарывают под подушки головы, выбеленные годами, а медяки падают, как пудовые слезы.

Чаще поют сами — штопая носки и беременея, поют «Кирпичики». Звучит это здесь беспросветно, как будто «по кирпичику, по кирпичику» раскладывают человеческую жизнь.

Развалившийся дом на углу Панфиловского воняет вот уж который год. Сюда ходят до ветру, беспризорные режутся в «железку», здесь прошлой весной дезертир Карнаухов упрятал труп прирезанной им свояченицы, здесь же, в глубоком погребке, мороженщики набирают летом рыжий снег. Стоит здесь только порыться судебному следователю или досужему фантазеру, как объедки этажей, напоминания о доисторических кухнях и спальнях, никуда не ведущие лестницы заселятся призраками: жена сбежала с полотером, Сергеенко стащил дрова, чего доброго — набавят на отопление, «врешь, не девятка у тебя, а туз», «батюшки, режут!..».

Порою выйдешь под утро, скользко и от накатанного детворой снега, и от сугубой тишины, ста шагов не пройдешь — начинается. Крикнет один — «сшибай», даст подножку, и все высыпают, как на цыганские страсти. Чуть оттаял снег под

проломанным носом, и снова свернется — его не проберешь, как и душу Проточного, ведь это наш добротный русский снег.

Таков переулочек, и не зря стоит в нем дом Панкратова, где помимо хозяев помещается упомянутое мною шляпное заведение. Дом этот построен отцом нынешнего Панкратова — два этажа, сени, кладовки, русские печи; сохранил он свою первоначальную окраску. Трудно понять это: чем грязнее, чем гнуснее переулочек, тем больше в нем таких нежно-абрикосовых домиков, как будто здесь цветут яблони и влюбляются девушки. А на самом деле, отодрав ставню, можно увидеть, как сам Панкратов, в честь сорокаградусной, лупит драным зонтиком хромую супругу или же мирно купает в изюмном соусе к голубцам свое волосатое рыло.

Это, конечно, по праздникам. В Проточном уважают всякие праздники — и «наши» и «ваши». В троицу «Ивановка» нежно зеленеет. Жулье умащает маслицем волосы, а потаскухи, промышленяющие внизу, на самом берегу Москвы-реки, трогательно шелестят юбками, как березки. Грохочет поп, и все, скажем прямо, благоухает. Но и советские праздники не в обиде — гармошка, вино, даже танцы, то есть безысходное топтанье на одном месте: здесь живу, здесь и сдохну.

Панкратов так же пляшет и пьет и такой же с лица. Однако это не форточник, а почтенный гражданин, владелец солидного ларька на Смоленском: колбаса, монпансье «Красный Октябрь», огурчики. Крепкое нутро, холера не берет. Конечно, был абrikосовый дом национализирован: реквизировали, обмерили площадь, — словом, всячески пытались пронять Панкратова. Стоит только вспомнить, как один ушастый еврейчик, обнаружив под периной бороду, вытащил ее на свет божий и увез сгребать снег. Панкратов все выдержал, нужно было молчать — молчал, нужно было на того же еврейчика глядеть с «неподдельным энтузиазмом» — глядел. Отдали дом. Появились, так и не обнаруженные разными ушастиками, «излишки». От этого недалеко до ларька.

Панкратов читает плакаты: «Иди в рабкооп», — и в рифму бормочет: «штоб...». Далее следует непечатное. Смеется он осторожно, про себя, в тех тайниках отечественной сметливости, где Калита сколачивал из курных изб государство, а отец Панкратова — из медных копеечек «рупь». Домашние хорошо знают, что такое «червячков разводите», и хоть далеко червонцу до имперIALA — ни звона в нем, ни благоговения, — седьмая

сотня приятно дышит, крупнеет, улыбается. Траты весьма ограничены: водка и бутылочка мадеры к празднику, новые занавески по случаю, раз в год молебен. Жена, та до сих пор перекраивает, перелицовывает, перешивает добросовестную рвань довоенного времени. На события у Панкратова взгляд философический: «Живем». Вывесить флаг ничего не стоит, а вот насчет налогов следует подумать. Конечно, «жиды — жидами», но главное — «чего господа гневить? живем»... Главное — «червячки». Чуть свет — Панкратов на ногах. Услышит, что на Благуше дешево продают ящик подмоченной карамели, сейчас же бегом на Благушу.

Жена, хоть и хромая, не отстает. Могла бы она, разумеется, сидеть дома, но нет, не такая семья. Панкратова с вечера печет пирожки, а утром продает их на Смоленском. У нее и патент есть. Червонец лишний всегда пригодится. На озорство мужа она не обижается: ведь это в праздничек, это от избытка чувств, от роста пачек под цветочным горшком. Она и сама бы не прочь «съездить» — сил не хватает. Подслащенная семейным счастьем и мадерой, Панкратова идет на кухню и шваброй дразнит кота. Кот шипит, сверкает как фейерверк в Нескучном саду. Детей бог не послал — это и к лучшему. С детьми в такие времена беда. Денег на них не напасешься, а потом — кто знает — может дитя поддаться, сбежать в комсомол, отца родного ограбить. Думая о таких ужасах, Панкратова не без благодарности гладит свой полный живот.

Сестра тоже не нахлебница. Ремесло — великое дело! Мужа теперь подыскать — ох, как трудно! Поспит, отберет наволочки да простынки — и развод: оказывается, «настроения» у него неподходящие. А баронесса аккуратно выплачивает Поле сорок рублей в месяц.

Посмотрите, как отливают щеки Панкратова багрянцем, как ширится и твердеет борода, готовая пожрать не только его лицо — весь мир; как он пышен и чуден, когда после трудного денька пробирается вниз по Проточному, с пачкой за пазухой и с селедочкой, грохоча, отсчитывая барыши, каламбура: «А теперь не мешает заморить червячка червячком». Жулье из «Ивановки», дружелюбно осклабяясь, расступается. Это идет массивный дух Проточного.

Панкратову во всем везет. Повезло и с жильцами. Это дело тонкое, политическое, вроде флагов или сборов на разных китайцев. Могли ведь уплотнить, а если дома — не дома, если и

у себя в абрикосовом следует озираться да помалкивать — какая же это жизнь? Сахаровы подвернулись вскоре после революции. Клад! Не жильцы — друзья закадычные. Поленьку пристроили. Потом, как только преткновения, Сахаров тотчас распускает хвост: здесь и удостоверение со службы, и профсоюзная книжка, и мандат 19-го года, и декреты, и «принцип сотрудничества», и даже абстрактные идеи, так что в комхозе полный конфуз: «Да вы, товарищ, не волнуйтесь, это недоразумение»... Баронессу Панкратов искренне уважает: за титул, хоть и утерянный, за манеры, за разговоры о заграницах — там, например, письма летят по трубе, — за сметку: не потерялась баба, хоть воспитана для заграниц, для «ох» и «ах», а вытянула и мужа, и себя, и дитя.

Да, можно не любить Наталью Генриховну, но уважать ее приходится. В наши дни все мельчает: и реки, и книги, и сердца. Наталья Генриховна — осколок давнего мира, где прожигались миллионы, грабили не кассы — города, в один присест пожирали целого гуся, любили, что называется, «до гробовой доски», ничем не гнушались: ослепить разлучницу, самой пойти по Владимирке или купить краденое счастье, как перекрашенного цыганом коня. Она и телом крупна, однако в меру — все как-то правильно разложено по местам, причем все это породистое, высшего качества: и щетки бровей, и большой нос с горбинкой, и высокая грудь. Узость рук заменяет уничтоженную графу паспорта: родителям Натальи Генриховны не приходилось возиться с шляпными гарнитурами.

Отец ее, барон фон Майнорт, служил при дворе, любил фехтование и ветлужских стерлядок, был вспыльчив, нежен и глуп, как апрельский денек, женился на дочери нижегородского лабазника, красавице с лукутинской табакерки, рано овдовел, а умер вовремя, то есть недели за три до Октября. Дочь Тусеньку он воспитывал по-мужски — взбалмошно, приступами, — то приставлял к ней строжайшую мисс, то тащил в Париж: «Надо же ей услышать Иветту Гильбер»... Туся слушала; слушала она и многое другое: стихи «декадентов» в «Бродячей собаке», диспуты о свободной любви, ссоры пьяных возле казенки, признания правоведов, жалобы горничной Насти — «любит, а загубил», вой балтийского ветра, который бился о чересчур высокие официальные окна помпезного особняка на Мойке. Говорят, что в то время не было больше девушек чистых и пламенных, что недаром сошли все эти «огарки» или «кошкодавы»,

что очередное поколение вошло в жизнь с червоточинной. Каким же чудом убереглась от этого жившая хоть в холе, но и в запустении дочь добродушного дурака с рапирой? Мальчишки, приготовлявшие для «флирта» свежие перчатки и стихок, списанный накануне из «Аполлона», шарахались в сторону — «курсистка», «шестидесятница» — так ее называли в сердцах, хоть она и не была вовсе на курсах, а тот же «Аполлон» читала с раскрытой душой, как читали подлинные шестидесятницы Чернышевского.

Полюбила Туся тоже «по старинке», хорошей, полнокровной любовью, без вывертов, без уверток, — «бери»; и так как жизнь ее дотоле была парадна и неуютна, вроде особняка на Мойке, любовь сразу заняла все, потребовала жертв, послушничества, душевного жара. Дело в том, что барон, увидев впервые Сахарова, сморщился, как будто ему поднесли вместо рейнвейна касторки, и бесповоротно заявил: «Лакей. Никогда!» Донельзя легкомысленный, со всеми «пятницами» на неделе, он на этот раз проявил редкостное упорство. Здесь не помогли ни слезы, ни засвидетельствованная доктором анемия, ни глухое «кинусь в Неву». Было, видимо, во внешности Сахарова нечто возмущавшее барона — жидкие усики? или чересчур расторопные глаза? Или, может быть, повадки, одновременно и трусливые и наглые, какого-то настоящего лакея, решившего шикануть в дорогом кафешантане?

Впрочем, легче понять эту брезгливость, нежели чувства Туся, доходившие до старомодного «обожания». Мелкокостный блондинчик, с лицом чрезмерно опрятным, как будто столько его мыли, что смыли все: и глаза, и улыбку, и чувствования, — больше о нем ничего не скажешь. Лакеем, разумеется, он никогда не был, а служил в Международном банке и, не обладая амбицией, знал — точка, жизнь предопределена. О том, что такая жизнь даже скромнику в тягость, знали только балалайка и дешевые проститутки, которым Сахаров за те же деньги врал вволю, говоря, будто он — то знаменитый писатель, то владелец сорока нефтяных вышек.

Теперь лишний раз разведите руками. За что женщины любят нас? Всячески объясняли это, доходили до того, что за беспомощность, за слабость, за дрянность, а правильной всего сказать просто — «приспичит — роди, да подай».

Борьба с отцом длилась долго, чуть ли не до его смерти. Конечно, Туся пренебрегла бы и отцовскими проклятиями, и

«положением», но здесь заговорил Сахаров. Хоть красота и пылкость чувств Туси всячески льстили его балалаечному сердцу, он не пренебрегал и монетой. Происхождение и облик подобной жены только отягчили бы всю мизерность существования крохотного счетовода. Услыхав «семья», «бюджет», «дети», девушка не на шутку задумалась. Ее чувства, до того дня невосомые и радостные, как цвет яблони, стали обрастать мясом. Любовь требовала разумности, и Туся перебивала теперь нежные признания сложными выкладками, хитрыми маневрами, планами: приданое, служба, квартира.

Однако Наталья Генриховна была в ту пору еще наивной девочкой, хоть и говорила, что следует «использовать связи папа». Ах, ей так хотелось гладить светлые волосы ее Ванечки, не думая ни о каком «положении»! В эти годы существует еще, хотя бы в мечтах, простая комната с куском хлеба и с букетиком фиалок. Притом насмешки раздраженного барона над Сахаровым становились все злее и злее. Так произошло решительное объяснение.

— Все равно, папа. Решай. Я выйду замуж за Ивана Игнатьевича, или я с ним убегу.

— За таких, голубушка, замуж не выходят. Если ты настолько испорчена, я его найму в лакеи. Это все, что я могу тебе предложить.

Вернувшись со службы, Сахаров напел в паршивеньком номере «меблирашек», где он проживал. Тусю с дорожным несессером. Впервые невеста предстала перед ним вне фантастического окружения денег, знакомств отца, мраморной лестницы особняка на Мойке. Однако он был молод и тщеславен. Он уступил, если угодно — отдался. Так совершился этот доподлинный мезальянс.

Прошло восемь лет. Излишне говорить о том, какие это были годы. Да, были и тогда бабьи пересуды, смена времен года, старческое покашливание, но даже эти привычные вещи казались незнакомыми, полными значимости, как резонанс собственного голоса в большом, пустом зале. Нелегко было сменить дочери барона все эти «Аполлоны», вернисажи и Баден-Бадены на заборочную книжку грубияна-мясника, на выкраивание из крохотного оклада выходного платья. Над этим умилялись наши матери, говоря мечтательно: «Вот что значит, дети, любовь!». Нам остается взглянуть хотя бы на руки Натальи Генриховны — и усмехнуться.

Женившись, Сахаров бросил службу. Как заласканное дитя, он хныкал: «Что за жизнь!..» Он хотел вправду славы, мраморной лестницы, каких-то придуманных им «вышек». Молодые переехали в Москву, подальше от злых пересудов. Наталья Генриховна переводила с немецкого руководства для агрономов и давала уроки музыки, Сахаров весь день валялся на кушетке, подкрепляясь какао и мечтами: умрет барон, отпшет все Туське, как-никак дочь, тогда — цыганки, котелок от Вандрага, роскошь. После февраля он попробовал было выдвинуться, что-то напевал под нос, рассовывал соседям избирательные бюллетени, уверял: «Отстоим», — как детский шарик, рвался он вверх к славе. Октябрь снова швырнул его на ту же кушетку. Потом кушетку отобрали. Отобрали и многое другое.

Здесь-то Наталья Генриховна показала себя. Чего только она не делала! Ощерясь, выбегала она утром на мороз, как волчица, у которой в норе голодные детеныши. Она вырывала пайки и жалованье, белый хлеб — эту поэзию Сухаревки — и охранные грамоты. За фунт пшена она объясняла почтительно топтавшим красноармейцам картины Дега и Ренуара, вела класс немецкого, на крыше вагона ездила в Серпухов за картошкой, сбывала бабам, божась и ругаясь, старые лифчики, разносила по редким лавчонкам сахарин, запрягшись в салазки, таскала с Москвы-реки дрова. Когда Сахарова посадили, она не плакала. Наглухо закрытые двери и те подались перед упорством этой женщины. Она не просила, нет, пренебрегая своим происхождением, более чем зазорным, сахарином, Сухаревкой, она требовала. Освобожденный наконец-то Ванечка ел сгущенное молоко и задавался всюю: «Я им ответил...»

Наталья Генриховна колола дрова, раздувала печку, таскала ведра. Ванечка становился все блей, ленивей и капризней. Не было теперь на свете балалайки, способной выразить разор и томность его чувств. С женой он усвоил тон ребячливого отращения: «Ах, опять это пшено с овсом! Не хочу!» — «Сядь на стул, ты пахнешь луком». — «Я, дурак, думал, что женщина — это вроде птички, а ты пыхтишь, прямо как паровоз. Не лезь! Надоело!»

Однако, несмотря на подобное разочарование, явился Петяка. Наталья Генриховна носила его в сугубо тяжелый двадцатый год, и, взглянув на уродливые ручонки без ногтей, Панкратова перекрестилась: «Не жилец». Она не учла готовности и сил матери.

Вскоре подошло облегчение. Панкратов отслужил молебен. Впервые за все эти годы Наталья Генриховна решилась тихонечко всплакнуть. «Шляпное заведение Комильфо» сменило и музейные экскурсии и сахарин. В заказчицах недостатка не было: «Баронесса сделает»... Жены сидельцев, разбогатевшие мешочницы примеривали здесь первые свои шляпы, кокетливо щурясь и подозрительно ощупывая каркас: нет ли подвоха?.. Это было полно поэзии, как первый бал или первая любовь. «Отделать шелком», «форма — котелок», «итальянский фетр» — прерывались икотой после сметковых щей и расчесыванием боков, где по-прежнему жила исконной своей жизнью фауна Проточного переуллка.

Служба Сахарова была, откровенно говоря, пустячной — он должен был собирать объявления для агентства «Связь». Не раз жена ходила за него в разные тресты и управления: ведь он страдал ревматизмом и ненавидел трамвайную толкотню. Он стал «комильфо». Он ухаживал за советскими и полусоветскими барышнями (конечно, с разбором, чтобы не было ни сильных чувств, ни алиментов), ходил к Мейерхольду — послушать фокстрот, по мелочи играл в казино и на бегах, — словом, жил припеваючи. Когда он рассказывал дома: «Мараскин поет: я погажен, я потясен», — рассказывал спесиво, как будто это его, Сахарова, выдумка, мастерица Поленька богомольно приоткрывала свой огромный рот, похожий на плевательницу, а Наталья Генриховна уныло отворачивалась. Уж вправду читала ли она когда-то «Аполлон»? Кричала ли, вся раскрасневшись, «браво» Вере Комиссаржевской? «Отделать шелком», «Смазать Петьке грудь скипидаром», «Выгнать пятнадцать червонцев Ванечке на костюм».

Живем мы, и чего прикидываться — любим жизнь до подлости, а страшна эта жизнь, ничего страшнее не придумаешь. В комнате имелись три зеркала для примерки, и не могла укрыться от них бедная Наталья Генриховна. До чего постарела, подурнела, опустилась! Узнали ли бы картавившие правоведы в этой одутловатой женщине, с расстегнутым лифом и сбитыми волосами, недотрогу-красавицу Гусю? Да может, и эти правоведы стали ей под пару — продают дрожжи на Сенном рынке или, удрав в Париж, моют там трактирную посуду? Не в морщинах, впрочем, дело, не в правоведах. Незаметно оседают в душе нудная суета дней, брань соседей, жестокость и тупость близких, унылые видения Проточного и других переулков.

Сначала кажется, что это только пылинки на прекрасной картине юношеских мечтаний: стоит подуть — и они улетят. Но проходят года, тускнеют краски, твердеет пыль, уже не смахнуть ее ничем. Не узнать никому во владелице шляпного заведения мнимой «шестидесятницы».

Сахаров, отдышавшись, перестал даже капризничать. Домой он приходил, когда вздумается, одаривал Поленьку плоскими анекдотцами и к домашним запахам — кухни, нафталина, Петькиных лекарств — примешивал чужой запах духов, которыми душились его часто сменявшиеся любовницы. Квартирант... Когда пробовала Наталья Генриховна жаловаться на Петькины болезни или на неисправность заказчиц: «Вот налог требуют, а денег нет», — он пренебрежительно обрывал ее: «Неужели ты думаешь, что мне это интересно? С тобой и поговорить не о чем»... Он не кривил душой. Он и вправду забыл ту Тусю. Прикосновения жены раздражали его, как набитая до отказа площадка трамвая — «гадость!.. отстань!..» Наталья Генриховна теряла голову. Она грозила ему: «Не дам денег». Он знал — даст. Она пыталась понравиться мужу: часами перешивала кружева на рубашке — он любит розовенькие, — пудрилась, причесывалась, вспоминала прежние манеры и, сидя в покойном кресле, надменная, становилась вдруг похожей не на Тусю, а на покойного барона, только рапиры не доставало. Иван Игнатьевич, однако, даже не замечал перемены — он не глядел на жену. Тогда Наталья Генриховна забывала о прошлом, о самолюбии, приниженно ползала вокруг жиденьких усиков, выклянчивала грошовую заваливающую ласку, а ничего не выклянчив, накидывала на плечи платок и в нелепом вечернем платье с глубоким вырезом бежала к беззубой молдаванке, которая предсказывала судьбу обитательницам Проточного и знала, как «приворожить».

Петька, когтями отодранный от смерти, мог бы стать некоторым утешением, если бы не его загадочный характер. Дрожит, заикается — доктор говорит: «нервозность», — может быть, от этого все? Нельзя сказать про него — «лгунишка», это — чудак, выдумщик, карапуз-фантаст, которому уже тесно в Проточном. Вот и сейчас позвала его мать, чтобы отшлепать за рев: «Какой «Бубик»? Я папе пожалуюсь», — а он предерзко ответил: «Никакого папы нет. Это ты выдумала». Наталья Генриховна хотела было рассердиться, но не смогла: почему-то вспомнилось ей далекое время, выпускные экзамены. Учебник истории.

Ягелло. Ядвига... А кругом петербургская белая ночь. И вдруг — от усталости или от призрачного света, а может быть, от нежного девичества — все становится легким, невесомым, выдуманым. Сказочны и колонны особняков, и пепельная вода Мойки. Кажется, рядом скребется, как мышь, сумасшедший Ягелло из «шестнадцатого билета». Нет ни гимназии, ни «папа», ни рапир, а только грусть, но такая хорошая, такая удачная эта грусть, что Туся улыбается.

Наталья Генриховна разрыдалась громко, глупо, как Петька, вытолкав за дверь приятно озадаченную заказчицу, которая понеслась со свеженькой сплетней — «сын-то у нее — не от Сахарова!..» С кем было поделиться Наталье Генриховне? Так уж устроен человек, растет боль, растет ожесточение, и вот нет больше сил — хоть прохожего остановить: «Слушай!» Имелась у Натальи Генриховны поверенная, всеприемлющая и немая, как ящик «для жалоб». В который раз слушала дурочка Поленька повесть о высоком горении юношеских лет, об обманутых надеждах, о трусливом, жестоком и злом герое, который все же герой, ибо не вычеркнешь из памяти таких чувств. Знала Поленька и позднюю мечту Натальи Генриховны, вынырившей двух отщепенцев, — дочь, женщину, бабу. Петька, тот уже рвется прочь, рвется с маменькиных коленок в проклятый подвал панкратовского дома или еще дальше, бог весть куда, к каким-то «Бубикам». Он уже чужой, как Ванечка. А дочь будет своей, в приниженности, в беде. Иван Игнатьевич и слышать об этом не хотел: «Плодить кретинов, вроде мамахен...» (Сахаров любил уязвить Наталью Генриховну немецкой кровью.) Все это Поленька знала в точности, вплоть до «мамахен». Обычно она сопровождала сговора Натальи Генриховны сердобольным «ой ты», но на этот раз, улыбнувшись до ушей, от чего лицо ее, и без того глупое, стало «нарочным», не то клоунским, не то блажененьким, а потом зашептала:

— Мне от Ивана Игнатьевича сыночка хочется, Ванечку...

Наталья Генриховна вскочила и, без памяти, кинула в Поленьку подушечку с булавками.

— Дрянь! Не смеешь!.. Убью!

Забившись в угол, Поленька испуганно блеяла. Через минуту Наталья Генриховна опомнилась:

— Вы, Поленька, не смейтесь надо мной. Грех это... Ведь я сама вам все выложила, как на ладони...

И, вспомнив о своей последней опоре, вконец измученная, она закричала:

— Петя! Петенька! Иди сюда!

Но снизу раздался сиплый лай Панкратовой:

— Нет его. Опять в подвал залез. И не мальчик у вас, Наталья Генриховна, а совершенный бандит.

2

Все из-за окорока

Половицы абрикосового домика перепуганно мяукали, громыхали двери, истерически билось стекло в буфете. Здесь все мешалось: суровый топот Панкратова, плач, настоящий плач, как на похоронах, его жены, «ой ты» Поленьки, резоны Натальи Генриховны. Визжал Петька — в суматохе и ему попало: «Не водись с разбойниками!..» Даже кот нервничал, — взобравшись на шкаф, он напряженно помахивал хвостом, готовый закатить оплеуху неизвестному обидчику. Какой переполох! Слезы какие! А все из-за окорока. Ну, хороший, слов нет, двенадцать фунтов, только на прошлой неделе купили, все же чудно это: будто по сыну убивались Панкратовы. Ссорились: «Ты-то, овца, чего смотрила?» — «И смотри, сколько хочешь, все равно слизнут. Я тебе говорила, донести надо»... Задушевно вспоминали сочность ветчины, нежность белого, как снег, сальца: можно бы сварить, чтобы горячий с капустой, и запечь можно. Еще недавно отнимали у Панкратова и крупчатку, и закусочное серебро, и весь нежно-абрикосовый — он пикнуть не смел, а теперь из-за какого-то «червячка» скрежет зубовный. Хоть и скуп он, — без зажима счастья не сколотить, — все же не в окороке было дело, а в нижнем, не предвиденном папашей Панкратова этаже.

Уморившись, Панкратов отсел в угол, посыпал лицо пеплом бороды и весь свой гнев выразил в одном слове:

— Журавка!..

Тогда все примолкли. Начался семейный совет. Позвали и Сахарова: хоть Панкратов в душе презирал его — задом виляет, «мели, Емеля», шантрапа, — однако всякие там удостоверения. Сахаров пришел неподобающе веселый, легкомысленно подпры-

гивая — модник. Увидев бороду Панкратова, он, однако, подтянулся: дело серьезное.

Если бы мог подойти к окну прохожий чужак в куцем, с чужого плеча пальто, любитель человеческой чепухи, если бы мог он, подышав на стекло, засунуть в прорубь жадный глаз, странную картину увидел бы он: вокруг стола сидят люди, нет здесь ни самовара, нежно воркующего, ни дорогого русскому сердцу графинчика. Отчаянно содрогается лампа, которую забыли впопыхах заправить, горбится и попыхивает зрачками раздраженный кот. Уж не шпионы ли это, не заговорщики ли? Впрочем, ставни у Панкратовых крепкие, а за ставнями шторы, за шторами занавески. Любопытному глазу нечем здесь поживиться.

Начал Панкратов. Он не мялся, не хитрил — можно так, и этак, нет, напрямик сказал:

— Закупорить.

Что же замыслила борода? Темен ночью Проточный, темна его окаянная душа. Спуститесь вниз. Еще ниже. Петька, тот знает дорогу. Не бойтесь — это крысы пищат. А это? Это — люди. И здесь люди, хотя нет здесь ни стола, ни лампы, ни заветной пачки под цветочным горшочком. Можно сказать, пренебрегая грязью, жутким подсапыванием, вонючим тряпьем, что люди именно здесь, а там наверху только злобные призраки, ядовитые испарения застоявшихся дней.

Нелегко попасть в это логово. Давно замурована Панкратовым внутренняя дверца, засыпаны и два верхних окна. Непрошенные постояльцы должны ползти ничком, по ими же вырытому узенькому коридорчику. Все уже и уже становится ход. Хорошо маленькому Петьке. Ну, и Журавке... А вот как пролезает тут бывший преподаватель латыни Первой классической гимназии с кудреватым именем Освальд Сигизмундович и с громоздкостью седьмого десятка? Непонятно это, как и непонятно, зачем человеку жизнь, если остаются от нее только попреки прохожих, ноющая поясница, одиночество, да вот эта поганая нора, где даже крысы и те не выживают. А Освальд Сигизмундович, отогревая под рогожей гудящие свои ноги, совсем как Панкратов наверху, улыбался: «Вот живем, живем, кхе»...

Нелегко в такие годы валандаться без теплого угла, без страдательного сердца, бьющегося по соседству. Ему бы печку, халат с кисточками, стакан чаю и уютную, как мурлыканье самовара, хлопотливость старосветской подруги: спину мазью

натереть или же подложить подушку повыше. Одинокая старость паршивой собаки, вот ты глядишь на меня из проклятой берлоги, и я, выдавший нищету, горе, смерть, — отворачиваюсь! «Живем, кхе»... В чем провинился старый пес? Лаять ли не умеет по-новому? Или слух ослаб, выпали зубы? Или, попросту, подрос новый помет, молодые псы влажными носами роют землю, прыгают, тявкают? Тридцать лет учил Освальд Сигизмундович мальчишек каким-то «генерис», «ут финале», «инфинитивус», а потом оказалось, что не нужно это никому, ни «инфинитивус», ни он сам.

Быстро развалился отставной преподаватель латыни, быстрее, чем дом на углу Панфиловского. Ставил баллы, получал маленькое жалованьице, пил желудевый кофе. Казалось, крепко засел он в жизни, без него нет ни больным микстур, ни розам и гадам имени. Остались, однако, и микстуры, и розы, и гады, а Освальда лишили желудевого кофе. Ничего он, говоря откровенно, делать не умел: ни спекулировать паечным сахаром, ни кривить душой. Татарин завязал в узел великолепный мундир, а с ним и апломб. Рука, не раз пугавшая юные души: «Господи, неужели кол?» — протянулась за милостыней, дряхлая рука, темная, сухая, как мертвый лист, мрачно кряхтящий под ногами пешехода: «Кхе, кхе...» Вместо бесстрастных, как звезды, «инфинитивус» и «аккузативус», заглушаемое трамвайной разноголосицей и человеческим стыдом: «Явите такую милость»...

Редко кто останавливался: ведь и милости человеку отпускается скупо — столько-то, — хорошо, ежели хватит ее на своих домочадцев да на роман сентиментального автора. Где же напасть жалости к этим видениям немилосердной ночи? «Работать, гражданин, надо», «нет мелочи», «ступайте в Собес», «здоровый, а просит», «отстаньте!». Так они бродят по темным переулкам, мимо закрытых ставней, мимо закрытых сердец, все эти «инфинитивусы», «камергеры», бывшие титулы, бывшая слава, не выметенный забывчивой смертью человеческий мусор. Только снег скрипит под ногами, снег полей и степей, напоминающая, до чего велика земля, до чего богата, бедна и страшна.

Освальд Сигизмундович спал, как спят дети и собаки, — калачиком. Он вбирал в себя голову и ноги, а руки же подкладывал под щеку. Это смягчало жестокое одиночество ночи: уютней было от собственного, хоть и скудного тепла, от запахов старого пиджака и махорки, которыми пропиталось его тело. А проснувшись, он застенчиво улыбался — косому лучу, проникшему сквозь

щель в эти катакомбы, Журавке, еще одному дню, подаренному ему щедрой судьбой. Прекрасная улыбка! Не отыскать ее наверху, ни в гнусной обители Панкратовых, ни в других безупречно чистых местах, где утром человек находит любимую жену, хлеб с маслом, завлекательные порывы, письма друзей, труд. Ведь это единственное богатство людей, потерявших все, которые ни о чем не пекутся и ни над чем не дрожат, — вот живу, вижу небо, счастливых и несчастных, свет, снег, слякоть, окурок, ката...

Мелка была жизнь Освальда Сигизмундовича среди единиц и падежей, ничтожны мечты о надбавке или о пенсии. Нет, не развалился он, а возвысился, вознесся в тот жестокий час, когда шурумбурумщик унес пышные отрешья.

Наверное, это смутно чувствовали дети, угрюмые и злые дети, жившие с ним в подземелье, воришки, сквернословы, пьянчуги, бич Панкротова и Панкратовых, срам нашей столицы, но все же дети, нежные дети, хоть никогда не знавшие ни сказок «о снежной королеве», ни сверкания рождественской звезды, но доподлинные мечтатели, чудаки. Был для них Освальд Сигизмундович, в отличие от других, «дядей», у которых клянчились «копеечки», сказочным «дедушкой» — поэтому и пустили его. Ведь ход прорыли они. О старике и Панкратовы не знали. От чужих нору ограждали камни, зубы, когти. Как-то залез сюда выкинутый из «Ивановки» налетчик Хлепин. Его и милицейские побаивались. А Чуб, хотя ему едва пошел четырнадцатый год, не сдрейфил: стеклом изрезал морду Хлепина, так что тот, визжа, уполз восвояси. А вот Освальда Сигизмундовича ребята пустили, даже дали мешок: спи.

Было их трое: враг Панкротова длинноногий Журавка, Чуб, тот, что победил Хлепина, и самый младший, ротозей, белесый, как июньская ночь, Кирюша. Откуда они пришли? Чудом каким выжили? Кто их знает?.. Немало таких на улицах русских городов. То в трамвае жалостливой песенкой и злым полыханием зрачков вытянут копейку-другую, то слизнут у зазевавшейся дамочки сверток, то на Смоленском подберут яблоко, то от сердца, то из кармана, то с лотка. Бывали пустые дни. Тогда Кирюша лежал тихонько и придумывал: бумажник на мостовой, гусь, повсюду огни горят, как представляют в кино, и танцы, чтобы не только люди танцевали, но и лошади, фонари, дом с домом. А Чуб шурился и грыз зубами грязный картуз. Чуб ненавидел людей. Разве пожалеют? Зайдешь в трамвай, сейчас же: «Киш! Растут бандиты!.. Перестрелять их надо!..» Как-то

слыхал он, барышня на Смоленском жаловалась: «Беспризорные-то хороши — кусаются, чтобы заразить»... Чем заразить, он толком не разобрал, но, улучив минуту, — было это в Прогонном переулке ночью, — куснул пузатую гражданку, шипевшую «Пошшел!..» Вот он и «заразил» кого-то своей злобой, сиротством, голодом: «Попробуй, поживи, как мы!» Выручал всю шайку Журавка — очень был ловок. Недаром Панкратов его ненавидел. Окорок действительно стянул он, и не только окорок — калоши, платок Поленьки, пять фунтов рафинаду, — все на его совести. Брал он с нахрапу. Как-то проходил мимо молочной на Пречистенском бульваре. Видит, сидит толстяк, ест простоквашу и — червонец: «Получите, барышня». Журавка подлетел: «С вас, гражданин, червонец на беспризорных»... Пока тот опомнился, Журавка уж был далеко — у Арбатских ворот. Любил он кутить, стрелять в тир, курил, пил водку, когда перепадало, хвастался, что ходит к бабам, но, по правде сказать, врал. Хотел пойти, приглядел какое-то лохматое чудовище из «Ивановки», однако струсил: «Вдруг оскандалюсь?..» Очень был тщеславен. Все отдаст, лишь бы похвалили — «чистая работа!» Пел. Всегда веселый. Чуба не понимал: «Чего ты злишься?» Кирюшку он жалел: «Боюсь я за тебя! Девчонка! Схватят, ты и раскиснешь! Или сдохнешь с голоду». За себя Журавка был спокоен. Бахвалился: «Чего тут? И не то видали. Воевать пойду. Какая-нибудь война да будет. Из меня такой Буденный выйдет, что только держись!..»

Вот с кем сожительствовал отставной преподаватель Первой классической гимназии. Здесь он впервые узнал, что такое детство, хотя всю жизнь провел среди детей. Он не пробовал объяснять ребятам, что такое спряжения, и не пугал заспанного Чуба переэкзаменовкой. Как-то получив от иностранного журналиста двугривенный, он купил друзьям «ириски». Часто и они его подкармливали — то булкой, то сливами. Говорил с ними Освальд Сигизмундович мало — не знал о чем, все больше улыбался: «Кхе, кхе»... Когда же от молчания коченел язык и обмирало сердце, он начинал вслух спрягать безумные, никаким законом не подчиненные глаголы. Ребята молчали. Крыса, сдуру высунувшая нос, — нет ли чем пожизвиться? — убежала, расстроенная человеческим голосом. Кирюше слова нравились — звонко и непонятно — «герундии», «императивус». Это было настоящей сказкой. Наверное, старик заколдовывает все, чтобы обратился Панкратов в лягуху, а тумбы в Проточном в.

красавиц дочерей. На младшей Кирюша обязательно женится. Журавка тоже увлекался: гудит. Он мечтал о барабанах, о свисте пуль — война, бандиты, налет. Даже угрюмый Чуб и тот бормотал: «Дедушка-то наш молится. Дурак он, а добрый». Освальд Сигизмундович, выпрямившись и глядя прямо перед собой, продолжал: «Перфектум». Игра звуков, бесцельная и вдохновенная, мелодия далеких веков в этом смрадном подвале наполняли его сердце сладостью и благоговением. Он был счастлив высоким счастьем поэтов.

Петьку ребята перво-наперво вздули. Но, присмотревшись, обмякли, стали пускать его к себе, даже жаловали. Он был «оттуда». Это им льстило. Журавка давал перебежчику орехи и добродушно поддразнивал: «Что, опять набили? А ты ее, мальчик, зубами!..» Ходил сюда Петька не ради орехов, не ради Журавки. Он полюбил темноту, полную опасностей, и Кирюшу. Здесь можно было выдумывать всюю. Кирюша верил в «Бубика»: «А какой он? С шерстью?» — «С шерстью и летает». — «Высоко?» — «До неба, а оттуда яблоки скидывает». — «Яблоки?» — «Ну да, яблоки, у него под мышкой яблоки растут».

Как-то Петька попал на «представление» — «дедушка» говорил непонятные слова. От восторга его пронял озноб. Впервые он увидел, что большие могут тоже «выдумывать». Стоит и говорит. Вот бы его мама отшлепала!.. Да нет же, куда тут — разве такого можно отшлепать? Он старый, старее мамы, старее всех, — значит, он самый умный. И ничего такого нет, все «представляет». Петька, не в силах сдержаться себя, обнял ноги Освальда Сигизмундовича и начал тоже выкладывать непонятные слова: «табабус», «чундум». Невыразимой радостью преисполнилось тогда сердце старого преподавателя: не было у него ни детей, ни благодарных учеников, никого; впервые вдохнул он в чужую душу восторг и ужас древнего звучания. Он поднял Петьку, торжественно сказал: «Футурум», и поцеловал: «Кхе, кхе, живем»...

В этот вечер, однако, Петьки не было. Забившись в угол, горя и фыркая как кот, он присутствовал при семейном совете. В этот вечер не было и «герундинов». Внизу, как и наверху, героем являлся розовый окорок. Наверху его оплакивали, внизу его пожирали. После пяти дней, когда не было и хлеба, окорок казался волшебным, как сны Кирюши. Молча пировали, сосредоточенно, боясь обронить кусочек сала. Только Журавка не вытерпел:

— Что-то там теперь делается? Кричат караул!..

Но наверху, как мы знаем, было тихо, слишком тихо. Важно, степенно, с расстановкой изложил Панкратов свой план: закупорить. Ночью банда спит, ночью пуст и глух Проточный. Ход следует завалить снегом, а поверх обдать водой. Мороз нынче, слава богу, крепкий. Сахаров попробовал было возразить:

— Может, лучше сначала в район сходить? Так сказать, на законном основании...

— Нет, уж увольте. «Их» в дело нечего вмешивать. Потом хлопот не оберешься. Аршином все обмерят — воздуху чересчур много. Или же с налогами. Тут уж и удостоверения ваши не помогут. Кто же это зовет волка на свой двор? Дело семейное. Вот вы лучше с Натальей Генриховной посторожите, чтобы не прошел кто мимо.

Наталья Генриховна одобрила. Да, эта преданная жена, любящая мать, плакавшая в свое время над «Оливером Твистом», мечтающая о нежной дочурке, одобрила: закупорить. Сколько их там? Трое? Пять? Восемь? Разное говорили. Все равно. У Натальи Генриховны с ними свои счеты: у Панкратова они выкрали калоши и ветчину, а у нее отняли сына, Петьку. Если их не уничтожить — совсем мальчик отобьется, пропадет, гляди — уйдет с ними. Ответил же он как-то Наталье Генриховне, которая, вспомнив свою молодость, размечталась: «Я тебя к семилетке подготовлю». — «Нет, я уж лучше с Кирюшей в Крым уйду». Жестокость расправы не останавливала ее: все хороши, разжалобисься, а он тебя укусит, нечего слюни пускать. Разве ее кто-нибудь пожалел?.. Она отстояла Петьку от смерти, она отстоит его и от этих разбойников. Правильно: засыпать.

Сахаров больше не протестовал. Он только вежливо уклонился от работы:

— Мне, извиняюсь, на randevу нужно. Дельце маленькое. А вы уж как-нибудь без меня.

Он ушел. Увидев, что раскрылась дверь, вслед за ним выскочили Петька и кот: видимо, надоело им фыркать в углу. Дурочка Поленька, та позже всех сообразила, в чем дело. Уж Панкратов, перекрестясь, сходил вниз за лопатами, когда она вдруг взвизгнула:

— Ой ты, ведь задохнутся они!..

Панкратов цыкнул:

— Молчи! Узнают они у меня, как это окорок красть...

Сумасшедший кусочек, комический кусочек

Наискось от абрикосового домика, на углу Проточного и Прогонного переулков, в настоящем и проточном, и прогонном дворе жили люди, если верить шпуканью соседей, подозрительные. Квартира № 6 была на плохом счету. Чем провинились ее обитатели? Мылись ли слишком часто? Или читали газеты? Или мало якшались с почтенными тузами околотка, хотя бы с тем же Панкратовым? Хозяина Лойтера, занятого правкой безопасных бритв, валили в одну кучу с жильцами. Панкратов уверял, что это не иначе, как «гипиу», другие сбавляли — «комчики». А жулье из «Ивановки» опасно косилось — «легавые». Диву даешься, откуда все это люди придумывают? Стоит только чихнуть, гляди уж — не то «арап» ты, не то шпион. Проживали в злополучной квартире, кроме Лойтеров: советская барышня по фамилии Евдокимова, Прахов, мелкий журналистик из «Вечерней Москвы», да мой приятель Юзик, который играл на скрипке в киношке, — люди без блеска, без талантов, самые заурядные личности.

Когда я был моложе, мне нравились герои с крупными страстями, с диковинными чувствами. Занимали меня тогда пороки, позы и похождения. А теперь меня не удивляют ни игра воображения, ни сила характера, ни отвага. Я скучаю среди пышных картин Кавказа и среди величавости морских вод. Только серая наша природа, все эти захолустные лесочки, небо скромное, как сирота, и люди скромные, ничем не примечательные, еще способны растрогать мое сердце.

Юзик! Где ты сейчас, глупый горбун? Играешь очередной вальс в «Электре»? Или, кончив работу, смотришь на бледные звезды северной ночи? Я знаю — ты хитришь, Юзик, ты хочешь что-то вычитать на небе, а ведь небо далеко, и жить мы должны здесь, на земле, вот в этом Проточном...

Юзику приходилось судить, утешать и думать, думать за квартиру № 6, за Проточный переулок, за всех.

Ведь к нему, именно к нему, а не к Прахову, хоть Прахов писал в газете, прибежала, запыхавшись, гражданка Лойтер:

— Вы слышали, на сколько нас обложили? Теперь скажите мне — почему вы делали эту революцию?

Юзик задумывался. Он никогда не отвечал сразу.

— Я ее не делал. Я жил тогда в Гомеле, и я играл в ресторане «Конкордия» на скрипке. Но я тоже кричал «ура». Хотя у меня нет настоящих мыслей, а только горб, я тоже кричал. И я смеялся. Я думаю, что все тогда делали революцию. Вы тоже делали революцию, мадам Лойтер. И тот, кто обложил вас налогами, он тоже делал революцию. А почему мы ее делали? Этого я не знаю. Почему делают детей, мадам Лойтер? Наверное, потому, что у людей маленькая голова и большое сердце.

Философия Юзика никому не нравилась: она пахла провинциальным луком и безропотностью старой «черты оседлости». А в Москве люди хотят удачи. Гражданка Лойтер, раздосадованная, кричала:

— Вы говорите глупости, Юзик. Смешно! Когда они здесь поставили сто шестьдесят, вы хотите меня утешить такими разговорами...

Она звала его «Юзик», хоть не был он вовсе ее родственником; так уж пошло — Прахов, Таня Евдокимова, швейцар «Электры», даже мальчишки из Проточного, когда, насмехаясь над горбатым чудаком, они гнусили сочиненную анонимным автором песенку. Юзик не обижался на ребят, ласково улыбаясь, он бормотал: «Да, да».

Он не был вовсе жалок, этот крохотный урод из анекдотического «Гомель-Гомеля». Горб свой он умел носить величественно, как носили астрологи дурацкий колпак. Хоть и говорил он, что нет у него «настоящих мыслей», он был доподлинным философом Проточного. Он один догадывался, среди выбитых зубов и ленивого копошения щей, что не так уже мелок этот всеми презираемый переулок, что живут в нем люди сухие и темные, как струны скрипки, из которых можно извлечь все вальсы, все слезы, все звуки мира.

Пять лет тому назад он приехал сюда, оставив в далеком Гомеле затравленное детство калеки, который плакал в сторонке, пока его сверстники катали орехи, оставив пустую синагогу, — «зачем молиться? — говорили старые евреи, — если из улья вынули мед, а из нас радость», — и тихую, как беспамятство, могилу. Вместо чехарды он получил горб, а вместо материнских ладоней — кладбищенскую крапиву. Он мог бы ожесточиться. Он привез в Проточный старую скрипку, две смены белья и

такую нежность, что Прахов, увидев его, обмер, бросил на пол недокуренную папиросу и в сердцах сказал Лойтеру: «Почему его не посадят в сумасшедший дом?»

Так многие думали. Услугами горбатого чудака, однако, никто не гнушался. Забегала Таня:

— Вы, Юзик, кажется, сейчас ничего не делаете? Сходите, миленький, в библиотеку. Вот книги. Возьмите что-нибудь Сейфуллиной и еще новенькое, ну, вы там посмотрите — на что больше запись. А то у меня сегодня столько работы.

Юзик играл в «Электре» вечером. Днем он, вправду, ничего не делал, разве что думал, но это не дело, это глупости, за это сажают в сумасшедший дом. Вернувшись из библиотеки, он раскрывал наугад книгу. Прочитав первую же фразу, он задумывался. Поэтому он не мог дочитать до конца ни одной книги. Таня выговаривала ему:

— Вам, Юзик, старье подсунули. Эта третья книга мне ни к чему.

Юзик виновато улыбался:

— Вы, может быть, еще раз прочтете ее, Татьяна Алексеевна? Второй раз гораздо интереснее. У меня есть одна книжонка; я ее читаю каждую ночь. Я не знаю, кто написал ее, — может быть, Сейфуллина, я ведь не учился в гимназии, а первая страница отодрана. Это совсем необыкновенная книга. Я читаю ее, и я плачу, и я смеюсь, как сумасшедший. И мне хочется сказать человеку, который сочинил эту книгу: «Вы большой умник, вы все видели, вы все понимаете. Я знал умников. У нас в Гомеле был один умник цадик, и он умер. И один умник коммунист, он секретарь Гомельского комитета. Но вы не только умник, вы — святой человек. Видно, что вам плохо живется, как нам здесь в Проточном, но вы не кричите, не ругаетесь, вы себе пишете книгу, такую книгу, что я, глупый Юзик, смеюсь и плачу». Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». Вы понимаете, куда он прыгает, и что это за штука?..

Таня снисходительно морщилась:

— Глухие книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию...

Что такое «методология», Юзик не знает. Это, вероятно, особый язык, на котором следует говорить с Таней. У Юзика есть

что сказать взыскательной соседке. Но как?.. Нет у Юзика для этого подходящих слов. Если Тане не нравится «перл создания», то какие же слова он может придумать? Другие евреи умеют говорить. Старые еще помнят слова пышные, как храм Соломона, слова, которые пахнут гвоздикой и звездами, а молодые, что же, и молодые не молчат, они говорят: «платформа», «директивы». Конечно, у Юзика — скрипка. Может быть, ничего не говорить Тане? Может быть, сыграть ей один сумасшедший кусочек, который Юзик играет, когда на полотне несчастные люди, не горбатые, нет — расписные красавицы, ломают руки, плачут, потому что у них большие чувства, а слов нет, как нет их у Юзика?..

Но Юзик никогда не играл Тане этого «сумасшедшего кусочка». Он играл ей вальс, где столько грусти, сколько надобно девушке, чтобы немного помечтать, он играл и модный фокстрот: пусть смеется.

Таня слушала, Таня смеялась. Она видела карие глаза, добрые глаза преданной собаки. Она видела горб. Она говорила: «Юзик со всеми добрый». Откуда ей было знать, что там за карими глазами, за нелепым горбом? Ведь это только любимый сочинитель Юзика умел возводить презренную жизнь в какой-то старомодный «перл», а Таня не была сочинителем. Была она обыкновенной девушкой, любила диспуты в Политехническом и фокстрот, стихи «Левый Марш» и губную помаду поярче. Пережившая от своего века две-три несложных идеи и модную кепку, она сохранила в сердце наивный жар ее бабушек, которые «ходили в народ», любя, забывали все, шли на каторгу или затворялись в монастыри, — которые целовались среди милой нашему сердцу черемухи, как простушки, а погибали как героини, обыкновенная русская девушка; вот такой была прежде и Наталья Генриховна, хотя не чета дочери барона тульская мешаночка. Душа горбатого фантазера была Тане невдомек.

Юзик засыпал под утро, спал он мало и часто просыпался, вскакивал, бегал по комнате, смешно шлепая калошами. На лице его бывало тогда почти комическое недоумение: все мешалось в голове, плотность сновидений, прозрачность дневного света, пропущенного сквозь шторы, и уродливая тень крылатого зверя, отражаемая длинным зеркалом. Иногда он раскрывал футляр и дергал струну скрипки. Скрипка в ответ томительно стонала, и сосед Юзика Прахов яростно стучал в стенку:

— Не сходите с ума, или вас выселят!

Это случилось после того, как Юзик во сне беседовал с Таней. Он говорил ей о своем сердце, о парке Паскевича в Гомеле — поля, большая река и песок, — о том, что из улья нельзя вынуть весь мед, о радости жить рядом с Таней. Пусть она любит другого — у Юзика горб, Юзика не стоит любить, пусть она выйдет замуж за красивого и благородного героя, за одного из тех, что показывают в «Электре». Пусть она будет счастлива. Он ничего не хочет. Он радуется тому, что он ее видел. Этого никто не может отнять даже у смешного уroda. Он узнал в жизни не только горе Проточного переулka. Он узнал не только ум двух гомельских умников и чудные речи неизвестного сочинителя. Он узнал Таню.

Он говорил во сне смело, без запинки, не стыдясь слов. Слова эти были высокими и пронзительными: «Перл создания!», «О, моя свежесть!», «Жар вдохновения»... Но Таня не смеялась. Ласково гладила она уродливый нарост, и вот больше не было горба. Вместо него шумели большие крылья. Юзик взлетал. Он летел и плакал от умиления, он летел над Таней, над Проточным, над всеми, кому спится и кому не спится, летел и плакал. А потом он падал, просыпался, всовывал ноги в калоши и бежал из угла в угол.

Так протекали ночи и любовь Юзика.

Даже Прахов, слыхавший часто ночные вскрики скрипки, ни о чем не догадывался. Прахову было недосуг догадываться: он должен ежедневно выгонять полтора сток газеты, набрехать то о модах для «Женского вестника», то о светосильной оптике для «Советского фото», то о собаководстве для «Красного охотника», хоть он ровно ничего не понимал ни в линзах, ни в вельветине, ни в ушах сеттеров. Хотел человек жить — ужинать в клубе «Друзей культуры», корректно одеваться, ездить иногда на бега, провожая из театра знакомую, не дрожать при мысли, а вдруг трамвай пропустим?.. Он хотел даже дарить дамам, гражданкам, товарищам — словом, особам женского пола — большие пунцовые розы, мерцавшие за мутными стеклами цветочных магазинов. Это может показаться неправдоподобным. Однако, ежели существуют в Москве и розы и женщины, то почему бы и не помечтать вот такому, вдоволь легкомысленному юноше о букете, бережно закутанном на морозе, как нежные признания? Но на собаках и на прочем не раскутишься. Далеко за полночь Прахов все корпел над листками.

Когда же буквы становились загадочными, вроде клинописи, и он сам переставал распознавать их тайный смысл, он читал ненаписанное: через год Борис Прахов будет первым фельетонистом Москвы, ему будут платить двадцать червонцев за коротенькую статейку, он поедет в Крым, Персию и Париж, в него влюбятся все артистки «Студии»; он, конечно, не отвергнет их нежных чувств, но прежде всего он побежит к ней. К кому же? Она не артистка «Студии». Ее фотографии не выставлены на Петровке, и ей не подносят пунцовых роз. Это обыкновенная советская барышня. Она стучит на машинке: «Настоящим подтверждаем»... Она... Ты слышишь, Юзик?..

Юзик знал о мечтах Прахова. Он не понимал только ветренности Прахова: когда рядом Таня, как может тот вешать на стенку карточки разных актрис и проводить ночи у секретарши «Женского вестника»? Прахов ворчал: «К ней и подступу нет». Что же, пусть подождет, ведь Прахов не Юзик, у него нет горба, Прахов высок и представительен, он может быть хорошим мужем. Юзик не верил в любовь Прахова, такая любовь хороша для актрис, Таня от нее погибнет. Разве можно любить мимоходом — купил папиросы «Наша марка», пошутил с встречной дамочкой: «Ну и глаза у вас, гражданка, что надо — пронзили», — развернул газету — какая кобыла пришла первой, здесь и кино, и выудить аванс, и кассирше Мане купить поддельный «Ориган» — дура не разберет, — и любовь здесь же — Таня, видите ли, ему понадобилась, Таня, о которой Юзик и во сне не смеет мечтать! Хорошо пишет неизвестный сочинитель, а вот Прахов пописывает, что теперь носят короткие комбинации, потом, что надо поднять производство, потом, что лисиц лучше всего выгоняют из нор шотландские терьеры, и на все это ему наплевать. Нет, Прахов не любит Таню!

Жили соседи мирно, даже приятельствовали. Юзик и Прахова выручал — то сбегает в редакцию, то переписшет набело статейку, то выудит из старой «Нивы» описание охоты на барсуков. Таковы были нравы квартиры. Лойтеры, те только и знали: «Юзик, может быть, вы сходите на рынок за молоком для Осеньки?» — «Юзик, дорогой, посидите с Раечкой, я иду в Охотный»... Прахова Юзик жалел — были бы у него деньги, разве стал бы он писать о каких-то терьерах? Он писал бы о своих актрисах и был бы счастлив. Хорошо, когда люди счастливы, когда они смеются, женятся, едят вкусные блюда, говорят комплименты, когда они друг друга любят, когда кругом тебя

такая радость, что даже терьеры из «Красного охотника» и те улыбаются. Ах, граждане, граждане, чего недостает нашему Проточному переулку — это чуточку счастья! Если бы Юзик выиграл сто тысяч в лотерею, он отдал бы деньги Прахову. Он знает, чего кому хочется: Лойтерам — квартиру побольше, тесно им здесь; Тане — благородного героя, как в американской картине; Прахову — денег, а Юзику? Юзику хочется, чтобы все у всех было.

Да, деньги Юзик отдал бы Прахову, но не Таню. Здесь-то у них и начинались размолвки.

Прахов жаловался:

— Шут ее знает, как ее заговорить! Баба хоть куда, а лежит без толку.

— Вы очень глупо рассуждаете, товарищ Прахов. Татьяна Алексеевна вовсе не актриса. Вы хотите жить в свое удовольствие, и живите. Но почему вам нужно, чтоб она обязательно плакала? Почувствуйте, что вы ее любите, но не так, как ваши актрис, а чтобы все в душе горело, скажите ей — у вас тогда найдутся замечательные слова, — возьмите ее за руку и пойдите с ней вместе через всю жизнь. Тогда я соглашусь с вами: товарищ Прахов любит Татьяну Алексеевну.

— Вы, Юзик, отстали. Мораль-то у вас дедушкина.

— Этого я не знаю. Я никогда не видел своего дедушки. А от вашей критики мне только смешно. Вы думаете, если была революция, значит, можно обижать одинокую девушку? Пусть я буду самый отсталый, но я скажу вам, что нельзя жить между прочим. Нужно подумать. Здесь не ваши «строчки». Заставить плакать — это каждый может, а вы заставьте ее улыбаться.

— Ах, Юзик, видно, что вы женщин не знаете! «Любовь»... На самом деле все много проще: сначала говорят нежные вещи, потом спят, а потом расплачиваются, как — это не важно: жена — на иждивении, то есть помесечно, не жена — подарочек, ну, колечко какое-нибудь, — словом, построчно. У меня нет времени для нежностей, и денег у меня тоже нет. Вот и все. Выиграю на бегах, тогда посмотрим. Вы что думаете — ей без мужичины весело? Так только, фордыбачит...

Здесь Юзик терял философское свое спокойствие... Он начал смешно топтать маленькими ножками, похожими на копытца; тряся, как зловеющая поклажа, горб. Голос звучал визгливо — Прахову вспоминались ночные вскрики скрипки.

— Молчать! Вы — пачкун, и вы думаете — все пачкуны? Вы пачкаете бумагу. Вы все пачкаете. При чем тут деньги? Можно купить папиросы. Это я понимаю. Это плохо, но это так. А счастья нельзя купить. Оно не продается, товарищ Прахов. Идите к вашим красивым актрисам и оставьте меня в покое. Мне нужно разучить для новой программы комический кусочек.

Прахов уходил: «Ну и чудак! На что он обиделся?» А Юзик действительно брал скрипку и начинал играть попури из «Веселой вдовы». Впрочем, выходило это настолько печально, что гражданка Лойтер кричала:

— Юзик, перестаньте! У меня от вашей музыки вся душа выворачивается, а мне нужно выстирать детский костюмчик...

4

«Волею адского духа»

Странно подумать, что сейчас в Москве сугроб на сугробе, носу не высунешь, а в Ялте цветут пунцовые розы, и уж наверное кто-то сейчас умирает, всеми позабытый, на больничной койке, а кто-то смеется, пьет вино, целует женщин. Так было и в тот вечер. Пока Панкратов, поднатужась, заваливал снегом ненавистное ему логово, мирной жизнью жила квартира № 6. Гражданка Лойтер оплакивала ботинки Осеньки: «Слыханное ли это дело? Заплатить три червонца, чтоб они через две недели протрались!» Осенька безмятежно спал, он видел во сне больших слонов, тетю Соню и халву. Прахов вяло колол пером лист. Ему заказали сто строк о беспризорных. В который раз перечитывал он: «Беспризорные знают, что...» Что знают беспризорные? И что знает о беспризорных Прахов? Они вытащили у него в трамвае выдвижной карандаш и кашне. Надоело!..

Юзик свободный понеделничный вечер заполнял чтением любимой книжицы. Сегодня сочинитель пугал Юзика. Он говорил о женщине, прекрасной, как Таня: «Она была какою-то ужасной волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в эту страшную пучину». Вздвоннано Юзик подбегал к окну. Он как бы искал защиту у сугробов и звезд.

Юзик хорошо понимал страшные слова. Он знал, что «адский дух» навещает и Проточный переулок. Это он заставляет женщин истопно кричать среди ночи. Он вытаскивает из голенищ ножи. Он шуршит проклятыми червонцами. Прошлой осенью молодая швея из квартиры одиннадцатой утопилась в Москве-реке. Юзик помнит, как смеялся тогда ее сожитель. Или, может быть, не он смеялся, а вот этот «адский дух»? Где же сейчас он? Кого выслеживает? Белели сугробы, косные, как мысли. Наискосок копошился Панкратов. Юзик, однако, его не видел.

В соседней комнате, не думая ни о каком «адском духе», Таня примеряла новое платье: идет или не идет? Была она очень возбуждена, не могла усидеть на месте, то раскрывала книжку, хотя буквы кружились и метались, то глядела на часы, то подбегала к зеркалу опять с этим: идет или не идет?.. — то вслух смеялась и без какой-либо причины — от волнения, то так печально вздыхала, что казалось, предчувствует она не выразимое словами горе. Не мудрено — Таня ждала одного человека, чье посещение должно было многое порешить в ее жизни, человека, в нее влюбленного, хоть и женатого, которому она позволила прийти в столь поздний час. Любила ли его Таня? Трудно ответить на это. Новичок в сердечных делах, она путалась: ну, да, он очень милый... Однако мало ли «милых»? Почему она прогнала Прахова, когда тот мимоходом ее обнял? Как разобраться во всей этой путанице? Правда, он застенчиво улыбнулся, увидев впервые Таню. Говорил он с ней серьезно, не о любовной бестолочи, нет, о книгах, о театре. Он был с ней в кино на «Потемкине». Не приставал. Сказал с видимой взволнованностью: «Не правда ли, очень сильное впечатление, когда кидают в воду?..» У него жена. Значит, это драма. Значит, это подлинные чувства. Нет, не то! Не в «Потемкине», не в жене дело. Но разве знала Таня — в чем?

Вот поднес ей мальчик в матросской шапке билетик: «Тяни». Она закрыла глаза, пробует отшучиваться: «Вытяну счастье», — а у самой дрожат пальцы, и долго они не могут развернуть бумажку. Таня видит цифры, много цифр. Разве счастье такое? А кругом сослуживцы смеются: «Вы, Евдокимова, петушка выиграли», — и мальчишка преглупо дует в глиняную свистулку: «Фью, фью...» — «Не хочу петушка!» Но второй раз тянуть нельзя. Таня всхлипывает. Что это? Неужто она задремала? Стыд какой! Сейчас он придет...

Главное — нужно решиться. Без этого нет свободы. Все время об этом думаешь. Нужно полюбить, хоть по заказу, чтобы вовсе не думать о любви — ходить на службу, слушать лекции, читать хорошие книги, чтобы жить правильной мужской жизнью, без этих горячих снов, тревожных просыпаний и пестряди — «да?» — «нет?». Все подружки Тани давно перешли через это. Они сходятся и расходятся, как будто танцуют, без надрыва, разве что немного всплакнут или на радостях перепутают листы протоколов. Значит, это не страшно. Вот и на диспутах все говорят об этом просто, как об обеде: организм требует столько-то углеводов, столько-то жиров. А муки любви, а поэзия, а огонь, пожирающий души влюбленных, — все это слова, запоздалые видения иной эпохи, пышные и мертвые, как золото иконостаса. Таня хорошо помнит, что все это — «упадничество». Так выразился один умный лектор и, глядя на аудиторию, на Таню, на сотни Тань, чьи пухленькие губки образовывали одно доверчивое «о», сардонически усмехнулся: «Подобные настроения только заслоняют очередной лозунг»... Он правду говорил. Нужно работать. Нужно жить мозгами. А для этого нужно решиться.

Сейчас он придет. Сядет. Заговорит. Какое у него лицо? Таня вдруг перепугалась: она не могла вспомнить его лица. Глаза, кажется, светлые. И усики. Она перечисляла все приметы, но не видела их. Перед ее глазами вращались общие и сугубо бездушные формы: циферблаты часовых магазинов, прически парикмахерской, куда она ходила стричься, фотографии демонстрации, снятые с балкона: муравейник! «В толпе я б его не узнала...» И снова Таня в изумлении спрашивала себя — почему он? Почему не заведующий конторой Воронин? Почему не Прахов? Почему не все эти свистуны и горлодеры Проточного?

Тогда она уступала мечтам, только что ею же высмеянным. Робко спрашивала она себя: «Может быть, я люблю его?» — и это слово как бы перестраивало орган ее чувств. Душа звучала по-иному. Вместо умных лекций теперь вспоминались стихи: «Грубым дается радость, нежным дается печаль»... Как хорошо это сказано! Вот у Юзика горб. И Таня не хочет радости. Она хочет быть тихой, нежной, затеряться среди жизни, любить пламенно и незаметно, утешать, миловать, если не возвышать, то хоть радовать встречаемых, как радуют бродягу вздорные васильки среди золота колосьев. Она вовсе не хочет жить «по

старинке», как дразнит ее Прахов. С жадностью она читает новые книжки, с готовностью работает и учится. Ей хочется быть «шкрабкой» где-нибудь в глухой деревне на окраине России. В жалких избенках, среди снегов и распутиц, неизвестные люди строят нашу страну. Об их судьбе мечтает Таня, хоть и любит она поспорить — «Камерный или Мейерхольд», — потанцевать, побродить по Петровке, где огни, магазины, автомобили, веселая праздничная суматоха. Таня вся с новыми. Но не меняет это звучания чувств, и сейчас она тихо повторяет: «Нежным — печаль»...

Таня нервически вздрогнула: но ведь это смерть, с этим нельзя жить, и тот, кто сказал эти нежные слова, тоже умер! Он умер в унылом «номере», и номерной стер губкой его весеннее имя с доски постояльцев. Таня видела его лицо, прямое, трогательное в своем недоумении, как трава бульваров, на которой играют дети и умирают нищенки. Неужели и Таня должна так же умереть? Она подбежала к окошку. Хлопочет где-то Панкратов. Делят выручку ворюшки. У соседнего окна трепещет перед «адским духом» Юзик. А Таня видит только снег, хороший, мохнатый снег. От снега ей становится весело, очень весело, как в детстве. Кто выдумал, что нужно жить в Италии, среди пальм и прочего? Вот уж не променяет Таня сугробов Проточного на какие-то пальмы! Сколько здесь радости, свежести — салазки мальчишек, воробьи, румянец, вся гордость сердца: «Ну и стужа!..» Да, это не пальмы, это наша чистая, как сердце Тани, зима, настоящая московская зима!

Не надолго хватило и веселья. Что же он не приходит? Одиннадцать. Наверное, занят. Теперь все заняты, все спешат: служба, заседания, доклады. Может быть, это и к лучшему? В жизни, заполненной делом, нет времени для глупых фантазий. Фантазировать стыдно. Нужно жить. Но жить труднее, чем фантазировать, и Таня не знает, как жить. Девочкой она все дни просиживала над переводными картинками. Все здесь тускло и смутно, пока не одерешь осторожно бумажку и не за сверкают огромные розы, синие береги, трава. А дальше? Скучно ведь глядеть на береги, надо выпрашивать у мамы пятак на новые картинки. Вздор! Вздор все — и картинки, и стихи, и мечтания у морозного стекла. Нужно жить, не теряя ни часа. Записаться на курсы социальной психологии. Ходить на собрания культкомиссии. Завести побольше знакомств. Но почему ей уже не хочется жить? И Таня думает: старость. Она подходит

к большому зеркалу и против воли улыбается: ну, какая же может быть старость в девятнадцать лет? Не без кокетства она оправляет короткие, в скобку стриженные волосы и снова с легкой досадой вспоминает: «Я ведь для него спила это платье. Почему он так опаздывает? Может быть, я ему вовсе не нравлюсь? А ведь я...— и Таня недоверчиво осматривает вторую Таню, ту, что в зеркале,— а ведь я могу нравиться...» Перед ней — высокая, узкоплечая девушка с чересчур длинными ногами. Черты лица неправильны, чуть вздернут нос, пожалуй, рот мелок, а глаза большие и, вразрез с черными волосами, светло-синие, на всем какой-то туман, призрачность. Бывают такие дни у нас на севере ранней весной — оттепель, легкий пар, едва окрашенное небо, и не то печаль, не то радость, скорее всего, недоумение, струя холодка робко льется через форточку — со сна говорит природа, и со сна отвечает ей человек, Таня продолжает улыбаться, но теперь эта улыбка растерянная. Она не нравится ему. Не пришел. Тогда раздается звонок.

Дверь открыл Юзик, и Юзик сразу все понял: он хорошо знал обитателей Проточного. Вежливо поздоровавшись, Сахаров пригладил маленькой щеточкой усы и, бочком, по узкому коридору прошел в комнату Тани. Там он церемонно присел на краешек табурета.

— Простите, запоздал. Все дела — ревизия нагрянула, отчеты. А ведь не может человек жить одними сухими идеями. Я не знаю, видели ли вы «Медвежью свадьбу»? — там есть нечто такое...

Махнув неопределенно рукой, Сахаров встал, малость топтался на месте, поглядел на часы: половина двенадцатого, посмотрел на дверь — кажется, заперта,— и деловито, хозяйственно обнял Таню.

Юзик не вернулся к себе. Он прошел к Прахову; тот все еще пыхтел над беспризорными.

— Товарищ Прахов, случилось ужасное. Я только сейчас понял, что такое «адский дух»...

Прахов рассердился: и так ничего не клеится, а тут еще этот горбатый Спиноза со своими фантазиями! Он прикрикнул:

— Не сходите с ума!..

— Я все понял, и я не сошел с ума. Вы думаете, что этого духа нет, если нет рогов? Он может быть вовсе не с рогами, а с усиками. Он может не хохотать, а ходить себе тихонечко на службу.

— У меня, Юзик, и без ваших разговоров трещит башка...

— А у меня болит сердце. Он рядом. Вы понимаете, он у Тани. Я его знаю. Он живет у Панкратовых. Это Сахаров. Это самый низкий человек Проточного. Перед праздниками он попросил у меня контрамарку. Я дал. Но мне было противно в тот вечер играть. Я все время фальшивил. Я стыдился своей скрипки: как можно заставлять ее откровенничать перед такой низкой душонкой! И вот этот самый Сахаров сидит у нее...

Прахов болезненно поморщился, скомкал лист бумаги и выругался похабно. Видимо, вправду нравилась ему соседка.

— Кто был прав, Юзик? Что у Сахарова? Монета. Дело ясное. А вы-то как горячились. Что же вы теперь скажете?

— А скажу, товарищ Прахов, что иногда нужно очень много сил. И еще я попрошу вас — пойдите на улицу. Я не могу оставаться дома. Мы с вами немного погуляем.

— Ночью? В такой мороз? А кто за меня статью напишет? Сто строк о беспризорных...

— Ночью очень хорошо гулять. Я покажу вам беспризорных. Я знаю всех беспризорных Проточного. У вас будет в кармане тысяча строк. Но я вас прошу, товарищ Прахов, уйдемте отсюда скорей...

— Ну, разве что за материалом...

Они вышли. Скрипел снег, сверкал снег, и обжигала щеки студеная ночь.

Люблю я чудаков, гуляющих в зимние ночи по глухим московским переулкам. Нет лучше времени для душевных бесед и целомудренных признаний. На углах стоят извозчики, стоят всю ночь напролет, поджидая сказочных седоков; спят нежно сидящие лошади, спят так и не пришедшие седоки. У извозчиков ресницы мохнатые от инея и от дремоты, мохнатые, как звезды. Пес полагает. И снова все тихо. В подворотне дрыхнет сторож, окунув нос в бараний мех, огромный и страшный, как стрелец на старом лубке. Что, если его окликнуть? Откроет он скрипучую калитку и в промерзшую рукавицу неловко зажмет двугривенный или отрубит голову? Чудаки всё бродят, беседуют, разводят руками. Светятся окна трудолюбивых горемык, а может быть, и разгульников — кто их знает? Сквозь двойные рамы не прольется ни скрип пера, ни звяканье стопочек. Переулки двоятся, сгибаются в коленках, упрямо упираются в тупики, сбивают с толку, но чудакам некуда спешить — все равно не высказать всего, чем полна душа в такую ночь. Пусто как!

Проскрипит одинокий пешеход; далек его путь с Театральной в Зубово, нос щиплет холод, зацветают, как фиалки, углы барашкового воротника, а в ушах ворох звуков: увертюры, арии, аплодисменты. Тихо-тихо. Влюбленные пристроились в будке. Два облачка возле губ. Чиста на морозе любовь и сурова. Девушка похожа на мохнатого зверя, неуклюжая в ботиках, в шубке, в платке. А войдет она в жарко натопленную комнату, скинет все с себя и, тоненькая, волчком завертится — от радости: «Он сказал мне...» Что сказал — неизвестно. Впрочем, кто не знает, что говорят влюбленные ночью в заснеженных переулках? Чудаки всё бродят: трудно им расстаться с милыми сугробами. Однако не такую прогулку сулила нашим приятелям эта зимняя ночь — умеет она быть и другой — темной, затяжной, немилосердной. Образ Тани их преследовал. Не радовали сугробы. Кто это придумал гулять в этакий холод. Прахов негодующе ежился и ворчал. Где же, наконец, беспризорные? Он ведь вышел только за материалом. Юзик знал хорошо и Журавку и Кирышу — не раз он проводил их тайком в «Электру». Сейчас он порадует Прахова: «Вот здесь, я покричу — они мигом вылезут...» Но дыра оказалась заваленной снегом, пусто было вокруг, и невыразительно поглядывали темные окна Панкратовых — хозяева спали, наработавшись за день. Юзик взял Прахова под руку:

— Идемте. Я вас прошу, идемте дальше, куда-нибудь из этого Проточного. Может быть, мы их найдем на Смоленском. Когда я проходил вчера, они еще здесь ночевали. Наверное, Панкратов засыпал днем подвал. Он не хочет, чтоб под ним скреблись какие-то беспризорные. А сегодня такой мороз!.. Вы понимаете, товарищ Прахов, это не люди, это действительно какой-то адский дух...

Но Прахов не верил в духов. Беспризорных он не жалел. Ему было просто холодно, досадно, неуютно: у Тани — Сахаров, статья не написана, зря пропал вечер, зря проходят годы. Чтобы выбиться в люди, нужны силы, а силы убывают. Прахову уже тридцать. Его обгоняют мальчишки, неучи, соплики. Скучно это, как скучна вся жизнь, если нет в ней ни шумных балов, ни ярких огней, ни интриг, ни путешествий, ни цветов, если нечем ее помянуть — только авансы, битки с картошкой да уродливые лифчики секретарши «Женского вестника».

— Ну, Юзик, — марш домой! Духов вы бросьте, или вас посадят в сумасшедший дом. Не такое теперь время. А мораль

из всего этого — ты не возьмешь, другой перехватит. Барышню я прозевал. Вот и с беспризорными... Конечно, Панкратов — сволочь. Но таков, друг мой, закон жизни. Он их вывел, как крыс. А нет — они бы его обобрали. У меня они в трамвае кашне стибрили. Это только вы, Юзик, о других хлопочете. Какое вам, например, дело до этой девчонки? Не разводите, пожалуйста, антимоний. Вы знаете, почему у вас благородства хоть отбавляй? Извольте — потому что у вас горб...

Юзик ничего не ответил. Он только закрыл глаза. Прахов решительно повернул домой. Войти в ворота Юзик, однако, не решился. Начал падать легкий, крупный снег и скоро забелил все. Юзик казался, низкий и широкий, не человеком — сугробом, среди других сугробов, обступивших жалкое жильё.

А наверху, уткнувшись в подушку, плакала Таня. Она плакала тихо, плакала всю ночь, и тогда-то она поняла, какой может быть безвыходной зимняя ночь, когда отбивают четверти стенные часы, капает вода в рукомойнике, под снегом скрипит деревянный домишко, и кажется — никогда уже не будет ни света, ни жизни.

5

Дневник Тани

В верхнем ящике комода лежала толстая тетрадка. Завела ее Таня давно, когда занималась усиленно французским, и на первой странице стояло: «Je fus, nous fûmes. Il vient de donner une nouvelle preuve. Le fauteuil — кресло, salaire — зарплата, l'enseignement — образование». Далее следовали случайные записи: «Прочсть статью Воронского и Романова». «NB = социальные инстинкты у пчел». «Что у Толстого — для нашей школы?». «В красильню — 6.25, Лойтер должна 4 р., на жизнь 8 р. 10 к.). «С какого года профессиональное воспитание?». «Дорогая Шура. Пишу тебе на лекции — скучно. У меня сегодня...» «Служебный 5-16-08». «И ничего не разрешилось весенним ливнем бурных слез...» Дневник Таня начала вести недавно, писала случайно, торопясь, с перерывами. За пять недель размашистым своим почерком она исписала всего-навсего девять страничек.

18 февраля.

Писать стыдно — как будто стоишь голая перед зеркалом. А молчать тоже не могу. Юзику хорошо — у него скрипка. Если б я умела писать стихи! Впрочем, нет, стихи — это чтоб отводить глаза. На самом деле все иначе. И страшнее. Вчера был снова С. Я не хотела. Он нервничал. Разбил пепельницу. Вел себя недостойно. Вид у него был жалкий. Я уступила. А десять минут спустя — я нарочно посмотрела на часы — он уже закуривал преспокойно папиросу и придумывал предлог, чтобы улизнуть. Я сама ему подсказала: «Иди, у тебя, наверно, спешная работа». Он обрадовался, даже руку поцеловал. Бойт-ся разговоров. Здесь точка. Мне это не нужно. Остается вопрос — так всегда или только у нас? Если всегда — почему же романы и прочее? Я стала циничной — это как у собак. Страшно подумать, что сейчас во всех домах, во всей Москве то же самое!.. И так же папиросу!.. Я предпочитаю быть исключением, несчастным случаем.

4 марта.

Стараюсь ни о чем не думать. Курсы — с осени. А отпуск я возьму в июле. Уеду к Шуре. Там-то отдохну. Очень устала. Все выходит так бестолково и обидно. Как будто я вещь. Может быть, это и лучше? Когда я была маленькой, я любила играть с детьми Паршиных в домино. Если хотеть выиграть, всегда волнуешься, и это неприятно. А бывало, решишь — «поддавать» кому-нибудь, сжульничаешь — для другого не стыдно, подсмотришь и нарочно кладешь, чтоб у него скорей всех вышло. Вот тогда-то я радовалась. Вывод?.. Чепуха! Мне девятнадцать лет. Семью сейчас заводить глупо. Эпоха требует другого. А если не иметь детей — все равно. Только очень голо — от этого и слезы. Чепуха!

8 марта.

Шагала. Пела. Привычка? Что же, а на душе спокойней. П. пристаёт, последние дни он стал невыносим. В чем дело? Неужели у меня теперь такой вид, будто я на все согласна, то есть на всех? Какая гадость! А сам П., вовсе не гадкий. Он, по-

жалуй, лучше С. На словах грубее, но чище. Впрочем, этого нельзя знать до... папирски. Фу, как я опустилась! С. я больше к себе не пуцую. Взяла из библиотеки Бабеля: его теперь все читают,

10 марта.

У Бабеля все просто и непонятно — и как любят, и как убивают. Очень страшная книга. А П. говорит, что это «юмористика». Он хоть умный, но легковесный, как оловянная ложка. Все для него ясно. И другие тоже. Ну, в загс. Ну, выпивка. А дальше? Мне очень странно иногда, что я молодая — все кругом рассуждают иначе, проще. Я рядом с ними «тетушка». Вот этот Бабель, наверное, человек пожилой. Говорит он про других спокойно. А как сам живет? Знай его адрес, я пошла бы к нему — спросить. Нет, не пошла бы — стыдно. А поговорить решительно не с кем. Юзик философствует или гримасничает, как будто у него зубы болят. Я ему рассказала о С., а он в ответ: «Я вам примус почию». И за скрипку. Может быть, он и впрямь не в своем уме? Ну, а П., тот все каламбурит. Неужели все люди такие одинокие? Наверное. Вот и вешаются, Ужасно это жестоко придумано — ни смысла, ни радости.

17 марта.

Сегодня у меня знаменательный день. Собственно говоря, ничего не случилось. Я думаю, это от весны. В этом году весна очень ранняя. Странно, что на нас погода может действовать, как на дикарей. Все утро я простояла у Москвы-реки. Шел лед. У меня горело лицо, и я чувствовала, что улыбаюсь. Неловко, и ничего с собой не могла поделать. Мальчишка один подразнил меня: «Вы что это, гражданочка, плачете? Папаша утоп?..» Я рассмеялась, как дура. Река гудела, и сердце тоже. А когда я возвращалась домой — навстречу С. Я спряталась за угол. Не заметил. Вечером пришел П., будто за спичками. Поглядел на меня внимательно: «Вы что ж это, именинница?» — «Весна». — «Весна? А ведь говоря откровенно, весна — величайшее свинство». И ушел. Мне даже жаль его стало. Неудачник. Из партии его вычистили. Играет в казино. Весё в долгах. Пишет, пишет. И на все падок. Я его видела как-то

на Кузнецком у витрины. Зачем ему брошки? А глаза у него были завидующие. Вот так он и на меня смотрит. А мне ничего не нужно — ни брошки, ни любви. Весна!.. Я становлюсь смешной, как Юзик.

18 марта. 2 часа ночи.

Только что ушел С. Я дала себе слово не пускать его, а пустила. Кончать, оказывается, еще труднее, чем начать. Зачем я ему?.. Мало ли таких дур, и к тому же без «настроений»? Говорит — «любовь», а я знаю, что ему нет до меня никакого дела. Умру — все равно. Только так, на четверть часа. Грязь! Я вся в грязи. И выйти из нее уже не сумею. Порву с С., будет П. или еще кто-нибудь. Как скамья на бульваре. Ну, и наплевать! Хочу научиться пить водку...

22 марта.

Позавчера П. угостил меня ликером. Я выпила три рюмки, и на душе сделалось еще мрачней. Но я смеялась. А он стал целовать меня. Я его не прогнала. Мне было безразлично — С. или он. Теперь ясно — я в душе проститутка.

Число не указано.

Если я порву с Сахаровым, я «пойду по рукам». Значит, жить с ним? Но у него жена. Вот этого я не могу понять. Зачем она? Или зачем я? Ведь это подло. Я ее ни разу не видела. С. запретил мне приходить к нему. Он говорит — «урод и ведьма». Думает, что я ревную. А мне только жалко и ее и себя.

26 марта.

Дневник пишут философы или маленькие девочки. А я?.. Я ездила вчера кататься на дутых с П. Я поссорилась навсегда с Юзиком: не хочу нотаций. Все мне противны, и С., и П. «Прощай юность!»

Больше записей в тетрадке не было.

Оттаивало

Стаяли тяжелые сугробы. Причмокивала рыжая жижица под делопроизводительскими калошами, под рваными калошами с газеткой внутри, и сам делопроизводитель тоже чмокал: «Во!» — не то от сырости, не то от умиления. Немало других звуков появилось: грубиянили колеса ломовиков, налетая после теста на камни; дворы визжали: искал там татарин латаную «тройку», и взъерошенный скворец тянул судьбу: из раскрытых нетерпеливым сердцем окон сыпались переборы «тальянки», а то и гриппозное чихание. У Натальи Генриховны отбоя не было от местных франтих, спешивших сменить механку или фетр на веселенькую солому. Грязь стояла в Проточном непролазная — утопнешь, но к грязи относились снисходительно, пожалуй, любовно, позевывали, почесывались, — люди распускались, как почки: начинался сезон любовных отлучек, уличных мордобоев — «на прохладце», — форточных наскоков, выпивок на Воробьевых, кошачьего безобразия, — словом, самый что ни на есть весенний сезон.

Показывались люди наружу, и сразу многое становилось ясным. Так, у гражданки Лойтер оказался наработанный живот. Юзику пришлось утешать Лойтера и Библией и водкой. Выпив две рюмочки, Лойтер охмелел. Он глядел на огромные облака, которые, как перепуганное стадо, неслись по вечернему небу, и жалобно блевал в тазик.

— Приведите сюда эту жилищную комиссию: пусть они измерят живот Ханы и мое сердце, пусть они измерят, как прыгает Осенька, как вертится Раечка, как ходит Илик, — они убегут отсюда. Или мы убежим, вот как эти ненормальные тучи. Когда Лойтер пьет водку, значит, он не может больше. Он не хочет крутить колесо. Если ему не дают капельку посмеяться, он хочет лечь в готовую могилу...

Выползли из логовищ беспризорные. Персюков развелось за зиму, как тараканов, все они сразу выглянули на свет божий и застрекотали. Петька весь день пропадал. Приходил он вечером с синяками, штанишки продраны, совсем ошалелый. От этого, да и не только от этого — было у нее другое, новое горе, — Наталья Генриховна еще сильнее подурнела. Как будто

сошел снег, и показались размытые дороги, бурьян, пустыри, серая окраина заводского поселка, невзрачная, прокопченная, вконец замученная. Теперь и пудра не помогала. Сахарова она видела все реже и реже: «Работа, спешная работа, ревизии, заседания». Весна его воодушевляла — он сиял, как Проточный, весь нафиксатуаренный, забалованный, самодовольный; Поленька томно вздыхала. Грудь болит, тесно — и Наталья Генриховна расстегивала лиф. Наискосок стоял серенький домишко. У молдаванки Наталья Генриховна выпрашивала теперь не приворот, — другое, пострашнее, соблазняла ее червонцами. Беззубая гадалка тряслась, как желе, от жадности и от страха.

Близились праздники. Бабы мыли стекла, и молодое хулиганье, глядя на голые икры, сквернословило. Предстояли куличи, свечечки, флаги — всякое, а главное — предстояла матушка-сорокаградусная, великое утешение Проточного, одна она гонит прочь тоску. Эх, и выпьем же, друзья мои! Как только выпьем!..

Бойко торговал Панкратов: все забирали — сахар, халву, колбасу, балычок. Взлетал человек и выше — даже икорка пла, люди поинтеллигентней доходили даже до лимонов: корочку в графинчик для аромата. Каждый вечер Панкратов кое-что да откладывал. Весну он встретил по-весеннему, с раскрытым сердцем: кончил седьмую, начал восьмую пачку. Приставал к нему один чернявенький: «Как насчет санитарии?» — но Панкратов быстро заткнул ему глотку ведерышком паюсной «первый сорт». Древнее благоденствие открывалось перед бородой: все документы в порядке, воришки прогнаны, растет, растет по-маленьку капиталец. Здоровый был мужик: шестой десяток пошел ему, а прищелкивал он, а кулебяку пожирал, а глядел на женский пол, как молоденький парнишка. Начиналась для Панкратова вторая весна, хотелось ему скандальца, бабья, ухарства, выйти на Лубянку и показать «им» кукиш: «Что, съели Панкратова? Эх вы, пролетарии!..» Конечно, это были только мечты. Даже пойти с какой-нибудь из «таких» в баню и то не решался: расходы, да и на облаву легко попасть, потом уж не отстанут, все денежки, как клопы, высосут. Весна, однако, дразнилась лужами, мокрыми воробьями, женскими глазками: так и стреляли, сукины трясогузки, в почтенное пузо. Не бить же все хромую супругницу зонтиком!.. Надоело!

Улучив минуту, когда жена ушла в камвольный — выбирать новый платок, — Панкратов приямл Поленьку.

— Ой ты! А сестрица что скажет?..

— Цыц!

Не о том мечтала девушка. Нежные чувства она лелеяла к известным своей деликатностью усикам. От боли и страха шире широкого распахнула она рот. Уж Панкратов, подтянув все, собирался в ларек, а Поленька так и лежала с раскрытым ртом.

— Пасть, дура, закрой. Вот тебе треха на пряники. И цыц!

Поленька промолчала, решила — значит, так нужно: как «червячки», как квашня, как шляпный гарнитур — жизнь. На три рубля она купила тихонько от всех брелочек — серебряное сердечко, поднесла его сама себе: «Вам, Поленька, в знак того, что сердце мое пылает» (говорила за Ванечку). Брелок привесила к нательному крестику, легла ничком на кровать и от радости стала взвизгивать, но потом вспомнила бороду Панкратова — «ой ты!» — и всплакнула: пожалела себя.

А Панкратов от удовольствия поскреб бок, зажмурился и забыл всю канитель.

Что там болтают глупцы о подснежниках или о фиалках? Не видно таких цветов в Проточном, да и неинтересные это цветы — ни пышности в них нет, ни осанки. А вот кто доподлинно цвел — это Панкратов, сверкал, благоухал, украшал весь переулочек. Человек, случайно забредший сюда, непременно останавливался перед абрикосовым домиком, с завистью думал: «Живут же люди в уюте, с занавесками, с фикусами, с котом, не то что у нас — двадцать душ на пять комнат. Вот и жизнь здесь, наверное, тихая, мечтательная, прямо-таки абрикосовая жизнь». Да и вправду нежен был домик, тих, благонравен. С удовлетворением Панкратов посматривал на черную дыру: больше не вылезут оттуда разбойники. Тихо теперь стало и в доме, и под домом, — разве что крыса пискнет или захлюпает вода.

В приходском храме Панкратов выстоял всех апостолов, а в пасхальную заутреню, можно сказать, был главной фигурой. Разве без него мыслимо? Чем же тогда Проточному похвастаться и перед богом, и перед людьми? Без него пасхи не было бы... Что же в том удивительного, если отец Василий, кланяясь пастве, с особым благоговением взглянул на чудесную бороду, а борода в ответ утвердительно закивала: «Воистину». Восьмая пачка становилась ощутимой. Ну, и разговоренье было

соответствующее: не пожалели ни водки, ни цукатов в пасху, ни труда на поросеночка — он лежал золотой и невинный, как девический сон, весь обволакиваемый бумажными розанами и слинками проголодавшегося Панкратава. Ели... Мать моя, как ели! Достаточно сказать, что поросенка прикончили по-семейному, без приглашенных. Пил же сам Панкратов — женщины пробавлялись ерундовской мадерой. Выпив, пошел Панкратов к Наталье Генриховне христосоваться. Яичко кокнул, икнул и присосался: «Вот где праздник! Как же дамочку не поцеловать при okazji? Здесь ни рубля, ни прыща не пожалеешь!..»

Под окнами бесновался Проточный. И ладошкой, и штопором, и об стенку. Пили до утра. Конечно, и государству от этого доход, и людям, что называется, веселье. Но только зверел народ: охальничал, дрался, бил стекла. В «Ивановке» две бабы сцепились, когтями раскровенили одна другую. А у делопроизводителя спьяну ошпарили ребенка кипятком. Не обошлось и без «пыряния». На углу Панфильевского какие-то озорники отстрогали начисто ухо у сапожника Федоренко.

Панкратов покрутился, побалагурил, но вдруг завял — года сказались или перехватил? Ведь не менее десяти рюмок сглотнул он, а рюмки у Панкратовых с подвохом, двойные. Что же, и помолились, и разговелись — можно на боковую. Хромая сразу захрапела. Что ей? «Полная чаша». Не так легко было уснуть «самому». Ревел переулоч: «Ай!..» Да и в голову лезли всякие пустячные мысли: «За шоколад переплатил, вот Сидорову на таможне по семи рублей отдали... Инспектору лучше бы не чернослив послать, а кавказский компот — благородней... Полю в баню сведу, спокойней, да и помыться не грех... Поросенка сразу сожрали, сволочи, могли б и говядину — ведь сколько он стоит...» Панкратов кряхтел, пил пиво, плевался. Чего орут? Не могут они без этого — дурачье. А ночь-то какая!.. И крестился. Наконец — это было в шестом часу — начал он засыпать. «Вот тебе и милость господня»; — успел подумать он, но тотчас же вскочил и весь затрясся с перепугу. Сердце как колотилось! Что за наваждение? Под домом стучали, ерзали, копошились. Винный туман застилал комнату, и Панкратов не узнавал знакомых предметов: лампадка казалась ему подбитым глазом, комок — чьей-то спиной. Вот когда сказались все рюмочки! Но что глаз — хуже: стуки, подземная суета продолжались. Панкратов вдруг все понял. Вцепившись в жену, он отчаянно закричал:

— Они! Не иначе, как они!

Женщина со сна завопила:

— Батюшки! Грабят!

Но Панкратов забил ей подушкой рот:

— Молчи. Не понимаешь — кто? Оттаяли. И сюда лезут. Вот ты погляди лучше — кто там в углу подсапывает? Загрызут они нас...

— Что с тобой, Алексеич? Болен ты. Ложись-ка. Я тебя чаем напою. Трясет тебя. Где же это слыхано, чтоб мертвецы ходили? Ведь задохлись они. Опомнись, Алексеич!..

Говоря это, Панкратова сама дрожала — зуб на зуб не попадал. Хоть и не пила она, но кого же такие разговоры не проберут, да еще ночью? Бог их знает, что, если не померещилось ему? Со свечой она вышла на лестницу, опасливо озиралась: хотела Поленьку разбудить, чтобы самовар поставила. Но только-только приоткрыла дверь, как взвизгнула, уронила свечу — кота это проделки, был кот взбудоражен, зол, дразнили его за едой, вот он и метнулся прочь. Услышав визг жены, Панкратов зарычал: «Журавка!» — и пополз на четвереньках, как был, то есть в фланелевых подштанниках, к окошку. Он видел, как задохшийся Журавка с высунутым языком носится из угла в угол, ищет Панкратова, щиплет икры, сверлит штопором живот и длиннущим синим языком лижет, гад, шею, сейчас будет кровь пить. Еле дополз он до цветочного горшка и, покрыв его собою, замер: «Пей!»

Вскоре жена с Поленькой перетащили его на кровать: он сжимал зубы, мотал головой, оглядывался. Стих Проточный — даже самые крепкие и те свалились. Посвистел милиционер. Прогремела Скорая помощь. Так и утро подоспело. Зазвонили в церквах. Наконец-то Панкратов уснул. Спал он долго, проснулся только к вечеру, потянулся, посопел: «Хм, что это еще за белиберда?» — и, прежде чем умыться, не вытерпел — поднял горшок. Все пакки были на месте. Тревожно поглядывала на него супруга:

— Ты, может, полежишь сегодня?

— Что ты мелешь? Это в праздник-то? Лучше дай графинчик и что там осталось — опохмелиться.

Накрыли стол. Горели яички — алые, изумрудные, золотые — и во сне такого сияния не приснится. Даже цветы поставила Панкратова — тюльпаны — подарок «комильфотного» Сахарова. Сам Сахаров забежал поздравить, голубоватый и

благоуханный от густого слоя пудры. Панкратов, лобызая, поморщился — «кобель, а не человек», — но на радостях даже пудру простил.

— Что, Иван Игнатьевич, живем? А здорово мы их законопатили. Теперь-то стаял снег, — пожалуйста, выходите, ребята, на свет божий. Не выйдут!..

Сахаров покривился, заторопился — дела, дела! — и, уходя, скороговоркой забубнил:

— Вам виднее... Меня, собственно, в тот вечер и дома не было...

7

Любя, не любя, погибая

Выпал и Наталье Генриховне праздничек. Сахаров совсем закрутился; новый костюм, который он заказал, весенний, из каштанового коверкота, стоил ровным счетом двадцать червонцев. Это, значит, хватил человек через край. Одна надежда — «мамахен». Ради такого случая Сахаров решил пострадать.

— Тусенька (да, он даже это имя вспомнил — коверкот ведь), знаешь что... У меня сегодня свободный вечер. Пойдемка с тобой в «Музыкальную комедию». Я контрамарки достал.

Мало же знала радости Наталья Генриховна, если вся засияла от этих слов. Кудесник Сахаров, вот к кому бегать бабам из Проточного, а вовсе не к глупой молдаванке. Только захотел — и сдунул с Натальи Генриховны десять лет, как пушинку с шляпы, назвал «Тусенькой» — Тусенька и оказалась, ну, усталая, круги под глазами, бледная — пересидела над книгами, замечталась. Не было в ней больше ни «комифотного» заведения, ни злобных попреков, ни кухонных пересудов, ни шлепков, ни вялых, бескровных щек — перед зеркалом вертелась наивная девушка, спешила, закалывала волосы и с шпилькой в зубах улыбалась Ванечке, как когда-то в «меблирашке», когда принесла свою жизнь и несессер: «Милый»...

Давно она не была в театре. Сосчитать даже страшно. Восемь лет! Вспоминались детские годы, утренники в Мариинском, золото и красный бархат. Огни люстр порхают, как бабочки. Внизу институтки: открытые шейки, тоненькие, беззащитные,

белые пuffy, книксены, шепот: «Он!.. обожаю!..» Над ними формы гимназисток, всякие, коричневые с черными передничками, темно-зеленые, мышинные. Бинокли, серьезные кивки, и вдруг прысканье: «Глядите — носорог-то расфуфырился, в белом жилете»... А еще выше — бобрики мальчишек, полные помады и глубоких мыслей. Вот один из них пишет на либретто: «Пускай толпа клеймит презреньем наш неразагаданный союз»... Это для Туси. Тусе тринадцать, ему тоже (он клянется, будто четырнадцать). Он подойдет к Тусе в фойе, где толкотня возле буфета — раздают крымские яблочки, хорошенькие, как игрушки, оршад в бокалах, словно это шампанское, и пастилу: «Я буду завтра на катке. Мы устраиваем кружок самообразования. Вы, конечно, включены! Но это тайна». Он неуклюже улыбнется ей при выходе, когда Тусю быстро затрет толпа нянек, гувернанток, горничных с беличьими шубками, с ботиками, с пушистыми башлыками. Потом онег, огни. Хлопают рукавицами продрогшие кучера. Верещат извозчики, зазывая седоков... Какой-то студент снисходительно улыбается Тусеньке: «Миленькая мордочка». Дурак! Туся большая — она «включена». Она будет завтра на катке. Ей безразлично, что ее «клеят презреньем». Она счастлива.

— Готова?

Застенчиво улыбаясь, поправила Наталья Генриховна галстук Ванечки. Театр? Да разве в театре дело? Она согласна остаться здесь, на просиженной заказчицами кушетке, лишь бы с ним. Может быть, это перелом? Никогда прежде не знала Наталья Генриховна такого пренебрежения, такой сиротливости. Все из-за той. Не первая это, но обычно ветреный Ваня к ней пристрастился. «Ревизия», «дела»... А сам — шмыг в ворота к Лойтерам. Чем только она его приворожила? Ну, с мордочки ничего. Но мало ли таких? Можно ли сравнить ее с Тусей, с прежней Тусей, за которой кто только не бегал: и поэты, и лучшие танцоры, и забалованные женщинами певцы. Наверно, распушенная. Все они теперь такие. Комсомол!.. Вот и Ванечку этим взяла, бесстыдством, да как взяла — на сына взглянуть не хочет. Третий месяц это тянется. Не раз Наталья Генриховна помышляла о конце, все равно о каком — отравить ее, самой утопиться (на Ванечку она не покушалась даже в мыслях). И вот вдруг, нечаянно, так бывает только в плохо скроенных романах, — настал этот вечер. Неужто он опомнился? Догадался, что для той он только «кавалер» — каждый день у

нее новый, а для Натальи Генриховны — все. Разве пожалела она что-нибудь для Ванечки? Вот он рядом, слабенький, да и что греха таить, гаденький, но свой, родной, любимый...

С нежностью взяла Наталья Генриховна мужа под руку, и пошли они умильной парой вверх по Проточному к остановке трамвая, оставляя позади себя, как облако пыли, шутливые соседы: «Ишь», — не видали никогда Сахаровых вместе, знали про Таню, про молдаванку, болтали про Панкротова, и теперь, среди хлипких луж, среди теплого весеннего пара, изумлялись счастью.

Сахаров кротко шагал, не отнимал руки: терпел. Что делать? Ниоткуда больше таких денег не возьмешь. Все шло как описаному, и, думается, трели опереточной дивы окончательно примирили бы супругов, хотя бы на время, до выкупа коверкового, если бы не глупый случай. Конечно, живя в одном переулке, легко столкнуться нос к носу, однако, выйди они на минуту раньше, не задержись Наталья Генриховна с галстуком, все обошлось бы.

Встречи этой никто не хотел, и первой мыслью всех трех было — убежать. Виноват угол: Таня очутилась прямо перед Сахаровыми. От неожиданности она растерялась, не поздоровалась, но и не отошла в сторону. У Сахарова напряженно бился кончик галстука, усики топорщились. Он первый нашелся:

— Познакомьтесь. Это моя сослуживица — Евдокимова. Жена.

Женщины нерешительно протянули руки, как будто брали с плиты горячую кастрюлю, и, коснувшись перчаткой перчатки, поспешно их отдернули. Заминка продолжалась. Сахаров попробовал сгладить быстрой болтовней:

— Вот, Туся, погляди: замечательная машинистка, семь листов в час шпарит. Ей и диктовать не поспеваешь. Квалификация! И где вы научились так быстро писать?

Таня чувствовала, что Наталья Генриховна когтит ее глазами. Она не могла ни говорить, ни думать, не могла шелохнуть пальцем. Подступали слезы. А Сахаров не замолкал:

— Вы как это попали в наши палестины? К знакомым?

Ничего не соображая, Таня ответила:

— Да, к знакомым.

Здесь Наталья Генриховна не выдержала. Ее разыгрывали! Подумать только, как они смеются каждый вечер: «Ну, что — надул свою благоверную? Ха!..» Она рванулась к Тане. Вид ее

был патетичен и жалок — шляпка набок, космы волос; улыбка, которой хотела она выразить иронию, переходила в судорогу; якобы спокойный голос доходил до нестерпимого визга!

— Вы, милая моя, не забывайте! Думаете, я не знаю? Ошибаетесь. Мой муж мне все рассказывает. У него от меня нет тайн. К честной женщине я, может быть, и притренировалась бы, ну, а к таким... к таким не ревнуют. Одно дело жена, другое... Поняла, мерзавка? И ступай, стреляй других!.. Ванечка, идем скорей, а то мы опоздаем.

Выкрикнув это, она быстро потащила мужа в сторону. Оба молчали. Наталья Генриховна задыхалась — конец! Слишком хорошо начался этот вечер, слишком сердце было растравлено воспоминаниями. А Сахаров покорно семенял за ней. Куда они идут, он не понимал. Глупо вышло... Нужно было сделать вид, что незнакомы. Теперь кому расхлебывать? Ему. Во-первых, с этой... Если б на неделю позже. Костюм пропал. А Таня? Как он к ней покажется? И без того гнала: «Ненасущее». Ух, эти бабы, ломаки, скандалистки! Хуже всего, что Таня ему и вправду нравится: вошел во вкус. Может быть, удалось бы уломать ее... Ну, а после такого пассажа не сунешься. «Как же вы не заступились?» Декламация! Сахаров страдал. Наконец он решился окликнуть Наталью Генриховну:

— Куда ты? Ведь нам направо.

— Я в театр не пойду.

Они повернули домой. Мысль о двадцати червонцах умеряла негодование Сахарова.

Поленька, в окошко увидав, что Сахаровы так скоро вернулись из театра — лица постные, как с похорон, — томительно вздохнула: «Ох ты!..» Сахаров развязал галстук, снял воротничок — жало шею. Сказал он скорее примирительно:

— Ты все же напрасно на улице... Только сплетни разводь!..

Тогда прорвалось:

— Всюду кричать буду! На службу к тебе приду. И как они у себя такую дрянь держат? Ей на Тверскую, а не в машинистки. Ты что думаешь? Я — жена, значит, на меня и плевать можно? Только за деньгами приходишь.

«Не даст! — забеспокоился Сахаров. — Честное слово, не даст! С ума сошла баба...» Однако, стараясь выдержать характер, он вытер платочком лоб, как бы говоря — «вот до чего вы меня измутили», — и процедил, этак снисходительно:

— При чем тут деньги? Деталь.

— Ах, «деталь»? Ну, и получай с нее эти «детали»! Я здесь глаза свои извела, чтобы ты ей подарочки носил? Хватит!.. Можешь хоть в «коты» идти. Она, кажется, получше меня зарабатывает...

Изображать дальше великодушного философа не приходилось. Пропал коверкотовый, мареновый. Сахаров теперь мстил.

— Вы, мамахен, не горячитесь. Мои уши не привыкли к баронским разговорам. Словом, я тебя видеть не могу. Это ты на носу заруби. Меня от тебя тошнит. Вот только достану денег на отступные — перееду. Оставайся в Проточном с титулом. Можешь, между прочим, к Панкратову подъехать. Замечательная пара! А на меня не целься. Кончен бал!

Тогда встала Наталья Генриховна, подошла вплотную к мужу, положила руки на его плечи и, глядя глазами, слишком темными, как бы безумными, в его барахтающиеся глазенки, спокойно сказала:

— Ваня, ты меня на грех толкаешь. Ведь не отдам я тебя. Ты думаешь, я кричать буду? Нет, Ваня, я ее убью. Петькой клянусь. И ничто меня не удержит. В бога я не верю, людей не люблю. Мучили меня люди. Отец мучил. Ты мучил. А о ней и не говорю. Посадят в тюрьму — не страшно. Хуже не придумаешь... Я всю жизнь на тебя положила. Я от своего добра не отступлюсь. Слышишь меня, Ваня?

Если б не ее руки, давно бы убежал Сахаров. Он дрожал. Плохо понимал слова, но голос, но глаза Натальи Генриховны потрясли его. Он попытался вырваться. Тогда Наталья Генриховна упала перед ним на пол:

— Ваня, пожалей меня! Ведь это я — Туся. Помнишь Петербург?

Он ничего не помнил. Высвободившись, он попятился к двери:

— Грозиться?.. Шантажировать?.. Я милицию позову. Я тебя в тюрьму упрячу.

И в дверях он победоносно гаркнул:

— Гутенахт, мамахен...

Выйдя на лестницу, Сахаров заволновался: куда ему идти? В пивную? Денег нет. К Тане? Выкинет. Вдруг его окликнул шепотливый голос Поленьки:

— Что с вами, Иван Игнатьевич? Может, продуло вас?..

Комнатуха Поленьки находилась внизу, рядом с кухней. Панкратовы спали. Сахаров зашел. Он увидел иконку, бумажные цветы, гору подушек, а также серебряное сердечко. Он поморщился. Но идти было некуда, да и неожиданное происшествие казалось ему скорее забавным. Он остался. Он только задул лампу, чтобы не видеть улыбки Поленьки, воистину раздирающей.

Таня не пошла домой. Все в ней дрожало от боли. Казалось, стоит кому-нибудь пальцем до нее дотронуться, и раздастся ужасный крик. Она боялась остаться одна в знакомой комнате. Испачкали ее! За что? Как это случилось? Ведь еще недавно, да, совсем недавно, зимой, она была свободной, легкой, чистой, была сама по себе, писала конспекты, слушала Чайковского, мечтала... И вдруг все переменялось. Не только тело — ее душу превратили в Проточный, где ругаются, дерутся, убивают.

Она бежала по улицам. Широкие бульвары, большие площади, скверы, балюстрады, памятники, фонари сменили домишки Проточного.

Весенними вечерами кипит Москва, и людская толчея похожа на кружение мошкеры вокруг огромного ревербера, утомительная, сладкая эта толчея. Душа, которая много месяцев спит, как муха между двумя рамами, начинает в эту пору чесаться. Юноши дуют пиво и сочиняют стихи. Нет сил усидеть на месте: тепло и ночь смывают человека. По тротуарам медленно движутся толпы. Вначале люди еще разговаривают, жалуются на фининспектора, на ревматизм, на цены — «к шевюту и не подступишься», жужжат острословы, ухажеры соблазняют барышень анекдотами, комплиментами и возвышенно — «ночь какая!» — и попроще — «как же без этого?..». Вначале лица и слова сохраняют обычную свою видимость. На боковой дорожке Никитского бульвара или еще где-нибудь делопроизводитель «Фанертреста» тихо регистрирует подборки и звезды. Вначале Москва — город с положенным ей народонаселением. Но чем дальше толкуются люди по влажным улицам, чем дальше глядят они на озноб фонарей, на электрические буквы: «Крыша», «Автопромторг», «Предатель», на смежные носы, испитые или мечтательные, на все носы прохлаждающихся призраков, тем подозрительнее становится копошение. Чернота, весенняя дурнота, вымысел, зияние. Замолкают гуляющие. Звезды растерянно убегают за облака, милиционеры прячутся в подворотни. Уж никто не знает, куда он

идет и зачем. Ревматизмы превращаются в жестокую истому: улететь или умереть, а здесь еще гудки с Брянского вокзала, с Курского, сводят с ума. Шевиот?.. Ну, какой толк в шевиоте, когда здесь и любовь, и ахинея, и очередное самоубийство. Делопроизводитель погибает. Он хмыкает, вместо «Нашей марки» покупает букетик ландышей, пьет фруктовую воду, — словом, безумствует. Что здесь прикажете делать положительного? Продавать спички по две копейки? Или обсуждать мировую заваруху? Граждан здесь нет. Все это призраки, а в том, что призраки потеют или даже пьют морс, нет ничего удивительного. Так и ходят до полуночи. Потом сразу пустеют бульвары. Водка сменяет весенний воздух, выползают из щелей милиционеры — с пьяным легче, пьяного можно определить, даже оштрафовать. Потом и пьяницы пропадают — кто дрыхнет дома, кто орет в «пьянке». Спят на скамьях беспризорные. Труп самоубийцы стынет в морге, а если и нет его там, то он топчет по квартирам, сводя старые счета с уплотнившими или еще как его обидевшими — на бульварах ему теперь нечего делать. Окруженный белесыми окурками и рассветом, Александр Сергеевич Пушкин в такой-то раз разворачивает свиток, и случайный зевака может явственно видеть, как пресловутое «отвращение» кривит бронзовые губы. Гаснут электрические буквы: «Крыша», «Автопромторг», «Предатель».

Но это — под утро, а Таня пришла сюда вечером. Не пришла — ее донесло человеческое течение. Выбравшись на глухую аллею, она попыталась собраться с мыслями. Как ее обидели! Эта женщина злая. Разве Таня виновата перед ней?.. Гадкая женщина! Но тогда Таня припомнила лицо Натальи Генриховны, лицо измученное и все же прекрасное — никакие лишения, никакие страсти не могли до конца вытравить следы печальной красоты. Увидела она и всю грубость окружения — хриплый голос, растрепанные волосы, гнусные домишки Проточного. Таня почувствовала к обидчице не злобу, а жалость. Каково ей жить с ним всю жизнь, если эти несколько недель унизили, опустошили Таню? Все сильней Таня жалела Наталью Генриховну. У нее сын... Она цепляется за Сахарова, как за щепку. А Таня хотела ее утопить... Нет, Таня ничего не хотела. Она просто делала то, что все делают. Ведь люби она Сахарова, все было бы по-иному. Она не жалела бы Наталью Генриховну. Она кричала бы: «Не отдам», — как та. Тогда это было бы горем. А теперь? Теперь это только грязь.

Значит, она виновата? Да, виновата. Виновата, что у нее нет любви. Дойдя до этого, Таня испытала к себе подлинное отвращение. Если б можно было убежать от себя, оставить здесь, на этой дорожке свое тело, никогда до себя не дотрагиваться, переменить имя, забыть про все!.. Перед ней шла проститутка, походкой легкой, почти неземной: от усталости или от кокаина. Когда показывался одинокий пешеход, сбитый с толку весной и фонарями, как бы незначай она напевала: «Вдвоем гулять интересней». «Вот и я так,— подумала Таня.— Только не решаюсь заговаривать на бульваре. Трусость...» Наталья Генриховна права: она—проститутка. Почему она живет с Сахаровым? Почему целовалась с Праховым? Проходной двор! Мерзость! Лгали все, лгали лектора и подруги—вовсе это не просто, без любви это как убийство, не скрыться никуда от унылых привидений, от раскаяния, от позора. Наталья Генриховна может сейчас подойти и ударить Таню, ударить по щеке—Таня стерпит: за дело.

Но ведь она не родилась преступницей. Она мечтала о другом. Пусть ее мечты были глупенькими, как ситцевое платье, но они были хорошими мечтами. «Организм требует углеводов». Да, да! Она помнит все. «Половые функции»... «Просто у вас, Евдокимова, предрассудки»... Сейчас она может напиться. Пойти с кем угодно—в «номера», на свалку, все равно. «В этой жизни умирать не ново»... Где достают револьвер?..

Вдруг Таня заметила Прахова. Он трусил по бульвару, шевеля губами и помахивая тростью. Наверное, считал строчки. Тани он не видел. Таня вспомнила, как он сказал ей, когда они катались в Сокольниках и от быстрой езды и от цоканья копыт, от весеннего тумана сердце Тани на минуту воспрянуло: «Если проанализировать, никакой любви нет, только инстинкт размножения, ну и надстройки». Он обокрал ее душу! Он, Сахаров, доклады, товарки, Проточный, все, все они будто сговорились обшарить, осмеять, вытоптать то, чем светло и полно девичество.

— Зачем вы меня обокрали?—крикнула Таня не в себе.

Женщина, та, что шла впереди, опасно оглянулась и ускорила шаг. Больше никого вокруг не было, да и услышь ее Прахов, разве он понял бы эти вздорные жалобы? Он знал строчки, скуку и чужую удачу. А кишащие толпы? Полноте—что им до обычных драм на боковых аллеях? У призраков нет ни ушей, ни сердца, самое большее, на что они способны,—это потеть и пить клюквенный морс.

«Без кольца нет конца»

Ну и везет шельмецу! Четвертый раз снимает... С завистью игроки поглядывали на заросший затылок удачника, суеверно меняли места, переругивались.

Не одним Проточным красна наша столица, есть в ней и другие достопримечательные места, как бы созданные для паскудных слов и звериного гогота. Хотя бы казино — не то хитроумная мухоловка с мутным пивцом, в котором плавают доверчивые душонки, не то препочтеннейшее учреждение: устав, швейцары, навощенный паркет. Уж слишком растянуты в жизни удачи и напасти, перемежаются они котлетами, дождиком, легионкой хандрой серого, никак не определившегося денька. Здесь же все на новый, то есть американский, лад, без потери времени: в полчаса и возвеличат тебя и уничтожат, и счастье улыбнется, и запахнет судом, только держись! Придет какой-нибудь кассир, сдаст под номерок честное пальтишко, а с ним и гражданские добродетели, кинет сначала свой кровный канареечный, потом, уж ничего не видя, кроме ряби мастей, червонцы, — и пропал человек. Пальтишко свое он, конечно, получит, но идти ему в этом пальтишке решительно некуда: если топиться, то это только помеха, а в остроге полагается казенная одежда. Разумеется, много здесь и таких, которым все трынтрава. Утром нахапал, ночью продул — такова жизнь. Сдать под расписку или здесь просадить — одно на одно. Посмотришь, как такой, с виду плюгавенький гражданинчик, швыряет ассигнациями, и проймет умиление: вот где цветут наши московские лилии, не думая о хлебе насущном. Больше всего в казино случайных посетителей: долги человека замучили, или, напротив, оказался лишний билетик — вот и заходят «попробовать»: авось?

— Опять снял? Это, я скажу тебе, хватюга...

Прахову действительно на редкость везло. Он пришел сюда с пятеркой, а теперь у него было никак не меньше сорока червонцев. Черт побери — если перевести это на строки — сколько корпения и докуки! Еще разок!.. Сорвалось, не беда. Еще. Кто знает, чем бы это кончилось, если бы не закрыли вовремя казино — час был поздний. Может быть, и вышел бы он без

пятерки, даже без рубля на извозчика, и пошел бы в Проточный, угрюмо прикидывая: из этого казино надо выкроить статейку для «вечерки», да не возьмут — у них свои, месячные... А может, и наоборот — произошло бы нечто вовсе умопомрачительное: ведь выигрывают какие-то анонимы на лотереях по сто тысяч, и никто их за это не трогает. Неизвестно — кто разберется в картах, да еще не сданных? Так или иначе, выйдя из казино, Прахов бойко подозвал извозчика и, не торгуясь, гаркнул:

— На Арбат, в «подвал»!

Он ехал и ликовал: даже езда казалась ему быстрой, увлекательной, хотя кляча еле-еле перебирала ногами, а когда извозчик, отчаявшись, хлестал ее под хвост, меланхолично ржала. Наконец-то повезло и Прахову! Видимо, судьбе надоело изводить его изо дня в день. Прахов подпрыгивал и бормотал: «Перемена декораций», — бормотал что-то и извозчик, но свое, унылое — про овес, про горе.

Жизнь Прахова и впрямь была незавидной. Знали его в Москве все, даже показывали провинциалам, как печальный курьез, вроде прокурора, который продает в Третьяковском проезде краденые перья, или извозчика в пенсне у Никитских ворот: не то чтобы жил он так мизерно, нет, живут люди хуже, да и наш «брат писатель», но уж очень он был назойлив и жалок в борьбе за эту третьесортную жизнь. Все время он рыскал — интервьюировал, просто подслушивал чужие рассказы, выпрашивал рекомендации, предлагал себя как педагога, как музейведа, как киноактера — все, что угодно, только берите! Не раз я его встречал — подойдет в «кружке», нагородит ворох похвал — он, мол, один понимает, выудит что-либо подходящее, глянь — завтра статейка, где какой-то «Спартак» или «Октябринский» кроет меня — и мысли неподходящие, и художества нет. Спросишь его: «Вы это, собственно говоря, зачем?» — а он откровенно: «Секретарь в таком духе просил, ну а сами знаете, хоть счастье не в этом, только без денег не проживешь!..» Так что и сердиться не на что. Однако люди поопрятней гнушались его, и, скажу, несправедливо. Сколько он ночей ухлопал на разные «анастигматы», «крепдешины» и «стойки», а все зря. Ни абрикосового дома не было у него, ни даже английской трубки, о которой он давненько мечтал. Глядели на него в редакциях как на опустившуюся потаскушку.

Не всегда так было. Всего лет семь или восемь тому назад того же Прахова почитали в родном Аткарске чуть ли не за

гения. Занимался он тогда политикой, дрался с чехами, отбирал у кулаков хлеб, составлял резолюции, сажал в тюрьму аткарских эсеров, — словом, разделял все порывы, все горести и страсти своего поколения. Потом случилась заминка — не то он переусердствовал с «твердыми мерами», не то соблазнился легкой, мародерской поживой, а именно — «подухажнул» за женой одного арестованного военспеца, но только пришлось ему от громких дел перейти к заурядной жизни. Но и здесь оказалось, что Прахов «гений»: он начал писать стихи. Ничего в этом удивительного не было: вся Россия занималась тогда патетическим рифмоплетством, и командармы грешили этим, и курьеры главков. Не стоило бы обращать внимания на восторги аткарских барышень. Но на ранних писаниях Прахова лежала действительно печать даровитости, которой не могли скрыть ни провинциальное бахвальство, ни скудность мысли, ни отсутствие вкуса. Видел он многое наново, не по-литературному, и голос его выделялся особым, ему присущим выговором. Было это косноязычие человека, загроможденного смутными чувствованиями. Трудный путь открывался перед молодым автором — нужды, может быть, осмеяния, душевных самоограничений. Прахов не понимал этого. Привыкший к тому, что все дается сразу или вовсе не дается, он уже видел перед собой десятки томов, набитые аудитории, сконфуженных писателей, восторженных юношей.

Что же, он попал в Москву. Это было, кажется, его последней удачей. Жестокая вещь мода, и мода оказалась против него — он запоздал: в столице никто больше не интересовался стихами, ими обьелись, слышать о них не хотели, если из деликатности еще мирились со старыми поэтами, то новых встречали откровенной неприязнью: «Сейчас завоет... И кому это только нужно?..» Прахов обошел все редакции, в одних сразу говорили: «Стихов не печатаем» (вроде как «рукопожатия отменены»), в других из приличия тянули, прятали любовно переписанные Праховым листки в ящики, выдерживали их там месяц, другой, потом начинали разыскивать, искренне ненавидя автора, а под конец возвращали: «Мы материалом обеспечены года на два». Один совестливый критик, впрочем, прочел их. Он читал все, что ему приносили. Может быть, вследствие этого, а может быть, по отсутствию прирожденной чувствительности, он понимал только то, что все уже давно поняли. Прахову он сказал: «Устарело. Маяковщина. Старайтесь больше вникать в жизнь, в строительство нового быта...»

Признания Прахов так и не нашел. Денег тоже не было. В каком-то журнальчике, куда он ходил, все еще надеясь — вдруг тиснут? — ему предложили: «Накатайте сто строк о борьбе «живцов» с «тихоновцами», червонец, пожалуй, заплатим». Прахов вздумал было обидеться, потом поразмыслил — жить-то нужно — и согласился. За церковными темами последовали другие — столовки Нарпита, фильм «Аборт и его последствия», проезд австрийской делегации. Сначала Прахову трудно было писать — выходило по-своему, не те чувства, не те слова, язык слишком густой и крепкий, но быстро он привык. Круг тем расширился: появились дамы, собаки, кадры фильмов, холодильники. Стихов он больше не сочинял, а увидев как-то на дне аткарского сундучка пухлую тетрадь, кинул ее пренебрежительно в печку: «Хлам!» Чин поэта казался ему теперь старомодным, как френч недавних и безвозвратно канувших лет. Он мечтал о бойком словце, о статьях, диктуемых мимоходом стенографистке, о баснословных гонорах, об английском костюме, о всех соблазнах столицы, доступных обладателю пачки червонцев. Как я уже сказал, он переборщил. Все сложилось плохо. Дело это случая, вроде карт казино. Другие, не умней, да и не талантливей, добились денег, почету, автомобиля, заграничных командировок, а у него сорвалось: Проточный, долги, «незаметные заплаты» и чумная слава — «первый халтурщик Москвы».

Но зато как же он радовался сорока выигранным червонцам! Напиться — раз. Костюм — два. Тая — три. Эй, несись, кляча! Для пигмея из Проточного начинается залихватская жизнь. Однако возле Арбатских ворот бесчувственная кляча вовсе остановилась: улица была запружена сборищем зевак. Два драчуна, очевидно опередившие Прахова и успевшие уже приложиться, флегматично обменивались увесистыми затрещинами. Извозчик повернулся к Прахову:

— Народ-то!.. Совершенно обезумел. Ничего не чувствует! Прахов ответил иронической улыбкой:

— Ты что, извозчик, может быть, стихи сочиняешь?

Но тот, уже не оборачиваясь, печально пробормотал:

— Набавить бы двугривенный.

Пошли дни горячие, сумасбродные, похожие на глухой сон: от водки трещала голова, портной лопотал о габардине, официанты превращали весь мир в какое-то уменьшительное — за «кофеечком» следовал «зонтичек» (хотя зонт был огромный,

купеческий), «погодочка», зазывали лихачи: «пажа-пжа», в «кружке» вчерашние насмешники из «вечерки», почуввав дармовое угощение, расхваливали статейки Прахова и пили таинственную смесь из вина и компота, именуемую отвлеченно «напитком», секретарша ревновала, требуя новую сумочку, ругались и философствовали извозчики, за портвейном все началось сначала, то есть с графинчика: Прахов кутил. Не хватало ему только соседки. Хоть ездил он как-то с Таней кататься в Сокольники, хоть и не гнала она его теперь, все же дело тормозилось. Вдруг вскипело в Тане самолюбие, а может быть, и стыд. Прахову приходилось, как водевильному герою, в самый многообещающий момент убираться ни с чем. Приученный все расценивать на деньги, Прахов и здесь считал, что беда в отсутствии монеты — надо бы, покатавшись, заехать в бабак, подарить какую-нибудь финтифлюшку, щегольнуть набитым бумажником, шикарным галстуком... Глупо это, невпопад, но где же было Прахову разбираться в душевных тонкостях? Стихи он давно сжег, давно забыл он, что можно гореть, любить, лить слезы. Оставалась в нем одна мысль — «даром только лягушки квакают». Он никогда не думал: «Может быть, она любит Сахарова?» но: «Сколько же Сахаров на нее тратит?» Выигрыш неожиданно все изменил, и среди выпивок, примерок, катаний по Кузнецкому, Прахов не забыл зайти к знакомому ювелиру, где приобрел за восемь червонцев колечко с тремя крохотными камешками — два топаза и аметист, в виде трилистника. Теперь он был уверен в благополучном завершении дела.

Таня все еще находилась, после объяснения с Натальей Генриховной, в состоянии душевной апатии. Была она — как золотой, выкинутый на двор Проточного, — взять ее мог первый же встречный, так что Прахову не пришлось долго уламывать.

— Поедем в ресторан с музыкой.

Лежать здесь в полутемной комнатке, куда может войти в любую минуту Сахаров, или сидеть с Праховым, среди бумажных роз и свиных котлет? Все равно...

Прахов решил показать себя лицом и расшвырять остаток выигрыша. Он повез Таню на «Крышу». Войдя в зал, полный звяканья стопок, отрывки, гитар, чавканья, хохота, дыма, она на минуту остановилась, как осужденный, увидевший перед собой перекладину виселицы, но сейчас же вспомнила — терять нечего, — и послушно села на указанное Праховым место. Она выпила несколько рюмок водки, от еды отказалась. Пока

Прахов жадно сглатывал севрюжку и отбивные, она молчала. Лицо ее выражало крайнее спокойствие, более того — равнодушное, будто только восковой слепок сидел за столиком, принуждаемый чуждой волей, как вот этот букетик среди саленых тарелок, а душа отсутствовала, витала далеко — в мире синих берегов, пунцовых роз, волшебных лужаек. Это выражение отрешенности смущало Прахова. Он чувствовал, что дело не в бумажнике — все его истины колебались. Показав на эстраду, где две пожилые и чрезвычайно упитанные еврейки в детских платьицах устало подпрыгивали, он сказал:

— Скучная программа.

Таня вздрогнула. Она как бы очнулась от долгого забытья:

— Да? А я и не заметила. Мне, Прахов, вообще скучно, очень скучно.

Тогда что-то екнуло внутри Прахова, будто проснулся в нем прежний аткарский мальчишка, слов нет, грубый, самонадеянный, но горячий, всклокоченный, живой. «Надо бы ей сказать что-нибудь такое, — подумал он. — Но как здесь скажешь?..» С досадой оглядел он столь привлекавший его прежде зал. Кругом сидели Панкратовы, множество Панкратовых, те же бороды, те же лоснящиеся морды, те же «червячки». Они расстегивались, почесывались и, тупо глядя на толстые икры танцевавших женщин, сквернословили: «Эй, задирай, гражданка, этажом выше...» Они хотели за свои деньги всего. Некоторые были с женами, на которых смешно барахтались непривычные шляпки — Наталья Генриховны или другой «комильфотной» мастерицы. Жадно они отбирали от своих послушливых половин недоеденные тарелки и недопитые стаканы. Другие привели сюда «девочек» с Тверской, и здесь же уминали их, как хлебный мякиш. «Да, тут не до лприки, — пробурчал Прахов. — Надо есть и пить». Он налил Тане еще рюмочку:

— Выпейте, веселее станет.

Какая же это была угрюмая ночь! Сменяли прыгавших женщин непристойные куплетисты. Один за другим уходили вдоволь убаженные гости, иных, перехвативших, выволакивали. А Таня и Прахов все сидели друг против друга, как сидят на вокзале два незнакомых путника, поджидая поезда. Они глядели в разные стороны и молчали.

Уже начало светать, когда они встали и, прежде чем спуститься вниз, вышли на открытую веранду. Внизу была

Москва, огромная и непонятная: дома, купола, сады, все то сбитое в кучу, то раскиданное неведь куда, не город — хаос. Не знаю, глядели ли вы сверху на Москву: необычайное это зрелище, от него наполняется душа и гордостью и отчаянием. Можно здесь вознестись — чуден город, пышен, щедр, всего в нем много, печать вдохновенной свободы лежит на нем, ни прямых проспектов, ни унылого однообразия, дом на дом не похож — кто во что горазд, бедность и та задушевна; а можно и поплакать здесь, как будто эта величавая картина поясняет жестокую судьбу русского человека и русского писателя. Город? Не город вовсе — тяжелое нагромождение различных снов; нет в нем единой любви, поддерживающей усталого путника на жизненном пути, нет ни воли, ни подвига, ни разума, как во сне проходят перед глазами то размалеванная луковка, то модный небоскреб, то деревянная лачуга, то базар, то пустырь, все сонное и призрачное, так что хочется воскликнуть: друзья мои, это ли наше великое средоточие?..

Ни Таня, ни Прахов не размышляли о столь высоких и праздных вещах, однако беспомощная торжественность Москвы дошла до их сердец. Она, водка, тоска, а может быть, и близость Тани глушили Прахова. Он изменял всему строю последних лет. Ему захотелось вдруг объяснить Тане, что он вовсе не такой, что есть в нем, помимо «половых функций» или гонорара, человеческая глубина, настоящие чувствования; но как сделать это — он не знал. Он не находил нужных слов, те, что лезли в голову, были захватанными, юркими, гадкими словечками из «вечерки».

— Знаете, я ведь стихи прежде писал, и неплохие.

Таня молчала. Прахов забеспокоился: не верит! Он морщился, пытаясь вспомнить какое-нибудь из своих стихотворений, но на ум приходили только строчки из последней статьи: «Так совершаются органические процессы, и зарождается в толщах...» Наконец, в сердцах, он сказал:

— Вот хотя бы начало одного из них: «Я так любил ее — до грубых шуток, и до...» Нет, дальше не помню. «До грубых шуток...».

Если бы Прахов взгляделся в сероватую тень, стоявшую рядом с ним, то он увидел бы, что на щеках Тани были слезы, но глядел он, раздосадованный, в сторону, начал тяготиться разладом: то или это... Что за нюни!..

Они поехали в Проточный. Ни одним словом не обменялись за долгий путь. Тряслась пролетка, тряслись две головы, угрюмо склоненные, трясся извозчик, и казалось — это не любовная парочка едет из ночного кабака, а везут в покойницкую труп самоубийцы. Прахов прошел в комнату Тани. Ему хотелось не то спать, не то долго и безысходно хныкать как ребенку. Однако его не покидала мысль: сегодня или никогда...

Недавнее смятение все же не прошло без следа. Среди привычного наигранного цинизма то и дело прорывалась трогательная мягкость. Таня, кажется, ничего не чувствовала, кроме усталости и одиночества. Но когда Прахов, уходя, ласково поцеловал ее глаза, она поглядела на него с признательностью. «Если б я не была так измучена, так изгажена, если б могла я полюбить, я, кажется, его полюбила бы. Но он ведь этого не знает. Он думает, что и с ним, как с Сахаровым... Какой ужас!..»

Эти мысли сквозь дурноту, сквозь полусон, сквозь наплыв нежности, которые означали если не любовь, то ее томительное и болезненное зарождение где-то в самой глубине сердца, были прерваны веселой суматохой, поднятой Праховым. Он вдруг вспомнил: а подарок? Да, он настолько поддался наваждению этой ночи, что чуть было не забыл о колечке, хоть вечером оно ему казалось порукой счастья. А вспомнив, он искренне обрадовался. Он видел печаль Тани, терялся перед ней, как перед непонятной болезнью. Может быть, подарок ее развеселит, отвлечет от унылых мыслей... Он надел кольцо на палец Тани:

— Как раз впору...

Таня не сразу поняла, что это.

— Подарочек. Я вчера купил, кажется, красивое...

Таня засмеялась бессмысленно и безысходно, нехорошо засмеялась. Потом какая-то мелькнувшая второпях мысль заставила ее приподняться, переспросить Прахова с тревогой, в которой опытный слух, может быть, различил бы и надежду:

— Что это?.. «Грубая шутка»?..

Прахов совсем растерялся.

— Да что вы? Могу же я вам, после всего, подарить безделку!..

Тогда Таня вскочила, швырнула кольцо на пол и грубо крикнула Прахову:

— Зачем такие фокусы? Могли бы заплатить просто деньгами!..

Прощай, душа!

Таня лежала без мыслей, без воспоминаний, спала с раскрытыми глазами; все более и более отдалялась она от живой жизни. Ночь с Праховым доконала ее, даже не ночь, а исход, эта неожиданная, против воли, нежность к Прахову, еще не успевшая стать подлинным чувством, которая одна могла ее спасти, так глупо раздавленная мужской грубостью. Мертва теперь нежность, она гнет, как труп, вместе с ночью, с девятнадцатью прожитыми годами, с привязанностью к солнцу, к цветам, к человеческому голосу.

За стеной все шло по-обычному: раздувал самовар Лойтер, Юзик пиликал, разучивая новый «кусочек». Прахов, тот как свалился — уснул, сапог не снял, даже не снял с лица гримасы негодования, вызванной выходкой Тани: вот вам, отблагодарила!.. Под окном орали мальчишки — собирались топить на помойке щенят. Сука грустно подвывала. Так вот встают, уныло потягиваются — пора на службу — и долго полощут рот, стараясь отделаться от привкуса жизни, пьют чай, тянут, что называется, ляжку. Тянули ее и в то утро.

А в комнате Тани было тихо, пусто, хоть и лежала Таня, хоть и дышала, шевелила веками. На полу возле двери валялось колечко, — «гранфасон», как сказал Прахову ювелир. Таня о нем не вспоминала. Она прошла через все. Казалось, молодая душа вступает в агонию, нет больше ни живой боли, ни слез, только внезапные судороги, не понятный никому лепет, отмирание.

Тогда боязливо приоткрылась дверь, и в щель просочились неунывающие усики. Долго Сахаров колебался — трусил: прогонит, боялся и скандала покрупнее, крика, огласки, вмешательства подозрительных обитателей квартиры № 6. Однако «сердце — не камень». Забавна, слов нет, влюбленная Поленька, но не может же Сахаров пробавляться одними анекдотцами... Завести новую? Хлопотно, да и накладно. А денег у Сахарова вовсе не было: Наталья Генриховна держалась стойко. Он — о костюме, о заветном, каштановом, а она в ответ о какой-то уголовщине. Черт знает что! Кончена семейная жизнь! Все складывалось против Сахарова, и без натяжки можно сказать, что даже усики его поникли. Он постучался. Таня не

ответила, тогда он решил пойти, даже подойти к кровати, хоть — что ни шаг — пятился назад, обдумывал, как бы в случае чего удрать с достоинством. Что за ерунда!.. Таня не гнала его, не отвечала ему, все так же лежала, широко раскрыв глаза, не двигаясь, как будто и не пришел Сахаров. «Вот до чего зла,— подумал он,— глядеть не хочет. Здесь без дипломатии ничего не выйдет...» Голос Сахарова стал страдающим:

— Ты вот на меня сердисься... А я до точки дошел. Руки я на себя наложить могу. Не веришь? Поздно будет, когда поверишь. Теперь ты видала, с какой я штуковиной живу? Она тебя в три минуты уничтожила, а я — выговорить страшно — я десятый год с ней мучаюсь! Ты постой, постой, я сейчас тебе все объясню!..

Сахаров засуетился, замахал руками, боясь, что Таня станет упрекать его, хотя она, не меняясь в лице, все так же лежала навзничь.

— Ты за тот раз злишься? Очень глупо. Я же тебя выручил. Разве ты знаешь, на что эта баба способна? Разговоры? На разговоры плевать. Но здесь уголовщиной пахнет. Скажи я тогда одно слово — она убила бы нас на месте. Я, Танечка, по любви... Неужели ты этого не чувствуешь? Ну, дай я поцелую тебя...

Он наклонился. Глухо и спокойно сказала Таня:

— Если вы до меня дотронетесь, я закричу. Придут люди. Не стой...

Сахаров, ошеломленный, отскочил:

— Это что за тон? Я, кажется, никогда не злоупотреблял силой. Как вам угодно... Я только объясниться хочу. Это мое право. Подумай-ка сама. Почему я живу с ней? Исключительно из-за ребенка. Ты этого чувства еще не испытала. Но здесь я связан по рукам. Она, мало сказать, истеричка — она ненормальная. Ее бы — на Канатчикову дачу... Ты знаешь, что она мне вчера сказала? «Если не порвешь с ней, я ее убью». И способна. Вот недавно — читала в газетах? — в Ленинграде — одна ведьма, тоже «фон», девушку на куски изрубила и в Неву кинула. Она и меня может убить. Я тебя защищаю. Это — трагедия. А ты из-за каких-то пустяков крик поднимаешь. Стыдно!

— Да, да, я все понимаю. Я не сержусь. Только я прошу тебя — уйди сейчас. У меня голова болит. Я не могу с тобой разговаривать.

— Голова — ерунда. Можешь аспирину принять. У тебя вот и глаза блестят — насморк схватила. Знаешь, что я тебе скажу, — я уж и план выработал. Нельзя жить под вечной угрозой. Как только раздобуду сто червонцев — расплачусь с долгами, обеспечу Петеньку на год, и тогда мы с тобой переедем. Я и комнату присмотрел — в Лялином переулке, — чудесный квартал, это не наш Проточный. Разрубить, так сказать, сплеча. Сейчас нельзя — кризис полнейший. Жалованья третий месяц не выплачивают — высшая политика. Вот я и бегаю с утра до ночи — все пытаюсь набрать двадцать червонцев. Это у меня «долг чести». Ситуация прямо-таки критическая...

Голос Сахарова срывался. Казалось, еще минута, и униженные усики оросятся горячими слезами.

— Вон там кольцо валяется. Возьми. Сколько оно стоит, не знаю. Можешь продать.

Сахаров долго ползал по полу, разыскивая закатившееся под комод колечко. Наконец он нашел его, прищурился с видом знатока, хотя в камнях ничего не смыслил:

— Кажется, настоящие, и работа... Но как же я у тебя возьму? Дашь, а потом самой жалко станет.

— Нет, бери. Я его все равно носить не буду.

— Ну, что ж, в таком случае мерси. Очень глупо, что тебя даже поцеловать за это нельзя.

— Нет, нет, не подходи. Голова болит. И уходи. А кольцо забирай.

Обиженно шевеля усиками, Сахаров засунул колечко в жилетный карман с нарочитой небрежностью, будто это трамвайный билет. Он хотел показать, что нисходит к вздорным желаниям Тани.

— До свидания. Надеюсь, что в следующий раз ты будешь гостеприимней.

Тогда какая-то мысль заставила Таню оживиться, даже встать, пристально взглянув на Сахарова. Может быть, она вспомнила, что как-никак перед ней человек, которому отдала она свое девичество, который видел ее стыд и слезы, не первый прохожий, а проклятый суженый, если и черт, то свой, домашний. Она остановила Сахарова:

— Обожди. Я должна тебе что-то сказать. Ты знаешь, откуда у меня это кольцо? Мне его дал один человек. Я с ним провела ночь. Понимаешь?.. Вместо денег...

Сахаров даже запищал от возмущения:

— Вот как!.. Прикидывалась чистоплюйкой,— «ах, ненастоящее!..» А между прочим... И расцениваешь ты себя не очень-то дорого. О чем я, дурак, думал?..

— Чем ты возмущаешься? Денег ты на меня не тратил. Даже кольцо получил. Жалеть тебе как будто не о чем.

— А обида? Это не в счет? Я ради тебя чуть ли не в монахи записался. Ты что думаешь, мне легко без женщины? Но я ни-ни... А ты в это время...

Таня прервала его:

— Хватит! Поговорили по душам, теперь уходи. А с кольцом — как хочешь, можешь взять...

Сахаров заерзал. Как выйти из положения? Таню он проворнил, это дело пропащее. Но с кольцом? Двадцати, конечно, не дадут, а пять выгнать можно — тоже деньги. Однако — самолюбие. Нельзя же после всего преспокойно раскланяться, как будто и нет у него в кармане никакого кольца. Он бегал по комнате, стараясь выдумать что-нибудь хоть сугубо надменное, но забывлющее его от отдачи презента. Наконец, так ничего и не придумав, он вытянулся и, тпась стать высоким, важным, независимым, как покойный барон фон Майнорт, медленно процедил:

— Я беру его, чтобы показать... ну, презрение. Прощай.

Когда Сахаров вышел, Таня начала смеяться жестоким, нервическим смехом. Она металась по комнате, рвала какие-то бумажки, суетилась, подбирала клочки, и все смеялась. Мускулы ее лица судорожно дергались от приступов этого смеха, а глаза глядели по-прежнему бессмысленно, как забитые окна покинутого жителями города. Потом она выбежала в коридор:

— Юзик! Идите сюда, Юзик! Я расскажу вам смешную историю.

Юзик прибежал, как был — в дырявой фуфайке, со скрипкой. Он очень обрадовался. Две недели Таня с ним не разговаривала: сердилась за нотации. Юзик, как-то увидав у нее бутылочку (Прахов принес), робко спросил: «Не нужно, Татьяна Алексеевна, лучше поезжайте себе в Покровское, там такой удивительный воздух, или я принесу вам котенка, с котенком, по-моему, не так тоскливо...» Две недели терзался Юзик, доводя «комическими кусочками» чувствительную Лойтер до слез. И вот Таня зовет его. Он прибежал сияющий и нежный,

как придорожный кустик в эти весенние дни. Увидев глаза Тани; он, однако, сразу осекся.

— Что же вы испугались, Юзик? Мне просто очень весело. Разве вы не видите, что мне очень весело? Хотите, я и вас развеселю? Смешная все-таки вещь жизнь. Вы только послушайте. Я очень скверная женщина. Но не в этом дело. Сегодня Прахов ночевал у меня. И он дал мне за это кольцо. Видите, какой он деликатный! Он ведь, оказывается, и стихи пишет, поэт! Ну, разве не смешно? Почему вы не смеетесь, Юзик? Обождите, самое веселое впереди. Я дала это кольцо Сахарову. Я ему рассказала все. И знаете, что он сделал? Юзик, он взял кольцо! Смейтесь, Юзик! Это ведь смешно...

Горбун не смеялся. По правде сказать, он плакал, хоть и не мужское это дело, он стоял и плакал настоящими слезами. Но Тая не глядела на него. Ее возбуждение все росло.

— Юзик, я буду сейчас танцевать. А вы играйте. Играйте фокстрот. Ну!..

— Я не могу сейчас играть, Татьяна Алексеевна. Если б я был великим артистом, я сыграл бы самую прекрасную вещь. Я сыграл бы такую вещь, что все стали бы перед вами на колени и заплакали, да, да, и эти низкие души, и мадам Лойтер, и даже дома Проточного. Я сыграл бы, и в ваши глаза вернулась бы жизнь. Но я не великий артист, я жалкий недоучка. Я могу играть, только когда люди смотрят на экран и не слушают музыку. Но разве можно говорить сейчас о музыке? Я тихий человек, но сейчас я способен убить этого низкого Прахова. Татьяна Алексеевна, уезжайте отсюда! Я говорю вам, что есть другая жизнь, честное слово, есть настоящая жизнь! Я буду очень страдать, когда вы уедете, но еще больше я буду радоваться. Вас обидели. Детей всегда обижают. Когда я был маленьким, весь Гомель смеялся над моим горбом. Но вы найдете других людей, и они будут хорошими людьми. Вы говорили, что у вас где-то сестра. Уезжайте к этой сестре. Уезжайте, или я, Юзик, прокляну жизнь!

Пока он говорил, Тая сидела понуро в углу. Вспышка мнимой веселости кончилась. На смену пришло изнеможение. Она плохо соображала, о чем ее просит Юзик. Машинально повторила она:

— Да... сестра...

А минуту спустя уже настойчиво, в упор она спросила Юзика:

— Вы можете достать морфий?

— Татьяна Алексеевна!.. Танечка!.. Не говорите мне таких ужасных вещей. Вы не можете умереть. Я вас не пущу! Вы — благородная душа, и вы найдете благородного человека. Хотите, я буду сторожить вас, как собака, чтобы никто не посмел вас пальцем тронуть? Если б я мог, я принес бы вам не этот проклятый морфий, я принес бы вам все цветы мира, все звезды, весь смех, всю радость. Но что я могу вам принести, кроме моего смешного горба? Я вам не дам пить яд! Я не позволю вам умереть! Я вцеплюсь в вас!..

Он ловил глазами ее глаза, как одержимый, и Таня испугалась его. Она не задумывалась, почему этот чудак кричит, плачет, упрашивает. В своем горе она не замечала любви Юзика, как не замечают на похоронах стыдливого благоухания цветов. Слезы горбуна не доходили до ее сердца. Влекомая одной угрюмой мыслью, задумчиво отвела она руку Юзика. О чем он хлопочет? Разве он не видит, что Таня умерла, что перед ним сидит, дышит, разговаривает не человек, но только случайный набор глаз, волос, слов, привычек? Какая в нем нелепая и надоедливая суетливость! Вот так он и с Праховым, и с Лойтерами, и с Осенькой, у которого, видите ли, «животик болит»... Прахов негодяй, но Прахов правильно прозвал Юзика: «протопоп из Гомеля». Так, видно, в жизни все устроено: если есть в человеке доброта, нежность, отзывчивость, то уж обязательно он смешон. Надо его успокоить и отослать...

— Я пошутила, Юзик. Не бойтесь, все в порядке. Завтра вы перемените в библиотеке книги. Хорошо?

Недоверчиво взглянул Юзик на Таню, нахмурился, приоткрыл рот. Он увидел, что его бессвязные речи не поняты, что весь он комичен, как анекдот, а то и противен, что не в его власти вернуть Тане жизнь. Кажется, впервые, со стыдом, более того — с отвращением, он подумал о своем уродстве. Будь он высоким и стройным, может быть, по-иному звучали бы эти клятвы и мольбы. С невыносимой, даже для бесчувственного уха, грустью сказал он:

— Я пойду. Хорошо, я переменю книги. Я не буду больше вам надоедать моими глупыми разговорами. А вы... а вы...

Растроганно Таня положила руки на плечи Юзика:

— Что я?.. Что же мне остается, Юзик?

Твердо ответил он:

— Радоваться. Вам остается радоваться, Татьяна Алексеевна, да, да, жить и радоваться. Если человек перестает радоваться,— значит, он больше не живет. Я только что сказал себе: «Ты урод и ты дурак». От этого можно умереть. Но вот я живу и я радуюсь, радуюсь, что вижу вас, Танечка...

Лицо его действительно выражало беспредельную радость. Нежность переходила в высокое самозабвение. Но Таня глядела мимо, глядела в окно, на серое дождливое небо, лишенное и окраски и глубины, глядела глазами холодными, отрешенными, как путник, собравшийся в дальний путь, когда завязаны чемоданы, часы торопят — «пора», и одно остается, полное невыразимой печали объятие: прощай, друг! прощай, душа!

10

Улыбка Прозерпины

Несколько раз за день Юзик подходил к двери соседней комнаты и прислушивался. Услыдав легкий шорох, шаги или шелест бумаги (Таня что-то писала, а потом рвала написанное), он немного успокаивался. Даже в кино он не пошел, упросив Лойтера позвонить из пивной, будто он заболел гриппом. Посетителям «Электры» пришлось удовольствоваться пианино, а гражданка Лойтер угрюмо объявила своему супругу:

— Юзик переигрался. Нельзя каждый вечер выворачивать душу. У него вовсе не грипп, у него самое настоящее сумасшествие.

Часов в одиннадцать вечера, подойдя к двери Тани, Юзик ничего не услышал. Он робко поскребся. Ответа не последовало. Тогда он решился заглянуть в замочную скважину. Таня спокойно спала. Равномерно приподымалось на ее груди одеяло. Может быть, она действительно пошутила? Ведь не поняла она ни слез Юзика, ни порывов. Он вспомнил: «Перемените книги»,— и ему стало обидно. «Пойду, поброжу по улицам»,— он знал в жизни одно утешение — ходить среди других людей, глядеть, как они франтят, смеются, целуются; то умилится перед окошком, где цветет самовар, как райская птица

порхает женская рука с чашкой и благоухает поздняя беседа, то сунет мальчонке припасенную карамельку, то пофилософствует с нищим, у которого если не горб, так костыль или погоревшее добро.

Дела Юзика в последнее время как-то не клеились. Конечно, такому уроду не на что надеяться, но уж чересчур все складывалось против него. Заведующий «Электрой» на прошлой неделе объявил: «Вы так фальшивите, что даже публика замечает. Ищите другое место!» Легко сказать — откуда Юзик найдет «другое место»? Теперь лето, теперь режим экономии, теперь никто не хочет музыки; у кого есть деньги, едет в Крым, а у кого нет, тот сидит дома и ждет похорон. Ботинки Юзика превратились в сандалии: все пальцы наружу, и у этих сандалий скоро вовсе не будет подошв. Он дал займы пианисту Шварцу четыре червонца. У Шварца племянница заболела дизентерией, канули деньги. Прежде Юзик ездил из «Электры» — трамвай «Б» довозил его до Смоленского, — теперь возвращался он пешком. Не в этом беда: пешком, пожалуй, приятнее, даже без подметок. Хуже всего, что люди вокруг стали хмурыми, неприязненными. Почему тот же заведующий вдруг решил, что Юзик фальшивит? Засадил его брата и «минус семь». Заведующий возненавидел мир, он перестал бриться и выдавать контрамарки. С Лойтерами теперь заговорить страшно. Шутка? — ждут четвертое пополнение — и все это в одной комнате! Кругом только жалуются: «жалованья не выдают», «сократили», «ботинок не выкроишь», «заказчиц нет», «о даче и не думаем»; никто не радуется, что стоят ясные дни, что зелен и нежен Новинский бульвар, что хорошо жить даже без жалованья и без ботинок. Чужое горе теснит Юзика, от него не отделаешься ни поучениями двух гомельских умников, ни пламенным бредом неизвестного сочинителя.

И вот — Таня! Что будет с Таней? Сейчас она уснула. А завтра?.. А завтра придет к ней Сахаров, или Прахов, или еще какой-нибудь низкий человек, они заставят ее плакать, горько смеяться, говорить о каком-то «морфии» и глядеть на мир ужасными мертвыми глазами. Они убьют ее, выживут из жизни, как выжил Панкратов детишек из своего подвала.

Юзик проходил мимо абрикосового домика. Вспомнил он зимнюю ночь, сугробы, свежезаваленный ход. Куда девались эти дети? С той ночи Юзик больше не встречал их. Может

быть, замерзли они, не найдя теплой норы? Горбун остановился перед освещенным окошком и погрозился жалким младенческим кулачком:

— Злые души! Мелкие души!

У окна стояла Панкратова, она прямо-таки обмерла от столь неожиданного зрелища: .

— Алексеич, гляди-ка! Горбатый жиденок взбесился. Знаки подает...

«Сам» раздраженно харкнул.

— Доколе мы этих «гипиушей» не выкурим, житья нам здесь не будет.

Юзик бежал. Дальше от этих людей! Но не так-то легко отделаться от прилипчивых призраков. Только загнул он за угол, как увидел Прахова; тот трясся на извозчике, возвращаясь домой, после бутылки рябиновки, хоть пьяный, но невеселый: кончены сорок червонцев, катанья, нежные чувства. Завтра придется снова выгонять строчки. Юзик кинулся к пролетке:

— Стойте! Что вы с ней сделали?..

Прахов озлился:

— Эй ты, конек-горбунок, отвяжись!.. «Что сделали»? До меня, дурак, сделали. Только тебя там не было. Извозчик, ты чего остановился? Трогай! Не до разговоров мне...

Подстегнул лошадку извозчик, и вот нет Прахова, будто и не было вовсе его. Потешаются над Юзиком обитатели Проточного. Он стоит посередине мостовой, обруганный, осмеянный. А Прахова и след простыл. Погубил Таню, потом напился у своих красивых актрис. Это и есть жизнь, над которой думают умники? Тогда к черту жизнь! Тогда не Тане нужен «морфий», а ему, Юзику. Он болтал сладкие глупости. «Перл»? Нет никаких «перлов»! Это у Сахарова и кольца, и перлы. Кому здесь нужны улыбки? И можно ли улыбаться, если рядом убивают?..

Долго метался он по улицам и переулкам, грозясь, негодуя, жалуясь перед закрытыми ставнями, перед золотом вывесок, перед фонарями. В душе он произносил бичующие речи, взрывал памятники, вытаптывал цветники. Встречные, однако, подмечали только дикое пошывание глазок. Попробовал он было подсесть к какому-то мрачному гражданину, который хоть и вышел без дела, «воздухом подышать», но воздух этот вдыхал с явным отвращением, а выдыхал с мукой: такой поймет! Но только Юзик начал, как собеседник подозрительно оглядел его:

— Я, гражданин, критикой не занимаюсь. За такие разговоры очень легко попасть в восточную часть Федерации.

Наконец — было это возле Арбатских ворот — Юзик напал на старого нищего, с лицом, памятным ему еще по Проточному. Сосчитал — полтора рубля, рубль он отдал старику, а на полтинник решил зайти с ним в пивную — поговорить. Нищий был ростом высок и, несмотря на сутулость, важен, будто не выпрашивает он «копеечки», а пишет законы или отдает приказы. Юзик даже побаивался его. Неуверенно он предложил:

— У меня осталось пятьдесят копеек. Если хотите, зайдите сюда. Я скажу вам прямо — трудно человеку, даже такому пугалу, как я, жить без душевной беседы...

— Очень приятно. В таком случае разрешите представиться: Освальд Сигизмундович Яншек, бывший преподаватель латыни Первой классической гимназии.

В пивной, куда они зашли, было пусто. Оглядев костюм приятелей, хозяин потребовал деньги вперед. Сидели они друг против друга чопорно, скажу даже, торжественно, как на официальном приеме. Разговор не ладился. Перебирать пустяки — где больше подадут, на Арбате или на Мясницкой, с чего взбеленился заведующий «Электрой», какие у кого обиды — не хотелось. Молча выпили они бутылку. Вынув полученный от Юзика целковый, Освальд Сигизмундович спросил вторую. Еще большей горечью наполнило пиво сердце Юзика. Наконец он не выдержал:

— Вы — бывший преподаватель латыни. Значит, вы многое знаете. Меня никогда не учили латыни. Меня вообще ничему не учили. Я сам научился играть на скрипке, и я не играю, я пиликаю, как сапожник. Мне стыдно перед полотном. Может быть, у этих фотографий имеются уши. У публики нет ушей, у нее нет сердца. Кто смотрит картины, спрошу я вас? Вы? Нет, Сахаров, Панкратовы, Прахов. Они смотрят, как великодушный китаец спасает несчастную девушку, и кричат «браво», а потом они идут домой, пьют чай и преспокойно убивают какую-нибудь девочку. Так зачем мне играть хорошо? Зачем жил Бетховен? Вы знаете какую-то латынь. Это, вероятно, звучит как самая изумительная соната. Но зачем вы их учили этой латыни? Если вы такой умный человек, объясните мне, почему они могут сейчас спокойно спать, а у меня болит сердце?..

Освальд Сигизмундович откашлялся, как будто всходил на кафедру:

— Гм... Как бы вам это объяснить?.. Существуют, например, неправильные глаголы. Вы, молодой человек, отклоняетесь от общего правила. Вы не погнушались обществом нищего. У вас болит сердце. Вы говорите велеречиво, как Цицерон, а улыбаетесь как дитя. Когда-то я думал, что ошибаться не следует. Я даже ставил мальчикам, которые ошибались в роде существительных, низкие баллы. Теперь я вижу, что прав только тот, кто великодушно заблуждается. Не на благородных ли заблуждениях построены прекрасные жизнеописания? Дочь бога нисходит в мир праха и смерти, чтобы цвели вербены, чтобы гремели цепи поселян, чтобы глагольствовал Гораций. Я как бы вижу улыбку этой обреченной девицы: она полна испуга и восторженности.

Юзик взволновался:

— Вы говорите очень красиво и умно, но у меня по-прежнему болит сердце. Вы не хотите ответить мне — зачем улыбаться, зачем играть на скрипке, зачем жить, если рядом вот такая пакость, если этот хозяин пивной, наверное, считает барыши и убивает детей, если все злятся, ругаются, друг друга обижают, если нет на свете никакой, даже самой малюсенькой истины?

— Молодой человек, вы задаете мне праздные вопросы. Когда-то другие юноши спрашивали меня: «Зачем изучать латынь?» Разумеется, я мог ответить им — для аттестата зрелости, для успешного ознакомления с юриспруденцией, с естественными или гуманитарными науками. Я отвечал им: «Этот мертвый язык бесцелен и прекрасен, как вся жизнь. Бескорыстностью своей он пробуждает сонную душу». Много лет прошло с тех пор. Уж я не преподаватель классической гимназии, а нищий. Однако я вижу, что не ошибался.

— Так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Где тогда справедливость? Одно из двух — или вы правы, или они?

— Я был прав. Это — прошедшее время. Они правы — это настоящее. А дети, играющие сейчас погремушками, — будут правы: футурум. Меня выбросили, как вы изволили заметить, потому, что я отжил свой век. Я никого не осуждаю. С удовлетворением глядел я на их флаги, на их шествия, на их воодушевление. Прекрасна, молодой человек, кровь, приливающая к

щекам, и огонь самозабвения в глазах! Среди них имеются мои бывшие ученики. Пусть они смеются надо мной, они тоже любят эту мифическую улыбку. У них тоже существуют свои преподаватели латыни. Я говорю им: живите, шумите, ошибайтесь! Мне не нужен старый мой мундир. Я вам кланяюсь и благодарю вас за то, что вы живете, когда я, Освальд Сигизмундович Яншек, не могу больше жить...

Здесь голос старика наполнился звонкостью и силой. Он встал. Он был прекрасен, как статуя римского оратора. Но хозин пивной не разделял восторгов:

— Довольно разводить музыку! Выпили, а теперь — вон. Пиво, оно любит, чтоб его прогуливали...

Собеседники вышли на улицу. Короткая ночь кончалась. Белесые переулки, полные нежности и тишины, вели их, пугали, умиляли. Что за час, чудный час! Только коты его знают, одни коты бродят по этим предутренним переулкам. У них своя, непонятная жизнь. Они останавливаются, выгибают спины, глядят друг на друга пустыми, безумными глазами, издают легкие восторженные вскрики. Поверьте котам — это время гулять, беседовать, искать завалившееся между камнями мостовой крохотное счастье и ничего не искать, только улыбаться огромному розовому зареву, что охватило полнеба, игрушечную каланчу, купола, дома, вздутые ветерком твои волосы, милая моя московская подруга!..

— Я не русский. Смутно помню я мой родной город, старинные часы на ратуше, кофе с взбитыми сливками, военную музыку. Я привык к этой стране, полюбил ее. Дорогой юноша, верьте мне, нет лучшей страны, чем эта! Огромны ее реки, темна ее судьба. Это страна, где много ошибаются, следовательно, это великодушная страна. Не сыщете вы здесь ни наших школ, ни наших бургомистров, ни наших честных кондитеров. Со стороны кажется, что одни воры вокруг, пьяницы, человекоубийцы. Но где вы найдете столько благородства и снисхождения, столько сумасбродной привязанности, как здесь, в этих злосчастных домиках?

Он остановился, рукой обвел расстилавшуюся перед ним картину: дощатые заборы, церквушка, вывеска часовщика, а дальше, внизу — копошащиеся тени и наша грязная красавица, Золушка — Москва-река. Они стояли на углу Проточного переулка. Юзик возмутился:

— Здесь? Не говорите этого! Поверьте мне, в этих домиках живут недостойные ваших слов люди.

— Кто знает?.. Может быть, здесь живут люди, о которых я недостойн говорить? А улыбка? Разве вы не видели здесь улыбки?..

— Обождите! Вы меня совсем расстроили вашими разговорами. Если б вы знали, на что способны эти люди... Здесь нет никакой истины. Ее нигде нет, даже у ваших бургомистров и кондитеров. Слушайте, я расскажу вам одну историю. Я слышал ее в Гомеле, когда я был еще маленьким мальчиком. Я любил тогда слушать истории. Рассказывал ее старый шамес Ицох. Этот Ицох так прыгал на животе покойника, прежде чем закрыть его глаза, что мертвые кости хрустели, был он ужасно, все гомельские собаки поджимали хвосты. Когда он умер, ему было восемьдесят шесть лет. Перед самой смертью этот Ицох созвал всех добрых евреев Гомеля, засмеялся неприличным смехом и рассказал им такое, что Коган-старший, убегая, потерял зонтик. Вы знаете, что он рассказал им? «Каждый год в «Иом-Кипур» я ел свиные котлеты с горошком. Это — раз. Я украл у вдовы Шиманович брошку. Это — два. Если вы думаете, что Мотька испоганил племянницу госпожи Зибель, так вы ошибаетесь, это я ее испоганил. Это — три... В синагоге я тихонечко напевал самые бесстыдные куплеты, а когда я проказничал с Ривкой, я нарочно надевал на себя священный тфилим. Это — четыре, и это — пять, и это — сто пять. Вы думали, что я хороший еврей, так знайте, что это вовсе не так, мне восемьдесят шесть лет, и я самым спокойным образом умираю, а вы все дураки». Кто в Гомеле тогда не отплевывался, вспоминая покойного шамеса! А я думаю, что этот шамес был неплохим человеком. Может быть, он и свои грехи придумал, чтобы напугать Когана-старшего или других «праведников»? Ему, наверное, было скучно взять себе и тихо умереть. Вот этот Ицох незадолго до своей смерти рассказал мне замечательную историю о луцком раввине.

В городе Луцке жил раввин. Я прошу вас, вообразите все самое необыкновенное — красоту, ум, богатство, молодую жену, — и вот все это было у луцкого раввина. И сам он был тоже молодой. Ну, скажем, ему было двадцать пять лет, как мне. Но не забывайте, вместо горба — стройная фигура, как на картинке, а вместо «Электры» — такая голова, что за советами к нему приезжали умники из десяти губерний. Он знал все

книги, какие только может знать еврей. Если он и не знал латыни, то, наверное, знал что-нибудь такое же непонятное. Он мог бы наслаждаться жизнью, как грешник и как праведник. Он мог бы сиять. И вдруг он просыпается, встает, чувствует, что все не так, не радуется красоте жены, не веселят почтительные вздохи евреев, приехавших из десяти губерний, его не утешают даже книги. Он чувствует, что у него болит вот здесь, как у меня. Тогда он говорит жене: «Прощай, жена!» Он говорит евреям: «Прощайте, еврей!» Он вовсе никуда не уезжает, он уходит к себе в комнату, он запирает дверь. Что такое? Луцкий раввин решил не видеть больше живых людей, чтобы увидеть истину. Он решил просидеть у себя двадцать пять лет, чтобы узнать, где справедливость. И он просидел ровным счетом двадцать пять лет. Ему подавали в окошечко еду, чтобы он не умер до того, как он найдет истину. Об этом узнали не только в Луцке, но и во всех десяти губерниях. Все евреи только и говорили, что о луцком раввине, который ищет истину.

Двадцать пять лет, вы понимаете, сколько это? Но прошли двадцать пять лет, и в доме луцкого раввина собрались набожные евреи, чтобы узнать, где же она, эта «истина»? Вы знаете, что такое «сейдер»? Это пасхальный ужин. Горят свечи. На столе всякие вкусные вещи, и вино, и водка — «пейсаховка». Все ждут, сейчас выйдет он. Гости садятся за стол. Они едят и пьют, хоть у них застревает кусок в горле: что-то сейчас они услышат?.. Но не есть нельзя, раз это «сейдер» — ведь собрались сюда самые благочестивые евреи. Они ждут и ждут, а его все нет. Сначала они еще пробуют улыбаться. Они говорят друг другу приятные вещи. Потом им становится страшно. Почему он не приходит? До какой истины он там дошел? Уж догорели все свечи, только один огарок еще подпрыгивает, как зарезанная курица. Тогда открывается дверь, и входит он. Если свечи догорели, — значит, темно. Что можно увидеть при свете одного огарка? Они видят только седую бороду. Двадцать пять лет не шутка. Луцкий раввин успел поседеть. А он идет к последней свече — и что, вы думаете, он делает? Он гасит ладонью свечу. Боже мой! Вы не понимаете, что это такое? Даже самый плохой еврей постыдится в такой вечер погасить свечу, а ведь это сделал раввин, и перед всеми праведниками десяти губерний. Дрожат от ужаса евреи. В темноте они больше ничего не видят. Тогда раздается его голос, такой печальный,

что сердце разрывается на части, и говорит он, луцкий раввин, всем евреям: «Нет истины, нет справедливости, нет судий!..»

Преподаватель латыни, скажите мне, как вам нравится эта история? Я никогда не вспоминал ее. Разве можно вспоминать такие вещи, да еще когда на спине хорошенькая шишка? Но сегодня я своими глазами увидел то, что увидел луцкий умник, и мне не пришлось для этого двадцать пять лет думать. Я увидел это сразу, как только вошел в комнату одной девушки. Я тоже погасил свечу, и я сошел с ума. Я не хочу больше слушать о какой-то улыбке...

Освальд Сигизмундович сохранял спокойствие, величавость:

— Луцкий раввин ошибался. Он хотел найти общее правило. Он нашел его. А найдя, увидел, что ничего не нашел. Жизнь, мой юный друг, только в исключениях. Вы не хотите мне верить? Вы сомневаетесь в улыбке Прозерпины? Что же, я не стану вам рассказывать о древних происшествиях. Я забыл и летопись Рима, и стихи Вергилия. Я расскажу вам нечто более близкое, а вы поймете, что я прав. Но обождите... Нас никто не услышит? Я не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме вас, услышал меня. Это было зимой. Я жил тогда с беспризорными в подвале. Не спрашивайте меня, где это было. Я не хочу никому мстить. Представьте себе маленький домик, с виду похожий на тот, что перед нами. И вот хозяин этого домика, ночью, когда мы спали...

Юзик вскрикнул.

11

Дверь настежь

Происшествие немало взбудоражило даже видавший виды Проточный, хоть, если взглянуть философически, ничего не произошло, разве что освободилось несколько аршин вожделенной жилплощади. Но следует рассказать все по порядку. Было часов шесть утра, когда наконец-то расстались наши собеседники, вдоволь поговорив обо всем — о сугробах, об истине, даже о мифологии. Ключ потыкался неуклюже, как щенок. Юзик на цыпочках пошел по коридору. Тогда-то он заметил, что дверь комнаты, в которой жила Таня, открыта настежь.

Тани не было. Юзик пометался, пошаркал, повздыхал и наконец, не выдержав, разбудил Лойтера:

— Она бросилась в воду, я чувствую, что она бросилась в воду!

Сначала решили, что это выдумки Юзика: попросту человек рехнулся. Почему в воду? Почему не у подружки? Почему не на даче? Юзик обыскал комнату Тани, но, видимо, она сожгла и тетрадку, и клочки бумаги (ведь писала, писала), ничего он не нашел, кроме знакомых вещей: спитого для Сахарова платья, книжек, губной помады, всего, что так раздрает любящее сердце, присужденное к разлуке. Он настолько растерялся, что даже бегал на берег Москвы-реки и так окликал: «Танечка, милая, не нужно!..» К вечеру и Лойтеры заразились его тревогой. Началось обсуждение. Почему бы такой молодой девушке кончать с собой? Здоровая, служба у нее была, характер веселый. Нет ли здесь чего-нибудь страшнее? От Юзика трудно было добиться толку. Он сидел в темном углу и сам с собой разговаривал, как горячечный: «Преподаватель латыни, почему вы меня обманули?..» Лойтер попробовал поделиться с ним догадками:

— Юзик, а не убили ее?

— Убили.

— Что вы говорите, Юзик?.. Кто же мог ее убить?

— Не знаю. Все! Одним словом, Проточный переулок.

Окончательно изверились в Юзике, когда он схватил выпавшего наконец из своей комнаты заспанного Прахова:

— Вот посмотрите на него — это он ее убил!

Юзик так страшно хрипел и ворочал глазами, что даже Лойтеры замерли: нет ли здесь впрямь какой-либо тайны?.. Прахов, однако, не растерялся. С Юзиком он и разговаривать не стал, Лойтеру же толково разъяснил, что все это, разумеется, бред, логика сумасшедшего, которому место не здесь, а на Канатчиковой, что он провел ночь в Богородске, у своей приятельницы, секретарши «Женского вестника», домой вернулся поздно, часов в пять, и тогда же заметил, что дверь соседней комнаты была раскрыта настежь, но ничего дурного не предположил и лег спать. На Юзика все это не произвело, впрочем, никакого впечатления; он еще раз сурово сказал:

— А все-таки вы ее убили!..

Но здесь и Лойтеры поняли, что Юзик не в своем уме. Решили подождать до утра — не вернется ли Таня. Юзик' всю

ночь бормотал, приговаривал, плакал. Не спал и Прахов. Даже к столу не подходил, хоть следовало ему накатать строк двести. Стороннему наблюдателю его поведение могло бы показаться подозрительным: с чего это он? Ну, побаловался с девушкой. Мало ли таких походов у Прахова? Он бегал из угла в угол, тяжело дышал, пил залпом воду, а посередине ночи вдруг сам с собой заговорил, как будто он не Прахов, но сумасшедший Юзик: «При чем тут я?..» — словом, вел он себя как совестливый преступник, хоть и схоронивший улики, однако наедине с собой жалкий, растерянный, замученный страхами.

За Праховым, однако, никто не следил, к утру он опомнился, умылся и преспокойно сказал, уходя, что по дороге в редакцию забежит куда следует — заявить о таинственном исчезновении жилицы.

Проточный гудел, был полон догадок и пересудов. Здесь-то обнаружилось, как сведущи его обитательницы во всей подноготной. Только и говорили, что о баронессе. Вспоминали и шмыгания к молдаванке, и как Сахаров по ночам пробирался в квартиру Лойтеров, и скандальчик, когда Наталья Генриховна на людях обложила свою соперницу. Были, правда, голоса не в лад: «Может, это проделки горбатого жиденка? Говорят, он теперь без памяти лежит...» — «А не утопилась ли?..» Но все это казалось неубедительным: у горбуна руки коротки, в воду кто же зря кинется, ежели кинут — это другая статья... Зачем придумывать, когда дело ясное: баронесса.

Проточный не осуждал Наталью Генриховну, он скорее радовался — было в этом темном деле некоторое выражение окаянных его фантазий. Не раз здесь показывалась кровь. Полночные драки только растрavляли душу. Проточный ждал добротного, серьезного убийства. На абрикосовый домик теперь поглядывали хоть с опаской, но любовно. Наиболее храбрые заглядывали внутрь, якобы насчет заказов. В мастерской все было в порядке, как будто и не слышал здесь никто о загадочном происшествии: шляпки, раскрытый рот Поленьки, «комильфотность». Кумушки, выбегая, задыхались не то от возмущения, не то от восторга: «Глаза у баронессы бесстыжие, не моргнет...»

Только Сахарова никто не видал. Где он был? Что делал? Да, впрочем, им не очень-то занимались, все понимали, что человек он маленький, и дело его — сторона.

Так прошел день. Из района заявили о происшествии в угрозыск, и стало на свете одной исходящей больше. Уж Лой-

теры подумывали, как бы им завладеть освободившейся комнатой. В агентстве «Связь», узнав об исчезновении Тани, товарки повздыхали, потом начали гадать, удастся ли заведующему Воронину устроить на место Тани свою пятую или шестую племянницу. Вечером явились какие-то люди, допросили Лойтеров, Юзика, Прахова, тщательно осмотрели комнату Тани. Один из них, увидев вложенный в книгу листок, прочитал его и усмехнулся. «Грубым дается радость, нежным дается печаль»... Прахов, тот сидел у себя запершись: будто бы работа спешная. К ночи все успокоилось: наговорились люди, нарадовались, насуетились. Хоть беспокойна летняя ночь, не дает она сна, пропустил час, и уж душу мутит непрошенный рассвет, но уснул кое-как Проточный.

Конечно, не ко всем сошел благодатный сон. В коридоре квартиры № 6 сидел неподвижно Юзик, сидел прямо на полу, голову пригнув к коленям, так что горб казался огромным колпаком, под которым похоронены и блеск глаз и дыхание. Для него не было в этой белой ночи делений, судороги двух зорь, усталости или упования. Он видел одно: раскрытую настежь дверь, уход, не смерть (ведь могла же Таня умереть от тифа) — нечто сугубо страшное, отказ, «спасибо, нет», приговор ему, Юзику, Проточному, всем улицам мира. Куда она ушла? Что значит улыбка, выдуманная улыбка, не Тани, другой девушки, о которой так красиво говорил бывший преподаватель латыни? Юзик дрожал, будто распахнутая дверь образовывала сквозняк, и воздушные течения трепали его слабую душу. Бедный конек-горбунок, он все хотел понять, как легендарный раввин, где же истина, а умел он только горевать и плакать по-простецки: «Я-то еще обиделся, когда она попросила переменить книги!..» Он целовал половицы, по которым ходила Таня. Он вспоминал ее растерянную улыбку: «Что же мне остается?» Он хоронил живую любовь, невольно повторяя движения и слова своих предков; так хоронят евреи в Гомеле, завывая, причитая, раскачиваясь, не веря ни в радость прожитой жизни, ни в грядущее воскресение. Уж светло было, когда он забылся, прижимая к губам оброненный следователем листок: «Грубым дается радость»... О какой радости говорите вы, сумасшедшие люди? Нет никакой радости — только пустая комната, учебник, губная помада, раскрытая дверь, а перед ней горбун, — на часах у ненайденной истины и у потерянного счастья.

Но и грубым не всегда дается радость: уж на что огрубел в жизненных передрягах Прахов, ему было не до радости. Листы бумаги он разложил для отвода глаз. Какая тут работа!.. Что же он делал всю ночь напролет? Здесь придется употребить слово, вышедшее из моды, ничего не поделаешь — только оно определит состояние журналиста: Прахов трепетал. Это не было страхом. В чем угодно, но в трусости упрекнуть его нельзя. Спросите аткарцев — они вам расскажут, и как Прахов отстреливался, окруженный бандой повстанцев, и как с небольшим отрядом покрывал эвакуацию, и как лез в огонь напропалую. Да и чего ему было бояться? К исчезновению соседки он не имел никакого отношения. Совесть его была чиста. Если и наложила она на себя руки, то при чем тут он? Был он с нею мил, обходителен, даже на подарок разорился. Это, граждане, просто эпидемия самоубийств, волна упадничества, захлестнувшая часть нашей молодежи: романсы, гитары, — словом, «есенинщина»... (Так Прахов в мыслях нагонял бескорыстно строки.) Но не помогало это. Вторая ночь оказалась еще страшнее первой. Глупая выходка Юзика не давала ему покоя. Почему он назвал Прахова убийцей? Разве так убивают? Убивают пулей, ну, может быть, жестокостью, изуверством, травлей. Но ни с одной женщиной Прахов не говорил так задушевно, так ласково, как с Таней. Кто смеет всовывать в его руку вместо хорошенького колечка револьвер? Горбуна не мешало бы посадить в сумасшедший дом. Нужно взять себя в руки. Конечно, жаль Таню. Хорошая была девушка. Встреть он ее раньше, в Аткарске, может быть, все было бы иначе. Ведь жиятся люди, живут, кажется, счастливо. Теперь поздно. Слабые погибают. Прахов жив, — значит, он должен работать, выигрывать червонцы, писать. Он принудил себя взять в руки перо, долго и яростно тыкал он его в чернильницу. Но вместо статьи выходили глупые черточки, несвязные слова: «Ювелир Гуревич», «эпидемия самоубийств», «при чем тут я?..». С опаской он поглядывал на дверь. Он знал, что Юзик рядом. Он ненавидел его. Этот горбун отнял у Прахова спокойствие. Что за наваждение? Неужели стоит человеку назвать тебя убийцей, и впрямь ты им становишься? Вздор! Наконец, горбуна можно уничтожить. Его легко раздавить, как огромное насекомое. Вот сейчас выйти, накинуть пальто, чтобы не верещал, и придушить. Тогда все будет кончено. Прахов перестанет быть убийцей. Он сможет снова жить, работать, играть в казино, ездить к секретарше.

Прахов приоткрыл дверь. Юзик сидел в коридоре, уронив на колени свою взъерошенную голову. Не видит... Ну, Прахов, решайся!.. Но тогда, взглядевшись в лицо горбуна, он увидел ребячливую, попросту говоря, глупенькую улыбку: Юзик задремал. Кто знает, что ему снилось: может быть, Таня, обмененные книги из библиотеки, радость не бог весть какая, от которой сердце горбуна во сне разрывалось на части... Улыбка эта потрясла Прахова. Опустились руки. Он начал тихо говорить:

— Юзик, почему же я?.. Это не я... Скажите мне, что это не я... Я ведь от всего сердца... Там на «Крыше»... колечко... Еще в стихах — «до грубых шуток»...

Но Юзик не слышал этих слов. Он только раскрыл глаза и взглянул на Прахова. Был этот взгляд далеким, ничего, кроме недоумения, не выражающим, взглядом человека, еще полного сновидений. Суеверный страх охватил Прахова. Он бросился прочь — на улицу, дальше от этих пустых глаз и распахнутой двери. Он бежал, а в голове, как кровь, стучало: «Я! я! я!»

12

«Явил такую милость»

Сахаровым мало занимались в тот день, а не мешало бы им заняться. Как-никак, он был связан с Таней первым ее большим горем. Неловко же говорить о разных там Лойтерах, когда неизвестно, что происходит в сердце героя! Ах, если бы вовсе не говорить об этом сердце! Если б можно было обойти его, как обходят прохожие зловонные развалины на углу Панфиловского переулка. Но что делать — мы не выбираем жизнь по себе. Залез я в этот Проточный, и брезгать здесь не приходится. Сахарова со счетов не скинешь. Но как же мне не пожаловаться?.. Всем нам в жизни приходится встречаться с такими жалкими людишками, разговаривать о том и о сем, часто и зависеть от них, однако, смотрю я, другие придут к себе домой, вымоют руки, раскроют какое-нибудь увлекательное повествование, и не помнят больше об этих паскудных встречах, умеют стряхивать с себя жалкие воспоминания, как дорожную пыль. А я никак не могу избавиться от назойливой памяти. Даже в

тишине моей комнаты они мне досаждают, все эти Панкратовы и Сахаровы, требуют понимания, чуть ли не участия. Черт бы вас взял, унылые видения моих ночей! Доколе мне суждено жить с вами? Вот встретила Тania, только успел я ей улыбнуться, вспомнить для нее хорошие слова, пусть и старомодные, не ко двору, но чистые, благородные слова, как уже нет Тани. К абрикосовому домику подходят жизнерадостные усики. Что же мне остается? Как Юзик, я глупо бормочу возле раскрытой двери: «Она вернется»...

О загадочном исчезновении Тани Сахаров узнал позже все: его не было в Проточном — он продавал колечко, мало давали, жулики! На лестнице его остановила Поленька, неживая от страха.

— Что-то теперь будет, Иван Игнатьевич?..

— Что будет? Ничего не будет! Шиш с маслом. Надоела ты мне до смерти!

— Да я не о себе, Иван Игнатьевич, Разве вы не слышали? Ваша-то милаша пропала.

Сахаров ответил равнодушно:

— Вот что!..

Мысли его были заняты другим: как бы помириться с Натальей Генриховной? Видно, без нее этих двадцати червонцев не выколотишь. Тания пропала? Ну и шут с ней! Все равно после последнего объяснения Сахаров о ней и не думал: дрянная девчонка, развратная, наглая.

— И потом, что значит «пропала»? Нашла, верно; какого-нибудь гуся и закатилась с ним...

Хладнокровие его не передавалось Поленьке. Ее по-прежнему знобило. Показывая рукой наверх, еле-еле она пролепетала:

— А не она ли это, Иван Игнатьевич?..

Сахарова всего передернуло. Дурак! Как он раньше не подумал? Вот так переplet! Что, если вправду она? Ведь это значит скандал, тюрьма, конец всему. На Поленьку он только прикрикнул:

— Ты что болтаешь? Совсем обалдела, идиотка!

Но в комнату Натальи Генриховны Сахаров вошел запинаясь, он принудил себя войти, поджилки тряслись, как будто лежал там труп зарезанной Тани. Увидав спокойную улыбку жены, он совсем растерялся: что это все значит? Сидит и шьет. Ведь за ней могут сейчас прийти. Нет, не она это! Просто Поленька мелет вздор. И как он поверил?! Понемногу Сахаров

успокаивался, он уже закурил папиросу и начал прикидывать, как бы заговорить о двадцати червонцах, но вдруг Наталья Генриховна, до этого не проронившая ни одного слова, кинулась к нему, обняла его и разразилась буйным истерическим смехом.

Сахаров ее оттолкнул. Он забился в угол. Никогда прежде не видал он Наталью Генриховну такой возбужденной.

— Ванечка, заживем мы теперь с тобой!.. Милый мой!..

И, думая подкупить его, как избалованного ребенка:

— Знаешь, я сегодня получила с двух заказчиц, так что теперь выкупим твой костюм. Пофрантишь ты у меня, Ванечка!

Еще четверть часа тому назад эти слова сделали бы Сахарова счастливым. Но сейчас он даже не обрадовался каштановому костюму. Каждое слово Натальи Генриховны подтверждало правильность догадок Поленьки. С чего это она смеется? С чего, скажите, радуется? С чего раскошелилась? Нечисто здесь! Пронюхала, что он вчера утром заходил к Тане, и сдержала слово. Могла заманить куда-нибудь и — колуном. Или в Москву-реку кинуть. Как та, в Ленинграде... Конечно, она! Но тогда сейчас конец. Раз дура Поленька догадалась, значит, все знают. Припутают и его. Объясняй потом. Вот уже, кажется, стучат внизу...

Сахаров, ни слова не говоря, выбежал из дому. Опасливо оглядел он переулок. Как будто никого... Бежать! Но тотчас он сдержал себя: увидят! Нужно принять беспечный вид, как будто он прогуливается. Улыбаясь, даже насвистывая «Кирпичики», он медленно пошел к Смоленскому. Мысли его мчались взапуски, трусливые, ерундовские мысли. Вчера ее прикончила. Где он был вчера? На службе, потом в «Мосэкусте». Потом? Потом в «Кино-Арсе». Это легко установить. Да, но с пяти до семи — пропуск. Просто он шлялся по бульварам. Вдруг Таня исчезла именно в это время? Тогда у него нет никаких доказательств невиновности. Правда, можно ответить: она — из ревности! Я, наоборот, пострадавший, я — жертва, я так любил покойницу! Я... И вдруг Сахаров вспомнил: кольцо! Страшная улика у него в кармане. Как странно, что его еще не схватили. Схватят сейчас...

Он стоял на углу Смоленского. Он больше не напевал, не улыбался, он готов был упасть на мостовую и завизжать: «Все равно, вяжите скорей, только не пытайте!..» Через минуту он, однако, собрался с мыслями. Выкинуть. Но как? Вдруг заметят? Кто знает — вдруг у какого-нибудь из раскрытых окошек стоит

человек и наблюдает? Мало ли шалопаев? Крикнет: «Гражданин, обронили»... Или, еще хуже, выбежит, подберет, доставит в милицию.

На углу Проточного, прислонившись к забору, спал старенький нищий. Рядом с ним лежал картуз — для подаяния, — разумеется, пустой: кто же ночью кинет копеечку, да еще если спит нищий, не напоминающая торопливым пешеходам: «Явите такую милость»? Опустить в картуз. Старик дрыхнет. А со стороны — кладет самым милосердным образом копеечку. И Сахаров решил. Новые судьбы открывались перед колечком «гранфасон».

Разделавшись с опасной уликой, Сахаров несколько воспрянул духом, он вытер мокрый лоб, облизал усики, усмехнулся: спит, старина, какое же предстоит ему сказочное пробуждение! Вот что значит — «явить такую»...

13

« Душегубка »

После беседы с Юзиком («морфий») следователь считал наиболее вероятной версией самоубийство. Однако Лойтеры упомянули о баронессе, и он счел долгом вызвать Сахаровых. Первой допросили Наталью Генриховну. Отвечала она подробно и вразумительно: да, ревновала, грозилась: «убью» — это верно. Какая же женщина не говорит такого в сердцах? Может быть, и вправду убила бы — не знает. Но судьба смилостивилась. Болтают пустое. После той встречи на улице Наталья Генриховна больше с ней не встречалась. В ночь, когда исчезла девушка, она работала до двух вместе с Поленькой — были срочные заказы, — потом легла спать. Голос Натальи Генриховны звучал искренне, некоторое волнение легко объяснялось как обстановкой, так и тяжестью посвящать постороннего не только в свою семейную жизнь, но и в тайные чувства. Особенно подействовали на следователя слова: «Могла бы убить», — произнесенные с жаром и с горечью испепеленного сердца. Он сострадательно промычал: «Это, собственно говоря, к делу не относится»...

Пока допрашивали Наталью Генриховну, Сахаров переживал в мрачной прихожей неподдельные муки. Он вел себя, как

вор-новичок, пойманный с поличным: обдумывал план защиты, даже помышлял о бегстве. Хорошо, что хоть от кольца избавился! Следовательно Сахаров первым долгом заявил:

— Я здесь ни при чем. Я — жертва. Если и сделала жена такую пакость, то зачем же меня пытатель? Я, наконец, могу развестись с ней.

Следователь насторожился, но никаких данных Сахаров ему не сообщил. Все же, если еще раза три вызывали и Наталью Генриховну, и Поленьку, и Юзика, если несколько раздобрело тощее «дело о пропаже Евдокимовой», то это его, Сахарова, вина. В словах его ясно чувствовалось, что он не сомневается в виновности своей жены. Говорил он не в злобе, напротив, с Натальей Генриховной он теперь помирился и щеголял наконец-то в знаменитом каштановом, нет, просто хотел себя застраховать.

Допросы ни к чему не привели. Прошло три недели. Пыль начала оседать на папку с «делом», да и на воспоминания о Тани. Другие события волновали Проточный — хотя бы кража у Сидурчика, — выкрали у человека среди бела дня новую «тройку» и часы. О баронессе вспоминали редко, но с гордостью: «Бой-баба, выкрутилась». Так думал и Сахаров: «Вот ведьма, все ей с рук сходит!» По-прежнему он был уверен, что исчезновение Тани на ее совести. Как же чисто она все обставила! Иногда раздрало его любопытство: куда она припрятала Танию? Закопала? Утопила? Заговорить с Натальей Генриховной о происшедшем он не решался. Он боялся, что она откроется, тогда поневоле Сахаров станет соучастником. Ведь кто знает — могут еще донюхаться, труп выудят или выползет откуда-нибудь запоздалый очевидец. Вернее всего молчать, не спрашивать, не знать.

Страх переменял весь склад жизни Сахарова. Куда делась его верткость?! Может, года это, обленился он, но вот место Тани так и осталось незанятым. Правда, прощмыгивал он время от времени в комнатушку Поленьки, но по привычке это, да и близко — почему бы не зайти? Стал он чуть ли не домоседом. Попьет вечером чаю и, вместо того чтобы нестись куда-нибудь в «Эрмитаж» или просто на Тверской бульвар, сядет у окошка, глядит, как чешутся собаки Проточного, как жмут местные хваты заказчиц баронессы, как помаленьку идет жизнь. Иногда вспоминал прошлое и вытаскивал балалайку, осыпая переулочек кудреватými жалобами: «Погиб я, мальчишка...»

Казалось, не порадоваться Наталье Генриховне: уничтожена соперница, отвоеван Ванечка, поглядеть со стороны — семья семьей, чем не Панкратовы? Но еще угрюмей стало ее лицо. Молчала и она, молчала оскорбленно, через силу, прикусывая губы, от напряжения ломая пальцы. Радость, так напугавшая Сахарова, быстро прошла, да и была эта радость от недодуманности, от той детскости, которая остается в нас, кажется, до самого гроба. Кругом тогда только и говорили, что об убийстве, пальцем тыкали — «она!». А Наталья Генриховна, услышав шепот Поленьки — «пропала», — решила: чудо, волшебная палочка, было горе и сплыло. Кажется, она одна не видала ни крови, ни смерти. Сдавалась ей — поняла та чужая женщина слезы Натальи Генриховны, устыдилась, отступила. Может, и не злая она, так только ветреница. Молодая, вся жизнь у нее впереди, найдет другое, не краденое счастье, а ведь Наталья Генриховне никуда уже не «пропасть», никуда не уйти от Ванечки, от Проточного. Да, в первый день Наталья Генриховна радовалась, она взволнованно встретила Сахарова, как возвращенного ей судьбой, пыталась сказать ему о своем умилении. Когда же увидела его перепуганные глазки, все в ней оборвалось. Начался искус невыносимого подчас молчания, и уж ничто не могло теперь ее обрадовать — ни конец ревности, колючей и неотвязной, как чахотка, ни улыбочки мужа. Лучше бы шел к той, чем так!..

Наконец Наталья Генриховна не выдержала, попробовала объясниться. Сдерживая себя, она тихо спросила:

— Ваня, ты что — о ней все думаешь?

Сахаров насторожился. У него хотят выкрасть спокойствие!

— Вот еще!.. Мало, что ли, девочек на свете?.. Она, говоря откровенно, страшная дрянь была. С кем только не путалась! Ну, да это дело прошлое. Я о ней и говорить не хочу. Гляди-ка, Панкратов индюшку тащит. Должно быть, к именинам.

— Нет, Ваня, ты мне одно скажи... Ты на меня думаешь?..

Здесь Сахаров вскочил, завизжал:

— Молчи! Слушай не хочю! Я тебе не судья! Но никаких объяснений. Скажешь слово — разведусь.

Не дожидаясь, что ответит Наталья Генриховна, он выбежал из комнаты. Весь вечер пропадал он — с горя дул пиво. А вернувшись под утро, опасливо взглянул на жену, как и в первый вечер, готовый сейчас же дать тягу. Но Наталья Генриховна

не продолжала трагического объяснения. Чуть усмехнувшись, сказала она:

— Ты был прав, завтра именины Петра Алексеевича.

Уж больше она не сомневалась: муж считает ее убийцей. Он боится ее. Все произошло, как она сказала: «Убью, но тебя не отдам». Той нет больше, Ваня с ней. Что неповинна она — это случайность, и Сахаров в случайность не верит. Ведь она сказала следователю: «Могла бы убить...» В чем же дело? Почему невыносимы ей подозрения мужа? Почему лучше ревность, обиды, «мамахен», одиночество, нежели это семейное счастье, оплаченное даже не кровью, только мыслью о крови, выдуманном преступлении? На эти вопросы Наталья Генриховна не могла ответить. Она сама себя не понимала. С удивлением и отчаянием она чувствовала, что и Ваня для нее теперь не Ваня.

Тогда она кидалась к сыну. Но Петька вовсе отбился от рук. Где он только пропадает весь день? С матерью он разговаривать не хочет, даже «Бубика» теперь от него не добьешься. Пробовала Наталья Генриховна наказывать его, запирала в чуланчик, драла за уши, но тогда он рычал, как зверек, глазенки становились злыми и дикими, раз он укусил руку Натальи Генриховны. А отпустишь — только пятки мелькают. Видимо, завелись у него друзья, может быть, это они науськивали его на мать. «Нет у меня больше сына. Петька меня ненавидит...» А дочка? Дочки не будет, хоть и сидит Сахаров дома, хоть лирически тренькает на балалайке: залегла между ними тень Тани.

Был июньский вечер, душный, тошнотный, люди обижаются — хоть бы чуть посвежело, никаким квасом не остудишь распаленного нутра, пыль, вонь; счастливицы, те на дачах, а вот извольте, помайтесь-ка такой вечерок здесь в Проточном. Дома сидеть — не высидишь: духовка, а на улице тоже не легче. Полураздетые все, кто в капоте, кто в одних портках, идут, томно пошатываясь, выругаться как следует и то нет сил — так только отплеиваются. Ну, разумеется, разжива всем, кто с «прохладительным». Чем только не торгуют — и фисташковым мороженым на гривенник, и ананасовой водой, и хлебным квасом, и клюквенным, и какой-то там «фиалкой», и черт знает чем.

Сахаров хандрил у окошка. Выйти, что ли, погулять? Леня одолела. Поленька? Скучно. Уж очень рот у нее страшный: кажется, вот-вот проглотит. Тогда-то попалась ему на глаза

Наталья Генриховна, именно «попалась на глаза», потому что давно он перестал замечать ее присутствие. Ну чем не баба?.. Эта мысль рассмешила Сахарова. Он игриво потянулся, встал и обнял жену, обнял бесстыдно, вкрадчиво, как ответный лове-лас. Сначала Наталья Генриховна показалась, что он над ней насмехается. Но Сахарову затея понравилась, он перемежал сальные шуточки комплиментами, как будто не жена это, а ба-рышня, которую надлежит заговорить. Наталья Генриховна отвыкла от всего этого, она теряла дыхание, не могла выгово-рить слова. Но когда Сахаров, среди прочих ласкательных — и «кисонька» здесь была, и «солнышко» — дунул ей в ухо: «Тусенька», — она оттолкнула его и строго сказала:

— Не я это. Слышишь — не я... Отвечай — веришь?

Как Сахаров сразу не задал стрекача? Был он, видимо, че-ресчур увлечен придуманной игрой. На вопрос Натальи Генри-ховны он и не думал отвечать, он только ловил руками ее пле-чи: «Стой»... Но она не давалась. Отбежав в угол, так что между ней и Сахаровым оказался стол, она еще раз спросила:

— Не веришь? Если на меня думаешь — я тебе больше не жена...

Сахаров, возбужденный, осовелый, с трудом соображал, о чем это она говорит. Ах, вот как!.. Он с ней по-хорошему, а она воспользовалась минутой, чтобы прикрутить его! В ярости он хотел ударить жену, но зацепился за край стола и упал. Он барахтался на полу, как жук. Хоть и неосторожно это было, он завизжал:

— Ух ты!.. И чего ты кривляешься? Просто скажи — за-колола или в реку кинула?

Но тотчас же спохватился — «что я говорю?» Поспешно встал, оправился, хлопнул дверью.

Наталья Генриховна осталась одна. По-прежнему она стояла в углу, сложив на груди руки. Долго она так стояла; уж Са-харов добежал до Арбата, лил в себя теплое, кислое пиво, про-клиная свою падкость на баб, а Наталья Генриховна все еще не могла собраться с мыслями — окаменела. Не от обид: давно к ним привыкла. Нет, она почувствовала сейчас, что мертво ее сердце, нет в нем больше любви к мужу, которая одна поддер-живала ее эти годы, пусто стало, ненужно жить. Вот он обни-мал ее, а ей было от этого стыдно и гадко. Как же он может, если думает, что она убила?.. Ведь будь так, нельзя пить шляп-ки, тогда — муки, огонь, может быть, тюрьма, может быть, жес-

такое счастье — взяла на себя, но только не шуточки: «кисонька»...

Она подошла к окну: грязные тротуары, грязные люди, грязная жизнь. От жары у нее пошла кровь из носа. Увидев на плате красное пятнышко, она задрожала, как будто поднялась с мостовой Проточного кровь и затопила ее. Здесь же она подумала: «Хорошо, что он ушел!» Да, впервые она обрадовалась, что Сахарова нет с ней рядом. «Чужой он мне! Темный! Страшный! Вот как эти, под окнами... Надо приложить к носу мокрое полотенце. Они все думают, что я убила. Хотят меня потопить в крови. Зачем я забралась в этот проклятый переулок? Он посмел назвать меня «Тусенькой»! Он помнит, наверное, лестницу на Мойке. Но разве понимает он, о чем мечтала та девушка, которую звал он тогда вслед за другими «Тусей»? Почему в романах жизнь другая, другие страдания — высокая любовь, каторга, монастырь, баррикады, жертвы, подвиги, а Тусе, хоть было у нее горячее сердце, дали только жиденькие усики и шляпы «комильфо»? Ответьте, вы, с фишашковым!.. А впрочем, все равно — не только романы прочитаны, — прожита жизнь. Поздно начинать ее сызнова. У окна стоит старая, одинокая женщина. Жарко! Парит! Лето-то сухое — давно дождя не было. Ну, все равно... Пора спать. Завтра — шляпы. А сердце? Сердце — насмарку!..»

И вдруг она вспомнила — Петька! Скорей прижать его к себе, увидеть, что он жив, услышать это слово «мама». Мальчик крепко спал. Наталья Генриховна разбудила его. Как безумная, она покрывала поцелуями его руки. Она шептала: «Петенька, не гони ты меня! Один ты у меня остался!..» Спросонья Петька брыкался и плакал, а проснувшись как следует, сердито сказал:

— Уходи!

— Петенька! Пожалей меня! Мы с тобой уедем отсюда...

— Не хочу с тобой. Не люблю тебя.

— Что ты, Петенька?.. Ведь я твоя мама...

— Не мама ты. Ты...

Петька запнулся, видимо, забыл кем-то сказанное слово, морщась, все хотел его припомнить. Как приговора ждала этого слова Наталья Генриховна; рукой прикрыла лицо, горели щеки, слышно было, как тяжело она дышит.

— Да, ты не мама. Я знаю, кто ты. Ты — «душегубка»!

И, выговорив это непонятное, страшное слово, Петька горько расплакался. Наталья Генриховна не плакала, она глядела

перед собой мертвыми, невидящими глазами. Впервые как бы разверзся под ней пол, и увидела она детские личики, раскрытые жадно рты, задыхание, судорогу, смерть. Да, она убийца! Прав Петька, прав Сахаров, все правы. Она в крови. Отойдите от нее! Вот те тянутся, растут, хватают...

В беспамятстве свалилась она на пол.

14

Дается или завоевывается?

Успокоился кое-как Прахов. Больше он не кричал по ночам, не помышлял об уничтожении Юзика. Соседи помирились, подружились. Юзик видел, что Прахову скверно, колечко «гран-фасон» не сошло ему с рук. Он сумел простить этого ничемного человека, который разбил сдуру чужую жизнь — так вот чашку разбивают. Никогда не заговаривали они о прошлом, а так как горбуну нужно было с кем-нибудь нянчиться, он теперь нянчился с Праховым: отвлекал от черных мыслей своим комичным философствованием, играл различные «кусочки», поил чаем. Кто знает, на что человек способен? Если уж раскрыта дверь, кто поручится, что и этот не уйдет?..

Жилось туго обоим: Юзика выставили из «Электры», приходилось теперь играть за рубль-другой на дачах. Прахов тоже почти ничего не зарабатывал. Посудив, они продали за десять червонцев комнату Прахова, тот переехал к горбуну.

Пробовал было Прахов наладить жизнь. Видали его в редакциях, заглянул он как-то в «кружок». Но делал он это нехотя, по привычке. Прошел страх, прошло и раскаяние, едкие, однако, эти чувства, они вытравили из сердца Прахова вкус к жизни.

Какой же это Прахов, если он не рыщет весь день, где бы перехватить червонец, если не смотрит завидушими глазами на щеголей с Петровки, если ему не нужны ни актрисы «Студии», ни почет? Да, это уж не Прахов, нельзя его показывать провинциалам, утеряна одна из достопримечательностей Москвы. За-всегдатаи кружка, увидав его, нахмурились: болен? или дурака валяет? Некоторые даже перестали раскланиваться. То, что Прахов начал походить на обыкновенного человека, оскорбляло всех: живописно уродство, скучно без него.

Впрочем, Прахов не обращал никакого внимания на шушуканья. Все реже и реже заходил он в редакции. Правда, завалил он комнатуху Юзика замаранными листами, но проку от этого не было. Как возврат болезни, проснулась в нем юношеская страсть к стихотворству. Писал он мучительно, не доверяя ни своим чувствам, ни словам, стихи получались тяжелые, угрюмые, без мелодии, без радости, немые стихи. Сам он чувствовал, что пишет плохо, хуже, чем в Аткарске, не дописав стихотворения, начинал другое. Никому он написанного не показывал, но когда становилось невмоготу, начинал читать свои стихи Юзику. Тот слушал насупившись: не понимал он ни этих слов, ни звуков. Чтобы утешить Прахова, Юзик все же говорил:

— Вы хорошо пишете, Боря. Это куда лучше ваших статей. Я, конечно, ничего не понимаю, но это моя вина. Если бы вы прочли ваши стихи преподавателю латыни, он, наверное, понял бы. Пишите всегда стихи. Вот я получу место в кино, и мы заживем припеваючи. Только не пишите ваших «ста строк». Лучше, чтобы никто не понимал вас, чем чтобы понимал какой-нибудь Сахаров...

Зачем писал Прахов? Скорей всего, чтобы не думать. Рифмы заменяли водку, когда водки не было. Он пил теперь много, жестоко, запоем. О Тане Прахов вспоминал редко, боялся вспоминать, а чувствуя, что подступает — по внезапной грусти, по равнодушию к окружающему, по холодку в пальцах и нервной зевоте, — добывал рубль и напивался до бесчувствия.

Не кровь, не глухая уголовщина, не раскаянье мучило его, а сожаленье. Он видел младенческую, слабую, им же задущенную любовь. Он повторял слова Тани: «Что это? грубая шутка?..» Как он тогда не понял? Как не понял, что и вся ночь, и мысли о Тане, и сквернота усмешек, и «Крыша», и колечко были только «грубой шуткой», потому что он любил ее, да, да, любил!..

А надеяться не на что. Месяц прошел. Умерла. Он уговаривал себя: «Слышишь, умерла...» Но это не помогало. Сначала с недоверием, потом со страхом, он наблюдал за ростом в сердце посмертной любви. Нелепое чувство, смешное вдовство! Вот она жила рядом, он преспокойно ездил к секретарше, волочил ся между прочим за Таней, закидывал удочку — еще одна, получил, обнимал, здесь же жевал севрюжку, наслаждаясь про себя — «шик какой», считал кредитки, балагурил, ценил ее в восемь червонцев — столько-то строк, и все тут. Ушел, завалился

спать. А теперь, когда ее нет, ни синих глаз, ни вздернутого носика, ни взволнованного голоса, когда все это разлагается где-то на дне скверной речушки, он только и говорит о ней, для нее пишет бездарные стихи, бродит по жалким воспоминаниям одной коротенькой ночи, как по развалинам дивного города, что ни час, заново влюбляется в тень, в имя, в ничто.

В тот вечер, когда произошло решительное объяснение между Сахаровыми, а может, и не в тот — весь месяц стояла жаркая погода, — в вечер душный и нудный Прахов шел домой пьяный, мрачный. По дороге зашел он в лавку, купил еще бутылочку — боялся ночи, чувствовал, не уйти от Тани. Бред какой-то, вдруг кажется ему, что девушка жива, сейчас, за углом увидит ее. Что же здесь остается, как не тянуть горькую?..

Дома Прахов застал непрошеного гостя: сидел у него какой-то старикашка и читал. Это был Освальд Сигизмундович. После памятной ночи он водился с Юзиком, вместе они философствовали на бульварах, иногда и сюда заходил старик, хоть ворчали Лойтеры: «Юзик жулье к дому приучает». Прахов столкнулся с ним впервые.

— Вы, собственно говоря, гражданин, что здесь делаете?

— Вашего сожителя ожидаю. Его вызвали на экстренную работу. Если стесняю вас, могу удалиться.

Прахов угрюмо буркнул:

— Нет... чего там... Сидите... Хотя с виду вы вроде Сократа, можно и клюкнуть вместе. Кто это сказал, что Сократ водки не пил? Вы на меня с высоты не поглядывайте, пейте лучше. За здоровье всех мамаш!..

Освальд Сигизмундович церемонно поблагодарил и выпил одну рюмку.

— Благодарствую. Больше лета не позволяют.

— Что лета? Вздор! Мне вот только тридцать, а я вдвое больше вашего пережил. Разве вы жили? Так, чаепитие одно. Я хоть и нализался сегодня, но все понимаю. У нас один год — за десять ваших. Революция — это вам не кот наплакал. Вот и ничего от вас не осталось. Как в загадке — дыра от бублика. Вы, например, чем занимаетесь? Вот что. Ну, а до катавасии? Латынь? Детей, значит, мучили? Допустим. Теперь позвольте спросить вас — в бога не верите?

Прахов был неприятен Освальду Сигизмундовичу, но все же старик серьезно ответил:

— Нет. В красоту Олимпа. И еще в исключения.

— Так. Теперь позвольте спросить вас, что же вы делали, когда дело дошло до пулеметиков? Фалды мундира задрали? Почему вы за этот самый Олимп не вступились? Ну, а проще говоря, если «подайте копеечку», так нечего на меня свысока смотреть. Пейте и помалкивайте.

Так всегда бывало с Праховым: тяжелый хмель, хочет сорвать на ком-нибудь сердце, унижить, оскорбить. Освальд Сигизмундович был приучен к попрекам прохожих. Спокойно отсел он в сторону и вновь принялся за чтение. Это еще больше раздражало Прахова: что здесь? библиотека? Задается Сократ! Он начал его задавать:

— Читаете? Думаете — пьяный пристаёт, а я, мол, знаток античных красот, пренебрегаю. Так... Но вот не противно ли вам собственное ремесло? Признайтесь — противно? Могли бы вы удрать за границу. Вы чех, что ли? Там у вас все на своем месте. Вместо паршивой водки нечто благоуханное. Бенедиктинчик. Стояли бы вы на кафедре. Оно, знаете, лестно, не то что руку протягивать. Вот я вас прошу — ответьте мне искренне, как же вы можете так жить?

Освальд Сигизмундович пожал плечами, грустно улыбнулся:

— Я мог бы вам вовсе не отвечать. Прежде всего, вы пьяны. Однако не в том суть. Вы, наверное, и в трезвом виде лишены благородства. У вас уклончивые глаза. Я пришел к вашему сожителю. Вас я не знаю. Но я привык говорить с тупыми и заносчивыми детьми. Вместо ответа я прочту вам цитату из этой книги. Это не учебник латыни и не жизнеописание Сократа. Это перевод с французского. Некто аббат Дюкло описывает путешествия по Центральной Африке. Книга эта старая, подобрал я ее на Смоленском, да и по правде сказать — глупая книга. Но редко мне приходится теперь читать, поэтому каждая строка останавливает внимание. Перед тем как вы пришли, я прочел следующее:

«Области, лежащие по ту сторону этой реки, заселены племенем, которого еще не коснулось благотворное влияние нашей цивилизации. Заблуждения туземцев способны вызвать у просвещенного читателя снисходительную улыбку. Так, например, они утверждают, что человек, разоряясь, обогащается. Год падежа скота почитается у них за праздничный, и они поздравляют погорельцев, как существ, отмеченных милостью судьбы...»

Читал Освальд Сигизмундович медленно, назидательно, а кончив чтение, будто это в гимназии, спросил Прахова:

— Поняли?

Тот опешил:

— Как будто... Вы что же... сектант?

— Я уже сказал вам, я — нищий, самый вульгарный нищий. А прочитанного мною вы не поняли. Пьяны или не доросли.

Здесь Прахов обиделся:

— То есть как это «не понял»? Тут и понимать нечего. Болтовня! И потом, то вы под Сократа работаете, то под Толстого. Не годится! Граф, конечно, хорошо писал. Но устарело это. Для Толстого у вас и борода мала. Я вам прямо скажу — мне противно такую белиберду слушать. Вы не сердитесь, если я вас обидел. Это не я — сорок градусов в ней. Но вот, говоря серьезно, борются люди за свое счастье, побеждают, проигрывают, а вы губами шевелите. Ведь я не злой человек — спросите Юзика, а от вашего спокойствия у меня все внутри закипает...

— И вы на меня не сердитесь,— примирительно ответил старик,— я не хотел осудить вас. Просто стар я, за вами мне не угнаться. Если это успокоит вас, я с вами выпью еще одну рюмку. А насчет счастья, увольте, не верю. Вы вот бегаете, суетесь, а может быть, счастье у вас под ногами валяется. Иногда оно дается, но уж никогда не завоевывается.

Сам того не зная, Освальд Сигизмундович попал в точку. Ведь это он о Тане!.. Прахов подбежал к окну. Духота какая! «Валяется под ногами»!.. Из белесоватой мглы выступило лицо Тани, горестное и нежное, такой видел ее Прахов утром, когда она спросила о колечке.

Внизу барахтались обитатели Проточного. Странно дышат люди в такую жару, как рыбы, и глаза у них становятся рыбьими — маленькие, мутненькие, не жизнь — живорыбный садок. Прахов разомлел, осовел, приткнулся в углу. Жарища! И захотелось ему лирики, жалоб, участия. Он уже не нападал, а хныкал:

— Мне-то что делать? Вам хорошо, старику! А я жить должен. Кудаюсь туда-сюда. В казино играл. Выиграл — прокутил. Даже не заметил. Скучно! Мне вот одна женщина нравилась. Кривляться нечего — я, кажется, не скопец. И что же? Прозевал. Перехватил ее какой-то фрукт. Сунулся — поздно. Я с ней до стихов дошел, А она взяла и сбежала. Просто, как шоколад,

Вот и пью водку. А вы мне еще о счастье говорите. Нет никакого счастья! Так только — слово в лексиконе, для детей дошкольного возраста.

— Жалко мне вас, молодой человек. Спорить с вами я не стану. Знаете, что такое притча? Так вот я расскажу вам поучительную притчу. Ночь. На улице сидит бездомный старик. Никто не дал ему даже пятака на хлеб. Он голоден и очень печален. Он готов усомниться в человеческом сердце. Он засыпает, и ему снятся нехорошие сны: попреки, облава, тюрьма, одиночество, грубая, торопливая смерть. И вот мимо него проходит молоденькая женщина. Она останавливается. Нищий спит. Сострадание, большое, как звездное небо, в ее глазах. Она смотрит в сумочку — у нее нет ничего. Женщина эта тоже бедна. Тогда она снимает с руки кольцо. Может быть, это память о ее покойной матери или подарок возлюбленного. Тихо кладет она кольцо в шапку нищего и тихо, боясь потревожить его сон, уходит. Никогда старик не узнает ни ее имени, ни черт ее лица. Он просыпается, он находит перед собой нечаянное богатство. Он голоден. Он может продать этот перстень и купить на него много хлеба. Но он не хочет расстаться с никчемной безделушкой. Он смотрит на нее. Он больше не чувствует ни голода, ни старости, ни одиночества. Он знает, что не ошибался, когда верил в человеческое сердце. Вот, молодой человек, что случается с жалким нищим в темном переулке. От вас ушла любимая девушка. Вы не смогли завоевать счастье. Вы кричите, и вы клянете мир. Кто знает, быть может, это она дала старику последнюю его радость?..

Прахов усмехнулся:

— Совсем под Толстого работаете, а я думал — Сократ. Малиновый сироп! Только где вы видали таких сердобольных барышень и бескорыстных нищих?

Освальд Сигизмундович ничего не ответил. После едва заметного колебания он вынул из кармана маленькое колечко и показал его Прахову. Разыгралась немая сцена, полная неожиданного для обоих трагизма. Мог ли не узнать Прахов злополучного подношения? Он замер — перед ним стояла Таня: «Что это?..» Ему показывали страшную улику. Он крепко сжал руку старика, боясь, что тот попытается убежать.

— Ах, вот что!.. Обчистил ее!.. убил!.. Отвечай, убил?

Спокойно глядел Освальд Сигизмундович на Прахова серыми печальными глазами, глядел и молчал. А Прахов ждал.

Несмотря на ярость, он почувствовал вдруг освобождение. Мысль о том, что Таню убил какой-то нищий, была ему приятной. Это снимало вину с него. Это и уничтожало надежды: «А вдруг жива?» Это закрывало тревожную историю всего месяца.

— Ну?.. Убийца!

Тогда Освальд Сигизмундович резко встал, высвободил свою руку и высокомерно проговорил:

— Я не хочу с вами разговаривать. Вы можете позвать милицию, арестовать меня, вы можете меня убить на месте, но разговаривать с вами я не стану. Человек, способный на столь подлое подозрение, низок и недостоин человеческой речи. Я не ошибся, увидев ваши глаза. Такие глаза бывают только у преступников.

Прахов сидел согнувшись. Когда старик упомянул о его глазах, он инстинктивно закрыл глаза ладонью. Обладал ли голос Освальда Сигизмундовича непонятной силой над этим человеком, или он услышал вновь другой голос, своей совести? Не знаю. Только сидел он молча, не двигаясь, понурый, тусклый, ничтожный. А Освальд Сигизмундович ждал:

— Что же вы не зовете милицию?

Тогда Прахов осмелился взглянуть на старика. Он почувствовал острый стыд. До чего нелепо обвинение! Зачем бы убийца стал хранить кольцо, да еще показывать его чуть ли не первому встречному? То, что он называл «притчей», — правда. Таня ушла из дома ночью, она решила покончить с собой. И последнее, что она сделала, — это вот печальный подарок спавшему нищему. Прощальная улыбка... Робко, заплетающимся голосом Прахов проговорил:

— Это вам Таня дала... Перед смертью... Я ее убил!..

Освальд Сигизмундович не позвал милицейского. Он не схватил Прахова. Он даже не отвернулся с вполне естественной брезгливостью. Нет, проведя рукой по своим слегка замутненным глазам, он сказал:

— За всю мою жизнь только один раз, увидев в картузе это кольцо, я узнал, что значит женская нежность. Но возьмите его. Вы помните лицо этой девушки и руку, на которой был перстень. Вам остается еще долго жить, а мои дни сочтены. Вам эта память нужнее...

И, вложив в руку Прахова колечко, Освальд Сигизмундович вышел из комнаты.

Ночью у Москвы-реки

Горбат Проточный переулоч. Наверху Смоленский, ларьки, чайные, воркотня папиросников, милицейские — жизнь наверху, а внизу Москва-река, значит, свежесть, отдых, спокойствие. Конечно, река у нас не бог весть какая, приезжие посмеиваются: «Море, берега не видать», — и действительно, летом скудеет речонка, кажется, что ребята, засучив штанишки, добегут вброд до Дорогомилова, не пышно это зрелище. Однако, для Проточного здесь и красота, и умиление, и по-модному — «гигиена». На «гигиене» все помешались: живут кучей, некоторые не меняют рубахи от рождества до пасхи, так что рубаха копошится, а гигиену уважают. Даже закусовая, где в котле угрюмо ворочаются рубцы или щи, где тянут из чайников горькую, а дерутся до крови, но тихо, даже эта обжорка гордо именуется «Закусочная Гигиена».

В воскресенье Проточный катится вниз к речке. Делопроизводитель принимает солнечные ванны, стараясь загореть всюду, даже под мышкой, а Панкратов, перекрестясь, степенно влезает в воду, окунается, фыркает, сплевывает, чешет спину; долго стоит он в воде, багровый, массивный, блистающий, как медный монумент. Вокруг пескарями выются персюки, гражданка Лойтер кормит не то Осеньку, не то Илика крутыми яйцами, жулье, распустившись веером, картежничает, передергивает, бранится, но, защекоченное нежным ветерком, умолкает. Благодарь! Сядешь здесь и задумаешься: над чем, дорогие друзья, вы смеетесь? Чем хуже эта мирная картина всяких Гурзуфов? Конечно, ни роз, ни магнолий здесь нет, если и цвел в церковном дворике курослеп, давно оборвали его ребятишки, но ведь это Проточный, своя дача, своя красота; подумайте только: после «Ивановки» — река с лодочкой! Не в богатстве ландшафта суть, в чувствах... Впрочем, не додумав, лезешь в воду: соблазнительно полощутся персюки.

А в будни здесь тихо. Ругается перевозчик — ему подсунули царский гривенник: хоть красивая птица орел, не летает он больше. Ребята прибегут, пошумят, выкупаются и — назад, на Смоленский, там веселей. Дрыхнет какой-нибудь гражданин, не

добравшись с именин домой. Пусто, грустно. Плохие у лодочника дела: редко кто с того берега переедет сюда, спеша на рынок, — идут мостом — «копейка рубль бережет». А к ночи и последние фигуры исчезают. Жулики — народ трусливый — своих же боятся: хоть ничего на человеке нет, кроме рваных портков, а вдруг с пьяных глаз пырнут... В безлунные ночи здесь темно, как будто это не Москва, а глушь. Только страсть иногда побеждает страх — женщины приводят сюда своих клиентов и, за неимением местечка поукромней, располагаются возле глухих заборов, на самом берегу. Дело это дешевое, скорое — «гости» не задерживаются, женщины тоже: получив полтинник, спешат наверх в «Гигиену» — пропить его. Так что никто здесь ночью не любитесь Москвой-рекой. А жаль, вот когда бы ею любоваться!

Чего только с нами не делает ночь! Задумчиво мерцает вода, и кажется Москва-река большущей рекой, широкой, глубокой. Таинственно маячат огни Дорогомилова, не окраина это, где пыль, пивоваренный завод, сапожники, кладбище, а неведомый город. Может быть, там шумная жизнь, веселье, свет, музыка? А здесь только вода и звезды; каждый звук здесь неожидан и трогает сердце: торопливый шаг запоздавшего пешехода напоминает — «вот так и ты, застигнут ночью, далеко от крова и от счастья», — а занесенный ветром визг гармошки доводит до слез: как умеют люди любить, как умеют они в тучах Проточного находить для своих чувств такие пронзительные звуки! Но сильней всего волнует тишина. Всякий раз, приходя сюда, я забывал о своих невзгодах, об ущемленном самолюбии, о близкой старости, о соседях, о том, что живу в Проточном, обо всем забывал — открывалась простая правда: хорошо жить на земле, замечательно это выдуманно — и река, и огни, и то, что дышишь!

Впрочем, не о своих вдоволь избитых чувствованиях я хочу сейчас рассказать. В тот вечер меня здесь и не было. Освальд Сигизмундович, искавший спокойного ночлега, удовлетворенно подумал: сегодня никого нет. Он поглядел на далекие огни, и тогда охватил его легкий испуг: огоньки удалялись, они как бы убежали от его глаз, один пропал, другой — темень. Старик прикрыл глаза рукой: вот и зрение ослабеваает, сердце пошаливает, глуховат, совсем сносился бывший преподаватель латыни. Сколько ему еще жить? Год? Два? Все равно: он свое увидел. Тяжело умирать, когда тебя манит жизнь, когда все в ней

внове, как в первом акте комедии. Завязывается интрига, неизвестно, кого полюбит героиня, как сложится судьба симпатичного героя. Но вот уже пятое действие — под шарканье нетерпеливых зрителей, спешащих в гардеробную, любимец автора, резонерствующий дядюшка, договаривает последний монолог. Смолоду кажется — как это можно жить, если знаешь, что умрешь, обязательно умрешь? А приближаясь к смерти, видишь — нестрашно. Редет жизнь — нет больше друзей, сверстников. Другие зрители смотрят другие пьесы, твоя доиграна. Безразличие охватывает: кто там кого — все равно! Освальд Сигизмундович лег, потянулся.

Но не спалось ему: переутомился, весь день провел на ногах, болела рука, — верно, погода меняется — ревматизм. Если завтра будет дождь — беда, некуда укрыться. Противная боль в плече тянет, и сердце замирает. Спать привык он на боку, подложив руку под щеку, а пришлось лечь на спину: задышался. Сон не шел. Он лежал и глядел на звезды. Звезды не убегали, как огни за речкой, но светлели, множились, обращая весь небосвод в одно печальное сияние. «Заманивают, — равнодушно подумал Освальд Сигизмундович, — а не все ли равно, здесь или там?.. Надо попытаться уснуть на спине...»

С детьми было легче. Как смешно прыгал Журавка, когда стащил окорок. Почему здесь нет Журавки?.. И тот, маленький — «Футурум». Он, наверное, будет разбойником. Или генералом Когорты. При чем тут когорты?

Никогда Освальд Сигизмундович не тяготился так одиночеством, как в эту ночь. Подвал абрикосового домика казался ему уютной квартирой: была семья, детские голоса, смех. А сейчас никого. Только сердитые толчки сердца и звезды. Он хотел было встать, чтобы добраться до Смоленского — все же там люди, — но ноги отказывались идти. Хоть бы пришел сюда милицейский. Услышать крик, брань, все равно, только живой человеческий голос! Вот еще недавно он радовался безлюдью, а теперь все, кажется, отдал бы за трусливо озирающуюся парочку, из тех, кто ходят сюда «баловаться». Но нет, спят все — и гуляющие женщины, и милицейские, и дети. Только звезды пристают к старику: «Это мы, светлые, вечные, непогасимые»...

Он начал, кажется, забываться, когда вдруг всего его передернуло, сердце забилося быстро, бестолково, то и дело

останавливаясь, сильнее прежнего заныла рука. Он теперь громко стонал от боли и от страха. «Неужели я умираю? Нет, просто ревматизм. Теперь бы в тепло, и руку натереть бальзамом, все прошло бы. А может быть, это и есть смерть?.. Без торжественности, без высоких мыслей: как шелудивая собака. Не хочу!» Да, оказалось, что он еще не готов, еще не хочет он. Бывают ли готовы к этому люди? Немного бы, год, ну, три месяца — до зимы! Куда-нибудь за город. Лес. С Журавкой. «Кхе-кхе! Живем»... Зачем звезды? Если лежать не двигаясь, легче. Отложите!.. Слышите?..

Мысли путались. Не было в его голове ни сознания величественности часа, ни сожаления о былом, ни стройной картины прожитой жизни. Все мешалось. Почему мундир пахнет нафталином? Вы б его, Авдотья, проветрили. Поздно, голубчик! Теперь декреты. Старье! «Князь, свиное ухо видел?» Набавляй еще рубль. Глотков Сергей, вы не приготовили урока. «Игнис» на «ис», однако же мужского рода. Исключение. Вся суть в исключениях. Стыдно, гражданин, нищенствовать! Вот на Пречистенке хорошо подадут. Возле Цекубу. Смотри, Журавка, не убережешь ты его! «Футурум». Стой! Необходима система...

Напрягаясь, старался Освальд Сигизмундович думать связно. Будь здесь горбатый скрипач, он сыграл бы реквием. В его комнате живет убийца. Значит, он простил убийцу. Да, самое главное — это уметь простить. Тогда-то слышишь музыку. А молодого человека жаль. У него не злые глаза. У него несчастные глаза. Он не похож на убийцу. Он знал ту девушку. Он ведь сказал, как ее звали. Ее звали «Таня».

И, вспомнив о маленьком колечке, Освальд Сигизмундович собрал все свои силы, приподнялся, взглянул на Проточный — «вот там» — улыбнулся. Огромная радость вошла в его сердце, и усталое сердце не выдержало. Оно просто остановилось. Не было здесь ни судороги, ни крика — только тихая улыбка, смягчившая суровость старческих черт, легкая, едва приметная улыбка. Никто этого не видел, кроме разве бесчувственных звезд. Спал Проточный, спали злодеи и дети, спала человеческая мелкота, и не догадывались люди, что покрыт теперь подлый переулочек прекраснейшей улыбкой бывшего преподавателя Первой классической гимназии, старого нищего, «дедушки» беспризорных, Освальда Сигизмундовича Яншека.

Варенье на славу

Панкратова варила клубничное варенье. Жаль, не было при этом поэта: вот что воспеть бы — стародавнюю неторопливую работу хромой, но преуспевающей хозяйки, аромат ягод и жженого сахара, светло-алую окраску пенек, подобную фантастическому закату на далеком взморье. Bravo, Панкратова! Не забыла ты высокого умения сохранить цельной ягоду, чтобы она плавала в прозрачном сиропе, как звезды в небесах, не была его среди прочих житейских дел, среди засовывания кой-куда брошек перед обыском, среди раздобывания пшена на вокзалах (было и такое время), среди законопачивания похитителей окорока; да и тазик уцелел, не перелили его в пушку, ни в патриарший колокол, нет, остался тазик, осталась Панкратова, осталась даже вся премудрая иерархия: помельче — просто для повседневного употребления, а где сплошная каша — на кухню, в блинчики. Bravo, Панкратова, — жива и живешь ты, добрый дух абрикосового домика, гордость Проточного переулка — ни у кого нет такого варенья! А без варенья — что же это за чай? А без чая — какая же это жизнь? Панкратовой — ура!

Шло все как по маслу в нижнем этаже благословенного домика: не только варенье удалось, «сам», слава богу, тоже преуспевал. Хотя писали собратья Прахова о каких-то «кризисах», помаленьку торговал Панкратов, приползали «червячки», знали свое место. Глупые страхи больше не тревожили почтенного сердца. А тела цвели: купался,пил водочку, с Поленькой ездил в баню — бояться тут нечего, родственница, вроде как сестра.

Однако ревнива судьба, не может она вынести человеческого счастья. Чуть было не стряслась беда над бородой: ведь дойди дело до огласки, опозорили бы газетные пачкуны уважаемого всеми гражданина. Законы у нас шаткие — кто их знает, что теперь можно, а чего нельзя? Очень легко и в тюрьму попасть. Разве варила бы тогда варенье супруга? Словом, мог бы обратиться нежно-абрикосовый в юдоль стонов и слез.

Началось все преглупо: за кулебякой, причем кулебяка эта была вполне добротной — пышная, румяная, а фарш из свежей

капусты с яйцами так и таял во рту... Ели, как всегда, сосредоточенно, молча. Вдруг вскочила Поленька и, бледная вся, выскочила в сени: ее вырвало. Конечно, не в кулебяке было дело. Прошло еще несколько дней, и хоть не отличалась Поленька догадливостью, поняла она, в чем дело. Еще шире распахнулся ее рот. Слезы не переставая лились из припухших глаз. Панкратова начала подозревать. Не знала только — кто.

— Слушай, Поля, ты думаешь, я не вижу? Все вижу. Дрянь ты, а не девушка. Скажу я Алексеичу, он тебя поколотит, вот тебе слово мое, поколотит. Я бы выгнать тебя должна. А мне жалко. Сестры мы как-никак. Ты скажи мне, кто это постарался? Если хоть с деньгами человек, можно алименты ихние востребовать. А то ведь дура ты — с голоштанником могла спутаться. Ну, чего ты молчишь? Отвечай, чье это дело?..

Хоть настезь рот Поленьки, молчит она. Стыд какой!.. Что ей ответить сестрице? Ведь она сама не знает, чье это дело. Кто из двух? Головой — как-никак, у нее голова, хоть не первый сорт — понимает: скорей всего «сам». Ванечка говорил: «Ты не бойся, я как в Европе...», а «сам» ничего не говорил, только мычал. Скорей всего «сам». Но сердце пробует робко спорить: а может, от Ванечки?.. Вот счастье!.. Не знает она, как ответить. Если сказать на Панкратова, убьет ее сестрица. А на Сахарова — грех, скандалить начнут, попрекать его, вот еще алименты взыщут, а у Ванечки и так денег нет, ходит он грустный. Может, болен? Бедняцкий! Нет, на Ванечку ни за что не скажет. Тогда...

— Что же ты, дрянь этакая, молчишь?..

Поленька шлепает губами, но не может слова вымолвить.

— Ну?.. Да не бойся, не съем я тебя. Вместе обсудим. Две головы все-таки...

— Не скажу я кто — духу не хватит.

— Это как же «не скажешь»? Не выпущу я тебя, пока толку не добьюсь.

— Я, сестрица, боюсь...

— Вот что! Поздно подумала. Отвечай, дрянь!

И она больно ударяет Поленьку по щеке. Поленька взвизгивает:

— Ой ты!.. Не дерись! Я скажу тебе... Только убьешь ты меня. Пожалей меня, Анечка! Силой это он... Разве я пошла бы? Заставил он меня. Не бей! Он это — Петр Алексеич...

Тогда вскакивает Панкратова, хоть маленькая, хромая, сгребает толстухку Поленьку и хлещет ее салфеткой по лицу, долго хлещет. Слезы и крики сестры понемногу успокаивают ее. Не ревнует Панкратова: что здесь поделаешь, Алексеич мужик хоть куда. Но чтобы в своем доме, да родная сестра!.. Вся злоба ее — на Поленьку. Мужа она и в душе не попрекает: занят весь день человек, где ему тут искать?.. А эта...

— Вот тебе, получай! Еще! Еще!

Наконец, уморившись, она садится. Поленька лежит на полу, вся растерзанная, волосы распустились, раскрылась блузка, лежит и всхлипывает.

— Замолчи ты, дура!

Теперь слезы Поленьки мешают Панкратовой думать, а она должна поразмыслить — как здесь быть? Ну, отлупила. Это хорошо. От этого на душе легче. А дальше? С соседями не посоветуешься. Алексеичу тоже не скажешь — убьет. Отослать сестру в Серпухов, к матери? Но ведь и там не останут: «С кого алименты требовать?» Значит, надо втихомолку со всем покончить.

Опомнившись, Поленька, еще вся в слезах, мечтает: «Нет, не от «самого»... Ну вот и сказала... И сошло. А родить — это дело пустое. Назову его Ванечкой. Будет он блондин и ходить в «Эрмитаж», там — Мараскины. Миленький!..»

Мечты ее прервал злобный шепот сестры:

— Ты — молчок. Завтра я тебя к Шрамченко отведу. Мигом сварганит. А потом в Серпухов уедешь, к мамаше, чтобы снова чего не вышло. Поняла?

Поленька прикладывает руку к груди и, нащупав там подвешенное сердечко, снова плачет: «Ванечка, милый мой, сынок!..»

Так и не узнал о семейном скандале никто, кроме гражданки Шрамченко. У гражданки Шрамченко много сомнительных свойств: сварливый нрав, угри на носу, да и весь нос неопрятный — нюхает табак по старинке, — если кричат бабы, она шипит: «Киш, девушка, с ним не кричала, так и у меня нишкни», — в нос — понюшка — «апчхи» — словом, поганая женщина, но — могила, слова из нее на вытянешь. Тайна Поленьки в надежном месте.

«Сам» ни о чем не подозревал. Узнав от супружницы, что уезжает Поленька в Серпухов, насупился, — «где же такую същешь», — отлупил хромую зонтиком, а потом успокоился — видно, любовный сезон миновал.

Ну а Ванечка?.. Не до того было Сахарову. Печаль и запустенье овладели верхним этажом абрикосового. Даже заказчиц стало меньше — они чуяли неблагополучие и, хоть прилежно работала Наталья Генриховна, обижались: «Испортит баронесса шляпку, как-то не сидит на голове». Осела на Новинском мадам Шуконьяк; правда, у нее не было ни титула, ни «комилфо» — просто «шью и переделываю шляпы, а также из материала заказчиц», но франтихи Проточного шли к Шуконьяк, предпочитая веселую улыбочку угрюмым глазам баронессы. «Грызет ее, — говорили они о Наталье Генриховне, — не иначе, как девушку по ночам видит...»

С Сахаровым Наталья Генриховна вовсе перестала разговаривать. Приходя, он кричал: «Обед, мамахен!» Молча приносила она миску. Слышно было, как глотают суп. Иногда, замечая на столе мелочь, сдачу с рубля, — Петька принес из лавки, — Сахаров раздраженно засовывал деньги в карман. Жена не возражала, но больше ему не давала. Как-то он попросил:

— Изволь выдать мне червонец... Ну, одолжи до конца месяца. Черт знает что! Пешком должен ходить, как мальчишка...

Она ответила:

— У меня теперь заказов мало. Петьке надо ботинки купить. Если я тебе дам, на жизнь не хватит.

Она не солгала: денег у нее не было. Но разве в былое время отказала бы она Ванечке? Как-нибудь выкрутилась бы. А теперь на нее нацла апатия. Если и продолжала она работать, то только ради Петьки, хоть чувствовала, что у нее нет сына. Петьку она потеряла. Работала она, может быть, и по привычке: так уж заведено, что кормит всех. О страшном видении она больше не вспоминала, о судьбе своей не думала. Дни проходили тихо и безразлично, как стежки, когда шьешь: еще один. Это спокойствие пугало Сахарова, он предпочел бы брань. С ума спятила? Или что-нибудь задумывает? Ах, если б деньги!.. Разве остался бы он здесь лишний час?.. Вся остановка за монетой. Он рыскал по городу и мечтал... Кто-то предложил ему продать привезенные из-за границы арифмометры. В последнюю минуту он струсил: поймают. Вот разве что с объявленными «Госпарходства» выйдет. Тогда — двенадцать червонцев комиссии. Тогда он сейчас же переедет. Но куда?.. Верочка? Дура, влюблена в него во как, глядит и не дышит. Морда у нее, откровенно говоря, препротивная, вся в прыщах. Зато — комната. Все равно! На морду можно не глядеть. Лишь бы отсюда вырваться.

Здесь, может быть, такая каша заваривается... Поверьте носу Сахарова, у него чуткий нос.

Ну как же здесь было думать Сахарову о том, почему у дурочки Поленьки припухшие глаза? Одной ногой он уже был не в Проточном, а на Полянке, где проживала Верочка Муравьева. Денег у Поленьки нет, а для прочего теперь не время. Он забыл дорогу в каморку, где повернуться трудно и от подушек и от восторженного оханья.

Панкратова снарядила сестру быстро, та после визита к гражданке Шрамченко и оправиться не успела: «Прыток Алексеич, ох, как прыток!..» (Это она с гордостью думала: муж.)

Накануне отъезда Поленька зашла к баронессе проститься. Наталья Генриховна не знала, что сказать своей поверенной, молчала, ведь этого, нового никому не выскажешь, а о пустяках говорить не хотелось. Молчала и Поленька. Сдавалось ей, выколупнули из нее душу, только скорлупа осталась — грудь, волосы, рот, да, разумеется, рот, раскрытый настежь. Помявшись немного, она предложила:

— Я вам помогу, Наталья Генриховна.

И взяла, по привычке, шляпу. Работа шла хорошо, быстро. Но присутствие Натальи Генриховны смущало ее — все же она была единственной душой, которая не цыкала на Поленьку: «Дура, рот закрой». Сестра, «сам», даже Ванечка — кому бы из них вздумалось поделиться с Поленькой своими горестями? А Наталья Генриховна говорила с ней как с равной, душу раскрывала. Вот если б сказать ей все!.. Про Ванечку, про серебряное сердечко, про то, что какая-то Шрамченко убила ее душу, взяла и убила, без долгих разговоров, с понюшкой в носу. Нет, не может она этого сказать. Не поверит Наталья Генриховна, чтобы Ваня, да с такой большеротой дурой... Никогда! А если поверит, еще хуже — возненавидит Поленьку. Господи, и как это в жизни устроено, что пожаловаться некому?..

Поленька заплакала. Отложила шляпку, чтобы не замочить ее слезами.

— Что с вами, Поленька?

Ласковый голос Натальи Генриховны еще сильнее потряс Поленьку. Она подбежала к баронессе и, приткнув голову к ее коленям, зашептала:

— Сон мне приснился, Наталья Генриховна, будто сыночек у меня от Ивана Игнатьевича. Красивый такой. Блондин. Ванечка. А вот проснулась, и нет ничего, никакого Ванечки.

Страшно мне, Наталья Генриховна. Раскололи меня и сердце вынули. Как же я теперь жить буду?..

Внизу Панкратова варила варенье, и хоть год у нас безъягодный, хоть клубника скорее мелкая, даже виктория, не говоря уж о русской, на славу удалось варенье: важнее всего и в этом деле сноровка, терпение, душевный покой.

17

Конец семьи Сахаровых

Для иных Проточный переулочек и впрямь проточный — не задерживаются они в нем. Панкратов здесь родился, здесь и умрет, а вот Петька ушел. Сказал: «Уйду с братвой», — и ушел. Бегство свое он обставил толково: выкрал из буфетного ящика три рубля, взял оставленные на ужин оладьи и своего любимца, деревянного конягу, сказал матери, что идет на бульвар гулять, — и поминай как звали. Были, видимо, у него старшие советчики. Ведь никто не знал толком, с кем водился Петька после того, как Панкратовы завалили подвал. Если встречали его соседи у Москвы-реки или на Смоленском, то уж обязательно с ватагой беспризорных. Вот и убежал.

Другие — сироты, а у Петьки и родители были, и уголок свой, и даже ласка. Как понять это? Водились ли в иных местах заветные «Бубики»? Или подвержено младенческое сердце магнетической силе свободы, живы в нем еще звуки той песни, которой внимают «и месяц, и звезды, и тучи»? Или просто соблазнительны в такие годы послушание, жизнь без взрослых, похождения, где каждый двор — Америка, каждый снежок — Бородино. Трудно разобраться в детской душе: мнимопростая, она сложна. Стащил три рубля и пропал.

Наталья Генриховна долго поджидала его к ужину, хоть вздрогнула, заметив пропажу денег: вдруг?.. Сахаров ворчал: «Выпорю, тогда узнает...» Стемнело. Вот и ночь. Петьки не было. Она не удивилась. Она помнила его «уйду», хоть и могло показаться это минутной обидой ребенка. Искать мальчика пошла Панкратова. Сахаров звонил куда-то по телефону. Крутом суетились. Наталья Генриховна сохраняла спокойствие. Она знала, что зря шумят, ходят, ищут. Ушел Петька, ушел с «теми».

Она видела перед собой, как мертвые, задохшиеся, с большими выпученными глазами манят Петеньку, ласкают его, смеются — в ушах стоял лязг от этого смеха, — уводят его с собой.

— Ты чего сидишь, как бревно? — прикрикнул на нее Сахаров.

— Все равно, ничего не поможет. Утащили его.

— Кто? Цыгане? (Сахаров вспомнил, что детей крадут почему-то цыгане.)

— Нет. Те. Из подвала. Убили мы их, вот они и мстят.

Тогда Сахаров побежал к Панкратовым; даже Петра Алексеевича, на что тот был стоек духом, напугал он:

— Сошла с ума! Мертвецов видит. Тех, из подвала... Опасно это! Для всех опасно. Услыхать могут. Не знаю, право, что с ней делать? Ведь у ней целая коллекция на совести. Начнет распространяться, тогда все мы сядем. Я пойду с одним спецом посоветуюсь — нельзя ли ее в клинику упрятать. А вы уже как-нибудь без меня. Главное, не пускайте ее никуда. Силой держите.

Панкратов выругался:

— Стерва! Вместе делали, а теперь болтать? Уж вы меня простите, Иван Игнатьевич, только я ее в случае чего уничтожу, как вошь раздавлю!..

Будто взвод целый, топотал он, поднимаясь по лестнице.

— Я, дамочка моя, скандалов не потерплю, я..

И вдруг осекся! в комнате никого не было. Опоздал Панкратов. Пока внизу шло совещание, Наталья Генриховна успела уйти. Рукавом Панкратов вытер лоб. Сам над собой посмеялся:

— Что, скушал?..

Хромая супружница забыла про то, какая в этом году ягода, смешно подпрыгивая, квохтала:

— Конец нам, Алексеич! Как же ты их оттуда не выковырял?..

— «Выковыряешь!»! Что это тебе, семечки лускать? Халда! Мало тебя драли, матушка!

И пошло в абрикосовом таком безобразии, что даже выдавшим виды чертам Протоchnого и тем тошно стало.

По улице, не замечая ни блеска зарниц — стояла душная летняя ночь, — ни смеха прохожих, тихо шла Наталья Генриховна. Куда — этого она сама не знала. Пошла, чтобы не сидеть на месте. Она не искала Петьку, не вглядывалась в лица ребят. Зачем? Все равно не вернуть ей сына. Ушел, ушел совсем. Если даже в той ватаге увидит она милое личико, Петька

оттолкнет ее, убежит. Не хочет он жить с убийцей. Все правы: бежать от нее надо, как от чумной. Девушки она не тронула, но в зимнюю ночь убила детей. Сколько их там было? Кто знает?.. Она сторожила, пока Панкратов снегом заваливал ход. Задохлись. Слабенькие. Как Петька. Смерти ей мало. Нет для нее пытки. Вот посадить в такой подвал и засыпать. Чтобы никто не пожалел. Чтобы Петька тоже кидал землю: «Получай, душегубка!» Она одна во всем виновата. Что Панкратовы? Разве это люди? Колбаса, монпансье, окорок... Скажи она тогда «нет», разве они посмели бы? А она сторожила. Вот и расплата. Нет больше Петьки. Жить незачем. Слишком цеплялась она за эту жизнь, чтобы Ванечка, чтобы Петенька, чтобы... Теперь — одна. Прохожие сторонятся, вся в крови она. Умереть? Еще раз сподличать? Нет, голубушка, нужно уметь расплачиваться! Пусть все знают, какая она преступница.

Ее шаги стали живей, глаза теперь поблескивали как зарницы. Она знала, куда идти. Дежурного, сонного и мечтательного, который пил чай, она ошеломила прежде всего своим голосом, чересчур уж торжественным для этой комнатухи, пропахшей сапожной мазью и мелкими мордобоями. Недоверчиво он промывчал:

— Вы, гражданка, успокойтесь, а то я вас и понять не могу. Какие дети? Откуда дети? Что за белиберда?..

Наталья Генриховна повторила:

— Я не волнуюсь. Я рассказываю вам все, как было. Беспризорные. Они водились с моим сыном. Тогда я решила убить их. Ночью, когда все в доме спали, я засыпала подвал снегом. Если вы не верите, пойдите. Ведь они там. Это в Проточном, дом напротив Прогонного. Моя фамилия Сахарова, Сахарова Наталья Генриховна.

Дежурный почесал за ухом. Он никак не мог понять, что ему тут делать.

— Одна беда с этими беспризорными. По десяти протоколов в день. Вот вчера, например...

Наталья Генриховна строго оборвала его:

— Я повторю вам: я — убийца. Я их убила. Понимаете?

— Так... Чего же вы, собственно говоря, хотите?

— Я хочу, чтобы меня арестовали, судили, предали казни.

Окончательно сбитый с толку дежурный уныло пробормотал:

— Ну, в таком случае я по телефону позвоню...

Осмотр подвала начался часов в девять утра. «Идут», — крикнула Панкратова, и «сам» не спросил кто: знал. Даже торговать не пошел он. От бессонной ночи горели ладони, глаза кололо: до зари он ждал с Сахаровым, не вернется ли Наталья Генриховна. Мрачная это была ночь! Сахаров заполнил покойную обитель Панкратовых окурками, нервным позевыванием, подозрительным запахом фиксажура. Разговаривал он скорее не с хозяевами, а с собой:

— Чепуха! Настоящая уголовщина! Если у человека нечистая совесть, он на все способен. Я — потерпевший. У меня она Тяню отняла. Ясно? Дочь барона фон Майнорт с колуном! Так-с. А при чем тут я? Служу, работаю... Я, извиняюсь, потомственный меццанин. У меня таких баронских чувств вовсе нет. Детей закопали? Не знаю. Меня тогда и дома не было. Конечно, донести она способна. По совокупности. Кровь мучает. А мне эти детки не мешали. Я деток люблю...

Рассердившись, Панкратов прикрикнул на него:

— Нечего зубы заговаривать! Вместе делали, вместе и отвечать будем. А отпираться, сукин сын, начнешь, на меня валить, так я тебя живо засыплю. Как тех паршивцев, засыплю. Мы и насчет девушки поговорим. Что значит «пропала»? Спал ты с ней? Спал. Жена милку колуном, а ты жену — «чмок». Так, что ли? Здесь, брат, дело нечистое. Уж если меня — под расстрел, так и тебя туда же.

Панкратов стоял разъяренный, густо-красный, огромный, как палач. Жилы на его лице вздулись, он разодрал ворот рубашки: задыхался он от бешенства. «Смерть моя!» — подумал Сахаров, вспомнил почему-то рапиры барона и красный циферблат дома на Лубянской площади. Быстро-быстро заверещал он:

— Что вы, Петр Алексеевич?.. Я ведь пошутил. Я со всеми. Она-то стерва. А я свой. Умру, а вас не выдам.

Панкратов быстро отошел:

— Давно бы так. А то зря время драгоценное теряем. Надо обсудить, как в случае, если она разболтает... Их-то оттуда не вытащишь.

— Исключительно, Петр Алексеич, крыть помешательством. Что же из того, что они в подвале? Могло их обыкновенной метелью занести. Замерзнуть могли. Мало, скажете, детей замерзает? А ей померещилось. То есть от безумья. Пусть доктора освидетельствуют. И причины ясны. Я уж следователю

говорил. Я тут ни при чем. Я, во-первых, жертва. Отчего не бросил ее? А сын? Трагедия!

— Опять на себя?.. Здесь как быть с этими разбойниками, а вы все о своих чувствах. Там они? Там. Это вам не дур заговаривать. Отроют, и конец нам...

Так они совещались, вздыхали, переругивались, до той самой минуты, когда хромая крикнула: «Идут»... Здесь — бах! — блином распластался Панкратов перед иконами. А Сахаров — нервы это, исключительно нервы, — сам не понимая, что он делает, запел, как Мараскин: «Я потгясен, я погажен»...

Известие о том, что обыскивают подвал абрикосового, мигом облетело Проточный. В переулке стоял гул: «Сама привела!» — «Врешь?..» — «Там она и девушку припрятала, нашинковала, как капусту». — «А говорили, в Москва-реку кинула». — «Голову в воду, а туловище там...» — «Баронесса-то! спятила...» — «Дети откуда? Ведь детей ищут...» — «Сахаровы ребят душили...» В чем дело, никто толком и не знал, но все повысыпали на улицу. Возле дома Панкратовых нельзя было протиснуться. Это не цыганские романсы. Ведь сейчас из дыры вытащат труп девушки, может быть, без головы, а может быть, не одной девушки, детишек, кто знает, только обязательно что-то вытащат...

Все ждали затаив дыхание, и персуюки, и жулики, и гражданка Лойгер, хоть была она на сносях — не разрешиться бы ей с перепугу до времени. Ну, а «Фанертресту» пришлось в то утро обойтись без делопроизводителя. Кто же согласится прозевать подобный спектакль? Разве каждый день в Проточном находят трупы! «Эй вы, гражданин, уплотнитесь-ка!.. Раздался, будто, кроме него, людей нет. Всем, кажется, интересно. Зад подбери, пентюх!..» Но делопроизводитель ничего подобрать не мог. Вдохновенными глазами глядел он на узкую щель, откуда должно сейчас прорасти нечто замечательное, лучше золота, лучше диковинных цветов, лучше звезд — трухлявые кости, покрытые клочьями мяса.

Принудил себя и Панкратов сойти на улицу, он глядел, ахал, поддакивал: «Ну и штучка баронесса: говорят, девочку в рассол положила...» Только все он норовил свести к безумью: «Муженек у нее хуже скошца, телячья ножка, напомажен, а никуда, вот баба и взбесилась, по ночам на лестнице голосила: «Это я, царь-ирод, истреблю младенчиков»...» Осторожно намекал Панкратов — не брехня ли это, не хвастовство ли? Мало ли что может такая баба напелсти? Ну, и насчет метели, еще осто-

рожней — в Дорогомилове беспризорных занесло. Говорил, а сам глаз не мог отвести от черного хода. Прикрыл он его весной, чтобы не завоняло. Разрыли. Залезли. Сейчас вот выволокут Журавку. И вдруг — от бессонной ночи ум у него за разум зашел, — вдруг Журавка, как тогда, после заутрени, синим язычком присосется к шее? Панкратов судорожно глотал слюну, рукой прикрывал ворот.

Хромая так и не решилась выйти. В темном чуланчике она не то всхлипывала, не то икала от страха. Кот зашел. Обрадовавшись, она хотела его приласкать, пощекотать затылок, но кот, привыкший к издевке, нагнал горб, фыркнул и оцарапал нос хозяйке. Панкратова взвыла, не от боли — почудился ей в этом «перст»: найдут, видит бог, найдут! Да как и не найти? Что это, булавки? Расстреляют всех! Икота росла, переходила теперь в корчи. Не поминала хромая царя Давида: лезли в голову суповые кости с мозгом, студень, лежалая телятина. Изо рта побежала слюна, голова отвисла набок, все покрыло беспамятство.

А Сахаров? Почему его не было видно среди зевак? Заблаговременно он удалился. На скамье бульвара он якобы читал газету, время от времени поглядывая — не идут ли? Был у него свой план. Ведь ту ночь он провел у Тани. Правда, Тани нет в живых (здесь впервые он пожалел о смерти своей, как Поленька говорила, «милаши»), но дверь открыл ему горбатый, открыл с многозначительной миной, следовательно, заметил. Если поведут сейчас жену и Панкратовых, он — бегом к следователю, к тому самому, и все ему выложит. В тюрьме у Панкратова руки коротки. Пусть ругается. Хорошо, а вдруг горбун подведет? Что тогда?..

Развернутый лист смешно подпрыгивал: в это горячее утро, предвещавшее каторжный зной, Сахарова знобило. Неужели все еще рожется?.. Жадно он вглядывался в даль, но никто из Проточного не показывался. Испытание длилось.

Агенты угрозыска брюзжали. Глупая затея! Что они найдут в заваленном мусором подвале? Слова этой женщины вряд ли заслуживают доверия. С чего бы ей вздумалось душить каких-то беспризорных? Да и не могла она справиться с такой работой. (Ведь о Панкратовых Наталья Генриховна ничего не сказала: «Я одна.») Скорей всего, выдумала — истеричка...

Подрагивала, покрикивала толпа. Каждое слово проходило по ней, как ветер по лесу. «Тащат!» — «Нет, это милиционер». — «Кричат, слышишь?..» — «Это Панкратова с перепугу». — «Все

разворотят...» — «Час, как сошли...» — «Гляди, рухнет, чего доброго, дом...» — «Ах ты!..» — «Ох ты!..»

Только виновница переполоха сохраняла спокойствие. Лицо Натальи Генриховны выражало угрюмую решимость. Этот огонь глаз, жестокий и прекрасный, видел однажды покойный барон, когда Туся ему сказала: «Прощайте». Пристально глядела она на открытый ход: вот оттуда сейчас покажется смерть. Вынесут первого, потом второго...

Наталья Генриховна стояла у всех на виду, пронизываемая глазами Протоchnого, но она не замечала ни любопытства, ни осуждения. Ее душа была глубоко под землей (хотела Наталья Генриховна сама сойти в подвал — не пустили), была она и высоко, как говорится, на небе, то есть над суетой догадок, над мыслями о близкой каре, над всем, что волновало и мужа, и Панкратовых, и праздных зевак. Со стороны обозревала Наталья Генриховна свою жизнь и дивилась: она ли это? Казались ей и радости, и скорби хлопотливой женщины, озабоченной домашним довольством, костюмом Ванечки, воспитанием сына, салфеточками на креслах, бюджетом, мужниными ласками, почетом соседок — смешными, а может быть, и завидными, как чужая биография, раскрытая нескромным сочинителем. «Глупо так жить»... И сейчас же вслед добавляла: «Но счастье тому, кто так живет, ни о чем другом не задумываясь, черства его душа, спокоен сон»... Так ли жила она? Она видела перед собой дни, вещи, лица, усики, пшено, шляпки, голенького Петьку, которого бабка поила ромашкой, — все видела, вплоть до кухонной утвари. Но воссоздать чувств она не могла, и ничто больше не одушевляло мелких ненужных лет, похожих на уютный дом, покинутый его обитателями. Почему эти выцветшие фотографии не сорваны со стен? Почему не выкинуты сентиментальной хозяйкой засохшие давно цветы?..

Да, это она жила здесь, в душных клетушках абрикосового, в душных годах, ревновала, суетилась, жадничала. Сейчас собравшиеся на чужой позор люди увидят ужасный итог ее жизни.

Прежде не раз Наталья Генриховна бранила себя за леность, за вялость чувств: мало печется о муже, мало занимается Петькой. А теперь все, что недавно она почитала за достоинства, казалось ей заблуждениями, ничтожеством, чуть ли не грехом. Что довело ее до убийства? Слишком сильно она любила своих, глупой любовью, вязкой, как болото. Вот и засосала ее эта любовь. Нежность к двум сделала черствым сердце. Хорошо, что

она еще ту девушку не убила! Могла... Теперь все кончено. Камни, кости судят ее. Свои ушли, и правы — как с такой жить? На чужих она никогда не глядела. Одинокой остается ей встретить собачью смерть.

Бывают минуты, когда человеческие чувства требуют шумных происшествий, громких слов, пафоса, движения. Наталья Генриховна могла бы успокоиться на дыбе, на костре, под наведенным дулом. Но судьба готовила ей горшее. Увидав тени людей, выползающих наконец-то из подвала, толпа разочарованно охнула. Кто-то даже свистнул: «Дурачье!..» Помилуйте, всех обманули самым бессовестным манером. Ничего! Так-таки ничего! Спустыми руками! Представители власти раздосадованно морщились.

— Я же вам сразу сказал — истеричка. В прошлом году вот одна такая же...

Не знаю, что именно приключилось в прошлом году, но теперь ничего не приключилось. Трагедия закончилась глупо: накричали на Наталью Генриховну и ушли. Народ тоже разошелся, гадая, кто кого надул: баронесса «легалых» или они ее? Скорей всего, надули Проточный: обещали мертвецов, а показали автомобиль и четыре портфеля.

Вот только Сахаров радовался. Повезло! Нет, не шутя, действительно повезло. Трупики испарились, как будто это роса. Что за наваждение?.. Уж не выгреб ли их хитряга Панкратов? Главное, ничего не нашли. Зря, мамахен, старались! (Сахаров не вытерпел, здесь же на бульваре, хоть никого рядом не было, высунул он препротивный свой язычок, тоненький и юркий, вроде червячка.) Он спасен. Он может идти гулять, на службу или к Верочке, куда ему только вздумается, никто не пойдет за ним следом, чтобы зашипеть в глухом переулке: «Стоп, гражданин!» Кажется, слоненок выручил.

Последнее умозаключение счастливых усиков способно озадачить — при чем тут слоненок? Но Сахаров был на редкость суеверен, хуже баб Проточного, верил в любой чох, разбирался в мастях котов, в числах несчастных и даже полунесчастных, — словом, в сотнях диковинных примет. Слоненка он получил в подарок от Верочки, «чтобы любовь жила до гроба», носил амулет во внутреннем отделении кошелька, вместе с образком Сергия Радонежского и с китайской монеткой: авось все скопом вывезут. Помянул он сейчас новейшего, а следовательно, и главного, вынул, даже погладил целлулоидный хоботок: спасибо! Хотел было и Верочку поблагодарить, однако передумал: нужно

сначала здесь все уладить. Конечно, противно возвращаться в Проточный, хуже Верочкиных прыщей, — кажется, еще пахнет переулком сгинувшими без следа мертвецами и тюремной баландой, но как не заглянуть к Панкратову — и так, наверно, он на Сахарова в претензии: утек, трусишка, пока обыскивали. С Панкратовым шутить не стоит — борода на все способна. Вдруг он объединится с «мамахен» против Сахарова?.. Например, будто он, Сахаров, прикончил и Таню, и детишек... Ведь их трое... Эта мысль, как ни была она вздорна, заставила Сахарова вновь заохолеть. Умоляюще он взглянул на бледное, слинявшее небо и на слоненка, повертелся, повздыхал, а потом направился в Проточный.

У Панкратовых, куда сразу прошел он, вместо недавнего переполоха стояло полное спокойствие. Супруги пили чай, а что же лучше чая в такую жару, горячего, с кисленькой смородиной, чтобы душу прошиб спасительный пот? Вот достоинство Панкратова — быстро успокаивается. Еще хромая лежала в чуланчике, мокрая, дохлая, а он уже покрикивал

— Эй, самоварчик! Ушли, ослы этакие...

Сахарову очень хотелось разузнать — как же все обошлось? Неужто Панкратов успел очистить подвал? Но Петр Алексеевич цыкнул:

— Нечего, нечего!.. Ничего и не было. Охота вам языком трепать. Лучше о деле подумайте. Я, сами знаете, прежде не возражал... А если «их» припутываете — какое мне с вами житье? Насчет декретов я, конечно, не знаю, но вы уже лучше подбру-поздорову... Люди мы тихие, жизнь у нас тоже не газетная... Так что придется вам, Иван Игнатьевич, другое помещение подыскивать...

Сахаров растерялся: ко всему он был готов, к брани — «куда улизнул?», к бахвальству — «ловко мы их без тебя выжили», — но только не к такому миролюбивому приглашению: извольте-ка убираться. Куда ему деться? К Верочке? Там тоже восемь червонцев надо внести, не то и ее выселят. Черт знает, как глупо вышло! Сколько Сахарову приходится страдать из-за паршивой «мамахен»!..

— Я с ней, Петр Алексеевич, разведусь, честное слово, разведусь. Да и проще — я ее безо всякого развода на улицу выкину. Я ведь великолепно понимаю — разве с такой стервой можно жить? Сегодня она этих привела, завтра, чего доброго, в Гепеу сунется, Все мы через нее погибнем...

Смягчившись, Панкратов промолвил:

— Я бы на вашем месте то же самое сделал. Только, ежели вы ее выставите, зачем вам, скажите, эта квартирка? Сынок ваш утек. Супругу — за шиворот. Вы человек молодой, предприимчивый. Здесь на Кудринской Мухин — галантерейщик — давно подыскивает две комнатки с кухней. Хотите, я вам это дельце состряпаю? Мухина впишу как родственника. А вам двадцать червонцев чистых. Половину сейчас же могу выложить — задаточек. И расстанемся мы с вами друзьями. А ее вы — коленкой... Идет?

Сахаров долго не раздумывал. Он ведь давно решил, что прыщи уж не так страшны, как с первого взгляда это кажется. Хромая налила ему стаканчик чая:

— Отдохните, Иван Игнатьевич, чаю напейтесь — утро-то у нас жаркое было.

Но Сахаров от чая отказался — спешил покончить с делом, пока еще пыл не спал. Страшно ведь с этой сумасшедшей встретиться. Вдруг убьет? Или снова за теми побежит. Только бы не показать ей, что он трусит. Этак размашисто: «Извольте, гражданка, получить развод в двадцать четыре секунды!» Лестница почудилась ему крутой, дверь не подавалась. Может, заперлась она? Нет, просто рука Сахарова ослабла. Вот и открыл...

Наталья Генриховна стояла, прислонившись к стенке, как будто дерево подрубили, но ствол зацепился, еще стоит, еще колышутся ветки, еще дышит грудь, еще она жива, но нет в ней больше сил, чтобы жить. Тщетно было бы искать на ее лице следов недавнего напряжения, душевной борьбы, высоких мыслей, за час до этого ее волновавших. Как постыдно закончилось ее стремление пострадать! Никто не верит, что в зимнюю вьюжную ночь она убила детей. У нее отняли все, даже право на покаянье. Что же дальше? Неужели шляпки, муж, благополучие? Умереть? Но как? Не могла она теперь решиться на что-либо. Почему вчера она не кинулась в реку? Впрочем, все равно. Пусть заказчицы. Пусть смешки и пустота. Она не достойна ни смерти, ни тюремной решетки, ни искупления. Вот нужно отделать шляпку Демидовой шелком беж...

Когда вошел в комнату Сахаров, ни один мускул ее лица не двинулся: как будто она и не заметила его прихода. Долго длилось молчание. Сахаров все набирался храбрости, прикидывал, как будет выразительней — официально или по-домашнему на «ты»? Наконец он запищал:

— Ты что же? Доносить? Меня погубить хотела? Это за всю мою любовь? Тварь! Развожусь. Поняла? И потом — отсюда убирайся. Здесь я — ответственный съемщик. Три дня даю тебе — найди другую комнату или уезжай из Москвы. Денег у тебя, кажется, достаточно: меня голодом морила. Словом — нам налево, вам направо. А добром не съедешь, я по всем инстанциям пойду, хуже будет. Да и Панкратовы подтвердят.

Тихая улыбка прошла по лицу Натальи Генриховны: вот кто-то за нее решает, кто-то говорит ей — «уходи», разрубает трудный узел.

— Хорошо, я уйду отсюда. Мне и трех дней не нужно. Я сейчас уйду. Вот только соберу вещи — и уйду.

Сборы оказались недолгими: Наталья Генриховна завязала в узелок свое белье, чашку с орлами, из которой пил утренний кофе покойный барон, и большую фотографию Петьки. Сахаров ликовал: просто как обошлось, двадцать червонцев в кармане, можно и на прыщавую Верочку наплевать. Притом дура все свои пожитки оставляет. Загнать можно. Здесь еще по меньшей мере на двадцать червонцев наскребешь.

Наталья Генриховна привычной рукой прибрала комнату, волосы пригладила, а недоделанную шляпку отдала Сахарову:

— Демидовой передай, в номере девятнадцатом. Скажи, что не смогла закончить. Не успела. А ключи на комодке. Вот и все. Прощай! Если обидела я тебя, прости. Скверная я женщина...

Сахаров даже расчувствовался: ведь уходит, действительно уходит! Примирительно заговорил:

— Что ты!.. Я тебе не судья. Насчет божественного — это вообще предрассудки. А с ними ты здорово придумала. Молодчина! Вот теперь кто же на тебя подумает?..

Наталья Генриховна приоткрыла уже дверь, ничего не отвечая на слова мужа, но тот остановил ее:

— Поймай, ты куда же?.. Уезжаешь?..

— Не знаю. Все равно куда...

На лестнице стоял Панкратов — выжидал, чем кончится дело. И с ним попрощалась Наталья Генриховна, но «сам» только буркнул в бороду:

— Иди, иди, голубушка!

Выйдя на улицу, Наталья Генриховна как бы опомнилась: и вправду, куда она идет? Полдень был. Сухой, жесткий зной опустошил и город и голову. Ни души в переулке. Вместо мыслей тягучее томление. Что ей делать? Нет у нее ни друзей,

ни денег. Как те, беспризорные. Но через минуту она вдруг улыбнулась. Это была улыбка освобождения. Она радовалась пустоте. Никого! Ничего! Радовалась свободе: одна как перст! Не будет теперь ни суеты, ни корысти, ни счастья. Только большие голые дни, как этот город, пронизываемый неистовым солнцем.

С чуть заметной грустью еще раз она взглянула на абрикосовый домик, где столько мучилась, где так любила. Все это ложь! Нужно жить со всеми и ни с кем, голо жить. Люди ушли, а вещи она сама оставила. Вот и хорошо...

Вверх по Проточному тихо шла сгорбленная женщина с узелком. Никто на нее не смотрел. Люди полудничали в темных комнатах. Дойдя до угла, она поколебалась, потом завернула направо. Больше ее не было видно.

18

Кукушкино

Восемнадцатого июля на станции Скуратово, Московско-Курской железной дороги, случилось происшествие, несколько оживившее и обитателей поселка, и отсидевших всю душу пассажиров. Ускоренный «Москва — Минеральные Воды» стоит здесь четверть часа, времени много, не только можно кипятку набрать, но и напиток в чахленьком буфете, где с раннего утра чадят неизменные отбивные, чаю или кофе, прогуляться по платформе, пошутить с прыскающими от любого слова девками, которые толпятся за изгородью, соблазняя москвичей земляникой, топленым молоком, цыплятами. Приятно утром размять ноги, подышать воздухом полей. Все здесь радует глаз, особенно когда едешь на юг, отдыхать после всяческих заседаний, исходящих и отчетов, впереди горы, ландшафты, прогулки, мудрое ничегонеделание! хочешь — пей целебную воду, хочешь — гуляй с томными машинистками среди поэтических скал, а хочешь — просто лежи и надувай щеки от восторга: «Выбрался!..» Это вам не пляж у Проточного.

Из Москвы поезд уходит вечером, так что у Скуратова — первая встреча с солнцем и раздольем. Даже чай, настоящий скорее всего на банном листе, и тот кажется ароматным. Словом, происходит на этой станции совершенное благорастворение

сердец. Вчера вот тот почтенный гражданин наступал вам на ноги, да еще ругался при этом, а сегодня ни с того ни с сего вызвался он сбежать за молоком для обремененной ребятишками попутчицы. После Скуратова нравы в вагоне заметно меняются — соседи начинают справляться: «Не беспокою ли?» — даже потчевать коржиками или колбасой.

Так было и в то утро, если бы не нарушили общей идиллии беспризорные. Прав был дежурный, говоря Наталье Генриховне: «Одно с ними беспокойство...» Едут граждане лечиться, едут прошедшие через медицинские комиссии и прочее, с сердцем, с печенью, с нервной астмой, и не угодно ли?..

Безобразия началось возле мягкого спального. Некая дамочка, высунувшись в окошко и обозревая окрестности, жевала при этом пирожок с рисом, принесенный ей из буфета предупредительным спутником; боясь запачкать салом свои пальцы, она прेमило гримасничала. Один из беспризорных привычно заскулил:

— Тетенька, дай копеечку!..

Дамочка не на шутку испугалась. Вид у мальчика был и впрямь аховый: весь в саже, — видимо, он добрался до Скуратова на буфере, — вместо портков клочья, рубашки вовсе не имелось, лоб низкий, запавшие щеки, грязь, пакость, а среди всего этого злыми огоньками посвечивали глаза. Такой все может!.. Она уронила с перепогу пирожок. Мальчик подхватил. Тогда она кинулась в купе:

— Николай Степанович! Беспризорный! Страшный какой!.. Пирожок чуть ли не из рук вырвал.

Ее спутник, приятный дородный мужчина, читавший «Экономическую жизнь», усмехнулся.

— Чего тут бояться?.. Ведь не в пустыне же мы..

Он лениво подошел к окну и выплеснул на мальчишку, все еще караулившего — не бросит ли дамочка копеечку, — остаток чая из стакана, чтобы тот отошел: «Иди, брат, иди...» Сделал он это без злого умысла: чай был холодный, но мальчик злобно взвыл и швырнул в обидчика камнем. На шум прибежали его товарищи, промышлявшие возле жестких вагонов. Мигом ребят обступила толпа пассажиров, успевших уже напиться чаю и прогуливавшихся в ожидании звонка. Может быть, все обошлось бы, если бы снова не сказался мрачный нрав первого, того, что камнем кинул: вспомнив излюбленный свой прием, Чуб, ибо это был Чуб из Проточного, укусил руку кондуктора,

схватившего его за шиворот. Произошла сумятица. Беспорядочным удалось выскочить из кольца. За ними погнались. Особенно усердствовал рыжебородый мужчина, который бежал, помахивая чайником, и вопил:

— Ложечку у меня слизнули, свиньи собачьи!..

Как очутились друзья Юзика на станции Скуратово, спросите вы? Долго об этом рассказывать: ведь здесь что ни день, то похождение. Вот уж кому не нужно романов Майн Рида! Всей компанией они направились на юг, хоть и с опозданием: три месяца отсидели в «колонии», попав туда вскоре после памятной ночи. Это обстоятельство и спасло Панкратова: собирался Чуб отомстить бороде, поджечь абрикосовый; даже со спецами из своих совещался: как это поджигают?

Ну, а когда удалось удрать, не до этого было. Старое забывается, притом они спешили выбраться из Москвы. Журавка (был он «атаманом») объявил: на курорт. Разумеется, не целебные источники прельщали их, не красота Эльбруса, нет, как чайка за кораблем, следовали они повсюду за различными гражданами из трестов, да и не из трестов: что-нибудь перепадет. Зимой — возле «Крыши», возле театров или кондитерских, летом же — в путь-дорожку. Конечно, без плацкарт. Как придется, и под вагонами, и на буферах — от станции до станции. Лутили их изрядно, однако они не обижались: это вроде денег за билет. Так за неделю они покрыли триста верст, отделяющих Скуратово от Москвы. До этого дня все шло гладко, хоть возле Серпухова проводник грозился, что скинет на ходу, не скинул. А вот здесь из-за драчливого Чуба попали в переделку.

Бежали они что было духу и, наверное, удрали бы, но возле водокачки Кирюша поскользнулся — мокро было. Рыжебородый с чайником первый ударил его сапожищем: «Получай! ложки красть!..» Ну, а за ним и другие. Как же — воруют, камни кидают, кусаются, житья от них нет! Забыли все и предстоящие ландшафты, и приятную свежесть утра. Как будто вымещали они на этом мальчишке свои московские обиды.

Из носа Кирюши текла кровь: заслоняя руками лицо, размазал он ее; кровь смешалась с грязью. Он барахтался и визжал:

— Не я это, ей-богу, не я!..

Били его вкусно, как только что перед этим попивали чай, причмокивая: вот тебе!.. И дамочка прибежала сюда же — посмотреть: «Вот ведь какой звереныш!..»

Кто-то пустил в ход солидную палку, вывезенную для горных экскурсий. Кирюша уже больше не визжал, он лежал ничком, тихо вздрагивая. Белесые волосы его были в крови, а выпуклые белки ничего не выражали: он перестал, видимо, чувствовать боль. Быстро все это было сделано: до того, как подоспел Гепеу, до звонка; быстро и разошлись пассажиры по вагонам. Разложили купленную у девок снедь, закурили и начали обсуждать: чего милиция смотрит? Только-только перестали обыскивать, реквизировать, просто, без долгих разговоров отбирать, как говорили тогда, «излишки», а вот уже растут разбойники, готовые зубами вырвать свеженькое, еще не приевшееся добро. Этот ложку стянул, а вырастет — налетчиком станет. (Ложку, правда, рыжебородый нашел — она завалилась под диван, но дела это не меняло: все равно воришка.)

До Орла только и говорили, что о беспризорных. Хорошо, когда в дороге разговорисься,— скорее время проходит.

Кирюшу же подобрали, отнесли в приемный покой. Красноносый помлекарь, успевший, несмотря на ранний час, приложиться к целительной настойке, зачем-то постучал по груди мальчика, как по столу, и мрачно объявил начальнику станции:

— Что я вам, господь бог? Протокол пишете. А мне тут делать нечего. Сволочи люди, вот что! Я, помлекарь Скуратова, то есть самый что ни на есть паршивый фельдшер, я презираю людей. Поняли? Хоть пью спиртное, как скот, но людей презираю...

Он ушел за шкаф и там, угрюмо сморкаясь, опрокинул еще стаканчик.

Под мостом, на шоссе, товарищи долго ждали Кирюшу. Попался? Выкрутился? Влип! Хорошо, что Петьку не заметили, а то бы и ему крышка. Где же такому маленькому?.. Чуб об одном жалел: промахнулся. Эх, если бы метко кидать!.. И в того, и в рыжебородого, и в дамочку... Все бы, кажется, перебил. Что же с Кирюшей? На разведку отправился Журавка. Ходил он недолго: поселок был полон разговорами о приключившемся. Уныло объявил Журавка:

— Айда! Ждать-то нам нечего, Здесь не сядем — заметили. До Выполкова десять верст — я спрашивал, дойдем. А там — на товарный.

Печально оглядев Петьку, он добавил:

— Вот с тобой беда. И зачем ты только увязался, мальчик? Ну, не хнычь. Устанешь — донесем как-нибудь. Я теперь тебе вместо Кирюши.

— А Кирюша где?

Журавка ничего не ответил, только сплюнул.

Когда они выходили из поселка, им попался навстречу красноносый помлекарь. Чуб на всякий случай ощерился, сжимая в кулаке острый камешек: ну-ка, попробуй!.. Помлекарь остановился, внимательно осмотрел ребят.

— Эй вы, молодая гвардия, стоп!..

С трудом ворочал он языком: за шкафом осталась пустая бутылка. Чуб уж и прицелился — с чего это «стоп»? Заарестовать хочет? Но помлекарь вытащил из кармана пакетик:

— Вот вам. Закуска. Жрите. И еще гривенник. А больше у меня ничего нет, кроме печенки в спирту и величайшего презрения к человеческому роду. Сегодня все собаки Скуратова покраснели от стыда, увидев двуногую животину. Вырастете, и вы такими же будете. Я тоже не лучше. Однако презираю!..

Хлеб с колбасой съели. Вспомнив красноногого оратора, поделились впечатлениями:

— Пьян как стелька, а ничего. И гривенник дал.

— На «дедушку» похож с Проточного. Помнишь — как молился?..

Они шли по большой дороге среди пышных хлебов, среди чужого труда, чужого богатства, ничьи дети. Шли в этот педерый слепительный день, когда вызревала пшеница, когда пели бабы на покосе, несли старательные поезда членов тысячи коллегий к горам или же к лазоревому морю, когда оперялись птенцы, накоплялись в абрикосовом червонцы, когда тучнели и земные овощи и сердце. Жарко было им идти, горели пятки, в горле от зноя першило. Шли молча, каждый думал о своем. Журавка мечтал, как он будет носиться по этим полям на коне в яблоках и стрелять — трах-тарарах! — в ворон, в мужичье, в в солнце. «Как это я промахнулся? — угрюмо попрекал себя Чуб. — Теперь бы того тащили в яму, а не Кирюшу. Эх, хорошая штучка «собачка» — чтобы бить сволоту наповал!..» А Петька фантазировал, хоть и заплетались его ножки: «Если бы коровам крылья, как у ворон, и сесть бы на такую корову...» Держался он молодцом, не хныкал, помнил — «я ведь теперь беспризорный», это требовало мужества и гордости, как — «я

ведь теперь герой». Но все же уж видны были избы Выполкова — дойти он не дошел, сел на горку горячей пыли и робко попросил:

— Передохнем...

Нельзя было отдыхать: скоро товарный. Журавка поднял Петьку на плечи: «Версты две осталось, донесу». Тихо спросил Петька:

— Журавка... А где же Кирюша?..

Журавка помялся:

— Ну, чего тебе?.. Несу ведь... А Кирюши нет... Вышел Кирюша.

Тогда Петька, хоть стыдно было это — не девочка он, — разревелся. Не будет больше Кирюши, никогда не будет. А может, и не было его? Почудился он, как «Бубик», как корова с крыльями? Ведь говорила ему мама: «Ничего этого нет, Ты, Петька, все придумываешь...»

— А ведь был он, Журавка?

Журавка становился все мрачнее. Прикрикнул он:

— «Был»?.. Думаю, «был»! Убили его, мальчик.

Убили? Да, как хотели те с мамой убить Журавку. Убили бы, если бы не Петька. А Кирюшу никто не спас. Значит, большие убивают маленьких? Почему же тогда говорят: «Вырастешь, большим будешь»? А что теперь с Кирюшей? Его засыплют землей? Страшно как...

Петька плакал. Не доплакав, он задремал — устал ведь, Молча шагал Журавка. Вот и Выполково!

Не знаю, удалось ли им сестра на товарный, не знаю, добрались ли они до «Минеральных» или погибли в пути, попали под колеса, слегли от лишений, а может быть, проученные сердобольными пассажирами, как Кирюша, остались в том же Выполкове или на другой станции. Кто знает? Не проследить за каждой судьбой. Вот идут они — впереди чернявый Чуб, за ним Журавка, а на плечах его — любимец покойного Освальда Сигизмундовича — Петька-«Футурум». И сдается мне, идет это голевская Россия, такая же ребячливая и беспризорная, мечтательная и ожесточенная, без угла, без ласки, без попечений, идет от Скуратова до Выполкова, от Выполкова еще куда-нибудь, все дальше и дальше, по горячей пустой дороге, среди чужих колосьев, чужого богатства. Кто встретится ей — скуратовские пассажиры или добрый, сердобольный помлекарь, и — сердце здесь останавливается, сил нет спросить — дойдет ли она?..

Чудачим

Лето в Проточном, как пожар в джунглях, хоть и нет у нас тигров, разве что Панкратов — отрывает он, выпив кваску с хреном, — жестокое лето. Пробуют люди залить огонь, но горячий банный пар идет от обдаваемых водой камней. Чем ближе лето к концу, тем чернее и гуще ночи. Воздух становится вязким, как деготь. Стоны, вздохи, потягивания лишившихся сна обывателей выползают из раскрытых окон, кишат повсюду — это личинки, из которых не сегодня-завтра выйдут жуки-могильщики, «хроника происшествий», серная кислота или нож. Жарко!

Удостоился недавно наш переулочек внимания. Несмотря на пекло, стали захаивать в Проточный различные инспекции. Говорю я не о фининспекторе (он и раньше знал сюда дорогу), не об угрозыске (здесь, можно сказать, его вотчина), — нет, о просветительных начинаниях. Решили в какой-то комиссии, что плохо живет Проточный, и принялись увещевать. Заборы покрылись всевозможными лозунгами. Каких только назиданий здесь не было: и «убей муху» и «береги золотое детство», даже «уважай в женщине работницу». Жулье гоготало: «Го! го! уважаем...» Персюки в восторге били мух. Рядом с абрикосовым, в доме № 9, не то жил да съехал, не то предполагал только жить член коллегии, пользовавшийся машиной. Вспомнили теперь об этом и повесили дощечку: «Берегись автомобиля». Фыркал Панкратов. Какие же в Проточном автомобили? В Проточном пыхтит и давит народ сам Петр Алексеевич. Берегитесь, овцы!.. Говорили, что «Гигиену» обратят в клуб. Секретарь «Союза ассирийцев» нацепил на толстовку значок: «Я — безбожник». Старший сын делопроизводителя опарашил приятелей — вместо «Кирпичиков» затынул: «Буденный наш братишка, с нами весь народ»... Это все в жару!..

Оживление, однако, быстро улеглось. Слили афиши. Секретарь значок снял, как новый картуз: буду носить по праздникам. А делопроизводитель сына тихохонько выпорол, хоть и уверял тот, что состоит в пионерах. «Уважай в женщине...» художник из «Ивановки» снабдил такими иллюстрациями, что даже Панкратов обмер: «Вот тебе и монпансье!..» Может быть,

время выбрали неудачное — какое же тут при тридцати градусах самообразование? Так или иначе, все осталось в Проточном по-прежнему: толстокожий переулочек, его ничем не проберешь. Разве это часть государства? Это — Проточный, сток, тѣка, мразь, родственник и Прогонного, и Самотеки, — словом, затон, где водятся романсы, тараканы, великая неистребимая хандра.

Вот уже сливы появились, арбузы. Скоро осень. Скоро будет Панкратова мочить антоновку и варить варенье из райских яблочек. Прибирает она верхний этаж: Сахаров перебрался к Верочке. Вывеска «Комильфо» за ненадобностью валяется во дворе, на нее гадят коты. На новоселье — выпьем! У Мухина «червячки», иконы, супруга в теле, граммофон, а сам Мухин плешив и сух, как полено. Надо полагать, гражданка Мухина не откажется попариться с Петром Алексеевичем в «семейных банях».

У Лойтеров — прибавление (это к Раечке, к Осеньке, к Илику). Новая у Юзика забота: отчего кричит Розочка, красная и тернистая, как роза? Может быть, мало молока у гражданки Лойтер? Надо прикармливать!..

Посетовали Лойтеры и успокоились — с детьми веселей. Притом четверо — это чистые пустяки, если только подумать, что у матери Лойтера было ровным счетом одиннадцать.

— Юзик, дорогой, погремите этой погремешкой, чтобы Розочка не кричала...

Юзик гремит — что ж ему еще остается делать? Один он теперь: съехал Прахов, нашел комнату где-то в Замоскворечье и съехал. Сказал Юзику:

— Вы на меня не сердитесь. Здесь вспоминается разное... Жить мне здесь трудно.

Перед отъездом, усмехнувшись, он снес в кухню кипу рукописей — на растопку. Кое-как пристроился человек. Служит теперь в той же «вечерке» младшим корректором. Писать перестал, пить тоже не пьет. В чем дело? Подействовала ли на него беседа с покойным преподавателем латыни? Или попросту перебесилась душа, захотела обычного, самого что ни на есть заваливающего покоя? Этого и Юзик не знает. Часто он задумывается: что с Борей? Счастлив ли? Он расспрашивал Прахова, но тот отнекивался: «Ничего, живу»...

Юзик играет в «Кино-Арсе», развлекает пискливую Розочку и утешается речами неизвестного сочинителя.

Была ли здесь в Проточном девушка, которую звали Таней? Или только это приснилось? Ведь должны же сниться несчастному переулку замечательные сны. Ничем этот сон не кончился — ни свадьбой, ни могилой. Утром проснулся Проточный — нет Тани. А второй раз она не приснится. Легко сказать — «улыбайся». Как здесь улыбаться, среди темных, угрюмых людей? Умер преподаватель латыни, ушли дети, в церковном двореке давно отцвели глупые желтые цветочки. Юзик один, глаз на глаз с жизнью, и жизнь перетягивает его, как горб.

В тот вечер, о котором я хочу рассказать, горбун тосковал. С ненавистью поглядывал он на скрипку: скрипка хуже Панкратова. Она лжет. Зачем люди выдумывают какие-то необыкновенные звуки? Ведь после них еще тяжелее жить. Вот Таня любила стихи. Но разве спасли ее слова, нежные, как зеленая пыль в парке Паскевича? Лучше сразу сжечь все ноты, все книги, все скрипки, запретить сажать цветы, удушить ядовитыми газами соловьев, условиться: живем столько-то лет в Проточном или в другом переулке, должны жить безо всяких улыбок, просто, раз мы устроены, чтобы жить, — значит, ничего другого не остается. Но пусть не кричат какие-то струны, что была Таня и что ее больше нет, пусть не кричат они о счастье! Горб? Юзик теперь знает, у всего Проточного горб, у всего мира горб, и этот большой горб зовут горем. Нечего фантазировать...

Он сидел на табуретке, помахивая руками, как летучая мышь. В окно лилась горячая смола ночи. Не один Юзик задыхался в тот вечер. Жара выкуривала людишек из нор, гнала их на воспаленный, гнойный асфальт, сталкивала друг с другом. А что сказать Сидоренко, Петрову? «Съели?» — «Съел»...

Вот эта-то духота и привела Прахова к хорошо памятным ему местам. Разговор с Юзиком плохо клеился — обоим было не по себе. Юзик не думал сегодня улыбаться: был он в ссоре с «мифической девицей» Освальда Сигизмундовича и с самой жизнью. Вот пришел Прахов. Да, Прахов был. Был и Сахаров. Были книги из библиотеки — как же, он помнит — Сейфуллина. Но была ли Таня?.. Глупые сны! Гадкая скрипка! Выдуманно, все выдуманно, кроме бороды Панкратова, кроме тухлой колбасы и анилинового монпансье.

— Скажите, Боря, вы всегда знаете, что на самом деле и что только кажется?..

Прахов ничего не ответил. Вопрос Юзика раздражил его. Ведь Прахов налаживал теперь всамделишную жизнь — без помпезных рифм, без мечтаний о мировой славе, без призрачной, утомительной влюбленности, обыкновенную жизнь. Ревниво он ее берег, как обновку. И вот Юзик хочет разрушить кропотливо сложенный домик. Карточный? Пусть! Ему хотелось закричать, как прежде, когда ночью его будили вздохи скрипки: «Не сходите с ума — вас выселят!..» Да, за это могут выселить, не из квартиры № 6, хуже — из жизни.

А Юзик продолжал (он спрашивал не Прахова — себя):

— Вот и Таня... Что, если только показалось это?..

Тогда Прахов вытащил из кармана бережно завернутое в папиросную бумагу колечко:

— Бросьте говорить глупости, Юзик!.. Видите это кольцо? Она дала его перед смертью старому нищему. Да вы его знали — вашему приятелю. Если я не рассказывал вам этого прежде, то только потому, что мне тяжело вспоминать... Умерла Таня, умер и старик. А нам, Юзик, нужно жить. Жить просто, без выкрутасов. Это колечко я дал от душевной скудности, а назад получил от щедрости, от настоящего богатства. Крез мне его дал, честное слово, Крез! Жил человек тихо: сначала спряжения, а потом «подайте копеечку». Без претензий. О каких-то туземцах читал. Сторел дом, и радуйся. Удивительно! Я вот эту штучку всегда на себе ношу, как узелок: смотри, Прахов, не забудь, — жить надо.

Юзик не слушал его. Руки дрожали, дрожали ресницы, дрожал горб. Выдуманно, все выдуманно! Кольцо — не разнять его: Прахов = Таня = Сахаров = преподаватель латыни. И снова Прахов. Ложь! Фантазия! Приснилось это Освальду Сигизмундовичу? Или он соврал Прахову? Конечно, соврал! А если и преподаватель шел на ложь, тогда = где же правда? «Исключения»! Может быть, он и маленького «Футурума», который спас беспризорных, тоже выдумал? Зачем?.. Глупые вопросы = спросите скрипку, зачем она обещает невозможные вещи?

Но вот Прахова он выручил этим колечком. Прахов носит колечко, как святыню. Значит, преподаватель латыни был прав? Но тогда и скрипка права, тогда все правы, тогда глупо спрашивать, существовала ли Таня на самом деле, — тогда Таня существует, хоть в ее комнате пищит маленькая Розочка, тогда все выдуманно, и все правда...

Юзик как бы вырос. Руки его были вытянуты вперед, горели глаза, невидящие пламенные глаза визионера. Он обнял Прахова:

— Боря, дорогой!.. Пусть ложь, пусть выдуманно, пусть колбаса Панкратова — я вижу теперь, где правда! Луцкий умник не увидел ее. Он посмел сказать: «Нет ее». Он был слеп, как самый последний крот! Если он и не нашел правды, он должен был выдумать что-нибудь подходящее. Он не смел погасить маленького огарка. Вот преподаватель латыни, тот выдумал. Мой сочинитель тоже выдумывает. Скрипка, даже паршивая скрипка из «Кино-Арса» — святая. Боря, пишите стихи! Пишите скорее стихи об этом сумасшедшем колечке!

Сердито высвободился из его объятий Прахов:

— Я не пишу больше стихов, я уж сказал вам, я просто живу. Я мелок и бездарен — в этом нет ничего унижительного. Должны быть на свете и вдохновенные поэты, и младшие корректоры. Каждому свое. Тридцать лет Прахов лез вперед, на первые места. Будет! Глупо это и гадко. Вся беда моя была от амбиции: и калтура, и стихи, и несчастный «роман» с Таней. Если веселиться, так обязательно — на «дутых» и в кабак. Если плакать, так не угодно ли в рифму. Довольно с меня! Расписываюсь в своей ординарности. Служу. В меру интересуюсь общественными вопросами. Читаю фельетоны Кольцова. Ходил встречать Дугласа. Отчисляю там в пользу... И так далее. Капитулировал — и счастлив. Что же вы меня снова расстраиваете? Разве легко мне далось это спокойствие? Вот пришел я. Душно — сил нет работать, сердце ноет. А здесь вы, с вашими выдумками...

Трудно было, однако, удержать Юзика. Охваченный вдохновением, он не видел перед собой Прахова. Он беседовал теперь со всеми умниками мира, со всеми поэтами, с покойным преподавателем латыни, он беседовал даже с той странной девицей, которая, улыбаясь, каждый год нисходит в ад, «чтобы цвели вербены». Вербены? Это, наверное, красивее курослепа в церковном дворике. Она улыбается. Ей не хочется сходить в ад, но она улыбается. Улыбка эта полна нежности. Обождите! Он где-то видел эту улыбку... «Что же мне остается, Юзик?..» Ведь это Таня! Таня спустилась в ад Проточного. Чтобы цвели вербены, ну да, вербены. Разве Прахов хуже какой-то вербены? Значит, Таня жива. Значит, она вернется.

— Боря, вы понимаете? Она жива! Я схожу с ума? Пусть, но я становлюсь от этого гораздо умнее. Она вернется. Все,

решительно все выдуманно. Она не только была. Она будет. Что-бы цвели вербены. Я это хорошо помню. Вы спросите, что такое вербены? Этого я не знаю. Может быть, цветы, а может быть, люди; может быть, это вы, Боря, или маленькая Розочка Лойтер. Не в этом дело — вы слышите, Таня вернется!

— Перестаньте! Сейчас же перестаньте! Вы меня заражаете вашим бредом. Зачем я только пришел сюда?.. Успокоился было. Забыл все это. Я не хочу больше слышать о Тане! Таня умерла. Нельзя любить мертвую. Это — дважды два. О вербенах — бред. Неужели я снова должен халтурить или сочинять бездарные стишки? Вы видели Маркову? Так слушайте, я хочу на ней жениться. Ясно? Не могу же я жениться на утопленнице. Я не отрицаю — это другое. Таню я, как в стихах пишут... «любил». И хамил с ней зато вовсю. Словом, «до грубых шуток». А здесь — тихо, спокойно. Дети, наверное, будут, как у Лойтеров. Ну, не Розочка, так Шурочка, — вот и вся разница. Но должен же я, черт побери, жить! Или убейте меня. Я не хочу больше фантазировать. Я — банальнейшее существо. Вы не смеете так меня мучить! Она умерла. В реку кинулась. И точка.

Юзик не мог больше уйти от этих судорожных речей. Перед ним была не воображаемая вербена, нет, Боря Прахов, младший корректор «вечерки». Он хочет жениться на Марковой? Пусть женится. Ведь некому теперь присмотреть за Праховым, один он. Не верит Боря, что Таня жива? Пусть не верит. Ему легче не верить. Мало выдумывать сказки. Нужно выдумать и низкую боль.

В своей заботе о судьбе друга Юзик доходил до новых безумствований: да, да, нужно уметь отречься от речей преподавателя латыни, сжечь книжку неизвестного сочинителя!

— Не обращайтесь на меня внимания, Боря. У меня ум за разум заходит. Это от духоты: не сплю я по ночам. Вы хотите услышать, что Таня умерла? Я вам говорю — она умерла. Она утопилась. Три месяца прошло. Это поймет даже маленький ребенок. Вы должны скорее жениться на Марковой. У нее очень благородные глаза. Я вас поздравляю, Боря. А если я вас обидел, вы меня простите: ведь я глупый горбун, только одно мне остается — выдумывать сумасшедшие истории. Живите себе хорошо, Боря, и забудьте обо мне!

Кажется, Прахов понял, как трудно было Юзику выговорить все это. Ласково потрепал он руку горбуна. Это было единственным его ответом. Они молча расстались.

Юзика вскоре окликнула гражданка Лойтер: видите ли, такая жара, она весь день сидела взаперти, если Юзик согласится посидеть возле Розочки, она выйдет немного проветриться. Юзик загремел погремушкой, он улыбнулся девочке, весело улыбнулся, как будто не было у него никакого горя. Вот и у Прахова будет такая девочка. У Юзика никогда не будет детей. Юзик — урод. Но Юзик знает то, чего не знают ни Боря, ни Лойтеры. Он знает, что Таня жива. Он знает, почему сошла она в этот ужасный ад. Он сейчас расскажет об этом маленькой Розочке. Ведь у Розочки еще нет ни квартиры, ни жениха, ни идей. Ведь еще не за что бояться. У нее глаза светлые, пустые, как новый дом, в котором живут только солнечный свет и мечта архитектора. Розочка поймет его.

— Ты знаешь, как тебя зовут? «Вербена». Это цветок. Это даже лучше, чем роза...

Вот за окнами черный, душный ад. Горят сердца. Как в чане смола, бурлят в них ревность и зависть. Сюда сошла Таня.

Гражданка Лойтер, вернувшись с прогулки, обмерла. Над мирно спящей Розочкой в упоенье стоял горбун. Его волосы были всклокочены, одна рука носилась с погремушкой, как со смычком, другая крепко была прижата к сердцу, как будто Юзик пытался удержать готовую выпрыгнуть из клетки птицу, а глаза были полны слез.

Прахов не пошел ни домой, ни к Марковой. Слова Юзика разбредили забытую было тоску. Жарища не спадала. Люди шли неуверенно, пошатываясь, едва касаясь тротуара, как будто каждым шагом они отрекались от земли, учились летать, падать, умирать. Да и беседы слышались странные: о небесных туманностях, о последней любви, жестокой и нежной, о стихах. А ведь были они обыкновенными советскими гражданами, сослуживцами Прахова. Может быть, они сговорились и дразнят аткарского героя?

Вот идет простоволосый субъект с ломтем арбуза. Ему бы о ставках философствовать, а он, так и не выпуская из руки зеленой корочки, подвывает: «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима»... Постыдитесь, гражданин! Лето у нас, сухое, знойное лето. И нет у нас никаких Эвридик. Освальд Сигизмундович умер. А Прахов всего-навсего младший корректор. Он вот собирается жениться на Катюше Марковой...

Что за напасть? Кругом любовные вздохи, будто в опере или лягушки в болоте. «Ах!..»

Прахов шел скверами, возле храма Спасителя. Что ни скамейка, то воркующая парочка, и так как кончалось лето, тяжелели яблони, тяжелели сердца, этот воркот был угрюмым, трагическим: вязались и трещали различные судьбы. «Навек!» Или — «Прощай». Страшная голубятня! Вот и река...

Прахов остановился. Прекрасен здесь наш домашний, заспанный город. Пышность в нем и призрачность, подobaющая столице. Наивно конфузится голубая церквушка Замоскворечья, дымят на нее косолапые заводы, как «козьей ножкой»: «Ничего, подыши», — идет за рекой непонятная жизнь с иконостасами и с ячейками, со смесью, подлинно диковинной, тезисов и блинов. А здесь — Кремль. Широки здесь каменные ступени. Даже простенькая речка здесь величава. Гулок звон. Реверберы. Балюстрады. Одно слово — столица...

Взволнованно дышал Прахов: вот и Москва! Как тогда на «Крыше»... Скоплено. Налажено. Работай! Правь корректуру! Но откуда же эта тихая дымка? Или глаза Прахова туманятся? Мечта перед ним: мечта веков и сердец, мечта протопопов с косматыми ручищами и насильно постриженных девок, мечта скипетра и сермяги.

Кто это идет по лестнице, в светлой шали? Остановитесь, гражданка! Не смущайте бедного корректора! Скажите откровенно — вы ведь служите в Нарпите? Но женщина ничего не отвечает. Кто же она?.. «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима»... Да, конечно, у нас и летом зима, у нас не размечтаешься. Суров край! Жестока жизнь! Вот разве Юзик — тому можно мечтать... Но у Юзика горб. А Прахов должен жить. Увидите, он возьмет и женится на Марковой. Честное слово, женится!..

Только, скажу я вам откровенно, не развеет это легкой дымки. Выйдя из загса, он не перестанет верить в «выдумку» Юзика. Нельзя отделаться от такого томления. Таня была с ним одну только ночь, а останется навеки. Чтобы вздыхать и сомневаться, чтобы не осесть, не стать Панкратовым, Это — щепочка. Держись за нее, Прахов!

Хорошо, он будет жить спокойно. Он будет полезным гражданином отечества, заботливым мужем. Но от этого он никогда не отступится. Как же Юзик не понял, зачем он носит на себе колечко, что означает этот узелок? Родная Москва! Родная мечта! Чудачим мы все, чудачим...

Письмо Тани

Юзик! Дорогой Юзик! Вот удивитесь Вы! Посмотрите на надпись и плечами пожмете — письмо с того света. А может быть, и забыли совсем, кто это? «Какая Таня? Ах да, соседка! Еще приставала ко мне — перемените книги»... Не сердитесь, Юзик! Я и вправду боюсь, не забыли ли Вы меня? Мне ведь кажется, что прошло с того вечера десять лет, — может, и все сто. А на самом деле — сейчас сосчитаю — только пять месяцев. Как я изменилась с тех пор! Помните, я просила Вас достать морфий? Ведь я серьезно тогда думала о смерти. Я и утром из дому вышла — топиться, только струсила. Постояла на мосту и ушла. Ну, а теперь все мои горести в Проточном кажутся мне детскими. Разве так умирают? Трудно мне жилось там: как слепой котенок, тыкалась я куда попало, — а вот все-таки вспоминаю я то время с сожаленьем: первая молодость. Милый наш домик, ворчливые бабы, персюки, Лойтеры!.. Знаете, даже к Прахову у меня нежность, хоть он чуть не погубил меня. Он в душе хороший, только сам себя не понимает — хочет быть обязательно грубым, как плакаты: «Время — деньги». Вы мне напишите обязательно, что с ним, разбогател? прославился? женился?

А Вас, Юзик, как вспомню, так захолонет все. Откуда бывают такие люди, скажите? С неба, что ли, падают, как метеоры? Ведь если бы все были, как Вы, Юзик, легко было бы сразу подойти к коммунизму.

Вот и пишу Вам. Здесь поговорить мне решительно не с кем. Муж у меня умница, но очень чужой он. Да и времени у него нет, чтобы заниматься подобными глупостями. Он здесь один на себе выносит всю партработу, и по советской линии тоже перегружен. А с другими товарищами из Наробраза, где я теперь работаю, у меня нет ничего общего. Сплетничают, клязуничают друг на друга, рассказывают еврейские анекдоты. Ставили они в клубе пьесу Луначарского «Канцлер и слесарь», меня пригласили. Ничего они не понимают, зазубрили текст, и только. Все свелось к тому, что режиссер, пользуясь случаем, обнимал молоденьких женщин. Пошлость такая, что прямо слов нет! Недавно справляли девятую годовщину. Муж

мой произнес серьезную речь о ближайших наших задачах, хорошо очень говорил — сухо, без громких фраз, а потом другие перепились, и, конечно, танцевать будто бы «характерные танцы народностей», на самом деле обыкновенный фокстрот. Почему же не сказать прямо?

А сестра? — спросите Вы. Ну, с Шурой не разговоришься. Трое детей, муж больной, кухня, что ни день — «постирушки». Переменялась она так, что не верится — Шура ли это? Только и знает, что цены на «огузок» или пересуды: кто сколько тратит на базаре, откуда деньги и так далее. Добрая она очень, меня встретила ласково — я ведь ей на голову свалилась со своими идиотскими трагедиями, а у нее как раз ребята корью хворали. Первые дни я еще пробовала ей рассказывать о своей московской жизни. И про то рассказала. Она расплакалась, стала умолять меня больше не говорить об этом никому: «Упаси бог, узнает кто...» Подумайте, в двадцать шестом году! Ну, и все так: иконы, панихиды, вздохи — «когда-то они, okayнные, содохнут». Меня жалела, и все на еду: «Ты, Танечка, еще пирога возьми», — это в утешение. Когда она узнала, что я выхожу замуж за Соколовского, — в слезы. «Как? за большевика?...» Потом успокоилась: все-таки муж. Лучше, чем как в Москве (ведь она в душе убеждена, что там я просто занималась проституцией). Даже белье мне подарила. Только к нам не ходит, чтобы не встречаться с мужем.

Вот Вам моя жизнь. Как видите, Ваши пожелания исполнились: я замужем. Не знаю, что Вам еще сказать о муже. Он много старше меня — ему скоро сорок пять лет исполнится. Я бы могла быть, пожалуй, его дочкой. Большевиком он был до революции. Бритый. С проседью. Любит, когда выпадет свободный час, решать шахматные задачи (здесь для него нет подходящих партнеров). Прислали его сюда из центра. Мы с ним встретились в клубе: я в тот вечер была дежурной. Он начал расспрашивать о Москве. Я обрадовалась — ведь со здешними и говорить разучилась, — сразу ему рассказала обо всем: и о «Парижанке», и о том, что Мейерхольд сдал позиции, и о диспутах. Он засиделся. Неделю спустя снова пришел. Здесь начались сплетни: «роман» Соколовского! Я усмехалась — какой же это роман? Но говорить мне с ним нравилось. Встречались мы у него. Вот он как-то и объявил мне: «Давайте, Таня, жить вместе...» Я растерялась: ведь перед этим ничего, ровно ничего не было. Спросила его:

«Зачем вам это?» — «Понравились вы мне, а одному тоскливо». Вот уж три месяца прошло, а я и теперь готова спросить — зачем ему я? Он нежен очень, говорит, что рад: жена, ребенок будет. Но ведь у него даже порадоваться нет времени. Я — вначале еще это — рассказала про все московское: думала, если умолчу, нехорошо, обман. Он поморщился: «Зачем говорить о прошлом, это ведь со всяким может случиться. Теперь у тебя — я». И больше ни слова.

Как-то я все-таки спросила: «А если бы я теперь как в Москве?» — «Мне было бы очень больно». Я ему верю — он никогда не лжет. А все же не понимаю — почему больно? Ведь я совсем далеко — на десятом месте. Вот Прахов — решил купить меня на ночь за кольцо, но и тот, кажется, волновался. О стихах говорил. А Соколовский (знаете, Юзик, я мужа всегда по фамилии зову) никогда не выйдет из себя, ровен, спокоен. Человек ли?..

Впрочем, может быть, так и нужно. Я ведь теперь стала взрослой. Много работаю. Это успокаивает. Здесь я мужу если не друг, то товарищ. Хотела было с осени поехать в Москву на курсы социальной психологии. И муж настаивал. Но не вышло. Я жду ребенка. Значит, в лучшем случае, нужно отложить это на два года. И иногда я думаю, что вообще из этого ничего не выйдет. Через два года я буду, как Шура, с «огузком» и с компрессами. Что же, значит, не судьба...

Ребенку я радуюсь. И боюсь... Боюсь, что слишком много связываю с этим. А вдруг будет, как и с «любовью»?.. В стихах — одно, в жизни — совсем другое. Видите, я еще недостаточно поумнела.

Я пишу вам прямо классное сочинение: «Как живет Евдокимова». Дома сейчас тихо. Муж — на заседании. Вечера здесь очень длинные. На окнах иней — звездочки. А там дальше — темнота, снег. Красивый городишко Кашира — много церквей, садов. Одна только улица, а то все дворы, как в деревне. И собаки лают.

Юзик, я рассказала Вам все, и я еще ничего не сказала Вам. Если б Вы были сейчас здесь, Вы сыграли бы мне какой-нибудь «комический кусочек», и я бы тихонько поплакала. Но Вы не думайте, что я несчастна. Нет. Плакать можно и не от горя. Мне очень жалко всех: и мужа — какой он большой, умный, одинокий, и Шуру, и всех здешних с их «Канцлером», и Прахова (не догадался он, а ведь все могло быть иначе).

Вас мне не жалко: Вы самый счастливый человек, какого я только встречала. Вы ведь счастливы не от чего-нибудь, а просто. Вот такой я хотела бы быть! Далеко мне еще до этого, но многое я теперь понимаю.

Я здесь устроила отряд пионеров, и каждый раз, когда я вожусь с ними, всю тоску как рукой снимает. Мне почему-то кажется, что они будут жить лучше нашего. Мы не смогли, а они смогут. Может быть, так же думали наши родители? Тогда это просто старость. Не знаю. Только, когда я слышу: «Будь готов» (это их пароль), все во мне смеется от радости. Как будто готовятся они к другой, настоящей жизни.

Юзик, теперь я Вам признаюсь откровенно: я жду его с такой радостью, что порой кажется, сердце не выдержит, остановится. Пусть моей жизни здесь конец — ведь это все внешнее. Зато будет кого любить, за кого отдать себя.

А еще большая радость от ничего, вероятно, просто оттого, что дышу. В первый раз я почувствовала это летом, вскоре после того, как приехала сюда. Вышла я вечером в сад, в голове все гадкое — та история с кольцом, наставления сестры и мысль: зачем это я забралась сюда? Вспомнила я мост, воду внизу — как топиться хотела. Холодно стало. Страшно. И вдруг расмеялась — живу! Пахнет душистый табак, звезды светят, огоньки в домах. Звонят к вечерне. Девчата наши поют «За веселый гуд»... Разве не все равно, что со мной случилось? Хорошо!..

Я живу только такими минутами. Это острова. Между ними служба, разговоры, каширский сон, затонуть можно, но вот подходит — и снова vyplываю. Вы не глядите, что я слезами перепачкала всю страницу. Это по глупости. На что мне жаловаться? Не вышло. Как муж говорит: «Детский мат в три хода». А все-таки — снег, звезды, Вы вот, Юзик... Я Вам теперь все рассказала. Вижу, как Вы читаете это письмо и трясете головой: «Так, Татьяна Алексеевна, так». Милый мой, неуклюжий Юзик! Я Вас крепко-крепко целую и всю мою нежность хочу передать Проточному, — да, да, ведь там я узнала и горе, и радость, — всем его домишкам, церковному двору с желтыми цветами, Москве-реке, Прахову (не сердитесь — он хороший, я теперь только это поняла), а больше всего Вам, дорогой мой, старый друг!

Вот я и улыбнулась...

Цветет Проточный

Вот и снова пришла зима, narосли сугробы, распластался над кряхтящими домишками синеватый дым, и, справляя первый добрый морозец, скатывались ребята на своих собственных вниз, к Москве-реке. Были за это время две облавы, так что кой-кого из «Ивановки» и повыслали, но жулье не редело, объявились другие: сущевские, сухаревские. Новая прачечная открылась возле Смоленского — китайская — «Свой труд». У делопроизводителя «Фанертреста» умерла жена от крупозного воспаления легких, две недели он с горя пил, а потом привел к себе востроносую девчонку и такой шум учинил, что даже в Проточном рот раскрыли: оказывается, это уроки танцев. Обогатился переулочек и двумя новыми личностями: Корольков из краснопресненского нарсуда и Сорокин, ученый секретарь какой-то «фотоакадемии». Королькова сторонились — коммунист, да к тому же судейский, недаром зубы у него торчат, как у крысы, — ну а Сорокина, наоборот, жаловали: он ходил по переулку с большущим аппаратом — выискивал «типаж». Говорили, будто для заграничных журналов, и получает он за каждую «проточную» физиономию по пяти целковых (думаю, ввали: кто же за такое добро платить станет?). А сняться, разумеется, каждому лестно. Панкратов, тот, издали завидев Сорокина, сейчас же принимал соответствующую позу, оправлялся: «Валяй, щелкай — нам не жалко...» Ну, а помимо этого, никаких особых перемен в Проточном не произошло. Все так же копошились в «Гигиене» щц, и пели цыганки про свою цыганскую любовь.

Но беспокойным оказался этот год для героев моего повествования. Расшвыряла их судьба кого куда, двое только и остались в Проточном: Юзик да Панкратов. А то: Таня — в Кашире, Сахаров купил комнату в Лялином переулке и благоденствует там, Прахов женился на Марковой (у них квартирка в Замоскворечье), ребята, верно, бродяжат где-то, если не погибли, а о Наталье Генриховне ни слуху ни духу, как ушла тогда с узелочком, так и сгинула. Правда, Лойтеры по-прежнему живут в квартире № 6, но что можно сказать о Лойтерах? Пятого, кажется, пока не предвидится, и на том спасибо.

Панкратов — ничего, существует. Пережил он и горькие минуты: говорили, летит червонец, будет как с «лимонами», — хоть стены оклеивай. Хотел было он выменять заветные пачки на царские десятки, конечно, с потерей, но — дай бог «им» здоровья — вывезли.

Красным вишневым соком наливаются щеки «самого». Хромая даже содрогается: «Ты бы, Алексеич, банки поставил...» Глупости! Кровь, как и «червячки», украшает наше красное купечество. Вот Мухина оценила колер, оценила она и комплекцию, жар Панкратова. Вместо тщедушного сюсюканья: «Ах, люблю», — тот сразу зарычал, красноглазый, вспененный, лютый, как здоровенный бык на случке.

Хозяйским глазом оглядывал Панкратов Проточный: все здесь свое. Не тронет его добра жулье, почтительно оно заламывает шапки: «Доброго вам здоровьица»... Тишина под домом — не сунутся туда малолетние бандиты, уstraшенные рассказом о каких-то припрятанных трупиках. Посветлело и в квартире № 6, — нет больше там ни сомнительной девчонки, ни газетного пискуна. Вот только горбатый жиденок, торчит он как бельмо на глазу. С чего он так поглядывает на Панкратова? Хорошо бы и его выжить из Проточного. Готов был Панкратов даже с «ними» войти в стачку, даже с судейской крысой, с Корольковым из шестнадцатого, только бы извести горбуна, чтобы не глядел он на великолепную бороду окаянными своими глазелками.

Чувства Панкратова многие теперь разделяли. Вероятно, Юзик и вправду сошел с ума. Взгляды его, повадки, разговоры пугали народ. Косился на него весь Проточный: что ж еще он выкинет — кого сдуру обнимет (этого-то жулика из «Ивановки»), на кого зашипит: «брысь», какого оборванца зазовет к себе «чай пить»? Даже Лойтеров восстановил он против себя — вот этими приводами грабителей, бессвязными речами, назиданиями. Больше гражданка Лойтер не подпускала его к маленькой Розочке — боялась, чего доброго, задушит: ведь как же он белками ворочает, хрипит. Ребята пели теперь новенькую песенку. Как-то не вытерпел Юзик:

— Почему вы меня истребляете, дети?

Высунув языки, ребята кружились и пели. Юзик вышел из себя:

— Камни вы, а не дети! Прах!

Но тотчас же устыдился: кого он обидел? Детей? «Футурум»? Конец Юзику. Если он с невинными сердцами враждует,— значит, нет больше в Проточном философа. Кончилось счастье горбуна. Вот и гонят его все. Лойтеры ворчат: «Вы бы себе другое место подыскали для свиданий с вашими воришками, здесь честная семейная квартира». Выставили его из «Кино-Арса»: как-то, подбирая аккомпанемент, пустил он под похоронный марш прием Чичериным английской делегации. Один. А против него весь переулочок.

Нарядный был день, белый, солнечный. Сверкал Проточный и снегом, и светом, сверкал, как витрина ювелира Гуревича, как сны беспризорных, как выдумка.

Зайдите-ка в такой день сюда, и не поверите вы ни в Панкратова, ни в жулье, ни в насекомых, что копошатся под овчинами, скажете: «Чем хуже Проточный Мертвого или Левшинского, или других благообразных переулков?» Великолепный покров опускает зима на людскую мизерность. По Москве-реке скользят коньки, и доносятся оттуда чистые серебристые голоса детворы: «Эх, эх!» Все вычищено, вылощено. Для кого же задумала природа такой праздник? Какой трибун, какой полководец, какая прекрасная девушка должны промчатся сейчас по этому пушистому пути? Кого, друзья мои, ждет Проточный? Или зря вся эта пышность, только напоминание она, что всюду одна жизнь, и в Проточном и в Левшинском, что всюду черны дела, но бела, но светла, но нестерпимо светла заложенная в человеческом сердце радость?..

С почтальоном, морозным и веселым — трещит, крихтит, смеется,— Юзик столкнулся в дверях, шел он — скрипка под мышкой — в какой-то танцкласс.

Он шел и читал письмо, шел, не видя, куда идет, обдаваемый криками: «Горбун-то, в рабкоры заделался!..» Потом он остановился, снова перечитал. Он не кивал головой, как думала Таня. Он только улыбался, сначала робко, недоверчиво — «вдруг шутка?» — потом радостно, всюю — «жива!». Улыбается ему... Откуда-то из Каширы — где это? близко? далеко? — все равно — она улыбается Юзику. Замужем. Муж — умник. Наверное, как гомельский секретарь. Жалко! Сумасшедшие сочинители лучше умников — они умеют и плакать и смеяться. А умники умеют только говорить умные вещи. О Боре — правда. Они могли бы пожениться... Как глупо все вышло!.. (Лицо Юзика стало теперь грустным.)

Поздно! У Прахова — Маркова. У Тани — умник. Дети из подвала Панкратовых пропали. Что может человек, если судьба против него? Они ведь любили друг друга. Юзик это знает. Теперь нельзя сказать Прахову, что Таня о нем вспоминает, нельзя даже сказать ему, что она жива. Чего доброго, он все бросит, уедет в Каширу. А что будет делать Маркова? Что будет делать этот умник? Разве можно из большого чужого горя выкроить себе маленькое счастье? Нет, Юзик не расскажет Прахову о письме. Пусть тихо живет на новой квартире. Пусть тащит свое. Сколько пудов в горбу человека? Пять? Тысяча? Миллион?

Но нет, не горевать должен Юзик, — радоваться. Таня теперь пишет, как неизвестный сочинитель. Она пишет об улыбке и роняет слезы на письмо. Она возносится и над Проточным, и над Каширой, она летает там, среди белых хлопьев и птиц. Она все знает. Это уж не Таня с Сейфуллиной и с губной помадой. Это та девушка, о которой говорил Юзику преподаватель латыни.

Почему она пишет, что Юзик мог забыть ее? Она ведь поняла теперь, что Прахов вовсе не злой человек. Почему же она не поняла, что Юзик ее любит? Разве горб мешает любить? Горб только мешает жить...

Юзик, опомнись! Мелкий, несчастный человек, как ты смеешь роптать? Это ты недавно обидел детей... Радуйся! Она жива. Она выходит из подземелья. Она улыбается.

И Юзик улыбается Тане. Он стоит теперь у ворот абрикосового и улыбается. Он хочет рассказать Проточному, что Таня с нежностью вспоминает этот переулочек, что все ложь — и ссоры, и насмешки, и ночные драки, что светел и бел Проточный. Он вынимает из футляра скрипку. Он играет свой любимый «кусочек» — дорогое, самое благородное: Таня жива!

В пяти шагах от него застыл с кузовком в руках Панкратов. «Сам» не заходит в ворота. Злобно он глядит на горбуна. Наглость какая! У самого дома пиликает. Нет, здесь следует милицию позвать, пойти к Королькову, собрать подписи — пусть уберут прочь этого сумасшедшего! Не выдержав, он подходит к Юзику:

— Отходи отсюда, пакость этакая! Не то я милицию позову. Скандалист!

Юзик на минуту перестает играть.

— Почему вы злитесь, гражданин Панкратов? Лучше смейтесь, вот как я смеюсь. Она жива. И дети живы. И нельзя убить

радости. Преподаватель латыни умер. Но он все рассказал мне перед смертью. Я знаю, вы хотели из-за какого-то дурацкого окорока убить их. Не бойтесь — я никому не расскажу об этом. Я только хочу вам сказать: они живы. Вы слышали звуки этой скрипки? Так радуйтесь со мной. Радуйтесь, что у вас ничего не вышло. Смейтесь! Танцуйте! Сойдите с ума! Или уйдите в ваш ужасный подвал, чтобы вас не было видно, потому что вся жизнь смеется, а вы умираете от вашей черной злобы...

И Юзик снова играет. Иззябшие пальцы весело водят смычком, и несутся нежные пронзительные звуки по Проточному, и расцветает переулочек, распускаются золотые кочаны на вывеске «Закусочная Гигиена», и распускаются желтые, сморщенные личики персюков, и горит снег, и бьются сердца женщин, и несутся, подымая легкую пушистую пыль от Москвы-реки вверх к Смоленскому, как легкий ветерок, простая, большая, человеческая радость.

*Сентябрь — ноябрь 1926
Париж*

От автора

Роман «Рвач» был издан в 1925 году очень маленьким тиражом и подавляющему большинству читателей неизвестен. В моих воспоминаниях я рассказываю, как родилась эта книга.

Когда я через сорок лет перечитал «Рвача», некоторые рассуждения мне показались неправильными, многие фразы чересчур тяжелыми. Я внес соответствующие поправки, — разумеется, не пытаюсь изменить характер книги.

Я надеюсь, читатель поймет, что и «Рвач» и «В Проточном переулке» были важными вехами на моем пути.

И в наши дни существуют карьеристы, хотя их жизненный путь не похож на пеструю биографию Михаила Лыкова. Наша молодежь, как и в начале двадцатых годов, жаждет знаний, но молодые люди 1964 года духовно куда богаче и сложнее Артема Лыкова.

Сорок лет не сорок дней: годы все ставят на свое место, отжившее становится лавкой древностей, а живое продолжает волновать, причинять боль или радовать.

Илья Эренбург

1964

Комментарии

Во второй том Собрания сочинений Эренбурга входят произведения, написанные в 1924—1926 годах,— роман «Рвач», повести «Лето 1925 года» и «В Проточном переулке».

Созданные на протяжении всего лишь двух лет, книги эти не только во многом отличаются от составивших первый том произведений начала 20-х годов, но и совершенно не похожи друг на друга, написаны в разной манере, в разной тональности. Обстоятельное, прерывающееся многочисленными авторскими рассуждениями повествование в «Рваче» не похоже на взволнованный, порой кажущийся бессвязным, рассказ о переживаниях героя «Лета 1925 года». И совсем особняком стоит повесть «В Проточном переулке», в которой чувствуется влияние гоголевской прозы.

В «Рваче» и «В Проточном переулке» внимание сосредоточено на событиях русской жизни периода нэпа.

В новых условиях развития революции вместо боевого порыва, натиска, готовности к самопожертвованию, столь характерных для периода гражданской войны, на первый план выдвинулась «ежедневная... мелкая, будничная работа»¹, требующая колоссальной выдержки, терпения, настойчивости.

Предоставив определенную свободу частному капиталу, нэп помог восстановлению и развитию экономики, но в то же время внес в жизнь много чуждого и враждебного революционным преобразованиям. Об опасности возможного возрождения отброшенных революцией взглядов и настроений не раз предупреждал В. И. Ленин в выступлениях и статьях тех лет. «Враг в данный момент и на данный период времени,— писал он в 1921 году,— не тот, что вчера. Враг — не полчища белогвардейцев... Враг — обывденщина экономики в мелкокрестьянской стране с разоренной крупной промышленностью. Враг — мелкобуржуазная стихия, которая окружает нас, как воздух, и проникает очень сильно в ряды пролетариата»².

Далеко не все правильно поняли смысл новой экономической политики — в уступках частному капиталу, на которые вынуждена была пойти партия, некоторые видели чуть ли не полную сдачу завоеванных позиций.

Сложность обстановки не могла не сказаться и на развитии литературы. Появились мрачные настроения — о них упомянул В. И. Ленин в

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 425.

² Там же, т. 33, стр. 3.

докладе XI съезду РКП(б). Характеризуя обстановку, которая сложилась в стране в первый год нэпа, отмечая, что «отступление в общем и целом прошло в достаточном порядке...», он остановился далее на прозвучавших в то время «панических голосах»: «Самая опасная штука при отступлении — это паника. Ежели вся армия (тут я говорю в переносном смысле) отступает, тут такого настроения, которое бывает, когда все идет вперед, быть не может. Тут уже на каждом шагу вы встретите настроение, до известной степени подавленное. У нас даже поэты были, которые писали, что вот, мол, и голод и холод в Москве, «тогда как раньше было чисто, красиво, теперь — торговля, спекуляция». У нас есть целый ряд таких поэтических произведений»¹.

И. Эренбург тоже отдал дань подобным настроениям. Зимой 1923 года писатель приехал в Москву. Он побывал в разных городах страны, выступая с лекциями о жизни Западной Европы. Во время этой поездки писатель, по его собственному признанию, многое понял. Он увидел, как быстро восстанавливается экономика, его поражала огромная тяга людей к знаниям, искусству.

И все же Эренбурга не оставляли сомнения и тревога. Некоторые теневые стороны жизни, так называемые издержки нэпа, писатель принимал порой за истинное содержание революционного процесса. «Я и радовался и огорчался, — вспоминает он, подытоживая свои впечатления. — С точки зрения политика или производственника новая линия была правильной... Но у сердца свои резоны: нэп мне часто казался одной зловещей гримасой»².

Эта двойственность отношения Эренбурга к жизни тех лет отразилась и в его творчестве — особенно в романе «Рвач».

Рвач

Роман «Рвач» написан в июле — ноябре 1924 года в Париже, там же в июне 1925 года издан; в 1927 году вышел в Советском Союзе в издательстве «Светоч».

В основе сюжета книги — история, услышанная писателем от одного юноши: честного комсомольца втянули в нехорошую затею — ему поручили собирать деньги на воздушный флот, которые, как оказалось, присваивала шайка мошенников. Студент возмущился, хотел даже заявить в ГПУ, но, соблазненный возможностью легко пожить, сам стал заниматься спекуляцией. Его исключили из комсомола, он ждал ареста.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 252.

² «Новый мир», 1961, № 9, стр. 121.

«Мне захотелось,— рассказывает Эренбург,— написать о нем, о таких, как он. Я начал ходить на судебные заседания; получил разрешение беседовать с заключенными... Привлекала меня, конечно, не живописность среды, не уголовщина, а история взлета и падения тех крутых, скользких лет»¹.

В обращении к этой теме Эренбург не был одинок. С героем его книги Михаилом Лыковым много общего, например, у Виктора Кандырина из романа «Встреча» Л. Сейфуллиной, который совершил много нечестных поступков, не смог начать новую жизнь и, втянутый в разгул, покатился по наклонной вниз. Сломленным жизнью оказывается и герой романа Л. Леонова «Вор» — Митька Векшин, не сумевший перестроиться после гражданской войны, увидевший в «текущей действительности» лишь «полуотступивших врагов», «приманки нэпа».

«Рвач» — социально-психологический роман, в котором, по словам автора, центр тяжести «перенесен на подробности переживаний героя и обрамляющей его эпохи»². Жизнь Михаила Лыкова показана на фоне исторических событий — революции, гражданской войны, нэпа.

Пафос романа — не только в осуждении «рвачества». Писателя интересовали причины этой социальной болезни, он хотел показать ее обусловленность конкретной исторической обстановкой, разливом «нэпаческой» стихии. Эренбург стремился дать почувствовать дыхание другой, в корне отличной от махинаций нэпманов и злосючений Михаила, нормальной, «честной», «здоровой» жизни. Однако в процессе реализации этого замысла автор непоследователен.

С одной стороны, в «Рваче» говорится о величии революции, о беззаветной отваге и готовности к самопожертвованию ее участников, о грандиозности социальных перемен, о народе, «в раже садящемся за парту», чтобы штурмовать знания. («Разве это зрелище не превосходит все Аустерлицы истории?») В романе революционная эпоха характеризуется как время расцвета человеческой личности: «бои за Донбасс, захват Северного Кавказа, наконец взятие Перекопа, все это было не только торжеством коллектива, но и ростом, упорством, силой скромнейших... человеческих дробей». Писатель отдает должное коммунистам, «исключительная дисциплина» и «героическая преданность» которых неизменно выручали страну «в часы наибольших опасностей».

С другой стороны, в романе немало идущего вразрез с этими утверждениями. Тут — и упоминание о «жестокоем ригоризме Октября»,

¹ «Новый мир», 1961, № 9, стр. 127.

² Отдел рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, ф. 146, оп. 1, ед. хр. 11.

и преувеличение стихийного начала в революции. «Она,— пишет Эренбург,— вышла из... криков, визга, разрозненных залпов, из толкотни и прятанья в подворотни, из тысячи мелких нелепостей, достойных только хроники происшествий, вышла огромная и неожиданная...»

Несмотря на утверждение, что «малоприметные подвиги» рядовых тружеников могут послужить «достойным материалом для самой патетической поэмы», что «романтизм» молодого комсомольского племени «не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготовлять мифы взаправду», в романе ощущается противопоставление первых лет революции — как некоего романтического взлета — годам ее последующего развития. Вспоминая времена фантастических проектов и невероятно смелых идей, Эренбург замечает: «К прискорбью, мало что сохранилось от того периода». Рассказывая о трудных буднях, заполненных «канцелярской суетней», начисто лишенных живительного пафоса, «повалившего перекопские стены», писатель восклицает: «Время, жестокое время, оно слишком мучительно для нашего поколения, привыкшего жить не переводя дыхания, для детей... Октября». После характеристики нэпа как «живительного процесса экономического возрождения страны» он говорит о «недоумении, боли, а иногда и негодовании», которые вызывает у него обстановка тех лет. Автор сгущает краски в изображении быта того времени, подчеркивая его теневые стороны. Все это не могло не сказаться на общей тональности романа.

Некоторые события гражданской войны Эренбург описывает так, словно он стоит «над схваткой». Отсюда — рассуждения о жестокости гражданской войны, — «с выпарыванием семитических и арийских кишок, с вырезыванием перочинными ножиками на плечах погон, а на лбу звезд», упоминания о расстрелах в киевском ЧК, размышления о русской скуке, от которой одинаково изнывают и побежденные и победители.

Не менее сложно и отношение автора к главному герою романа.

Проследив шаг за шагом жизненный путь Михаила Лыкова, скрупулезно анализируя все его поступки, Эренбург убедительно показывает эгоизм, беспредельное честолюбие, наглость, невероятную жажду власти и славы «маленького Наполеона».

Характер этого лакейского сына, «патетического спекулянтика», как называет его в одном из писем Эренбург, сложился еще до революции. Всплученная нэпом мелкобуржуазная стихия, обстановка, в которой оказался герой романа, не могли не сыграть «роковой» роли в его жизни. Но бактерии рвачества упали на благодатную почву.

У Михаила Лыкова нет кровной связи с партией и революцией. В какие-то моменты своей жизни он оказывался лишь вовлеченным в ее стремительное движение. Духовно поднимая его на какое-то время, ре-

волюция так и не смогла его переделать,— Лыков всегда был и остался человеком без идеалов.

Несмотря на то что Михаил Лыков предстает на страницах романа в обличье шкурника, он не является тем классическим типом пере-рожденца, какого, например, сумел вывести Маяковский в образе При-сыпкина. «Михаил Лыков,— отмечал один из критиков 20-х годов,— рвач с надрывом, к этой идеологии только подошел, но с нею не слился, до нее вполне не поднялся, так как не мог вполне расстаться с навязанным ему автором свинцовым грузом истеричной романтики, больной достоевщины...»¹

Описывая некоторые неблагоприятные поступки Михаила Лыкова, писатель порой не только не находит слов осуждения в адрес своего героя, а, напротив, объяснением побудительных причин, руководивших им в тот или иной момент жизни, по существу снимает с него всякую ответственность. Рассказывая, например, о жестокости Михаила, застрелившего при отступлении из Киева обывателя, «мягкотелого человека», Эренбург пишет: «Беззаконность? Но какие же существуют судьи в арьергарде отстреливающейся армии, кроме винтовок и истории?» Подчас Эренбург приписывает герою возвышенные чувства, в реальность которых трудно поверить. Парадоксально выглядят, в частности, рассуждения о готовности Михаила на подвиг, на смерть ради Советской России, о его трогательной любви к комсомолу,— как правило, это следует после описания самых неблагоприятных поступков Лыкова (махинации с марками, спекуляция валютой и др.).

Рвачу, карьеристу Лыкову противостоят в книге Эренбурга новые люди, строители нового мира, и в первую очередь Артем. Споры, столкновения Михаила с братом играют принципиальную роль. Антагонизм братьев — не просто неуживчивость разных человеческих характеров, а конфликт социальный, за которым стоит разное отношение к жизни. «Любил он (Артем.— А. У.) брата,— говорит писатель,— дрянного, подленького, все равно — любил, и что против этого скажешь? Сложись иначе обстоятельства, он бы отдал за него, за такого вот — жизнь. Но раздор шел не между двумя людьми. Михаил выступил против государства».

Автор отдает должное беззаветной преданности новых людей общему делу, кристальной честности, бескорыстию, готовности к самопожертвованию. И в то же время он относится к ним с некоторой иронией, подчеркивая их духовную обедненность, безликость. И «свинцовый человек» товарищ Егор, и фанатик Тверцов — сухие аскеты, носители суровой и скучной правды, лишённые теплоты, душевного такта. Неда-

¹ «Звезда», М.—Л. 1926, № 4, стр. 232.

леко ушел от них в этом отношении и «первосортный коммунист» Артем, чувства которого диктовались исключительно «коллективной волей» и который «делал только то, что делали все». «Стоя в ряду,— говорит о нем автор,— он больше всего боялся одного шага, может быть и выделяющего как-нибудь человека, но зато уничтожающего стройность и точность фигуры». Правда, Артем оказывается вынужденным жить более сложной жизнью, чем это предписывалось им же выработанной схемой. И хотя его любовь к Ольге и выглядит обедненной, примитивной, в ней есть и благородство и искренность.

Предельная упрощенность мыслей и чувств новых людей — не просто неудача Эренбурга в раскрытии их внутреннего мира. Это — естественный результат слабости представлений писателя в то время о творцах нового мира, недостаточного знания революционной действительности.

Однако, несмотря на то что реальные жизненные соотношения оказались в «Рваче» смещенными, роман все же передает своеобразие жизненных и социальных конфликтов того времени. В нем художественно убедительно показаны темные стороны быта периода нэпа, та «накипь», которая всплыла на поверхность жизни в сложной и противоречивой обстановке нэпа, нарисован выразительный портрет одного из «героев» того времени.

Роман переведен: в 1927 году — на немецкий и еврейский языки (издан в Польше), в 1929 — на польский, в 1930 — на французский и шведский, в 1931 — на испанский.

Лето 1925 года

Повесть «Лето 1925 года» написана в августе — ноябре 1925 года в Париже, издана в Москве в 1926 году (Артель писателей «Круг»).

В 1924 году Эренбург вновь приезжает в Париж, где живет до весны 1926 года. Теперь писатель более основательно, чем в 1921 году, мог ознакомиться с жизнью послевоенной Франции. Он становится свидетелем наступления эпохи так называемой «временной стабилизации капитализма». Старый мир лихорадочно перенимал веяния, идущие из Нового Света. На глазах у Эренбурга менялся ритм жизни, ее настроенность. Исчезали последние приметы прошлого века, дома строились в новом, индустриальном стиле, улицы наводнили потоки машин, залили световые рекламы, место старого типа классического буржуа занял ловкий делец. Нарасхват стали книги, где любовь объявлялась «провинциальным анахронизмом», где в роли героев выступали спортсмены, дельцы, авантюристы.

Все это, подчеркивает Эренбург в своих воспоминаниях, относилось не только к Парижу, но к жизни Европы в целом.

Писателя пугало не просто вторжение машин в быт, в жизнь — он опасался, что они «постепенно отучат человека от мысли, вытеснят клубок чувств»¹. Он все больше убеждался, что широко разрекламированная «новая эпоха» углубляет разрыв человека с обществом.

Все это нашло отражение в повести «Лето 1925 года» — в самой печальной, по признанию Эренбурга, его книге.

Как и в «Необычайных похождениях Хулио Хуренито», нельзя отождествлять героя «Лета 1925 года» с автором (как это иногда делалось в критике)², а содержание повести сводить к документальности очерка.

Фабула книги — ее излагает писатель в своих воспоминаниях — не сложна: «Герой..., попав в Париж, опустился, бродил по улицам, залитым ярким светом, подбирал окурки, потом нанялся на бойни — гонял баранов. Какой-то итальянский авантюрист подбивал слабовольного, растерявшегося героя убить капиталиста Пике. Из этого ничего не вышло, но герой привязался к чужой, брошенной девочке, нянчил ее; девочка умерла...»³

Интрига, по словам Эренбурга, его мало занимала, внимание в «Лете 1925 года» сосредоточено не на поступках героя, а на его душевном состоянии, его психологической реакции на окружающий мир.

«Лето 1925 года» — своеобразное по форме произведение, это лирическое повествование. В подобной манере было написано в то время немало книг. Так, в романе Луи Арагона «Парижский крестьянин» (1926) запечатлено состояние душевного смятения героя, это взволнованный монолог потрясенного, мятущегося человека. Особенно близка повесть Эренбурга книге Пьер-Мак Орлана «Огни Парижа» (1924), где из вереницы причудливых изображений, неожиданных образов, возникающих в сознании автора, постепенно складывается картина жизни современного капиталистического города.

Герой «Лета 1925 года» переживает глубокий душевный кризис. Утратив смысл существования, он бежит от привычной ему обстановки, пребывает в состоянии безразличия к окружающему миру, готов забыть обо всем, что было.

Но постепенно выявляется иллюзорность этого своеобразного «бегства от жизни». Объективный мир, конкретная историческая эпоха со всеми ее противоречиями властно заявляют о себе. В памяти героя всплывают отдельные лица, встречи, эпизоды, имена, даты и пр. Тем более не может обособиться он от социальной действительности, которая

¹ «Новый мир», 1961, № 9, стр. 140.

² См., например, «На литературном посту», М. 1927, № 1, стр. 46, 48.

³ «Новый мир», 1961, № 9, стр. 140.

на каждом шагу напоминает о царящей вокруг нищете, борьбе за существование, о раздирающем общество антагонизме.

В сознании героя мелькают серии сменяющих друг друга картин: трущобы Бельвилля, где герой ищет пристанища, голодные послевоенные берлинские зимы, «шабаш чернорубашечников», Монпарнас, который когда-то был средоточием художественной жизни, а стал приманкой для иностранных туристов, и многое другое. Герой встречается с Луиджи, дельцом с темным прошлым и столь же сомнительным настоящим, с его подругой Паули, щеголявшей своей эксцентричностью, а оказавшейся голодным «беззащитным зверьком», с Диди, певичкой из бара «Сигаль», состоящей на содержании господина Пике, председателя Лиги «Франция и порядок».

Герой оглушен бешеным, одуряющим ритмом жизни огромного города, с его нравами джунглей, бесконечными лабиринтами улиц, «чащей огней», «движущимися лентами лестниц», сплетнями, слухами, сенсациями.

Так вырастает образ враждебной человеку действительности, которая порождает у людей жестокое разочарование, лишает их надежды, веры.

Этот глубоко чуждый нормальной человеческой личности мир временами вызывает у героя книги негодование, даже протест. Тогда его лирические размышления приобретают характер резких публицистических монологов, обращенных к читателю: «Знаете ли вы, как пахнет нищета? Вряд ли. Ее ведь не разводят на цветочных плантациях... Знаете ли вы, как пахнет потный камень, зеленое масло грошовых оладий, крысиная моча, колтуны волос и колтуны пеленок, свертывающееся в грозовые дни мясо калек, сифилитиков и паршивых ребят? Знаете ли вы, как пахнет человеческое горе, соленое, темное горе,— вот родился здесь, тяну лямку, здесь и сдохну: ни уйти, ни крикнуть, ни заплакать!»

Нельзя не заметить в таких монологах несколько нарочитого антиэстетизма деталей, определений. «Грубость» языка в таких случаях — средство заострения мысли о царящей в мире нищете, о изменности, антигуманности самой социальной действительности (к этому приему довольно часто обращался и Маяковский в своем дооктябрьском творчестве).

От ощущения одиночества, неосознанной тревоги герой приходит к мысли о трагедии целого поколения, «побывавшего у Вердена». «Мы во многое верили,— с горечью говорит он,— верили долго и крепко... в прогресс, в искусство... в социальную справедливость и символику цветов... Мы верили, что все идет к лучшему... А потом? А потом мы лежали в жиже окопов и вместо масленичных масок примеряли противогазы. Мы кололи штыками, добывали пшено, дрожали от сыпняка или от испанки, строили новый мир и по мелочам спекулировали. Мы узнали, что война пахнет калом и газетной краской, а мир йодоформом и тюрь-

мой. Тогда — простите нас, мы только слабые люди, несчастное поколение, случайно затесавшееся среди исторических дат,— тогда мы вовсе перестали верить. Мы начали дуть в саксофоны, водить плечами и медной мелочью остающихся лет оплачивать дикие иллюминации». Так трагические переживания героя приобретают силу широкого социального обобщения.

Все попытки героя вырваться из тупика оказываются обреченными на неудачу. Не оправдываются его надежды на посланца далекой земли, где, очищенная октябрьскими грозами, «жизнь взаправду»,— не случайно происходит «развоплощение Юра»: он сам попадает в сети тех же самых чувствований, над которыми еще недавно снисходительно иронизировал, квалифицируя их как «ненужные сантименты», «проклятое соглашательство». С гибелью Юра еще больше сжимается роковой круг, за пределы которого тщетно пытается выбраться герой «Лета 1925 года». В поисках выхода из тех противоречий, которые окружают человека в современном мире, он обращает свой взор к природе. «Много ли нужно для человеческого счастья? — спрашивает он и отвечает: — Солнце, четыре или пять квадратных метров, макароны и любовь». В этих словах нет противопоставления мира природы — цивилизации вообще. В них — протест против той действительности, которая окружает героя романа, против тех «злых людей», которые повинны в смерти ребенка, против того человеческого общества, в котором герой «Лета 1925 года» чувствует себя одиноким и потерянным.

В 1927 году повесть была переведена на польский и чешский языки.

В Проточном переулке

Повесть «В Проточном переулке» написана в сентябре — ноябре 1926 года в Париже. Впервые напечатана (с сокращениями) в журнале «30 дней» (М. 1927, №№ 1—3), вошла в VII том Полного собрания сочинений писателя (ЗИФ, М. 1927).

Книга, по словам Эренбурга, написана «с натуры». Летом 1926 года автор жил в Москве в Проточном переулке, который был в те годы местом, облюбованным торгашами всех мастей и оттенков, беспризорниками, жульем. Во всей неприглядности предстал перед писателем мир алчного приобретательства, лишнего мещанства, дикого невежества. «Я увидел,— вспоминает Эренбург,— один из черных ходов эпохи и решил его отобразить»¹.

¹ «Новый мир», 1961, № 9, стр. 143.

Поводом к созданию книги послужило «истинное происшествие»: владелец одного из домиков, жадный и бездушный торгаш, разозлившись на беспризорных, которые стащили у него окорок, ночью завалил выход из подвала, где дети прятались от морозов.

Проточный в повести — не только окопавшийся возле Смоленского рынка мецанский мирок. Это — символ приобретательства, собственнического духа, мертвящей обывательщины. Он «родственник» и Прогонного, и Самотеки, и Левшинского, он и на другом берегу Москвы-реки, «где такие же абрикосовые и лазоревые домики»; это любой «затон, где водятся романсы, тараканы, великая неистребимая хандра».

Обличение этого гнусного и грязного мира вырастает в один из ведущих мотивов повести. Эренбург с издевкой и негодованием описывает веселящихся в ресторанах Панкратовых — «те же бороды, те же лоснящиеся морды...», безликую толпу, которая зверски убивает Кирюшку. Не прав автор предисловия к первому изданию книги, утверждавший, что «Эренбург принимает всех», что «он описывает бесстрастно — никого не проклиная и не презирая»¹.

В мрачной и душной атмосфере Проточного Эренбург находит проблески иной жизни. О «людях дна», которые ютятся в глубине подвала панкратовского дома, писатель говорит с явным сочувствием: «Люди именно здесь, а там, наверху, только злобные призраки, ядовитые испарения наших застоявшихся дней».

В центре повести — образы и судьбы обыкновенных людей, «заурядных личностей». Это — мечтающая о «благородном» героине и настоящей, светлой любви девушка Таня, в которой живет неосознанный протест против уродливости своего существования, неудачливый поэт Прахов, не сумевший «от громких исторических дел перейти к заурядной жизни» и постепенно опустившийся.

Эти страдающие и мятущиеся души обрисованы Эренбургом с нескрываемой симпатией. «Я не только полюбил моих невзрачных героев,— подчеркивает писатель в воспоминаниях,— я вложил в них самого себя... Мои мысли, чувства тех лет можно найти и в обыкновенной советской девушке Тане..., и в ... Прахове, ставшем газетным халтурщиком, честолюбивом и слабовольном, готовом на пошлость, даже на подлость, но начинающем понимать тщету да и мелкоту своих мечтаний, и в горбаче музыканте Юзике..., в этом захолустном философе с его безнадежной любовью к жизни, и в старом чехе, бывшем преподавателе латыни, превратившемся в нищего, но духовно приподнявшемся, прозревшем...»².

¹ Илья Эренбург, В Проточном переулке, ЗИФ, М.—Л. 1927, стр. 5.

² «Новый мир», 1961, № 9, стр. 144.

Писатель подчеркивает в полюбившихся ему персонажах черты, которые, духовно возвышая их, помогают им порвать с окружающей обстановкой. Правда, темные силы Проточного как будто остаются непоколебимыми. Панкратов, переживший «горькие минуты», по-прежнему торгует, Сахаров «благодуствует», переехав к очередной пассиве. Один из рецензентов книги рассматривал этот итог чуть ли не как укрепление новой «советской буржуазии» («...торжествует в романе Панкратов,— утверждал критик,— единственный, у которого есть цель и воля...») ¹. Именно Панкратов кажется ему «силой грядущего». За этим чисто внешним благополучием рецензент не разглядел главного: уход Натальи Генриховны, Прахова, Тани, их нравственный подъем означает моральное поражение Проточного, в этом, хочет сказать писатель,— залог будущего полного краха мира Панкратовых и Сахаровых.

В стремлении вырваться из гнетущей обстановки, которая их окружает, герои повести опираются не только на свои моральные силы. Они ищут помощи и поддержки в другом мире, существование которого хотя и не с достаточной силой, но ощущается на всем протяжении повести. Те или иные его приметы не раз возникают в ходе повествования.

Однако нельзя не отметить, что герои, выбравшиеся из липкого мира Проточного, испытывают чувство какой-то неудовлетворенности.

Та «здоровая» жизнь, которая их теперь окружает, не дает им ощущения полноты счастья. Она в изображении Эренбурга — чересчур обыденна, прозаична, выглядит какой-то слишком приземленной. Создается впечатление, что жизнь эта требует от человека самоограничения, обуздания в себе каких-то, якобы отвлекающих от главного и основного в жизни, желаний и стремлений, которые вдруг могут прорваться, нарушив выстраданную устойчивость существования. Тут нет места романтике, героическому подвигу. У мужа Тани, старого партийца Соколовского, «большого» «умного» человека, который «выносит всю партию и по советской линии тоже перегружен», не остается времени на радость, сердечность, подлинную нежность. «Человек ли?» — вырывается у Тани.

«Настоящая», полнокровная жизнь, по мнению Эренбурга, — впереди. Не случайно все надежды Тани обращены исключительно «в завтра». Одно место из ее письма Юзику звучит как исповедь: «Я здесь устроила отряд пионеров, и каждый раз, когда я вожусь с ними, всю тоску как рукой снимает. Мне почему-то кажется, что они будут жить лучше нашего. Мы не смогли, а они смогут... Когда я слышу: «Будь готов» (это их пароль), все во мне смеется от радости. Как будто готовятся они к другой, настоящей жизни». (Разрядка наша.— А. У.).

¹ «Народный учитель», М. 1927, № 12, стр. 90, 92.

Отсутствие в повести этой полнокровной жизни дало повод критике того времени упрекать автора в том, что он не видит «ростков нови», не замечает «гигантов промышленности, центров новой общественности, средоточий новой культуры и пр.»¹.

Изображенный в повести мир Проточного, безусловно, не освещен пафосом социалистического строительства. Из этого, однако, не следует, что писатель игнорирует завоевания революции, не различает «направление исторических процессов»².

Эренбург, по его собственному признанию, хотел разобраться в тех нравственных истоках, благодаря которым люди, ютящиеся на «задворках» эпохи, смогут вырваться за пределы окружающего их мрачного мира. Я пытался, подчеркивает писатель в книге «Люди, годы, жизнь», «найти в сердцах моих героев то доброе начало, которое позволит им расстаться с грязью, с пошлостью, с душевной пустотой»³. В силу односторонности этой творческой задачи рамки повествования оказались суженными, акценты сместились, героика социалистических будней не нашла отражения. Поэтому и те изменения, которые происходят в Проточном, оказываются не столько результатом развития и укрепления в действительности начал, порожденных революцией, сколько следствием естественного движения жизни, ее в значительной степени чисто нравственного оздоровления.

Повесть «В Проточном переулке» переведена на многие иностранные языки: в 1928 году — на немецкий, польский и чешский, в 1930 — на французский, итальянский и испанский, в 1931 — на норвежский. На английском языке повесть издавалась дважды — в 1932 году в США и в 1933 в Англии. В 1933 году повесть вышла и в Югославии, в 1944 — в Бразилии, в 1945 — в Аргентине, в 1961 — в Швейцарии. В Дании повесть издавалась дважды — в 1945 году на французском языке и в 1961 на датском.

¹ «Учительская газета». Ежемесячное бесплатное приложение. Литература. Искусство. Культура. М. 1928, № 4, стр. 8.

² «Новый мир», М. 1928, кн. 1, стр. 307.

³ «Новый мир», М. 1961, № 9, стр. 144.

Содержание

РВАЧ	9
ЛЕТО 1925 ГОДА	357
В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ	465
Комментарии	603

Илья Григорьевич

Э Р Е Н Б У Р Г

Т о м 2

Редактор

И. Чеховская

Художественный редактор

Ю. Васильев

Технический редактор

Ж. Примак

Корректор

М. Доценко

Сдано в набор 11/III 1963 г.

Подписано в печать 24/III 1964 г.

A05301. Бум. 60×84 1/16.

38,5 печ. л. = 35,04 усл. печ. л.

33,72 уч.-изд. л. Тираж 200 000.

Цена 1 р. 25 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография

имени А. А. Жданова

Главполиграфпрома

Государственного комитета

Совета Министров СССР

по печати

Москва, Ж-54, Валовая, 28.

